Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



3

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ



Ф. М. Достоевский.
Фотография Н. Лейбина. 1859 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА I—XVII

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1972

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · ЛЕНИНГРАД
1972

7-3-1
Подписное

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Из записок неизвестного

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ВСТУПЛЕНИЕ

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на всё согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довезти кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез: он был так добр, что в иной раз готов был решительно всё отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темнорусым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей

дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе, в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во всё время своего с ней сожительства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принужден был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсиона. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя саженными лакеями, которые никогда ничего от него не слыхали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста

и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, всё более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем — генеральша.

В доме у ней была своя половина, где всё время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженые матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место,— словом, она извлекла из своего генеральства всё, что могла извлечь. Генерал во всё это не вмешивался; но зато при людях он смеялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на «такой просвирне»? — и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях.

Но слушатели городка N* не жаловали высоких материй и становились всё реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бобах и на картах, раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин.

Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя — объяснять не стану: такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как приживальщик из хлеба — ни более, ни менее. Откуда он взялся — покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал и уж, разумеется, «за правду». Говорили еще,

что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что наконец он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собою дружбе; что генерал был его благодетель; что это был человек великий, непонятый и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он, Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил — трудно представить неспециалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, — за что? — неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияния различных иван-яковличей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев.

Наконец всё переменилось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, — одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во всё время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и безответною кротостью, — подошла к его постели,

проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головою страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные — разумеется, на счет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князёвке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково, и что *нога* ее никогда-никогда не будет в доме его! Вообще слово *нога,* употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его... Словом, красноречия было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается всё непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое.

— Каково же будет вам, — говорил Фома, — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками начнет в самом деле испрашивать себе подаяния? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой — но ведь это может случиться — под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и... ну, вообще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то — позвольте это вам сказать откровенно, полковник, — всего

ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи... что я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарапортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша, вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила наконец своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что только *попробует* жить у сына, покамест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, покамест испытывали его почтительность! Сначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у *такого отца,* глубоко и тяжело вздыхала и наконец заливалась безмолвными таинственными слезами по крайней мере на целый час. Горе полковнику, если он не умел *понять* этих слез! А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда, по наивности своей, подвертывался, как нарочно, в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и наконец дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, — прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит как осиновый лист.

— Жестокий сын! — кричит генеральша, очнувшись, — ты растерзал мои внутренности... mes entrailles, mes entrailles! [1]

— Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? — робко возражает полковник.

— Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.

Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Чрез полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу:

— Ну, да ведь она, братец, grande dame, [2] генеральша! добрей-

---

[1] мои внутренности (*франц.*).
[2] светская дама (*франц.*).

шая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному... не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват...

Случалось, что девица Перепелицына, перезрелое и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

— Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с.

— Это, брат, девица Перепелицына, — замечает полковник своему слушателю, — превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала как мышка перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что, по его глубочайшему убеждению, генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что всё это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. Может быть, спросят: откуда берется такое самолюбие? как зарождается оно, при таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, которые, уже по социальному положению своему, обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым

и принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, — уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах? Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича — разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалованья или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч. и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться — вот была главная потребность его! Его не хвалили — так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не жилец я между вами, — говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, — не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал!

Тридцать тысяч человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно. Грянет наконец мое имя, и тогда — горе врагам моим!» Но гений, покамест еще собирался прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отечества. Всё это, разумеется, обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы — в душе деспота, несмотря на всё предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы — хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке покровительнице и обольщенному, на всё согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только россказни, считали всё это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности — это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других

до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собою интересам других — их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягок характером, но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтоб у него были враги; они, однако ж, у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся как огня и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, «чтоб уж так», говорил он скороговоркою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости — «чтоб уж так... чтоб уж все были довольны и счастливы!» Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страданий, он решался наконец увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку неразлучно с другим идиотом — ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за всё прошлое, — идиотку, перед которой дядя считал своею обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения...

— Я, братец, сам виноват, — говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, — во всем виноват! Вдвое надо быть дели-

катнее с человеком, которого одолжаешь... то есть... что я! какое одолжаешь!.. опять соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!.. то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось — у меня часто с языка срывается... Ну, и, наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: всё это требует награды! ну, наконец, и наука... писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо — словом...

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению... он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его — сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок — и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.

— Сочинение пишет! — говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. — Не знаю, что именно, — прибавлял он с гордым и таинственным видом, — но уж, верно, брат, такая бурда... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувырколегия, что... Кажется, о производительных силах каких-то пишет — сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил...

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись

слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, «такой хлявлий, что папеньку любит государь»... Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.

— А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья получал? — спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности.

— А тебе какое дело, пехтерь? — отвечал он, с презрением поглядев на бедного мужичонка. — Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?

Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».

— Отец ты наш... — подхватил другой мужичок, — ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, — как и величать-то тебя не ведаем.

— Пехтерь! — повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. — Жалованье жалованью рознь, посконная ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, — значит, не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на государственное просвещение да на погорелых жителей Казани пожертвовал.

— Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? — продолжал удивленный мужик.

Мужики вообще дивились на Фому Фомича.

— Ну да, и моя там есть доля, — отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил *такого* человека *таким* разговором.

С дядей разговоры были другого рода.

— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. — На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру иль нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал как порох при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

— Отвечайте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять.

— Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.

— Mais répondez donc,[1] Егорушка! — подхватывает генеральша, пожимая плечами.

— Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра иль нет? — снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.

— Ей-богу, не знаю, Фома, — отвечает наконец дядя с отчаянием во взорах, — должно быть, что-нибудь есть в этом роде... Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

— Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа, — вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.

— Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну когда я это хотел сказать?

— Нет, вы именно это хотели сказать.

— Да клянусь же, что нет!

— Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я всё перенесу...

— Mais, mon fils...[2] — вскрикивает испуганная генеральша.

— Фома Фомич! маменька! — восклицает дядя в отчаянии, — ей-богу же, я не виноват! так разве, нечаянно, с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп — сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно... Знаю, Фома, всё знаю! ты уж и не говори! — продолжает он, махая рукой. — Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, всё думал про себя, что человек... ну и всё там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен как козел, эгоист первой руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит!

— Да, вы-таки эгоист! — замечает удовлетворенный Фома Фомич.

— Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!

— Дай-то бог! — заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.

В заключение этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших проис-

---

[1] Да отвечайте же (*франц.*).
[2] Но, сын мой (*франц.*).

шествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.

В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степанчикове, происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить всё это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я,

только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романическою своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка — прехорошенькая. Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на дорогу. Несмотря на то, я, в сомнениях и даже в тревоге, промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы: уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался: известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, — так как, по моему окончательному решению, любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, — осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и проч. и проч. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, — словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревавшим хлебом... А я так долго сидел закупоренный в Петербурге, что, казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!

II

ГОСПОДИН БАХЧЕЕВ

Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б., от которого оставалось только десять верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы, близ самой заставы, по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.

Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его взглядам. Мне, однако ж, очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь из Степанчикова, от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попробовал со всевозможною приятностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного.

— Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. — закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге.

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между барином и слугой немедленно произошло объяснение.

— Выпорешь! ори еще больше! — проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске.

— Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?.. грубиянить вздумал! — закричал толстяк, весь побагровев.

— Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова сказать нельзя!

— Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне и не взъедаться!

— Да за что я буду ворчать?

— За что ворчать... А то, небось, нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, — вот за что.

— А мне что! По мне хошь совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.

— Кузнецам... А на кузнецов чего ворчать?

— А не на них, так на экипаж ворчу.

— А на экипаж чего ворчать?

— А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.

— На экипаж... Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!

— Да что вы, сударь, в самом деле, пристали? Отстаньте, пожалуйста!

— А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, — а? Говоришь же в другие разы!

— Муха в рот лезла — оттого и молчал и сидел сычом. Что я вам сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите.

Толстяк раскрыл было рот, чтоб возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностию обратился к рабочим и начал им что-то показывать.

Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова, с незапамятных времен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу; наконец, стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Всё это чрезвычайно веселило присутствовавших.

Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Гримасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и проч. и проч. на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой и, наконец, совсем прояснилась.

— Да это Васильев? — спросил он с участием. — Да как он туда попал?

— Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! — закричали со всех сторон.

— Загулял, сударь, — прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педантски строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими, — загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний струмент закладывать хочет!

— Эх, Архипушка! деньги — голуби: прилетят и опять улетят! Пусти, ради небесного создателя, — молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову.

— Да сиди ты, идол, благо попал! — сурово отвечал Архип. — Глаза-то еще с третьёва дня успел переменить; с улицы сегодня на заре притащили; моли бога — спрятали, Матвею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у нас проявились».

Смех раздался вторично.

— Да стамеска-то где?

— Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как есть, сударь, Степан Алексеич.

— Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь: инструмент закладываешь! — прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа.

— А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот так-то он всегда себя аттестует, мерзавец, — прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. — Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.

Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом.

— Народу-то, народу-то! — проговорил он, качая головой, — и всё, чай, тре...звые, — протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. — Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.

Снова всеобщий хохот.

— С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный!

— Ври, Емеля, — твоя неделя!

— По-нашему, хоть на час, да вскачь!

— Хе-хе-хе! Ишь краснобай! — вскричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха и снова взглянув на меня приветливо. — И не стыдно тебе, Васильев?

— С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя, — отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно, довольный, что представился случай еще раз помянуть про свое горе.

— С какого же горя, дурак?

— А с такого, что досель и не видывали: Фоме Фомичу нас записывают.

— Кого? когда? — закричал толстяк, весь встрепенувшись.

Я тоже ступил шаг вперед: дело совершенно неожиданно коснулось и до меня.

— Да всех капитоновских. Наш барин, полковник, — дай бог ему здравия — всю нашу Капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет; целые семьдесят душ ему выделяет. «На тебе, говорит, Фома! вот теперь у тебя, примерно, нет ничего; помещик ты небольшой; всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском озере ходят — только и душ ревизских тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому родитель твой, — продолжал Васильев с каким-то злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича, — потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто; тоже, как и ты, по господам проживал, при милости на кухне пробавлялся. А вот теперь, как запишу тебе Капитоновку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин, и людей своих собственных иметь будешь, и лежи себе на печи, на дворянской вакансии...»

Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел; кадык его затрясся, маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар.

— Этого недоставало! — проговорил он задыхаясь, — ракалья, Фома, приживальщик, в помещики! Тьфу! пропадайте вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!

— Позвольте спросить вас, — сказал я, нерешительно выступая вперед, — сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче; кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Опискин. Вот видите ли, я желал бы... словом, я имею особенные причины интересоваться этим лицом и, с своей стороны, очень бы желал узнать, в какой степени можно верить словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Ростанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я...

— А позвольте и вас спросить, — прервал толстый господин, — с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой ракальей анафемской — вот как называть его надо, а не лицом! Какое у него лицо, у паршивика! Один только срам, а не лицо!

Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь в неизвестности, но что Егор Ильич Ростанев мне приходится дядей, а сам я — Сергей Александрович такой-то.

— Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся! — вскричал толстяк, нелицемерно обрадовавшись. — Ведь я теперь сам от них, из Степанчикова; от обеда уехал, из-за

пудинга встал: с Фомой усидеть не мог! Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого... Вот встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеич Бахчеев и вас вот эдаким от полу помню... Ну, кто бы сказал?.. А позвольте вас...

И толстяк полез лобызать меня.

После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам: случай был превосходный.

— Но кто ж этот Фома? — спросил я, — как это он завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора шелепами? Признаюсь...

— Его-то выгонят? Да вы сдурели аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома велел раз быть вместо четверга середе, так они там, все до единого, четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа!» Так две середы на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот настолечко не приврал! Просто, батюшка, штука капитана Кука выходит!

— Я слышал это, но, признаюсь...

— Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно человек! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспросите. Ведь всё рассказать, так вы не поверите, а спросите: из каких я лесов к вам явился? Матушка Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама и к тому же генеральша, да, по-моему, из ума совсем выжила: не надышит на Фомку треклятого. Всему она и причиной: она-то и завела его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется — за генерала Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгнула! Про сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи, да клокчет как курица — надоела мне совсем — ну ее! Только разве и есть в ней, что дамский пол: так вот и уважай ее ни за что, ни про что, за то только, что она дамский пол! Тьфу! говорить неприлично: тетушкой она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малый ребенок — всего-то шестнадцатый год, да умней их всех, по-моему: не уважает Фоме; даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего! Да и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шутах проживал! ведь он ему, для его генеральской потехи, различных зверей из себя представлял! И выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь полковник-то, дядюшка-то, отставного шута заместо отца родного почитает, в рамку вставил его, подлеца, в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику, — тьфу!

— Впрочем, бедность еще не порок... и... признаюсь вам... позвольте вас спросить, что он, красив, умен?

— Фома-то? писаный красавец! — отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. (Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на меня смотреть подозрительно.) — Писаный красавец! Слышите, добрые люди: красавца

нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж всё хотите доподлинно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием, шельмец, обладал, — ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрепя сердце, для остроумия-то, а то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то! Тьфу! язык устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы меня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готово иль нет?

— Воронка еще перековать надо, — промолвил мрачно Григорий.

— Воронка. Я тебе такого задам Воронка!.. Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разинете да так и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом. Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете? Каюсь, открыто каюсь: был дураком! Ведь он и меня обморочил. Всезнай! всю подноготную знает, все науки произошел! Капель он мне давал: ведь я, батюшка, человек больной, сырой человек. Вы, может, не верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел. Вы только молчите да слушайте; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом весь околоток раззнакомился с ними из-за Фомки треклятого. Ведь всякому, кто ни приедет, оскорбления чинит. Чего уж мне: значительного чина не пощадит! Всякому наставления читает; в мораль какую-то бросило его, шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да что ж, что ученый! Так из-за того, что ученый, уж так непременно и надо заесть неученого?.. И уж как начнет ученым своим языком колотить, так уж та-та-та! та-та-та! то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, всё будет болтать, пока ворона не склюет. Зазнался, надулся как мышь на крупу! Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего! Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал! Хотите, не верьте! Это, дескать, ему полезно, хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый — больше ничего! А на что холопу знать по-французски, спрошу я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать? разврат — больше ничего! А по-моему, графин водки выпил — вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык! Небось, и вы по-французски: «та-та-та! та-та-та! вышла кошка за кота!» — прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным негодованием. — Вы, батюшка, человек ученый — а? по ученой части пошли?

— Да... я отчасти интересуюсь...

— Чай, тоже все науки произошли?

— Так-с, то есть нет... Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я всё сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке...

— А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-нибудь у себя, коли было где сесть! Нет, батюшка, тут, я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой дядюшка вам не поможет; попадете в аркан! Да я у них похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них похудел? Нет, вы, я вижу, не верите. Что ж, пожалуй, бог с вами, не верьте.

— Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я всё еще пе понимаю, — отвечал я, теряясь всё более и более.

— То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы прыгуны, с вашей ученой-то частью. Вам только бы на одной ножке попрыгать да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть; вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться — непотребный народ! Всё фармазоны; неверие распространяют; рюмку водки выпить боится, точно она укусит его — тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рассказывать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в самом деле тебе сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно... А только он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича...

— Да я б его, Видоплясова, — ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, — да я б его, Видоплясова, из-под розог не выпустил. Нарвись-ко он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб! задал бы столько, что в два-ста не складешь.

— Молчать! — крикнул барин, — держи язык за зубами; не с тобой говорят!

— Видоплясов, — сказал я, совершенно сбившись и уже не зная, что говорить, — Видоплясов... скажите, какая странная фамилия?

— А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, ученый!

Я потерял терпение.

— Извините, — сказал я, — но за что ж вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело...

— Да вы, батюшка, чего обижаетесь? — отвечал толстяк, — нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикса и вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Гришка-то мой, да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная погубила меня — откровенно скажу; а во всем этом Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что погубит! Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест эти дураки с починкой копаются. Хороший человек здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется! Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до единого! И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный

какой-нибудь, — продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться, — ну тогда хоть по чину простительно; а то ведь и чинишка-то нет; это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где-то там пострадал, в сорок не в нашем году, так вот и кланяйся ему за то в ножки! черт не брат! Чуть что не по нем — вскочит, завизжит: «Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели; я убогий странник, я и черного хлебца поем». Чуть сядут, он тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем без меня сели за стол? значит, ни во что меня почитают». Словом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что и я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать; на-тка, брат, возьми закуси! Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу! С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в вотчину приехал в отставке полковником. Говорю ему: «Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме! Прольете слезу!» Нет, говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-то!), он мне друг; он меня благонравию учит. Ну, думаю, против благонравия не пойдешь! Уж коли благонравию зачал учить — значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы думали, сегодня из-за чего опять поднял историю? Завтра Ильи-пророка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник. Я было думал и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал: немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает — превосходная вещь! (теперь уж не подарю, морген-фри! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит; назад везу). Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать, да Фомка претит: «Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь!» А? каков гусь? восьмилетнему мальчику в тезоименитстве позавидовал! «Так вот нет же, говорит, и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! «Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю я, терплю. Что ж бы вы думали? Ведь они теперь на цыпочках ходят да шепчутся: как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или нет? Не поздравь — обидеться может, а поздравь — пожалуй, и в насмешку примет. Тьфу ты, пропасть! Сели мы обедать... Да ты, батюшка, слушаешь иль нет?

— Помилуйте, слушаю; с особенным даже удовольствием слушаю; потому что через вас я теперь узнал... и... признаюсь...

— То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое удовольствие... Да уж ты не в пику ли мне про удовольствие-то свое говоришь?

— Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом же вы так... оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова.

— То есть как это, батюшка, записать? — спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно.

— Впрочем, я, может быть, и не запишу... это я так.

— Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь?

— То есть как это обольстить? — спросил я с удивлением.

— Да так. Вот ты теперь меня обольстишь, я тебе всё расскажу, как дурак, а ты возьмешь после да и опишешь меня где-нибудь в сочинении.

Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он всё еще подозрительно смотрел на меня.

— То-то, не из таких! кто тебя знает! может, и лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать.

— Позвольте спросить, — прервал я, отчасти желая переменить разговор, — скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться?

— Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж так тебя покачнуло; не это скверно, а другое скверно... — прибавил господин Бахчеев в задумчивости. Гм! про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как мух у варенья; да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу: не люблю бабья! Только слава, что человек, а по правде, так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу: сами увидите; а только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись; а то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать: та тоже завизжит на всё село да брыкаться начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду места потом не отыщет! Так вот он и куролесит теперь, вместе с маменькой и подсовывают ему таковскую... Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил! Я постарше тебя; перебивать старика не годится...

Я извинился.

— Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как человеку ученому, на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может! Вот и вздумал он ко мне придираться, благонравию тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой толстый? Ну, пристал человек: зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут остроумие? Я с благоразумием ему отвечаю:

«Это так уж бог устроил, Фома Фомич: один толст, а другой тонок; а против всеблагого провидения смертному восставать невозможно». Благоразумно ведь — как вы думаете? «Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь; надо служить, а ты всё дома сидишь да на гармонии играешь». А я и взаправду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю: «А в какую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толстоту-то мою затяну? Надену мундир, затянусь, неравно чихну — все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да, оборони бог, за пашквиль сочтут — что тогда?» Ну, скажите же, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие пошли... то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал: «кошон» говорит. Ну, кошон-то и я понимаю, что значит. «Ах ты, физик проклятый, думаю; полагаешь, я тебе теплоух дался?» Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе и бряк ему: «Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», — сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого пудинга: пудинг тогда обносили. «Ну вас и с пудингом-то!..»

— Извините меня, — сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева, — я, конечно, готов с вами во всем согласиться. Главное, я еще ничего положительного не знаю... Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи.

— Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? — недоверчиво спросил господин Бахчеев.

— Видите ли, — начал я, несколько путаясь, — оно, может быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю: может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича; может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую — кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству. Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскорбило, сразило?.. Понимаете: человек благородный... сознание... а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству и ... и, может быть, если примирить его с человечеством... то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная... может быть, даже очень замечательная, и... и... и ведь есть же что-нибудь в этом человеке? Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются?

Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно. По молодости еще можно было простить. Но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух.

— Это Фомка-то такой особенный человек? — спросил он отрывисто.

— Послушайте: я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это так только, в виде догадки...

— А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спросить: обучались вы философии или нет?

— То есть в каком смысле? — спросил я с недоумением.

— Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо, безо всякого смыслу отвечайте: обучались вы философии или нет?

— Признаюсь, я намерен изучать, но...

— Ну, так и есть! — вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. — Я, батюшка, еще прежде, чем вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались! Меня не надуешь! морген-фри! За три версты чутьем услышу философа! Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом! Особенного человека нашел! тьфу! прокисай всё на свете! Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай! — закричал он кучеру, уж влезавшему на ко́зла исправленного экипажа. — Домой!

Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как наконец он смягчился; но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория и Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву.

— Позвольте спросить вас, — сказал я, подойдя к коляске, — вы уж более не приедете к дядюшке?

— К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек! Недели не пройдет, а я опять туда поплетусь. А зачем? Вот подите: сам не знаю зачем, а поеду; опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое! За грехи мне господь этого Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого! Трус я, батюшка, первой руки...

Мы, однако ж, расстались по-дружески; он даже пригласил меня к себе обедать.

— Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку мисаиловну сочинит, что только пальчики оближешь да в ножки поклонишься ему, подлецу. Образованный человек! Я вот только давно не сек его, балуется он у меня... да вот теперь благо напомнили... Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите... Ну, прощайте, батюшка! Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он...

Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкою сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали и мой тарантас; я сел в него, и мы тотчас же проехали городишко. «Конечно, этот господин привирает, — подумал я, — он слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но опять-

таки всё, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу... Гм! Женюсь я иль нет?» В этот раз я крепко задумался.

III

ДЯДЯ

Признаюсь, я даже немного струсил. Романические мечты мои показались мне вдруг чрезвычайно странными, даже как будто и глупыми, как только я въехал в Степанчиково. Это было часов около пяти пополудни. Дорога шла мимо барского сада. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в котором мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и который много раз потом снился мне во сне, в дортуарах школ, хлопотавших о моем образовании. Я выскочил из повозки и пошел прямо через сад к барскому дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разузнать, выспросить и прежде всего наговориться с дядей. Так и случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на террасу, с которой стеклянною дверью прямо входили во внутренние комнаты. Эта терраса была окружена клумбами цветов и заставлена горшками дорогих растений. Здесь я встретил одного из туземцев, старого Гаврилу, бывшего когда-то моим дядькой, а теперь почетного камердинера дядюшки. Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием. Мы виделись с ним два года назад, в Петербурге, куда он приезжал вместе с дядей, а потому он тотчас же теперь узнал меня. С радостными слезами бросился он целовать мои руки, причем очки слетели с его носа на пол. Такая привязанность старика меня очень тронула. Но, взволнованный недавним разговором с господином Бахчеевым, я прежде всего обратил внимание на подозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.

— Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-французски? — спросил я старика.

— Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, — печально отвечал Гаврила.

— Сам Фома учит?

— Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.

— Нечего сказать, умник! По разговорам учит?

— По китрадке, батюшка.

— Это что в руках у тебя? А! французские слова русскими буквами — ухитрился! Такому болвану, дураку набитому, в руки даетесь — не стыдно ли, Гаврила? — вскричал я, в один миг забыв все великодушные мои предположения о Фоме Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева.

— Где же, батюшка, — отвечал старик, — где же он дурак, коли уж господами нашими так заправляет?

— Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила, — пробормотал я, приостановленный этим замечанием. — Веди же меня к дядюшке!

— Сокол ты мой! да я не могу на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу, горе мы́чу, да за клумбы сигаю, когда он проходить изволит.

— Да чего же ты боишься?

— Давеча уроку не знал; Фома Фомич на коленки ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей Александрыч, чтоб надо мной такие шутки шутить! Барин осерчать изволил, зачем Фому Фомича не послушался. «Он, говорит, старый ты хрыч, о твоем же образовании заботится, произношению тебя хочет учить». Вот и хожу, твержу вокабул. Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать.

Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим французским языком была какая-нибудь история, подумал я, которую старик не может мне объяснить.

— Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный, высокого роста?

— Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький такой человечек.

— Гм! Подожди, Гаврила; всё это еще, может быть, уладится; даже непременно, обещаю тебе, уладится! Но... где же дядюшка?

— А за конюшнями мужичков принимает. С Капитоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что их Фоме Фомичу записывают. Отмолиться хотят.

— Да зачем же за конюшнями?

— Опасается, батюшка...

Действительно, я нашел дядю за конюшнями. Там, на площадке, он стоял перед группой крестьян, которые кланялись и о чем-то усердно просили. Дядя что-то с жаром им толковал. Я подошел и окликнул его. Он обернулся, и мы бросились друг другу в объятия.

Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его доходила до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки... Точно ему возвратили его родного сына, избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как будто я своим приездом избавил и его самого от какой-то смертельной опасности и привез с собою разрешение всех его недоразумений, счастье и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился бы быть счастливым один. После первых порывов восторга он вдруг так захлопотал, что наконец совершенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспросами, хотел немедленно вести меня к своему семейству. Мы было и пошли, но дядя воротился, пожелав представить меня сначала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на большой дороге и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он

бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом. Я с наслаждением смотрел на него. Отвечая на торопливые его расспросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а продолжать заниматься науками. Как только дело дошло до наук, дядя вдруг насупил брови и сделал необыкновенно важное лицо. Узнав, что в последнее время я занимался минералогией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом, как будто он сам, один, без всякой посторонней помощи, открыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал.

— Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную знают! — говорил он мне однажды с сверкающими от восторга глазами. — Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут польза, тут ум, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит... Ну, да наконец, и торговля, промышленность — эти, так сказать, струи... то есть я хочу сказать, что как ни верти, а полезно... Ведь полезно — не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.

— Вот подожди, друг мой, подожди, — начал он, потирая руки и скороговоркою, — увидишь человека! Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки; останется в столетии. А ведь хорошо словечко: «Останется в столетии»? Это мне Фома объяснил... Подожди, я тебя познакомлю.

— Это вы про Фому Фомича, дядюшка?

— Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина. То есть и Фома тоже, и он... Но это я про Коровкина теперь говорил, — прибавил он, неизвестно отчего покраснев и как будто смешавшись, как только речь зашла про Фому.

— Какими же он науками занимается, дядюшка?

— Науками, братец, науками, вообще науками! Я вот только не могу сказать, какими именно, а только знаю, что науками. Как про железные дороги говорит! И знаешь, — прибавил дядя полушепотом, многозначительно прищуривая правый глаз, — немного, эдак, вольных идей! Я заметил, особенно когда про семейное счастье заговорил... Вот жаль, что я сам мало понял (времени не было), а то бы рассказал тебе всё как по нитке. И, вдобавок, благороднейших свойств человек! Я его пригласил к себе погостить. С часу на час ожидаю.

Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и выпуча глаза, как на чудо.

— Послушайте, дядюшка, — прервал я его, — я, кажется, помешал мужичкам. Они, верно, за надобностью. О чем они? Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень бы рад их послушать...

Дядя вдруг захлопотал и заторопился.

— Ах, да! я и забыл! да вот видишь... что с ними делать? Выдумали, — и желал бы я знать, кто первый у них это выдумал, — выдумали, что я отдаю их, всю Капитоновку, — ты помнишь Капитоновку? еще мы туда с покойной Катей все по вечерам гулять ездили, — всю Капитоновку, целых шестьдесят восемь душ, Фоме Фомичу! «Ну, не хотим идти от тебя, да и только!»

— Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему Капитоновки? — вскричал я почти в восторге.

— И не думал; в голове не было! А ты от кого слышал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. И отчего им Фома так не мил? Вот подожди, Сергей, я тебя познакомлю, — прибавил он, робко взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. — Это, брат, такой человек...

— Не хотим, опричь тебя, никого не хотим! — завопили вдруг мужики целым хором. — Вы отцы, а мы ваши дети!

— Послушайте, дядюшка, — отвечал я, — Фому Фомича я еще не видал, но... видите ли... я кое-что слышал. Признаюсь вам, что я встретил сегодня господина Бахчеева. Впрочем, у меня на этот счет покамест своя идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами поговорим одни, без свидетелей. Я, признаюсь, затем и приехал...

— Именно, именно, — подхватил дядя, — именно! мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь, эдак, приятельски, дружески, основательно! Ну, — продолжал он скороговоркой, обращаясь к мужикам, — теперь ступайте, друзья мои. И вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и иди во всякое время.

— Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! — закричали еще раз мужики.

— Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!

— А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних, слышь, совсем заучил.

— Так неужели он и вас по-французски учит? — вскричал я почти в испуге.

— Нет, батюшка, покамест еще миловал бог! — отвечал один из мужиков, вероятно большой говорун, рыжий, с огромной плешью на затылке и с длинной, жиденькой клинообразной бородкой, которая так и ходила вся, когда он говорил, точно она была живая сама по себе. — Нет, сударь, покамест еще миловал бог.

— Да чему ж он вас учит?

— А учит он, ваша милость, так, что по-нашему выходит золотой ящик купи да медный грош положи.

— То есть как это медный грош?

— Сережа! ты в заблуждении; это клевета! — вскричал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись. — Это они, дураки, не

поняли, что он им говорил! Он только так... какой тут медный грош!.. А тебе нечего про всё поминать, горло драть, — продолжал дядя, с укоризною обращаясь к мужику, — тебе же, дураку, добра пожелали, а ты не понимаешь да и кричишь!

— Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?

— Это он для произношения, Сережа, единственно для произношения, — проговорил дядя каким-то просительным голосом. — Он это сам говорил, что для произношения... Притом же тут случилась одна особенная история — ты ее не знаешь, а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обвинять... Обвинять-то легко!

— Да вы-то чего! — закричал я, в запальчивости снова обращаясь к мужикам. — Вы бы ему так всё прямо и высказали. Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич, а вот оно как! Ведь есть же у вас язык?

— Где та мышь, чтоб коту звонок привесила, батюшка? «Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста?» Да в поту живет, оттого и нечистая! Не каждый день переменять. С чистоты не воскреснешь, с пóгани не треснешь.

— А вот анамедни на гумно пришел, — заговорил другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых худеньких лаптишках, и, по-видимому, один из тех, которые вечно чем-нибудь недовольны и всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отравленное слово. До сих пор он хоронился за спинами других мужиков, слушал в мрачном безмолвии и всё время не сгонял с лица какой-то двусмысленной, горько-лукавой усмешки. — На гумно пришел: «Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?» А кто его знает? Наука эта не нашинская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак, пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я все божии планиды узнал».

— Ну, а сказал тебе, сколько до солнца верст? — вмешался дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмигивая, как бы говоря: «Вот посмотри-ка, что будет!»

— Да, сказал сколько-то много, — нехотя отвечал мужик, не ожидавший такого вопроса.

— Ну, а сколько сказал, сколько именно?

— Да вашей милости лучше известно, а мы люди темные.

— Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?

— Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-то много сказал. На трех возах не вывезешь.

— То-то, помни, братец! А ты думал, небось, с версту будет, рукой достать? Нет, брат, земля — это, видишь, как шар круглый, — понимаешь?.. — продолжал дядя, очертив руками в воздухе подобие шара.

Мужик горько улыбнулся.

— Да, как шар! Она так на воздухе и держится сама собой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте стоит; тебе только

кажется, что оно ходит. Вот она штука какая! А открыл это всё капитан Кук, мореход... А черт его знает, кто и открыл, — прибавил он полушепотом, обращаясь ко мне. — Сам-то я, брат, ничего не знаю... А ты знаешь, сколько до солнца-то?

— Знаю, дядюшка, — отвечал я, с удивлением смотря на всю эту сцену, — только вот что я думаю: конечно, необразованность есть то же неряшество; но, с другой стороны... учить крестьян астрономии...

— Именно, именно, именно неряшество! — подхватил дядя в восторге от моего выражения, которое показалось ему чрезвычайно удачным. — Благородная мысль! Именно неряшество! Я это всегда говорил... то есть я этого никогда не говорил, но я чувствовал. Слышите, — закричал он мужикам, — необразованность это то же неряшество, такая же грязь! Вот оттого вас Фома и хотел научить. Он вас добру хотел научить — это ничего. Это, брат, уж всё равно, тоже служба, всякого чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо, хорошо, друзья мои! Ступайте с богом, а я рад, рад... будьте покойны, я вас не оставлю.

— Защити, отец родной!

— Вели свет видеть, батюшка!

И мужики повалились в ноги.

— Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не мне... Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите ласку... ну и там всё... Знаешь, — сказал он, вдруг обращаясь ко мне, только что ушли мужики, и как-то сияя от радости, — любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь, — а? как ты думаешь? Для твоего приезда... Подарить или нет?

— Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благодетельный человек, как я погляжу.

— Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им давно хотел подарить, — прибавил он, как бы извиняясь. — А что тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя увидел, Сережа. Просто-запросто хотел, чтоб и он, мужик, узнал, сколько до солнца, да рот разинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет... как-то эдак радуешься за него. Только знаешь, друг мой, не говори там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся. Я нарочно их за конюшнями принял, чтоб не видно было. Оно, брат, как-то нельзя было там: щекотливое дело; да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше и сделал...

— Ну вот, дядюшка, я и приехал! — начал я, переменяя разговор и желая добраться поскорее до главного дела. — Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я...

— Друг мой, ни слова об этом! — перебил дядя, как будто в испуге и даже понизив голос, — после, после это всё объяснится. Я, может быть, и виноват перед тобою и даже, может быть, очень виноват, но...

— Передо мной виноваты, дядюшка?

— После, после, мой друг, после! всё это объяснится. Да какой же ты стал молодец! Милый ты мой! А как же я тебя ждал! Хотел излить, так сказать... ты ученый, ты один у меня... ты и Коровкин. Надобно заметить тебе, что на тебя здесь все сердятся. Смотри же, будь осторожнее, не оплошай!

— На меня? — спросил я, в удивлении смотря на дядю, не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем незнакомых. — На меня?

— На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич немножко... ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще будь осторожен, почтителен, не противоречь, а главное, почтителен...

— Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка?

— Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю. Действительно он, может быть, человек с недостатками, и даже теперь, в эту самую минуту... Ах, брат Сережа, как это всё меня беспокоит! И как бы это всё могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны и счастливы!.. Но, впрочем, кто ж без недостатков? Ведь не золотые ж и мы?

— Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он делает...

— Эх, брат! всё это только дрязги и больше ничего! вот, например, я тебе расскажу: теперь он сердится на меня, и за что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть, я и сам виноват. Лучше я тебе потом расскажу...

— Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет выработалась своя особая идея, — перебил я, торопясь высказать мою идею. Да мы и оба как-то торопились. — Во-первых, он был шутом: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал; и вот вышла натура озлобленная, болезненная, мстящая, так сказать, всему человечеству... Но если примирить его с человеком, если возвратить его самому себе...

— Именно, именно! — вскричал дядя в восторге, — именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, неблагородно было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах, друг мой, ты меня понимаешь; ты мне отраду привез! Только бы там-то уладилось! Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется!

— Дядюшка, если так... — начал было я, смутясь от такого признания.

— Ни-ни-ни! ни за что в свете! — закричал он, схватив меня за руки. — Ты мой гость, и я так хочу!

Всё это чрезвычайно меня удивляло.

— Дядюшка, скажите мне сейчас же, — начал я настойчиво, — для чего вы меня звали? чего от меня надеетесь и, главное, в чем передо мной виноваты?

— Друг мой, и не спрашивай! после, после! всё это после объяснится! Я, может быть, и во многом виноват, но я хотел поступить как честный человек, и... и... и ты на ней женишься!

Ты женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства! — прибавил он, весь покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. — Но довольно, ни слова больше! Всё сам скоро узнаешь. От тебя же будет зависеть... Главное, чтоб ты теперь там понравился, произвел впечатление. Главное, не сконфузься.

— Но послушайте, дядюшка, кто ж у вас там? Я, признаюсь, так мало бывал в обществе, что...

— Что, немножко трусишь? — прервал дядя с улыбкою. — Э, ничего! все свои, ободрись! главное, ободрись, не бойся! Я всё как-то боюсь за тебя. Кто там у нас, спрашиваешь? Да кто ж у нас... Во-первых, мамаша, — начал он торопливо. — Ты помнишь мамашу или не помнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка; без претензий — это можно сказать; старого покроя немножко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда такие фантазии, скажет эдак как-то; на меня теперь сердится, да я сам виноват... знаю, что виноват! Ну, наконец, она ведь что называется grande dame, генеральша... превосходнейший человек был ее муж: во-первых, генерал, человек образованнейший, состояния не оставил, но зато весь был изранен; словом — стяжал уважение! Потом девица Перепелицына. Ну эта... не знаю... в последнее время она как-то того... характер такой... А, впрочем, нельзя же всех и осуждать... Ну, да бог с ней... Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Наперсница маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья Ильинична. Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья немного, но зато сердце какое! — ты, главное, на сердце смотри — пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры строит, хочет присвататься. Ты, однако, молчи; чур: секрет! Ну, кто же еще из наших? про детей не говорю: сам увидишь. Илюшка завтра именинник... Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван Иваныч Мизинчиков, тебе будет троюродный брат, кажется; да, именно троюродный! он недавно в отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще молодой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промотался, что уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у него ничего почти и не было; но все-таки промотался, наделал долгов... Теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем; сам приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный, почтительный. Слыхал ли от него здесь кто и слово? всё молчит. Фома, в насмешку, прозвал его «молчаливый незнакомец» — ничего: не сердится. Фома доволен; говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем, Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддакивает. Гм! Забитый он такой... Ну, да бог с ним! сам увидишь. Есть городские гости: Павел Семеныч Обноскин с матерью; молодой человек, но высочайшего ума человек; что-то зрелое, знаешь, незыблемое... Я вот только не умею выразиться; и, вдобавок, превосходной нравственности; строгая мораль!

Ну, и наконец, гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй, еще будет нам дальняя родственница — ты ее не знаешь, — девица, немолодая — в этом можно признаться, но... с приятностями девица; богата, братец, так, что два Степанчикова купит; недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат Сережа, пожалуйста, остерегись: она такая болезненная... знаешь, что-то фантасмагорическое в характере. Ну, ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастья. Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай... всё это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души — понимаешь?

Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился.

— Послушайте, дядюшка, — сказал я, — я вас так люблю... простите откровенный вопрос: женитесь вы на ком-нибудь здесь или нет?

— Да ты от кого слышал? — отвечал он, покраснев, как ребенок. — Вот видишь, друг мой, я тебе всё расскажу: во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица и, главное, Фома Фомич, которого маменька обожает, — и за дело, за дело: он много для нее сделал, — все они хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне, из благоразумия, то есть для всего семейства. Конечно, мне же добра желают — я ведь это понимаю; но я ни за что не женюсь — я уж дал себе такое слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать: ни да, ни нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда так случается. Они и подумали, что я соглашаюсь, и непременно хотят, чтоб завтра, для семейного праздника, я объяснился... и потому завтра такие хлопоты, что я даже не знаю, что предпринять! К тому же Фома Фомич, неизвестно почему, на меня рассердился; маменька тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал тебя да Коровкина... хотел излить, так сказать...

— Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?

— Поможет, друг мой, поможет, — это, брат, уж такой человек; одно слово: человек науки! Я на него как на каменную гору надеюсь: побеждающий человек! Про семейное счастье как говорит! Я, признаюсь, и на тебя тоже надеялся; думал: ты их урезонишь. Сам рассуди: ну, положим, я виноват, действительно виноват — я понимаю всё это; я не бесчувственный. Ну, да всё же меня можно простить когда-нибудь! Тогда бы мы вот как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя Сашурка, хоть сейчас к венцу! Илюшка мой какой стал! завтра именинник. За Сашурку-то я боюсь — вот что!..

— Дядюшка! где мой чемодан? Я переоденусь и мигом явлюсь, а там...

— В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заране велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб никто не видал. Именно, именно переоденься! Это хорошо, прекрасно, прекрасно! А я покамест там всех понемногу приготовлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит пить сейчас как проснется; оно, знаешь, и лучше... Ну, так я пойду, а ты уж поскорей за мной, не оставляй меня одного: неловко, брат, как-то мне одному-то... Да! постой! вот еще к тебе просьба: не кричи на меня там, как давеча здесь кричал, — а? разве уж потом, если захочешь, что заметить, так, наедине, здесь и заметишь; а до тех пор как-нибудь скрепись, подожди! Я, видишь ли, там уж и так накутил. Они сердятся...

— Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел, мне кажется, что вы...

— Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! — перебил он меня совсем неожиданно. — Что ж, брат, делать! Я уж и сам это знаю. Ну, так ты придешь? Как можно скорее приходи, пожалуйста!

Взойдя наверх, я поспешно открыл чемодан, помня приказание дяди сойти вниз как можно скорее. Одеваясь, я заметил, что еще почти ничего не узнал из того, что хотел узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это меня поразило. Одно только было для меня несколько ясно: дядя всё еще настойчиво хотел, чтоб я женился; следовательно, все противоположные слухи, именно, что дядя влюблен в ту же особу сам, — неуместны. Помню, что я был в большой тревоге. Между прочим, мне пришло на мысль, что я приездом моим и молчанием перед дядей почти произнес обещание, дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно, — думал я, — нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки по рукам и по ногам. А я еще не видал и невесты!» И опять-таки: с чего эта вражда против меня целого семейства? Почему именно все они должны смотреть на мой приезд, как уверяет дядя, враждебно? И что за странную роль играет сам дядя здесь, в своем собственном доме? Отчего происходит его таинственность? отчего все эти испуги и муки? Признаюсь, что всё это представилось мне вдруг чем-то совершенно бессмысленным; а романические и героические мечты мои совсем вылетели из головы при первом столкновении с действительностью. Теперь только, после разговора с дядей, мне вдруг представилась вся нескладность, вся эксцентричность его предложения, и я понял, что подобное предложение, и в таких обстоятельствах, способен был сделать один только дядя. Понял я также, что и сам я, прискакав сюда сломя голову, по первому его слову, в восторге от его предложения, очень походил на дурака. Я одевался поспешно, занятый тревожными моими сомнениями, так что и не заметил сначала прислуживавшего мне слугу.

— Аделаидина цвета изволите галстух надеть или этот, с мелкими клетками? — спросил вдруг слуга, обращаясь ко мне с какою-то необыкновенною, приторною учтивостью.

Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже достоин был любопытства. Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Всё это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Всё это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву *р*, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, — словом, он весь был пропитан деликатностью, субтильностью и необыкновенным чувством собственного достоинства. Последнее обстоятельство, неизвестно почему, мне, сгоряча, не понравилось.

— Так этот галстух аделаидина цвета? — спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.

— Аделаидина-с, — отвечал он с невозмутимою деликатностью.

— А аграфенина цвета нет?

— Нет-с. Такого и быть не может-с.

— Это почему?

— Неприличное имя Аграфена-с.

— Как неприличное? почему?

— Известно-с: Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут называть всякую последнюю бабу-с.

— Да ты с ума сошел или нет?

— Никак нет-с, я при своем уме-с. Всё — конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами; но разговором моим многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-с.

— Да тебя как зовут?

— Видоплясов.

— А! так это ты Видоплясов?

— Точно так-с.

— Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь.

«Однако здесь что-то похоже на бедлам», — подумал я про себя, сходя вниз.

IV

ЗА ЧАЕМ

Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные предвещания дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом всё общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно вылетел на средину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следственно, и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не докончил, покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку.

— Здравствуйте, дядюшка, — проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но, совсем неожиданно, сказав только «здравствуйте».

— Здравствуй, здравствуй, братец, — отвечал страдавший за меня дядя, — ведь мы уж здоровались. Да не конфузься, пожалуйста, — прибавил он шепотом, — это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту ж пору!.. Ну, а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать: вот наш молодой человек; он немного сконфузился, но вы его верно полюбите. Племянник мой, Сергей Александрович, — добавил он, обращаясь ко всем вообще.

Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно всё общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа.

Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, — которого я так желал видеть и который, я уже тогда же чувствовал это, был полновластным владыкою всего дома, — не было: он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить

с первого взгляда: как ни был я сам в ту минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть ли не так же, как я, хотя он и употреблял все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимою непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился: всё в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм его, несмотря на шик, был как-то потерт и скуден; в лице его было что-то как будто тоже потертое. Белобрысые, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевидно, предназначены были предъявлять человека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какою-то выделанною язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный братец, Мизинчиков. Действительно, он был чрезвычайно молчалив. За чаем во всё время он не сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; но я вовсе не заметил в нем никакой «забитости», которую видел в нем дядя; напротив, взгляд его светло-карих глаз выражал решимость и какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив; одет очень прилично — на дядин счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну, по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, — о которой будет особая речь впоследствии, — но не рядом, а несколько сзади, из почтительности; поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей покровительнице. Две-три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется, нарумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то почерневшие и обломанные кусочки; это, однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька. Смиренная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала чай. Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Всё здесь, казалось, было под каким-то запретом. Возле нее сидела прехорошенькая, черноглазая пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня пристально, с детским любопытством, — моя кузина Саша. Наконец, и, может быть, всех более, выдавалась на вид одна престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней

мере лет тридцати пяти. Лицо у ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же она беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое. Она всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детски-веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничьего внимания, точно наперед все в этом условились. Я догадался, что это была Татьяна Ивановна, та самая, в которой, по выражению дяди, было нечто фантасмагорическое, которую навязывали ему в невесты и за которой почти все в доме ухаживали за ее богатство. Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие; и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих «героинь» моего рассказа, я скажу после подробнее: биография ее примечательна. Минут пять после моего появления в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой кузен Илюша, завтрашний именинник, у которого теперь оба кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь. За ним вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пытливым, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Помню, что у меня невольно стукнуло сердце: я догадался, что это была та самая гувернантка... Помню тоже, что дядя при ее появлении вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Сашеньку, чтоб познакомить ее со мной, но та только привстала и молча, с серьезною важностью, мне присела. Это, впрочем, мне понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту добрая тетушка, Прасковья Ильинична, не вытерпела, бросила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня; но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что «видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку-с (генеральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы и не наливаете-с, а они ждут-с», и Прасковья Ильинична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим обязанностям.

Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом кружке и перед которой все ходили по струнке, была тощая и злая старуха, вся одетая в траур, — злая, впрочем, больше от старости и от

потери последних (и прежде еще небогатых) умственных способностей; прежде же она была вздорная. Генеральство сделало ее еще глупее и надменнее. Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол всё, что перед ней ни поставили. Другая манера была совершенно противоположная: красноречивая. Начиналось обыкновенно тем, что бабушка — она ведь была мне бабушка — погружалась в необыкновенное уныние, ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт. Разумеется, открывалось, что она всё давно уж заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силою молчать в «этом доме». «Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то» и т. д. и т. д.; всё это немедленно поддакивалось стаей приживалок, девицей Перепелицыной и, наконец, торжественно скреплялось Фомой Фомичом. В ту минуту, как я представлялся ей, она ужасно гневалась, и, кажется, по первому способу, молчаливому, самому страшному. Все смотрели на нее с боязнью. Одна только Татьяна Ивановна, которой спускалось решительно всё, была в превосходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже с некоторым торжеством, подвел меня к бабушке; но та, сделав кислую гримасу, со злостью оттолкнула от себя свою чашку.

— Это тот вол-ти-жёр? — проговорила она сквозь зубы и нараспев, обращаясь к Перепелицыной.

Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку. Не понимаю, отчего она назвала меня вольтижёром? Но такие вопросы ей были еще нипочем. Перепелицына нагнулась и пошептала ей что-то на ухо; но старуха злобно махнула рукой. Я стоял с разинутым ртом и вопросительно смотрел на дядю. Все переглянулись, а Обноскин даже оскалил зубы, что ужасно мне не понравилось.

— Она, брат, иногда заговаривается, — шепнул мне дядя, тоже отчасти потерявшийся, — но это ничего, она это так; это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри.

— Да, сердце! сердце! — раздался внезапно звонкий голос Татьяны Ивановны, которая всё время не сводила с меня своих глаз и отчего-то не могла спокойно усидеть на месте: вероятно, слово «сердце», сказанное шепотом, долетело до ее слуха.

Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось что-то высказать. Сконфузилась ли она, или что другое, только она вдруг замолчала, покраснела ужасно, быстро нагнулась к гувернантке, пошептала ей что-то на ухо, и вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в исте-

рике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного. Я, конечно, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец мне подали чаю, и я несколько оправился. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами.

— Вы правду сказали, дядюшка, — начал я, — предостерегая меня давеча, что можно сконфузиться. Я откровенно признаюсь — к чему скрывать? — продолжал я, обращаясь с заискивающей улыбкой к мадам Обноскиной, — что до сих пор совсем почти не знал дамского общества, и теперь, когда мне случилось так неудачно войти, мне показалось, что моя поза среди комнаты была очень смешна и отзывалась несколько тюфяком, — не правда ли? Вы читали «Тюфяка»? — заключил я, теряясь всё более и более, краснея за свою заискивающую откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина, который, скаля зубы, всё еще оглядывал меня с головы до ног.

— Именно, именно, именно! — вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренно обрадовавшись, что разговор кое-как завязался и я поправляюсь. — Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что мо́жно сконфузиться. Ну, сконфузился, да и концы в воду! А я, брат, для первого моего дебюта даже соврал — веришь иль нет? Нет, ей-богу, Анфиса Петровна, это, я вам скажу, интересно прослушать. Только что поступил в юнкера, приезжаю в Москву, отправляюсь к одной важной барыне с рекомендательным письмом — то есть надменнейшая женщина была, но, в сущности, право, предобрая, что б ни говорили. Вхожу — принимают. Гостиная полна народу, преимущественно тузы. Раскланялся, сел. Со второго слова она мне: «А есть ли, батюшка, деревеньки?» То есть ни курицы не было, — что отвечать? Сконфузился в прах. Все на меня смотрят (ну, что, юнкеришка!). Ну, почему бы не сказать: нет ничего; и благородно бы вышло, потому что правду бы сказал. Не выдержал! «Есть, говорю, сто семнадцать душ». И к чему я тут эти семнадцать приплел? уж коли врать, так и врал бы круглым числом — не правда ли? Чрез минуту, по рекомендательному же моему письму, оказалось, что я гол как сокол и, вдобавок, соврал! Ну, что было делать? Удрал во все лопатки и с тех пор ни ногой. Ведь у меня тогда еще ничего не было. Это всё, что теперь: триста душ от дядюшки Афанасья Матвеича да двести душ, с Капитоновкой, еще прежде, от бабушки Акулины Панфиловны, итого пятьсот с лишком. Это хорошо! Только я с тех пор закаялся врать и не вру.

— Ну, я бы на вашем месте не закаивался. Бог знает что может случиться, — заметил Обноскин, насмешливо улыбаясь.

— Ну, да, это правда, правда! Бог знает что может случиться, — простодушно поддакнул дядя.

Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на спинку кресла; его маменька улыбнулась; как-то особенно гадко захихикала и

девица Перепелицына; захохотала и Татьяна Ивановна, не зная чему, и даже забила в ладоши, — словом, я видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни во что. Сашенька, злобно сверкая глазками, пристально смотрела на Обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась. Дядя удивился.

— А что? что случилось? — повторил он, с недоумением озирая всех нас.

Во всё это время братец мой, Мизинчиков, сидел поодаль, молча, и даже не улыбнулся, когда все засмеялись. Он усердно пил чай, философически смотрел на всю публику и несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки, порывался засвистать, вероятно, по старой привычке, но вовремя останавливался. Обноскин, задиравший дядю и покушавшийся на меня, как будто не смел и взглянуть на Мизинчикова: я это заметил. Заметил я тоже, что молчаливый братец мой часто посматривал на меня, и даже с видимым любопытством, как будто желая в точности определить, что я за человек.

— Я уверена, — защебетала вдруг мадам Обноскина, — я совершенно уверена, monsieur Serge, — ведь так, кажется? — что вы, в вашем Петербурге, были небольшим обожателем дам. Я знаю, там много, очень много развелось теперь молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это всё вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь на это смотреть, как на непростительное вольнодумство. И признаюсь вам, меня это удивляет, удивляет, молодой человек, просто удивляет!..

— Совершенно не был в обществе, — отвечал я с необыкновенным одушевлением. — Но это... я по крайней мере думаю, ничего-с... Я жил, то есть я вообще нанимал квартиру... но это ничего, уверяю вас. Я буду знаком; а до сих пор я всё сидел дома...

— Занимался науками, — заметил, приосанившись, дядя.

— Ах, дядюшка, вы всё с своими науками!.. Вообразите, — продолжал я с необыкновенною развязностью, любезно осклабляясь и обращаясь снова к Обноскиной, — мой дорогой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то чудодейственного, практического философа, господина Коровкина; и первое слово сегодня ко мне, после стольких лет разлуки, было, что он ждет этого феноменального чудодея с каким-то судорожным, можно сказать, нетерпением... из любви к науке, разумеется...

И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех в похвалу моему остроумию.

— Кто такой? про кого он? — резко проговорила генеральша, обращаясь к Перепелицыной.

— Гостей-с Егор Ильич наприглашали-с, ученых-с; по большим дорогам ездят, их собирают-с, — с наслаждением пропищала девица.

Дядя совсем растерялся.

— Ах, да! я и забыл! — вскричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор, — жду Коровкина. Человек науки, человек останется в столетии...

Он осекся и замолчал. Генеральша махнула рукой и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее волнение.

— Это она всегда, как рассердится, возьмет да и бросит что-нибудь на пол, — шептал мне сконфуженный дядя. — Но это только — когда рассердится... Ты, брат, не смотри, не замечай, гляди в сторону... Зачем ты об Коровкине-то заговорил?..

Но я и без того смотрел в сторону: в эту минуту я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на меня был какой-то упрек, что-то даже презрительное; румянец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким желанием моим сделать дядю смешным, чтоб хоть немного снять смешного с себя, я не очень выиграл в расположении этой девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно!

— А я с вами всё о Петербурге, — залилась опять Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой, утихло. — Я с таким, можно сказать, нас-лаж-дением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице... Мы были очень близко знакомы тогда с одним домом — помнишь, Поль? генерал Половицын... Ах, какое очаровательное, о-ча-ро-вательное существо была генеральша! Ну, знаете, этот аристократизм, beau monde!..[1] Скажите: вы, вероятно, встречались... Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда: я надеялась от вас многое, многое узнать о петербургских друзьях наших...

— Мне очень жаль, что я не могу... извините... Я уже сказал, что очень редко был в обществе, и совершенно не знаю генерала Половицына; даже не слыхивал, — отвечал я с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние духа.

— Занимался минералогией! — с гордостью подхватил неисправимый дядя. — Это, брат, что камушки там разные рассматривает, минералогия-то?

— Да, дядюшка, камни...

— Гм... Много есть наук, и всё полезных! А я ведь, брат, по правде, и не знал, что такое минералогия! Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом — еще так и сяк, а в науках глуп — откровенно каюсь!

— Откровенно каетесь? — подхватил, ухмыляясь, Обноскин.

— Папочка! — вскрикнула Саша, с укоризной смотря на отца.

— Что, душка? Ах, боже мой, я ведь всё прерываю вас, Анфиса Петровна, — спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. — Извините, ради Христа!

---

[1] высший свет (*франц.*).

— О, не беспокойтесь! — отвечала с кисленькою улыбочкой Анфиса Петровна. — Впрочем, я уже всё сказала вашему племяннику и заключу разве тем, monsieur Serge, — так, кажется? — что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки, искусства... ваяние, например... ну, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою о-ба-я-тельную сторону, но они не заменят дам!.. Женщины, женщины, молодой человек, формируют вас, и потому без них невозможно, невозможно, молодой человек, не-воз-можно!

— Невозможно, невозможно! — раздался снова несколько крикливый голос Татьяны Ивановны. — Послушайте, — начала она, как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев, — послушайте, я хочу вас спросить...

— Что прикажете-с? — отвечал я, внимательно в нее вглядываясь.

— Я хотела вас спросить: надолго вы приехали или нет?

— Ей-богу, не знаю-с; как дела...

— Дела! Какие у него могут быть дела?.. О безумец!..

И Татьяна Ивановна, краснея донельзя и закрываясь веером, нагнулась к гувернантке и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши.

— Постойте! постойте! — вскричала она, отрываясь от своей конфидантки и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто боясь, чтоб я не ушел, — послушайте, знаете ли, что я вам скажу? вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека, о-ча-ро-ва-тельного молодого человека!.. Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца — помнишь, Сашенька! еще мы катались и встретили... верхом и в белом жилете... еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник! Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела, высунулась из коляски и закричала ему: «бесстыдник!», а потом бросила на дорогу мой букет... Помнишь, Настенька?

И полупомешанная на амурах девица вся в волнении закрыла лицо руками; потом вдруг вскочила с своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели! В этот раз произошло даже некоторое замешательство, хотя генеральша, как и в первый раз, была совершенно спокойна. Анфиса Петровна, например, была не удивлена, но как будто чем-то вдруг озабочена, и с тоскою посмотрела на своего сына; барышни покраснели, а Поль Обноскин, с какою-то непонятною тогда для меня досадою, встал со стула и подошел к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое лицо вошло в комнату и привлекло на себя всеобщее внимание.

— А! вот и Евграф Ларионыч! легок на помине! — закричал дядя, нелицемерно обрадовавшись. — Что, брат, из города?

«Ну, чудаки! их как будто нарочно собирали сюда!» — подумал я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что происхо-

дило перед моими глазами, не подозревая и того, что и сам я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудаков, явясь между ними.

V

ЕЖЕВИКИН

В комнату вошла, или, лучше сказать, как-то протеснилась (хотя двери были очень широкие), фигурка, которая еще в дверях сгибалась, кланялась и скалила зубы, с чрезвычайным любопытством оглядывая всех присутствовавших. Это был маленький старичок, рябой, с быстрыми и вороватыми глазками, с плешью и с лысиной и с какой-то неопределенной, тонкой усмешкой на довольно толстых губах. Он был во фраке, очень изношенном и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица висела на ниточке; двух или трех совсем не было. Дырявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали с его жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетчатый платок, весь засморканный, которым он обтирал пот со лба и висков. Я заметил, что гувернантка немного покраснела и быстро взглянула на меня. Мне показалось даже, что в этом взгляде было что-то гордое и вызывающее.

— Прямо из города, благодетель! прямо оттуда, отец родной! всё расскажу, только позвольте сначала честь заявить, — проговорил вошедший старичок и направился прямо к генеральше, но остановился на полдороге и снова обратился к дяде:

— Вы уж изволите знать мою главную черту, благодетель: подлец, настоящий подлец! Ведь я, как вхожу, так уж тотчас же главную особу в доме ищу, к ней первой и стопы направляю, чтоб таким образом, с первого шагу, милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель! Позвольте, матушка барыня, ваше превосходительство, платьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу, золотую, генеральскую замараю.

Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, довольно благосклонно.

— И вам, раскрасавица наша, поклон, — продолжал он, обращаясь к девице Перепелицыной. — Что делать, сударыня-барыня: подлец! еще в тысяча восемьсот сорок первом году было решено, что подлец, когда из службы меня исключили, именно тогда, как Валентин Игнатьич Тихонцов в высокоблагородные попал; асессора дали; его в асессоры, а меня в подлецы. А уж я так откровенно создан, что во всем признаюсь. Что делать! пробовал честно жить, пробовал, теперь надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, — продолжал он, обходя стол и пробираясь к Сашеньке, — позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями. Имениннику наше почтение; лук и стрелу вам, ба-

тюшка, привез, сам целое утро делал; ребятишки мои помогали; вот ужо и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите, турке голову срубите. Татьяна Ивановна... ах, да их нет, благодетельницы! а то б и у них платьице поцеловал. Прасковья Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то только к вам не могу, а то б не только ручку, даже и ножку бы вашу поцеловал — вот как-с! Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую. Еще сегодня за вас бога молил, благодетельница, на коленках, со слезами, бога молил и за сыночка вашего тоже, чтоб ниспослал ему всяких чинов и талантов: особенно талантов! Кстати уж и Ивану Ивановичу Мизинчикову наше всенижайшее. Пошли вам господь всё, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь, сударь, чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие такие-с... Здравствуй, Настя; вся моя мелюзга тебе кланяется; каждый день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину большой поклон. Из города, ваше высокородие, прямехонько из города. А это, верно, племянничек ваш, что в ученом факультете воспитывался? Почтение наше всенижайшее, сударь; пожалуйте ручку.

Раздался смех. Понятно было, что старик играл роль какого-то добровольного шута. Приход его развеселил общество. Многие и не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел. Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал просто Настей, краснела и хмурилась. Я было отдернул руку: того только, кажется, и ждал старикашка.

— Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка, если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, покамест еще только пожать. Вы, благодетель, верно меня за барского шута принимаете? — проговорил он, смотря на меня с насмешкою.

— Н... нет, помилуйте, я...

— То-то, батюшка! Коли я шут, так и другой кто-нибудь тут! А вы меня уважайте: я еще не такой подлец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут. Я — раб, моя жена — рабыня, к тому же, польсти, польсти! вот оно что: все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятишкам на молочишко. Сахару, сахару-то побольше во всё подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорю; может, и вам понадобится. Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут.

— Хи-хи-хи! Ах, проказник этот старичок! вечно-то он рассмешит! — пропищала Анфиса Петровна.

— Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком-то лучше на свете проживешь! Знал бы, так с раннего молоду в дураки б записался, авось теперь был бы умный. А то как рано захотел быть умником, так вот и вышел теперь старый дурак.

— Скажите, пожалуйста, — ввязался Обноскин (которому, верно, не понравилось замечание про *таланты*), как-то особенно независимо развалясь в кресле и рассматривая старика в свое

стеклышко, как какую-нибудь козявку, — скажите, пожалуйста... всё я забываю вашу фамилью... как бишь вас?..

— Ах, батюшка! да фамилья-то моя, пожалуй что и Ежевикин, да что в том толку? Вот уж девятый год без места сижу — так и живу себе, по законам природы. А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холмских! Точно как по пословице: у богатого — телята, а у бедного — ребята...

— Ну, да... телята... это, впрочем, в сторону. Ну, послушайте, я давно хотел вас спросить: зачем вы, когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно.

— Зачем оглядываюсь? А всё мне кажется, батюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как муху, оттого и оглядываюсь. Мономан я стал, батюшка.

Опять засмеялись. Гувернантка привстала с места, хотела было идти и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-то больное, страдающее, несмотря на краску, заливавшую ее щеки.

— Это, брат, знаешь кто? — шепнул мне дядя, — ведь это *ее* отец!

Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилия Ежевикин совершенно вылетела у меня из головы. Я геройствовал, всю дорогу мечтал о своей предполагаемой суженой, строил для нее великодушные планы и совершенно позабыл ее фамилию или, лучше сказать, не обратил на это никакого внимания с самого начала.

— Как отец? — отвечал я тоже шепотом. — Да ведь, я думал, она сирота?

— Отец, братец, отец. И знаешь, пречестнейший, преблагороднейший человек, и даже не пьет, а только так из себя шута строит. Бедность, брат, страшная, восемь человек детей! Настенькиным жалованьем и живут. Из службы за язычок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой — ни за что не возьмет. Давал, много раз давал, — не берет! Озлобленный человек!

— Ну что, брат Евграф Ларионыч, что там, у вас, нового? — спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш разговор.

— А что нового, благодетель? Валентин Игнатьич вчера объяснение подавали-с по Тришина делу. У того в бунта́х недовес муки оказался. Это, барыня, тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, изволите помнить? Вот Валентин-то Игнатьич и пишет про Тришина: «Уж если, — говорит он, — часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, — а та с офицером прошлого года сбежала, — так где же, говорит, было ему уберечь казенные вещи?» Это он в бумаге своей так и поместил — ей-богу, не вру-с.

— Фи! Какие вы истории рассказываете! — закричала Анфиса Петровна.

— Именно, именно, именно! Зарапортовался ты, брат Евграф, — поддакнул дядя. — Эй, пропадешь за язык! Человек ты прямой, благородный, благонравный — могу заявить, да язык-то

у тебя ядовитый! И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь! Люди они, кажется, добрые, простые...

— Отец и благодетель! да простого-то человека я и боюсь! — вскричал старик с каким-то особенным одушевлением.

Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежевикину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику мое сочувствие. А может быть, кто знает! может быть, мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны. Но из движения моего ровно ничего не вышло путного.

— Позвольте спросить вас, — сказал я, по обычаю моему покраснев и заторопившись, — слыхали вы про иезуитов?

— Нет, отец родной, не слыхал; так разве что-нибудь... да где нам! А что-с?

— Так... я было, кстати, хотел рассказать... Впрочем, напомните мне при случае. А теперь, будьте уверены, что я вас понимаю и... умею ценить...

И, совершенно смешавшись, я еще раз схватил его за руку.

— Непременно, батюшка, напомню, непременно напомню! Золотыми литерами запишу. Вот, позвольте, и узелок завяжу, для памяти.

И он действительно завязал узелок, отыскав сухой кончик на своем грязном, табачном платке.

— Евграф Ларионыч, берите чаю, — сказала Прасковья Ильинична.

— Тотчас, раскрасавица барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня! Это вам за чаек. Степана Алексеича Бахчеева встретил дорогой, сударыня. Такой развеселый, что на́ тебе! Я уж подумал, не жениться ли собираются? Польсти, польсти! — проговорил он полушепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь. — А что же благодетеля-то главного не видать, Фомы Фомича-с? разве не прибудут к чаю?

Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул на генеральшу.

— Уж я, право, не знаю, — отвечал он нерешительно, с каким-то странным смущением. — Звали его, да он... Не знаю, право, может быть, не в расположении духа. Я уже посылал Видоплясова и... разве, впрочем, мне самому сходить?

— Заходил я к ним сейчас, — таинственно проговорил Ежевикин.

— Может ли быть? — вскрикнул дядя в испуге. — Ну, что ж?

— Наперед всего заходил-с, почтение свидетельствовал. Сказали, что они в уединении чаю напьются, а потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой могут быть сыты, да-с.

Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом.

— Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионыч, ты б рассказал, — проговорил наконец дядя, смотря на старика с тоской и упреком.

— Говорил-с, говорил-с.

— Ну?

— Долго не изволили мне отвечать-с. За математической задачей какой-то сидели, определяли что-то; видно, головоломная задача была. Пифагоровы штаны при мне начертили — сам видел. Три раза повторял; уж на четвертый только подняли головку и как будто впервые меня увидали. «Не пойду, говорят, там теперь *ученый* приехал, так уж где нам быть подле такого светила». Так и изволили выразиться, что подле светила.

И старикашка искоса, с насмешкою, взглянул на меня.

— Ну, так я и ждал! — вскричал дядя, всплеснув руками, — так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что «ученый». Ну, что теперь делать?

— Признаюсь, дядюшка, — отвечал я, с достоинством пожимая плечами, — по-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать и внимания, и я, право, удивляюсь вашему смущению.

— Ох, братец, не знаешь ты ничего! — вскрикнул он, энергически махнув рукой.

— Да уж теперь нечего горевать-с, — ввязалась вдруг девица Перепелицына, — коли все причины злые от вас самих спервоначалу произошли-с, Егор Ильич-с. Снявши голову, по волосам не плачут-с. Послушали бы маменьку-с, так теперь бы и не плакали-с.

— Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь бога! — проговорил дядя умоляющим голосом, как будто напрашиваясь на объяснение.

— Я бога боюсь, Егор Ильич; а происходит всё оттого, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с, — с достоинством отвечала девица Перепелицына. — Отчего вам было, спервоначалу, воли их не уважить-с? Они вам мать-с. А я вам неправды не стану говорить-с. Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в разговор единственно с тою целию, чтоб объявить всем нам, и особенно мне, новоприбывшему, что она сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

— Оттого, что он оскорбляет мать свою, — грозно проговорила наконец сама генеральша.

— Маменька, помилосердуйте! Где же я вас оскорбляю?

— Оттого, что ты мрачный эгоист, Егорушка, — продолжала генеральша, всё более и более одушевляясь.

— Маменька, маменька! где же я мрачный эгоист? — вскричал дядя почти в отчаянии, — пять дней, целых пять дней вы сердитесь на меня и не хотите со мной говорить! А за что? за что? Пусть же судят меня, пусть целый свет меня судит! Пусть, наконец, услышат и мое оправдание. Я долго молчал, маменька; вы не хотели слушать меня: пусть же теперь люди меня услышат. Анфиса Петровна! Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч!

Сергей, друг мой! ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить...

— Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь, — вскрикнула Анфиса Петровна, — не убивайте маменьку!

— Я не убью маменьку, Анфиса Петровна; но вот грудь моя — разите! — продолжал дядя, разгоряченный до последней степени, что бывает иногда с людьми слабохарактерными, когда их выведут из последнего терпения, хотя вся горячка их походит на огонь от зажженной соломы, — я хочу сказать, Анфиса Петровна, что я никого не оскорблю. Я и начну с того, что Фома Фомич благороднейший, честнейший человек и, вдобавок, человек высших качеств, но... но он был несправедлив ко мне в этом случае.

— Гм! — промычал Обноскин, как будто желая поддразнить еще более дядю.

— Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бесчувственный столб? Ведь я вижу, ведь я понимаю, со слезами сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразумения от излишней любви *его* ко мне происходят. Но, воля ваша, он, ей-богу, несправедлив в этом случае. Я всё расскажу. Я хочу рассказать теперь эту историю, Анфиса Петровна, во всей ее ясности и подробности, чтоб видели, с чего дело вышло и справедливо ли на меня сердится маменька, что я не угодил Фоме Фомичу. Выслушай и ты меня, Сережа, — прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во всё продолжение рассказа, как будто бы боясь других слушателей и сомневаясь в их сочувствии, — выслушай и ты меня, и реши: прав я или нет. Вот видишь, вот с чего началась вся история: неделю назад — да, именно не больше недели, — проезжает через наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, с супругою и свояченицею. Останавливаются на время. Я поражен. Спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет. То есть благороднейший человек, я тебе скажу; блестит добродетелями и, вдобавок, вельможа! Свояченицу свою облагодетельствовал; одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека (теперь стряпчим в Малинове; еще молодой человек, но с каким-то, можно сказать, универсальным образованием!) — словом, из генералов генерал! Ну, у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикасеи; музыку выписываю. Я, разумеется, рад и смотрю именинником! Не понравилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником! Сидел за столом — помню еще, подавали его любимый киселек со сливками, — молчал-молчал да как вскочит: «Обижают меня, обижают!» — «Да чем же, говорю, тебя, Фома Фомич, обижают?» — «Вы теперь, говорит, мною пренебрегаете; вы генералами теперь занимаетесь; вам теперь генералы дороже меня!» Ну, разумеется, я теперь всё это вкратце тебе передаю; так сказать, одну только сущность; но если бы ты знал, что он еще говорил... словом, потряс всю мою душу! Что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом; фра-

пировало меня это, можно сказать; хожу как мокрый петух. Наступает торжественный день. Генерал присылает сказать, что не может: извиняется — значит, не будет. Я к Фоме: «Ну, Фома, успокойся! Не будет!» Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только! «Обидели, говорит, меня, да и только!» Я и так и сяк. «Нет, говорит, ступайте к своим генералам; вам генералы дороже меня; вы узы дружества, говорит, разорвали». Друг ты мой! ведь я понимаю, за что он сердится. Я не столб, не баран, не тунеядец какой-нибудь! Ведь это он из излишней любви ко мне, так сказать, из ревности делает — он это сам говорит, — он ревнует меня к генералу, расположение мое боится потерять, испытывает меня, хочет узнать, чем я для него могу пожертвовать. «Нет, говорит, я сам для вас всё равно, что генерал, я сам для вас ваше превосходительство! Тогда помирюсь с вами, когда вы мне свое уважение докажете». — «Чем же я тебе докажу мое уважение, Фома Фомич?» — «А называйте, говорит, меня целый день: ваше превосходительство; тогда и докажете уважение». Упадаю с облаков! Можешь представить себе мое удивление! «Да послужит это, говорит, вам уроком, чтоб вы не восхищались вперед генералами, когда и другие люди, может, еще почище ваших всех генералов!» Ну, тут уж и я не вытерпел, каюсь! открыто каюсь! «Фома Фомич, говорю, разве это возможное дело? Ну, могу ли я решиться на это? Разве я могу, разве я вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну, как я скажу тебе: ваше превосходительство? Да ведь это, так сказать, посягновение на величие судеб! Да ведь генерал служит украшением отечеству: генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил! Как же я тебе-то скажу: ваше превосходительство?» Не унимается, да и только! «Что хочешь, говорю, Фома, всё для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них мало патриотизма, — я сбрил, поморщился, а сбрил. Мало того, сделаю всё, что тебе будет угодно, только откажись от генеральского сана!» — «Нет, говорит, не помирюсь до тех пор, пока не скажут: ваше превосходительство! Это, говорит, для нравственности вашей будет полезно: это смирит ваш дух!» — говорит. И вот теперь уж неделю, целую неделю говорить не хочет со мной; на всех, кто ни приедет, сердится. Про тебя услыхал, что ученый, — это я виноват: погорячился, разболтал! — так сказал, что нога его в доме не будет, если ты в дом войдешь. «Значит, говорит, уж я теперь для вас не ученый». Вот беда будет, как узнает теперь про Коровкина! Ну помилуй, ну посуди, ну чем же я тут виноват? Ну неужели ж решиться сказать ему «ваше превосходительство»? Ну можно ли жить в таком положении? Ну за что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал? Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии; да ведь и я не сочинил астрономии, да ведь и ты не сочинил астрономии... Ну за что, за что?

— А за то, что ты завистлив, Егорушка, — промямлила опять генеральша.

— Маменька! — вскричал дядя в совершенном отчаянии, — вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы чужие речи переговариваете, маменька! Я, наконец, столбом, тумбой, фонарем делаюсь, а не вашим сыном!

— Я слышал, дядюшка, — перебил я, изумленный до последней степени рассказом, — я слышал от Бахчеева — не знаю, впрочем, справедливо иль нет, — что Фома Фомич позавидовал именинам Илюши и утверждает, что и сам он завтра именинник. Признаюсь, эта характеристическая черта так меня изумила, что я...

— Рожденье, братец, рожденье, не именины, а рожденье! — скороговоркою перебил меня дядя. — Он не так только выразился, а он прав: завтра его рожденье. Правда, брат, прежде всего...

— Совсем не рожденье! — крикнула Сашенька.

— Как не рожденье? — крикнул дядя, оторопев.

— Вовсе не рожденье, папочка! Это вы просто неправду говорите, чтоб самого себя обмануть да Фоме Фомичу угодить. А рожденье его в марте было, — еще, помните, мы перед этим на богомолье в монастырь ездили, а он сидеть никому не дал покойно в карете: всё кричал, что ему бок *раздавила* подушка, да щипался; тетушку со злости два раза ущипнул! А потом, когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассердился, зачем не было камелий в нашем букете. «Я, говорит, люблю камелии, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжерее нарвать». И целый день киснул да куксился, с нами говорить не хотел...

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание — и кого же? — девочки, которой даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии. Генеральша, немая от изумления и от бешенства, привстала, выпрямилась и смотрела на дерзкую внучку свою, не веря глазам. Дядя обмер от ужаса.

— Экую волю дают! уморить хотят бабиньку-с! — крикнула Перепелицына.

— Саша, Саша, опомнись! что с тобой, Саша? — кричал дядя, бросаясь то к той, то к другой, то к генеральше, то к Сашеньке, чтоб остановить ее.

— Не хочу молчать, папочка! — закричала Саша, вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками, — не хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича, из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы Фомича! Потому что Фома Фомич всех нас погубит, потому что ему то и дело толкуют, что он умница, великодушный, благородный, ученый, смесь всех добродетелей, попурри какое-то, а Фома Фомич, как дурак, всему и поверил! Столько сладких блюд ему нанесли, что другому бы совестно стало, а Фома Фомич скушал всё, что перед ним ни поставили, да и еще просит. Вот вы увидите, всех нас съест, а вино-

ват всему папочка! Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу, никого не боюсь! Он глуп, капризен, замарашка, неблагодарный, жестокосердый, тиран, сплетник, лгунишка... Ах, я бы непременно, непременно, сейчас же прогнала его со двора, а папочка его обожает, а папочка от него без ума!..

— Ах!.. — вскрикнула генеральша и покатилась в изнеможении на диван.

— Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел мой! — кричала Анфиса Петровна, — возьмите мой флакон! Воды, скорее воды!

— Воды, воды! — кричал дядя, — маменька, маменька, успокойтесь! на коленях умоляю вас успокоиться!..

— На хлеб на воду вас посадить-с, да из темной комнаты не выпускать-с... человекоубийцы вы эдакие! — прошипела на Сашеньку дрожавшая от злости Перепелицына.

— И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! — кричала Сашенька, в свою очередь пришедшая в какое-то самозабвение. — Я папочку защищаю, потому что он сам себя защитить не умеет. Кто он такой, кто он, ваш Фома Фомич, перед папочкою? У папочки хлеб ест да папочку же и унижает, неблагодарный! Да я б его разорвала в куски, вашего Фому Фомича! На дуэль бы его вызвала да тут бы и убила из двух пистолетов...

— Саша! Саша! — кричал в отчаянии дядя. — Еще одно слово — и я погиб, безвозвратно погиб!

— Папочка! — вскричала Саша, вдруг стремительно бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обвив его своими ручками, — папочка! ну вам ли, доброму, прекрасному, веселому, умному, вам ли, вам ли так себя погубить? Вам ли подчиняться этому скверному, неблагодарному человеку, быть его игрушкой, на смех себя выставлять? Папочка, золотой мой папочка!..

Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Девица Перепелицына увивалась около них и бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна смачивала виски генеральши водою и возилась с своим флаконом. Прасковья Ильинична трепетала и заливалась слезами; Ежевикин искал уголка, куда бы забиться, а гувернантка стояла бледная, совершенно потерявшись от страха. Один только Мизинчиков оставался совершенно по-прежнему. Он встал, подошел к окну и принялся пристально смотреть в него, решительно не обращая внимания на всю эту сцену.

Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпрямилась и обмерила меня грозным взглядом.

— Вон! — крикнула она, притопнув на меня ногою.

Я должен признаться, что этого совершенно не ожидал.

— Вон! вон из дому; вон! Зачем он приехал? чтоб и духу его не было! вон!

— Маменька! маменька, что вы! да ведь это Сережа, — бормотал дядя, дрожа всем телом от страха. — Ведь он, маменька, к нам в гости приехал.

— Какой Сережа? вздор! не хочу ничего слышать; вон! Это Коровкин. Я уверена, что это Коровкин. Меня предчувствие не обманывает. Он приехал Фому Фомича выживать; его и выписали для этого. Мое сердце предчувствует... Вон, негодяй!

— Дядюшка, если так, — сказал я, захлебываясь от благородного негодования, — если так, то я... извините меня... — И я схватился за шляпу.

— Сергей, Сергей, что ты делаешь?.. Ну, вот теперь этот... Маменька! ведь это Сережа!.. Сергей, помилуй! — кричал он, гоняясь за мной и силясь отнять у меня шляпу, — ты мой гость, ты останешься — я хочу! Ведь это она только так, — прибавил он шепотом, — ведь это она только когда рассердится... Ты только теперь, первое время, спрячься куда-нибудь... побудь где-нибудь — и ничего, всё пройдет. Она тебя простит — уверяю тебя! Она добрая, а только так, заговаривается... Слышишь, она принимает тебя за Коровкина, а потом простит, уверяю тебя... Ты чего? — закричал он дрожавшему от страха Гавриле, вошедшему в комнату.

Гаврила вошел не один; с ним был дворовый парень, мальчик лет шестнадцати, прехорошенький собой, взятый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его Фалалеем. Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту позументом, с золотым галунным поясом, в черных плисовых шароварах и в козловых сапожках, с красными отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральши. Мальчик прегорько рыдал, и слезы одна за другой катились из больших голубых глаз его.

— Это еще что? — вскричал дядя, — что случилось? Да говори же, разбойник!

— Фома Фомич велел быть сюда; сами вослед идут, — отвечал скорбный Гаврила, — мне на экзамент, а он...

— А он?

— Плясал-с, — отвечал Гаврила плачевным голосом.

— Плясал! — вскрикнул в ужасе дядя.

— Пля-сал! — проревел Фалалей всхлипывая.

— Комаринского?

— Ко-ма-ринского!

— А Фома Фомич застал?

— Зас-тал!

— Дорезали! — вскрикнул дядя, — пропала моя голова! — и обеими руками схватил себя за голову.

— Фома Фомич! — возвестил Видоплясов, входя в комнату.

Дверь отворилась, и Фома Фомич сам, своею собственною особою, предстал перед озадаченной публикой.

VI

ПРО БЕЛОГО БЫКА И ПРО КОМАРИНСКОГО МУЖИКА

Но прежде, чем я буду иметь честь лично представить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фалалее и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фалалей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, переселясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остался вверху, при господах: настояла в этом сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду — он всё считал за обиду — и отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фалалей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им, как хорошенькой, редкой игрушкой; и еще неизвестно, кого она больше любила: свою ли маленькую, курчавенькую собачку Ами или Фалалея? Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было счесть дурачком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идет к господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда барыня падает в обморок или когда уж слишком забранят его барина. Он сочувствует всякому несчастью. Иногда подходит к генеральше, целует ее руки и просит, чтоб она не сердилась, — и генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добр и незлобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок. Со стола ему подают подачку.

Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его своими крепкими, белыми, как молоко, зубами, и неописанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике.

Долго гневался Фома Фомич; но, рассудив наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благодетелем Фалалею. Разбранив сперва дядю за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, он решил немедленно обучать бедного мальчика

нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как! — говорил он, защищая свою нелепую мысль (мысль, приходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему свидетелем пишущий эти строки), — как! он всегда вверху при своей госпоже; вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, донне муа мон мушуар — он должен и тут найтись и тут услужить!» Но оказалось, что не только нельзя было Фалалея выучить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку! Фалалей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того: из этого даже вышла история. Дворовые стали дразнить Фалалея французом, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он, в наказание, заставил учиться по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господина Бахчеева. Насчет манер было еще хуже: Фома решительно не мог образовать по-своему Фалалея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны, что Фома Фомич, с своей стороны, находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за всё это прежде всех доставалось дяде.

— Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал? — кричит, бывало, Фома, для большего эффекта выбрав время, когда все в сборе. — Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше систематическое баловство? Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом, и, знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда, поди сюда, нелепая душа, поди сюда, идиот, румяная ты рожа!..

Фалалей подходит плача, утирая обеими руками глаза.

— Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех!

Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

— Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пирога, как Мартын мыла!» Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более в высшем? Сказал ты это иль нет? говори!

— Ска-зал!.. — подтверждает Фалалей, всхлипывая.

— Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

— Молчание.

— Я тебя спрашиваю, — пристает Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек — кто-нибудь должен же быть. Отвечай!

— Дво-ро-вый че-ло-век, — отвечает наконец Фалалей, продолжая плакать.

— Чей? чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах.

Как нарочно случилось так, что на другой же день после истории с Мартыновым мылом Фалалей, принеся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и Мартына и всё вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще недоставало! Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его за неприличие сна, виденного *его* Фалалеем. В этот раз были приняты строгие меры: Фалалей был наказан; он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые, мужицкие сны. «Я за что сержусь, — говорил Фома, — кроме того, что он по-настоящему не должен бы сметь и подумать лезть ко мне с своими снами, тем более с белым быком; кроме этого — согласитесь сами, полковник, — что такое белый бык, как не доказательство грубости, невежества, мужичества вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли, таковы и сны. Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет и что не следовало оставлять его вверху, при господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную, простонародную душу во что-нибудь возвышенное, поэтическое. Разве ты не можешь, — продолжал он, обращаясь к Фалалею, — разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фалалей обещал непременно увидать в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду.

Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом бога и долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть проклятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивы. Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка и не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть, и самим полковником, чтоб сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру захворала; весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божию ночь, Фалалей

постоянно видел белого быка, и одного только белого быка! О высшем обществе нечего было и думать.

Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог догадаться солгать: просто — сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и Фомой Фомичом; тем более что солгать, в таком крайнем случае, было даже не так и грешно. Но Фалалей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же мгновение и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым: Фалалей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и спрыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогало!

— Да пусто б его взяло, треклятого! — рассказывал Фалалей, — каждую ночь снится! каждый раз с вечера молюсь: «Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка!» А он тут как тут, проклятый, стоит передо мной, большой, с рогами, тупогубый такой, у-у-у!

Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка: у него случились другие дела, другие заботы; другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фалалею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем; даже белый бык начал появляться реже и реже, хотя всё еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, всё бы пошло хорошо, если б не было на свете комаринского.

Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал; это была его главная способность, даже нечто вроде призвания; он плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он комаринского мужика. Не то чтоб ему уж так очень нравились легкомысленные и во всяком случае необъяснимые поступки этого ветреного мужика — нет, ему нравилось плясать комаринского единственно потому, что слушать комаринского и не плясать под эту музыку было для него решительно невозможно. Иногда, по вечерам, два-три лакея, кучера́, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дворовых дам собирались в кружок, где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича; начинались музыка, танцы и под конец торжественно вступал в свои права и комаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управ-

лялся форейтор Митюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с Фалалеем: он плясал до забвенья самого себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши; он плясал, как будто увлекаемый постороннею, непостижимою силою, с которой не мог совладать и упрямо силился догнать всё более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения; и всё бы это шло хорошо и весело, если б слух о комаринском не достиг наконец Фомы Фомича.

Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником.

— Я хотел от вас только об одном узнать, полковник, — начал Фома, — совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота или не совершенно? В первом случае я тотчас же отстраняюсь; если же не совершенно, то я...

— Да что такое? что случилось? — вскричал испуганный дядя.

— Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет комаринского?

— Ну... ну что ж?

— Как ну что ж? — взвизгнул Фома. — И говорите это вы — вы, их барин и даже, в некотором смысле, отец! Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое комаринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только пол кабака! Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это иль нет?

— Но, Фома... Да ведь это только песня, Фома...

— Как только песня! И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню — вы, член благородного общества, отец благонравных и невинных детей и, вдобавок, полковник! Только песня! Но я уверен, что эта песня взята с истинного события! Только песня! Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?

— Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал в простоте души сконфуженный дядя.

— Как! я знаю? я... я... то есть я!.. Обидели! — вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа.

Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и *ненаходчивость* своего ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву: поймать на месте преступления Фалалея, тан-

цующего комаринского. По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст он в случае успеха всему дому и в особенности полковнику. Наконец неусыпные труды его увенчались успехом: он застал комаринского! Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего Фалалея и услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича, так неожиданно и в такую хлопотливую минуту представшего перед нами своею собственною особою.

VII

ФОМА ФОМИЧ

Я с напряженным любопытством рассматривал этого господина. Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким человечком. Фома был мал ростом, белобрысый и с проседью, с горбатым носом и с мелкими морщинками по всему лицу. На подбородке его была большая бородавка. Лет ему было под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педантской фигурке. К удивлению моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки шлафроке и, вдобавок, в туфлях. Воротничок его рубашки, не подвязанный галстухом, был отложен á l'enfant;[1] это придавало Фоме Фомичу чрезвычайно глупый вид. Он подошел к незанятому креслу, придвинул его к столу и сел, не сказав никому ни слова. Мгновенно исчезли вся суматоха, всё волнение, бывшие за минуту назад. Всё притихло так, что можно было расслышать пролетевшую муху. Генеральша присмирела, как агнец. Всё подобострастие этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагляделась на свое нéщечко, впилась в него глазами. Девица Перепелицына, осклабляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно захлопотал.

— Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще. Ведь тебе послаще, Фома?

— Не до чаю мне вашего теперь! — проговорил Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув рукой. — Вам бы всё, что послаще!

Эти слова и смешной донельзя, по своей педантской важности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне любопытно

[1] по фасону детских рубашек (*франц.*).

было узнать, до чего, до какого забвения приличий дойдет наконец наглость этого зазнавшегося господчика.

— Фома! — крикнул дядя, — рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

— Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, — проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания. — Вам о деле говорят, а вы — бог знает о чем... *трактуете*... Видели вы Фалалея?

— Видел, Фома...

— А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели. Можете полюбоваться на ваше произведение... в нравственном смысле. Поди сюда, идиот! поди сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся!

Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

— С намерением назвал я его голландской рожей, Павел Семеныч, — заметил он, развалясь в кресле и слегка поворотясь к сидевшему рядом Обноскину, — да и вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в каком случае. Правда должна быть правдой. А чем ни прикрывайте грязь, она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться, смягчать? себя и людей обманывать! Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий. Скажите — беру вас судьей, — находите вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное, возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?

Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым равнодушием.

— В нем прекрасное? — отвечал Обноскин с какою-то нахальною небрежностью. — Мне кажется, это просто порядочный кусок ростбифа — и ничего больше...

— Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него, — продолжал Фома, торжественно пропуская местоимение *я*. — Далеко не считаю себя красавцем, но поневоле пришел к заключению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь Фалалея. Это мысль, это жизнь, это ум в этом глазе! Не хвалюсь именно собой. Говорю вообще о нашем сословии. Теперь, как вы думаете: может ли быть хоть какой-нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок души в этом живом бифстексе? Нет, в самом деле, заметьте, Павел Семеныч, как у этих *людей*, совершенно лишенных мысли и идеала и едящих одну говядину, как у них всегда отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо свеж! Угодно вам узнать степень его мышления? Эй, ты, статья! подойди же поближе, дай на себя полюбоваться! Что ты рот разинул? кита, что ли, проглотить хочешь? Ты прекрасен? Отвечай: ты прекрасен?

— Прек-ра-сен! — отвечал Фалалей с заглушенными рыданиями.

Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что начинаю дрожать от злости.

— Вы слышали? — продолжал Фома, с торжеством обращаясь к Обноскину. — То ли еще услышите! Я пришел ему сделать экзамен. Есть, видите ли, Павел Семеныч, люди, которым желательно развратить и погубить этого жалкого идиота. Может быть, я строго сужу, ошибаюсь; но я говорю из любви к человечеству. Он плясал сейчас самый неприличный из танцев. Никому здесь до этого нет и дела. Но вот сами послушайте. Отвечай: что ты делал сейчас? отвечай же, отвечай немедленно — слышишь?

— Пля-сал... — проговорил Фалалей, усиливая рыдания.

— Что же ты плясал? какой танец? говори же!

— Комаринского...

— Комаринского! А кто этот комаринский? Что такое комаринский? Разве я могу понять что-нибудь из этого ответа? Ну же, дай нам понятие: кто такой твой комаринский?

— Му-жик...

— Мужик! только мужик? Удивляюсь! Значит, замечательный мужик! значит, это какой-нибудь знаменитый мужик, если о нем уже сочиняются поэмы и танцы? Ну, отвечай же!

Тянуть жилы была потребность Фомы. Он заигрывал с своей жертвой, как кошка с мышкой; но Фалалей молчит, хнычет и не понимает вопроса.

— Отвечай же! — настаивает Фома, — тебя спрашивают: какой это мужик? говори же!.. господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический? Много есть мужиков...

— Э-ко-но-ми-ческий...

— А, экономический! Слышите, Павел Семеныч? новый исторический факт: комаринский мужик — экономический. Гм!.. Ну, что же сделал этот экономический мужик? за какие подвиги его так воспевают и... выплясывают?

Вопрос был щекотливый, а так как относился к Фалалею, то и опасный.

— Ну... вы... однако ж... — заметил было Обноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? капризы Фомы Фомича считались законами.

— Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого дурака, ведь он... Слышите, до чего он добирается? Фалалей что-нибудь соврет, уверяю вас... — шепнул я дяде, который потерялся и не знал, на что решиться.

— Ты бы, однако ж, Фома... — начал он, — вот я рекомендую тебе, Фома, мой племянник, молодой человек, занимался минералогией...

— Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего не

знаете, а может быть, и *другие* тоже. Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо того чтобы трудиться для блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал по улице. В этом, как известно, и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Не беспокойтесь, он *теперь* знает, что ему отвечать. Ну, отвечай же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в рот положил. Я именно от самого тебя хочу слышать, что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу, что его уже воспевают трубадуры? Ну?

Несчастный Фалалей в тоске озирался кругом и в недоумении, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась, вытащенный из воды на песок.

— Стыдно ска-зать! — промычал он наконец в совершенном отчаянии.

— А! стыдно сказать! — подхватил Фома, торжествуя. — Вот этого-то ответа я и добивался, полковник! Стыдно сказать, а не стыдно делать? Вот нравственность, которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь... поливаете. Но нечего терять слова! Ступай теперь на кухню, Фалалей. Теперь я тебе ничего не скажу из уважения к публике; но сегодня же, сегодня же ты будешь жестоко и больно наказан. Если же нет, если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оставайся здесь и утешай своих господ комаринским, а я сегодня же выйду из этого дома! Довольно! Я сказал. Ступай!

— Ну уж вы, кажется, строго... — промямлил Обноскин.

— Именно, именно, именно! — крикнул было дядя, но оборвался и замолчал. Фома мрачно на него покосился.

— Удивляюсь я, Павел Семеныч, — продолжал он, — что ж делают после этого все эти современные литераторы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на то, какие песни поет русский народ и под какие песни пляшет русский народ? Что ж делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Борозды? Удивляюсь! Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки! Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления и не бросят свои незабудочки? Это социальный вопрос! Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях — я и на это согласен, — но преисполненного добродетелями, которым — я это смело говорю — может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает: потому и говорю это. Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам богач, в умилении души, принесет ему наконец

свое золото; пусть даже при этом случае произойдет соединение добродетели мужика с добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи. Селянин и вельможа, столь разъединенные на ступенях общества, соединяются наконец в добродетелях — это высокая мысль! А то что мы видим? С одной стороны, незабудочки, а с другой — выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем любоваться? где ум? где грация? где нравственность? Недоумеваю!

— Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие слова! — проговорил Ежевикин с восхищенным видом.

— А ведь черта лысого с меня и получит, — прошептал он мне потихоньку. — Польсти, польсти!

— Ну, да... это вы хорошо изобразили, — промямлил Обноскин.

— Именно, именно, именно! — вскрикнул дядя, слушавший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с торжеством.

— Тема-то какая завязалась! — шепнул он, потирая руки. — Многосторонний разговор, черт возьми! Фома Фомич, вот мой племянник, — прибавил он от избытка чувств. — Он тоже занимался литературой, — рекомендую.

Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего внимания на рекомендацию дяди.

— Ради бога, не рекомендуйте меня более! я вас серьезно прошу, — шепнул я дяде с решительным видом.

— Иван Иваныч! — начал вдруг Фома, обращаясь к Мизинчикову и пристально смотря на него, — вот мы теперь говорили: какого вы мнения?

— Я? вы меня спрашиваете? — с удивлением отозвался Мизинчиков, с таким видом, как будто его только что разбудили.

— Да, вы-с. Спрашиваю вас потому, что дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которые умны потому только, что их *беспрестанно рекомендуют* за умников, за *ученых,* а иной раз и нарочно выписывают, чтоб показывать их в балагане или вроде того.

Камень был пущен прямо в мой огород. И, однако ж, не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня, чтоб ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага петербургского ученого, умника. Я, по крайней мере, не сомневался в этом.

— Если вы хотите знать мое мнение, то я... я с вашим мнением согласен, — отвечал Мизинчиков вяло и нехотя.

— Вы всё со мной согласны! даже тошно становится, — заметил Фома. — Скажу вам откровенно, Павел Семеныч, — продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь к Обноскину, — если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрола Силина»: это

высокий эпос! это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!

— Именно, именно, именно! высокая *эпоха*! Фрол Силин, благодетельный человек! Помню, читал; *еще* выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, — поддакнул дядя, сияя от удовольствия.

Бедный дядя! Он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в *ученый* разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал.

— Впрочем, и теперь пишут занимательно, — осторожно вмешалась Анфиса Петровна. — Вот, например, «Брюссельские тайны».

— Не скажу-с, — заметил Фома, как бы с сожалением. — Читал я недавно одну из поэм... Ну, что! «Незабудочки»! А если хотите, из новейших мне более всех нравится «Переписчик» — легкое перо!

— «Переписчик»! — вскрикнула Анфиса Петровна, — это тот, который пишет в журнал письма? Ах, как это восхитительно! какая игра слов!

— Именно, игра слов. Он, так сказать, играет пером. Необыкновенная легкость пера!

— Да; но он педант, — небрежно заметил Обноскин.

— Педант, педант — не спорю; но милый педант, но грациозный педант! Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики; но увлекаешься легкостью! Пустослов — согласен; но милый пустослов, но грациозный пустослов! Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья?

— Поместья? — подхватил дядя, — это хорошо! Которой губернии?

Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном:

— Ну, скажите ради здравого смысла: для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместья? Есть — так поздравляю вас с этим! Но как мило, как это шутливо описано! Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит! Это какой-то Нарзан остроумия! Да, вот как надо писать! Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах...

— Может, и лучше еще-с, — почтительно заметил Ежевикин.

— Даже что-то мелодическое в слоге! — поддакнул дядя.

Фома Фомич наконец не вытерпел.

— Полковник, — сказал он, — нельзя ли вас попросить — конечно, со всевозможною деликатностью — не мешать нам и позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете! Не расстроивайте же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но... оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас!

Это уже превышало верх всякой дерзости! Я не знал, что подумать.

— Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое, — с тоскою произнес сконфуженный дядя.

— Так-с. Но я говорил с знанием дела, я говорил кстати; а вы?

— Да-с, мы-то с умом говорили-с, — подхватил Ежевикин, увиваясь около Фомы Фомича. — Ума-то у нас так немножко-с, занимать приходится, разве-разве что на два министерства хватит, а нет, так мы и с третьим управимся, — вот как у нас!

— Ну, значит, опять соврал! — заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкою.

— По крайней мере, сознаетесь, — заметил Фома.

— Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что ты, как друг, меня останавливаешь, как родной, как брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом! Это дельно, дельно! Это для моей же пользы! Благодарю и воспользуюсь!

Терпение мое истощалось. Всё, что я до сих пор по слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же, когда я увидел всё сам, на деле, изумлению моему не было пределов. Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной стороны, и такого добровольного рабства, такого легковерного добродушия — с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен такою дерзостью. Это было видно... Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему поазартнее, — а там что бы ни было! Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся: Фома решительно не хотел замечать меня.

— Правду, правду ты говоришь, Фома, — продолжал дядя, всеми силами стараясь понравиться и хоть чем-нибудь замять неприятность предыдущего разговора. — Это ты правду режешь, Фома, благодарю. Надо знать дело, а потом уж и рассуждать о нем. Каюсь! Я уже не раз бывал в таком положении. Представь себе, Сергей, я один раз даже экзаменовал... Вы смеетесь! Ну вот, подите! Ей-богу, экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаминаторами, так, для почету, лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх какой-то напал: решительно ни одной науки не знаю! Что делать! Вот-вот, думаю, самого к доске потянут! Ну, а потом — ничего, обошлось; даже сам вопросы задавал, спросил: кто был Ной? Вообще превосходно отвечали; потом завтракали и за процветание пили шампанское. Отличное заведение!

Фома Фомич и Обноскин покатились со смеху.

— Да я и сам потом смеялся, — крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. — Нет, Фома, уж куда ни шло! распотешу я вас всех, расскажу, как я один раз срезался... Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске...

— Позвольте вас спросить, полковник: долго вы будете рассказывать вашу историю? — перебил Фома.

— Ах, Фома! да ведь это чудеснейшая история; просто лопнуть со смеху можно. Ты только послушай: это хорошо, ей-богу хорошо. Я расскажу, как я срезался.

— Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом роде, — проговорил Обноскин, зевая.

— Нечего делать, приходится слушать, — решил Фома.

— Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу рассказать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске (начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой и торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публики). Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропаткина; потом еще с штаб-ротмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес и опустили... То есть бестия был этот Зверков, и попить и в картины заняться, и не то чтобы пьяница, а так, готов с товарищами разделить минуту. Но как запьет настоящим образом, так уж тут всё забыл: где живет, в каком государстве, как самого зовут? — словом, решительно всё; но в сущности превосходнейший малый... Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым... Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, шесть мы уж не видались. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь, слышал недавно, — уже действительный статский; в статскую службу перешел, до больших чинов дослужился... Ну, разумеется, обрадовались. То да се. А рядом с нами в ложе сидят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не производил... После узнал: превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа... Ну-с, вот я, как дурак, и бряк Корноухову: «Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехала?» — «Которая это?»— «Да эта». — «Да это моя двоюродная сестра». Тьфу, черт! Судите о моем положении! Я, чтоб поправиться: «Да нет, говорю, не эта. Эк у тебя глаза! Вот та, которая оттуда сидит: кто эта?» — «Это моя сестра». Тьфу ты пропасть! А сестра его, как нарочно, розанчик-розанчиком, премилушка; так разодета: брошки, перчаточки, браслетики, — словом сказать, сидит херувимчиком; после вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина; она с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь всё это как следует: и богато живут; отцы не нарадуются!.. Ну-с, вот. «Да нет! — кричу, а сам не знаю, куда провалиться, — не эта!» — «Вот в середине-то которая?» — «Да, в середине». — «Ну, брат, это жена моя»... Между нами: объедение, а не дамочка! то есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия... «Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же: руби, не жалей!» Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал, проказник. Что-то очень смеялись! И, признаюсь, никогда еще так весело не прово-

дил время. Так вот как иногда, брат Фома, можно срезаться! Ха-ха-ха-ха!

Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое молчание было ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии, а за ним и все; только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме.

— Кончили ль вы? — спросил он наконец с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику.

— Кончил, Фома.

— И рады?

— То есть как это рад, Фома? — с тоскою отвечал бедный дядя.

— Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие?

— Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а ты...

— Развеселить? — вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась, — но вы способны навести уныние, а не развеселить. Развеселить! Но знаете ли, что ваша история была почти безнравственна? Я уже не говорю: неприлична, — это само собой... Вы объявили сейчас, с редкою грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, оттого только, что она не имела чести вам понравиться. И нас же, нас хотели заставить смеяться, то есть поддакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и всё потому только, что вы хозяин этого дома! Воля ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов, партнеров, можете даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту, в ущерб прямодушию и откровенному благородству души; но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим! В чем другом, а уж в этом я вас заверяю!..

— Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!

— Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь понимаю! Вас гложет самое неограниченное самолюбие; вы с претензиями на недосягаемую остроту ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы...

— Да полно же, Фома, ради бога! Постыдись хоть людей!..

— Да ведь грустно же видеть всё это, полковник, а видя, — невозможно молчать. Я беден, я *проживаю* у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я льщу вам моим молчанием; а я не хочу, чтоб какой-нибудь *молокосос* мог принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, входя сюда давеча, даже нарочно усилил мою правдивую откровенность, нарочно принужден был дойти даже до грубости, именно потому, что вы сами ставите меня в такое положение. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могут счесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удо-

вольствие унижать меня перед *незнакомыми,* тогда как я вам равен, слышите ли? равен во всех отношениях. Может быть, даже *я* вам делаю одолжение тем, что живу у вас, а не *вы* мне. Меня унижают; следственно, я сам должен себя хвалить — это естественно! Я не могу не говорить, я должен говорить, должен немедленно протестовать, и потому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменально завистливы! Вы видите, например, что человек в простом, дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус: так вот уж вам и досадно, вам и неймется: «Дай же и я свои познания и вкус выкажу!» А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смыслите столько — извините меня, полковник, — сколько смыслит, например, хоть бык в говядине! Это резко, грубо — сознаюсь, по крайней мере, прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник.

— Эх, Фома!..

— То-то: «эх, Фома»! Видно, правда не пуховик. Ну, хорошо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и мне немного повеселить публику. Не всё же вам одним отличаться. Павел Семенович! видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь в него: ведь он съесть меня хочет, так-таки живьем, целиком!

Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как распекали его барина.

— Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семеныч. — Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! — Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. — Ну, француз, мусью шематон, — терпеть не может, когда говорят ему: мусью шематон, — знаешь урок?

— Вытвердил, — отвечал, повесив голову, Гаврила.

— А парле-ву-франсе?

— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе...

Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиною, или предугадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись, но только все так и покатились со смеху, лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился экзамен, не выдержал, плюнул и с укоризною произнес: «Вот до какого сраму дожил на старости лет!»

Фома Фомич встрепенулся.

— Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?

— Нет, Фома Фомич, — с достоинством отвечал Гаврила, — не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед тобой,

природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никитичем, — дай бог им царство небесное — Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой не видывал!

И с последним словом Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством.

— Ну, полно, полно, Гаврила! — вскричал он, — нечего распространяться; полно!

— Ничего, ничего, — проговорил Фома, слегка побледнев и улыбаясь с натуги. — Пусть поговорит; это ведь всё ваши плоды...

— Всё расскажу, — продолжал Гаврила с необыкновенным одушевлением, — ничего не потаю! Руки свяжут, язык не завяжут! Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобою выхожу человек, одно слово: раб, а и мне в обиду! Услугой и подобострастьем я перед тобой завсегда обязан, для того, что рабски рожден и всякую обязанность во страхе и трепете происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я докучного обязан к тебе не допускать, для того — это настоящая должность моя выходит. Прислужить, что понадобится, — с моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости лет по-заморски лаять да перед людьми сраму набираться! Да я в людскую теперь не могу сойти: «француз ты, говорят, француз!» Нет, сударь, Фома Фомич, не один я, дурак, а уж и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали, а что барин наш перед вами всё одно, что малый ребенок; что вы хоть породой и енаральский сын и сами, может, немного до енарала не дослужили, но такой злющий, как, то есть, должен быть настоящий фурий.

Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападения Гаврилы; как будто он в эту минуту еще соображал: в какой степени должно ему рассердиться? Наконец воспоследовал взрыв.

— Как! он смел обругать меня, — меня! да это бунт! — завизжал Фома и вскочил со стула.

За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу.

— В кандалы его, в кандалы! — кричала генеральша. — Сейчас же его в город и в солдаты отдай, Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения. Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай!

— Как, — кричал Фома, — раб! халдей! хамлет! осмелился обругать меня! он, он, обтирка моего сапога! он осмелился назвать меня фурией!

Я выступил вперед с необыкновенною решимостью.

— Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы, — сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения.

Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим.

— Это еще что? — вскрикнул он наконец, накидываясь на меня в исступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Да ты кто такой?

— Фома Фомич... — заговорил было совершенно потерявшийся дядя, — это Сережа, мой племянник...

— Ученый! — завопил Фома, — так это он-то ученый? Либерте-эгалите-фратерните! Журналь де деба! Нет, брат, врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петербург, не надуешь! Да плевать мне на твой де деба! У тебя де деба, а по-нашему выходит: «Нет, брат, слаба!» Ученый! Да ты сколько знаешь, я всемеро столько забыл! вот какой ты ученый!

Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками.

— Да он пьян, — проговорил я, с недоумением озираясь кругом.

— Кто? Я? — прикрикнул Фома не своим голосом.

— Да, вы!

— Пьян?

— Пьян.

Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто его начали резать, и бросился вон из комнаты. Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой Фомичом. За ней побежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежевикина. Он улыбался и потирал себе руки.

— Про иезуитика-то давеча обещались, — проговорил он вкрадчивым голосом.

— Что? — спросил я, не понимая, в чем дело.

— Про иезуитика давеча рассказать обещались... анекдотец-с...

Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кругом...

VIII

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и крайне недовольный собой, обдумывая: что мне теперь делать? Солнце садилось. Вдруг, на повороте в одну темную аллею, я встретился лицом к лицу с Настенькой. В глазах ее были слезы, в руках платок, которым она утирала их.

— Я вас искала, — сказала она.

— А я вас, — отвечал я ей. — Скажите: я в сумасшедшем доме или нет?

— Вовсе не в сумасшедшем доме, — проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня.

— Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь ушел дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил: может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите.

— Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.

— Да где они?

— А кто знает? Может быть, опять в огород побежали, — проговорила она раздражительно.

— В какой огород?

— Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород, достал в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились: не с ума ли сошел? «Вот, говорит, чтоб не попрекнули меня потом, что я даром хлеб ел, буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня довели!» А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях стоят, заступ у него отнимают; а он-то копает; всю репу только перекопал. Сделали раз поблажку — вот он, может быть, и теперь повторяет. От него станется.

— И вы... и вы рассказываете это так хладнокровно! — вскричал я в сильнейшем негодовании.

Она взглянула на меня сверкавшими глазами.

— Простите мне; я уж и не знаю, что говорю! Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?

— Н...нет, — отвечала она, закрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице.

— Вы извините меня,— продолжал я, — я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом... особенно с вами... Но всё равно! По-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь... то есть я хотел сказать... вы знаете намерение дядюшки? Он приказал мне искать вашей руки...

— О, какой вздор! Не говорите этого, пожалуйста! — сказала она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув.

Я был озадачен.

— Как вздор? Но он ведь писал ко мне.

— Так он-таки вам писал? — спросила она с живостью. — Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!

— Простите меня, — пробормотал я, не зная, что говорить, — может быть, я поступил неосторожно, грубо... но ведь такая минута! Сообразите: мы окружены бог знает чем...

— Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите: я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь... Ах, какая досада! так он-

таки вам написал! Вот этого-то я пуще всего боялась! Боже мой, какой это человек! А вы и поверили и прискакали сюда сломя голову? Вот надо было!

Она не скрывала своей досады. Положение мое было непривлекательно.

— Признаюсь, я не ожидал, — проговорил я в самом полном смущении, — такой оборот... я, напротив, думал...

— А, так вы думали? — произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. — А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал?

— Хорошо-с.

— Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь; и без того много горя! — сказала она просящим голосом, а между тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хорошеньких губках.

— Ох, пожалуйста, не принимайте меня за дурака! — вскричал я с горячностью. — Но, может быть, вы предубеждены против меня? может быть, вам кто-нибудь на меня насказал? может быть, вы потому, что я там теперь срезался? Но это ничего — уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной! Я не знаю, что говорю... А всё это оттого, что мне эти проклятые двадцать два года!

— О боже мой! Так что ж?

— Как так что ж? Да ведь кому двадцать два года, у того это и на лбу написано, как у меня, например, когда я давеча на средину комнаты выскочил или как теперь перед вами... Распроклятый возраст!

— Ох, нет, нет! — отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. — Я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и, право, я искренно говорю это! Но... вы только очень самолюбивы. От этого еще можно исправиться.

— Мне кажется, я самолюбив сколько нужно.

— Ну, нет. А давеча, когда вы сконфузились — и отчего ж? оттого, что споткнулись при входе!.. Какое право вы имели выставлять на смех вашего доброго, вашего великодушного дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смешное, когда сами были смешны? Это было дурно, стыдно! Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне очень противны в ту минуту — вот вам!

— Это правда! Я был болван! Даже больше: я сделал подлость! Вы приметили ее — и я уже наказан! Браните меня, смейтесь надо мной, но послушайте: может быть, вы перемените наконец ваше мнение, — прибавил я, увлекаемый каким-то странным чувством, — вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда... может быть...

— Ради бога, оставим этот разговор! — вскричала Настенька с видимым нетерпением.

— Хорошо, хорошо, оставимте! Но... где я могу вас видеть?

— Как где видеть?

— Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами сказали последнее слово, Настасья Евграфовна! Ради бога, назначьте мне свиданье, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уж смеркается. Ну так, если только можно, завтра утром, пораньше; я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пруда, есть беседка. Я ведь помню; я знаю дорогу. Я ведь здесь жил маленький.

— Свидание! Но зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим.

— Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна. Я сперва всё узнаю от дядюшки. Ведь должен же он наконец мне всё рассказать, и тогда я, может быть, скажу вам что-нибудь очень важное...

— Нет, нет! не надо, не надо! — вскричала Настенька, — кончимте всё разом теперь, так чтоб потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно: уверяю вас, я не приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор — я серьезно прошу вас...

— Так, значит, дядя поступил со мною, как сумасшедший! — вскричал я в припадке нестерпимой досады. — Зачем же он вызывал меня после этого?.. Но слышите, что это за шум?

Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались визг и какие-то необыкновенные крики.

— Боже мой! — сказала она побледнев, — опять! Я так и предчувствовала!

— Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаюсь предложить вам этот последний вопрос для общего блага. Скажите — и это умрет во мне — скажите откровенно: дядя влюблен в вас или нет?

— Ах! выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз навсегда! — вскричала она, вспыхнув от гнева. — И вы тоже! Кабы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас, — прибавила она с горькою улыбкою. — И с чего, с чего это взяли? Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики?

— Но... это Фома Фомич...

— Да, конечно, Фома Фомич; но теперь из-за меня идет дело, потому что они то же говорят, что и вы, ту же бессмыслицу; тоже подозревают, что он влюблен в меня. А так как я бедная, ничтожная, а так как замарать меня ничего не стоит, а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтоб он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит; даже Фому Фомича разорвать готов. Вон они теперь и кричат об этом; уж я предчувствую, что об этом.

— Так это всё правда! Так, значит, он непременно женится на этой Татьяне?

— На какой Татьяне?

— Ну, да на этой дуре.

— Вовсе не дуре! Она добрая. Не имеете вы права так говорить! У нее благородное сердце, благороднее, чем у многих других. Она не виновата тем, что несчастная.

— Простите. Положим, вы в этом совершенно правы; но не ошибаетесь ли вы в главном? Как же, скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего отца? Ведь если б они до такой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него бы сердились и его бы худо принимали.

— А разве вы не видите, что делает для меня мой отец! Он шутом перед ними вертится! Его принимают именно потому, что он успел подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутом, так вот ему и лестно, что и у него теперь есть шуты. Как вы думаете: для кого это отец делает? Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо; он для себя никому не поклонится. Он, может, и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек! Он думает, бог знает почему — и вовсе не потому, что я здесь жалованье хорошее получаю — уверяю вас; он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно. Он и приехал, чтоб взять меня, и, если крайность до того дойдет, так хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего дошло: они меня съесть хотят, и я знаю наверно, что они там теперь кричат обо мне. Они растерзают *его* из-за меня, они погубят *его*! А *он* мне всё равно, что отец, — слышите, даже больше, чем мой родной отец! Я не хочу дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же, завтра же уеду! Кто знает: может, чрез это они отложат хоть на время и свадьбу *его* с Татьяной Ивановной... Вот я вам всё теперь рассказала. Расскажите же это и ему, потому что я теперь и говорить-то с ним не могу: за нами следят, и особенно эта Перепелицына. Скажите, чтоб *он* не беспокоился обо мне, что я лучше хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиною *его* здешних мучений. Я бедная и должна жить как бедная. Но, боже мой, какой шум! какой крик! Что там еще делается? Нет, во что бы ни стало сейчас пойду туда! Я выскажу им всем всё это прямо в глаза, сама, что бы ни случилось! Я должна это сделать. Прощайте!

Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая всё смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть, и совершенно недоумевая, чем всё это теперь разрешится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он всё еще держал свою тетрадку в руке.

— Пожалуйте к дяденьке! — проговорил он унылым голосом.

Я очнулся.

— К дяде? А где он? Что с ним теперь делается?

— В чайной. Там же, где чай изволили давеча кушать.

— Кто с ним?

— Одни. Дожидаются.

— Кого? меня?

— За Фомой Фомичом послали. Прошли наши красные денькии! — прибавил он, глубоко вздыхая.

— За Фомой Фомичом? Гм! А где другие? где барыня?

— На своей половине. В омрак упали, а теперь лежат в бесчувствии и плачут.

Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действительно был один, в той же комнате, где произошло мое побоище с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах горели свечи. Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух; руки его тряслись, и нервическая дрожь пробегала, временем, по всему его телу.

IX

ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

— Друг мой! всё кончено, всё решено! — проговорил он каким-то трагическим полушепотом.

— Дядюшка, — сказал я, — я слышал какие-то крики.

— Крики, братец, крики; всякие были крики! Маменька в обмороке, и всё это теперь вверх ногами. Но я решился и настою на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер, — и покажу! И вот нарочно послал за тобой, чтоб ты помог мне им показать... Сердце мое разбито, Сережа... но я должен, я обязан поступить со всею строгостью. Справедливость неумолима!

— Но что же такое случилось, дядюшка?

— Я расстаюсь с Фомой, — произнес дядя решительным голосом.

— Дядюшка! — закричал я в восторге, — ничего лучше вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то... располагайте мною во веки веков.

— Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь уж всё решено. Жду Фому; я уже послал за ним. Или он, или я! Мы должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю всё и поступаю опять в гусары! Примут; дадут дивизион. Прочь всю эту систему! Теперь всё по-новому! На что это у тебя французская тетрадка? — с яростию закричал он, обращаясь к Гавриле. — Прочь ее! Сожги, растопчи, разорви! *Я* твой господин, и *я* приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не смеешь меня не слушаться, потому что *я* твой господин, а не Фома Фомич!..

— Слава те господи! — пробормотал про себя Гаврила. Дело, очевидно, шло не на шутку.

— Друг мой! — продолжал дядя с глубоким чувством, — они требуют от меня невозможного! Ты будешь судить меня; ты теперь

станешь между ним и мною, как беспристрастный судья. Ты не знаешь, ты не знаешь, чего они от меня требовали, и, наконец, формально потребовали, всё высказали! Но это противно человеколюбию, благородству, чести... Я всё расскажу тебе, но сперва...

— Я уж всё знаю, дядюшка! — вскричал я, перебивая его, — я угадываю... Я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфовной.

— Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом! — торопливо прервал он меня, как будто испугавшись.— Потом я всё сам расскажу тебе, но покамест... Что ж? — закричал он вошедшему Видоплясову, — где же Фома Фомич?

Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич «не желают прийти и находят требование явиться до несовместности грубым-с, так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться-с».

— Веди его! тащи его! сюда его! силою притащи его! — закричал дядя, топая ногами.

Видоплясов, никогда не видавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился.

«Надо же быть чему-нибудь слишком важному, — подумал я, — если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и до таких решений».

Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою.

— Ты, впрочем, не рви тетрадку, — сказал он наконец Гавриле. — Подожди и сам будь здесь: ты, может быть, еще понадобишься. — Друг мой! — прибавил он, обращаясь ко мне, — я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Сережа: не лучше ли будет, если б ты ушел отсюда? Тебе всё равно. Я тебе потом всё сам расскажу — а? как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста.

— Вы боитесь, дядюшка? вы раскаиваетесь? — сказал я, пристально смотря на него.

— Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь! — вскричал он с удвоенным одушевлением. — Я уж теперь ничего больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные! Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить, чего они от меня потребовали! Неужели ж я должен был согласиться? Нет, я докажу! Я восстал и докажу! Когда-нибудь я должен же был доказать! Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал: Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, а все-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания, пожалуй, еще такое тяпну, сдуру-то, что и сам потом не рад буду. Всё же он для меня много сделал... Уйди, мой друг... Но вот уже его ведут, ведут! Сережа, прошу тебя, выйди! Я тебе всё потом расскажу. Выйди, ради Христа!

И дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но каюсь: я не ушел; я решился остаться на террасе, где было очень темно и, следственно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решился подслушивать!

Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть: двери были стеклянные. Теперь прошу вообразить Фому Фомича, которому *приказали* явиться, угрожая силою в случае отказа.

— Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? — возопил Фома, входя в комнату. — Так ли мне передано?

— Твои, твои, Фома, успокойся, — храбро отвечал дядя. — Сядь; поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же, Фома.

Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно, затрудняясь, с чего начать речь.

— Именно братски, — повторил он. — Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький; я тоже не маленький — словом, мы оба в летах... Гм! Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах... да, именно в некоторых пунктах, и потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому... Но что долго толковать! Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в том всеми святыми! Вот пятнадцать тысяч рублей серебром: это всё, брат, что есть за душой, последние крохи наскреб, своих обобрал. Смело бери! Я должен, я обязан тебя обеспечить! Тут всё почти ломбардными и очень немного наличными. Смело бери! Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за всё, что ты для меня сделал. Да, да, именно, я это чувствую, хотя теперь, в главнейшем-то пункте, мы расходимся. Завтра или послезавтра... или когда тебе угодно... разъедемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома, всего десять верст; там есть домик за церковью, в первом переулке, с зелеными ставнями, премиленький домик вдовы-попадьи; как будто для тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег. Поселись-ка там, подле нас. Занимайся литературой, науками: приобретешь славу... Чиновники там, все до одного, благородные, радушные, бескорыстные; протопоп ученый. К нам будешь приезжать гостить по праздникам — и мы заживем, как в раю! Желаешь иль нет?

«Так вот на каких условиях изгоняли Фому! — подумал я, — дядя скрыл от меня о деньгах».

Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда.

— Деньги! — проговорил наконец Фома каким-то выделанно-слабым голосом, — где же они, где эти деньги? Давайте их, давайте сюда скорее!

— Вот они, Фома: последние крохи, ровно пятнадцать, всё, что было. Тут и кредитными и ломбардными — сам увидишь... вот!

— Гаврила! возьми себе эти деньги, — кротко проговорил Фома, — они, старик, могут тебе пригодиться. — Но нет! — вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то необыкновенного визга и вскакивая с кресла, — нет! дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила! дай мне их! дай мне их! дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их!.. Мне, мне предлагают деньги! подкупают меня, чтоб я вышел из этого дома! Я ли это слышал? я ли дожил до этого последнего бесчестия? Вот, вот, они, ваши миллионы! Смотрите: вот, вот, вот и вот! Вот как поступает Фома Опискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник!

И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал и не оплевал ни одного билета, как похвалялся сделать; он только немного помял их, но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину.

Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома между тем поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волнения.

— Ты возвышенный человек, Фома! — вскричал наконец дядя, очнувшись, — ты благороднейший из людей!

— Это я знаю, — отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством.

— Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!

— Да, передо мной, — поддакнул Фома.

— Фома! не твоему благородству я удивляюсь, — продолжал дядя в восторге, — но тому, как мог я быть до такой степени груб, слеп и подл, чтобы предложить тебе деньги при таких условиях? Но, Фома, ты в одном ошибся: я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома, а просто-запросто я хотел, чтоб и у тебя были деньги, чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе! На коленях, на коленях готов просить у тебя прощения, Фома, и если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени... если только хочешь...

— Не надо мне ваших колен, полковник!..

— Но, боже мой! Фома, посуди: ведь я был разгорячен, фраппирован, я был вне себя... Но назови же, скажи, чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изреки...

— Ничем, ничем, полковник! И будьте уверены, что завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома.

И Фома начал подыматься с кресла. Дядя, в ужасе, бросился его снова усаживать.

— Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя! — кричал дядя. — Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома! Ты не уйдешь, или я пойду за тобой на край света, и всё буду идти за тобой до тех пор, покамест ты не простишь меня... Клянусь, Фома, я так сделаю!

— Вас простить? вы виноваты? — сказал Фома. — Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме? Вы попрекнули меня сейчас этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного мною; вы мне доказали теперь, что я жил как раб в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов! А между тем я, в чистоте моего сердца, думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг и как брат! Не сами ль, не сами ль вы змеиными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал, как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами втолкнули меня? Зачем не поразили вы меня разом, еще прежде, одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху, за то... ну, хоть, например, только за то, что он не несет яиц? Да, именно так! Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собою тривиальный тон современной литературы; потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших; ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу песнесеньем яиц! Помилуйте, полковник! разве платят другу иль брату деньгами — и за что же? главное, за что же? «На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе: ты даже спасал мне жизнь: нá тебе несколько иудиных сребреников, но только убирайся от меня с глаз долой!» Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку! Давно-давно, полковник, я уже предвидел всё это, — вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом! вот почему меня давили ваши перины, давили, а не лелеяли! вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для меня кайеннским перцем, а не конфетами! Нет, полковник! живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбною дорогою, с мешком на спине. Так и будет, полковник!

— Нет, Фома, нет! так не будет, так не может быть! — простонал совершенно уничтоженный дядя.

— Да, полковник, да! именно так будет, потому что так должно быть. Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными

билетами — и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта самая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души! Я сказал и доказал! Прощайте, полковник. Про-щай-те, полковник!..

И Фома начал вновь подыматься с кресла.

— Прости, прости, Фома! забудь!.. — повторял дядя умоляющим голосом.

— «Прости»! Но к чему вам мое прощение? Ну, хорошо, положим, что я вас и прощу: я христианин; я не могу не простить; я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами: сообразно ли будет хоть сколько-нибудь с здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме? Ведь вы выгоняли меня!

— Сообразно, сообразно, Фома! уверяю тебя, что сообразно!

— Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя своим унизительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете.

— Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя...

— И это тот самый человек, — продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, — тот самый человек, для которого я столько раз не спал по ночам! Сколько раз, бывало, в бессонные ночи мои, я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе: «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя. Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него; авось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как думал Фома в свои бессонные ночи, полковник! и вот как заплатил ему этот полковник! Но довольно, довольно!..

— Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу — клянусь тебе!

— Заслужите? а где же гарантия? Как христианин, я прощу и даже буду любить вас; но как человек, и человек благородный, я поневоле буду вас презирать. Я должен, я обязан вас презирать; я обязан во имя нравственности, потому что — повторяю вам это — вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Ну, кто *из ваших* сделает подобный поступок? Кто из них откажется от такого несметного числа денег, от которых отказался, однако ж, нищий, презираемый всеми Фома, из любви к величию? Нет, полковник, чтоб сравниться со мной, вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне *вы*, как своему ровне, а говорите *ты*, как слуге?

— Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе *ты*! — возопил дядя. — Я не знал, что тебе неприятно... Боже мой! но если б я только знал...

— Вы, — продолжал Фома, — вы, который не могли или, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне, как генералу, «ваше превосходительство»...

— Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посягновение, Фома.

— Высшее посягновение! Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай! Но знаете ли вы, что вы осрамили, обесчестили меня отказом сказать мне «ваше превосходительство», обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным желтого дома! Ну неужели я не понимаю, что я бы сам был смешон, если б захотел именоваться превосходительством, я, который презираю все эти чины и земные величия, ничтожные сами по себе, если они не освящаются добродетелью? За миллион не возьму генеральского чина без добродетели! А между тем вы считали меня за безумного! Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, *вы* могли считать меня за безумного, вы и ваши *ученые*! Единственно для того, чтоб просветить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула. Я именно хотел, чтоб вы не почитали впредь генералов самыми высшими светилами на всем земном шаре; хотел доказать вам, что чин — ничто без великодушия и что нечего радоваться приезду вашего генерала, когда, может быть, и возле вас стоят люди, озаренные добродетелью! Но вы так постоянно чванились передо мною своим чином полковника, что вам уже трудно было сказать мне «ваше превосходительство». Вот где причина! вот где искать ее, а не в посягновении каких-то судеб! Вся причина в том, что вы полковник, а я просто Фома...

— Нет, Фома, нет! уверяю тебя, что это не так. Ты ученый, ты не просто Фома... я почитаю...

— Почитаете! хорошо! Так скажите же мне, если почитаете, как по вашему мнению: достоин я или нет генеральского сана? Отвечайте решительно и немедленно: достоин иль нет? Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие.

— За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души — достоин! — с гордостью проговорил дядя.

— А если достоин, так для чего же вы не скажете мне «ваше превосходительство»?

— Фома, я, пожалуй, скажу...

— А я требую! А я теперь требую, полковник, настаиваю и требую! Я вижу, как вам тяжело это, потому-то и требую. Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига, потому что — не забудьте это — вы должны сделать целый ряд подвигов, чтоб сравняться со мною; вы должны пересилить самого себя, и тогда только я уверую в вашу искренность...

— Завтра же скажу тебе, Фома, «ваше превосходительство»!

— Нет, не завтра, полковник, завтра само собой. Я требую, чтоб вы теперь, сейчас же, сказали мне «ваше превосходительство».

— Изволь, Фома, я готов... Только как же это так, сейчас, Фома?..

— Почему же не сейчас? или вам стыдно? В таком случае мне обидно, если вам стыдно.

— Ну, да пожалуй, Фома, я готов... я даже горжусь... Только как же это, Фома, ни с того ни с сего: «здравствуйте, ваше превосходительство»? Ведь это нельзя...

— Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш тон!

— Да ты не шутишь, Фома?

— Во-первых, я не *ты*, Егор Ильич, а *вы* — не забудьте это; и не Фома, а Фома Фомич.

— Да ей-богу же, Фома Фомич, я рад! Я всеми силами рад... Только что ж я скажу!

— Вы затрудняетесь, что́ прибавить к слову «ваше превосходительство» — это понятно. Давно бы вы объяснились! Это даже извинительно, особенно если человек *не сочинитель*, если выразиться поучтивее. Ну, я вам помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной: «ваше превосходительство!..»

— Ну, «ваше превосходительство».

— Нет, не: «*ну,* ваше превосходительство», а просто: «ваше превосходительство»! Я вам говорю, полковник, перемените ваш тон! Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских обществах и всё это знаю... Ну-с: «ваше превосходительство».

— Ваше превосходительство...

— Как я несказанно обрадован, что имею наконец случай просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Смею уверить, что впредь не пощажу слабых сил моих на пользу общую... Ну, довольно с вас!

Бедный дядя! Он должен был повторить всю эту галиматью, фразу за фразой, слово за словом! Я стоял и краснел, как виноватый. Злость душила меня.

— Ну, не чувствуете ли вы теперь, — проговорил истязатель, — что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в душу к вам слетел какой-то ангел?.. Чувствуете ли вы присутствие этого ангела? отвечайте мне!

— Да, Фома, действительно, как-то легче сделалось, — отвечал дядя.

— Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее?

— Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло.

— Как будто по маслу? Гм... Я, впрочем, не про масло вам говорил... Ну, да всё равно! Вот что значит, полковник, исполненный долг! Побеждайте же себя. Вы самолюбивы, необъятно самолюбивы!

— Самолюбив, Фома, вижу, — со вздохом отвечал дядя.

— Вы эгоист и даже мрачный эгоист...

— Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу; с тех пор, как тебя узнал, так и это узнал.

— Я сам говорю теперь, как отец, как нежная мать... вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет.

— Правда и это, Фома!

— Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание, что порядочный человек от вас за тридевять земель убежать готов!

Дядя еще раз глубоко вздохнул.

— Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к другим, забудьте себя для других, тогда вспомнят и о вас. Живи и жить давай другим — вот мое правило! Терпи, трудись, молись и надейся — вот истины, которые бы я желал внушить разом всему человечеству! Подражайте же им, и тогда я первый раскрою вам мое сердце, буду плакать на груди вашей... если понадобится... А то я, да я, да милость моя! Да ведь надоест же наконец, ваша милость, с позволения сказать.

— Сладкогласный человек! — проговорил в благоговении Гаврила.

— Это правда, Фома; я всё это чувствую, — поддакнул растроганный дядя. — Но не во всем же и я виноват, Фома: так уж меня госпитали; с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать. Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион, просто плакали, говорили, что такого, как я, не нажить!..Я и подумал тогда, что и я, может быть, еще не совсем человек погибший.

— Опять эгоистическая черта! опять я ловлю вас на самолюбии! Вы хвалитесь и мимоходом попрекнули меня слезами гусар. Что ж я не хвалюсь ничьими слезами? А было бы чем; а было бы, может быть, чем.

— Это так с языка сорвалось, Фома, не утерпел, вспомнил старое хорошее время.

— Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю, разве одним дуракам, верхоплясам, *ученым*, которых не щажу и не хочу щадить. Не люблю дураков! И что такое эти ученые? «Человек науки!» — да наука-то выходит у него надувательная штука, а не наука. Ну что *он* давеча говорил? Давайте его сюда! давайте сюда всех ученых! Всё могу опровергнуть;

все положения их могу опровергнуть! Я уж не говорю о благородстве души...

— Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается?

— Давеча, например, я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание современных литератур; я показал и блестящим образом развернул, как из какого-нибудь комаринского может вдруг составиться высокая тема для разговора у человека талантливого. Что ж? Оценил ли кто-нибудь из них меня по достоинству? Нет, отворотились! Я ведь уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел, и только тем виноват, что беден и находится в неизвестности... Нет, это им не пройдет!.. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?

— Это, Фома, человек умный, человек науки... Я его жду. Это, верно, уж будет хороший, Фома!

— Гм! сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник, сердца в них нет! А что и ученость без добродетели?

— Нет, Фома, нет! Как о семейном счастии говорил! так сердце и вникает само собою, Фома!

— Гм! Посмотрим; проэкзаменуем и Коровкина. Но довольно,— заключил Фома, подымаясь с кресла. — Я не могу еще вас совершенно простить, полковник: обида была кровавая; но я помолюсь, и, может быть, бог ниспошлет мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом, а теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб...

— Ах, Фома! — захлопотал дядя, — ведь ты в самом деле устал! Знаешь что? не хочешь ли подкрепиться, закусить чего-нибудь? Я сейчас прикажу.

— Закусить! Ха-ха-ха! Закусить! — отвечал Фома с презрительным хохотом. — Сперва напоят тебя ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить? Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибками или мочеными яблочками! Какой вы жалкий материалист, полковник!

— Эх, Фома, я ведь, ей-богу, от чистого сердца...

— Ну, хорошо. Довольно об этом. Я ухожу, а вы немедленно идите к вашей родительнице: падите на колени, рыдайте, плачьте, но вымолите у нее прощение, — это ваш долг, ваша обязанность!

— Ах, Фома, я всё время об этом только и думал; даже теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях. Но подумай, Фома, чего же от меня и требуют? Ведь это несправедливо, ведь это жестоко, Фома! Будь великодушен вполне, осчастливь меня совершенно, подумай, реши — и тогда... тогда... клянусь!..

— Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело, — отвечал Фома. — Вы знаете, что я во всё это нимало не вмешиваюсь, то есть вы, положим, и убеждены, что я всему причиною, но, уверяю вас, с самого

начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы, а она, разумеется, вам желает добра... Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце во гневе вашем! а я... а я буду всю ночь молиться за вас. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич. Прощайте! Прощаю и тебя, старик, — прибавил он, обращаясь к Гавриле. — Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости же и ты мне, если я обидел тебя... Прощайте, прощайте, прощайте все, и благослови вас господь!..

Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату.

— Ты подслушивал? — вскричал дядя.

— Да, дядюшка, я подслушивал! И вы, и вы могли сказать ему «ваше превосходительство»!..

— Что ж делать, братец? Я даже горжусь... Это ничего для высокого подвига; но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек! Сергей — ты ведь слышал... И как мог я тут соваться с этими деньгами, то есть просто не понимаю! Друг мой! я был увлечен; я был в ярости; я не понимал его; я его подозревал, обвинял... но нет! он не мог быть моим противником — это я теперь вижу... А помнишь, какое у него было благородное выражение в лице, когда он отказался от денег?

— Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно, а я еду: терпения нет больше! Последний раз говорю, скажите: чего вы от меня требуете? зачем вызвали и чего ожидаете? И если всё кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ! Сегодня же еду!

— Друг мой... — засуетился по обыкновению своему дядя, — подожди только две минуты: я, брат, иду теперь к маменьке... там надо кончить... важное, великое, громадное дело!.. А ты покамест уйди к себе. Вот Гаврила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний флигель? это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымолю прощение, решусь на одно дело — я теперь уж знаю, как сделать, — и тогда мигом к тебе, и тогда всё, всё, всё до последней черты тебе расскажу, всю душу выложу пред тобою. И... и... и настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни! Две минуты, только две минутки, Сергей!

Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать, пришлось опять отправляться с Гаврилой.

X

МИЗИНЧИКОВ

Флигель, в который привел меня Гаврила, назывался «новым флигелем» только по старой памяти, но выстроен был уже давно, прежними помещиками. Это был хорошенький, деревянный домик, стоявший в нескольких шагах от старого дома, в самом саду.

С трех сторон его обступали высокие старые липы, касавшиеся своими ветвями кровли. Все четыре комнаты этого домика были недурно меблированы и предназначались к приезду гостей. Войдя в отведенную мне комнату, в которую уже перенесли мой чемодан, я увидел на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Всё вместе составляло премиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещенным благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, — все труды мои остались тщетными: это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что Видоплясов находится в каком-то бедственном положении, просит моего содействия, в чем-то очень на меня надеется, «по причине моего просвещения» и, в заключение, просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него «моею машиною», как буквально изображено было в конце этого послания. Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел Мизинчиков.

— Надеюсь, что вы позволите мне с вами познакомиться, — сказал он развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку. — Давеча я не мог вам сказать двух слов, а между тем с первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче.

Я тотчас же отвечал, что и сам рад и прочее, хотя и находился в самом отвратительном расположении духа. Мы сели.

— Что это у вас? — сказал он, взглянув на лист, который я держал еще в руке. — Уж не вопли ли Видоплясова? Так и есть! Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал такой же точно лист, с теми же воплями; а вас он уже давно ожидает и вероятно, заранее приготовлялся. Вы не удивляйтесь: здесь много странного, и, право, есть над чем посмеяться.

— Только посмеяться?

— Ну да, неужели же плакать? Если хотите, я вам расскажу биографию Видоплясова, и уверен, что вы посмеетесь.

— Признаюсь, теперь мне не до Видоплясова, — отвечал я с досадою.

Мне очевидно было, что и знакомство господина Мизинчикова и любезный его разговор — всё это предпринято им с какою-то целью и что господин Мизинчиков просто во мне нуждается. Давеча он сидел нахмуренный и серьезный; теперь же был веселый, улыбающийся и готовый рассказывать длинные истории. Видно было с первого взгляда, что этот человек отлично владел собой и, кажется, знал людей.

— Проклятый Фома! — сказал я, со злостью стукнув кулаком по столу. — Я уверен, что он источник всякого здешнего зла и во всем замешан! Проклятая тварь!

— Вы, кажется, уж слишком на него рассердились, — заметил Мизинчиков.

— Слишком рассердился! — вскрикнул я, мгновенно разгорячившись. — Конечно, я давеча слишком увлекся и, таким образом, дал право всякому осуждать меня. Я очень хорошо понимаю, что я выскочил и срезался на всех пунктах, и, я думаю, нечего было это мне объяснять!.. Понимаю тоже, что так не делается в порядочном обществе; но, сообразите, была ли какая возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший дом, если хотите знать! и... и... наконец... я просто уеду отсюда — вот что!

— Вы курите? — спокойно спросил Мизинчиков.

— Да.

— Так, вероятно, позволите и мне закурить. Там не позволяют, и я почти стосковался. Я согласен, — продолжал он, закурив папироску, что всё это похоже на сумасшедший дом, но будьте уверены, что я не позволю себе осуждать вас, именно потому, что на вашем месте я, может, втрое более бы разгорячился и вышел из себя, чем вы.

— А почему же вы не вышли из себя, если действительно были тоже раздосадованы? Я, напротив, припоминаю вас очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже странно было, что вы не заступились за бедного дядю, который готов благодетельствовать... всем и каждому!

— Ваша правда: он многим благодетельствовал; но заступаться за него я считаю совершенно бесполезным: во-первых, это и для него бесполезно и даже унизительно как-то; а во-вторых, меня бы завтра же выгнали. А я вам откровенно скажу: мои обстоятельства такого рода, что я должен дорожить здешним гостеприимством.

— Но я нисколько не претендую на вашу откровенность насчет обстоятельств... Мне бы, впрочем, хотелось спросить, так как вы здесь уже месяц живете...

— Сделайте одолжение, спрашивайте: я к вашим услугам, — торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая стул.

— Да вот, например, объясните: сейчас Фома Фомич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его руках, — я видел это собственными глазами.

— Как это? Неужели? — вскрикнул Мизинчиков. — Расскажите, пожалуйста!

Я рассказал, умолчав о «вашем превосходительстве». Мизинчиков слушал с жадным любопытством; он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч.

— Ловко! — сказал он, выслушав рассказ. — Я даже не ожидал от Фомы.

— Однако ж отказался от денег! Чем это объяснить? Неужели благородством души?

— Отказался от пятнадцати тысяч, чтоб взять потом тридцать. Впрочем, знаете что? — прибавил он, подумав, — я сомневаюсь, чтоб у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непракти-

ский; это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... гм! Видите ли: он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться. Это, я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая размазня, и всё это при самом неограниченном самолюбии!

Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему очень досадно, даже как будто завидно. Я с любопытством вглядывался в него.

— Гм! Надо ожидать больших перемен, — прибавил он, задумываясь. — Теперь Егор Ильич готов молиться Фоме. Чего доброго, пожалуй, и женится, из умиления души, — прибавил он сквозь зубы.

— Так вы думаете, что непременно состоится — этот гнусный, противоестественный брак с этой помешанной дурой?

Мизинчиков пытливо взглянул на меня.

— Подлецы! — вскричал я запальчиво.

— Впрочем, у них идея довольно основательная: они утверждают, что он должен же что-нибудь сделать для семейства.

— Мало он для них сделал! — вскричал я в негодовании. — И вы, и вы можете говорить, что это основательная мысль — жениться на пошлой дуре!

— Конечно, и я согласен с вами, что она дура... Гм! Это хорошо, что вы так любите дядюшку; я сам сочувствую... хотя на ее деньги можно бы славно округлить имение! Впрочем, у них и другие резоны: они боятся, чтоб Егор Ильич не женился на той гувернантке... помните, еще такая интересная девушка?

— А разве... разве это вероятно? — спросил я в волнении. — Мне кажется, это клевета. Скажите, ради бога, меня это крайне интересует...

— О, влюблен по уши! Только, разумеется, скрывает.

— Скрывает! Вы думаете, он скрывает? Ну, а она? Она его любит?

— Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей все выгоды за него выйти: она очень бедна.

— Но какие данные вы имеете для вашей догадки, что они любят друг друга?

— Да ведь этого нельзя не заметить; притом же они, кажется, имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она с ним в непозволительной связи. Вы только, пожалуйста, не рассказывайте. Я вам говорю под секретом.

— Возможно ли этому поверить? — вскричал я, — и вы, и вы признаетесь, что этому верите?

— Разумеется, я не верю вполне, я там не был. Впрочем, очень может и быть.

— Как может быть! Вспомните благородство, честь дяди!

— Согласен; но можно и увлечься, с тем чтоб непременно потом завершить законным браком. Так часто увлекаются. Впрочем, повторяю, я нисколько не стою за совершенную достоверность

этих известий, тем более что ее здесь очень уж размарали; говорили даже, что она была в связи с Видоплясовым.

— Ну, вот видите! — вскричал я, — с Видоплясовым! Ну, возможно ли это? Ну, не отвратительно ль даже слышать это? Неужели ж вы и этому верите?

— Я ведь вам говорю, что я этому не совсем верю, — спокойно отвечал Мизинчиков, — а впрочем, могло и случиться. На свете всё может случиться. Я же там не был, и притом я считаю, что это не мое дело. Но так как, я вижу, вы берете во всем этом большое участие, то считаю себя обязанным прибавить, что действительно мало вероятия насчет этой связи с Видоплясовым. Это всё проделки Анны Ниловны, вот этой Перепелицыной; это она распустила здесь эти слухи, из зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Егора Ильича — ей-богу! — на том основании, что она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесится. Впрочем, я, кажется, уж всё рассказал вам об этих делах и, признаюсь, ужасно не люблю сплетен, тем более что мы только теряем драгоценное время. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой просьбой.

— С просьбой? Помилуйте, всё, чем могу быть полезен...

— Понимаю и даже надеюсь вас несколько заинтересовать, потому что, вижу, вы любите вашего дядюшку и принимаете большое участие в его судьбе насчет брака. Но перед этой просьбой я имею к вам еще другую просьбу, предварительную.

— Какую же?

— А вот какую: может быть, вы и согласитесь исполнить мою главную просьбу, может быть и нет, но во всяком случае прежде изложения я бы попросил вас покорнейше сделать мне величайшее одолжение дать мне честное и благородное слово дворянина и порядочного человека, что всё, услышанное вами от меня, останется между нами в глубочайшей тайне и что вы ни в каком случае, ни для какого лица не измените этой тайне и не воспользуетесь для себя той идеей, которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить. Согласны иль нет?

Предисловие было торжественное. Я дал согласие.

— Ну-с?.. — сказал я.

— Дело в сущности очень простое, — начал Мизинчиков. — Я, видите ли, хочу увезти Татьяну Ивановну и жениться на ней; словом, будет нечто похожее на Гретна-Грин — понимаете?

Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза и некоторое время не мог выговорить слова.

— Признаюсь вам, ничего не понимаю, — проговорил я наконец, — и кроме того, — продолжал я, — ожидая, что имею дело с человеком благоразумным, я, с своей стороны, никак не ожидал...

— Ожидая не ожидали, — перебил Мизинчиков, — в переводе это будет, что я и намерение мое глупы, — не правда ли?

— Вовсе нет-с... но...

— О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях! Не беспокойтесь; вы мне даже сделаете этим большое удовольствие, потому что эдак ближе к цели. Я, впрочем, согласен, что всё это с первого взгляда может показаться даже несколько странным. Но смею уверить вас, что мое намерение не только не глупо, но даже в высшей степени благоразумно; и если вы будете так добры, выслушаете все обстоятельства...

— О, помилуйте! я с жадностью слушаю.

— Впрочем, рассказывать почти нечего. Видите ли: я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица лет девятнадцати, сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете, средств. В этом виноват отчасти и я. Получили мы в наследство сорок душ. Нужно же, чтоб меня именно в это время произвели в корнеты. Ну сначала, разумеется, заложил, а потом прокутил и остальным образом. Жил глупо, задавал тону, корчил Бурцова, играл, пил — словом, глупо, даже и вспоминать стыдно. Теперь я одумался и хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями. А так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства: или украсть, или жениться на богатой. Пришел я сюда почти без сапог, пришел, а не приехал. Сестра дала мне свои последние три целковых, когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну Ивановну, и тотчас же у меня родилась мысль. Я немедленно решился пожертвовать собой и жениться. Согласитесь, что всё это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это более для сестры... ну, конечно, и для себя...

— Но, позвольте, вы хотите сделать формальное предложение Татьяне Ивановне?

— Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас бы выгнали, да и она сама не пойдет; а если предложить ей увоз, побег, то она тотчас пойдет. В том-то и дело: только чтоб было что-нибудь романическое и эффектное. Разумеется, всё это немедленно завершится между нами законным браком. Только бы выманить-то ее отсюда!

— Да почему ж вы так уверены, что она непременно с вами убежит?

— О, не беспокойтесь! в этом я совершенно уверен. В том-то и состоит основная мысль, что Татьяна Ивановна способна завести амурное дело решительно со всяким встречным, словом, со всяким, кому только придет в голову ей отвечать. Вот почему я и взял с вас предварительно честное слово, чтоб вы тоже не воспользовались этой идеей. Вы же, конечно, поймете, что мне бы даже грешно было не воспользоваться таким случаем, особенно при моих обстоятельствах.

— Так, стало быть, она совсем сумасшедшая... ах! извините, — прибавил я, спохватившись. — Так как вы теперь имеете на нее виды, то...

— Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас. Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Как вам ответить? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сумасшедшем доме; притом же в этой мании к амурным делам я, право, не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка честная. Видите ли: она до прошлого года была в ужасной бедности, с самого рождения жила под гнетом у благодетельниц. Сердце у ней необыкновенно чувствительное; замуж ее никто не просил — ну, понимаете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц — всё это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. И вдруг она получает богатство: согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь в ней ищут, за ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Давеча она рассказала про франта в белом жилете: это факт, случившийся буквально так, как она говорила. По этому факту можете судить и об остальном. На вздохи, на записочки, на стишки вы ее тотчас приманите; а если ко всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать с ней всё, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впрочем, теперь я покамест приостановился до благоприятного времени. Но дня через четыре надо ее увезти, непременно. Накануне я начну подпускать лясы, вздыхать; я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свиданье в беседке, а к рассвету коляска будет готова; я ее выманю, сядем и уедем. Вы понимате, что тут никакого риску: она совершеннолетняя, и, кроме того, во всем ее добрая воля. А уж если она раз бежала со мной, то уж, конечно, значит, вошла со мной в обязательства... Привезу я ее в благородный, но бедный дом — здесь есть, в сорока верстах, — где до свадьбы ее будут держать в руках и никого до нее не допустят; а между тем я времени терять не буду: свадьбу уладим в три дня — это можно. Разумеется, прежде нужны деньги; но я рассчитал, нужно не более пятисот серебром на всю интермедию, и в этом я надеюсь на Егора Ильича: он даст, конечно, не зная, в чем дело. Теперь поняли?

— Понимаю, — сказал я, поняв наконец всё в совершенстве. — Но, скажите, в чем же я-то вам могу быть полезен?

— Ах, в очень многом, помилуйте! Иначе я бы и не просил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно почтенное, но бедное семейство. Вы же мне можете помочь и здесь, и там, и, наконец, как свидетель. Признаюсь, без вашей помощи я буду как без рук.

— Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня для вашей доверенности, меня, которого вы еще не знаете, потому что я всего несколько часов как приехал?

— Вопрос ваш, — отвечал Мизинчиков с самою любезною улыбкою, — вопрос ваш, признаюсь откровенно, доставляет мне много удовольствия, потому что представляет мне случай высказать мое особое к вам уважение.

— О, много чести!

— Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал. Вы, положим, и пылки и... и... ну и молоды; но вот в чем я совершенно уверен: если уж вы дали мне слово, что никому не расскажете, то уж, наверно, его сдержите. Вы не Обноскин — это первое. Во-вторых, вы честны и не воспользуетесь моей идеей для себя, разумеется, кроме того случая, если захотите вступить со мной в дружелюбную сделку. В таком случае я, может быть, и согласен буду уступить вам мою идею, то есть Татьяну Ивановну, и готов ревностно помогать в похищении, но с условием: через месяц после свадьбы получить от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, в чем, разумеется, вы мне заранее дали бы обеспечение в виде заемного письма, без процентов.

— Как? — вскричал я, — так вы ее уж и мне предлагаете?

— Натурально, я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но... идея принадлежит мне, а ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому же скоро успенский пост, и венчать не станут. Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете?

— Совершенно, и еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности; но товарищем вашим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам немедленно.

— Почему ж?

— Как почему ж? — вскричал я, давая наконец волю накопившимся во мне чувствам. — Да неужели вы не понимате, что такой поступок даже неблагороден? Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и на несчастной мании этой девицы; но ведь уж это одно и должно было бы удержать вас, как благородного человека! Сами же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на то что смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтоб вытянуть от нее сто тысяч! Вы, конечно, не будете ее настоящим мужем, исполняющим свои обязанности: вы непременно ее покинете... Это так неблагородно, что, извините меня, я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши сотрудники!

— Фу ты, боже мой, какой романтизм! — вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. — Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы просто, кажется, не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне... Рассудите только!

— Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то, пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело, женясь на Татьяне Ивановне, — отвечал я с саркастическою улыбкою.

— А то как же? именно так, именно самое великодушное дело! — вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою очередь. — Рассудите только: во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем, — ведь это же стоит чего-нибудь? Во-вторых, несмотря

на то что у ней есть верных тысяч сто серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе слово не брать у ней ни копейки больше во всю мою жизнь, хотя бы и мог, — это опять чего-нибудь стоит! Наконец, вникните: ну, может ли она прожить свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт, с эспаньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами, вроде Обноскина, который сманит ее, женится на ней, оберет ее дочиста и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом, а ведь и держат ее только потому, что спекулируют на ее денежки. От этих шансов ее нужно избавить, спасти. Ну, а понимаете, как только она выйдет за меня — все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в том, что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство — это не то, о котором я говорил: это другое семейство; при ней будет постоянно находиться моя сестра; за ней будут смотреть в оба глаза. Денег у ней останется тысяч двести пятьдесят, а может, и триста ассигнациями: на это можно, знаете, как прожить! Все удовольствия ей будут доставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она может даже мечтать об амурах; только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу: мечтай сколько хочешь, а на деле ни-ни! Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто: она жена моя, она Мизинчикова, а я свое имя на поруганье не отдам-с! Это одно чего стоит? Натурально, я с нею не буду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге. В этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело начистоту. Но что ж до этого, что мы будем жить врозь? Сообразите, приглядитесь к ее характеру: ну способна ли она быть женой и жить вместе с мужем? Разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомысленнейшее создание в свете! Ей необходима беспрерывная перемена; она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой. Да я сделаю ее несчастною вконец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Натурально, я буду к ней приезжать раз в год или чаще, и не за деньгами — уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч ассигнациями у ней не возьму, и не возьму! В денежном отношении я поступаю с ней в высшей степени благородным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку: я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романически и буду вести с ней потом любовную переписку. Да она в восторге будет от такого романического, влюбленного и веселого мужа! По-моему, это рационально: так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствии, и, следуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ива-

повны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего ж ей больше желать? скажите! Да ведь это рай, а не жизнь!

Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте и даже в величии своего проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо.

— Вспомнили ли вы, — сказал я, — что она почти уже невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду; вы увезете ее почти накануне свадьбы и, сверх того, у него же возьмете взаймы для совершения этого подвига!

— А вот тут-то я вас и ловлю! — с жаром вскричал Мизинчиков. — Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но, во-первых и главное: дядя еще предложения не делал; следственно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты; притом же, прошу заметить, что я еще три недели назад замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях; а потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении, и даже, если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой — заметьте это — я уж имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позвольте: не вы ли сами сейчас были в исступлении, что дядюшку вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне, а теперь вдруг заступаетесь за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести! Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение: спасаю его — вы должны это понять! Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же любит другую девицу! Ну, какая ему жена Татьяна Ивановна? да и она с ним будет несчастна, потому что, как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала розанами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так уж тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не сделают. Возвратить такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благодеяние Егору Ильичу?

Признаюсь, это последнее рассуждение на меня сильно подействовало.

— А что если он завтра сделает предложение? — сказал я, — ведь уж тогда будет несколько поздно: она будет формальная невеста его.

— Натурально, поздно! Но тут-то и надо работать, чтоб этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложения. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае; я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь.

— Еще один, последний вопрос: вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия?

Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу.

— Признаюсь вам, — отвечал он, — этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже открыл мою мысль... словом, свалял ужаснейшего дурака! И как бы вы думали, кому? Обноскину! так что я даже сам не верю себе. Не понимаю, как и случилось! Он всё здесь вертелся; я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке; а так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к Обноскину... Непростительно, непростительно!

— Ну, что ж Обноскин?

— С восторгом согласился, а на другой же день, рано утром, исчез. Дня через три является опять, с своей маменькой. Со мной ни слова, и даже избегает, как будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая прощелыга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей всё рассказал. Я молчу и жду; они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении... Оттого-то я и тороплюсь.

— Чего ж именно вы от них опасаетесь?

— Многого, конечно, не сделают, а что напакостят — так это наверно. Потребуют денег за молчание и за помощь: я того и жду... Только я много не могу им дать, и не дам — я уж решился: больше трех тысяч ассигнациями невозможно. Рассудите сами: три тысячи сюда, пятьсот серебром свадьба, потому что дяде всё сполна нужно отдать; потом старые долги; ну, сестре хоть что-нибудь, так, хоть что-нибудь. Много ль из ста-то тысяч останется? Ведь это разоренье!.. Обноскины, впрочем, уехали.

— Уехали? — спросил я с любопытством.

— Сейчас после чаю; да и черт с ними! а завтра увидите, опять явятся. Ну, так как же, согласны?

— Признаюсь, — отвечал я, съеживаясь, — не знаю, как и сказать. Дело щекотливое... Конечно, я сохраню всё в тайне; я не Обноскин; но... кажется, вам на меня надеяться нечего.

— Я вижу, — сказал Мизинчиков, вставая со стула, — что вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка и что вы, хоть и любите вашего доброго, благородного дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый... Но терпение! Побудете завтра, посмóтрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал — понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет; надо бы сегодня решиться!

— Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать... не знаю как-то...

— Знаем! Ну, подождем до завтра, — решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. — La nuit porte conseil. [1] До свидания. Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте...

---

[1] Утро вечера мудренее (*франц.*).

Он повернулся и вышел, что-то насвистывая.

Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не всходил; ночь была темная, воздух теплый и удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и десяти шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то всходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окликнул его. Дядя был с Видоплясовым.

XI

КРАЙНЕЕ НЕДОУМЕНИЕ

— Дядюшка! — сказал я, — наконец-то я вас дождался.

— Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта. Много надо тебе рассказать.

— Как, еще с Видоплясовым! Да бросьте вы его, дядюшка.

— Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, и я совершенно твой. Видишь: дело.

— Да он, верно, с глупостями, — проговорил я с досадою.

— Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек, когда лезть с своими пустяками! Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб? Ну, что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец. Ведь я, так сказать, изнурен вами, съеден живьем, целиком! Мо́чи моей нет с ними, Сергей!

И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски.

— Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя? А мне бы так нужно, дядюшка...

— Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь! Пожалуй, еще завтра пожалуется на меня, что я не выслушал, и тогда...

И дядя опять махнул рукой.

— Ну, так кончайте же с ним поскорее! Пожалуй, и я помогу. Взойдемте наверх. Что он такое? чего ему? — сказал я, когда мы вошли в комнаты.

— Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия, переменить просит. Каково тебе это покажется?

— Фамилия? Как так?.. Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у вас в доме могут совершаться такие чудеса, — проговорил я, расставив руки от изумления.

— Эх, брат! эдак-то и я расставить руки умею, да толку-то мало! — с досадою проговорил дядя. — Поди-ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне...

— Неосновательная фамилия-с! — отозвался Видоплясов.

— Да почему ж неосновательная? — спросил я его с удивлением.

— Так-с. Изображает собою всякую гнусность-с.

— Да почему же гнусность? Да и как ее переменить? Кто переменяет фамилии?

— Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с?

— Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная, — продолжал я в совершенном недоумении, — но ведь что ж теперь делать? Ведь и у отца твоего была такая ж фамилия?

— Это подлинно-с, что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти-с, — отвечал Видоплясов.

— Бьюсь об заклад, дядюшка, что тут не без Фомы Фомича! — вскричал я с досадою.

— Ну, нет, братец, ну, нет; ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует. Он взял его к себе в секретари; в этом и вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души, так что он даже, в некотором отношении, прозрел... Вот видишь, я тебе всё расскажу...

— Это точно-с, — перебил Видоплясов, — что Фома Фомич мои истинные благодетели-с, и, бымши истинные мне благодетели, они меня вразумили моему ничтожеству, каков я есмь червяк на земле, так что чрез них я в первый раз свою судьбу предузнал-с.

— Вот видишь, Сережа, вот видишь, в чем всё дело, — продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. — Жил он сначала в Москве, с самых почти детских лет, у одного учителя чистописания в услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился писать: и красками, и золотом, и кругом, знаешь, купидонов наставит, — словом, артист! Илюша у него учится; полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома ездит; тоже платят. Видишь, как одевается! К тому же пишет стихи.

— Стихи! Этого еще недоставало!

— Стихи, братец, стихи, и ты не думай, что я шучу, настоящие стихи, так сказать, версификация, и так, знаешь, складно на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант! Маменьке к именинам такую рацею соорудил, что мы только рты разинули: и из мифологии там у него, и музы летают, так что даже, знаешь, видна эта... как бишь ее? округленность форм, — словом, совершенно в рифму выходит. Фома поправлял. Ну я, конечно, ничего и даже рад, с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не накуролесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь, как отец, говорю. Проведал об этом Фома, просмотрел стихи, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком, — словом, образовал. Это он правду говорит, что облагодетельствовал. Ну, эдак, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился и чувство независимости, — мне всё это Фома объяснял, да я уж, правда, и позабыл; только я, признаюсь, хотел и без Фомы его на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то!.. Да Фома против

этого; говорит, что он ему нужен, полюбил он его; да сверх того говорит: «Мне же, барину, больше чести, что у меня между собственными людьми стихотворцы; что так какие-то бароны где-то жили и что это en grand».[1] Ну, en grand, так en grand! Я, братец, уж стал его уважать — понимаешь?.. Только бог знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Григорий, я тебе, как отец, говорю. Обещался он еще прошлой зимой жениться: есть тут одна дворовая девушка, Матрена, и премилая, знаешь, девушка, честная, работящая, веселая. Так вот нет же теперь: не хочу, да и только; отказался. Возмечтал ли он о себе, или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки...

— Более по совету Фомы Фомича-с, — заметил Видоплясов, — так как они истинные мои доброжелатели-с...

— Ну, да уж как можно без Фомы Фомича! — вскричал я невольно.

— Эх, братец, не в том дело! — поспешно прервал меня дядя,— только видишь: ему теперь и проходу нет. Та девка бойкая, задорная, всех против него подняла: дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают...

— Более через Матрену-с, — заметил Видоплясов, — потому что Матрена истинная дура-с и, бымши истинная дура-с, притом же невоздержная характером женщина, через нее я таким манером-с пошел жизнию моею претерпевать-с.

— Эх, брат Григорий, говорил я тебе, —продолжал дядя, с укоризною посмотрев на Видоплясова, — сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне, жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозвучия...

— Необлагороженная фамилия-с, — ввернул Видоплясов.

— Ну, да уж ты молчи, Григорий! Фома тоже одобрил... то есть не то чтоб одобрил, а видишь, какое соображение: что если, на случай, придется стихи печатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит, — не правда ли?

— Так он стихи напечатать хочет, дядюшка?

— Печатать, братец. Это уж решено — на мой счет, и будет выставлено на заглавном листе: крепостной человек такого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за образование. Посвящено Фоме. Фома сам предисловие пишет. Ну, так представь себе, если на заглавном-то листе будет написано: «Сочинения Видоплясова»...

— «Вопли Видоплясова-с», — поправил Видоплясов.

— Ну, вот видишь, еще и вопли! Ну, что за фамилия Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает; так и Фома говорил. А все эти критики, говорят, такие задорные, насмешники; Брам-

[1] на широкую ногу (*франц.*).

беус, например... Им ведь всё нипочем! Просмеют за одну только фамилию; так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся, — не правда ли? Вот я и говорю: по мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на стихах — псевдоним, что ли, называется — уж не помню: какой-то *ним*. Да нет, говорит, прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и здесь навеки новым именем звали, так чтоб у меня, сообразно таланту, и фамилия была облагороженная...

— Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка.

— Я, брат Сережа, чтоб уж только с ними не спорить: пускай себе! Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор, что неделя, то фамилия, и всё такие нежные выбирает: Олеандров, Тюльпанов... Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтоб тебя называли «Верный» — «Григорий Верный»; потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный». Ты жаловался; балбеса наказали. Ты две недели придумывал новую фамилию — сколько ты их перебрал, — наконец надумался, пришел просить, чтоб тебя звали «Уланов». Ну, скажи мне, братец, ну что может быть глупее Уланова? Я и на это согласился, вторичное приказание отдал о перемене твоей фамилии в Уланова. Так только, братец, — прибавил дядя, обращаясь ко мне, — чтоб уж только отвязаться. Три дня ходил ты «Уланов». Ты все стены, все подоконники в беседке перепортил, расчеркиваясь карандашом: «Уланов». Ведь ее потом перекрашивали. Ты целую десть голландской бумаги извел на подписи: «Уланов, проба пера; Уланов, проба пера». Наконец, и тут неудача: прибрали тебе рифму: «болванов». Не хочу болванова — опять перемена фамилии! Какую ты там еще прибрал, я уж и позабыл?

— Танцев-с, — отвечал Видоплясов. — Если уж мне суждено через фамилию мою плясуна собою изображать-с, так уж пусть было бы облагорожено по-иностранному: Танцев-с.

— Ну да, Танцев; согласился я, брат Сергей, и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя! Сегодня опять приходит, опять выдумал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть наготове новая фамилия. Есть иль нет, Григорий, признавайся!

— Я действительно давно уж хотел повергнуть к вашим стопам новое имя-с, облагороженное-с.

— Какое?

— Эссбукетов.

— И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий? фамилия с помадной банки! А еще умный человек называешься! Думал-то, должно быть, сколько над ней! Ведь это на духах написано.

— Помилуйте, дядюшка, — сказал я полушепотом, — да ведь это просто дурак, набитый дурак!

— Что ж делать, братец? — отвечал тоже шепотом дядя, — уверяют кругом, что умен и что это всё в нем благородные свойства играют...

— Да развяжитесь вы с ним, ради бога!

— Послушай, Григорий! ведь мне, братец, некогда, помилуй! — начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и Видоплясова. — Ну, рассуди, ну, где мне жалобами твоими теперь заниматься! Ты говоришь, что тебя опять они чем-то обидели? Ну, хорошо: вот тебе честное слово даю, что завтра всё разберу, а теперь ступай с богом... Постой! что Фома Фомич?

— Почивать ложились-с. Сказали, что если будет кто об них спрашивать, так отвечать, что они на молитве сию ночь долго стоять намерены-с.

— Гм! Ну, ступай, братец, ступай! Видишь, Сережа, ведь он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да и дворня-то его потому и не любит, что он всё о них Фоме переносит. Вот теперь ушел, а, пожалуй, завтра и нафискалит о чем-нибудь! А уж я, братец , там всё так уладил, даже спокоен теперь... К тебе спешил. Наконец-то я опять с тобой! — проговорил он с чувством, пожимая мне руку. — А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя посылал. Ну, слава богу, теперь! А давеча-то, Гаврила-то каково? да и Фалалей, и ты — всё одно к одному! Ну, слава богу, слава богу! наконец-то наговорюсь с тобой досыта. Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай: ты один у меня, ты и Коровкин...

— Но, позвольте, что ж вы там такое уладили, дядюшка, и чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит!

— А у меня цела, что ли? Она, брат, у меня уж полгода теперь вальсирует, голова-то моя! Но, слава богу! теперь всё уладилось. Во-первых, меня простили, совершенно простили, с разными условиями, конечно; но уж я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то, Саша-то, давеча-то... горячее сердечко! увлеклась немного, но золотое сердечко! Я горжусь этой девочкой, Сережа! Да будет над нею всегдашнее благословение божие. Тебя тоже простили, и даже, знаешь как? Можешь делать всё, что тебе угодно, ходить по всем комнатам и в саду, и даже при гостях, — словом, всё, что угодно; но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме Фомиче, — это непременное условие, то есть решительно ни полслова, — я уж обещался за тебя, — а только будешь слушать, что старшие... то есть я хотел сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод. Ты, Сергей, не обижайся; ведь ты и в самом деле еще молод... Так и Анна Ниловна говорит...

Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях.

— Послушайте, дядюшка, — вскричал я, чуть не задыхаясь, — скажите мне только одно и успокойте меня: я в настоящем сумасшедшем доме или нет?

— Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику! Уж и не можешь никак утерпеть, — отвечал опечаленный дядя. — Вовсе не в сумасшедшем, а так только, погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя? Помнишь, что ты ему отмочил, — человеку, так сказать, почтенных лет?

— Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка.

— Ну уж это ты, брат, перескакнул! это уж вольнодумство! Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь, но уж это, брат, из мерки выскочило, то есть удивил ты меня, Сергей.

— Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но виноват перед вами. Что же касается до вашего Фомы Фомича...

— Ну, вот уж и *вашего*! Эх, брат Сергей, не суди его строго: мизантропический человек — и больше ничего, болезненный! С него нельзя строго спрашивать. Но зато какой благородный, то есть просто благороднейший из людей! Да ведь ты сам давеча был свидетелем, просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так на это нечего смотреть. Ну, с кем этого не случается?

— Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается?

— Эх, наладил одно! Добродушия в тебе мало, Сережа; простить не умеешь!..

— Ну, хорошо, дядюшка, хорошо! Оставим это. Скажите, видели вы Настасью Евграфовну?

— Эх, брат, о ней-то всё дело шло. Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное: мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения, Фому-то, потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается; так-таки и пойдем всем кагалом, еще перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, — словом, польстит. Ах, кабы и ты его, Сережа, вместе с нами, тут же поздравил! Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо было, если б вы помирились! Забудь, брат, обиду, Сережа, ведь ты и сам его обидел... Наидостойнейший человек!

— Дядюшка! дядюшка! — вскричал я, теряя последнее терпение, — я с вами о деле хочу говорить, а вы... Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовной?

— Как же, братец, что ты! чего ты кричишь? Из-за нее-то и поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтоб тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь представить себе мое положение... Ну, да слава богу! теперь всё это уладилось. Они, видишь ли, — уж признаюсь тебе во всем, — думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели: они это мне там объяснили... так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Всё это маменька, а пуще всех Анна Ниловна. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил

и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается, хоть не совсем, так, еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна всё еще ворчит! Уж и не знаю, что выдумать, чтоб ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой Анне Ниловне?

— Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка! Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтоб ее увезти? что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключение велела вам кланяться, — знаете ли вы это, иль нет?

Дядя, как был, так и остался передо мной с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его.

Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом; объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, — словом, не скрыл ничего; даже нарочно преувеличил всё, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтоб допытаться от него решительных мер, — и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову.

— Где она, не знаешь ли? где она теперь? — проговорил он наконец, побледнев от испуга. — А я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойный, думал, что всё уж уладилось, — прибавил он в отчаянии.

— Не знаю, где теперь, только давеча, как начались эти крики, она пошла к вам: она хотела всё это выразить вслух, при всех. Вероятно, ее не допустили.

— Еще бы допустили! что б она там наделала! Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет, куда? куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему ж она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради бога, чего ж ты стоишь?

— Помилосердуйте, дядюшка! да разве можно задавать такие вопросы?

— Но ведь невозможно ж и это! Ты должен, должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье! Теперь ее гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница, — не прогонят. А то куда она пойдет? что с ней будет? В гувернантки? Но ведь это только бессмысленный вздор, в гувернантки-то! Ведь пока место найдет, чем дома жить? У старика их девятеро на плечах; сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры, и она, и отец. Да и каково таким образом выйти — ужас! Здесь уж будет скандал — я знаю. А жалованье ее уж давно вперед

забрано на семейные нужды: ведь она их питает. Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантки, найду такую честную и благородную фамилью... да ведь черта с два! где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то благородных людей? Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что бога гневить! но, друг мой, ведь опасно: можно ли положиться на людей? К тому же бедный человек подозрителен; ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями! Они оскорбят ее; она гордая, и тогда... да уж что тогда? А что если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется?.. Она плюнет на него, — я знаю, что плюнет, — но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец! все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозрение, и тогда... Голова трещит на плечах! Ах ты, боже мой!

— Дядюшка! простите меня за один вопрос, — сказал я торжественно, — не сердитесь на меня, поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить; я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка!

— Что, что такое? Какой вопрос?

— Скажите, как перед богом, откровенно и прямо: не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте: ведь из-за этого-то ее здесь и гонят.

Дядя сделал самый энергический жест самого судорожного нетерпения.

— Я? влюблен? в нее? Да они все белены объелись или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал, как не для того, чтоб доказать им всем, что они белены объелись? Да для чего же я тебя-то к ней сватаю? Я? влюблен? в нее? Рехнулись они все, да и только!

— А если так, дядюшка, то позвольте уж мне всё высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и — и дай бог этого! дай вам бог любовь и совет!

— Но, помилуй, что ты говоришь! — вскричал дядя почти с ужасом. — Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокровно... и... вообще ты, брат, всё куда-то торопишься, — я замечаю в тебе эту черту! Ну, не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе, даже грешно! Я старик, а она — цветочек! Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супружеством! Она, пожалуй, из благодарности и не отказала бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю! Да я бы душу мою ей отдал, деточка она моя! Всё равно как Сашу люблю, даже больше, признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею

себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила; она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал: и по-французски говорить, и на фортепьяно, и книги, и всё... Улыбочка какая у ней! заметил ты, Сережа? как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не смеется, а, напротив, любит... Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение; они и уверятся, что я не имею видов на нее, и перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли... я бы вас так любил, так любил! жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами; всюду за вами! Ах, как бы мы могли быть счастливы! И зачем это люди всё злятся, всё сердятся, ненавидят друг друга? Так бы, так бы взял да и растолковал бы им всё! Так бы и выложил перед ними всю сердечную правду! Ах ты, боже мой!

— Да, дядюшка, да, это всё так, а только она вот и отказала мне...

— Отказала! Гм!.. А знаешь, я как будто предчувствовал, что она откажет тебе, — сказал он в задумчивости. — Но нет! — вскрикнул он, — я не верю! это невозможно! Но ведь в таком случае всё расстроится! Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил еще, может быть; пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать... Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей!

Я повторил еще раз всё в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся.

— Спасти! — сказал он, — спасти до завтрашнего утра!

— Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? — вскричал я в испуге.

— А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали завтра? Завтра же делаю предложение; формально обещался.

— И вы решились, дядюшка?

— Что ж делать, братец, что ж делать! Это раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение; свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему; оно, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе, так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят: «для детей богатство!» Конечно, для детей чего не сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не всё же тунеядцем сидеть!

— Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! — вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось.

— Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая, а так, испытала, знаешь, несчастия... Что ж делать, братец, и рад бы с умом... А впрочем, и с умом-то какие бывают! А какая она добрая, если б ты знал, благородная какая!

— Но, боже мой! он уж и мирится с этою мыслью! — сказал я в отчаянии.

— А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уже я предчувствовал, что, рано ли, поздно ли, а не отвертишься: заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, всё откровенно скажу: я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился, по крайней мере, с плеч долой, — спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя! А главное, в выигрыше то, что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим условием. А тут *она* сама бежать хочет! Да не будет же этого! — вскрикнул дядя, топнув ногою. — Послушай, Сергей, — прибавил он с решительным видом, — подожди меня здесь, никуда не ходи; я мигом к тебе ворочусь.

— Куда вы, дядюшка?

— Может быть, я ее увижу, Сергей: всё объяснится, поверь, что всё объяснится, и... и... и женишься же ты на ней — даю тебе честное слово!

Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.

XII

КАТАСТРОФА

Я остался один. Положение мое было нестерпимое: мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложение не выходили у меня из головы. Во что бы ни стало дядю надо было спасти! Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему всё. Но куда, однако ж, пошел дядя? Он сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове, и пренеприятное чувство ущемило мое сердце. Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь... Подумав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения. Дядя не мог обманывать: это очевидно. Беспокойство мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся заблудиться. Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу одряхлевшего, покрытого тиной пруда, я вдруг остановился как вкопанный: мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, какое странное чувство досады овладело мною! Я был уверен, что это дядя и Настенька, и продолжал подходить, успокоивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался ясно звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов, и тотчас же вслед за этим — пронзи-

тельный женский крик. В то же мгновение женщина в белом платье выбежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтоб не быть узнанной: вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление, когда в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалере я узнал Обноскина, — Обноскина, который, по словам Мизинчикова, давно уж уехал! С своей стороны, и Обноскин, увидав меня, чрезвычайно смутился: всё нахальство его исчезло.

— Извините меня, но... я никак не ожидал с вами встретиться, — проговорил он, улыбаясь и заикаясь.

— А я с вами, — отвечал я насмешливо, — тем более что я слышал, вы уж уехали.

— Нет-с... это так... я проводил только недалеко маменьку. Но могу ли я обратиться к вам как к благороднейшему человеку в мире?

— С чем это?

— Есть случаи, — и вы сами согласитесь с этим, — когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого, истинно благородного человека... Надеюсь, вы понимаете меня...

— Не надейтесь: ничего решительно не понимаю.

— Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседке?

— Видел, но не узнал.

— А, не узнали!.. Эту даму я назову скоро моею женою.

— Поздравляю вас. Но чем же я могу быть вам полезен?

— Только одним: сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой.

«Кто ж бы это? — подумал я, — уж не...»

— Право, не знаю-с, — отвечал я Обноскину. — Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слова...

— Нет, ради бога, пожалуйста, — умолял Обноскин. — Поймите мое положение: это секрет. Вы тоже можете быть женихом, тогда и я, с своей стороны...

— Тс! кто-то идет!

— Где?

Действительно, шагах в тридцати от нас, чуть приметно, промелькнула тень проходившего человека.

— Это... это, верно, Фома Фомич! — прошептал Обноскин, трепеща всем телом. — Я узнаю его по походке. Боже мой! и еще шаги, с другой стороны! Слышите... Прощайте! благодарю вас и... умоляю вас...

Обноскин скрылся. Чрез минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли.

— Это ты? — окрикнул он меня. — Всё пропало, Сережа! всё пропало!

Я заметил, что он тоже дрожал всем телом.

— Что пропало, дядюшка?

— Пойдем! — сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить. Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно; он был бледен, как мертвый. Я немедленно спрыснул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь очень ужасное, — думал я, — когда с таким человеком делается обморок».

— Дядюшка, что с вами? — спросил я его наконец.

— Всё пропало, Сережа! Фома застал меня в саду вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее!

— Поцеловали! в саду! — вскричал я, смотря в изумлении на дядю.

— В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб непременно ее увидать. Хотел ей всё высказать, урезонить ее, насчет тебя то есть. А она меня уж целый час дожидалась, там, у сломанной скамейки, за прудом... Она туда часто приходит, когда надо поговорить со мной.

— Часто, дядюшка?

— Часто, братец! Последнее время почти каждую ночь сряду сходились. Только они нас, верно, и выследили, — уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна всё работала. Мы на время и прервали; дня четыре уж ничего не было; а вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нужда была: без этого как же бы я ей сказал? Прихожу, в надежде застать, а она уж там целый час сидит, меня дожидается: тоже надо было кое-что сообщить...

— Боже мой, какая неосторожность! ведь вы знали, что за вами следят?

— Да ведь критический случай, Сережа; многое надо было взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на нее не смею: она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и наговоримся...

— Ну, что ж, дядюшка?

— Не успел я двух слов сказать, знаешь, сердце у меня заколотилось, из глаз слезы выступили; стал я ее уговаривать, чтоб за тебя вышла; а она мне: «Верно, вы меня не любите, верно, вы ничего не видите», и вдруг как бросится мне на шею, обвила меня руками, заплакала, зарыдала! «Я, говорит, одного вас люблю и ни за кого не выйду Я вас уж давно люблю, только и за вас не выйду, а завтра же уеду и в монастырь пойду».

— Боже мой! неужели она так и сказала? Ну, что ж дальше, дальше, дядюшка?

— Смотрю, а перед нами Фома! и откуда он взялся? Неужели за кустом сидел да этого греха выжидал?

— Подлец!

— Я обмер. Настенька бежать, а Фома Фомич молча прошел мимо нас, да пальцем мне и погрозил, — понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет?

— Ну, да уж как не понять!

— Понимаешь ли ты, — вскричал он в отчаянии, вскакивая со стула, — понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить, осрамить, обесчестить; ищут предлога, чтоб бесчестие на нее всклепать и за это выгнать ее; а вот теперь и нашелся предлог! Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет! ведь они, подлецы, говорили, что она с Видоплясовым имеет! Это всё Анна Ниловна говорила. Что теперь будет? что завтра будет? Неужели расскажет Фома?

— Непременно расскажет, дядюшка.

— А если расскажет, если только расскажет... — проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки, — но нет, не верю! он не расскажет, он поймет... это человек высочайшего благородства! Он пощадит ее...

— Пощадит иль не пощадит, — отвечал я решительно, — но во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасье Евграфовне.

Дядя смотрел на меня неподвижно.

— Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите девушку, если разнесется эта история? Понимаете ли вы, что вам надо предупредить беду как можно скорее; что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он заикнется против нее?

— Друг мой! — вскричал дядя, — я об этом думал, идя сюда!

— И как же решили?

— Неизменно! Я уж решился, прежде чем начал тебе рассказывать!

— Браво, дядюшка!

И я бросился обнимать его.

Долго мы говорили. Я выставил перед ним все резоны, всю неумолимую необходимость жениться на Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня. Но красноречие мое было возбуждено. Я радовался за дядю. Долг подстрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом же, перед обязанностью он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своею обязанностью; но мне как-то не верилось, чтоб у него достало силы восстать против своих домашних. И потому я старался как можно более подстрекнуть и направить его и работал со всею юношескою горячностью.

— Тем более, тем более, — говорил я, — что теперь уже всё решено и последние сомнения ваши исчезли! Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели и все прежде вас заметили: Настасья Евграфовна вас любит! Неужели же вы попустите, — кричал я, — чтоб эта чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор?

— Никогда! Но, друг мой, неужели ж я буду наконец так счастлив? — вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. — И как

это она полюбила меня, и за что? за что? Кажется, во мне нет ничего такого... Я старик перед нею: вот уж не ожидал-то! ангел мой, ангел!.. Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал, не влюблен ли я в нее: имел ты какую-нибудь идею?

— Я видел только, дядюшка, что вы ее любите так, как больше любить нельзя: любите и между тем сами про это не знаете. Помилуйте! выписываете меня, хотите женить меня на ней, единственно для того, чтоб она вам стала племянницей и чтоб иметь ее всегда при себе...

— А ты... а ты прощаешь меня, Сергей?

— Э, дядюшка!..

И он снова обнял меня.

— Смотрите же, дядюшка, все против вас: надо восстать и пойти против всех, и не далее, как завтра.

— Да... да, завтра! — повторил он несколько задумчиво, — и, знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силой характера... именно с силой характера!

— Не сробейте, дядюшка!

— Не сробею, Сережа! Одно: не знаю, как начать, как приступить!

— Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день всё решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фома заговорит — немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок.

— А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил: завтра же пойду к нему рано, чем свет, всё расскажу, вот как с тобой говорил: не может быть, чтоб он не понял меня; он благороден, он благороднейший из людей! Но вот что меня беспокоит: что если маменька предуведомила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении? Ведь это уж худо!

— Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка.

И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове.

— Фантасмагорическое лицо! истинно фантасмагорическое лицо! — вскричал он. — Бедная! Они подъезжают к ней, хотят воспользоваться ее простотою! Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал... Странно, ужасно странно! Я поражен, Сережа... Это завтра же надо исследовать и принять меры... Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Ивановна?

Я отвечал, что хотя и не видал в лицо, но по некоторым причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна.

— Гм! Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна? Не Даша ли, садовника дочь? пролазливая девочка! Замечена, потому и говорю, что замечена. Анна Ниловна выследила... Да нет же, однако! Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно! Странно!

Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю. «Завтра, завтра, — повторял он, — всё решится, — прежде чем ты вста-

петь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски, открою ему всё, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа. Ложись, ты устал; а я уж, верно, во всю ночь глаз не сомкну».

Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный донельзя. День был трудный. Нервы мои были расстроены, и, прежде чем заснул, я несколько раз вздрагивал и просыпался. Но как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

I

ПОГОНЯ

Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день; в окна ярко заглядывало солнце. На кровати моей, или, лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчеев.

Сомневаться было невозможно: это был он. Высвободив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека.

— Он еще и смотрит! — вскричал толстяк. — Да ты что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай! полчаса бужу; продирай глаза-то!

— Да что случилось? Который час?

— Час, батюшка, еще ранний, а Февронья-то наша и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!

— Какая Февронья?

— Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до свету улепетнула! Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа! Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника! — прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе.

— Да про кого и про что вы говорите? — сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. — Уж не Татьяна ль Ивановна?

— А как же? она и есть! Я говорил, предрекал — не хотели слушать! Вот она тебя и поздравила теперь с праздником! На амуре помешана, а амур-то у нее крепко в голове засел! Тьфу! А тот-то, тот-то каков? с бороденкой-то?

— Неужели с Мизинчиковым?

— Тьфу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, отрезвись хоть маленько, хоть для великого божьего праздника! Знать,

тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь еще бродит! С каким Мизинчиковым? С Обноскиным, а не с Мизинчиковым. А Иван Иваныч Мизинчиков человек благонравный и теперь с нами же в погоню сбирается.

— Что вы говорите? — вскричал я, даже привскакнув на постели, — неужели с Обноскиным?

— Тьфу ты, досадный человек! — отвечал толстяк, вскакивая с места, — я к нему как к образованному человеку пришел оказию сообщить, а он еще сомневается! Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать: и без того золотое время с тобой потерял!

И он вышел в чрезвычайном негодовании.

Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем, я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскоро, в каком-то утреннем пеньюаре иль шлафроке. Волосы ее были в беспорядке: видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях.

— Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Обноскиным? — торопливо спросила она прерывавшимся голосом, бледная и испуганная.

— Говорят, что правда. Я ищу дядюшку; мы хотим в погоню.

— О! привезите, привезите ее скорее! Она погибнет, если вы ее не воротите.

— Но где же дядюшка?

— Верно, там, у конюшен; там коляску закладывают. Я его здесь поджидала. Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня же; я совсем решилась. Отец возьмет меня; я еду сейчас, если можно будет. Всё погибло теперь! всё потеряно!

Говоря это, она сама глядела на меня как потерянная и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика.

— Успокойтесь! — умолял я ее, — ведь это всё к лучшему — вы увидите... Что с вами, Настасья Евграфовна?

— Я... я не знаю... что со мною, — говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. — Скажите ему...

В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум. Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убежала вверх по лестнице.

Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева и Мизинчикова, на заднем дворе, у конюшен. В коляску Бахчеева впрягали свежих лошадей. Всё было готово к отъезду: ждали только меня.

— Вот и он! — закричал дядя при моем появлении. — Слышал, брат? — прибавил он с каким-то странным выражением в лице.

Испуг, растерянность и вместе с тем как будто надежда выражались в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот.

Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтоб поспеть к ранней обедне в монастырь, находящийся верстах в пяти от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель он вдруг увидел тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчееву руки, как бы умоляя его о защите, — так по крайней мере выходило из его рассказа. «А тот-то, подлец, с бороденкой-то, — прибавлял он, — ни жив ни мертв сидит, спрятался; да только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчиково, разбудил дядю, Мизинчикова, наконец, и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню.

— Обноскин-то, Обноскин-то... — говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем и что-то другое, — кто бы мог ожидать!

— От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости! — вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда.

— Что ж мы, едем иль нет? Али до ночи будем стоять да сказки рассказывать? — прервал господин Бахчеев, влезая в коляску.

— Едем, едем! — подхватил дядя.

— Всё к лучшему, дядюшка, — шепнул я ему. — Видите, как всё это теперь отлично уладилось?

— Полно, брат, не греши... Ах, друг мой! они теперь просто выгонят *ее*, в наказанье, что не удалось, — понимаешь? Ужас, сколько я предчувствую!

— Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? — вскричал в другой раз господин Бахчеев. — Аль уж отложить лошадок да закуску подать, — как вы думаете: не выпить ли водочки?

Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно сели в коляску, и лошади поскакали.

Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно посматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он часто задумывался; потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был, по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев горячился за всех. Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на всё с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на́ сторону и никак не мог успокоиться.

— Уверены ли вы, Степан Алексеич, что они поехали в Мишино? — спросил вдруг дядя. — Это, брат, двадцать верст отсюда, — прибавил он, обращаясь ко мне, — маленькая деревенька, в тридцать душ; недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга, каких свет не

производил! Так по крайней мере о нем говорят; может быть, и ошибочно. Степан Алексеич уверяет, что Обноскин именно туда ехал и что этот чиновник теперь ему помогает.

— А то как же? — вскричал Бахчеев, встрепенувшись. — Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его, в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то! Еще бы три часа на дворе попусту прокалякали!

— Не беспокойтесь, — заметил Мизинчиков, — застанем.

— Да, застанем! Небось он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках; был — да сплыл!

— Успокойся, Степан Алексеич, успокойся, догоним, — сказал дядя. — Они еще ничего не успели сделать, — увидишь, что так.

— Не успели сделать! — злобно переговорил господин Бахчеев. — Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая! «Тихонькая, говорят, тихонькая!» — прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. — «Испытала несчастья». Вот она нам теперь пятки и показала, несчастная-то! Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуня язык ни свет ни заря! Помолиться человеку не дадут для божьего праздника. Тьфу!

— Да ведь она, однако ж, не малолетняя, — заметил я, — под опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?

— Разумеется, — отвечал дядя, — но она захочет — уверяю тебя. Это она теперь только так... Только увидит нас, тотчас воротится, — отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву; это, так сказать, долг...

— Под опекой не состоит! — вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. — Дура она, батюшка, набитая дура, — а не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера, а намедни ошибкой зашел в ее комнату: смотрю, а она одна перед зеркалом руки в боки, экосез выплясывает! Да ведь как разодета: журнал, просто журнал! Плюнул да и отошел. Тогда же всё предузнал, как по-писаному!

— К чему ж так обвинять? — заметил я с некоторою робостью. — Известно, что Татьяна Ивановна... не в полном своем здоровье... или, лучше сказать, у ней такая мания... Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она.

— Не в полном своем здоровье! ну вот подите вы с ним! — подхватил толстяк, весь побагровев от злости. — Ведь поклялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в полном своем здоровье; сызмалетства на купидоне помешана! Вот и довел ее теперь купидон до последней точки. А про того, с бороденкой-то, и поминать нечего! Небось задувает теперь по всем по трем с денежками, динь-динь-динь, да посменвается.

— Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее?

— А то как же? Небось таскать с собой станет такое сокровище? Да на что она ему? оберет ее да и посадит где-нибудь под куст, на дороге — и был таков, а она и сиди себе под кустом да нюхай цветочки!

— Ну, уж это ты увлекся, Степан, не так это будет! — вскричал дядя. — Впрочем, чего ж ты так сердишься? Дивлюсь я на тебя, Степан, тебе-то чего?

— Да ведь я человек али нет? Ведь зло берет; вчуже берет. Ведь, я, может, ее же любя, говорю... Эх, прокисай всё на свете! Ну зачем я приехал сюда? ну зачем я сворачивал? мне-то какое дело? мне-то какое дело?

Так сетовал господин Бахчеев; но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли, — о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим источникам и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом, негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная дева и наконец бедная перезрелая дева, Татьяна Ивановна, во всю свою бедную жизнь испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне изведала всю горечь чужого хлеба. От природы характера веселого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного, она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым веселым, беззаботным смехом; но с годами судьба взяла наконец свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась раздражительна, болезненно-восприимчива и впала в самую неограниченную, беспредельную мечтательность, часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и наконец погибли совсем последние существенные надежды ее, тем упоительнее становились ее мечты, никогда не осуществимые. Богатства неслыханные, красота неувядаемая, женихи изящные, богатые, знатные, всё князья и генеральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви, и наконец *он* — *он*, идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, страстный и любящий, художник, поэт, генеральский сын — всё вместе или поочередно, всё это начинало ей представляться не только во сне, но даже почти и наяву. Рассудок ее уже начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, беспрерывных мечтаний... И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не защищенная никем, измученная горемычным житьем своим и, про себя,

утопающая в неге самых безумных и распаленных фантазий, — она вдруг получила известие о смерти одного своего дальнего родственника, у которого давно уже (о чем она, по легкомыслию своему, никогда не справлялась) перемерли все его близкие родные, человека странного, жившего затворником, где-то за тридевять земель, в захолустье, одиноко, угрюмо, неслышно и занимавшегося черепословием и ростовщичеством. И вот огромное богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны: она оказалась единственной законной наследницей умершего родственника. Сто тысяч рублей серебром досталось ей разом. Эта насмешка судьбы доконала ее совершенно. Как же, в самом деле, и без того уже ослабевшему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась с оставшейся у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. Прочь все соображения, все сомнения, все преграды действительности, все неизбежные и ясные, как дважды-два, законы ее! Тридцать пять лет и мечта об ослепляющей красоте, осенний грустный холод и вся роскошь бесконечного блаженства любви, даже не споря между собою, ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни: отчего же и всему не сбыться? отчего же и *ему* не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании *его,* идеала — женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с эспаньолками и без эспаньолок, испанцы и неиспанцы (но преимущественно испанцы), начали представляться ей день и ночь в количестве, ужасающем и возбуждавшем в наблюдателях серьезные опасения; оставался только шаг до желтого дома. Блестящею, упоенною любовью вереницей толпились около нее все эти прекрасные призраки. Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком: на кого она ни взглянет — тот и влюбился; кто бы ни прошел мимо — тот и испанец; кто умер — непременно от любви к ней. Всё это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других, с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела, что всё это из-за денег. Она совершенно была уверена, что по чьему-то мановению все люди вдруг исправились и стали, все до одного, веселые, милые, ласковые, добрые. *Он* не являлся еще налицо; но хотя и сомнения не было в том, что *он* явится, теперешняя жизнь и без того была так недурна, так заманчива, так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще более распаляли ее воображение и бро-

сались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтенья, увлекаемая в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Беспрерывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, образчики, выкройки, узоры, конфекты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи, и даже ночью, примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помолодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Крахоткину. Я всегда был уверен, что это родство — выдумка генеральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчеев был прав, говоря о купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки; а мысль дяди, после известия о ее побеге с Обноскиным, бежать за ней и воротить ее, хоть насильно, была самая рациональная. Бедняжка неспособна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попалась к недобрым людям.

Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это была бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьянских изб, закоптелых, покрившихся набок и едва прикрытых почерневшею соломою, как-то грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракита свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвесть отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами в ряд и крытого на скорую руку соломой. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором, и только с одной стороны начинался новый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы упали на виноватых как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач.

Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился от нас бежать сломя голову. В первой же комнате, на ситцевом, длинном «турецком» диване, без спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало чье-то дамское платье: кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись: казалось, их и в доме не было; все куда-то попрятались.

— Вот она, путешественница! еще и ручками закрывается! — вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за нами в комнату.

— Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это наконец неприлично. Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние, — резко заметил Мизинчиков.

Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая Обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, всё еще закрывавшейся ручками, и самым мягким голосом, с самым непритворным участием сказал ей:

— Татьяна Ивановна! мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково? Илюша именинник. Маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей уж, верно, проплакали о вас целое утро...

Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы и вдруг, залившись слезами, бросилась к нему на шею.

— Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее! — говорила она рыдая, — скорее, как можно скорее!

— Расскакалась да и сбрендила! — прошипел Бахчеев, подталкивая меня рукою.

— Значит, всё кончено, — сказал дядя, сухо обращаясь к Обноскину и почти не глядя на него. — Татьяна Ивановна, пожалуйте вашу руку. Едем!

За дверьми послышался шорох; дверь скрипнула и приотворилась еще более.

— Однако ж, если судить с другой точки зрения, — заметил Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную дверь,— то посудите сами, Егор Ильич... ваш поступок в моем доме... и, наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич...

— Ваш поступок в *моем* доме, сударь, был скверный поступок, — отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина, — а это и дом-то не ваш. Вы слышали: Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более? Ни слова — слышите, ни слова больше, прошу вас! Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее.

Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряни.

— Не презирайте меня, Егор Ильич, — начал он полушепотом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на дверь, вероятно из боязни, чтоб там не услышали, — это всё не я, а маменька. Я не из интереса это сделал, Егор Ильич; я только так это сделал; я, конечно, и для интереса это сделал, Егор Ильич... но я с благородной целью это сделал, Егор Ильич: я бы употребил с пользою капитал-с... я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете... Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич; а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич...

Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать.

— Ну, ну, полно, полно! — проговорил он наконец. — Успокойся, Павел Семеныч. Что ж делать! Со всяким случается... Если хочешь, приезжай, брат, обедать... а я рад, рад...

Но не так поступил господин Бахчеев.

— Стипендию учредить! — заревел он с яростью, — таковский чтоб учредил! Небось сам рад сорвать со всякого встречного... Штанишек нет, а туда же, в стипендию какую-то лезет! Ах ты лоскутник, лоскутник! Вот тебе и покорил нежное сердце! А где ж она, родительница-то? али спряталась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там, за ширмами, али под кровать со страха залезла...

— Степан, Степан!.. — закричал дядя.

Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать; но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась и сама Анфиса Петровна, раздраженная, с сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату.

— Это что? — закричала она, — что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом с своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь!.. Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич! А ты, пентюх! — продолжала она вопить, набрасываясь на сына, — ты уж и нюни распустил перед ними! Твоей матери делают оскорбление в ее же доме, а ты рот разинул! Какой ты порядочный молодой человек после этого? Ты тряпка, а не молодой человек после этого!

Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже лорнетки — ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски.

Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты; но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу.

— Вы так не выйдете, Егор Ильич! — затрещала она снова. — По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомою Фомичом! Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса. Извините-с, здесь благороднее думают! Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губят, сама вверилась Павлуше. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей; она принуждена была бежать от вас ночью — вот как-с! вот вы до чего ее довели! Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врываться целой шайкой в благородный дворянский дом и силою увозить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я не позволю! не позволю! Я не сошла с ума!.. Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет! Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать: это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пойдемте! Я их тотчас же выпровожу!..

— Нет, нет! — закричала испуганная Татьяна Ивановна, — я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж?

— Не хотите? — взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости, — не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком случае как же вы смели обманывать нас? В таком случае как же вы смели обещать ему, бежали с ним ночью, сами навязывались, ввели нас в недоумение, в расходы? Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас!.. Он, может быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас!..Нет-с! Вы заплатите, вы должны теперь заплатить; мы доказательства имеем: вы ночью бежали...

Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо на Анфису Петровну, и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску.

— Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы! — кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном исступлении. — Я бумагу подам! вы заплатите... вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! вы не можете выйти замуж за Егора Ильича; он под носом у вас держит свою гувернантку на содержании!..

Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и схватил меня за руку.

— По крайней мере позвольте мне искать вашей дружбы! — сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице.

— Как это дружбы? — сказал я, занося ногу на подножку коляски.

— Так-с! Я еще вчера отличил в вас образованнейшего человека. Не судите меня... Меня собственно обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более имею наклонности к литературе — уверяю вас; а это всё маменька...

— Верю, верю, — сказал я, — прощайте!

Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас с диким любопытством.

В коляске помещалось теперь нас пятеро; но Мизинчиков пересел на козлы, уступив свое прежнее место господину Бахчееву, которому пришлось теперь сидеть прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна, что мы ее увезли, но всё еще плакала. Дядя, как мог, утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив: видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева.

Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой; он не мог смотреть равнодушно; ворочался на своем месте, краснел как рак и страшно вращал глазами; особенно когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну, толстяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всматриваться; потом посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою омбрельку, грациозно ударила ею слегка господина Бахчеева по плечу.

— Безумец! — проговорила она с самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером.

Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд.

— Что-о-о? — заревел толстяк, — что такое, мадам? Так ты уж и до меня добираешься!

— Безумец! безумец! — повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши.

— Стой! — закричал Бахчеев кучеру, — стой!

Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски.

— Да что с тобой, Степан Алексеич? куда ты? — вскричал изумленный дядя.

— Нет, уж довольно с меня! — отвечал толстяк, дрожа от негодования, — прокисай всё на свете! Устарел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать. Я, матушка, лучше уж на большой дороге помру! Прощай, мадам, коман-ву-порте-ву!

И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом.

— Степан Алексеевич! — кричал дядя, выходя наконец из терпения, — не дурачься, полно, садись! ведь домой пора!

— И — ну вас! — проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь от ходьбы, потому что, по толстоте своей, совсем разучился ходить.

— Пошел во весь опор! — закричал Мизинчиков кучеру.

— Что ты, что ты, постой!.. — вскричал было дядя, но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся: немедленно получились желаемые плоды.

— Стой! стой! — раздался позади нас отчаянный вопль, — стой, разбойник! стой, душегубец ты эдакой!..

Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстух и сняв картуз. Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз я уступил ему свое место; по крайней мере он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжение всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски.

Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но, почти вслед за ним, вошел дядя и тотчас же выслал его.

II

НОВОСТИ

— Я, брат, к тебе на минутку, — начал он торопливо, — спешил сообщить... Я уже всё разузнал. Никто из них сегодня даже у обедни не был, кроме Илюши, Саши да Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали; насилу оттерли. Теперь положено собираться к Фоме, и меня зовут. Не знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами-то, — важный пункт! И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж? Ужас, Сережа, я уж предчувствую...

— Напротив, дядюшка, — заспешил я в свою очередь, — всё превосходно устроивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне — это одно чего стоит! Я вам еще дорогою это хотел объяснить.

— Так так, друг мой. Но всё это не то; во всем этом, конечно, перст божий, как ты говоришь; но я не про то... Бедная Татьяна Ивановна! какие, однако ж, с ней пассажи случаются!.. Подлец, подлец Обноскин! А впрочем, что ж я говорю «подлец»? я разве не то же бы самое сделал, женясь на ней?.. Но, впрочем, я всё не про то... Слышал ты, что кричала давеча эта негодяйка, Анфиса, про Настю?

— Слышал, дядюшка. Догадались ли вы теперь, что надо спешить?

— Непременно, и во что бы ни стало! — отвечал дядя. — Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал: пойдет ли она-то за меня, — вот что?

— Помилосердуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что любит...

— Друг ты мой, да ведь тут же прибавила, что «ни за что не выйду за вас».

— Эх, дядюшка! это так только говорится; к тому же и обстоятельства сегодня не те.

— Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело деликатное, ужасно деликатное! Гм!.. А знаешь, хоть и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастия!.. Ну, прощай, лечу. Ждут; я уж и так опоздал. Только так забежал, слово с тобой перебросить. Ах, боже мой! — вскричал он, возвращаясь, — главное-то я и забыл! Знаешь что: ведь я ему писал, Фоме-то!

— Когда?

— Ночью; а утром, чем свет, и письмо отослал с Видоплясовым. Я, братец, всё изобразил, на двух листах, всё рассказал, правдиво и откровенно, — словом, что я должен, то есть непременно должен, — понимаешь? — сделать предложение Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтоб помочь мне у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами...

— И что ж? Никакого ответа?

— Покамест еще нет; только давеча, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях, по-ночному, в туфлях и в колпаке, — он спит в колпаке, — куда-нибудь выходил. Ни слова не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, эдак снизу, — ничего!

— Дядюшка, не надейтесь на него: нагадит он вам.

— Нет, нет, братец, не говори! — вскричал дядя, махая руками, — я уверен. К тому же ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет; он оценит. Он брюзглив, капризен — не спорю; но когда дело дойдет до высшего благородства, тут-то он и засияет, как перл... именно, как перл. Это ты всё оттого, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем благородстве... Но, боже мой! если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то... я уж и не знаю, что тогда будет, Сергей! Чему же останется и верить на свете? Но нет, он не может быть таким подлецом. Я подметки его не стою! Не качай головой, братец: это правда — не стою!

— Егор Ильич! маменька об вас беспокоются-с, — раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая, вероятно, успела подслушать в открытое окно весь наш разговор. — Вас по всему дому ищут-с и не могут найти-с.

— Боже мой, опоздал! Беда! — всполошился дядя. — Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи туда! Я ведь за этим и забежал к тебе, чтоб вместе пойти... Бегу, бегу, Анна Ниловна, бегу!

Оставшись один, я вспомнил о моей встрече давеча с Настенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде: я бы расстроил его еще более. Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю: несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе.

Однако ж надо было спешить. Я считал себя обязанным помогать ему и тотчас же начал одеваться; но как ни спешил, желая одеться получше, замешкался. Вошел Мизинчиков.

— Я за вами, — сказал он, — Егор Ильич вас просит немедленно.

— Идем!

Я был уже совсем готов. Мы пошли.

— Что там нового? — спросил я дорогою.

— Все у Фомы, в сборе, — отвечал Мизинчиков, — Фома не капризничает, что-то задумчив и мало говорит, сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг

Егора Ильича. Еще давеча через Перепелицыну объявил, чтоб не поздравляли его с именинами и что он только хотел испытать... Старуха хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. О нашей истории никто ни полслова, как будто ее и не было; молчат, потому что Фома молчит. Он всё утро не пускал к себе никого, хотя старуха давеча без нас всеми святыми молила, чтоб он к ней пришел для совещаний, да и сама ломилась к нему в дверь; но он заперся и отвечал, что молится за род человеческий или что-то в этом роде. Он что-то затевает: по лицу видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и находится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фомича: настоящий ребенок! Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали за вами.

— А Татьяна Ивановна?

— Что Татьяна Ивановна?

— Она там же? с ними?

— Нет; она в своей комнате, — сухо отвечал Мизинчиков. — Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится. У ней, кажется, теперь эта... гувернантка. Что это? гроза никак собирается. Смотрите, на небе-то!

— Кажется, гроза, — отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу.

В это время мы всходили на террасу.

— А признайтесь, каков Обноскин-то, — а? — продолжал я, не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизинчикова.

— Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом подлеце! — вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топнув ногою. — Дурак! дурак! Погубить такое превосходное дело, такую светлую мысль! Послушайте: я, конечно, осел, что просмотрел его плутни, — я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но клянусь вам, если б он сумел всё это обделать как следует, я бы, может быть, и простил его! Дурак, дурак! И как держат, как терпят таких людей в обществе! Как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу! Но врут! им меня не перехитрить! Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль... Согласитесь сами: неужели ж терять свое потому только, что какой-то посторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это несправедливо! И наконец, этой Татьяне непременно надо выйти замуж — это ее назначение. И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам сообщу мою новую мысль...

— Но, вероятно, после, — прервал я его, — потому что мы вот и пришли.

— Хорошо, хорошо, после! — отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. — А теперь... Но куда ж вы? Говорю вам: прямо к Фоме Фомичу! Идите за мной; вы там еще не были. Увидите другую комедию... Так как уж дело пошло на комедии...

III

ИЛЮША ИМЕНИННИК

Фома занимал две большие и прекрасные комнаты; они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие, красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мягкая, щегольская мебель — всё свидетельствовало о нежной внимательности хозяев к Фоме Фомичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находился большой стол, покрытый красным сукном, весь заложенный книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая чернильница и куча перьев, которыми заведовал Видоплясов, — всё это вместе должно было свидетельствовать о тугих умственных работах Фомы Фомича. Скажу здесь кстати, что Фома, просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного. Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи; все они оказались необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами; потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться, и, наконец, повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченную. Больше ничего не осталось. А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразрезанными. Я же, впоследствии, не один раз заставал Фому за Поль де Коком, которого он прятал при людях куда-нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная дверь, которая вела во двор дома.

Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном кресле, в каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-таки без галстуха. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня. Я поклонился; он отвечал мне легким поклоном, впрочем довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мной благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бедная, и не ожидала поутру, что ее нещечко так покойно примет известие о «пассаже» с Татьяной Ивановной, и потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней действительно происходили корчи и обмороки. За стулом ее, по обыкновению, стояла девица Перепелицына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои костлявые руки одну о другую. Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки, из благородных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка и одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, заехавшая от обедни по-

здравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка Прасковья Ильинична уничтожалась где-то в уголку, с беспокойством смотря на Фому Фомича и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной красной рубашечке, с завитыми кудряшками, хорошенький, как ангельчик. Саша и Настенька тихонько от всех выучили его каким-то стихам, чтоб обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия: неожиданная кротость Фомы, веселость генеральши, именины Илюши, стихи — всё это привело его в настоящий восторг, и он торжественно просил послать за мной, чтоб и я тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, вошедшая почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту была счастлива как дитя. Настенька, глядя на нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла, за минуту назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый Илюша как будто тоже не мог удержаться от смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое приготовили какую-то пресмешную шутку, которую теперь и хотели разыграть... Я и забыл про Бахчеева. Он сидел поодаль, на стуле, всё еще сердитый и красный, молчал, дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семейном празднике. Возле него семенил Ежевикин; впрочем, он семенил и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице Перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичом, — словом, поспевал везде. Он тоже с великим сочувствием ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко мне с поклонами, в знак величайшего уважения и преданности. Вовсе не видно было, что он приехал сюда защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова.

— Вот и он! — радостно вскричал дядя, увидев меня. — Илюша, брат, стихи приготовил — вот неожиданность, настоящий сюрприз! Я, брат, поражен и нарочно за тобой послал и стихи остановил до прихода... Садись-ка возле! Послушаем. Фома Фомич, да ты уж признайся, братец, ведь уж, верно, ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать? Присягну, что так!

Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то, казалось бы, всё обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя неспособен был ничего угадать по лицу, как выразился Мизинчиков; а взглянув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизинчиков прав и что надо было чего-нибудь ожидать...

— Не беспокойтесь обо мне, полковник, — отвечал Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам своим. — Сюрприз я, конечно, хвалю: это изображает чувствительность и благонравие ваших детей. Стихи тоже полезны, даже для произношения... Но я не стихами был занят это утро, Егор Ильич: я молился... вы это знаете... Впрочем, готов выслушать и стихи.

Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его.

— Именно, Фома, извини! Я забыл... хоть и уверен в твоей дружбе, Фома! Да поцелуй его еще раз, Сережа! Смотри, какой мальчуган! Ну, начинай, Илюшка! Про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная, из Ломоносова что-нибудь?

И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости.

— Нет, папочка, не из Ломоносова, — сказала Сашенька, едва подавляя свой смех, — а так как вы были военный и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про военное... Осаду Памбы, папочка.

— Осада Памбы? а! не помню... Что это за Памба, ты знаешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое.

И дядя приосанился в другой раз.

— Говори, Илюша! — скомандовала Сашенька.

Девять лет, как Педро Го́мец... —

начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и без точек, как обыкновенно сказывают маленькие дети заученные стихи, —

Девять лет, как Педро Го́мец
Осаждает замок Памбу,
Молоком одним питаясь,
И всё войско дона Педра,
Девять тысяч кастильянцев,
Все по данному обету
Ниже́ хлеба не снедают,
Пьют одно лишь молоко.

— Как! что? Что это за молоко? — вскричал дядя, смотря на меня в изумлении.

— Читай дальше, Илюша, — вскричала Сашенька.

Всякий день дон Педро Го́мец
О своем бессилье плачет,
Закрываясь епанчою.
Настает уж год десятый;
Злые мавры торжествуют;
А от войска дона Педра
Всего-навсего осталось
Девятнадцать человек...

— Да это галиматья! — вскричал дядя с беспокойством, — ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать человек от всего войска осталось, когда прежде был, даже и весьма значительный, корпус! Что ж это, братец, такое?

Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом; и хоть смешного было вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться.

— Это, папочка, шуточные стихи, — вскричала она, ужасно радуясь своей детской затее, — это уж нарочно так, сам сочинитель сочинил, чтоб всем смешно было, папочка.

— А! шуточные! — вскричал дядя с просиявшим лицом, — комические то есть! То-то я смотрю... Именно, именно, шуточные! И пресмешно, чрезвычайно смешно: на молоке всю армию поморил, по обету какому-то! Очень надо было давать такие обеты! Очень остроумно — не правда ль, Фома? Это, видите, маменька, такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители, — не правда ли, Сергей, ведь пишут? Чрезвычайно смешно! Ну, ну, Илюша, что ж дальше?

Девятнадцать человек!
Их собрал дон Педро Гóмец
И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,
В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим!
Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью,
Не нарушили ни разу
Нами данного обета:
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!

— Экой фофан! чем утешается, — прервал опять дядя, — что девять лет молоко пил!.. Да какая ж тут добродетель? Лучше бы по целому барану ел, да людей не морил! Прекрасно, превосходно! Вижу, вижу теперь: это сатира, или... как это там называется, аллегория, что ль? и, может быть, даже на какого-нибудь иностранного полководца, — прибавил дядя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищуриваясь, — а? как ты думаешь? Но только, разумеется, невинная, благородная сатира, никого не обижающая! Прекрасно! прекрасно! и, главное, благородно! Ну, Илюша, продолжай! Ах вы, шалуньи, шалуньи! — прибавил он, с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась.

Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаяся на седлах,
В голос слабо закричали:
«Санкто Яго Компостелло!
Честь и слава дону Педру!
Честь и слава Льву Кастильи!»
А каплан его, Диего,
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским!»

— Ну вот! Не то же ли я говорил? — вскричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. — Один только человек во всей армии благоразумный нашелся, да и тот какой-то каплан! Это кто ж такой, Сергей: капитан ихний, что ли?

— Монах, духовная особа, дядюшка.

— А, да, да! Каплан, капеллан? Знаю, помню! еще в романах Радклиф читал. Там ведь у них разные ордена, что ли?.. Бенедиктинцы, кажется... Есть бенедиктинцы-то?..

— Есть, дядюшка.

— Гм!.. Я так и думал. Ну, Илюша, что ж дальше? Прекрасно, превосходно!

И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана;
Он изрядно подшутил!..»

— Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому наконец смешно стало! Барана! Стало быть, были же бараны; чего ж он сам-то не ел? Ну, Илюша, дальше! Прекрасно, превосходно! Необыкновенно колко!

— Да уж кончено, папочка!

— А! кончено! В самом деле, чего ж больше оставалось и делать, — не правда ль, Сергей? Превосходно, Илюша! Чудо как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах ты, мой милый! Да кто именно его надоумил: ты, Саша?

— Нет, это Настенька. Намедни мы читали. Она прочла, да и говорит: «Какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник: заставим его выучить да рассказать. То-то смеху будет!»

— Так это Настенька? Ну, благодарю, благодарю, — пробормотал дядя, вдруг весь покраснев как ребенок. — Поцелуй меня еще раз, Илюша! Поцелуй меня и ты, шалунья, — сказал он, обнимая Сашеньку и с чувством смотря ей в глаза.

— Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница, — прибавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удовольствия.

Я обратился к Настеньке и спросил ее: чьи стихи?

— Да, да! чьи стихи? — всполошился дядя. — Должно быть, умный поэт написал, — не правда ль, Фома?

— Гм!.. — промычал Фома под нос.

Во всё время чтения стихов едкая, насмешливая улыбка не покидала губ его.

— Я, право, забыла, — отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому Фомича.

— Это господин Кузьма Прутков написал, папочка, в «Современнике» напечатано, — выскочила Сашенька.

— Кузьма Прутков! не знаю, — проговорил дядя. — Вот Пушкина так знаю!.. Впрочем, видно, что поэт с достоинствами, — не правда ль, Сергей? И, сверх того, благороднейших свойств человек — это ясно, как два пальца! Даже, может быть, из офицеров... Хвалю! А превосходный журнал «Современник»! Непременно надо подписываться, коли всё такие поэты участвуют... Люблю поэтов! славные ребята! всё в стихах изображают! Помнишь, Сергей, я видел у тебя, в Петербурге, одного литератора. Еще какой-то у него нос особенный... право!.. Что ты сказал, Фома?

Фома Фомич, которого разбирало всё более и более, громко захихикал.

— Нет, я так... ничего-с... — проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. — Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте! Я после мое слово скажу... Вот и Степан Алексеич с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербургскими литераторами...

Степан Алексеевич, всё время сидевший поодаль, в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле.

— Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь! — сказал он, гневно смотря на Фому своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Мне что твоя литература? Дай только бог мне здоровья, — пробормотал он себе под нос, — а там хоть бы всех... и с сочинителями-то... волтерьянцы, только и есть!

— Сочинители волтерьянцы-с? — проговорил Ежевикин, немедленно очутившись подле господина Бахчеева. — Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеич. Так и Валентин Игнатьич отзываться намедни изволили. Меня самого волтерьянцем обозвали — ей-богу-с; а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с... то есть крынка молока у бабы скиснет — всё господин Вóльтер виноват! Всё у нас так-с.

— Ну, нет! — заметил дядя с важностью, — это ведь заблуждение! Вóльтер был только острый писатель; смеялся над предубеждениями; а вольтерьянцем никогда не бывал! Это всё про него враги распустили. За что ж, в самом деле, всё на него, бедняка?..

Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича. Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился.

— Нет, я, видишь, Фома, всё про журналы, — проговорил он с смущением, желая как-нибудь поправиться. — Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда, намедни, внушал, что надо подписываться. Я и сам думаю, что надо! Гм... что ж, в самом деле, просвещение распространяют! Не то, какой же будешь сын отечества, если уж на это не подписаться? не правда ль, Сергей? Гм!.. да!.. вот хоть «Современник»... Но знаешь, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том толстом журнале, как бишь его? еще в желтой обертке...

— «Отечественные записки», папочка.

— Ну да, «Отечественные записки», и превосходное название, Сергей, — не правда ли? так сказать, всё отечество сидит да записывает... Благороднейшая цель! преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс! А науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат... Намедни прихожу — лежит книга; взял, из любопытства, развернул да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул! И знаешь, обо всем толкование: что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват? По-моему, метла так метла и есть; ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология,

что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло... Вот оно как! До всего дошли!

Не знаю, что именно приготовлялся сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила и, понурив голову, стал у порога.

Фома Фомич значительно взглянул на него.

— Готово, Гаврила? — спросил он слабым, но решительным голосом.

— Готово-с, — грустно отвечал Гаврила и вздохнул.

— И узелок мой положил на телегу?

— Положил-с.

— Ну, так и я готов! — сказал Фома и медленно приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством озиралась кругом.

— Позвольте мне теперь, полковник, — с достоинством начал Фома, — просить вас оставить на время интересную тему о литературных ухватах; вы можете продолжать ее без меня. Я же, *прощаясь с вами навеки,* хотел бы вам сказать несколько последних слов...

Испуг и изумление оковали всех слушателей.

— Фома! Фома! да что это с тобою? Куда ты сбираешься? — вскричал наконец дядя.

— Я сбираюсь покинуть ваш дом, полковник, — проговорил Фома самым спокойным голосом. — Я решился идти куда глаза глядят и потому нанял на свои деньги простую, мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок; он не велик: несколько любимых книг, две перемены белья — и только! Я беден, Егор Ильич, но ни за что на свете не возьму теперь вашего золота, от которого я еще и вчера отказался!..

— Но, ради бога, Фома? что ж это значит? — вскричал дядя, побледнев как платок.

Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на Фому Фомича, протянув к нему руки. Девица Перепелицына бросилась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих местах. Господин Бахчеев тяжело поднялся со стула.

— Ну, началась история! — прошептал подле меня Мизинчиков.

В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома: начиналась гроза.

IV

ИЗГНАНИЕ

— Вы, кажется, спрашиваете, полковник: «что это значит?» — торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь всеобщим смущением. — Удивляюсь вопросу! Разъясните же мне, с своей стороны, каким образом *вы* в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза? разъясните мне эту последнюю психологическую задачу

из человеческого бесстыдства, и тогда я уйду, по крайней мере обогащенный новым познанием об испорченности человеческого рода.

Но дядя не в состоянии был отвечать: он смотрел на Фому испуганный и уничтоженный, раскрыв рот, с выкатившимися глазами.

— Господи! какие страсти-с! — простонала девица Перепелицына.

— Понимаете ли, полковник, — продолжал Фома, — что вы должны отпустить меня теперь, просто и без расспросов? В вашем доме даже я, человек пожилой и мыслящий, начинаю уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. Поверьте, что ни к чему не поведут расспросы, кроме вашего же посрамления.

— Фома! Фома!.. — вскричал дядя, и холодный пот показался на лбу его.

— И потому позвольте без объяснений сказать вам только несколько прощальных и напутственных слов, последних слов моих в вашем, Егор Ильич, доме. Дело сделано, и его не воротишь! Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело я говорю. Но умоляю вас на коленях: если в сердце вашем осталась хотя искра нравственности, обуздайте стремление страстей своих! И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то, по возможности, потушите пожар!

— Фома! уверяю тебя, что ты в заблуждении! — вскричал дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку.

— Умерьте страсти, — продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто и не слыхав восклицания дяди, — побеждайте себя. «Если хочешь победить весь мир — победи себя!» Вот мое всегдашнее правило. Вы помещик; вы должны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях, и какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим! Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели...

— Но это невозможно же, Фома! — снова прервал его дядя, — ты не так понял и не то совсем говоришь...

— Итак, вспомните, что вы помещик, — продолжал Фома, опять не слыхав восклицания дяди. — Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания. Пагубная мысль! Не отдых, а забота, и забота перед богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его!

— Что ж, я пахать за мужика, что ли, стану? — проворчал Бахчеев, — ведь и я помещик...

— К вам теперь обращаюсь, домашние, — продолжал Фома, обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей, — любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью. За это возлюбят вас и господа ваши. А вы, полковник, будьте

к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек — образ божий, так сказать, малолетный, врученный вам, как дитя, царем и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша!

— Фома Фомич! голубчик! что ты это задумал? — в отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от ужаса.

— Ну, довольно, кажется? — закричал Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. — Теперь о подробностях; положим, они мелки, но необходимы, Егор Ильич! В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте: скосите и скосите скорей. Таков совет мой...

— Но, Фома...

— Вы хотели, — я знаю это, рубить зыряновский участок лесу; — не рубите — другой совет мой. Сохраните леса: ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли... Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое; удивительно, как поздно сеяли вы яровое!..

— Но, Фома...

— Но, однако ж, довольно! Всего не передашь, да и не время! Я пришлю к вам наставление письменное, в особой тетрадке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с вами, и да благословит вас господь! Благословляю и тебя, дитя мое, — продолжал он, обращаясь к Илюше, — и да сохранит тебя бог от тлетворного яда будущих страстей твоих! Благословляю и тебя, Фалалей; забудь комаринского!.. И вас, и всех... Помните Фому... Ну, пойдем, Гаврила! Подсади меня, старичок.

И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и бросилась за ним.

— Нет, Фома! я не пущу тебя так! — вскричал дядя и, догнав его, схватил его за руку.

— Значит, вы хотите действовать насилием? — надменно спросил Фома.

— Да, Фома... и насилием! — отвечал дядя, дрожа от волнения. Ты слишком много сказал и должен разъяснить! Ты не так прочел мое письмо, Фома!..

— Ваше письмо! — взвизгнул Фома, мгновенно воспламенясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва, — ваше письмо! Вот оно, ваше письмо! вот оно! Я рву это письмо, я плюю на это письмо! я топчу ногами своими ваше письмо и исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям! Видите! видите! видите!..

И клочки бумаги разлетелись по комнате.

— Повторяю, Фома, ты не понял! — кричал дядя, бледнея всё более и более, — я предлагаю руку, Фома, я ищу своего счастья...

— Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, предлагая ей руку; ибо я видел вас вчера с ней ночью в саду, под кустами!

Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в кресло. Поднялась ужасная суматоха. Бедная Настенька сидела бледная,

точно мертвая. Испуганная Сашенька, обхватив Илюшу, дрожала как в лихорадке.

— Фома! — вскричал дядя в исступлении. Если ты распространишь эту тайну, то ты сделаешь самый подлейший поступок в мире!

— Я распространю эту тайну, — визжал Фома, — и сделаю наиблагороднейший из поступков! Я на то послан самим богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях! Я готов взобраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем проезжающим!.. Да, знайте все, все, что вчера, ночью, я застал его с этой девицей, имеющей наиневиннейший вид, в саду, под кустами!..

— Ах, какой срам-с! — пропищала девица Перепелицына.

— Фома! не губи себя! — кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами.

— ...А он, — визжал Фома, — он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать меня лживым письмом, меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению — да, преступлению!.. ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы сделали...

— Еще одно оскорбительное для нее слово, и — я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом!..

— Я говорю это слово, ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц!

Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, повернул, как соломинку, и с силою бросил его на стеклянную дверь, ведшую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, что притворенные двери растворились настежь, и Фома, слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом разлетелись по ступеням крыльца.

— Гаврила, подбери его! — вскричал дядя, бледный как мертвец, — посади его на телегу, и чтоб через две минуты духу его не было в Степанчикове!

Что бы ни замышлял Фома Фомич, но уж, верно, не ожидал подобной развязки.

Не берусь описывать то, что было в первые минуты после такого пассажа. Раздирающий душу вопль генеральши, покатившейся в кресле; столбняк девицы Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди; ахи и охи приживалок; испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отец; обезумевшая от страха Сашенька; дядя, в невыразимом волнении шагавший по комнате и дожидавшийся, когда очнется мать; наконец, громкий плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, — всё это составляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна.

— Вот-те и праздничек! — пробормотал господин Бахчеев, нагнув голову и растопырив руки.

— Дело худо! — шепнул я ему, тоже вне себя от волнения, — но, по крайней мере, прогнали Фомича и уж не воротят.

— Маменька! опомнились ли вы? легче ли вам? можете ли вы наконец меня выслушать? — спросил дядя, остановясь перед креслом старухи.

Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом смотрела на сына, которого еще никогда в жизни не видала в таком гневе.

— Маменька! — продолжал он, — чаша переполнена, вы сами видели. Не так хотел я изложить это дело, но час пробил, и откладывать нечего! Вы слышали клевету, выслушайте же и оправдание. Маменька, я люблю эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу, люблю давно и не разлюблю никогда. Она осчастливит детей моих и будет для вас самой почтительной дочерью, и потому теперь, при вас, в присутствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись быть моею женою!

Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит, и вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним на колени.

— Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фому Фомича! — закричала она, — сейчас вороти! не то я к вечеру же помру без него!

Дядя остолбенел, видя старуху мать, своевольную и капризную, перед собой на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его; наконец опомнившись, бросился он подымать ее и усаживать опять в кресло.

— Вороти Фому Фомича, Егорушка! — продолжала вопить старуха, — вороти его, голубчика! Жить без него не могу!

— Маменька! — горестно вскричал дядя, — или вы ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил? Я не могу воротить Фому — поймите это! не могу и не вправе, после его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести и добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что честь моя повелевает мне теперь восстановить добродетель! Вы слышали: я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтоб вы благословили союз наш.

Генеральша опять сорвалась с своего места и бросилась на колени перед Настенькой.

— Матушка моя! родная ты моя! — завизжала она, — не выходи за него замуж! не выходи за него, а упроси его, матушка, чтоб воротил Фому Фомича! Голубушка ты моя, Настасья Евграфовна! всё тебе отдам, всем тебе пожертвую, коли за него не выйдешь. Я еще не всё, старуха, прожила, у меня еще остались крохи после моего покойничка. Всё твое, матушка, всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не клади меня живую во гроб, упроси Фому Фомича воротить!..

И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепелицына и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее

подымать, негодуя, что она на коленях перед нанятой гувернанткой. Настенька едва устояла на месте от испуга, а Перепелицына даже заплакала от злости.

— Смертью уморите вы маменьку-с, — кричала она дяде, — смертью уморят-с! А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы ссорить маменьку-с с ихним сыном-с; это и господь бог запрещает-с...

— Анна Ниловна, удержите язык! — вскричал дядя. — Я довольно терпел!..

— Да и я довольно от вас натерпелась-с. Что вы сиротством моим меня попрекаете-с? Долго ли обидеть сироту? Я еще не ваша раба-с! Я сама подполковничья дочь-с! Ноги моей не будет-с в вашем доме, не будет-с... сегодня же-с!..

Но дядя не слушал: он подошел к Настеньке и с благоговением взял ее за руку.

— Настасья Евграфовна! вы слышали мое предложение? — проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием.

— Нет, Егор Ильич, нет! уж оставим лучше, — отвечала Настенька, в свою очередь совершенно упав духом. — Это всё пустое, — продолжала она, сжимая его руки и заливаясь слезами. — Это вы после вчерашнего так... но не может этого быть, вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич... А я о вас всегда буду помнить, как о моем благодетеле и... и вечно, вечно буду молиться за вас!..

Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно, предчувствовал этот ответ; он даже и не думал возражать, настаивать... Он слушал, наклонясь к ней, всё еще держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах его.

— Я еще вчера сказала вам, — продолжала Настя, — что не могу быть вашей женою. Вы видите: меня не хотят у вас... а я всё это давно, уж заранее предчувствовала; маменька ваша не даст нам благословения... *другие* тоже. Вы сами, хоть и не раскаетесь потом, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки будете несчастны из-за меня... с вашим добрым характером...

— Именно с *добрым характером-с*! именно *добренькие-с*! так, Настенька, так! — поддакнул старик отец, стоявший по другую сторону кресла, — именно, вот это-то вот словечко и надо было упомянуть-с.

— Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме, — продолжала Настенька. — А обо мне не беспокойтесь, Егор Ильич: меня никто не тронет, никто не обидит... я пойду к папеньке... сегодня же... Лучше уж простимся, Егор Ильич...

И бедная Настенька опять залилась слезами.

— Настасья Евграфовна! неужели это последнее ваше слово? — проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. — Скажите одно только слово — и я жертвую вам всем!..

— Последнее, последнее, Егор Ильич-с, — подхватил опять Ежевикин, — и она вам так хорошо это всё объяснила, что я даже,

признаться, и не ожидал-с. Наидобрейший вы человек, Егор Ильич, именно наидобрейший-с, и чести нам много изволили оказать-с! много чести, много чести-с!.. А все-таки мы вам не пара, Егор Ильич. Вам нужно такую невесту, Егор Ильич-с, чтоб была и богатая, и знатная-с, и раскрасавица-с, и с голосом тоже была бы-с, и чтоб вся в брильянтах да в страусовых перьях по комнатам вашим ходила-с... Тогда и Фома Фомич, может, уступочку сделают-с... и благословят-с! А Фому-то Фомича вы воротите-с. Напрасно, напрасно изволили его так изобидеть-с! он ведь из добродетели, от излишнего жару-с так наговорил-с... Сами будете потом говорить-с, что из добродетели, — увидите-с! Наидостойнейший человек-с. А вот теперь перемокнет-с... Уж лучше бы теперь воротить-с... потому что ведь придется же воротить-с...

— Вороти! вороти его! — закричала генеральша, — он, голубчик мой, правду тебе говорит!..

— Да-с, — продолжал Ежевикин, — вот и родительница ваша убиваться изволят — понапрасну-с... Воротите-ка-с! А мы уж с Настей тем временем и в поход-с...

— Подожди, Евграф Ларионыч! — вскричал дядя, — умоляю! Еще одно слово будет, Евграф, одно только слово...

Сказав это, он отошел, сел в углу, в кресло, склонил голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая.

В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Всё здание потряслось. Генеральша закричала, Перепелицына тоже, приживалки крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и господин Бахчеев.

— Батюшка, Илья-пророк! — прошептали пять или шесть голосов, все вместе, разом.

Вслед за громом полился такой страшный ливень, что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым.

— А Фома-то Фомич, что с ним теперь в поле-то будет-с? — пропищала девица Перепелицына.

— Егорушка, вороти его! — вскричала отчаянным голосом генеральша и, как безумная, бросилась к дверям. Ее удержали приживалки; они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был ужаснейший!

— В одном сюртуке пошли-с: хоть бы шинельку-то взяли с собой-с! — продолжала Перепелицына. — Зонтика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молоньёй-то-с!..

— Непременно убьет! — подхватил Бахчеев, — да еще и дождем потом смочит.

— Хоть бы вы-то молчали! — прошептал я ему.

— Да ведь он человек али нет? — гневно отвечал мне Бахчеев. — Ведь не собака. Небось сам-то не выйдешь на улицу. Ну-тка, поди, покупайся, для плезиру.

Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле.

— Дядюшка, — сказал я, наклоняясь к его уху, — неужели вы согласитесь воротить Фому Фомича? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере покамест здесь Настасья Евграфовна.

— Друг мой, — отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза, — я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать! Не беспокойся, обиды Насте не будет — я так устрою...

Он встал со стула и подошел к матери.

— Маменька! — сказал он, — успокойтесь: я ворочу Фому Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъехать. Но клянусь, он воротится только на единственном условии: здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого! Я его заставлю!.. Иначе он не перейдет через порог этого дома! Клянусь вам тоже, маменька, торжественно: если он согласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему всё, всё, что могу отдать, не обижая детей моих! Сам же я, с сего же дня, от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моего счастья! Я оставляю Степанчиково. Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк — и в бурях брани, на поле битвы, проведу отчаянную судьбу мою... Довольно! еду!

В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи, до невозможности, предстал перед смятенною публикой.

— Что с тобой? откуда? Где Фома? — вскричал дядя, бросаясь к Гавриле.

За ним бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы.

— У березника оставил, версты полторы отсюдова, — начал он плачевным голосом. — Лошадь молоньи испужалась и в канаву бросилась.

— Ну... — вскричал дядя.

— Телега перевалилась...

— Ну... а Фома?

— В канаву упали-с.

— Да ну же, досказывай, истязатель!

— Бок отшибли-с и заплакали-с. Я лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложить-с.

— А Фома там остался?

— Встал и пошел себе дальше с палочкой, — заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову.

Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы.

— Полкана! — закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали; дядя вскочил на него, неоседланного, и чрез минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся

погоне за Фомой Фомичом. Дядя ускакал даже без фуражки.

Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебца-с «с утра в рот не брали-с и что они теперь натощак-с». Девица Перепелицына нашла забытые им очки, в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект: генеральша бросилась на них с воплями и слезами и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло наконец до самой последней степени напряжения... В другом углу Сашенька утешала Настю: они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подошел к нему.

— Нет, батюшка, — сказал он мне, — Фома-то Фомич, пожалуй бы, и удалился отсюда, да время еще тому не пришло: золоторогих быков еще под экипаж ему не достали! Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется!

Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения.

Вдруг раздалось: «Ведут! ведут!» — и дамы с визгом побросались к дверям. Не прошло еще десяти минут после отъезда дяди: казалось, невозможно бы так скоро привести Фому Фомича; но загадка объяснилась потом очень просто: Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно «пошел себе с палочкой»; но, почувствовав себя в совершенном уединении, среди бури, грома и ливня, препостыдно струсил, поворотил в Степанчиково и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу; сбежались мужики и посадили в нее присмиревшего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая: хотели тотчас же тащить его наверх, чтоб переменить белье; кричали о бузине и о других крепительных средствах, метались во все стороны без всякого толку; говорили все зараз... Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает: поднялся ужаснейший вой; но более всех ревел Фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы немедленно поцеловать у него ручку...

V

ФОМА ФОМИЧ СОЗИДАЕТ ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ

— Куда это меня привели? — проговорил наконец Фома голосом умирающего за правду человека.

— Проклятая размазня! — прошептал подле меня Мизинчиков, — точно не видит, куда его привели. Вот ломаться-то теперь будет!

— Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! — вскричал дядя. — Ободрись, успокойся! И, право, переменил бы ты теперь костюм, Фома, а то заболеешь... Да не хочешь ли подкрепиться — а? так, эдак... рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб согреться...

— Малаги бы я выпил теперь, — простонал Фома, снова закрывая глаза.

— Малаги? навряд ли у нас и есть! — сказал дядя, с беспокойством смотря на Прасковью Ильиничну.

— Как не быть! — подхватила Прасковья Ильинична, — целые четыре бутылки остались, — и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи варенье. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования.

— Малаги захотел! — проворчал он чуть не вслух. — И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, проклятые! Ну, я-то чего тут стою? чего я-то тут жду?

— Фома! — начал дядя, сбиваясь на каждом слове, — вот теперь... когда ты отдохнул и опять вместе с нами... то есть, я хотел сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание...

— Где, где она, моя невинность? — подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду, — где золотые дни мои? где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? где, где это время? Воротите мне мою невинность, воротите ее!..

И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева.

— Эк чего захотел! — проворчал он с яростью. — Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уж таким же разбойником, как и теперь! присягну, что был.

— Фома!.. — начал было опять дядя.

— Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека? — кричал Фома, — когда я обнимался с человеком и плакал на груди его? а теперь — где я? где я?

— Ты у нас, Фома, успокойся! — крикнул дядя, — а я вот что хотел тебе сказать, Фома...

— Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с, — прошипела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.

— Где я? — продолжал Фома, — кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же ты такое? Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умален, избит, и когда засыплют песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом!

— Батюшки, о монументах заговорил! — прошептал Ежевикин, сплеснув руками.

— О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома, — не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо!

— Фома! — прервал дядя, — полно! успокойся! нечего говорить о монументах. Ты только выслушай... Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за черту добродетели — уверяю тебя, ты ошибся, Фома...

— Да перестанете ли вы-с? — запищала опять Перепелицына, — убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, потому что они в ваших руках-с?..

Вслед за Перепелицыной встрепенулась и генеральша, а за ней и вся ее свита; все замахали на дядю руками, чтоб он остановился.

— Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю! — с твердостью отвечал дядя. — Это дело святое! дело чести и справедливости. Фома! ты рассудителен, ты должен сей же час испросить прощение у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил.

— У какой девицы? какую девицу я оскорбил? — проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто совершенно забыв всё происшедшее и не понимая, о чем идет дело.

— Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей, благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда...

— Кого же это я оскорбил? — вопил Фома, — какую девицу? Где она? где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице!..

В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.

— Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений! к чему это всё? — говорила она умоляющим голосом. — Бросьте это!..

— А! теперь я припоминаю! — вскричал Фома. — Боже! я припоминаю! О, помогите, помогите мне припоминать! — просил он, по-видимому, в ужасном волнении. — Скажите: правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли, правда ли это?

Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу.

— Так, так! — твердил он, — я припоминаю... я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сюда, преследуемый громом, чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навеки! Приподымите меня! Как ни слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность.

Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в положение оратора и протянул свою руку.

— Полковник! — вскричал он, — теперь я очнулся совсем; гром еще не убил во мне умственных способностей; осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца... Но что до этого! И какое кому дело до правого уха Фомы!

Последним словам своим Фома придал столько печальной иронии и сопровождал их такою жалобною улыбкою, что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего понемногу уничтожаться перед таким согласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков плюнул и отошел к окну. Бахчеев всё сильнее и сильнее подталкивал меня локтем; он едва стоял на месте.

— Теперь слушайте же все мою исповедь! — возопил Фома, обводя всех гордым и решительным взглядом, — а вместе с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич! давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего сердца и видел всё, всё, тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю за вами. Полковник! я, может быть, ошибался, но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?

— Фома, Фома!.. ты, впрочем, не очень распространяйся, Фома! — вскричал дядя, с беспокойством смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки.

— Не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня, — продолжал Фома, как будто и не слыхав предостережения дяди. — Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как вешняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от погибели». Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог мне поручиться за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвовать для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиблагороднейшей из девиц...

— Фома! неужели ты мог это подумать? — вскричал дядя.

— С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он расскажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел всё в черном цвете, и это был не тот «черный цвет», о котором поется

в известном романсе, — будьте уверены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание удалить *ее* из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то и видели вы меня во всё последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий. О! кто примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчееву, требуя от него астрономии; но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил. Я чувствовал, что моя обязанность предупредить несчастие, что я поставлен, что я произведен для этого, — и что же? вы не поняли наиблагороднейших побуждений души моей и платили мне во всё это время злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями...

— Фома! если так... конечно, я чувствую... — вскричал дядя в чрезвычайном волнении.

— Если вы действительно чувствуете, полковник, то благоволите дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался о судьбе и счастье этого дитяти; ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мнительности. Я готов был кидаться на людей и терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что все поступки ваши, как нарочно, поминутно подтверждали мою мнительность и удостоверяли меня во всех подозрениях моих? Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим золотом, чтоб удалить меня от себя, я подумал: «Он удаляет от себя в лице моем свою совесть, чтоб удобнее совершить преступление...»

— Фома, Фома! неужели ты это думал вчера? — с ужасом вскричал дядя. — Господи боже, а я-то ничего и не подозревал!

— Само небо внушило мне эти подозрения, — продолжал Фома. — И решите сами, что мог я подумать, когда слепой случай привел меня в тот же вечер к той роковой скамейке в саду? Что почувствовал я в эту минуту — о боже! — увидев наконец собственными своими глазами, что все подозрения мои оправдались вдруг самым блистательным образом? Но мне еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но всё же надежда — и что же? Сегодня утром вы разрушаете ее сами в нрах и в обломки! Вы присылаете мне письмо ваше; вы выставляете намерение жениться; умоляете не разглашать... «Но почему же, — подумал я, — почему же он написал именно теперь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко мне, счастливый и прекрасный — ибо любовь украшает лицо, — почему не бросился он тогда в мои объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья и не поведал мне всего, всего?» Или я крокодил, который бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного совета? Или я какой-нибудь отвратительный жук, который бы только укусил вас, а не способствовал вашему счастью? «Друг ли я его или самое

гнуснейшее из насекомых?» — вот вопрос, который я задал себе нынче утром! «Для чего, наконец, — думал я, — для чего же выписывал он из столицы своего племянника и сватал его к этой девице, как не для того, чтоб обмануть и нас, и *легкомысленного* племянника, а между тем втайне продолжать преступнейшее из намерений?» Нет, полковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаимная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только вы! Мало того, вы преступник и перед этой девицей, ибо ее, чистую и благонравную, через вашу же неловкость и эгоистическую недоверчивость вы подвергли клевете и тяжким подозрениям!

Дядя молчал, склонив голову: красноречие Фомы, видимо, одержало верх над всеми его возражениями, и он уже сознавал себя полным преступником. Генеральша и ее общество молча и с благоговением слушали Фому, а Перепелицына с злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку.

— Пораженный, раздраженный, убитый, — продолжал Фома, — я заперся сегодня на ключ и молился, да внушит мне бог правые мысли! Наконец положил я: в последний раз и публично испытать вас. Я, может быть, слишком горячо принялся, может быть, слишком предался моему негодованию; но за благороднейшие побуждения мои вы вышвырнули меня из окошка! Падая из окошка, я думал про себя: «Вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель!» Тут я ударился оземь и затем едва помню, что со мною дальше случилось!

Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему с бутылкой малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильиничны, но Фома величественно отвел рукой и малагу, и генеральшу.

— Остановитесь! — вскричал он, — мне надо кончить. Что случилось после моего падения — не знаю. Знаю только одно, что теперь, мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою здесь, чтоб составить ваше обоюдное счастье. Полковник! по многим признакам, которых я не хочу теперь объяснять, я уверился наконец, что любовь ваша была чиста и даже возвышенна, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, как рыцарь средних веков, готов был пролить до капли всю кровь мою, — я решаюсь теперь показать вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин. Протяните мне вашу руку, полковник!

— С удовольствием, Фома! — вскричал дядя, — и так как ты вполне объяснился теперь о чести благороднейшей особы, то... разумеется... вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим раскаянием...

И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что из этого выйдет.

— Дайте и вы мне вашу руку, — продолжал Фома, слабым голосом, раздвигая дамскую сбившуюся около него толпу и обращаясь к Настеньке.

Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела на Фому.

— Подойдите, подойдите, милое мое дитя! Это необходимо для вашего счастья, — ласково прибавил Фома, всё еще продолжая держать руку дяди в своих руках.

— Что это он затевает? — проговорил Мизинчиков.

Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фоме и робко протянула ему свою ручку.

Фома взял эту ручку и положил ее в руку дяди.

— Соединяю и благословляю вас, — произнес он самым торжественным голосом, — и если благословение убитого горем страдальца может послужить вам в пользу, то будьте счастливы. Вот как мстит Фома Опискин! Урра!

Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генеральша как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутылкой малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя побледнела, как мертвая, и робко проговорила, что «это нельзя»... — но уже было поздно. Бахчеев первый — надо отдать ему справедливость — подхватил «ура» Фомы Фомича, за ним я, за мною, во весь свой звонкий голосок, Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца; потом Илюша, потом Ежевикин; после всех уж Мизинчиков.

— Ура! — крикнул другой раз Фома, — урра! И на колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшею из матерей! Просите ее благословения, и, если надо, я сам преклоню перед нею колени, вместе с вами...

Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испуганные и, кажется, не понимавшие, что с ними делается, упали на колени перед генеральшей; все столпились около них; но старуха стояла как будто ошеломленная, совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству: он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом уничтожило все ее недоумения. Заливаясь слезами, она проговорила наконец, что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях.

— Фома, Фома!.. — проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать.

— Шампанского! — заревел Степан Алексеевич. — Урра!

— Нет-с, не шампанского-с, — подхватила Перепелицына, которая уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства, а вместе с тем и последствия, — а свечку богу зажечь-с, образу помолиться, да образом и благословить-с, как всеми набожными людьми исполняется-с...

Тотчас же все бросились исполнять благоразумный совет; поднялась ужасная суетня. Надо было засветить свечу. Степан Алексеевич подставил стул и полез приставлять свечу к образу, но тотчас же подломил стул и тяжело соскочил на пол, удержавшись, впрочем, на ногах. Нисколько не рассердившись, он тут же с почтением

уступил место Перепелицыной. Тоненькая Перепелицына мигом обделала дело: свеча зажглась. Монашенка и приживалки начали креститься и класть земные поклоны. Сняли образ Спасителя и поднесли генеральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и церемония совершилась при набожных наставлениях Перепелицыной, поминутно приговаривавшей: «В ножки-то поклонитесь, к образу-то приложитесь, ручку-то у мамаши поцелуйте-с!» После жениха и невесты к образу почел себя обязанным приложиться и господин Бахчеев, причем тоже поцеловал у матушки-генеральши ручку. Он был в восторге неописанном.

— Урра! — закричал он снова. — Вот теперь так уж выпьем шампанского!

Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала, но теперь уж слезами радости: союз, благословленный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и приличным и священным, — а главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется с нею на веки веков. Все приживалки, по крайней мере с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя то становился перед матерью на колени и целовал ее руки, то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Ежевикина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку, Прасковья Ильинична обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней — к ручке. Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым, вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с благоговением смотрел на Фому Фомича, а Фалалей рыдал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все были подавлены чувством. Никто еще не начинал говорить, никто не объяснялся; казалось, всё уже было сказано; раздавались только радостные восклицания. Никто не понимал еще, как это всё вдруг так скоро и просто устроилось. Знали только одно, что всё это сделал Фома Фомич и что это факт насущный и непреложный.

Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким образом, каким чутьем могла она так скоро, сидя у себя наверху, узнать про любовь и про свадьбу? Она впорхнула с сияющим лицом, со слезами радости на глазах, в обольстительно изящном туалете (наверху она-таки успела переодеться) и прямо, с громкими криками, бросилась обнимать Настеньку.

— Настенька, Настенька! ты любила его, а я и не знала, — вскричала она. — Боже! они любили друг друга, они страдали в тишине, втайне! их преследовали! Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи мне всю правду: неужели ты в самом деле любишь этого безумца?

Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.

— Боже, какой очаровательный роман! — и Татьяна Ивановна захлопала от восторга в ладоши. — Слушай, Настя, слушай, ангел мой: все эти мужчины, все до единого — неблагодарные,

изверги и не стоят нашей любви. Но, может быть, он лучший из них. Подойди ко мне, безумец! — вскричала она, обращаясь к дяде и хватая его за руку, — неужели ты влюблен? неужели ты способен любить? Смотри на меня: я хочу посмотреть тебе в глаза; я хочу видеть, лгут ли эти глаза или нет? Нет, нет, они не лгут: в них сияет любовь. О, как я счастлива! Настенька, друг мой, послушай, ты не богата: я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми, ради бога! Мне не надо, не надо; мне еще много останется. Нет, нет, нет, нет! — закричала она и замахала руками, увидя, что Настя хочет отказываться. — Молчите и вы, Егор Ильич, это не ваше дело. Нет, Настя, я уж так положила — тебе подарить; я давно хотела тебе подарить и только дожидалась первой любви твоей... Я буду смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не возьмешь; я буду плакать, Настя... Нет, нет, нет и нет!

Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту минуту, по крайней мере, невозможно, даже жаль было ей возражать. На это и не решились, а отложили до другого времени. Она бросилась целовать генеральшу, Перепелицыну — всех нас. Бахчеев почтительнейшим образом протеснился к ней и попросил и у ней ручку.

— Матушка ты моя! голубушка ты моя! прости ты меня, дурака, за давешнее: не знал я твоего золотого сердечка!

— Безумец! я давно тебя знаю, — с восторженною игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алексеевича по носу перчаткой и порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем. Толстяк почтительно посторонился.

— Достойнейшая девица! — проговорил он с умилением. — А нос-то немцу ведь подклеили! — шепнул он мне конфиденциально, радостно смотря мне в глаза.

— Какой нос? какому немцу? — спросил я в удивлении.

— А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки целует, а та слезу платком вытирает. Евдоким у меня починил вчера еще; а давеча, как воротились с погони, я и послал верхового... Скоро привезут. Превосходная вещь!

— Фома! — вскричал дядя, в исступленном восторге, — ты виновник нашего счастья! Чем могу я воздать тебе?

— Ничем, полковник, — отвечал Фома с постной миной. — *Продолжайте не обращать на меня внимания* и будьте счастливы без Фомы.

Он был, очевидно, пикирован: среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли.

— Это всё от восторга, Фома! — вскричал дядя. — Я, брат, уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома: я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей недостанет, чтоб удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай и увидишь... Я больше ничего не скажу, Фома.

И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, что б сильнее могло выразить его мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами.

— Вот они какие ангелы-с! — пропищала, в свою очередь, в похвалу Фоме девица Перепелицына.

— Да, да! — подхватила Сашенька, — я и не знала, что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить. Если б вы знали, как я теперь вас почитаю!

— Да, Фома! — подхватил Бахчеев, — прости и ты меня, дурака! не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич, не только ученый, но и — просто герой! Весь дом мой к твоим услугам. А лучше всего приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра, да уж и с матушкой-генеральшей, да уж и с женихом и невестой, — да чего тут! всем домом ко мне! то есть вот как пообедаем, — заранее не похвалюсь, а одно скажу: только птичьего молока для вас не достану! Великое слово даю!

Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и Настенька и, без дальних слов, крепко обняла его и поцеловала.

— Фома Фомич! — сказала она, — вы наш благодетель; вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить за всё это, а только знаю, что буду для вас самой нежной, самой почтительной сестрой...

Она не могла договорить: слезы заглушили слова ее. Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился.

— Дети мои, дети моего сердца! — сказал он. — Живите, цветите и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника! Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье! Скитальцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и кто знает? может быть, через несчастья мои я стану еще добродетельнее! Эта мысль — единственное оставшееся мне утешение!

— Но... куда же ты уйдешь, Фома? — в испуге вскричал дядя.

Все вздрогнули и устремились к Фоме.

— Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник? — спросил Фома с необыкновенным достоинством.

Но ему не дали говорить: общие крики заглушили слова его. Его усадили в кресло; его упрашивали, его оплакивали, и уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях его не было выйти из «этого дома», так же как и давеча не было, как не было и вчера, как не было и тогда, когда он копал в огороде. Он знал, что теперь его набожно остановят, уцепятся за него, особенно когда он всех осчастливил, когда все в него снова уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь

и за счастье. Но, вероятно, давешнее, малодушное его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало его еще как-нибудь погеройствовать; а главное — предстоял такой соблазн поломаться; можно было так хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не было никакой возможности противиться искушению. Он и не противился; он вырывался от непускавших его; он требовал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб отпустили его на все четыре стороны; что он в «этом доме» был обесчещен, избит; что он воротился для того, чтоб составить всеобщее счастье; что может ли он, наконец, оставаться в «доме неблагодарности и есть щи, хотя и сытные, но приправленные побоями»? Наконец он перестал вырываться. Его снова усадили в кресло; но красноречие его не прерывалось.

— Разве не обижали меня здесь? — кричал он, — разве не дразнили меня здесь языком? разве вы, вы сами, полковник, подобно невежественным детям мещан на городских улицах, не показывали мне ежечасно шиши и кукиши? Да, полковник! я стою за это сравнение, потому что если вы и не показывали мне их физически, то, всё равно, это были нравственные кукиши; а нравственные кукиши, в иных случаях, даже обиднее физических. Я уже не говорю о побоях...

— Фома, Фома! — вскричал дядя, — не убивай меня этим воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови моей недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же великодушен! забудь, прости и останься созерцать наше счастье! Твои плоды, Фома!..

— ...Я хочу любить, любить человека, — кричал Фома, — а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его! Где этот человек? куда спрятался этот человек? Как Диоген с фонарем, ищу я его всю жизнь и не могу найти, и не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня человеконенавистником! Я кричу: дайте мне человека, чтоб я мог любить его, а мне суют Фалалея! Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже хотел? Нет; почему нет? Потому что он Фалалей. Почему я не люблю человечества? Потому что всё, что ни есть на свете, — Фалалей или похоже на Фалалея! Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея, и, если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фалалея! Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель, поди сюда! — закричал он, вдруг обратившись к Фалалею, самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича, — поди сюда! Я докажу вам, полковник, — кричал Фома, притягивая к себе рукой Фалалея, обеспамятевшего от страха, — я докажу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках и кукишах! Скажи, Фалалей, и скажи правду: что видел ты

во сне сегодняшнюю ночь? Вот увидите, полковник, увидите ваши плоды! Ну, Фалалей, говори!

Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил кругом отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь своего спасения; но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа.

— Ну же, Фалалей, я жду!

Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул свой рот и заревел, как теленок.

— Полковник! видите ли это упорство? Неужели оно натуральное? В последний раз обращаюсь к тебе, Фалалей, скажи: какой сон ты видел сегодня?

— Про...

— Скажи, что меня видел, — подсказывал Бахчеев.

— Про ваши добродетели-с! — подсказал на другое ухо Ежевикин.

Фалалей только оглядывался.

— Про... про ваши доб... про белого бы-ка! — промычал он наконец и залился горючими слезами.

Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке необыкновенного великодушия.

— По крайней мере, я вижу твою искренность, Фалалей, — сказал он, — искренность, которой не замечаю в других. Бог с тобою! Если ты нарочно дразнишь меня этим сном, по навету других, то бог воздаст и тебе и другим. Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо даже в последнем из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие божие... Я прощаю тебя, Фалалей! Дети мои, обнимите меня, я остаюсь!..

«Остается!» — вскричали все с восторгом.

— Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фалалея сахаром: пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья.

Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. *Так* заботиться, в *такую* минуту и — о ком же? о Фалалее! Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же, бог знает откуда, в руках Прасковьи Ильиничны явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожавшею рукою два куска, потом три, потом уронил их, наконец видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения:

— Э! — вскричал он, — уж для такого дня! Держи, Фалалей! — и высыпал ему за пазуху всю сахарницу.

— Это тебе за искренность, — прибавил он, в виде нравоучения.

— Господин Коровкин, — доложил вдруг появившийся в дверях Видоплясов.

Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было, очевидно, некстати. Все вопросительно посмотрели на дядю.

— Коровкин! — вскричал дядя в некотором замешательстве. — Конечно, я рад... — прибавил он, робко взглядывая на Фому, — но уж, право, не знаю, просить ли его теперь — в такую минуту. Как ты думаешь, Фома?

— Ничего, ничего! — благосклонно проговорил Фома, — пригласите и Коровкина; пусть и он участвует во всеобщем счастье.

Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа.

— Почтительнейше осмелюсь доложить-с, — заметил Видоплясов, — что Коровкин изволят находиться не в своем виде-с.

— Не в своем виде? как? Что ты врешь? — вскричал дядя.

— Точно так-с: не в трезвом состоянии души-с...

Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, последовало и разрешение загадки. В дверях появился сам Коровкин, отвел рукой Видоплясова и предстал пред изумленною публикой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока, с темными волосами и с проседью, выстриженный под гребенку, с багровым, круглым лицом, с маленькими, налитыми кровью глазами, в высоком волосяном галстухе, застегнутом сзади пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном, в пуху и в сене, и сильно лопнувшем под мышкой, в pantalon impossible[1] и при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно пьян. Выйдя на средину комнаты, он остановился, покачиваясь и тюкая вперед носом, в пьяном раздумье; потом медленно во весь рот улыбнулся.

— Извините, господа, — проговорил он, — я... того... (тут он щелкнул по воротнику) получил!

Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмеривал взглядом эксцентрического гостя. Бахчеев смотрел на него с недоумением, сквозь которое проглядывало, однако, некоторое сочувствие. Смущение же дяди было невероятное; он всею душою страдал за Коровкина.

— Коровкин! — начал было он, — послушайте!

— Атанде-с, — прервал Коровкин. — Рекомендуюсь: дитя природы... Но что я вижу? Здесь дамы... А зачем же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? — прибавил он, с плутовскою улыбкою смотря на дядю, — ничего? не робей!.. представимся и прекрасному полу... Прелестные дамы! — начал он, с трудом ворочая язык и завязая на каждом слове, — вы видите несчастного, который... ну, да уж и так далее... Остальное не договаривается... Музыканты! польку!

— А не хотите ли заснуть? — спросил Мизинчиков, спокойно подходя к Коровкину.

— Заснуть? Да вы с оскорблением говорите?

— Нисколько. Знаете, с дороги полезно...

— Никогда! — с негодованием отвечал Коровкин. — Ты думаешь, я пьян? — нимало... А впрочем, где у вас спят?

— Пойдемте, я вас сейчас проведу.

[1] Здесь: немыслимые брюки (*франц.*).

— Куда? в сарай? Нет, брат, не надуешь! Я уж там ночевал... А впрочем, веди... С хорошим человеком отчего не пойти?.. Подушки не надо; военному человеку не надо подушки. А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини... Да, слушай, — прибавил он останавливаясь, — ты, я вижу, малый теплый; сочини-ка ты мне того... понимаешь? ромео, так только, чтоб муху задавить... единственно, чтоб муху задавить, одну то есть рюмочку.

— Хорошо, хорошо! — отвечал Мизинчиков.

— Хорошо... Да ты постой, ведь надо ж проститься... Adieu, mesdames и mesdemoiselles!.. Вы, так сказать, пронзили... Ну, да уж нечего! после объяснимся... а только разбудите меня, как начнется... или даже за пять минут до начала... а без меня не начинать! слышите? не начинать!..

И веселый господин скрылся за Мизинчиковым.

Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец Фома начал понемногу, молча и неслышно, хихикать; смех его разрастался всё более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша, хотя всё еще выражение оскорбленного достоинства сохранялось в лице ее. Невольный смех начинал подыматься со всех сторон. Дядя стоял как ошеломленный, краснея до слез и некоторое время не в состоянии вымолвить слова.

— Господи боже! — проговорил он наконец, — кто ж это знал? Но ведь... ведь это со всяким же может случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек. Фома... вот ты увидишь!..

— Вижу-с, вижу-с, — отвечал Фома, задыхаясь от смеха, — необыкновенно начитанный, именно начитанный!

— Про железные дороги как говорит-с! — заметил вполголоса Ежевикин.

— Фома!.. — вскричал было дядя, но всеобщий хохот покрыл слова его. Фома Фомич так и заливался. Видя это, рассмеялся и дядя.

— Ну, да что тут! — сказал он с увлечением. — Ты великодушен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил мое счастье... ты же простишь и Коровкину.

Не смеялась одна только Настенька. Полными любовью глазами смотрела она на жениха своего и как будто хотела вымолвить: «Какой ты, однако ж, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!»

VI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Торжество Фомы было полное и непоколебимое. Действительно, без него ничего бы не устроилось, и совершившийся факт подавлял все сомнения и возражения. Благодарность осчастливленных была безгранична. Дядя и Настенька так и замахали на меня руками, когда я попробовал было слегка намекнуть, каким про-

цессом получилось согласие Фомы на их свадьбу. Сашенька кричала: «Добрый, добрый Фома Фомич; я ему подушку гарусом вышью!» — и даже пристыдила меня за мое жестокосердие. Новообращенный Степан Алексеич, кажется, задушил бы меня, если б мне вздумалось сказать при нем что-нибудь непочтительное про Фому Фомича. Он теперь ходил за Фомой, как собачка, смотрел на него с благоговением и к каждому слову его прибавлял: «Благороднейший ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!» Что ж касается Ежевикина, то он был в самой последней степени восторга. Старикашка давным-давно видел, что Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех пор наяву и во сне только и грезил о том, как бы выдать за него свою дочку. Он тянул дело до последней невозможности и отказался уже тогда, когда невозможно было не отказаться. Фома перестроил дело. Разумеется, старик, несмотря на свой восторг, понимал Фому Фомича насквозь; словом, было ясно, что Фома Фомич воцарился в этом доме навеки и что тиранству его теперь уже не будет конца. Известно, что самые неприятнейшие, самые капризнейшие люди хоть на время, да укрощаются, когда удовлетворят их желаниям. Фома Фомич, совершенно напротив, как-то еще больше глупел при удачах и задирал нос всё выше и выше. Перед самым обедом, переменив белье и переодевшись, он уселся в кресле, позвал дядю и, в присутствии всего семейства, стал читать ему новую проповедь.

— Полковник! — начал он, — вы вступаете в законный брак. Понимаете ли вы ту обязанность...

И так далее и так далее; представьте себе десять страниц формата «Journal des Débats», самой мелкой печати, наполненных самым диким вздором, в котором не было ровно ничего об обязанностях, а были только самые бесстыдные похвалы уму, кротости, великодушию, мужеству и бескорыстию его самого, Фомы Фомича. Все были голодны; всем хотелось обедать; но, несмотря на то, никто не смел противоречить и все с благоговением дослушали всю дичь до конца; даже Бахчеев, при всем своем мучительном аппетите, просидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности. Удовлетворившись собственным красноречием, Фома Фомич наконец развеселился и даже довольно сильно подпил за обедом, провозглашая самые необыкновенные тосты. Он принялся острить и подшучивать, разумеется, насчет молодых. Все хохотали и аплодировали. Но некоторые из шуток были до такой степени сальны и недвусмысленны, что даже Бахчеев сконфузился. Наконец Настенька вскочила из-за стола и убежала. Это привело Фому Фомича в неописанный восторг; но он тотчас же нашелся: в кратких, но сильных словах изобразил он достоинства Настеньки и провозгласил тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь обнимать Фому Фомича. Вообще жених и невеста как будто стыдились друг друга и своего счастья, — и я заметил: с самого благословения еще они не сказали меж собою ни слова, даже как будто избегали гля-

деть друг на друга. Когда встали из-за стола, дядя вдруг исчез неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на террасу. Там, сидя в кресле, за кофеем, ораторствовал Фома, сильно подкураженный. Около него были только Ежевикин, Бахчеев и Мизинчиков. Я остановился послушать.

— Почему, — кричал Фома, — почему я готов сейчас же идти на костер за мои убеждения? А почему из вас никто не в состоянии пойти на костер? Почему, почему?

— Да ведь это уж и лишнее будет, Фома Фомич, на костер-то-с! — трунил Ежевикин. — Ну, что толку? Во-первых, и больно-с, а во-вторых, сожгут — что останется?

— Что останется? Благородный пепел останется. Но где тебе понять, где тебе оценить меня! Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей да Александров Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоюет... Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита... Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории... да уж вместе и Цезарю!

— Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!

— Не пощажу дурака! — кричал Фома.

— И не щади! — с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший, — нечего их щадить; все они прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться! колбасники! Вон один давеча стипендию какую-то хотел учредить. А что такое стипендия? Черт ее и знает, что она значит! Об заклад побьюсь, какая-нибудь новая пакость. А тот, другой, давеча-то в благородном обществе, вензеля пишет да рому просит! По-моему, отчего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку сделай, а потом, пожалуй, и опять пей... Нечего их щадить! все мошенники! Один только ты ученый, Фома!

Бахчеев, если отдавался кому, то отдавался весь, безуслòвно и безо всякой критики.

Я отыскал дядю в саду, у пруда, в самом уединенном месте. Он был с Настенькой. Увидя меня, Настенька стрельнула в кусты, как будто виноватая. Дядя пошел ко мне навстречу с сиявшим лицом; в глазах его стояли слезы восторга. Он взял меня за обе руки и крепко сжал их.

— Друг мой! — сказал он, — я до сих пор как будто не верю моему счастью... Настя тоже. Мы только дивимся и прославляем всевышнего. Сейчас она плакала. Поверишь ли, до сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся весь: и верю и не верю! И за что это мне? за что? что я сделал? чем я заслужил?

— Если кто заслужил, дядюшка, то это вы, — сказал я с увлечением. — Я еще не видал такого честного, такого прекрасного, такого добрейшего человека, как вы...

— Нет, Сережа, нет, это слишком, — отвечал он, как бы с сожалением. — То-то и худо, что мы добры (то есть я про себя одного говорю), когда нам хорошо; а когда худо, так и не подступайся близко! Вот мы только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько ни сиял передо мною Фома, а, поверишь ли? я, может быть, до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве; даже вчера не уверовал, когда он отказался от такого подарка! К стыду моему говорю! Сердце трепещет после давешнего воспоминания! Но я не владел собой... Когда он сказал давеча про Настю, то меня как будто в самое сердце что-то укусило. Я не понял и поступил, как тигр...

— Что ж, дядюшка, может, это было даже естественно.

Дядя замахал руками.

— Нет, нет, брат, и не говори! А просто-запросто всё это от испорченности моей природы, оттого, что я мрачный и сластолюбивый эгоист и без удержу отдаюсь страстям моим. Так и Фома говорит. (Что было отвечать на это?) Не знаешь ты, Сережа, — продолжал он с глубоким чувством, — сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и не к одному Фоме! Вот теперь это всё вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья. Настя то же сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать всё добрые дела... И если б ты слышал, как она горячо, как прекрасно всё это говорила! Боже мой, что за девушка!

Он остановился в волнении. Через минуту он продолжал:

— Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна! какое благороднейшее существо! О, как я виноват пред всеми! Я и перед тобой виноват... Но если кто осмелится теперь обидетьТатьяну Ивановну, о! тогда... Ну, да уж нечего!.. для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать.

— Да, дядюшка, я теперь переменил мое мнение о Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей.

— Именно, именно! — подхватил с жаром дядя, — нельзя не уважать! Ведь вот, например, Коровкин, ведь ты уж, наверно, смеешься над ним, — прибавил он, с робостью заглядывая мне в лицо, — и все мы давеча смеялись над ним. А ведь это, может быть, непростительно... ведь это, может быть, превосходнейший, добрейший человек, но судьба... испытал несчастья... Ты не веришь, а это, может быть, истинно так.

— Нет, дядюшка; почему же не верить?

И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства; что неисследима глубина души человеческой; что нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать и восстановлять; что

неверна общепринятая мерка добра и нравственности и проч. и проч., — словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе; в заключение же прочел стихи:

Когда из мрака заблужденья...

Дядя пришел в необыкновенный восторг.

— Друг мой, друг мой! — сказал он, растроганный, — ты совершенно понимаешь меня и еще лучше меня рассказал всё, что я сам хотел было выразить. Так, так! Господи! почему это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас говорила... Но посмотри, однако ж, какое здесь славное место, — прибавил он, оглядываясь вокруг себя, — какая природа! какая картина! Экое дерево! посмотри: в обхват человеческий! Какой сок, какие листья! какое солнце! как после грозы-то всё вокруг повеселело, обмылось!.. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью... Неужели ж нет — а? как ты думаешь?

— Очень может быть, дядюшка. По-своему, разумеется...

— Ну да, разумеется, по-своему... Дивный, дивный творец!.. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Сережа: как ты тут играл и бегал, когда был маленький! Я ведь помню, когда ты был маленький, — прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. — Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь, один раз, вечером, Катя-покойница подозвала тебя и стала тебя ласкать... Ты всё бегал в саду перед этим и весь разрумянился; волоски у тебя такие светленькие, в кудряшках... Она ими играла-играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты его, сиротку, к нам взял». Помнишь иль нет?

— Чуть-чуть, дядюшка.

— Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило, а я сидел в углу и трубку курил да на вас смотрел... Я, Сережа, каждый месяц к ней на могилу, в город, езжу, — прибавил он пониженным голосом, в котором слышались дрожание и подавляемые слезы. — Я об этом сейчас Насте говорил: она сказала, что мы оба вместе будем к ней ездить...

Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение.

В эту минуту к нам подошел Видоплясов.

— Видоплясов! — вскричал дядя встрепенувшись, — ты от Фомы Фомича?

— Нет-с, я более по своей надобности-с.

— А, ну и славно! вот и узнаем про Коровкина. А я ведь еще давеча хотел спросить... Я ему, Сережа, велел там наблюдать, Коровкина-то. — В чем дело, Видоплясов?

— Осмелюсь доложить, — сказал Видоплясов, — что вчера вы изволили упомянуть-с насчет моей просьбы-с и обещать мне ваше высокое заступление от ежедневных обид-с.

— Неужели ты опять про фамилию? — вскричал дядя в испуге.

— Что ж делать-с? Ежечасные обиды-с...

— Ах, Видоплясов, Видоплясов! что мне с тобой делать? — сказал с сокрушением дядя. — Ну, какие тебе могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь, в желтом доме жизнь кончишь!

— Кажется, я умом моим-с... — начал было Видоплясов.

— Ну то-то, то-то, — перебил дядя, — я, братец, это так говорю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну какие там у тебя обиды? Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь?

— Проходу нет-с.

— От кого?

— От всех-с и преимущественно через Матрену-с. Через нее я моею жизнию страдать пошел-с. Известно-с, что все отличительные люди-с, кто сызмалетства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица-с. Что же, сударь? Из-за этого мне теперь и проходу нет-с. Как только я мимо иду-с, все мне следом кричат всякие дурные слова-с; даже ребятишки маленькие-с, которых надо прежде всего розгами высечь-с, и те кричат-с... Вот и теперь, когда я сюда шел, кричали-с... Мочи нет-с. Защитите, сударь, вашим покровом-с!

— Ах, Видоплясов!.. Ну да что ж они такое кричат? Верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания обращать.

— Неприлично будет сказать-с.

— Да что именно?

— Омерзительно выговорить-с.

— Да уж говори!

— Гришка-голанец съел померанец-с.

— Фу, какой человек! Я думал и бог знает что! А ты плюнь да мимо и пройди.

— Плевал-с: еще больше кричат-с.

— Да послушайте, дядюшка, — сказал я, — ведь он жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его, хоть на время, в Москву, к тому каллиграфу. Ведь он, вы говорили, у каллиграфа какого-то жил.

— Ну, брат, тот тоже кончил трагически!

— А что?

— Они-с, — отвечал Видоплясов, — имели несчастье присвоить себе чужую собственность-с, за что, несмотря на весь их талант, были посажены в острог-с, где безвозвратно погибли-с.

— Хорошо, хорошо, Видоплясов: ты теперь успокойся, а я всё это разберу и улажу, — сказал дядя, — обещаю тебе! Ну что Коровкин? спит?

— Никак нет-с, они сейчас изволили отъехать-с. Я с тем и шел доложить-с.

— Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпустил? — вскричал дядя.

— По добродушию сердца-с: жалостно было смотреть-с. Как проснулись и вспомнили весь процесс, так тотчас же ударили себя по голове и закричали благим матом-с...

— Благим матом!..

— Почтительнее будет выразиться: многоразличные вопли испускали-с. Кричали: как они представятся теперь прекрасному полу-с? а потом прибавили: «Я не достоин рода человеческого!» — и всё так жалостно говорили-с, в отборных словах-с.

— Деликатнейший человек! Я говорил тебе, Сергей... Да как же ты, Видоплясов, пустил, когда именно тебе я велел стеречь? Ах, боже мой, боже мой!

— Более через сердечную жалость-с. Просили не говорить-с. Их же извозчик лошадей выкормил и запрег-с. А за врученную, три дни назад, сумму-с велели почтительнейше благодарить-с и сказать, что вышлют долг с одною из первых почт-с.

— Какую это сумму, дядюшка?

— Они называли двадцать пять рублей серебром-с, — сказал Видоплясов.

— Это я, брат, ему тогда дал взаймы, на станции: у него недостало. Разумеется, он вышлет с первой же почтой... Ах, боже мой, как мне жаль! Не послать ли в погоню, Сережа?

— Нет, дядюшка, лучше не посылайте.

— Я сам то же думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не философ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи кажется. Так и Коровкин: он не вынес стыда... Но пойдем, однако ж, к Фоме! Мы замешкались; может оскорбиться неблагодарностью, невниманием... Идем же! Ах, Коровкин, Коровкин!

Роман кончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно воцарился в доме, в лице Фомы Фомича. Тут можно бы сделать очень много приличных объяснений; но, в сущности, все эти объяснения теперь совершенно лишние. Таково, по крайней мере, мое мнение. Взамен всяких объяснений скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рассказа: без этого, как известно, не кончается ни один роман, и это даже предписано правилами.

Свадьба «осчастливленных» произошла спустя шесть недель после описанных мною происшествий. Сделали всё тихо, семейно, без особенной пышности и без лишних гостей. Я был шафером Настеньки, Мизинчиков — со стороны дяди. Впрочем, были и гости. Но самым первым, самым главным человеком был, разумеется, Фома Фомич. За ним ухаживали; его носили на руках. Но как-то случилось, что его один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла история, сопровождаемая упреками, воплями, криками. Фома убежал в свою комнату, заперся на ключ, кричал, что презирают его, что теперь уж «новые люди» вошли в семейство, и потому он ничто, не более как щепка, которую надо выбросить. Дядя был в отчаянии; Настенька плакала; с генеральшей, по обыкновению, сделались судороги... Свадебный пир походил на похороны. И ровно семь лет такого сожительства с благо-

детелем, Фомой Фомичом, достались в удел моему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти своей (Фома Фомич умер в прошлом году) он киснул, куксился, ломался, сердился, бранился, но благоговение к нему «осчастливленных» не только не уменьшалось, но даже каждодневно возрастало, пропорционально его капризам. Егор Ильич и Настенька до того были счастливы друг с другом, что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слишком послал им господь; что не стоят они такой милости, и предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено искупить свое счастье крестом и страданиями. Понятно, что Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме всё, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет! Даже нельзя себе представить, до каких необузданных фантазий доходила иногда его пресыщенная, праздная душа в изобретении самых утонченных, нравственно-лукулловских капризов. Три года спустя после дядюшкиной свадьбы скончалась бабушка. Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже и теперь в доме дяди с ужасом рассказывают о тогдашнем его положении. Когда засыпáли могилу, он рвался в нее и кричал, чтоб и его вместе засыпали. Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок; а один раз силою, вчетвером, раскрыли ему рот и вынули оттуда булавку, которую он хотел проглотить. Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время борьбы и, однако ж, не проглотил. Но эту догадку выслушали все с решительным негодованием и тут же уличили догадчика в жестокосердии и неприличии. Только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбнулась; причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством.Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть и капризничал в доме дяди по-прежнему, но прежних, деспотических и наглых распеканций, какие он позволял себе с дядей, уже не было. Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но уже не бранился по-прежнему, — не было таких сцен, как «ваше превосходительство», и это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кой-что уступить и кой в чем покориться. Она не хотела видеть унижения мужа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю *почти,* потому что Настенька тоже лелеяла Фому и даже каждый раз поддерживала мужа, когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела заставить других уважать всё в своем муже, а потому гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки забыло все прежние обиды: она всё простила Фоме, когда он соединил ее с дядей, и, кроме того, кажется, серьезно, всем сердцем вошла в идею дяди, что со «страдальца» и прежнего шута нельзя много спрашивать, а что надо, напротив, уврачевать сердце его. Бедная Настенька сама была из *униженных,* сама страдала и помнила это. Чрез месяц Фома утих, сделался даже ласков и кроток; но зато начались другие, самые неожидан-

ные припадки: он начал впадать в какой-то магнетический сон, устрашавший всех до последней степени. Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом положении, в котором находился в последнее мгновение перед припадком; если, например, он смеялся, то так и оставался с улыбкою на устах; если же держал что-нибудь, хоть вилку, то вилка так и остается в поднятой руке, на воздухе. Потом, разумеется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все в доме чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цыпочках, плачут. Наконец Фома проснется, чувствуя страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слыхал и не видал во всё это время. Нужно же, чтоб до такой степени ломался, рисовался человек, выдерживал целые часы добровольной муки — и единственно для того, чтоб сказать потом: «Смотрите на меня, я и чувствую-то краше, чем вы!» Наконец Фома Фомич проклял дядю «за ежечасные обиды и непочтительность» и переехал жить к господину Бахчееву. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем, что сам же просил у него прощенья, в этот раз принялся за дело с необыкновенным жаром: он встретил Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально рассориться с дядей и даже подать на него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, никогда и не спорили, потому что дядя вполне уступал его, без всяких споров, Степану Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчеев велел заложить коляску, поскакал в город, настрочил там просьбу и подал, прося суд присудить ему формальным образом землю, с вознаграждениями проторей и убытков, и таким образом казнить самоуправство и хищничество. Между тем Фома, на другой же день, соскучившись у господина Бахчеева, простил дядю, приехавшего с повинною, и отправился обратно в Степанчиково. Гнев господина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего Фомы, был ужасен; но через три дня он явился в Степанчиково с повинною, со слезами просил прощенья у дяди и уничтожил свою просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фомичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой, как собачка, и по-прежнему приговаривал к каждому слову: «Умный ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!»

Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле генеральши; над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно заходят, с прогулки, в церковную ограду поклониться Фоме. Они и теперь не могут говорить о нем без особого чувства; припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются как драгоценность. Почувствовав

себя совершенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привязались друг к другу. Детей им бог не дал; они очень горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла замуж за одного прекрасного молодого человека. Илюша учится в Москве. Таким образом, дядя и Настя живут одни и не надышатся друг на друга. Забота их друг о друге дошла до какой-то болезненности. Настя беспрерывно молится. Если кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет и недели. Но дай бог им долго жить! Принимают они всех с полным радушием и готовы разделить со всяким несчастным всё, что у них имеется. Настенька любит читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать всё нищим и быть счастливыми в бедности. Если б не забота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так и сделал, потому что он во всем вполне согласен с женою. С ними живет Прасковья Ильинична и угождает им во всем с наслаждением; она же ведет и хозяйство. Господин Бахчеев сделал ей предложение еще вскоре после дядюшкиной свадьбы, но она наотрез ему отказала. Заключили из этого, что она пойдет в монастырь; но и этого не случилось. В натуре Прасковьи Ильиничны есть одно замечательное свойство: совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила, ежечасно исчезать перед ними, смотреть им в глаза, подчиняться всевозможным их капризам, ходить за ними и служить им. Теперь, по смерти генеральши, своей матери, она считает своею обязанностью не разлучаться с братом и угождать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин еще жив и в последнее время всё чаще и чаще стал посещать свою дочь. Вначале он приводил дядю в отчаяние тем, что почти совершенно отстранил себя и свою мелюзгу (так называл он детей своих) от Степанчикова. Все зазывы дяди не действовали на него: он был не столько горд, сколько щекотлив и мнителен. Самолюбивая мнительность его доходила иногда до болезни. Мысль, что его, бедняка, будут принимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивала его; он даже отказывался иногда от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. От дяди же он ничего решительно не хотел принять. Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда, в саду, об отце, что он представляет из себя шута *для нее*. Правда, ему ужасно хотелось тогда выдать Настеньку замуж; но корчил он из себя шута просто из внутренней потребности, чтоб дать выход накопившейся злости. Потребность насмешки и *язычка* была у него в крови. Он карикатурил, например, из себя самого подлого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же время ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем унизительнее была его лесть, тем язвительнее и откровеннее проглядывала в ней насмешка. Такая уж была его манера. Всех детей его удалось разместить в лучших учебных заведениях, в Москве и Петербурге, и то только, когда Настенька ясно доказала ему, что всё это сделается на ее собственный счет, то есть в счет ее собственных тридцати тысяч, подаренных ей Татьяной Ивановной.

Эти тридцать тысяч, по правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны; а ее, чтоб она не горевала и не обижалась, умилостивили, обещая ей при первых неожиданных семейных нуждах обратиться к ее помощи. Так и сделали: для виду были произведены у ней, в разное время, два довольно значительные займа. Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и Настя все-таки получила свои тридцать тысяч. Смерть бедной Татьяны Ивановны была скоропостижная. Всё семейство собиралось на бал к одному из соседних помещиков, и только что успела она нарядиться в свое бальное платье, а на голову надеть очаровательный венок из белых роз, как вдруг почувствовала дурноту, села в кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили. Настя была в отчаянии. Татьяну Ивановну лелеяли в доме и ходили за ней, как за ребенком. Она удивила всех здравомыслием своего завещания: кроме Настенькиных тридцати тысяч, всё остальное, до трехсот тысяч ассигнациями, назначалось для воспитания бедных сироток-девочек и для награждения их деньгами по выходе из учебных заведений. В год ее смерти вышла замуж и девица Перепелицына, которая, по смерти генеральши, осталась у дяди в надежде подлизаться к Татьяне Ивановне. Между тем овдовел чиновник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой деревушки, в которой у нас происходила сцена с Обноскиным и его маменькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек детей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он начал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась. Но Перепелицына была бедна, как курица: у ней всего-то было триста рублей серебром, да и то подаренные ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера. Она теребит за волосы его детей и отсчитывает им колотушки; ему же (по крайней мере так говорят) царапает лицо и поминутно корит его подполковничьим своим происхождением. Мизинчиков тоже пристроился. Он благоразумно бросил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал понемногу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомендовал его одному богатому графу, помещику, у которого было три тысячи душ, в восьмидесяти верстах от Степанчикова, и который изредка наезжал в свои поместья. Заметив в Мизинчикове способности и взяв во внимание рекомендацию, граф предложил ему место управляющего в своих поместьях, прогнав своего прежнего управителя немца, который, несмотря на прославленную немецкую честность, обчищал своего графа как липку. Через пять лет имения узнать нельзя было: крестьяне разбогатели; завелись статьи по хозяйству, прежде невозможные; доходы чуть ли не удвоились, — словом, новый управитель отличился и прогремел на всю губернию хозяйственными своими способностями. Каково же было изумление и горе графа, когда Мизинчиков, ровно чрез пять лет, несмотря ни на какие просьбы, ни на какие надбавки, решительно отказался от службы и вышел в отставку! Граф думал, что его сманили соседи-помещики, или даже в другую губернию.

И как же все удивились, когда вдруг, два месяца по выходе в отставку, у Ивана Ивановича Мизинчикова явилось превосходнейшее имение, во сто душ, ровно в сорока верстах от графского, купленное им у какого-то промотавшегося гусара, прежнего его приятеля! Эти сто душ он тотчас же заложил, и через год у него явилось еще шестьдесят душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяйство у него бесподобное. Все дивятся: где он вдруг достал денег? Другие же только покачивают головами. Но Иван Иванович совершенно спокоен и чувствует себя вполне в своем праве. Он выписал из Москвы свою сестру, ту самую, которая дала ему свои последние три целковых на сапоги, когда он отправлялся в Степанчиково, — премилую девушку, уже не первой молодости, кроткую, любящую, образованную, но чрезвычайно запуганную. Она всё время скиталась где-то в Москве, в компаньонках, у какой-то благодетельницы; теперь же благоговеет перед братом, хозяйничает в его доме, считает его волю законом, а себя вполне счастливою. Братец не балует ее и держит несколько в черном теле; но она этого не замечает. В Степанчикове ее ужасно как полюбили, и, говорят, господин Бахчеев к ней неравнодушен. Он и сделал бы предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рассказе, подробнее.

Вот, кажется, и все лица... Да! забыл: Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски. Из Фалалея вышел очень порядочный кучер, а бедный Видоплясов давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер... На днях поеду в Степанчиково и непременно справлюсь о нем у дяди.

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ

РОМАН
В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ С ЭПИЛОГОМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Прошлого года, двадцать второго марта, вечером, со мной случилось престранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день я ничего не мог найти порядочного. Во-первых, хотелось квартиру особенную, не от жильцов, а во-вторых, хоть одну комнату, но непременно большую, разумеется вместе с тем и как можно дешевую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. Кстати: мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?

Еще с утра я чувствовал себя нездоровым, а к закату солнца мне стало даже и очень нехорошо: начиналось что-то вроде лихорадки. К тому же я целый день был на ногах и устал. К вечеру, перед самыми сумерками, проходил я по Вознесенскому проспекту. Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли... Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!

Но солнечный луч потух; мороз крепчал и начинал пощипывать за нос; сумерки густели; газ блеснул из магазинов и лавок. Поровнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился как вкопанный и стал смотреть на ту сторону улицы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное, и в это-то самое мгновение на противоположной стороне я увидел старика и его собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения и я сам не мог решить, какого рода было это ощущение.

Я не мистик; в предчувствия и гаданья почти не верю; однако со мною, как, может быть, и со всеми, случилось в жизни несколько происшествий, довольно необъяснимых. Например, хоть этот старик: почему при тогдашней моей встрече с ним, я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной случится что-то не совсем обыденное? Впрочем, я был болен; а болезненные ощущения почти всегда бывают обманчивы.

Старик своим медленным, слабым шагом, переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры. И прежде, до этой встречи, когда мы сходились с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня. Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилетнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая двадцатилетняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которой уцелел, на самом затылке, клочок уже не седых, а бело-желтых волос; все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведенной пружине, — всё это невольно поражало всякого, встречавшего его в первый раз. Действительно, как-то странно было видеть такого отжившего свой век старика одного, без присмотра, тем более что он был похож на сумасшедшего, убежавшего от своих надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба: тела на нем почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя, — я в этом уверен. Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство. Я это несколько раз замечал. У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда и всегда вместе с своей собакой. Никто никогда не решался с ним говорить из посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из них не заговаривал.

«И зачем он таскается к Миллеру, и что ему там делать? — думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада — следствие болезни и усталости — закипала во мне. — Об чем он думает? — продолжал я про себя, — что у него в голове? Да и думает ли еще он о чем-нибудь? Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит

от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?»

Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки; что она — собака необыкновенная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице — господин впереди, а собака за ним следом, — то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. И походка их и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом:

Стары-то мы, стары, господи, как мы стары!

Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданью. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую.

В кондитерской старик аттестовал себя престранно, и Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил, как будто озадаченный, в другой угол к окну. Там выбирал какой-нибудь стул, медленно усаживался на нем, снимал шляпу, ставил ее подле себя на пол, трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолженке трех или четырех часов. Никогда он не взял в руки ни одной газеты, не произнес ни одного слова, ни одного звука; а только сидел, смотря перед собою во все глаза, но таким тупым, безжизненным взглядом, что можно было побиться об заклад, что он ничего не видит из всего окружающего и ничего не слышит. Собака же, покружившись раза два или три на одном месте, угрюмо укладывалась у ног его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину па полу, тоже оставалась неподвижною на весь вечер, точно

умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые и, как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтоб дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому не известную обязанность. Насидевшись часа три-четыре, старик наконец вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака и, опять поджав хвост и свесив голову, медленным прежним шагом машинально следовала за ним. Посетители кондитерской наконец начали всячески обходить старика и даже не садились с ним рядом, как будто он внушал им омерзение. Он же ничего этого не замечал.

Посетители этой кондитерской большею частию немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта — всё хозяева различных заведений: слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, седельники — всё люди патриархальные в немецком смысле слова. У Миллера вообще наблюдалась патриархальность. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол, причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собою знакомы, и все взаимно уважали друг друга. И когда гости углублялись в чтение немецких газет, за дверью, в квартире хозяина, трещал августин, наигрываемый на дребезжащих фортепьянах старшей хозяйской дочкой, белокуренькой немочкой в локонах, очень похожей на белую мышку. Вальс принимался с удовольствием. Я ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать русские журналы, которые у него получались.

Войдя в кондитерскую, я увидел, что старик уже сидит у окна, а собака лежит, как и прежде, растянувшись у ног его. Молча сел я в угол и мысленно задал себе вопрос: «Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен и нужнее было бы спешить домой, выпить чаю и лечь в постель? Неужели в самом деле я здесь только для того, чтоб разглядывать этого старика?» Досада взяла меня. «Что мне за дело до него, — думал я, припоминая то странное, болезненное ощущение, с которым я глядел на него еще на улице. — И что мне за дело до всех этих скучных немцев? К чему это фантастическое настроение духа? К чему эта дешевая тревога из пустяков, которую я замечаю в себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь, о чем уже заметил мне один глубокомысленный критик, с негодованием разбирая мою последнюю повесть?» Но, раздумывая и сетуя, я все-таки оставался на месте, а между тем болезнь одолевала меня всё более и более, и мне наконец стало жаль оставить теплую комнату. Я взял франкфуртскую газету, прочел две строки и задремал. Немцы мне не мешали. Они читали, курили и только изредка, в полчаса раз, сообщали друг другу, отрывочно и вполголоса, какую-нибудь новость из Франкфурта да еще какой-нибудь виц или шарфзин знаменитого немецкого остроумца Са-

фира; после чего с удвоенною национальною гордостью вновь погружались в чтение.

Я дремал с полчаса и очнулся от сильного озноба. Решительно надо было идти домой. Но в ту минуту одна немая сцена, происходившая в комнате, еще раз остановила меня. Я сказал уже, что старик, как только усаживался на своем стуле, тотчас же упирался куда-нибудь своим взглядом и уже не сводил его на другой предмет во весь вечер. Случалось и мне попадаться под этот взгляд, бессмысленно упорный и ничего не различающий: ощущение было пренеприятное, даже невыносимое, и я обыкновенно как можно скорее переменял место. В эту минуту жертвой старика был один маленький, кругленький и чрезвычайно опрятный немчик, со стоячими, туго накрахмаленными воротничками и с необыкновенно красным лицом, приезжий гость, купец из Риги, Адам Иваныч Шульц, как узнал я после, короткий приятель Миллеру, но не знавший еще старика и многих из посетителей. С наслаждением почитывая «Dorfbarbier» [1] и попивая свой пунш, он вдруг, подняв голову, заметил над собой неподвижный взгляд старика. Это его озадачило. Адам Иваныч был человек очень обидчивый и щекотливый, как и вообще все «благородные» немцы. Ему показалось странным и обидным, что его так пристально и бесцеремонно рассматривают. С подавленным негодованием отвел он глаза от неделикатного гостя, пробормотал себе что-то под нос и молча закрылся газетой. Однако не вытерпел и минуты через две подозрительно выглянул из-за газеты: тот же упорный взгляд, то же бессмысленное рассматривание. Смолчал Адам Иваныч и в этот раз. Но когда то же обстоятельство повторилось и в третий, он вспыхнул и почел своею обязанностию защитить свое благородство и не уронить перед благородной публикой прекрасный город Ригу, которого, вероятно, считал себя представителем. С нетерпеливым жестом бросил он газету на стол, энергически стукнув палочкой, к которой она была прикреплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими, воспаленными глазками на досадного старика. Казалось, оба они, и немец и его противник, хотели пересилить друг друга магнетическою силою своих взглядов и выжидали, кто раньше сконфузится и опустит глаза. Стук палочки и эксцентрическая позиция Адама Иваныча обратили на себя внимание всех посетителей. Все тотчас же отложили свои занятия и с важным, безмолвным любопытством наблюдали обоих противников. Сцена становилась очень комическою. Но магнетизм вызывающих глазок красненького Адама Ивановича совершенно пропал даром. Старик, не заботясь ни о чем, продолжал прямо смотреть на взбесившегося господина Шульца и решительно не замечал, что сделался предметом всеобщего любопытства, как будто голова его

[1] «Деревенский брадобрей» (*нем.*).

была на луне, а не на земле. Терпение Адама Иваныча наконец лопнуло, и он разразился.

— Зачем вы на меня так внимательно смотрите? — прокричал он по-немецки резким, пронзительным голосом и с угрожающим видом.

Но противник его продолжал молчать, как будто не понимал и даже не слыхал вопроса. Адам Иваныч решился заговорить по-русски.

— Я вас спросит, зачом ви на мне так прилежно взирайт? — прокричал он с удвоенною яростию. — Я ко двору известен, а ви неизвестен ко двору! — прибавил он, вскочив со стула.

Но старик даже и не пошевелился. Между немцами раздался ропот негодования. Сам Миллер, привлеченный шумом, вошел в комнату. Вникнув в дело, он подумал, что старик глух, и нагнулся к самому его уху.

— Каспадин Шульц вас просил прилежно не взирайт на него, — проговорил он как можно громче, пристально всматриваясь в непонятного посетителя.

Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его, доселе неподвижном, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. Он засуетился, нагнулся, кряхтя, к своей шляпе, торопливо схватил ее вместе с палкой, поднялся со стула и с какой-то жалкой улыбкой — униженной улыбкой бедняка, которого гонят с занятого им по ошибке места, — приготовился выйти из комнаты. В этой смиренной, покорной торопливости бедного, дряхлого старика было столько вызывающего на жалость, столько такого, отчего иногда сердце точно перевертывается в груди, что вся публика, начиная с Адама Иваныча, тотчас же переменила свой взгляд на дело. Было ясно, что старик не только не мог кого-нибудь обидеть, но сам каждую минуту понимал, что его могут отовсюду выгнать как нищего.

Миллер был человек добрый и сострадательный.

— Нет, нет, — заговорил он, ободрительно трепля старика по плечу, — сидитт! Aber [1] гер Шульц очень просил вас прилежно не взирайт на него. Он у двора известен.

Но бедняк и тут не понял; он засуетился еще больше прежнего, нагнулся поднять свой платок, старый, дырявый синий платок, выпавший из шляпы, и стал кликать свою собаку, которая лежала не шевелясь на полу и, по-видимому, крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами.

— Азорка, Азорка! — прошамкал он дрожащим, старческим голосом, — Азорка!

Азорка не пошевельнулся.

— Азорка, Азорка! — тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении.

---

[1] Но (*нем.*).

Палка выпала из рук его. Он нагнулся, стал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка! Он был мертв. Он умер неслышно, у ног своего господина, может быть от старости, а может быть и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер; потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты... Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе.

— Можно шушель сделать, — заговорил сострадательный Миллер, желая хоть чем-нибудь утешить старика. (Шушель означало чучелу.) — Можно кароши сделать шушель; Федор Карлович Кригер отлично сделает шушель; Федор Карлович Кригер велики мастер сделать шушель, — твердил Миллер, подняв с земли палку и подавая ее старику.

— Да, я отлично сделает шушель, — скромно подхватил сам гер Кригер, выступая на первый план. Это был длинный, худощавый и добродетельный немец с рыжими клочковатыми волосами и очками на горбатом носу.

— Федор Карлович Кригер имеет велики талент, чтоб сделать всяки превосходны шушель, — прибавил Миллер, начиная приходить в восторг от своей идеи.

— Да, я имею велики талент, чтоб сделать всяки превосходны шушель, — снова подтвердил гер Кригер, — и я вам даром сделайт из ваша собачка шушель, — прибавил он в припадке великодушного самоотвержения.

— Нет, я вам заплатит за то, что ви сделайт шушель! — неистово вскричал Адам Иваныч Шульц, вдвое раскрасневшийся, в свою очередь сгорая великодушием и невинно считая себя причиною всех несчастий.

Старик слушал всё это, видимо не понимая и по-прежнему дрожа всем телом.

— Погодитт! Выпейте одну рюмку кароши коньяк! — вскричал Миллер, видя, что загадочный гость порывается уйти.

Подали коньяк. Старик машинально взял рюмку, но руки его тряслись, и, прежде чем он донес ее к губам, он расплескал половину и, не выпив ни капли, поставил ее обратно на поднос. Затем, улыбнувшись какой-то странной, совершенно не подходящей к делу улыбкой, ускоренным, неровным шагом вышел из кондитерской, оставив на месте Азорку. Все стояли в изумлении; послышались восклицания.

— Швернот! вас-фюр-эйне-гешихте! — говорили немцы, выпуча глаза друг на друга.

А я бросился вслед за стариком. В нескольких шагах от кондитерской, поворотя от нее направо, есть переулок, узкий и темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старик непременно повернул сюда. Тут второй дом направо строился и весь был обставлен лесами. Забор, окружавший дом,

выходил чуть не на средину переулка, к забору была приложена деревянная настилка для проходящих. В темном углу, составленном забором и домом, я нашел старика. Он сидел на приступке деревянного тротуара и обеими руками, опершись локтями на колена, поддерживал свою голову. Я сел подле него.

— Послушайте, — сказал я, почти не зная, с чего и начать, — не горюйте об Азорке. Пойдемте, я вас отвезу домой. Успокойтесь. Я сейчас схожу за извозчиком. Где вы живете?

Старик не отвечал. Я не знал, на что решиться. Прохожих не было. Вдруг он начал хватать меня за руку.

— Душно! — проговорил он хриплым, едва слышным голосом, — душно!

— Пойдемте к вам домой! — вскричал я, приподымаясь и насильно приподымая его, — вы выпьете чаю и ляжете в постель... Я сейчас приведу извозчика. Я позову доктора... мне знаком один доктор...

Я не помню, что я еще говорил ему. Он было хотел приподняться, но, поднявшись немного, опять упал на землю и опять начал что-то бормотать тем же хриплым, удушливым голосом. Я нагнулся к нему еще ближе и слушал.

— На Васильевском острове, — хрипел старик, — в Шестой линии... в Ше-стой ли-нии...

Он замолчал.

— Вы живете на Васильевском? Но вы не туда пошли; это будет налево, а не направо. Я вас сейчас довезу...

Старик не двигался. Я взял его за руку; рука упала, как мертвая. Я взглянул ему в лицо, дотронулся до него — он был уже мертвый. Мне казалось, что всё это происходит во сне.

Это приключение стоило мне больших хлопот, в продолжение которых прошла сама собою моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Он, однако же, жил не на Васильевском острову, а в двух шагах от того места, где умер, в доме Клугена, под самою кровлею, в пятом этаже, в отдельной квартире, состоящей из одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты, с тремя щелями наподобие окон. Жил он ужасно бедно. Мебели было всего стол, два стула и старый-старый диван, твердый, как камень, и из которого со всех сторон высовывалась мочала; да и то оказалось хозяйское. Печь, по-видимому, уже давно не топилась; свечей тоже не отыскалось. Я серьезно теперь думаю, что старик выдумал ходить к Миллеру единственно для того, чтоб посидеть при свечах и погреться. На столе стояла пустая глиняная кружка и лежала старая, черствая корка хлеба. Денег не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемены белья, чтоб похоронить его; кто-то дал уж свою рубашку. Ясно, что он не мог жить таким образом, совершенно один, и, верно, кто-нибудь, хоть изредка, навещал его. В столе отыскался его паспорт. Покойник был из иностранцев, но русский подданный, Иеремия Смит, машинист, семидесяти восьми лет от роду. На столе лежали две

книги: краткая география и Новый завет в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем. Книги эти я приобрел себе. Спрашивали жильцов, хозяина дома, — никто об нем почти ничего не знал. Жильцов в этом доме множество, почти всё мастеровые и немки, содержательницы квартир со столом и прислугою. Управляющий домом, из благородных, тоже немного мог сказать о бывшем своем постояльце, кроме разве того, что квартира ходила по шести рублей в месяц, что покойник жил в ней четыре месяца, но за два последних месяца не заплатил ни копейки, так что приходилось его сгонять с квартиры. Спрашивали: не ходил ли к нему кто-нибудь? Но никто не мог дать об этом удовлетворительного ответа. Дом большой: мало ли людей ходит в такой Ноев ковчег, всех не запомнишь. Дворник, служивший в этом доме лет пять и, вероятно, могший хоть что-нибудь разъяснить, ушел две недели перед этим к себе на родину, на побывку, оставив вместо себя своего племянника, молодого парня, еще не узнавшего лично и половины жильцов. Не знаю наверно, чем именно кончились тогда все эти справки но наконец старика похоронили. В эти дни между другими хлопотами я ходил на Васильевский остров, в Шестую линию, и, только придя туда, усмехнулся сам над собою: что мог я увидать в Шестой линии, кроме ряда обыкновенных домов? «Но зачем же, — думал я, — старик, умирая, говорил про Шестую линию и про Васильевский остров? Не в бреду ли?»

Я осмотрел опустевшую квартиру Смита, и мне она понравилась. Я оставил ее за собою. Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, так что мне в первое время всё казалось, что я задену потолок головою. Впрочем, я скоро привык. За шесть рублей в месяц и нельзя было достать лучше. Особняк соблазнял меня; оставалось только похлопотать насчет прислуги, так как совершенно без прислуги нельзя было жить. Дворник на первое время обещался приходить хоть по разу в день, прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. «А кто знает, — думал я, — может быть, кто-нибудь и наведается о старике!» Впрочем, прошло уже пять дней, как он умер, а еще никто не приходил.

Глава II

В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом; но дело все-таки кончилось тем, что я — вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?

Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь всё записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски.

Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие... Да, я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять.

Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно почему, из средины. Коли уж всё записывать, то надо начинать сначала. Ну, и начнем сначала. Впрочем, не велика будет моя автобиография.

Родился я не здесь, а далеко отсюда, в —ской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. Детей у него была одна только дочь, Наташа, ребенок тремя годами моложе меня. Мы росли с ней как брат с сестрой. О мое милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на двадцать пятом году жизни и, умирая, вспомянуть только об одном тебе с восторгом и благодарностию! Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеич был управляющим; в этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой, сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились... Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый; сказочный мир сливался с действительным; и, когда, бывало, в глубоких долинах густел вечерний пар и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменистым ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей, на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана с овражьего дна и нянины сказки окажутся настоящей, законной правдой. Раз, потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, как достали нам тогда однажды «Детское чтение», как мы тотчас же убежали в сад, к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать «Альфонса и Далинду» — волшебную повесть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения, и когда я, год тому назад, припомнил Наташе две первые строчки: «Альфонс, герой моей повести, родился в Португалии; дон Рамир, его отец» и т. д., я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась (я помню это) и для моего утешения сама

принялась вспоминать про старое. Слово за словом, и сама расчувствовалась. Славный был этот вечер; мы всё перебрали: и то, когда меня отсылали в губернский город в пансион, — господи, как она тогда плакала! — и нашу последнюю разлуку, когда я уже навсегда расставался с Васильевским. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург готовиться в университет. Мне было тогда семнадцать лет, ей пятнадцатый. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой долговязый и что на меня без смеху смотреть нельзя было. В минуту прощанья я отвел ее в сторону, чтоб сказать ей что-то ужасно важное; но язык мой как-то вдруг онемел и завяз. Она припоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился. Я не знал, что сказать, а она, пожалуй, и не поняла бы меня. Я только горько заплакал, да так и уехал, ничего не сказавши. Мы свиделись уже долго спустя, в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик Ихменев приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, а я только что выскочил тогда в литераторы.

Глава III

Николай Сергеич Ихменев происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневшей. Впрочем, после родителей ему досталось полтораста душ хорошего имения. Лет двадцати от роду он распорядился поступить в гусары. Всё шло хорошо; но на шестом году его службы случилось ему в один несчастный вечер проиграть всё свое состояние. Он не спал всю ночь. На следующий вечер он снова явился к карточному столу и поставил на карту свою лошадь — последнее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья, и через полчаса он отыграл одну из деревень своих, сельцо Ихменевку, в котором числилось пятьдесят душ по последней ревизии. Он забастовал и на другой же день подал в отставку. Сто душ погибло безвозвратно. Через два месяца он был уволен поручиком и отправился в свое сельцо. Никогда в жизни он не говорил потом о своем проигрыше и, несмотря на известное свое добродушие, непременно бы рассорился с тем, кто бы решился ему об этом напомнить. В деревне он прилежно занялся хозяйством и тридцати пяти лет от роду женился на бедной дворяночке, Анне Андреевне Шумиловой, совершенной бесприданнице, но получившей образование в губернском благородном пансионе у эмигрантки Мон-Ревеш, чем Анна Андреевна гордилась всю жизнь, хотя никто никогда не мог догадаться: в чем именно состояло это образование. Хозяином сделался Николай Сергеич превосходным. У него учились хозяйству соседи-помещики. Прошло несколько лет, как вдруг в соседнее имение, село Васильевское, в котором считалось девятьсот душ, приехал из Петербурга помещик, князь Петр Александрович Валковский. Его приезд произвел во всём околодке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек,

хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни; о том, как все губернские дамы «сошли с ума от его любезностей», и проч., и проч. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеичу. Правда, что Николай Сергеич был одним из самых ближайших его соседей. В доме Ихменевых князь произвел сильное впечатление. Он тотчас же очаровал их обоих; особенно в восторге от него была Анна Андреевна. Немного спустя он был уже у них совершенно запросто, ездил каждый день, приглашал их к себе, острил, рассказывал анекдоты, играл на скверном их фортепьяно, пел. Ихменевы не могли надивиться: как можно было про такого дорогого, милейшего человека говорить, что он гордый, спесивый, сухой эгоист, о чем в один голос кричали все соседи? Надобно думать, что князю действительно понравился Николай Сергеич, человек простой, прямой, бескорыстный, благородный. Впрочем, вскоре всё объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтоб прогнать своего управляющего, одного блудного немца, человека амбиционного, агронома, одаренного почтенной сединой, очками и горбатым носом, но, при всех этих преимуществах, кравшего без стыда и цензуры и, сверх того, замучившего нескольких мужиков. Иван Карлович был наконец пойман и уличен на деле, очень обиделся, много говорил про немецкую честность; но, несмотря на всё это, был прогнан и даже с некоторым бесславием. Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. Кажется, князю очень хотелось, чтоб Николай Сергеич сам предложил себя в управляющие; но этого не случилось, и князь в одно прекрасное утро сделал предложение сам, в форме самой дружеской и покорнейшей просьбы. Ихменев сначала отказывался; но значительное жалованье соблазнило Анну Андреевну, а удвоенные любезности просителя рассеяли и все остальные недоумения. Князь достиг своей цели. Надо думать, что он был большим знатоком людей. В короткое время своего знакомства с Ихменевым он совершенно узнал, с кем имеет дело, и понял, что Ихменева надо очаровать дружеским, сердечным образом, надобно привлечь к себе его сердце, и что без этого деньги не много сделают. Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтоб уж и не заез-

жать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал. Очарование, которое он произвел в Ихменеве, было так сильно, что тот искренно поверил в его дружбу. Николай Сергеич был один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которые так хороши у нас на Руси, что бы ни говорили о них, и которые, если уж полюбят кого (иногда бог знает за что), то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического.

Прошло много лет. Имение князя процветало. Сношения между владетелем Васильевского и его управляющим совершались без малейших неприятностей с обеих сторон и ограничивались сухой деловой перепиской. Князь, не вмешиваясь нисколько в распоряжения Николая Сергеича, давал ему иногда такие советы, которые удивляли Ихменева своею необыкновенною практичностью и деловитостью. Видно было, что он не только не любил тратить лишнего, но даже умел наживать. Лет пять после посещения Васильевского он прислал Николаю Сергеичу доверенность на покупку другого превосходнейшего имения в четыреста душ, в той же губернии. Николай Сергеич был в восторге; успехи князя, слухи об его удачах, о его возвышении он принимал к сердцу, как будто дело шло о родном его брате. Но восторг его дошел до последней степени, когда князь действительно показал ему в одном случае свою чрезвычайную доверенность. Вот как это произошло... Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Валковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа.

Глава IV

Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено; долги на нем лежали огромные. У двадцатидвухлетнего князя, принужденного тогда служить в Москве, в какой-то канцелярии, не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь как «голяк — потомок отрасли старинной». Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое имение и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне: после первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в —ю губернию, где выхлопотал, через покровительство одного знатного петербургского родственника, довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры, и, рассчитав, что с своею женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве,

он решился, в ожидании лучшего, начать свою карьеру с провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь неспособен к неблагородному поступку. Но лет через семь умерла наконец княгиня, и овдовевший супруг ее немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, с состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимою веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если б он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него свое особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его семилетнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя в Васильевское и знакомство его с Ихменевыми. Наконец получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными: говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. Известно было только, что он успел прикупить четыреста душ, о чем уже я упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя, в важном чине, и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Ихменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрит в вельможи!» — говорил Николай Сергеич, потирая руки от удовольствия. Я был тогда в Петербурге, в университете, и помню, что Ихменев нарочно писал ко мне и просил меня справиться: справедливы ли слухи о браке? Он писал тоже князю, прося у него для меня покровительства; но князь оставил письмо его без ответа. Я знал только, что сын его, воспитывавшийся сначала у графа, а потом в лицее, окончил тогда курс наук девятнадцати лет от роду. Я написал об этом к Ихменевым, а также и о том, что князь очень любит своего сына, балует его, рассчитывает уже и теперь его будущность. Всё это я узнал от товарищей-студентов, знакомых молодому князю. В это-то время Николай Сергеич в одно прекрасное утро получил от князя письмо, чрезвычайно его удивившее...

Князь, который до сих пор, как уже упомянул я, ограничивался в сношениях с Николаем Сергеичем одной сухой, деловой перепиской, писал к нему теперь самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах: он жаловался на своего сына, писал, что сын огорчает его дурным своим поведением; что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком серьезно (он видимо старался оправдать его), но что он решился наказать сына, попугать его, а именно: сослать его на некоторое время в деревню, под присмотр Ихменева. Князь писал, что вполне полагается на «своего добрейшего, благороднейшего Николая Сергеевича и в особенности на Анну Андреевну», просил их обоих принять его ветрогона в их семейство, поучить в уединении уму-разуму, полюбить его, если возможно, а главное, исправить его легкомысленный характер и «внушить спасительные и строгие правила, столь необходимые в человеческой жизни». Разумеется, старик Ихменев с восторгом принялся за дело. Явился и молодой князь; они приняли его как родного сына. Вскоре Николай Сергеич горячо полюбил его, не менее чем свою Наташу; даже потом, уже после окончательного разрыва между князем-отцом и Ихменевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алеше — так привык он называть князя Алексея Петровича. В самом деле, это был премилейший мальчик: красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душою отверстою и способною к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным, — он сделался идолом в доме Ихменевых. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был еще совершенный ребенок. Трудно было представить, за что его мог сослать отец, который, как говорили, очень любил его? Говорили, что молодой человек в Петербурге жил праздно и ветрено, служить не хотел и огорчал этим отца. Николай Сергеич не расспрашивал Алешу, потому что князь Петр Александрович, видимо, умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи про какую-то непростительную ветреность Алеши, про какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов на дуэль, про какой-то невероятный проигрыш в карты; доходили даже до каких-то чужих денег, им будто бы растраченных. Был тоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие каких-то особенных, эгоистических соображений. Николай Сергеич с негодованием отвергал этот слух, тем более что Алеша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжение всего своего детства и отрочества; он говорил об нем с восторгом, с увлечением; видно было, что он вполне подчинился его влиянию. Алеша болтал тоже иногда про какую-то графиню, за которой волочились и он и отец вместе, но что он, Алеша, одержал верх, а отец на него за это ужасно рассердился. Он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, с звонким, веселым смехом; но Николай Сергеич тотчас же его останавли-

вал. Алеша подтверждал тоже слух, что отец его хочет жениться.

Он выжил уже почти год в изгнании, в известные сроки писал к отцу почтительные и благоразумные письма и наконец до того сжился с Васильевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню (о чем заранее уведомил Ихменевых), то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно долее остаться в Васильевском, уверяя, что сельская жизнь — настоящее его назначение. Все решения и увлечения Алеши происходили от его чрезвычайной, слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы; от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу... Вообще Николай Сергеич с трудом узнавал своего прежнего *«друга»*: князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеичу; в проверке счетов по именью выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Всё это ужасно огорчило добрейшего Ихменева; он долго старался не верить самому себе. В этот раз всё делалось обратно в сравнении с первым посещением Васильевского, четырнадцать лет тому назад: в этот раз князь перезнакомился со всеми соседями, разумеется из важнейших; к Николаю же Сергеичу он никогда не ездил и обращался с ним как будто с своим подчиненным. Вдруг случилось непонятное происшествие: без всякой видимой причины последовал ожесточенный разрыв между князем и Николаем Сергеичем. Подслушаны были горячие, обидные слова, сказанные с обеих сторон. С негодованием удалился Ихменев из Васильевского, но история еще этим не кончилась. По всему околодку вдруг распространилась отвратительная сплетня. Уверяли, что Николай Сергеич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу; что дочь его Наташа (которой уже было тогда семнадцать лет) сумела влюбить в себя двадцатилетнего юношу; что и отец и мать этой любви покровительствовали, хотя и делали вид, что ничего не замечают; что хитрая и «безнравственная» Наташа околдовала наконец совершенно молодого человека, не видавшего в целый год, ее стараниями, почти ни одной настоящей благородной девицы, которых так много зреет в почтенных домах соседних помещиков. Уверяли, наконец, что между любовниками уже было условлено обвенчаться, в пятнадцати верстах от Васильевского, в селе Григорьеве, по-видимому тихонько от родителей Наташи, но которые, однако же, знали всё до малейшей подробности и руководили дочь гнусными своими советами. Одним словом, в целой книге не уместить всего, что уездные кумушки обоего пола успели насплетничать по поводу этой истории. Но удивительнее всего, что князь поверил всему этому совершенно и даже приехал в Васильевское единственно по этой причине, вследствие какого-то анонимного доноса, при-

сланного к нему в Петербург из провинции. Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь Николая Сергеича, не мог бы, кажется, и одному слову поверить из всех взводимых на него обвинений; а между тем, как водится, все суетились, все говорили, все оговаривались, все покачивали головами и... осуждали безвозвратно. Ихменев же был слишком горд, чтоб оправдывать дочь свою пред кумушками, и настрого запретил своей Анне Андреевне вступать в какие бы то ни было объяснения с соседями. Сама же Наташа, так оклеветанная, даже еще целый год спустя, не знала почти ни одного слова из всех этих наговоров и сплетней: от нее тщательно скрывали всю историю, и она была весела и невинна, как двенадцатилетний ребенок.

Тем временем ссора шла всё дальше и дальше. Услужливые люди не дремали. Явились доносчики и свидетели, и князя успели наконец уверить, что долголетнее управление Николая Сергеича Васильевским далеко не отличалось образцовою честностью. Мало того: что три года тому назад при продаже рощи Николай Сергеич утаил в свою пользу двенадцать тысяч серебром, что на это можно представить самые ясные, законные доказательства перед судом, тем более что на продажу рощи он не имел от князя никакой законной доверенности, а действовал по собственному соображению, убедив уже потом князя в необходимости продажи и предъявив за рощу сумму несравненно меньше действительно полученной. Разумеется, всё это были одни клеветы, как и оказалось впоследствии, но князь поверил всему и при свидетелях назвал Николая Сергеича вором. Ихменев не стерпел и отвечал равносильным оскорблением; произошла ужасная сцена. Немедленно начался процесс. Николай Сергеич, за неимением кой-каких бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. На имение его было наложено запрещение. Раздраженный старик бросил всё и решился наконец переехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о своем деле, а в губернии оставил за себя опытного поверенного. Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Ихменева. Но оскорбление с обеих сторон было так сильно, что не оставалось и слова на мир, и раздраженный князь употреблял все усилия, чтоб повернуть дело в свою пользу, то есть, в сущности, отнять у бывшего своего управляющего последний кусок хлеба.

Глава V

Итак, Ихменевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти четыре года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней; но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сна-

чала, в первые дни после их приезда, мне всё казалось, что она как-то мало развилась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытое от меня, как будто девушка нарочно от меня пряталась, — и что за наслаждение было это отгадывание! Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо; он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная и сначала ничего сообразить не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусила, плакала о прежнем житье-бытье, об Ихменевке, о том, что Наташа на возрасте, а об ней и подумать некому, и пускалась со мной в престранные откровенности, за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности.

Вот в это-то время, незадолго до их приезда, я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера, и, как новичок, сначала не знал, куда его сунуть. У Ихменевых я об этом ничего не говорил; они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу и не стараюсь приискать себе места. Старик горько и даже желчно укорял меня, разумеется из отеческого ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как, в самом деле, объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы, а потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, а что я ищу из всех сил. Ему некогда было поверять меня. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала: что я именно делаю, и, когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чем занимаюсь, но помню, что за одно одобрительное слово ее о труде моем, о моем первом романе, я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел наконец мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. И описать не могу, как обрадовались старики моему успеху, хотя сперва ужасно удивились: так странно их это поразило! Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый, прославляемый всеми писатель — тот

самый Ваня, который и т. д., и т. д., и всё качала головою. Старик долго не сдавался и сначала, при первых слухах, даже испугался; стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей. Но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и наконец несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами, и узнал, какую плату можно получать за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый в переходах от сомнения к полной, восторженной вере, радуясь как ребенок моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах! Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор небывалое ко мне уважение. Но все-таки, помню, случалось, сомнения вдруг опять осаждали его, часто среди самого восторженного фантазирования, и снова сбивали его с толку.

«Сочинитель, поэт! Как-то странно... Когда же поэты выходили в люди, в чины? Народ-то всё такой щелкопер, ненадежный!»

Я заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки (так памятны мне все подробности и всё то золотое время!). В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уж знали это и заранее посмеивались. Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова; рассказывал про Пушкина, про Гоголя.

— Знаю, братец, всё знаю, — возражал старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. — Гм! Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор; уж ты не спорь, а мне поверь, старику; я добра желаю тебе; чистый вздор, праздное употребление времени! Стихи гимназистам писать; стихи до сумасшедшего дома вашу братью, молодежь, доводят... Положим, что Пушкин велик, кто об этом! А все-таки стишки, и ничего больше; так, эфемерное что-то... Я, впрочем, его и читал-то мало... Проза другое дело! Тут сочинитель даже поучать может, — ну, там о любви к отечеству упомянуть или так, вообще про добродетели... да! Я, брат, только не умею выразиться, но ты меня понимаешь; любя говорю. А ну-ка, ну-ка прочти! — заключил он с некоторым видом покровительства, когда я наконец принес книгу и все мы после чаю уселись за круглый стол, — прочти-ка, что ты там настрочил; много кричат о тебе! Посмотрим, посмотрим!

Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав наконец экземпляр, прибежал к Ихменевым читать свое сочинение.

Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее, по рукописи, которая была в руках у издателя! Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она... Но вот наконец мы сидим за столом. Старик состроил физиономию необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго, строго судить, «сам увериться». Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно; чуть ли она не надела к чтению нового чепчика. Она давно уже приметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу; что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю, и что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да! пришло наконец это время, пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья, всё вместе, всё разом пришло! Приметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь... и вдруг испугалась: всё же я был не граф, не князь, не владетельный принц или по крайней мере коллежский советник из правоведов, молодой, в орденах и красивый собою! Анна Андреевна не любила желать вполовину.

«Хвалят человека, — думала она обо мне, — а за что — неизвестно. Сочинитель, поэт... Да ведь что ж такое сочинитель?»

Глава VI

Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до двух часов пополуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и всё такое известное — вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались; и всё это таким простым слогом описано, ни дать ни взять, как мы сами говорим... Странно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась: «Ну стоит, право, такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают», — написано было на лице ее. Наташа была вся внимание, с жадностию слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж? Прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала, от всей души сожалея моего героя и пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастиях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком: «С первого шага видно, что далеко кулику до

Петрова дня; так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает,— говорил он, — зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» Наташа слушала, плакала и под столом, украдкой, крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала; щечки ее горели, слезинки стояли в глазах; вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою.

— Гм! вот она какая восторженная, — проговорил старик, пораженный поступком дочери, — это ничего, впрочем, это хорошо, хорошо, благородный порыв! Она добрая девушка... — бормотал он, смотря вскользь на жену, как будто желая оправдать Наташу, а вместе с тем почему-то желая оправдать и меня.

Но Анна Андреевна, несмотря на то что во время чтения сама была в некотором волнении и тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить: «Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» и т. д.

Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик принялся было опять «серьезно» оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлекся:

— Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо! Утешил! Так утешил, что я даже и не ожидал. Не высокое, не великое, это видно... Вон у меня там «Освобождение Москвы» лежит, в Москве же и сочинили, — ну так оно с первой строки, братец, видно, что, так сказать, орлом воспарил человек... Но знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее. Вот именно за то и люблю, что понятнее! Роднее как-то оно; как будто со мной самим всё это случилось. А то что высокое-то? И сам бы не понимал. Слог бы я выправил: я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышенного... Ну да уж теперь поздно: напечатано. Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание, чай, будет? Тогда опять деньги... Гм!

— И неужели вы столько денег получили, Иван Петрович? — заметила Анна Андреевна. — Гляжу на вас, и всё как-то не верится. Ах ты, господи, вот ведь за что теперь деньги стали давать!

— Знаешь, Ваня? — продолжал старик, увлекаясь всё более и более, — это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что если бы и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то!

И он говорил это с таким убежденным видом, с таким добродушием, что недоставало решимости остановить и расхолодить его фантазию.

— Или вот, например, табакерку дадут... Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь, — прибавил он полушепотом и с значительным

видом, прищурив свой левый глаз, — или нет? Или еще рано ко двору-то?

— Ну, уж и ко двору! — сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись.

— Еще немного, и вы произведете меня в генералы, — отвечал я, смеясь от души.

Старик тоже засмеялся. Он был чрезвычайно доволен.

— Ваше превосходительство, не хотите ли кушать? — закричала резвая Наташа, которая тем временем собрала нам поужинать.

Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками:

— Добрый, добрый папаша!

Старик расчувствовался.

— Ну, ну, хорошо, хорошо! Я ведь так, спроста говорю. Генерал не генерал, а пойдемте-ка ужинать. Ах ты чувствительная! — прибавил он, потрепав свою Наташу по раскрасневшейся щечке, что любил делать при всяком удобном случае, — я, вот видишь ли, Ваня, любя говорил. Ну, хоть и не генерал (далеко до генерала!), а все-таки известное лицо, сочинитель!

— Нынче, папаша, говорят: писатель.

— А не сочинитель? Не знал я. Ну, положим, хоть и писатель; а я вот что хотел сказать: камергером, конечно, не сделают за то, что роман сочинил; об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти; ну сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут. Разумеется, надо, чтобы всё это и с твоей стороны было благородно; чтоб за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтоб как-нибудь там, по протекции...

— Да ты не загордись тогда, Иван Петрович, — прибавила, смеясь, Анна Андреевна.

— Да уж поскорей ему звезду, папаша, а то что в самом деле, атташе да атташе!

И она опять ущипнула меня за руку.

— А эта всё надо мной подсмеивается! — вскричал старик, с восторгом смотря на Наташу, у которой разгорелись щечки, а глазки весело сияли, как звездочки. — Я, детки, кажется, и вправду далеко зашел, в Альнаскары записался; и всегда-то я был такой... а только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя: какой-то ты у нас совсем простой...

— Ах, боже мой! Да какому же ему быть, папочка?

— Ну нет, я не то. А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то эдак лицо... то есть совсем как будто не поэтическое... Эдак, знаешь, бледные они, говорят, бывают, поэты-то, ну и с волосами такими, и в глазах эдак что-то... Знаешь, там Гете какой-нибудь или проч. ...я это в «Аббаддонне» читал... а что? Опять соврал что-нибудь? Ишь, шалунья, так и заливается надо мной! Я, друзья

мой, не ученый, только чувствовать могу. Ну, лицо не лицо, — это ведь не велика беда, лицо-то; для меня и твое хорошо, и очень нравится... Я ведь не к тому говорил... А только будь честен, Ваня, будь честен, это главное; живи честно, не возмечтай! Перед тобой дорога широкая. Служи честно своему делу; вот что я хотел сказать, вот именно это-то я и хотел сказать!

Чудное было время! Все свободные часы, все вечера проводил я у них. Старику приносил вести о литературном мире, о литераторах, которыми он вдруг, неизвестно почему, начал чрезвычайно интересоваться; даже начал читать критические статьи Б., про которого я много наговорил ему и которого он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном трутне». Старушка зорко следила за мной и Наташей; но не уследила она за нами! Между нами уже было сказано одно словечко, и я услышал наконец, как Наташа, потупив головку и полураскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне: *да*. Но узнали и старики; погадали, подумали; Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было. Не верила она мне.

— Ведь вот хорошо удача, Иван Петрович, — говорила она, — а вдруг не будет удачи или там что-нибудь; что тогда? Хоть бы служили вы где!

— А вот что я скажу тебе, Ваня, — решил старик, надумавшись, — я и сам это видел, заметил и, признаюсь, даже обрадовался, что ты и Наташа... ну, да чего тут! Видишь, Ваня: оба вы еще очень молоды, и моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант... ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали, а так, просто талант (я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в «Трутне»; слишком уж там тебя худо третируют; ну да ведь это что ж за газета!). Да! так видишь: ведь это еще не деньги в ломбарде, талант-то; а вы оба бедные. Подождем годика эдак полтора или хоть год: пойдешь хорошо, утвердишься крепко на своей дороге — твоя Наташа; не удастся тебе — сам рассуди!.. Ты человек честный; подумай!..

На этом и остановились. А через год вот что было.

Да, это было почти ровно через год! В ясный сентябрьский день, перед вечером, вошел я к моим старикам больной, с замиранием в душе и упал на стул чуть не в обмороке, так что даже они перепугались, на меня глядя. Но не оттого закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце так, что я десять раз подходил к их дверям и десять раз возвращался назад, прежде чем вошел, — не оттого, что не удалась мне моя карьера и что не было у меня еще ни славы, ни денег; не оттого, что я еще не какой-нибудь «атташе» и далеко было до того, чтоб меня послали для поправления здоровья в Италию; а оттого, что можно прожить десять лет в один год, и прожила в этот год десять лет и моя Наташа. Бесконечность легла между нами... И вот, помню, сидел я перед стариком, молчал и доламывал рассеянной рукой и без того уже обломанные

поля моей шляпы; сидел и ждал, неизвестно зачем, когда выйдет Наташа. Костюм мой был жалок и худо на мне сидел; лицом я осунулся, похудел, пожелтел, — а все-таки далеко не похож был я на поэта, и в глазах моих все-таки не было ничего великого, о чем так хлопотал когда-то добрый Николай Сергеич. Старушка смотрела на меня с непритворным и уж слишком торопливым сожалением, а сама про себя думала: «Ведь вот эдакой-то чуть не стал женихом Наташи, господи помилуй и сохрани!»

— Что, Иван Петрович, не хотите ли чаю? (самовар кипел на столе), да каково, батюшка, поживаете? Больные вы какие-то вовсе, — спросила она меня жалобным голосом, как теперь ее слышу.

И как теперь вижу: говорит она мне, а в глазах ее видна и другая забота, та же самая забота, от которой затуманился и ее старик и с которой он сидел теперь над простывающей чашкой и думал свою думу. Я знал, что их очень озабочивает в эту минуту процесс с князем Валковским, повернувшийся для них не совсем хорошо, и что у них случились еще новые неприятности, расстроившие Николая Сергеича до болезни. Молодой князь, из-за которого началась вся история этого процесса, месяцев пять тому назад нашел случай побывать у Ихменевых. Старик, любивший своего милого Алешу как родного сына, почти каждый день вспоминавший о нем, принял его с радостию. Анна Андреевна вспомнила про Васильевское и расплакалась. Алеша стал ходить к ним чаще и чаще, потихоньку от отца; Николай Сергеич, честный, открытый, прямодушный, с негодованием отверг все предосторожности. Из благородной гордости он не хотел и думать: что скажет князь, если узнает, что его сын опять принят в доме Ихменевых, и мысленно презирал все его нелепые подозрения. Но старик не знал, достанет ли у него сил вынести новые оскорбления. Молодой князь начал бывать у них почти каждый день. Весело было с ним старикам. Целые вечера и далеко за полночь просиживал он у них. Разумеется, отец узнал наконец обо всем. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая Сергеича ужасным письмом, всё на ту же тему, как и прежде, а сыну положительно запретил посещать Ихменевых. Это случилось за две недели до моего к ним прихода. Старик загрустил ужасно. Как! Его Наташу, невинную, благородную, замешивать опять в эту грязную клевету, в эту низость! Ее имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидевшим его человеком... И оставить всё это без удовлетворения! В первые дни он слег в постель от отчаяния. Всё это я знал. Вся история дошла до меня в подробности, хотя я, больной и убитый, всё это последнее время, недели три, у них не показывался и лежал у себя на квартире. Но я знал еще... нет! я тогда еще только предчувствовал, знал, да не верил, что кроме этой истории есть и у них теперь что-то, что должно беспокоить их больше всего на свете, и с мучительной тоской к ним приглядывался. Да, я мучился; я боялся угадать, боялся верить и всеми силами желал удалить

роковую минуту. А между тем и пришел для нее. Меня точно тянуло к ним в этот вечер!

— Да, Ваня, — спросил вдруг старик, как будто опомнившись, — уж не был ли болен? Что долго не ходил? Я виноват перед тобой: давно хотел тебя навестить, да всё как-то того... — И он опять задумался.

— Я был нездоров, — отвечал я.

— Гм! нездоров! — повторил он пять минут спустя. — То-то нездоров! Говорил я тогда, предостерегал, — не послушался! Гм! Нет, брат Ваня: муза, видно, испокон веку сидела на чердаке голодная, да и будет сидеть. Так-то!

Да, не в духе был старик. Не было б у него своей раны на сердце, не заговорил бы он со мной о голодной музе. Я всматривался в его лицо: оно пожелтело, в глазах его выражалось какое-то недоумение, какая-то мысль в форме вопроса, которого он не в силах был разрешить. Был он как-то порывист и непривычно желчен. Жена взглядывала на него с беспокойством и покачивала головою. Когда он раз отвернулся, она кивнула мне на него украдкой.

— Как здоровье Натальи Николаевны? Она дома? — спросил я озабоченную Анну Андреевну.

— Дома, батюшка, дома, — отвечала она, как будто затрудняясь моим вопросом. — Сейчас сама выйдет на вас поглядеть. Шутка ли! Три недели не видались! Да чтой-то она у нас какая-то стала такая, — не сообразишь с ней никак: здоровая ли, больная ли, бог с ней!

И она робко посмотрела на мужа.

— А что? Ничего с ней, — отозвался Николай Сергеич неохотно и отрывисто, — здорова. Так, в лета входит девица, перестала младенцем быть, вот и всё. Кто их разберет, эти девичьи печали да капризы?

— Ну, уж и капризы! — подхватила Анна Андреевна обидчивым голосом.

Старик смолчал и забарабанил пальцами по столу. «Боже, неужели уж было что-нибудь между ними?» — подумал я в страхе.

— Ну, а что, как там у вас? — начал он снова. — Что Б., всё еще критику пишет?

— Да, пишет, — отвечал я.

— Эх, Ваня, Ваня! — заключил он, махнув рукой. — Что уж тут критика!

Дверь отворилась, и вошла Наташа.

Глава VII

Она несла в руках свою шляпку и, войдя, положила ее на фортепиано; потом подошла ко мне и молча протянула мне руку. Губы ее слегка пошевелились; она как будто хотела мне что-то сказать, какое-то приветствие, но ничего не сказала.

Три недели как мы не видались. Я глядел на нее с недоумением и страхом. Как переменилась она в три недели! Сердце мое защемило тоской, когда я разглядел эти впалые бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных, темных ресниц горячечным огнем и какой-то страстной решимостью.

Но боже, как она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни после, не видал я ее такою, как в этот роковой день. Та ли, та ли это Наташа, та ли это девочка, которая, еще только год тому назад, не спускала с меня глаз и, шевеля за мною губками, слушала мой роман и которая так весело, так беспечно хохотала и шутила в тот вечер с отцом и со мною за ужином? Та ли это Наташа, которая там, в той комнате, наклонив головку и вся загоревшись румянцем, сказала мне: *да.*

Раздался густой звук колокола, призывавшего к вечерне. Она вздрогнула, старушка перекрестилась.

— Ты к вечерне собиралась, Наташа, а вот уж и благовестят, — сказала она. — Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко! Да и прошлась бы заодно. Что взаперти-то сидеть? Смотри, какая ты бледная; ровно сглазили.

— Я... может быть... не пойду сегодня, — проговорила Наташа медленно и тихо, почти шепотом. — Я... нездорова, — прибавила она и побледнела как полотно.

— Лучше бы пойти, Наташа; ведь ты же хотела давеча и шляпку вот принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтоб тебе бог здоровья послал, — уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, как будто боялась ее.

— Ну да; сходи; а к тому ж и пройдешься, — прибавил старик, тоже с беспокойством всматриваясь в лицо дочери, — мать правду говорит. Вот Ваня тебя и проводит.

Мне показалось, что горькая усмешка промелькнула на губах Наташи. Она подошла к фортепиано, взяла шляпку и надела ее; руки ее дрожали. Все движения ее были как будто бессознательны, точно она не понимала, что делала. Отец и мать пристально в нее всматривались.

— Прощайте! — чуть слышно проговорила она.

— И, ангел мой, что прощаться, далекий ли путь! На тебя хоть ветер подует; смотри, какая ты бледненькая. Ах! да ведь я и забыла (всё-то я забываю!) — ладонку я тебе кончила; молитву зашила в нее, ангел мой; монашенка из Киева научила прошлого года; пригодная молитва; еще давеча зашила. Надень, Наташа. Авось господь бог тебе здоровья пошлет. Одна ты у нас.

И старушка вынула из рабочего ящика нательный золотой крестик Наташи; на той же ленточке была привешена только что сшитая ладонка.

— Носи на здоровье! — прибавила она, надевая крест и крестя дочь, — когда-то я тебя каждую ночь так крестила на сон грядущий, молитву читала, а ты за мной причитывала.

А теперь ты не та стала, и не дает тебе господь спокойного духа. Ах, Наташа, Наташа! Не помогают тебе и молитвы мои материнские! — И старушка заплакала.

Наташа молча поцеловала ее руку и ступила шаг к дверям; но вдруг быстро воротилась назад и подошла к отцу. Грудь ее глубоко волновалась.

— Папенька! Перекрестите и вы... свою дочь, — проговорила она задыхающимся голосом и опустилась перед ним на колени.

Мы все стояли в смущении от неожиданного, слишком торжественного ее поступка. Несколько мгновений отец смотрел на нее, совсем потерявшись.

— Наташенька, деточка моя, дочка моя, милочка, что с тобою! — вскричал он наконец, и слезы градом хлынули из глаз его. — Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь и день и ночь? Ведь я всё вижу; я ночей не сплю, встаю и слушаю у твоей комнаты!.. Скажи мне всё, Наташа, откройся мне во всем, старику, и мы...

Он не договорил, поднял ее и крепко обнял. Она судорожно прижалась к его груди и скрыла на его плече свою голову.

— Ничего, ничего, это так... я нездорова... — твердила она, задыхаясь от внутренних, подавленных слез.

— Да благословит же тебя бог, как я благословляю тебя, дитя мое милое, бесценное дитя! — сказал отец. — Да пошлет он тебе навсегда мир души и оградит тебя от всякого горя. Помолись богу, друг мой, чтоб грешная молитва моя дошла до него.

— И мое, и мое благословение над тобою! — прибавила старушка, заливаясь слезами.

— Прощайте! — прошептала Наташа.

У дверей она остановилась, еще раз взглянула на них, хотела было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла из комнаты. Я бросился вслед за нею, предчувствуя недоброе.

Глава VIII

Она шла молча, скоро, потупив голову и не смотря на меня. Но, пройдя улицу и ступив на набережную, вдруг остановилась и схватила меня за руку.

— Душно! — прошептала она, — сердце теснит... душно!

— Воротись, Наташа! — вскричал я в испуге.

— Неужели ж ты не видишь, Ваня, что я вышла *совсем,* ушла от них и никогда не возвращусь назад? — сказала она, с невыразимой тоской смотря на меня.

Сердце упало во мне. Всё это я предчувствовал, еще идя к ним; всё это уже представлялось мне, как в тумане, еще, может быть, задолго до этого дня; но теперь слова ее поразили меня как громом.

Мы печально шли по набережной. Я не мог говорить; я соображал, размышлял и потерялся совершенно. Голова у меня закружилась. Мне казалось это так безобразно, так невозможно!

— Ты винишь меня, Ваня? — сказала она наконец.

— Нет, но... но я не верю; этого быть не может!.. — отвечал я, не помня, что говорю.

— Нет, Ваня, это уж есть! Я ушла от них и не знаю, что с ними будет... не знаю, что будет и со мною!

— Ты к *нему*, Наташа? Да?

— Да! — отвечала она.

— Но это невозможно! — вскричал я в исступлении, — знаешь ли, что это невозможно, Наташа, бедная ты моя! Ведь это безумие. Ведь ты их убьешь и себя погубишь! Знаешь ли ты это, Наташа?

— Знаю; но что же мне делать, не моя воля, — сказала она, и в словах ее слышалось столько отчаяния, как будто она шла на смертную казнь.

— Воротись, воротись, пока не поздно, — умолял я ее, и тем горячее, тем настойчивее умолял, чем больше сам сознавал всю бесполезность моих увещаний и всю нелепость их в настоящую минуту. — Понимаешь ли ты, Наташа, что ты сделаешь с отцом? Обдумала ль ты это? Ведь *его* отец враг твоему; ведь князь оскорбил твоего отца, заподозрил его в грабеже денег; ведь он его вором назвал. Ведь они тягаются... Да что! Это еще последнее дело, а знаешь ли ты, Наташа... (о боже, да ведь ты всё это знаешь!) знаешь ли, что князь заподозрил твоего отца и мать, что они сами, нарочно, сводили тебя с Алешей, когда Алеша гостил у вас в деревне? Подумай, представь себе только, каково страдал тогда твой отец от этой клеветы. Ведь он весь поседел в эти два года, — взгляни на него! А главное: ты ведь это всё знаешь, Наташа, господи боже мой! Ведь уж я не говорю, чего стоит им обоим тебя потерять навеки! Ведь ты их сокровище, всё, что у них осталось на старости. Я уж и говорить об этом не хочу: сама должна знать; припомни, что отец считает тебя напрасно оклеветанною, обиженною этими гордецами, неотомщенною! Теперь же, именно теперь, всё это вновь разгорелось, усилилась вся эта старая, наболевшая вражда из-за того, что вы принимали к себе Алешу. Князь опять оскорбил твоего отца, в старике еще злоба кипит от этой новой обиды, и вдруг всё, всё это, все эти обвинения окажутся теперь справедливыми! Все, кому дело известно, оправдают теперь князя и обвинят тебя и твоего отца. Ну, что теперь будет с ним? Ведь это убьет его сразу! Стыд, позор, и от кого же? Через тебя, его дочь, его единственное, бесценное дитя! А мать? Да ведь она не переживет старика... Наташа, Наташа! Что ты делаешь? Воротись! Опомнись!

Она молчала; наконец взглянула на меня как будто с упреком, и столько пронзительной боли, столько страдания было в ее взгляде, что я понял, какою кровью и без моих слов обливается теперь ее раненое сердце. Я понял, чего стоило ей ее решение и как я мучил, резал ее моими бесполезными, поздними словами; я всё это понимал и все-таки не мог удержать себя и продолжал говорить:

— Да ведь ты же сама говорила сейчас Анне Андреевне, *может быть,* не пойдешь из дому... ко всенощной. Стало быть, ты хотела и остаться; стало быть, не решилась еще совершенно?

Она только горько улыбнулась в ответ. И к чему я это спросил? Ведь я мог понять, что всё уже было решено невозвратно. Но я тоже был вне себя.

— Неужели ж ты так его полюбила? — вскричал я, с замиранием сердца смотря на нее и почти сам не понимая, что спрашиваю.

— Что мне отвечать тебе, Ваня? Ты видишь! Он велел мне прийти, и я здесь, жду его, — проговорила она с той же горькой улыбкой.

— Но послушай, послушай только, — начал я опять умолять ее, хватаясь за соломинку, — всё это еще можно поправить, еще можно обделать другим образом, совершенно другим каким-нибудь образом! Можно не уходить из дому. Я тебя научу, как сделать, Наташечка. Я берусь вам всё устроить, всё, и свидания, и всё... Только из дому-то не уходи!.. Я буду переносить ваши письма; отчего же не переносить? Это лучше, чем теперешнее. Я сумею это сделать; я вам угожу обоим; вот увидите, что угожу... И ты не погубишь себя, Наташечка, как теперь... А то ведь ты совсем себя теперь губишь, совсем! Согласись, Наташа: всё пойдет и прекрасно и счастливо, и любить вы будете друг друга сколько захотите... А когда отцы перестанут ссориться (потому что они непременно перестанут ссориться) — тогда...

— Полно, Ваня, оставь, — прервала она, крепко сжав мою руку и улыбнувшись сквозь слезы. — Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты всё простил, только об моем счастье и думаешь. Письма нам переносить хочешь...

Она заплакала.

— Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь, и ни одним-то упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во всё это время! А я, я... Боже мой, как я перед тобой виновата! Помнишь, Ваня, помнишь и наше время с тобою? Ох, лучше б я не знала, не встречала б *его* никогда!.. Жила б я с тобой, Ваня, с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой!.. Нет, я тебя не стою! Видишь, я какая: в такую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастии, а ты и без того страдаешь! Вот ты три недели не приходил: клянусь же тебе, Ваня, ни одного разу не приходила мне в голову мысль, что ты меня проклял и ненавидишь. Я знала, отчего ты ушел: ты не хотел нам мешать и быть нам живым укором. А самому тебе разве не было тяжело на нас смотреть? А как я ждала тебя, Ваня, уж как ждала! Ваня, послушай, если я и люблю Алешу как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как друга моего, люблю. Я уж слышу, знаю, что без тебя я не проживу; ты мне надобен, мне твое сердце надобно, твоя душа золотая... Ох, Ваня! Какое горькое, какое тяжелое время наступает!

Она залилась слезами. Да, тяжело ей было!

— Ах, как мне хотелось тебя видеть! — продолжала она, подавив свои слезы. — Как ты похудел, какой ты больной, бледный; ты в самом деле был нездоров, Ваня? Что ж я, и не спрошу! Всё о себе говорю; ну, как же теперь твои дела с журналистами? Что твой новый роман, подвигается ли?

— До романов ли, до меня ли теперь, Наташа! Да и что мои дела! Ничего; так себе, да и бог с ними! А вот что, Наташа: это он сам потребовал, чтоб ты шла к нему?

— Нет, не он один, больше я. Он, правда, говорил, да я и сама... Видишь, голубчик, я тебе всё расскажу: ему сватают невесту, богатую и очень знатную; очень знатным людям родня. Отец непременно хочет, чтоб он женился на ней, а отец, ведь ты знаешь, — ужасный интриган; он все пружины в ход пустил: и в десять лет такого случая не нажить. Связи, деньги... А она, говорят, очень хороша собою; да и образованием и сердцем — всем хороша; уж Алеша увлекается ею. Да к тому же отец и сам его хочет поскорей с плеч долой сбыть, чтоб самому жениться, а потому непременно и во что бы то ни стало положил расторгнуть нашу связь. Он боится меня и моего влияния на Алешу...

— Да разве князь, — прервал я ее с удивлением, — про вашу любовь знает? Ведь он только подозревал, да и то не наверно.

— Знает, всё знает.

— Да ему кто сказал?

— Алеша же всё и рассказал, недавно. Он мне сам говорил, что всё это рассказал отцу.

— Господи! Что ж это у вас происходит! Сам же всё и рассказал, да еще в такое время?..

— Не вини его, Ваня, — перебила Наташа, — не смейся над ним! Его судить нельзя, как всех других. Будь справедлив. Ведь он не таков, как вот мы с тобой. Он ребенок; его и воспитали не так. Разве он понимает, что делает? Первое впечатление, первое чужое влияние способно его отвлечь от всего, чему он за минуту перед тем отдавался с клятвою. У него нет характера. Он вот поклянется тебе, да в тот же день, так же правдиво и искренно, другому отдастся; да еще сам первый к тебе придет рассказать об этом. Он и дурной поступок, пожалуй, сделает; да обвинить-то его за этот дурной поступок нельзя будет, а разве что пожалеть. Он и на самопожертвование способен и даже знаешь на какое! Да только до какого-нибудь нового впечатления: тут уж он опять всё забудет. *Так и меня забудет, если я не буду постоянно при нем.* Вот он какой!

— Ах, Наташа, да, может быть, это всё неправда, только слухи одни. Ну, где ему, такому еще мальчику, жениться!

— Соображения какие-то у отца особенные, говорю тебе.

— А почему ж ты знаешь, что невеста его так хороша и что он и ею уж увлекается?

— Да ведь он мне сам говорил.

— Как! Сам же и сказал тебе, что может другую любить, а от тебя потребовал теперь такой жертвы?

— Нет, Ваня, нет! Ты не знаешь его, ты мало с ним был; его надо короче узнать и уж потом судить. Нет сердца на свете правдивее и чище его сердца! Что ж? Лучше, что ль, если б он лгал? А что он увлекся, так ведь стоит только мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня и полюбит другую, а потом как увидит меня, то и опять у ног моих будет. Нет! Это еще и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это; а то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня! Я уж решилась: *если я не буду при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, забудет и бросит.* Уж он такой: его всякая другая за собой увлечь может. А что же я тогда буду делать? Я тогда умру... да что умереть! Я бы и рада теперь умереть! А вот каково жить-то мне без него? Вот что хуже самой смерти, хуже всех мук! О Ваня, Ваня! Ведь есть же что-нибудь, что я вот бросила теперь для него и мать и отца! Не уговаривай меня: всё решено! Он должен быть подле меня каждый час, каждое мгновение; я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и других погубила... Ах, Ваня! — вскричала она вдруг и вся задрожала, — что если он в самом деле уж не любит меня! Что если ты правду про него сейчас говорил (я никогда этого не говорил), что он только обманывает меня и только кажется таким правдивым и искренним, а сам злой и тщеславный! Я вот теперь защищаю его перед тобой; а он, может быть, в эту же минуту с другою и смеется про себя... а я, я, низкая, бросила всё и хожу по улицам, ищу его... Ох, Ваня!

Этот стон с такою болью вырвался из ее сердца, что вся душа моя заныла в тоске. Я понял, что Наташа потеряла уже всякую власть над собой. Только слепая, безумная ревность в последней степени могла довести ее до такого сумасбродного решения. Но во мне самом разгорелась ревность и прорвалась из сердца. Я не выдержал: гадкое чувство увлекло меня.

— Наташа, — сказал я, — одного только я не понимаю: как ты можешь любить его после того, что сама про него сейчас говорила? Не уважаешь его, не веришь даже в любовь его и идешь к нему без возврата, и всех для него губишь? Что ж это такое? Измучает он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже. Слишком уж любишь ты его, Наташа, слишком! Не понимаю я такой любви.

— Да, люблю как сумасшедшая, — отвечала она, побледнев, как будто от боли. — Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его... Слушай, Ваня: я ведь и прежде знала и даже в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки. Но что же делать, если мне теперь даже муки от него — счастье? Я разве на радость иду к нему? Разве я не знаю вперед, что меня у него ожидает и что я перенесу от него? Ведь вот он клялся мне любить меня, все обещания давал;

а ведь я ничему не верю из его обещаний, ни во что их не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что он мне не лгал, да и солгать не может. Я сама ему сказала, сама, что не хочу его ничем связывать. С ним это лучше: привязи никто не любит, я первая. А все-таки я рада быть его рабой, добровольной рабой; переносить от него всё, всё, только бы он был со мной, только б я глядела на него! Кажется, пусть бы он и другую любил, только бы при мне это было, чтоб и я тут подле была... Экая низость, Ваня? — спросила она вдруг, смотря на меня каким-то горячечным, воспаленным взглядом. Одно мгновение мне казалось, будто она в бреду. — Ведь это низость, такие желания? Что ж? Сама говорю, что низость, а если он бросит меня, я побегу за ним на край света, хоть и отталкивать, хоть и прогонять меня будет. Вот ты уговариваешь теперь меня воротиться, — а что будет из этого? Ворочусь, а завтра же опять уйду, прикажет — и уйду; свистнет, кликнет меня, как собачку, я и побегу за ним... Муки! Не боюсь я от него никаких мук! Я буду знать, что *от него* страдаю... Ох, да ведь этого не расскажешь, Ваня!

«А отец, а мать?» — подумал я. Она как будто уж и забыла про них.

— Так он и не женится на тебе, Наташа?

— Обещал, всё обещал. Он ведь для того меня и зовет теперь, чтоб завтра же обвенчаться потихоньку, за городом; да ведь он не знает, что делает. Он, может быть, как и венчаются-то, не знает. И какой он муж! Смешно, право. А женится, так несчастлив будет, попрекать начнет... Не хочу я, чтоб он когда-нибудь в чем-нибудь попрекнул меня. Всё ему отдам, а он мне пускай ничего. Что ж, коль он несчастлив будет от женитьбы, зачем же его несчастным делать?

— Нет, это какой-то чад, Наташа, — сказал я. — Что ж, ты теперь прямо к нему?

— Нет, он обещался сюда прийти, взять меня; мы условились...

И она жадно посмотрела вдаль, но никого еще не было.

— И его еще нет! И ты *первая* пришла! — вскричал я с негодованием. Наташа как будто пошатнулась от удара. Лицо ее болезненно исказилось.

— Он, может быть, и совсем не придет, — проговорила она с горькой усмешкой. — Третьего дня он писал, что если я не дам ему слова прийти, то он поневоле должен отложить свое решение — ехать и обвенчаться со мною; а отец увезет его к невесте. И так просто, так натурально написал, как будто это и совсем ничего... Что если он и вправду поехал к *ней,* Ваня?

Я не отвечал. Она крепко стиснула мне руку — и глаза ее засверкали.

— Он у ней, — проговорила она чуть слышно. — Он надеялся, что я не приду сюда, чтоб поехать к ней, а потом сказать, что он прав, что он заранее уведомлял, а я сама не пришла. Я ему надоела, вот он и отстает... Ох, боже! Сумасшедшая я!

Да ведь он мне сам в последний раз сказал, что я ему надоела... Чего ж я жду!

— Вот он! — закричал я, вдруг завидев его вдали на набережной.

Наташа вздрогнула, вскрикнула, вгляделась в приближавшегося Алешу и вдруг, бросив мою руку, пустилась к нему. Он тоже ускорил шаги, и через минуту она была уже в его объятиях. На улице, кроме нас, никого почти не было. Они целовались, смеялись; Наташа смеялась и плакала, всё вместе, точно они встретились после бесконечной разлуки. Краска залила ее бледные щеки; она была как исступленная... Алеша заметил меня и тотчас же ко мне подошел.

Глава IX

Я жадно в него всматривался, хоть и видел его много раз до этой минуты; я смотрел в его глаза, как будто его взгляд мог разрешить все мои недоумения, мог разъяснить мне: чем, как этот ребенок мог очаровать ее, мог зародить в ней такую безумную любовь — любовь до забвения самого первого долга, до безрассудной жертвы всем, что было для Наташи до сих пор самой полной святыней? Князь взял меня за обе руки, крепко пожал их, и его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце.

Я почувствовал, что мог ошибаться в заключениях моих на его счет уж по тому одному, что он был враг мой. Да, я не любил его, и, каюсь, я никогда не мог его полюбить, — только один я, может быть, из всех его знавших. Многое в нем мне упорно не нравилось, даже изящная его наружность и, может быть, именно потому, что она была как-то уж слишком изящна. Впоследствии я понял, что и в этом судил пристрастно. Он был высок, строен, тонок; лицо его было продолговатое, всегда бледное; белокурые волосы, большие голубые глаза, кроткие и задумчивые, в которых вдруг, порывами, блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость. Полные небольшие пунцовые губы его, превосходно обрисованные, почти всегда имели какую-то серьезную складку; тем неожиданнее и тем очаровательнее была вдруг появлявшаяся на них улыбка, до того наивная и простодушная, что вы сами, вслед за ним, в каком бы вы ни были настроении духа, ощущали немедленную потребность, в ответ ему, точно так же как и он, улыбнуться. Одевался он неизысканно, но всегда изящно; видно было, что ему не стоило ни малейшего труда это изящество во всем, что оно ему прирожденно. Правда, и в нем было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона: легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость. Но он был слишком ясен и прост душою и сам, первый, обличал в себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними. Мне кажется, этот ребенок никогда, даже и в шутку, не мог бы

солгать, а если б и солгал, то, право, не подозревая в этом дурного. Даже самый эгоизм был в нем как-то привлекателен, именно потому, может быть, что был откровенен, а не скрыт. В нем ничего не было скрытного. Он был слаб, доверчив и робок сердцем; воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко, так же как грешно обмануть и обидеть ребенка. Он был не по летам наивен и почти ничего не понимал из действительной жизни; впрочем, и в сорок лет ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершеннолетие. Мне кажется, не было человека, который бы мог не полюбить его; он заласкался бы к вам, как дитя. Наташа сказала правду: он мог бы сделать и дурной поступок, принужденный к тому чьим-нибудь сильным влиянием; но, сознав последствия такого поступка, я думаю, он бы умер от раскаяния. Наташа инстинктивно чувствовала, что будет его госпожой, владычицей; что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая. Но и в его глазах сияла любовь, и он с восторгом смотрел на нее. Она с торжеством взглянула на меня. Она забыла в это мгновение всё — и родителей, и прощанье, и подозрения... Она была счастлива.

— Ваня! — вскричала она, — я виновата перед ним и не стою его! Я думала, что ты уже и не придешь, Алеша. Забудь мои дурные мысли, Ваня. Я заглажу это! — прибавила она, с бесконечною любовью смотря на него. Он улыбнулся, поцеловал у ней руку и, не выпуская ее руки, сказал, обращаясь ко мне:

— Не вините и меня. Как давно хотел я вас обнять как родного брата; как много она мне про вас говорила! Мы с вами до сих пор едва познакомились и как-то не сошлись. Будем друзьями и... простите нас, — прибавил он вполголоса и немного покраснев, но с такой прекрасной улыбкой, что я не мог не отозваться всем моим сердцем на его приветствие.

— Да, да, Алеша, — подхватила Наташа, — он наш, он наш брат, он уже простил нас, и без него мы не будем счастливы. Я уже тебе говорила... Ох, жестокие мы дети, Алеша! Но мы будем жить втроем... Ваня! — продолжала она, и губы ее задрожали, — вот ты воротишься теперь к *ним,* домой; у тебя такое золотое сердце, что хоть они и не простят меня, но, видя, что и ты простил, может быть, хоть немного смягчатся надо мной. Расскажи им всё, всё, *своими* словами из сердца; найди такие слова... Защити меня, спаси; передай им все причины, всё, как сам понял. Знаешь ли, Ваня, что я бы, может быть, и не решилась на *это,* если б тебя не случилось сегодня со мною! Ты спасение мое: я тотчас же на тебя понадеялась, что ты сумеешь им так передать, что по крайней мере этот первый-то ужас смягчишь для них. О боже мой, боже!.. Скажи им от меня, Ваня, что я знаю, простить меня уж нельзя теперь: они простят, бог не простит; но

что если они и проклянут меня, то я все-таки буду благословлять их и молиться за них всю мою жизнь. Всё мое сердце у них! Ах, зачем мы не все счастливы! Зачем, зачем!.. Боже! Что это я такое сделала! — вскричала она вдруг, точно опомнившись, и, вся задрожав от ужаса, закрыла лицо руками. Алеша обнял ее и молча крепко прижал к себе. Прошло несколько минут молчания.

— И вы могли потребовать такой жертвы! — сказал я, с упреком смотря на него.

— Не вините меня! — повторил он, — уверяю вас, что теперь все эти несчастья, хоть они и очень сильны, — только на одну минуту. Я в этом совершенно уверен. Нужна только твердость, чтоб перенести эту минуту; то же самое и она мне говорила. Вы знаете: всему причиною эта семейная гордость, эти совершенно ненужные ссоры, какие-то там еще тяжбы!.. Но... (я об этом долго размышлял, уверяю вас) всё это должно прекратиться. Мы все соединимся опять и тогда уже будем совершенно счастливы, так что даже и старики помирятся, на нас глядя. Почему знать, может быть, именно наш брак послужит началом к их примирению! Я думаю, что даже и не может быть иначе. Как вы думаете?

— Вы говорите: брак. Когда же вы обвенчаетесь? — спросил я, взглянув на Наташу.

— Завтра или послезавтра; по крайней мере, послезавтра — наверно. Вот видите, я и сам еще не хорошо знаю и, по правде, ничего еще там не устроил. Я думал, что Наташа, может быть, еще и не придет сегодня. К тому же отец непременно хотел меня везти сегодня к невесте (ведь мне сватают невесту; Наташа вам сказывала? да я не хочу). Ну, так я еще и не мог рассчитать всего наверное. Но все-таки мы, наверное, обвенчаемся послезавтра. Мне, по крайней мере, так кажется, потому что ведь нельзя же иначе. Завтра же мы выезжаем по Псковской дороге. Тут у меня недалеко, в деревне, есть товарищ, лицейский, очень хороший человек; я вас, может быть, познакомлю. Там в селе есть и священник, а, впрочем, наверно не знаю, есть или нет. Надо было заранее справиться, да я не успел... А, впрочем, по-настоящему, всё это мелочи. Было бы главное-то в виду. Можно ведь из соседнего какого-нибудь села пригласить священника; как вы думаете? Ведь есть же там соседние села! Одно жаль, что я до сих пор не успел ни строчки написать туда; предупредить бы надо. Пожалуй, моего приятеля нет теперь и дома... Но — это последняя вещь! Была бы решимость, а там всё само собою устроится, не правда ли? А покамест, до завтра или хоть до послезавтра, она пробудет здесь у меня. Я нанял особую квартиру, в которой мы и воротясь будем жить. Я уж не пойду жить к отцу, не правда ли? Вы к нам придете; я премило устроился. Ко мне будут ходить наши лицейские; я заведу вечера...

Я с недоумением и тоскою смотрел на него. Наташа умоляла меня взглядом не судить его строго и быть снисходительнее.

Она слушала его рассказы с какою-то грустною улыбкой, а вместе с тем как будто и любовалась им, так же как любуются милым, веселым ребенком, слушая его неразумную, но милую болтовню. Я с упреком поглядел на нее. Мне стало невыносимо тяжело.

— Но ваш отец? — спросил я, — твердо ли вы уверены, что он вас простит?

— Непременно; что ж ему останется делать? То есть он, разумеется, проклянет меня сначала; я даже в этом уверен. Он уж такой; и такой со мной строгий. Пожалуй, еще будет кому-нибудь жаловаться, употребит, одним словом, отцовскую власть... Но ведь всё это не серьезно. Он меня любит без памяти; посердится и простит. Тогда все помирятся, и все мы будем счастливы. Ее отец тоже.

— А если не простит? подумали ль вы об этом?

— Непременно простит, только, может быть, не так скоро. Ну что ж? Я докажу ему, что и у меня есть характер. Он всё бранит меня, что у меня нет характера, что я легкомысленный. Вот и увидит теперь, легкомыслен ли я или нет? Ведь сделаться семейным человеком не шутка; тогда уж я буду не мальчик... то есть я хотел сказать, что я буду такой же, как и другие... ну, там семейные люди. Я буду жить своими трудами. Наташа говорит, что это гораздо лучше, чем жить на чужой счет, как мы все живем. Если б вы только знали, сколько она мне говорит хорошего! Я бы сам этого никогда не выдумал; — не так я рос, не так меня воспитали. Правда, я и сам знаю, что я легкомыслен и почти ни к чему не способен; но, знаете ли, у меня третьего дня явилась удивительная мысль. Теперь хоть и не время, но я вам расскажу, потому что надо же и Наташе услышать, а вы нам дадите совет. Вот видите: я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как и вы. Вы мне поможете с журналистами, не правда ли? Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии Скриба... Но я вам потом расскажу. Главное, за него дадут денег... ведь вам же платят!

Я не мог не усмехнуться.

— Вы смеетесь, — сказал он, улыбаясь вслед за мною. — Нет, послушайте, — прибавил он с непостижимым простодушием, — вы не смотрите на меня, что я такой кажусь; право, у меня чрезвычайно много наблюдательности; вот вы увидите сами. Почему же не попробовать? Может, и выйдет что-нибудь... А впрочем, вы, кажется, и правы: я ведь ничего не знаю в действительной жизни; так мне и Наташа говорит; это, впрочем, мне и все говорят; какой же я буду писатель? Смейтесь, смейтесь, поправляйте меня; ведь это для нее же вы сделаете, а вы ее любите. Я вам правду скажу: я не стою ее; я это чувствую; мне это очень тяжело, и я не знаю, за что это она меня так полюбила? А я бы, кажется, всю жизнь за нее отдал! Право, я до этой минуты ничего не боялся, а теперь боюсь: что это мы затеваем! Господи! Неужели

ж в человеке, когда он вполне предан своему долгу, как нарочно, недостанет уменья и твердости исполнить свой долг? Помогайте нам хоть вы, друг наш! вы один только друг у нас и остались. А ведь я что понимаю один-то! Простите, что я на вас так рассчитываю; я вас считаю слишком благородным человеком и гораздо лучше меня. Но я исправлюсь, будьте уверены, и буду достоин вас обоих.

Тут он опять пожал мне руку, и в прекрасных глазах его просияло доброе, прекрасное чувство. Он так доверчиво протягивал мне руку, так верил, что я ему друг!

— Она мне поможет исправиться, — продолжал он. — Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь очень худого, не сокрушайтесь слишком об нас. У меня все-таки много надежд, а в материальном отношении мы будем совершенно обеспечены. Я, например, если не удастся роман (я, по правде, еще и давеча подумал, что роман глупость, а теперь только так про него рассказал, чтоб выслушать ваше решение), — если не удастся роман, то я ведь в крайнем случае могу давать уроки музыки. Вы не знали, что я знаю музыку? Я не стыжусь жить и таким трудом. Я совершенно новых идей в этом случае. Да, кроме того, у меня есть много дорогих безделушек, туалетных вещиц; к чему они? Я продам их, и мы, знаете, сколько времени проживем на это! Наконец, в самом крайнем случае, я, может быть, действительно займусь службой. Отец даже будет рад; он всё гонит меня служить, а я всё отговариваюсь нездоровьем. (Я, впрочем, куда-то уж записан.) А вот как он увидит, что женитьба принесла мне пользу, остепенила меня и что я действительно начал служить, — обрадуется и простит меня...

— Но, Алексей Петрович, подумали ль вы, какая история выйдет теперь между вашим и ее отцом? Как вы думаете, что сегодня будет вечером у них в доме?

И я указал ему на помертвевшую от моих слов Наташу. Я был безжалостен.

— Да, да, вы правы, это ужасно! — отвечал он. — Я уже думал об этом и душевно страдал... Но что же делать? Вы правы: хотя только бы ее-то родители нас простили! А как я их люблю обоих, если б вы знали! Ведь они мне всё равно что родные, и вот чем я им плачу!.. Ох, уж эти ссоры, эти процессы! Вы не поверите, как это нам теперь неприятно! И за что они ссорятся! Все мы так друг друга любим, а ссоримся! Помирились бы, да и дело с концом! Право, я бы так поступил на их месте... Страшно мне от ваших слов. Наташа, это ужас, что мы с тобой затеваем! Я это и прежде говорил... Ты сама настаиваешь... Но послушайте, Иван Петрович, может быть, всё это уладится к лучшему; как вы думаете? Ведь помирятся же они наконец! Мы их помирим. Это так, это непременно; они не устоят против нашей любви... Пусть они нас проклинают, а мы их все-таки будем любить; они и не устоят. Вы не поверите, какое иногда бывает доброе сердце

у моего старика! Он ведь это так только смотрит исподлобья, а ведь в других случаях он прерассудительный. Если б вы знали, как он мягко со мной говорил сегодня, убеждал меня! А я вот сегодня же против него иду; это мне очень грустно. А всё из-за этих негодных предрассудков! Просто — сумасшествие! Ну что если б он на нее посмотрел хорошенько и пробыл с нею хоть полчаса? Ведь он тотчас же всё бы нам позволил. — Говоря это, Алеша нежно и страстно взглянул на Наташу.

— Я тысячу раз с наслаждением воображал себе, — продолжал он свою болтовню, — как он полюбит ее, когда узнает, и как она их всех изумит. Ведь они все и не видывали никогда такой девушки! Отец убежден, что она просто какая-то интриганка. Моя обязанность восстановить ее честь, и я это сделаю! Ах, Наташа! тебя все полюбят, все; нет такого человека, который бы мог тебя не любить, — прибавил он в восторге. — Хоть я не стою тебя совсем, но ты люби меня, Наташа, а уж я... ты ведь знаешь меня! Да и много ль нужно нам для нашего счастья! Нет, я верю, верю, что этот вечер должен принесть нам всем и счастье, и мир, и согласие! Будь благословен этот вечер! Так ли, Наташа? Но что с тобой? Боже мой, что с тобой?

Она была бледна как мертвая. Всё время, как разглагольствовал Алеша, она пристально смотрела на него; но взгляд ее становился всё мутнее и неподвижнее, лицо всё бледнее и бледнее. Мне казалось, что она, наконец, уж и не слушала, а была в каком-то забытьи. Восклицание Алеши как будто вдруг разбудило ее. Она очнулась, осмотрелась и вдруг — бросилась ко мне. Наскоро, точно торопясь и как будто прячась от Алеши, она вынула из кармана письмо и подала его мне. Письмо было к старикам и еще накануне писано. Отдавая мне его, она пристально смотрела на меня, точно приковалась ко мне своим взглядом. Во взгляде этом было отчаяние; я никогда не забуду этого страшного взгляда. Страх охватил и меня; я видел, что она теперь только вполне почувствовала весь ужас своего поступка. Она силилась мне что-то сказать; даже начала говорить и вдруг упала в обморок. Я успел поддержать ее. Алеша побледнел от испуга; он тер ей виски, целовал руки, губы. Минуты через две она очнулась. Невдалеке стояла извозчичья карета, в которой приехал Алеша; он подозвал ее. Садясь в карету, Наташа как безумная схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои пальцы. Карета тронулась. Я еще долго стоял на месте, провожая ее глазами. Всё мое счастье погибло в эту минуту, и жизнь переломилась надвое. Я больно это почувствовал... Медленно пошел я назад, прежней дорогой, к старикам. Я не знал, что скажу им, как войду к ним? Мысли мои мертвели, ноги подкашивались...

И вот вся история моего счастия; так кончилась и разрешилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказ.

Глава X

Дней через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру. Весь тот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная; шел мокрый снег, пополам с дождем. Только к вечеру, на одно мгновение, проглянуло солнце и какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянул и в мою комнату. Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кой-какую мебель. Тогда же подумал я, что непременно сгублю в этой квартире и последнее здоровье свое. Так оно и случилось.

Всё это утро я возился с своими бумагами, разбирая их и приводя в порядок. За неимением портфеля я перевез их в подушечной наволочке; всё это скомкалось и перемешалось. Потом я засел писать. Я всё еще писал тогда мой большой роман; но дело опять повалилось из рук; не тем была полна голова...

Я бросил перо и сел у окна. Смеркалось, а мне становилось всё грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Всё казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна; так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет божий, дохнув запахом свежих полей и лесов: а я так давно не видал их!.. Помню, пришло мне тоже на мысль, как бы хорошо было, если б каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть всё, что было, что прожилось в последние годы; всё забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами. Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресение. «Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли, — решил я наконец, — чтоб перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться». Была же жажда жизни и вера в нее!.. Но, помню, я тогда же засмеялся. «Что же бы делать пришлось после сумасшедшего-то дома? Неужели опять романы писать?..»

Так я мечтал и горевал, а между тем время уходило. Наступала ночь. В этот вечер у меня было условлено свидание с Наташей; она убедительно звала меня к себе запиской еще накануне. Я вскочил и стал собираться. Мне и без того хотелось вырваться поскорей из квартиры хоть куда-нибудь, хоть на дождь, на слякоть.

По мере того как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее, как будто она всё более и более расширялась. Мне вообразилось, что я каждую ночь в каждом углу буду видеть Смита: он будет сидеть и неподвижно глядеть на меня, как в кондитерской на Адама Ивановича, а у ног его будет Азорка. И вот в это-то мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня.

Впрочем, надо сознаться во всем откровенно: от расстройства ли нерв, от новых ли впечатлений в новой квартире, от недавней

ли хандры, но я мало-помалу и постепенно, с самого наступления сумерек, стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь, в моей болезни, по ночам, и которое я называю *мистическим ужасом.* Это — самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть сию же минуту, осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет передо мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь эта возрастает обыкновенно всё сильнее и сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка, так что наконец ум, несмотря на то что приобретает в эти минуты, может быть, еще бóльшую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются, он становится бесполезен, и это раздвоение еще больше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучения.

Помню, я стоял спиной к дверям и брал со стола шляпу, и вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу Смита: сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге и оглядит комнату; потом тихо, склонив голову, войдет, станет передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза долгим, беззубым и неслышным смехом, и всё тело его заколышется и долго будет колыхаться от этого смеха. Всё это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовалось внезапно в моем воображении, а вместе с тем вдруг установилась во мне самая полная, самая неотразимая уверенность, что всё это непременно, неминуемо случится, что это уж и случилось, но только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, и что же? — дверь действительно отворялась, тихо, неслышно, точно так, как мне представлялось минуту назад. Я вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой; вдруг на пороге явилось какое-то странное существо; чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно. Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему ужасу, я увидел, что это ребенок, девочка, и если б это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время.

Я уже сказал, что дверь она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходившим до столбняка; наконец тихо, медленно ступила два шага вперед и остановилась передо мною, всё еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет двенадцати или тринадцати,

маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый, дырявый платок, которым прикрывала свою, еще дрожавшую от вечернего холода, грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем; густые черные волосы были неприглажены и всклочены. Мы простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга.

— Где дедушка? — спросила она наконец едва слышным и хриплым голосом, как будто у ней болела грудь или горло.

Весь мой мистический ужас соскочил с меня при этом вопросе. Спрашивали Смита; неожиданно проявлялись следы его.

— Твой дедушка? да ведь он уже умер! — сказал я вдруг, совершенно не приготовившись отвечать на ее вопрос, и тотчас раскаялся. С минуту стояла она в прежнем положении и вдруг вся задрожала, но так сильно, как будто в ней приготовлялся какой-нибудь опасный нервический припадок. Я схватился было поддержать ее, чтоб она не упала. Через несколько минут ей стало лучше, и я ясно видел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая передо мною свое волнение.

— Прости, прости меня, девочка! Прости, дитя мое! — говорил я, — я так вдруг объявил тебе, а может быть, это еще и не то... бедненькая!.. Кого ты ищешь? Старика, который тут жил?

— Да, — прошептала она с усилием и с беспокойством смотря на меня.

— Его фамилия была Смит? Да?

— Д-да!

— Так он... ну да, так это он и умер... Только ты не печалься, голубчик мой. Что ж ты не приходила? Ты теперь откуда? Его похоронили вчера; он умер вдруг, скоропостижно... Так ты его внучка?

Девочка не отвечала на мои скорые и беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уж и не удерживал и не расспрашивал ее более. Она остановилась еще раз на пороге и, полуоборотившись ко мне, спросила:

— Азорка тоже умер?

— Да, и Азорка тоже умер, — отвечал я, и мне показался странным ее вопрос: точно и она была уверена, что Азорка непременно должен был умереть вместе с стариком. Выслушав мой ответ, девочка неслышно вышла из комнаты, осторожно притворив за собою дверь.

Через минуту я выбежал за ней в погоню, ужасно досадуя, что дал ей уйти! Она так тихо вышла, что я не слыхал, как отворила она другую дверь на лестницу. С лестницы она еще не успела сойти, думал я, и остановился в сенях прислушаться. Но всё было тихо, и не слышно было ничьих шагов. Только хлопнула где-то дверь в нижнем этаже, и опять всё стало тихо.

Я стал поспешно сходить вниз. Лестница прямо от моей квартиры, с пятого этажа до четвертого, шла винтом; с четвертого же начиналась прямая. Это была грязная, черная и всегда темная лестница, из тех, какие обыкновенно бывают в капитальных домах с мелкими квартирами. В ту минуту на ней уже было совершенно темно. Ощупью сойдя в четвертый этаж, я остановился, и вдруг меня как будто подтолкнуло, что здесь, в сенях, кто-то был и прятался от меня. Я стал ощупывать руками; девочка была тут, в самом углу, и, оборотившись к стене лицом, тихо и неслышно плакала.

— Послушай, чего ж ты боишься? — начал я. — Я так испугал тебя; я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе; это были последние его слова... У меня и книги остались; верно, твои. Как тебя зовут? где ты живешь? Он говорил, что в Шестой линии...

Но я не докончил. Она вскрикнула в испуге, как будто оттого, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой, костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. Я за ней; ее шаги еще слышались мне внизу. Вдруг они прекратились... Когда я выскочил на улицу, ее уже не было. Пробежав вплоть до Вознесенского проспекта, я увидел, что все мои поиски тщетны: она исчезла. «Вероятно, где-нибудь спряталась от меня, — подумал я, — когда еще сходила с лестницы».

Глава XI

Но только что я ступил на грязный, мокрый тротуар проспекта, как вдруг столкнулся с одним прохожим, который шел, по-видимому, в глубокой задумчивости, наклонив голову, скоро и куда-то торопясь. К величайшему моему изумлению, я узнал старика Ихменева. Это был для меня вечер неожиданных встреч. Я знал, что старик дня три тому назад крепко прихворнул, и вдруг я встречаю его в такую сырость на улице. К тому же он и прежде почти никогда не выходил в вечернее время, а с тех пор, как ушла Наташа, то есть почти уже с полгода, сделался настоящим домоседом. Он как-то не по-обыкновенному мне обрадовался, как человек, нашедший наконец друга, с которым он может разделить свои мысли, схватил меня за руку, крепко сжал ее и, не спросив, куда я иду, потащил меня за собою. Был он чем-то встревожен, тороплив и порывист. «Куда же это он ходил?» — подумал я про себя. Спрашивать его было излишне; он сделался страшно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление.

Я оглядел его искоса: лицо у него было больное; в последнее время он очень похудел; борода его была с неделю небритая. Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике

его старого, изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался; забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него.

— Ну что, Ваня, что? — заговорил он. — Куда шел? А я вот, брат, вышел; дела. Здоров ли?

— Вы-то здоровы ли? — отвечал я, — так еще недавно были больны, а выходите.

Старик не отвечал, как будто не расслушал меня.

— Как здоровье Анны Андреевны?

— Здорова, здорова... Немножко, впрочем, и она хворает. Загрустила она у меня что-то... о тебе поминала: зачем не приходишь. Да ты ведь теперь-то к нам, Ваня? Аль нет? Я, может, тебе помешал, отвлекаю тебя от чего-нибудь? — спросил он вдруг, как-то недоверчиво и подозрительно в меня всматриваясь. Мнительный старик стал до того чуток и раздражителен, что, отвечай я ему теперь, что шел не к ним, он бы непременно обиделся и холодно расстался со мной. Я поспешил отвечать утвердительно, что я именно шел проведать Анну Андреевну, хоть и знал, что опоздаю, а может, и совсем не успею попасть к Наташе.

— Ну вот и хорошо, — сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом, — это хорошо... — и вдруг замолчал и задумался, как будто чего-то не договаривая.

— Да, это хорошо! — машинально повторил он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости. — Гм... видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном; бог не благословил нас с Анной Андреевной... сыном... и послал нам тебя; я так всегда думал. Старуха тоже... да! и ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя бог за это, Ваня, как и мы оба, старики, благословляем и любим тебя... да!

Голос его задрожал; он переждал с минуту.

— Да... ну, а что? Не хворал ли? Что же долго у нас не был?

Я рассказал ему всю историю с Смитом, извиняясь, что смитовское дело меня задержало, что, кроме того, я чуть не заболел и что за всеми этими хлопотами к ним, на Васильевский (они жили тогда на Васильевском), было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Наташи и в это время, но вовремя замолчал.

История Смита очень заинтересовала старика. Он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра и, может быть, еще хуже прежней, а стоит шесть рублей в месяц, он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывист и нетерпелив. Только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда.

— Гм... это все твоя литература, Ваня! — вскричал он почти со злобою, — довела до чердака, доведет и до кладбища! Говорил я тебе тогда, предрекал!.. А что Б. всё еще критику пишет?

— Да ведь он уже умер, в чахотке. Я вам, кажется, уж и говорил об этом.

— Умер, гм... умер! Да так и следовало. Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ль, была... И на что эти люди женятся!

— Нет, ничего не оставил, — отвечал я.

— Ну, так и есть! — вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно до него касалось и как будто умерший Б. был его брат родной. — Ничего! То-то ничего! А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится, еще тогда, когда, помнишь, ты мне его всё расхваливал. Легко сказать: ничего не оставил! Гм... славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу, но ведь слава не накормит. Я, брат, и о тебе тогда же всё предугадал, Ваня; хвалил тебя, а про себя всё предугадал. Так умер Б.? Да и как не умереть! И житье хорошо и... место хорошее, смотри!

И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба.

— Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Ну, так вот они все таковы, люди-то с сердцем, симпатичные-то твои! Только и умеют, что сирот размножать! Гм... да и умирать-то, я думаю, ему было весело!.. Э-э-эх! Уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь!.. Что ты, девочка? — спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милостыню.

Это была маленькая, худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше, одетая в грязные отрепья; маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холоду тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам; она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее, и так быстро к ней оборотился, что даже ее испугал. Она вздрогнула и отшатнулась от него.

— Что, что тебе, девочка? — вскричал он. — Что? Просишь? Да? Вот, вот тебе... возьми, вот!

И он, суетясь и дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул две или три серебряные монетки. Но ему показалось мало; он достал портмоне и, вынув из него рублевую бу-

мажку, — всё, что там было, — положил деньги в руку маленькой нищей.

— Христос тебя да сохранит, маленькая... дитя ты мое! Ангел божий да будет с тобою!

И он несколько раз дрожавшею рукою перекрестил бедняжку; но вдруг, увидав, что и я тут и смотрю на него, нахмурился и скорыми шагами пошел далее.

— Это я, видишь, Ваня, смотреть не могу, — начал он после довольно продолжительного сердитого молчания, — как эти маленькие, невинные создания дрогнут от холоду на улице... из-за проклятых матерей и отцов. А впрочем, какая же мать и вышлет такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная!.. Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а это старшая; сама больна, старуха-то; и... гм! Не княжеские дети! Много, Ваня, на свете... не княжеских детей! гм!

Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то.

— Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне, — начал он, немного путаясь и сбиваясь, — обещал ей... то есть, мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитание взять... так, какую-нибудь; бедную то есть и маленькую, в дом, совсем; понимаешь? А то скучно нам, старикам, одним-то, гм... только, видишь: Анна Андреевна что-то против этого восставать стала. Так ты поговори с ней, эдак знаешь, не от меня, а как бы с своей стороны... урезонь ее... понимаешь? Я давно тебя собирался об этом попросить... чтоб ты уговорил ее согласиться, а мне как-то неловко очень-то просить самому... ну, да что о пустяках толковать! Мне что девочка? и не нужна; так, для утехи... чтоб голос чей-нибудь детский слышать... а впрочем, по правде, я ведь для старухи это делаю; ей же веселее будет, чем с одним со мной. Но всё это вздор! Знаешь, Ваня, эдак мы долго не дойдем: возьмем-ка извозчика; идти далеко, а Анна Андреевна нас заждалась...

Было половина восьмого, когда мы приехали к Анне Андреевне.

Глава XII

Старики очень любили друг друга. И любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно. Но Николай Сергеич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые времена, был как-то несообщителен с своей Анной Андреевной, даже иногда суров, особливо при людях. В иных натурах, нежно и тонко чувствующих, бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать даже милому себе существу свою нежность не только при людях, но даже и наедине; наедине еще больше; только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков отчасти был и старик Ихменев с своей Анной

Андреевной, даже смолоду. Он уважал ее и любил беспредельно, несмотря на то что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его, и ужасно досадовал на то, что она в свою очередь была с ним, по простоте своей, даже иногда слишком и неосторожно наружу. Но после ухода Наташи они как-то нежнее стали друг к другу; они болезненно почувствовали, что остались одни на свете. И хотя Николай Сергеич становился иногда чрезвычайно угрюм, тем не менее оба они, даже на два часа, не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли. О Наташе они как-то безмолвно условились не говорить ни слова, как будто ее и на свете не было. Анна Андреевна не осмеливалась даже намекать о ней ясно при муже, хотя это было для нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилось, чтоб с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее милом, незабвенном дитяти.

Старушка становилась больна, если долго не получала известий, а когда я приходил с ними, интересовалась самою малейшею подробностию, расспрашивала с судорожным любопытством, «отводила душу» на моих рассказах и чуть не умерла от страха, когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже и при мне не решалась выражать желание увидеться с дочерью и почти всегда после наших разговоров, когда, бывало, уже всё у меня выспросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбою дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. Но всё это было напускное. Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеича, а при нем начинала *намекать,* хоть и с большою осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что мы не умеем прощать обид и что бог не простит непрощающих, но дальше этого при нем не высказывалась. В такие минуты старик тотчас же черствел и угрюмел, молчал, нахмурившись, или вдруг, обыкновенно чрезвычайно неловко и громко, заговаривал о другом, или, наконец, уходил *к себе,* оставляя нас одних и давая таким образом Анне Андреевне возможность вполне излить передо мной свое горе в слезах и сетованиях. Точно так же он уходил к себе всегда при моих посещениях, бывало только что успеет со мною поздороваться, чтоб дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости о Наташе. Так сделал он и теперь.

— Я промок, — сказал он ей, только что ступив в комнату, — пойду-ка к себе, а ты, Ваня, тут посиди. Вот с ним история случилась, с квартирой; расскажи-ка ей. А я сейчас и ворочусь...

И он поспешил уйти, стараясь даже и не глядеть на нас, как будто совестясь, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен и со мной и с Анной Андреевной, даже придирчив,

точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость.

— Вот он какой, — сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли, — всегда-то он такой со мной; а ведь знает, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной виды-то на себя напускать! Чужая я ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог, даже, может быть, и желает простить, господь его знает. По ночам плачет, сама слышала! А наружу крепится. Гордость его обуяла... Батюшка, Иван Петрович, рассказывай поскорее: куда он ходил?

— Николай Сергеич? Не знаю; я у вас хотел спросить.

— А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя; ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным; а чему ж и быть-то важнее известного вам дела? Думаю я это про себя, а спросить-то и не смею. Ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи боже, ведь так и обомлела и за него и за нее. Ну как, думаю, к ней пошел; уж не простить ли решился? Ведь он всё узнал, все последние известия об ней знает; я наверное полагаю, что знает, а откуда ему вести приходят, не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. Да что же вы молчите! Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангела божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну, что же, оставляет злодей-то Наташу?

Я тотчас же рассказал Анне Андреевне всё, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв и что это серьезнее, чем прежние их несогласия; что Наташа прислала мне вчера записку, в которой умоляла меня прийти к ней сегодня вечером, в девять часов, а потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним; завел же меня сам Николай Сергеич. Рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще критическое; что отец Алеши, который недели две как воротился из отъезда, и слышать ничего не хочет, строго взялся за Алешу; но важнее всего, что Алеша, кажется, и сам не прочь от невесты и, слышно, что даже влюбился в нее. Прибавил я еще, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею в большом волнении; пишет она, что сегодня вечером всё решится, а что? — неизвестно; странно тоже, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня, и час определила: девять часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее.

— Иди, иди, батюшка, непременно иди, — захлопотала старушка, — вот только он выйдет, ты чайку выпей... Ах, самовар-то не несут! Матрена! Что ж ты самовар? Разбойница, а не девка!.. Ну, так чайку-то выпьешь, найди предлог благовидный, да и ступай. А завтра непременно ко мне и всё расскажи; да пораньше забеги. Господи! Уж не вышло ли еще какой беды! Уж чего бы, кажется, хуже теперешнего! Ведь Николай-то Сергеич всё уж

узнал, сердце мне говорит, что узнал. Я-то вот через Матрену много узнаю, а та через Агашу, а Агаша-то крестница Марьи Васильевны, что у князя в доме проживает... ну, да ведь ты сам знаешь. Сердит был сегодня ужасно мой, Николай-то. Я было то да се, а он чуть было не закричал на меня, а потом словно жалко ему стало, говорит: денег мало. Точно бы он из-за денег кричал. После обеда пошел было спать. Я заглянула к нему в щелку (щелка такая есть в дверях; он и не знает про нее), а он-то, голубчик, на коленях перед киотом богу молится. Как увидала я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пил и не спал, взял шапку и пошел. В пятом вышел. Я и спросить не посмела: закричал бы он на меня. Часто он кричать начал, всё больше на Матрену, а то и на меня; а как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца отрывается. Ведь только блажит, знаю, что блажит, а всё страшно. Богу целый час молилась, как он ушел, чтоб на благую мысль его навел. Где же записка-то ее, покажи-ка!

Я показал. Я знал, что у Анны Андреевны была одна любимая, заветная мысль, что Алеша, которого она звала то злодеем, то бесчувственным, глупым мальчишкой, женится наконец на Наташе и что отец его, князь Петр Александрович, ему это позволит. Она даже и проговаривалась передо мной, хотя в другие разы раскаивалась и отпиралась от слов своих. Но ни за что не посмела бы она высказать свои надежды при Николае Сергеиче, хотя и знала, что старик их подозревает в ней и даже не раз попрекал ее косвенным образом. Я думаю, он окончательно бы проклял Наташу и вырвал ее из своего сердца навеки, если б узнал про возможность этого брака.

Все мы так тогда думали. Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну, раскаявшуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминание о своем Алеше. Это было единственным условием прощения, хотя и не высказанным, но, глядя на него, понятным и несомненным.

— Бесхарактерный он, бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый, я всегда это говорила, — начала опять Анна Андреевна. — И воспитывать его не умели, так, ветрогон какой-то вышел; бросает ее за такую любовь, господи боже мой! Что с ней будет, с бедняжкой! И что он в новой-то нашел, удивляюсь!

— Я слышал, Анна Андреевна, — возразил я, — что эта невеста очаровательная девушка, да и Наталья Николаевна про нее то же говорила...

— А ты не верь! — перебила старушка. — Что за очаровательная? Для вас, щелкоперов, всякая очаровательная, только бы юбка болталась. А что Наташа ее хвалит, так это она по благородству души делает. Не умеет она удержать его, всё ему прощает, а сама страдает. Сколько уж раз он ей изменял! Злодеи жестокосердые! А на меня, Иван Петрович, просто ужас находит. Гордость всех обуяла. Смирил бы хоть мой-то себя, простил бы ее,

мою голубку, да и привел бы сюда. Обняла б ее, посмотрела б на нее! Похудела она?

— Похудела, Анна Андреевна.

— Голубчик мой! А у меня, Иван Петрович, беда! Всю ночь да весь день сегодня проплакала... да что! После расскажу! Сколько раз я заикалась говорить ему издалека, чтоб простил-то; прямо-то не смею, так издалека, ловким этаким манером заговаривала. А у самой сердце так и замирает: рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем! Проклятия-то я еще от него не слыхала... так вот и боюсь, чтоб проклятия не наложил. Тогда ведь что будет? Отец проклял, и бог покарает. Так и живу, каждый день дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно; кажется, в нашем доме взрос и отеческие ласки от всех у нас видел: тоже выдумал, очаровательная! А вот Марья Васильевна ихняя лучше говорит. (Я ведь согрешила, да ее раз на кофей и позвала, когда мой на всё утро по делам уезжал.) Она мне всю подноготную объяснила. Князь-то, отец-то Алешин, с графиней-то в непозволительной связи находился. Графиня давно, говорят, попрекала его: что он на ней не женится, а тот всё отлынивал. А графиня-то эта, когда еще муж ее был жив, зазорным поведением отличалась. Умер муж-то — она за границу: всё итальянцы да французы пошли, баронов каких-то у себя завела; там и князя Петра Александровича подцепила. А падчерица ее, первого ее мужа, откупщика, дочь меж тем росла да росла. Графиня-то, мачеха-то, всё прожила, а Катерина Федоровна меж тем подросла, да и два миллиона, что ей отец-откупщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорят, у ней три миллиона; князь-то и смекнул: вот бы Алешу женить! (не промах! своего не пропустит). Граф-то, придворный-то, знатный-то, помнишь, родственник-то ихний, тоже согласен; три миллиона не шутка. Хорошо, говорит, поговорите с этой графиней. Князь и сообщает графине свое желание. Та и руками и ногами: без правил, говорят, женщина, буянка такая! Ее уже здесь не все, говорят, принимают; не то что за границей. Нет, говорит, ты, князь, сам на мне женись, а не бывать моей падчерице за Алешей. А девица-то, падчерица-то, души, говорят, в своей мачехе не слышит; чуть на нее не молится и во всем ей послушна. Кроткая, говорят, такая, ангельская душа! Князь-то видит, в чем дело, да и говорит: ты, графиня, не беспокойся. Именье-то свое прожила, и долги на тебе неоплатные. А как твоя падчерица выйдет за Алешу, так их будет пара: и твоя невинная, и Алеша мой дурачок; мы их и возьмем под начало и будем сообща опекать; тогда и у тебя деньги будут. А то что, говорит, за меня замуж тебе идти? Хитрый человек! Масон! Так полгода тому назад было, графиня не решалась, а теперь, говорят, в Варшаву ездили, там и согласились. Вот как я слышала. Всё это Марья Васильевна мне рассказала, всю подноготную, от верного человека сама она слышала. Ну, так вот что тут: денежки, миллионы, а то что — очаровательная!

Рассказ Анны Андреевны меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам недавно слышал от самого Алеши. Рассказывая, он храбрился, что ни за что не женится на деньгах. Но Катерина Федоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже от Алеши, что отец его сам, может быть, женится, хоть и отвергает эти слухи, чтоб не раздражить до времени графини. Я сказал уже, что Алеша очень любил отца, любовался и хвалился им и верил в него как в оракула.

— Ведь не графского же рода и она, твоя очаровательная-то! — продолжала Анна Андреевна, крайне раздраженная моей похвалой будущей невесте молодого князя. — А Наташа ему еще лучше была бы партия. Та откупщица, а Наташа-то из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица. Старик-то мой вчера (я забыла вам рассказать) сундучок свой отпер, кованый, — знаете? — да целый вечер против меня сидел да старые грамоты наши разбирал. Да серьезный такой сидит. Я чулок вяжу, да и не гляжу на него, боюсь. Так он видит, что я молчу, рассердился да сам и окликнул меня и целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так вот и выходит, что мы-то, Ихменевы-то, еще при Иване Васильевиче Грозном дворянами были, а что мой род, Шумиловых, еще при Алексее Михайловиче известен был, и документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто. Так вот как, батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик толковать, я и поняла, что у него на уме. Знать, и ему обидно, что Наташей пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну, да пусть тот, разбойник-то, Петр-то Александрович, о богатстве хлопочет; всем известно: жестокосердая, жадная душа. В иезуиты, говорят, тайно в Варшаве записался? Правда ли это?

— Глупый слух, — отвечал я, невольно заинтересованный устойчивостью этого слуха. Но известие о Николае Сергеиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде он никогда не хвалился своею родословною.

— Всё злодеи жестокосердые! — продолжала Анна Андреевна, — ну, что же она, мой голубчик, горюет, плачет? Ах, пора тебе идти к ней! Матрена, Матрена! Разбойник, а не девка!.. Не оскорбляли ее? Говори же, Ваня.

Что было ей отвечать? Старушка заплакала. Я спросил, какая у ней еще случилась беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать?

— Ах, батюшка, мало было одних бед, так, видно, еще не вся чаша выпита! Помнишь, голубчик, или не помнишь? был у меня медальончик, в золото оправленный, так для сувенира сделано, а в нем портрет Наташечки, в детских летах; восьми лет она тогда была, ангельчик мой. Еще тогда мы с Николаем Сергеичем его проезжему живописцу заказывали, да ты забыл, видно, батюшка! Хороший был живописец, купидоном ее изобразил: волосики светленькие такие у ней тогда были, взбитые; в рубашечке кисей-

ной представил ее, так что и тельце просвечивает, и такая она вышла хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просила я живописца, чтоб крылышки ей подрисовал, да не согласился живописец. Так вот, батюшка, я, после ужасов-то наших тогдашних, медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила на шнурке, так и носила возле креста, а сама-то боюсь, чтоб мой не увидал. Ведь он тогда же все ее вещи приказал из дому выкинуть или сжечь, чтоб ничто и не напоминало про нее у нас. А мне-то хоть бы на портрет ее поглядеть; иной раз поплачу, на него глядя, — всё легче станет, а в другой раз, когда одна остаюсь, не нацелуюсь, как будто ее самое целую; имена нежные ей прибираю да и на ночь-то каждый раз перекрещу. Говорю с ней вслух, когда одна остаюся, спрошу что-нибудь и представляю, как будто она мне ответила, и еще спрошу. Ох, голубчик Ваня, тяжело и рассказывать-то! Ну, вот я и рада, что хоть про медальон-то он не знает и не заметил; только хвать вчера утром, а медальона и нет, только шнурочек болтается, перетерся, должно быть, а я и обронила. Так и замерла. Искать; искала-искала, искала-искала — нет! Сгинул да пропал! И куда ему сгинуть? Наверно, думаю, в постели обронила; всё перерыла — нет! Коли сорвался да упал куда-нибудь, так, может, кто и нашел его, а кому найти, кроме *него* али Матрены? Ну, на Матрену и думать нельзя; она мне всей душой предана... (Матрена, да ты скоро ли самовар-то?) Ну, думаю, если он найдет, что тогда будет? Сижу себе, грущу, да и плачу-плачу, слез удержать не могу. А Николай Сергеич всё ласковей да ласковей со мной; на меня глядя, грустит, как будто и он знает, о чем я плачу, и жалеет меня. Вот и думаю про себя: почему он может знать? Не сыскал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил в форточку. Ведь в сердцах он на это способен; выбросил, а сам теперь и грустит — жалеет, что выбросил. Уж я и под окошко, под форточкой, искать ходила с Матреной — ничего не нашла. Как в воду кануло. Всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не перекрестила. Ох, к худу это, к худу, Иван Петрович, не предвещает добра; другой день, глаз не осушая, плачу. Вас-то ждала, голубчика, как ангела божия, хоть душу отвести...

И старушка горько заплакала.

— Ах, да, и забыла вам сообщить! — заговорила она вдруг, обрадовавшись, что вспомнила, — слышали вы от него что-нибудь про сиротку?

— Слышал, Анна Андреевна, говорил он мне, что будто вы оба надумались и согласились взять бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это?

— И не думала, батюшка, и не думала! И никакой сиротки не хочу! Напоминать она мне будет горькую долю нашу, наше несчастье. Кроме Наташи, никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка, что он сиротку-то выдумал? Как ты думаешь, Иван Петрович? Мне в утешение, что ль, на мои слезы глядя, аль чтоб родную дочь

даже совсем из воспоминания изгнать да к другому детищу привязаться? Что он обо мне дорогой говорил с вами? Каков он вам показался — суровый, сердитый? Тс! Идет! После, батюшка, доскажете, после!.. Завтра-то прийти не забудь...

Глава XIII

Вошел старик. Он с любопытством и как будто чего-то стыдясь оглядел нас, нахмурился и подошел к столу.

— Что ж самовар, — спросил он, — неужели до сих пор не могли подать?

— Несут, батюшка, несут; ну, вот и принесли, — захлопотала Анна Андреевна.

Матрена тотчас же, как увидала Николая Сергеича, и явилась с самоваром, точно ждала его выхода, чтоб подать. Это была старая, испытанная и преданная служанка, но самая своенравная ворчунья из всех служанок в мире, с настойчивым и упрямым характером. Николая Сергеича она боялась и при нем всегда прикусывала язык. Зато вполне вознаграждала себя перед Анной Андреевной, грубила ей на каждом шагу и показывала явную претензию господствовать над своей госпожой, хотя в то же время душевно и искренно любила ее и Наташу. Эту Матрену я знал еще в Ихменевке.

— Гм... ведь неприятно, когда промокнешь; а тут тебе и чаю *не хотят* приготовить, — ворчал вполголоса старик.

Анна Андреевна тотчас же подмигнула мне на него. Он терпеть не мог этих таинственных подмигиваний и хоть в эту минуту и старался не смотреть на нас, но по лицу его можно было заметить, что Анна Андреевна именно теперь мне на него подмигнула и что он вполне это знает.

— По делам ходил, Ваня, — заговорил он вдруг. — Дрянь такая завелась. Говорил я тебе? Меня совсем осуждают. Доказательств, вишь, нет; бумаг нужных нет; справки неверны выходят... Гм...

Он говорил про свой процесс с князем; этот процесс всё еще тянулся, но принимал самое худое направление для Николая Сергеича. Я молчал, не зная, что ему отвечать. Он подозрительно взглянул на меня.

— А что ж! — подхватил он вдруг, как будто раздраженный нашим молчанием, — чем скорей, тем лучше. Подлецом меня не сделают, хоть и решат, что я должен заплатить. Со мной моя совесть, и пусть решают. По крайней мере дело кончено; развяжут, разорят... Брошу всё и уеду в Сибирь.

— Господи, куда ехать! Да зачем бы это в такую даль! — не утерпела не сказать Анна Андреевна.

— А здесь от чего близко? — грубо спросил он, как бы обрадовавшись возражению.

— Ну, все-таки... от людей... — проговорила было Анна Андреевна и с тоскою взглянула на меня.

— От каких людей? — вскричал он, переводя горячий взгляд от меня на нее и обратно, — от каких людей? От грабителей, от клеветников, от предателей? Таких везде много; не беспокойся, и в Сибири найдем. А не хочешь со мной ехать, так, пожалуй, и оставайся; я не насилую.

— Батюшка, Николай Сергеич! Да на кого ж я без тебя останусь! — закричала бедная Анна Андреевна. — Ведь у меня, кроме тебя, в целом свете нет ник...

Она заикнулась, замолчала и обратила ко мне испуганный взгляд, как бы прося заступления и помощи. Старик был раздражен, ко всему придирался; противоречить ему было нельзя.

— Полноте, Анна Андреевна, — сказал я, — в Сибири совсем не так дурно, как кажется. Если случится несчастье и вам надо будет продать Ихменевку, то намерение Николая Сергеевича даже и очень хорошо. В Сибири можно найти порядочное частное место, и тогда...

— Ну, вот по крайней мере, хоть ты, Иван, дело говоришь. Я так и думал. Брошу всё и уеду.

— Ну, вот уж и не ожидала! — вскрикнула Анна Андреевна, всплеснув руками, — и ты, Ваня, туда же! Уж от тебя-то, Иван Петрович, не ожидала... Кажется, кроме ласки, вы от нас ничего не видали, а теперь...

— Ха-ха-ха! А ты чего ожидала! Да чем же мы жить-то здесь будем, подумай! Деньги прожиты, последнюю копейку добиваем! Уж не прикажешь ли к князю Петру Александровичу пойти да прощения просить?

Услышав про князя, старушка так и задрожала от страха. Чайная ложечка в ее руке звонко задребезжала о блюдечко.

— Нет, в самом деле, — подхватил Ихменев, разгорячая сам себя с злобною, упорною радостию, — как ты думаешь, Ваня, ведь, право, пойти! На что в Сибирь ехать! А лучше я вот завтра разоденусь, причешусь да приглажусь; Анна Андреевна манишку новую приготовит (к такому лицу уж нельзя иначе!), перчатки для полного бонтону купить да и пойти к его сиятельству: батюшка, ваше сиятельство, кормилец, отец родной! Прости и помилуй, дай кусок хлеба, — жена, дети маленькие!.. Так ли, Анна Андреевна? Этого ли хочешь?

— Батюшка... я ничего не хочу! Так, сдуру сказала; прости, коли в чем досадила, да только не кричи, — проговорила она, всё больше и больше дрожа от страха.

Я уверен, что в душе его всё ныло и перевертывалось в эту минуту, глядя на слезы и страх своей бедной подруги; я уверен, что ему было гораздо больнее, чем ей; но он не мог удержаться. Так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми, которые, несмотря на всю свою доброту, увлекаются до самонаслаждения собственным горем и гневом, ища высказаться во что

бы то ни стало, даже до обиды другому, невиноватому и преимущественно всегда самому ближнему к себе человеку. У женщины, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастною, обиженною, хотя бы не было ни обид, ни несчастий. Есть много мужчин, похожих в этом случае на женщин, и даже мужчин не слабых, в которых вовсе не так много женственного. Старик чувствовал потребность ссоры, хотя сам страдал от этой потребности.

Помню, у меня тут же мелькнула мысль: уж и в самом деле не сделал ли он перед этим какой-нибудь выходки, вроде предположений Анны Андреевны! Чего доброго, не надоумил ли его господь и не ходил ли он в самом деле к Наташе, да одумался дорогой, или что-нибудь не удалось, сорвалось в его намерении, — как и должно было случиться, — и вот он воротился домой, рассерженный и уничтоженный, стыдясь своих недавних желаний и чувств, ища, на ком сорвать сердце за свою же *слабость,* и выбирая именно тех, кого наиболее подозревал в таких же желаниях и чувствах. Может быть, желая простить дочь, он именно воображал себе восторг и радость своей бедной Анны Андреевны, и, при неудаче, *разумеется,* ей же первой и доставалось за это.

Но убитый вид ее, дрожавшей перед ним от страха, тронул его. Он как будто устыдился своего гнева и на минуту сдержал себя. Мы все молчали; я старался не глядеть на него. Но добрая минута тянулась недолго. Во что бы ни стало надо было высказаться, хотя бы взрывом, хотя бы проклятием.

— Видишь, Ваня, — сказал он вдруг, — мне жаль, мне не хотелось бы говорить, но пришло такое время, и я должен объясниться откровенно, без закорючек, как следует всякому прямому человеку... понимаешь, Ваня? Я рад, что ты пришел, и потому хочу громко сказать при тебе же. так, чтоб и *другие* слышали, что весь этот вздор, все эти слезы, вздохи, несчастья мне наконец надоели. То, что я вырвал из сердца моего, может быть с кровью и болью, никогда опять не воротится в мое сердце. Да! Я сказал и сделаю. Я говорю про то, что было полгода назад, понимаешь, Ваня! И говорю про это так откровенно, так прямо именно для того, чтоб ты никак не мог ошибиться в словах моих, — прибавил он, воспаленными глазами смотря на меня и, видимо, избегая испуганных взглядов жены. — Повторяю: это вздор; я не желаю!.. Меня именно бесит, что меня, как дурака, как самого низкого подлеца, *все* считают способным иметь такие низкие, такие слабые чувства... думают, что я с ума схожу от горя... Вздор! Я отбросил, я забыл старые чувства! Для меня нет воспоминаний... да! да! да! и да!..

Он вскочил со стула и ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели.

— Николай Сергеич! Неужели вам не жаль Анну Андреевну? Посмотрите, что вы над ней делаете, — сказал я, не в силах удержаться и почти с негодованием смотря на него. Но я только к огню подлил масла.

— Не жаль! — закричал он, задрожав и побледнев, — не жаль, потому что и меня не жалеют! Не жаль, потому что в моем же доме составляются заговоры против поруганной моей головы, за развратную дочь, достойную проклятия и всех наказаний!..

— Батюшка, Николай Сергеич, не проклинай!.. всё, что хочешь, только дочь не проклинай! — вскричала Анна Андреевна.

— Прокляну! — кричал старик вдвое громче, чем прежде, — потому что от меня же, обиженного, поруганного, требуют, чтоб я шел к этой проклятой и у ней же просил прощения! Да, да, это так! Этим мучат меня каждодневно, денно и нощно, у меня же в доме, слезами, вздохами, глупыми намеками! Хотят меня разжалобить... Смотри, смотри, Ваня, — прибавил он, поспешно вынимая дрожащими руками из бокового своего кармана бумаги, — вот тут выписки из нашего дела! По этому делу выходит теперь, что я вор, что я обманщик, что я обокрал моего благодетеля!.. Я ошельмован, опозорен из-за нее! Вот, вот, смотри, смотри!..

И он начал выбрасывать из бокового кармана своего сюртука разные бумаги, одну за другою, на стол, нетерпеливо отыскивая между ними ту, которую хотел мне показать; но нужная бумага, как нарочно, не отыскивалась. В нетерпении он рванул из кармана всё, что захватил в нем рукой, и вдруг — что-то звонко и тяжело упало на стол... Анна Андреевна вскрикнула. Это был потерянный медальон.

Я едва верил глазам своим. Кровь бросилась в голову старика и залила его щеки; он вздрогнул. Анна Андреевна стояла, сложив руки, и с мольбою смотрела на него. Лицо ее просияло светлою, радостною надеждою. Эта краска в лице, это смущение старика перед нами... да, она не ошиблась, она понимала теперь, как пропал ее медальон!

Она поняла, что он нашел его, обрадовался своей находке и, может быть, дрожа от восторга, ревниво спрятал его у себя от всех глаз; что где-нибудь один, тихонько от всех, он с беспредельною любовью смотрел на личико своего возлюбленного дитяти, — смотрел и не мог насмотреться, что, может быть, он так же, как и бедная мать, запирался один от всех разговаривать с своей бесценной Наташей, выдумывать ее ответы, отвечать на них самому, а ночью, в мучительной тоске, с подавленными в груди рыданиями, ласкал и целовал милый образ и вместо проклятий призывал прощение и благословение на ту, которую не хотел видеть и проклинал перед всеми.

— Голубчик мой, так ты ее еще любишь! — вскричала Анна Андреевна, не удерживаясь более перед суровым отцом, за минуту проклинавшим ее Наташу.

Но лишь только он услышал ее крик, безумная ярость сверкнула в глазах его. Он схватил медальон, с силою бросил его на пол и с бешенством начал топтать ногою.

— Навеки, навеки будь проклята мною! — хрипел он, задыхаясь. — Навеки, навеки!

— Господи! — закричала старушка, — ее, ее! Мою Наташу! ее личико... топчет ногами! ногами!.. тиран! бесчувственный, жестокосердый гордец!

Услышав вопль жены, безумный старик остановился в ужасе от того, что сделалось. Вдруг он схватил с полу медальон и бросился вон из комнаты, но, сделав два шага, упал на колена, уперся руками на стоявший перед ним диван и в изнеможении склонил свою голову.

Он рыдал как дитя, как женщина. Рыдания теснили грудь его, как будто хотели ее разорвать. Грозный старик в одну минуту стал слабее ребенка. О, теперь уж он не мог проклинать; он уже не стыдился никого из нас и, в судорожном порыве любви, опять покрывал, при нас, бесчисленными поцелуями портрет, который за минуту назад топтал ногами. Казалось, вся нежность, вся любовь его к дочери, так долго в нем сдержанная, стремилась теперь вырваться наружу с неудержимою силою и силою порыва разбивала всё существо его.

— Прости, прости ее! — восклицала, рыдая, Анна Андреевна, склонившись над ним и обнимая его. — Вороти ее в родительский дом, голубчик, и сам бог на страшном суде своем зачтет тебе твое смирение и милосердие!..

— Нет, нет! Ни за что, никогда! — восклицал он хриплым, задушаемым голосом. — Никогда! Никогда!

Глава XIV

Я пришел к Наташе уже поздно, в десять часов. Она жила тогда на Фонтанке, у Семеновского моста, в грязном «капитальном» доме купца Колотушкина, в четвертом этаже. В первое время после ухода из дому она и Алеша жили в прекрасной квартире, небольшой, но красивой и удобной, в третьем этаже, на Литейной. Но скоро ресурсы молодого князя истощились. Учителем музыки он не сделался, но начал занимать и вошел в огромные для него долги. Деньги он употреблял на украшение квартиры, на подарки Наташе, которая восставала против его мотовства, журила его, иногда даже плакала. Чувствительный и проницательный сердцем, Алеша, иногда целую неделю обдумывавший с наслаждением, как бы ей что подарить и как-то она примет подарок, делавший из этого для себя настоящие праздники, с восторгом сообщавший мне заранее свои ожидания и мечты, впадал в уныние от ее журьбы и слез, так что его становилось жалко, а впоследствии между ними бывали из-за подарков упреки, огорчения и ссоры. Кроме того, Алеша много проживал денег тихонько от Наташи; увлекался за товарищами, изменял ей; ездил к разным Жозефинам и Миннам; а между тем он все-таки очень любил ее. Он любил ее как-то с мучением; часто он приходил ко мне расстроенный и грустный, говоря, что не стоит мизинчика своей Наташи; что он

груб и зол, не в состоянии понимать ее и недостоин ее любви. Он был отчасти прав; между ними было совершенное неравенство; он чувствовал себя перед нею ребенком, да и она всегда считала его за ребенка. Со слезами каялся он мне в знакомстве с Жозефиной, в то же время умоляя не говорить об этом Наташе; и когда, робкий и трепещущий, он отправлялся, бывало, после всех этих откровенностей, со мною к ней (непременно со мною, уверяя, что боится взглянуть на нее после своего преступления и что я один могу поддержать его), то Наташа с первого же взгляда на него уже знала, в чем дело. Она была очень ревнива и, не понимаю каким образом, всегда прощала ему все его ветрености. Обыкновенно так случалось: Алеша войдет со мною, робко заговорит с ней, с робкою нежностию смотрит ей в глаза. Она тотчас же угадает, что он виноват, но не покажет и вида, никогда не заговорит об этом первая, ничего не выпытывает, напротив, тотчас же удвоит к нему свои ласки, станет нежнее, веселее, — и это не была какая-нибудь игра или обдуманная хитрость с ее стороны. Нет; для этого прекрасного создания было какое-то бесконечное наслаждение прощать и миловать; как будто в самом процессе прощения Алеши она находила какую-то особенную, утонченную прелесть. Правда, тогда еще дело касалось одних Жозефин. Видя ее кроткую и прощающую, Алеша уже не мог утерпеть и тотчас же сам во всем каялся, без всякого спроса, — чтоб облегчить сердце и «быть по-прежнему», говорил он. Получив прощение, он приходил в восторг, иногда даже плакал от радости и умиления, целовал, обнимал ее. Потом тотчас же развеселялся и начинал с ребяческою откровенностью рассказывать все подробности своих похождений с Жозефиной, смеялся, хохотал, благословлял и восхвалял Наташу, и вечер кончался счастливо и весело. Когда прекратились у него все деньги, он начал продавать вещи. По настоянию Наташи отыскана была маленькая, но дешевая квартира на Фонтанке. Вещи продолжали продаваться, Наташа продала даже свои платья и стала искать работы; когда Алеша узнал об этом, отчаянию его не было пределов: он проклинал себя, кричал, что сам себя презирает, а между тем ничем не поправил дела. В настоящее время прекратились даже и эти последние ресурсы; оставалась только одна работа, но плата за нее была самая ничтожная.

С самого начала, когда они еще жили вместе, Алеша сильно поссорился за это с отцом. Тогдашние намерения князя женить сына на Катерине Федоровне Филимоновой, падчерице графини, были еще только в проекте, но он сильно настаивал на этом проекте; он возил Алешу к будущей невесте, уговаривал его стараться ей понравиться, убеждал его и строгостями и резонами; но дело расстроилось из-за графини. Тогда и отец стал смотреть на связь сына с Наташей сквозь пальцы, предоставляя всё времени, и надеялся, зная ветреность и легкомыслие Алеши, что любовь его скоро пройдет. О том же, что он может жениться на Наташе, князь, до самого последнего времени, почти перестал

заботиться. Что же касается до любовников, то у них дело отлагалось до формального примирения с отцом и вообще до перемены обстоятельств. Впрочем, Наташа, видимо, не хотела заводить об этом разговоров. Алеша проговорился мне тайком, что отец как будто немножко и рад был всей этой истории: ему нравилось во всем этом деле унижение Ихменева. Для формы же он продолжал изъявлять свое неудовольствие сыну: уменьшил и без того небогатое содержание его (он был чрезвычайно с ним скуп), грозил отнять всё; но вскоре уехал в Польшу, за графиней, у которой были там дела, всё еще без устали преследуя свой проект сватовства. Правда, Алеша был еще слишком молод для женитьбы; но невеста была слишком богата, и упустить такой случай было невозможно. Князь добился наконец цели. До нас дошли слухи, что дело о сватовстве пошло наконец на лад. В то время, которое я описываю, князь только что воротился в Петербург. Сына он встретил ласково, но упорность его связи с Наташей неприятно изумила его. Он стал сомневаться, трусить. Строго и настоятельно потребовал он разрыва; но скоро догадался употребить гораздо лучшее средство и повез Алешу к графине. Ее падчерица была почти красавица, почти еще девочка, но с редким сердцем, с ясной, непорочной душой, весела, умна, нежна. Князь рассчитал, что все-таки полгода должны были взять свое, что Наташа уже не имела для его сына прелести новизны и что теперь он уже не такими глазами будет смотреть на будущую свою невесту, как полгода назад. Он угадал только отчасти... Алеша действительно увлекся. Прибавлю еще, что отец вдруг стал необыкновенно ласков к сыну (хотя все-таки не давал ему денег). Алеша чувствовал, что под этой лаской скрывается непреклонное, неизменное решение, и тосковал, — не так, впрочем, как бы он тосковал, если б не видал ежедневно Катерины Федоровны. Я знал, что он уже пятый день не показывался к Наташе. Идя к ней от Ихменевых, я тревожно угадывал, что бы такое она хотела сказать мне? Еще издали я различил свет в ее окне. Между нами уже давно было условлено, чтоб она ставила свечку на окно, если ей очень и непременно надо меня видеть, так что если мне случалось проходить близко (а это случалось почти каждый вечер), то я все-таки, по необыкновенному свету в окне, мог догадаться, что меня ждут и что я ей нужен. В последнее время она часто выставляла свечу...

Глава XV

Я застал Наташу одну. Она тихо ходила взад и вперед по комнате, сложа руки на груди, в глубокой задумчивости. Потухавший самовар стоял на столе и уже давно ожидал меня. Молча и с улыбкою протянула она мне руку. Лицо ее было бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Голубые ясные глаза ее стали как будто больше, чем

прежде, волосы как будто гуще, — всё это так казалось от худобы и болезни.

— А я думала, ты уж не придешь, — сказала она, подавая мне руку, — хотела даже Мавру послать к тебе узнать; думала, не заболел ли опять?

— Нет, не заболел, меня задержали, сейчас расскажу. Ну что с тобой, Наташа? Что случилось?

— Ничего не случилось, — отвечала она, как бы удивленная. — А что?

— Да ты писала... вчера написала, чтоб пришел, да еще назначила час, чтоб не раньше, не позже; это как-то не по-обыкновенному.

— Ах, да! Это я *его* вчера ждала.

— Что ж он, всё еще не был?

— Нет. Я и думала: если не придет, так с тобой надо будет переговорить, — прибавила она, помолчав.

— А сегодня вечером ожидала его?

— Нет, не ждала; он вечером *там.*

— Что же ты думаешь, Наташа, он уж совсем никогда не придет?

— Разумеется, придет, — отвечала она, как-то особенно серьезно взглянув на меня.

Ей не нравилась скорость моих вопросов. Мы замолчали, продолжая ходить по комнате.

— Я всё тебя ждала, Ваня, — начала она вновь с улыбкой, — и знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала; помнишь, — колокольчик, зимняя дорога: «Самовар мой кипит на дубовом столе...», мы еще вместе читали:

Улеглася метелица; путь озарен,
Ночь глядит миллионами тусклых очей...
. . . .

И потом:

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
«Ах, когда-то, когда-то мой милый придет,
Отдохнуть на груди у меня!
У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать...»

— Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, и какая фантастическая, раздающаяся картина. Канва одна, и только намечен узор, — вышивай что хочешь. Два ощущения: прежнее и последнее. Этот самовар, этот ситцевый занавес, — так это всё родное... Это как в мещанских домиках в уездном нашем городке;

я и дом этот как будто вижу: новый, из бревен, еще досками не обшитый... А потом другая картина:

То вдруг слышится мне — тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
«Где-то старый мой друг? Я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!
Что за жизнь у меня! — И тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно...
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно.
Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет;
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому — милого нет...
Лишь старуха ворчит...»

— «Я больная брожу»... эта «больная», как тут хорошо поставлено! «*Побранить меня некому*», — сколько нежности, неги в этом стихе и мучений от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, да и любуешься ими... Господи, как это хорошо! Как это бывает!

Она замолчала, как будто подавляя начинавшуюся горловую спазму.

— Голубчик мой, Ваня! — сказала она мне через минуту и вдруг опять замолчала, как будто сама забыла, что хотела сказать, или сказала так, без мысли, от какого-то внезапного ощущения.

Между тем мы всё прохаживались по комнате. Перед образом горела лампадка. В последнее время Наташа становилась всё набожнее и набожнее и не любила, когда об этом с ней заговаривали.

— Что, завтра праздник? — спросил я, — у тебя лампадка горит.

— Нет, не праздник... да что ж, Ваня, садись, должно быть устал. Хочешь чаю? Ведь ты еще не пил?

— Сядем, Наташа. Чай я пил.

— Да ты откуда теперь?

— От *них*. — Мы с ней всегда так называли родной дом.

— От них? Как ты успел? Сам зашел? Звали?..

Она засыпала меня вопросами. Лицо ее сделалось еще бледнее от волнения. Я рассказал ей подробно мою встречу с стариком, разговор с матерью, сцену с медальоном, — рассказал подробно и со всеми оттенками. Я никогда ничего не скрывал от нее. Она слушала жадно, ловя каждое мое слово. Слезы блеснули на ее глазах. Сцена с медальоном сильно ее взволновала.

— Постой, постой, Ваня, — говорила она, часто прерывая мой рассказ, — говори подробнее, всё, всё, как можно подробнее, ты не так подробно рассказываешь!..

Я повторил второй и третий раз, поминутно отвечая на ее беспрерывные вопросы о подробностях.

— И ты в самом деле думаешь, что он ходил ко мне?

— Не знаю, Наташа, и мнения даже составить не могу. Что грустит о тебе и любит тебя, это ясно; но что он ходил к тебе, это... это...

— И он целовал медальон? — перебила она, — что он говорил, когда целовал?

— Бессвязно, одни восклицания; называл тебя самыми нежными именами, звал тебя...

— Звал?

— Да.

Она тихо заплакала.

— Бедные! — сказала она. — А если он всё знает, — прибавила она после некоторого молчания, — так это не мудрено. Он и об отце Алеши имеет большие известия.

— Наташа, — сказал я робко, — пойдем к ним...

— Когда? — спросила она, побледнев и чуть-чуть привстав с кресел. Она думала, что я зову ее сейчас.

— Нет, Ваня, — прибавила она, положив мне обе руки на плечи и грустно улыбаясь, — нет, голубчик; это всегдашний твой разговор, но... не говори лучше об этом.

— Так неужели ж никогда, никогда не кончится этот ужасный раздор! — вскричал я грустно. — Неужели ж ты до того горда, что не хочешь сделать первый шаг! Он за тобою; ты должна его первая сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтоб простить тебя... Он отец; он обижен тобою! Уважь его гордость; она законна, она естественна! Ты должна это сделать. Попробуй, и он простит тебя без всяких условий.

— Без условий! Это невозможно; и не упрекай меня, Ваня, напрасно. Я об этом дни и ночи думала и думаю. После того как я их покинула, может быть, не было дня, чтоб я об этом не думала. Да и сколько раз мы с тобой же об этом говорили! Ведь ты знаешь сам, что это невозможно!

— Попробуй!

— Нет, друг мой, нельзя. Если и попробую, то еще больше ожесточу его против себя. Безвозвратного не воротишь, и знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских, счастливых дней, которые я прожила вместе с ними. Если б отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием; лаская, он еще гладил меня по голове, так же как когда я была еще семилетней девочкой и, сидя у него на коленях, пела ему мои детские песенки. С первого детства моего до самого последнего дня он приходил к моей кровати и крестил меня на ночь. За месяц до нашего несчастья он купил мне серьги, тихонько от меня (а я всё узнала), и радовался как ребенок, воображая, как я буду рада подарку, и ужасно рассердился на всех и на меня первую, когда узнал от меня же, что мне давно уже известно о покупке серег. За три дня до моего ухода он приметил, что я грустна, тотчас же и сам загрустил до болезни, и — как ты думаешь? —

чтоб развеселить меня, он придумал взять билет в театр!.. Ей-богу, он хотел этим излечить меня! Повторяю тебе, он знал и любил девочку и не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной... Ему это и в голову не приходило. Теперь же, если б я воротилась домой, он бы меня и не узнал. Если он и простит, то кого же встретит теперь? Я уж не та, уж не ребенок, я много прожила. Если я и угожу ему, он все-таки будет вздыхать о прошедшем счастье, тосковать, что я совсем не та, как прежде, когда еще он любил меня ребенком; а старое всегда лучше кажется! С мучениями вспоминается! О, как хорошо прошедшее, Ваня! — вскричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этим восклицанием, с болью вырвавшимся из ее сердца.

— Это всё правда, — сказал я, — что ты говоришь, Наташа. Значит, ему надо теперь узнать и полюбить тебя вновь. А главное: узнать. Что ж? Он и полюбит тебя. Неужели ж ты думаешь, что он не в состоянии узнать и понять тебя, он, он, такое сердце!

— Ох, Ваня, не будь несправедлив! И что особенного во мне понимать? Я не про то говорила. Видишь, что еще: отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него всё это началось и разрешилось с Алешей, а он не знал, проглядел. Он знает, что и не предчувствовал этого, и несчастные последствия нашей любви, мой побег, приписывает именно моей «неблагодарной» скрытности. Я не пришла к нему с самого начала, я не каялась потом перед ним в каждом движении моего сердца, с самого начала моей любви; напротив, я затаила всё в себе, я пряталась от него, и, уверяю тебя, Ваня, втайне ему это обиднее, оскорбительнее, чем самые последствия любви, — то, что я ушла от них и вся отдалась моему любовнику. Положим, он встретил бы меня теперь как отец, горячо и ласково, но семя вражды останется. На второй, на третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки. К тому же он не простит без условий. Я, положим, скажу, и скажу правду, из глубины сердца, что понимаю, как его оскорбила, до какой степени перед ним виновата. И хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило всё это *счастье* с Алешей, какие я сама страдания перенесла, то я подавлю свою боль, всё перенесу, — но ему и этого будет мало. Он потребует от меня невозможного вознаграждения: он потребует, чтоб я прокляла мое прошедшее, прокляла Алешу и раскаялась в моей любви к нему. Он захочет невозможного — воротить прошедшее и вычеркнуть из нашей жизни последние полгода. Но я не прокляну никого, я не могу раскаяться... Уж так оно пришлось, так случилось... Нет, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло.

— Когда же придет время?

— Не знаю... Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье; купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием всё очищается... Ох, Ваня, сколько в жизни боли!

Я замолчал и задумчиво смотрел на нее.

— Что ты так смотришь на меня, Алеша, то бишь — Ваня? — проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибке.

— Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Где ты взяла ее? У тебя прежде не было такой.

— А что же в моей улыбке?

— Прежнее детское простодушие, правда, в ней еще есть... Но когда ты улыбаешься, точно в то же время у тебя как-нибудь сильно заболит на сердце. Вот ты похудела, Наташа, а волосы твои стали как будто гуще... Что это у тебя за платье? Это еще у них было сделано?

— Как ты меня любишь, Ваня! — отвечала она, ласково взглянув на меня. — Ну, а ты, что ты теперь делаешь? Как твои-то дела?

— Не изменились; всё роман пишу; да тяжело, не дается. Вдохновение выдохлось. Сплеча-то и можно бы написать, пожалуй, и занимательно бы вышло; да хорошую идею жаль портить. Эта из любимых. А к сроку непременно надо в журнал. Я даже думаю бросить роман и придумать повесть поскорее, так, что-нибудь легонькое и грациозное и отнюдь без мрачного направления... Это уж отнюдь... Все должны веселиться и радоваться!..

— Бедный ты труженик! А что Смит?

— Да Смит умер.

— Не приходил к тебе? Я серьезно говорю тебе, Ваня: ты болен, у тебя нервы расстроены, такие всё мечты. Когда ты мне рассказывал про наем этой квартиры, я всё это в тебе заметила. Что, квартира сыра, нехороша?

— Да! У меня еще случилась история, сегодня вечером... Впрочем, я потом расскажу.

Она меня уже не слушала и сидела в глубокой задумчивости.

— Не понимаю, как я могла уйти тогда от *них*; я в горячке была, — проговорила она наконец, смотря на меня таким взглядом, которым не ждала ответа.

Заговори я с ней в эту минуту, она бы и не слыхала меня.

— Ваня, — сказала она чуть слышным голосом, — я просила тебя за делом.

— Что такое?

— Я расстаюсь с ним.

— Рассталась или расстаешься?

— Надо кончить с этой жизнью. Я и звала тебя, чтоб выразить всё, всё, что накопилось теперь и что я скрывала от тебя до сих пор. — Она всегда так начинала со мной, поверяя мне свои тайные намерения, и всегда почти выходило, что все эти тайны я знал от нее же.

— Ах, Наташа, я тысячу раз это от тебя слышал! Конечно, вам жить вместе нельзя; ваша связь какая-то странная; между вами нет ничего общего. Но... достанет ли сил у тебя?

— Прежде были только намерения, Ваня; теперь же я решилась совсем. Я люблю его бесконечно, а между тем выходит, что

я ему первый враг; я гублю его будущность. Надо освободить его. Жениться он на мне не может; он не в силах пойти против отца. Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что он влюбился в невесту, которую ему сватают. Ему легче будет расстаться со мной. Я это должна! Это долг... Если я люблю его, то должна всем для него пожертвовать, должна доказать ему любовь мою, это долг! Не правда ли?

— Но ведь ты не уговоришь его.

— Я и не буду уговаривать. Я буду с ним по-прежнему, войди он хоть сейчас. Но я должна приискать средство, чтоб ему было легко оставить меня без угрызений совести. Вот что меня мучит, Ваня; помоги. Не присоветуешь ли чего-нибудь?

— Такое средство одно, — сказал я, — разлюбить его совсем и полюбить другого. Но вряд ли это будет средством. Ведь ты знаешь его характер? Вот он к тебе пять дней не ездит. Предположи, что он совсем оставил тебя; тебе стоит только написать ему, что ты сама его оставляешь, а он тотчас же прибежит к тебе.

— За что ты его не любишь, Ваня?

— Я!

— Да, ты, ты! Ты ему враг, тайный и явный! Ты не можешь говорить о нем без мщения. Я тысячу раз замечала, что тебе первое удовольствие унижать и чернить его! Именно чернить, я правду говорю!

— И тысячу раз уже говорила мне это. Довольно, Наташа; оставим этот разговор.

— Я бы хотела переехать на другую квартиру, — заговорила она опять после некоторого молчания. — Да ты не сердись, Ваня...

— Что ж, он придет и на другую квартиру, а я, ей-богу, не сержусь.

— Любовь сильна; новая любовь может удержать его. Если и воротится ко мне, так только разве на минуту, как ты думаешь?

— Не знаю, Наташа, в нем всё в высшей степени ни с чем не сообразно, он хочет и на той жениться и тебя любить. Он как-то может всё это вместе делать.

— Если б я знала наверно, что он любит ее, я бы решилась... Ваня! Не таи от меня ничего! Знаешь ты что-нибудь, чего мне не хочешь сказать, или нет?

Она смотрела на меня беспокойным, выпытывающим взглядом.

— Ничего не знаю, друг мой, даю тебе честное слово; с тобой я был всегда откровенен. Впрочем, я вот что еще думаю: может быть, он вовсе не влюблен в падчерицу графини так сильно, как мы думаем. Так, увлечение...

— Ты думаешь, Ваня? Боже, если б я это знала наверное! О, как бы я желала его видеть в эту минуту, только взглянуть на него. Я бы по лицу его всё узнала! И нет его! Нет его!

— Да разве ты ждешь его, Наташа?

— Нет, он у *ней*; я знаю; я посылала узнавать. Как бы я желала взглянуть и на нее... Послушай, Ваня, я скажу вздор, но

неужели же мне никак нельзя ее увидеть, нигде нельзя с нею встретиться? Как ты думаешь?

Она с беспокойством ожидала, что я скажу.

— Увидать еще можно. Но ведь только увидать — мало.

— Довольно бы того хоть увидать, а там я бы и сама угадала. Послушай: я ведь так глупа стала; хожу-хожу здесь, всё одна, всё одна, — всё думаю; мысли как какой-то вихрь, так тяжело! Я и выдумала, Ваня: нельзя ли тебе с ней познакомиться? Ведь графиня (тогда ты сам рассказывал) хвалила твой роман; ты ведь ходишь иногда на вечера к князю Р ***; она там бывает. Сделай, чтоб тебя ей там представили. А то, пожалуй, и Алеша мог бы тебя с ней познакомить. Вот ты бы мне всё и рассказал про нее.

— Наташа, друг мой, об этом после. А вот что: неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанет сил на разлуку? Посмотри теперь на себя: неужели ты покойна?

— Дос-та-нет! — отвечала она чуть слышно. — Всё для него! Вся жизнь моя для него! Но знаешь, Ваня, не могу я перенести, что он теперь у нее, обо мне позабыл, сидит возле нее, рассказывает, смеется, помнишь, как здесь, бывало, сидел... Смотрит ей прямо в глаза; он всегда так смотрит; и в мысль ему не приходит теперь, что я вот здесь... с тобой.

Она не докончила и с отчаянием взглянула на меня.

— Как же ты, Наташа, еще сейчас, только сейчас говорила...

— Пусть мы вместе, все вместе расстанемся! — перебила она с сверкающим взглядом. — Я сама его благословлю на это. Но тяжело, Ваня, когда он сам, первый, забудет меня? Ах, Ваня, какая это мука! Я сама не понимаю себя: умом выходит так, а на деле не так! Что со мною будет!

— Полно, полно, Наташа, успокойся!..

— И вот уже пять дней, каждый час, каждую минуту... Во сне ли, сплю ли — всё об нем, об нем! Знаешь, Ваня: пойдем туда, проводи меня!

— Полно, Наташа.

— Нет, пойдем! Я тебя только ждала, Ваня! Я уже три дня об этом думаю. Об этом-то деле я и писала к тебе... Ты меня должен проводить; ты не должен отказать мне в этом... Я тебя ждала... Три дня... Там сегодня вечер... он там... пойдем!

Она была как в бреду. В прихожей раздался шум; Мавра как будто спорила с кем-то.

— Стой, Наташа, кто это? — спросил я, — слушай!

Она прислушалась с недоверчивою улыбкою и вдруг страшно побледнела.

— Боже мой! Кто там? — проговорила она чуть слышным голосом.

Она хотела было удержать меня, но я вышел в прихожую к Мавре. Так и есть! Это был Алеша. Он об чем-то расспрашивал Мавру; та сначала не пускала его.

— Откудова такой явился? — говорила она, как власть имеющая. — Что? Где рыскал? Ну уж иди, иди! А меня тебе не подмаслить! Ступай-ка; что-то ответишь?

— Я никого не боюсь! Я войду! — говорил Алеша, немного, впрочем, сконфузившись.

— Ну ступай! Прыток ты больно!

— И пойду! А! И вы здесь! — сказал он, увидев меня, — как это хорошо, что и вы здесь! Ну вот и я; видите; как же мне теперь...

— Да просто войдите, — отвечал я, — чего вы боитесь?

— Я ничего не боюсь, уверяю вас, потому что я, ей-богу, не виноват. Вы думаете, я виноват? Вот увидите, я сейчас оправдаюсь. Наташа, можно к тебе? — вскрикнул он с какой-то выделанною смелостию, остановясь перед затворенною дверью.

Никто не отвечал.

— Что ж это? — спросил он с беспокойством.

— Ничего, она сейчас там была, — отвечал я, — разве что-нибудь...

Алеша осторожно отворил дверь и робко окинул глазами комнату. Никого не было.

Вдруг он увидал ее в углу, между шкафом и окном. Она стояла там, как будто спрятавшись, ни жива ни мертва. Как вспомню об этом, до сих пор не могу не улыбнуться. Алеша тихо и осторожно подошел к ней.

— Наташа, что ты? Здравствуй, Наташа, — робко проговорил он, с каким-то испугом смотря на нее.

— Ну что ж, ну... ничего!.. — отвечала она в ужасном смущении, как будто она же и была виновата. — Ты... хочешь чаю?

— Наташа, послушай... — говорил Алеша, совершенно потерявшись. — Ты, может быть, уверена, что я виноват... Но я не виноват; я нисколько не виноват! Вот видишь ли, я тебе сейчас расскажу.

— Да зачем же это? — прошептала Наташа, — нет, нет, не надо... лучше дай руку и... кончено... как всегда... — И она вышла из угла; румянец стал показываться на щеках ее.

Она смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Алешу.

— О боже мой! — вскрикнул он в восторге, — если б только был виноват, я бы не смел, кажется, и взглянуть на нее после этого! Посмотрите, посмотрите! — кричал он, обращаясь ко мне, — вот: она считает меня виноватым; всё против меня, все видимости против меня! Я пять дней не езжу! Есть слухи, что я у невесты, — и что ж? Она уж прощает меня! Она уж говорит: «Дай руку, и кончено!» Наташа, голубчик мой, ангел мой, ангел мой! Я не виноват, и ты знай это! Я не виноват ни настолечко! Напротив! Напротив!

— Но... Но ведь ты теперь *там*... Тебя теперь *туда* звали... Как же ты здесь? Ко... который час?..

— Половина одиннадцатого! Я и был та́м... Но я сказался больным и уехал и — это первый, первый раз в эти пять дней,

что я свободен, что я был в состоянии урваться от них, и приехал к тебе, Наташа. То есть я мог и прежде приехать, но я нарочно не ехал! А почему? ты сейчас узнаешь, объясню; я затем и приехал, чтоб объяснить; только, ей-богу, в этот раз я ни в чем перед тобой не виноват, ни в чем! Ни в чем!

Наташа подняла голову и взглянула на него... Но ответный взгляд его сиял такою правдивостью, лицо его было так радостно, так честно, так весело, что не было возможности ему не поверить. Я думал, они вскрикнут и бросятся друг другу в объятия, как это уже несколько раз прежде бывало при подобных же примирениях. Но Наташа, как будто подавленная счастьем, опустила на грудь голову и вдруг... тихо заплакала. Тут уж Алеша не мог выдержать. Он бросился к ногам ее. Он целовал ее руки, ноги; он был как в исступлении. Я придвинул ей кресла. Она села. Ноги ее подкашивались.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Через минуту мы все смеялись как полоумные.

— Да дайте же, дайте мне рассказать, — покрывал нас всех Алеша своим звонким голосом. — Они думают, что всё это, как и прежде... что я с пустяками приехал... Я вам говорю, что у меня самое интересное дело. Да замолчите ли вы когда-нибудь!

Ему чрезвычайно хотелось рассказать. По виду его можно было судить, что у него важные новости. Но его приготовленная важность от наивной гордости владеть такими новостями тотчас же рассмешила Наташу. Я невольно засмеялся вслед за ней. И чем больше он сердился на нас, тем больше мы смеялись. Досада и потом детское отчаяние Алеши довели наконец нас до той степени, когда стоит только показать пальчик, как гоголевскому мичману, чтоб тотчас же и покатиться со смеху. Мавра, вышедшая из кухни, стояла в дверях и с серьезным негодованием смотрела на нас, досадуя, что не досталось Алеше хорошей головомойки от Наташи, как ожидала она с наслаждением все эти пять дней, и что вместо того все так веселы

Наконец Наташа, видя, что наш смех обижает Алешу, перестала смеяться.

— Что же ты хочешь рассказать? — спросила она.

— А что, поставить, что ль, самовар? — спросила Мавра, без малейшего уважения перебивая Алешу.

— Ступай, Мавра, ступай, — отвечал он, махая на нее руками и торопясь прогнать ее. — Я буду рассказывать всё, что было, всё, что есть, и всё, что будет, потому что я всё это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти пять дней, — это-то я и хочу рассказать; а вы мне не даете. Ну, и, во-первых, я тебя всё

время обманывал, Наташа, всё это время, давным-давно уж обманывал, и это-то и есть самое главное.

— Обманывал?

— Да, обманывал, уже целый месяц; еще до приезда отца начал; теперь пришло время полной откровенности. Месяц тому назад, когда еще отец не приезжал, я вдруг получил от него огромнейшее письмо и скрыл это от вас обоих. В письме он прямо и просто — и заметьте себе, таким серьезным тоном, что я даже испугался, — объявлял мне, что дело о моем сватовстве уже кончилось, что невеста моя совершенство; что я, разумеется, ее не стою, но что все-таки непременно должен на ней жениться. И потому, чтоб приготовлялся, чтоб выбил из головы все мои вздоры и так далее, и так далее, — ну, уж известно, какие это вздоры. Вот это-то письмо я от вас и утаил...

— Совсем не утаил! — перебила Наташа, — вот чем хвалится! А выходит, что всё тотчас же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный и не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь, и всё письмо нам по отрывкам и рассказал.

— Не может быть, главного, наверно, не рассказал. Может быть, вы оба угадали что-нибудь, это уж ваше дело, а я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал.

— Я помню, Алеша, вы со мной тогда поминутно советовались и всё мне рассказали, отрывками, разумеется, в виде предположений, — прибавил я, смотря на Наташу.

— Всё рассказал! Уж не хвастайся, пожалуйста! — подхватила она. — Ну, что ты можешь скрыть? Ну, тебе ли быть обманщиком? Даже Мавра всё узнала. Знала ты, Мавра?

— Ну, как не знать! — отозвалась Мавра, просунув к нам свою голову, — всё в три же первые дня рассказал. Не тебе бы хитрить!

— Фу, какая досада с вами разговаривать! Ты всё это из злости делаешь, Наташа! А ты, Мавра, тоже ошибаешься. Я, помню, был тогда как сумасшедший; помнишь, Мавра?

— Как не помнить. Ты и теперь как сумасшедший.

— Нет, нет, я не про то говорю. Помнишь! Тогда еще у нас денег не было, и ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать; а главное, позволь тебе заметить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься. Это всё тебя Наташа приучила. Ну, положим, я действительно всё вам рассказал тогда же, отрывками (я это теперь припоминаю). Но тона, тона письма вы не знаете, а ведь в письме главное тон. Про это я и говорю.

— Ну, а какой же тон? — спросила Наташа.

— Послушай, Наташа, ты спрашиваешь — точно шутишь. Не *шути*. Уверяю тебя, это очень важно. Такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил. То есть скорее Лиссабон провалится, чем не сбудется по его желанию; вот какой тон!

— Ну-ну, рассказывай; зачем же тебе надо было скрывать от меня?

— Ах, боже мой! да чтоб тебя не испугать. Я надеялся всё сам уладить. Ну, так вот, после этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки. Я приготовился ему отвечать твердо, ясно, серьезно, да всё как-то не удавалось. А он даже и не расспрашивал; хитрец! Напротив, показывал такой вид, как будто уже всё дело решено и между нами уже не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь, *не может быть* даже; такая самонадеянность! Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Как он умен, Иван Петрович, если б вы знали! Он всё читал, всё знает; вы на него только один раз посмотрите, а уж он все ваши мысли, как свои, знает. Вот за это-то, верно, и прозвали его иезуитом. Наташа не любит, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну, так вот... а кстати! Он мне денег сначала не давал, а теперь дал, вчера. Наташа! Ангел мой! Кончилась теперь наша бедность! Вот, смотри! Всё, что уменьшил мне в наказание, за все эти полгода, всё вчера додал; смотрите сколько; я еще не сосчитал. Мавра, смотри, сколько денег! Теперь уж не будем ложки да запонки закладывать!

Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег, тысячи полторы серебром, и положил па стол. Мавра с удовольствием на нее посмотрела и похвалила Алешу. Наташа сильно торопила его.

— Ну, так вот — что мне делать, думаю? — продолжал Алеша, — ну как против него пойти? То есть, клянусь вам обоим, будь он зол со мной, а не такой добрый, я бы и не думал ни о чем. Я прямо бы сказал ему, что не хочу, что я уж сам вырос и стал человеком, и теперь — кончено! И, поверьте, настоял бы на своем. А тут — что я ему скажу? Но не вините и меня. Я вижу, ты как будто недовольна, Наташа. Чего вы оба переглядываетесь? Наверно, думаете: вот уж его сейчас и оплели и ни капли в нем твердости нет. Есть твердость, есть, и еще больше, чем вы думаете! А доказательство, что, несмотря на мое положение, я тотчас же сказал себе: это мой долг; я должен всё, всё высказать отцу, и стал говорить, и высказал, и он меня выслушал.

— Да что же, что именно ты высказал? — с беспокойством спросила Наташа.

— А то, что не хочу никакой другой невесты, а что у меня есть своя, — это ты. То есть я прямо этого еще до сих пор не высказал, но я его приготовил к этому, а завтра скажу; так уж я решил. Сначала я стал говорить о том, что жениться на деньгах стыдно и неблагородно и что нам считать себя какими-то аристократами — просто глупо (я ведь с ним совершенно откровенно, как брат с братом). Потом объяснил ему тут же, что я tiers état и что tiers état c'est l'essentiel;[1] что я горжусь тем, что похож на всех, и не хочу ни от кого отличаться... Я говорил горячо, увлекательно.

---

[1] третье сословие... третье сословие — это главное (*франц.*).

Я сам себе удивлялся. Я доказал ему наконец и с его точки зрения.. я прямо сказал: какие мы князья? Только по роду; а в сущности что в нас княжеского? Особенного богатства, во-первых, нет, а богатство — главное. Нынче самый главный князь — Ротшильд. Во-вторых, в настоящем-то большом свете об нас уж давно не слыхивали. Последний был дядя, Семен Валковский, да тот только в Москве был известен, да и то тем, что последние триста душ прожил, и если б отец не нажил сам денег, то его внуки, может быть, сами бы землю пахали, как и есть такие князья. Так нечего и нам заноситься. Одним словом, я всё высказал, что у меня накипело, — всё, горячо и откровенно, даже еще прибавил койчто. Он даже и не возражал, а просто начал меня упрекать, что я бросил дом графа Наинского, а потом сказал, что надо подмазаться к княгине К., моей крестной матери, и что если княгиня К. меня хорошо примет, так, значит, и везде примут и карьера сделана, и пошел, и пошел расписывать! Это всё намеки на то, что я, как сошелся с тобой, Наташа, то всех их бросил; что это, стало быть, твое влияние. Но прямо он до сих пор не говорил про тебя, даже, видимо, избегает. Мы оба хитрим, выжидаем, ловим друг друга, и будь уверена, что и на нашей улице будет праздник.

— Да хорошо уж; чем же кончилось, как он-то решил? Вот что главное. И какой ты болтун, Алеша...

— А господь его знает, совсем и не разберешь, как он решил; а я вовсе не болтун, я дело говорю: он даже и не решал, а только на все мои рассуждения улыбался, но такой улыбкой, как будто ему жалко меня. Я ведь понимаю, что это унизительно, да я не стыжусь. Я, говорит, совершенно с тобой согласен, а вот поедем-ка к графу Наинскому, да смотри, там этого ничего не говори. Я-то тебя понимаю, да они-то тебя не поймут. Кажется, и его самого они все не совсем хорошо принимают; за что-то сердятся. Вообще в свете отца теперь что-то не любят! Граф сначала принимал меня чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже совсем как будто забыл, что я вырос в его доме, припоминать начал, ей-богу! Он просто сердится на меня за неблагодарность, а, право, тут не было никакой от меня неблагодарности; в его доме ужасно скучно — ну, я и не ездил. Он и отца принял ужасно небрежно; так небрежно, так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит. Всё это меня возмутило. Бедный отец должен перед ним чуть не спину гнуть; я понимаю, что всё это для меня, да мне-то ничего не нужно. Я было хотел потом высказать отцу все мои чувства да удержался. Да и зачем! Убеждений его я не переменю, а только его раздосадую; а ему и без того тяжело. Ну, думаю, пущусь на хитрости, перехитрю их всех, заставлю графа уважать себя — и что ж? Тотчас же всего достиг, в какой-нибудь один день всё переменилось! Граф Наинский не знает теперь, куда меня посадить. И всё это я сделал, один я, через свою собственную хитрость, так что отец только руки расставил!..

— Послушай, Алеша, ты бы лучше рассказывал о деле! — вскричала нетерпеливая Наташа. — Я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь, а тебе только хочется рассказать, как ты там отличился у графа Наинского. Какое мне дело до твоего графа!

— Какое дело! Слышите, Иван Петрович, какое дело? Да в этом-то и самое главное дело. Вот ты увидишь сама; всё под конец объяснится. Только дайте мне рассказать... А наконец (почему же не сказать откровенно!), вот что, Наташа, да и вы тоже, Иван Петрович, я, может быть, действительно иногда очень, очень нерассудителен; ну, да, положим даже (ведь иногда и это бывало), просто глуп. Но тут, уверяю вас, я выказал много хитрости... ну... и, наконец, даже ума; так что я думал, вы сами будете рады, что я не всегда же... неумен.

— Ах, что ты, Алеша, полно! Голубчик ты мой!..

Наташа сносить не могла, когда Алешу считали неумным. Сколько раз, бывало, она дулась на меня, не высказывая на словах, если я, не слишком церемонясь, доказывал Алеше, что он сделал какую-нибудь глупость; это было больное место в ее сердце. Она не могла снести унижения Алеши и, вероятно, тем более, что про себя сознавалась в его ограниченности. Но своего мнения отнюдь ему не высказывала и боялась этого, чтоб не оскорбить его самолюбия. Он же в этих случаях был как-то особенно проницателен и всегда угадывал ее тайные чувства. Наташа это видела и очень печалилась, тотчас же льстила ему, ласкала его. Вот почему теперь слова его больно отозвались в ее сердце...

— Полно, Алеша, ты только легкомыслен, а ты вовсе не такой, — прибавила она, — с чего ты себя унижаешь?

— Ну, и хорошо; ну, так вот и дайте мне досказать. После приема у графа отец даже разозлился на меня. Думаю, постой! Мы тогда ехали к княгине; я давно уже слышал, что она от старости почти из ума выжила и вдобавок глухая, и ужасно любит собачонок. У ней целая стая, и она души в них не слышит. Несмотря на всё это, она с огромным влиянием в свете, так что даже граф Наинский, le superbe, [1] у ней antichambre делает. [2] Вот я дорогою и основал план всех дальнейших действий, и как вы думаете, на чем основал? На том, что меня все собаки любят, ей-богу! Я это заметил. Или во мне магнетизм какой-нибудь сидит, или потому, что я сам очень люблю всех животных, уж не знаю, только любят собаки, да и только! Кстати о магнетизме, я тебе еще не рассказывал, Наташа, мы на днях духов вызывали, я был у одного вызывателя; это ужасно любопытно, Иван Петрович, даже поразило меня. Я Юлия Цезаря вызывал.

— Ах, боже мой! Ну, зачем тебе Юлия Цезаря? — вскричала Наташа, заливаясь смехом. — Этого недоставало!

---

[1] гордец (*франц.*).
[2] является на поклон (*франц.*).

— Да почему же... точно я какой-нибудь... Почему же я не имею права вызвать Юлия Цезаря? Что ему сделается? Вот смеется!

— Да ничего, конечно, не сделается... ах, голубчик ты мой! Ну, что ж тебе сказал Юлий Цезарь?

— Да ничего не сказал. Я только держал карандаш, а карандаш сам ходил по бумаге и писал. Это, говорят, Юлий Цезарь пишет. Я этому не верю.

— Да что ж написал-то?

— Да написал что-то вроде «обмокни», как у Гоголя... да полно смеяться!

— Да рассказывай про княгиню-то!

— Ну, да вот вы всё меня перебиваете. Приехали мы к княгине, и я начал с того, что стал куртизанить с Мими. Эта Мими — старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, к тому же упрямая и кусака. Княгиня без ума от нее, не надышит; она, кажется, ей ровесница. Я начал с того, что стал Мими конфетами прикармливать и в какие-нибудь десять минут выучил подавать лапку, чему во всю жизнь не могли ее выучить. Княгиня пришла просто в восторг; чуть не плачет от радости: «Мими! Мими! Мими лапку дает!» Приехал кто-то: «Мими лапку дает! Вот выучил крестник!» Граф Наинский вошел: «Мими лапку дает!» На меня смотрит чуть не со слезами умиления. Предобрейшая старушка; даже жалко ее. Я не промах, тут опять ей польстил: у ней на табакерке ее собственный портрет, когда еще она невестой была, лет шестьдесят назад. Вот и урони она табакерку, я подымаю да и говорю, точно не знаю: Quelle charmante peinture! [1] Это идеальная красота! Ну, тут она уж совсем растаяла; со мной и о том и о сем, и где я учился, и у кого бываю, и какие у меня славные волосы, и пошла, и пошла. Я тоже: рассмешил ее, историю скандалезную ей рассказал. Она это любит; только пальцем мне погрозила, а впрочем, очень смеялась. Отпускает меня — целует и крестит, требует, чтоб каждый день я приезжал ее развлекать. Граф мне руку жмет, глаза у него стали масленые; а отец, хоть он и добрейший, и честнейший, и благороднейший человек, но верьте или не верьте, а чуть не плакал от радости, когда мы вдвоем домой приехали; обнимал меня, в откровенности пустился, в какие-то таинственные откровенности, насчет карьеры, связей, денег, браков, так что я многого и не понял. Тут-то он и денег мне дал. Это вчера было. Завтра я опять к княгине, но отец все-таки благороднейший человек — не думайте чего-нибудь, и хоть отдаляет меня от тебя, Наташа, но это потому, что он ослеплен, потому что ему миллионов Катиных хочется, а у тебя их нет; и хочет он их для одного меня, и только по незнанию несправедлив к тебе. А какой отец не хочет счастья своему сыну? Ведь он не виноват, что привык считать в миллионах счастье. Так уж они все. Ведь смотреть на него нужно только с этой точки, не иначе, — вот он тотчас же и

---

[1] Какое прелестное изображение! (*франц.*).

выйдет прав. Я нарочно спешил к тебе, Наташа, уверить тебя в этом, потому, я знаю, ты предубеждена против него и, разумеется, в этом не виновата. Я тебя не виню...

— Так только-то и случилось с тобой, что ты карьеру у княгини сделал? В этом и вся хитрость? — спросила Наташа.

— Какое! Что ты! Это только начало... я потому рассказал про княгиню, что, понимаешь, я через нее отца в руки возьму, а главная моя история еще и не начиналась.

— Ну, так рассказывай же!

— Со мной сегодня случилось еще происшествие, и даже очень странное, и я до сих пор еще поражен, — продолжал Алеша. — Надо вам заметить, что хоть у отца с графиней и порешено наше сватовство, но официально еще до сих пор решительно ничего не было, так что мы хоть сейчас разойдемся и никакого скандала; один только граф Наинский знает, но ведь это считается родственник и покровитель. Мало того, хоть я в эти две недели и очень сошелся с Катей, но до самого сегодняшнего вечера мы ни слова не говорили с ней о будущем, то есть о браке и... ну, и о любви. Кроме того, положено сначала испросить согласие княгини К., от которой ждут у нас всевозможного покровительства и золотых дождей. Что скажет она, то скажет и свет; у ней такие связи... А меня непременно хотят вывести в свет и в люди. Но особенно на всех этих распоряжениях настаивает графиня, мачеха Кати. Дело в том, что княгиня, за все ее заграничные штуки, пожалуй, еще ее и не примет, а княгиня не примет, так и другие, пожалуй, не примут; так вот и удобный случай — сватовство мое с Катей. И потому графиня, которая прежде была против сватовства, страшно обрадовалась сегодня моему успеху у княгини, но это в сторону, а вот что главное: Катерину Федоровну я знал еще с прошлого года; но ведь я был тогда еще мальчиком и ничего не мог понимать, а потому ничего и не разглядел тогда в ней...

— Просто ты тогда любил меня больше, — прервала Наташа,— оттого и не разглядел, а теперь...

— Ни слова, Наташа, — вскричал с жаром Алеша, — ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь!.. Я даже не возражаю тебе; выслушай дальше, и ты всё увидишь... Ох, если б ты знала Катю! Если б ты знала, что это за нежная, ясная, голубиная душа! Но ты узнаешь; только дослушай до конца! Две недели тому назад, когда по приезде их отец повез меня к Кате, я стал в нее пристально вглядываться. Я заметил, что и она в меня вглядывается. Это завлекло мое любопытство вполне; уж я не говорю про то, что у меня было свое особенное намерение узнать ее поближе, — намерение еще с того самого письма от отца, которое меня так поразило. Не буду ничего говорить, не буду хвалить ее, скажу только одно: она яркое исключение из всего круга. Это такая своеобразная натура, такая сильная и правдивая душа, сильная именно своей чистотой и правдивостью, что я перед ней просто мальчик, младший брат ее, несмотря на то что ей всего

только семнадцать лет. Одно еще я заметил: в ней много грусти, точно тайны какой-то; она неговорлива; в доме почти всегда молчит, точно запугана... Она как будто что-то обдумывает. Отца моего как будто боится. Мачеху не любит — я догадался об этом; это сама графиня распускает, для каких-то целей, что падчерица ее ужасно любит; всё это неправда: Катя только слушается ее беспрекословно и как будто уговорилась с ней в этом; четыре дня тому назад, после всех моих наблюдений, я решился исполнить мое намерение и сегодня вечером исполнил его. Это: рассказать всё Кате, признаться ей во всем, склонить ее на нашу сторону и тогда разом покончить дело...

— Как! Что рассказать, в чем признаться? — спросила с беспокойством Наташа.

— Всё, решительно всё, — отвечал Алеша, — и благодарю бога, который внушил мне эту мысль; но слушайте, слушайте! Четыре дня тому назад я решил так: удалиться от вас и кончить всё самому. Если б я был с вами, я бы всё колебался, я бы слушал вас и никогда бы не решился. Один же, поставив именно себя в такое положение, что каждую минуту должен был твердить себе, что надо кончить и что я *должен* кончить, я собрался с духом и — кончил! Я положил воротиться к вам с решением и воротился с решением!

— Что же, что же? Как было дело? Рассказывай поскорее!

— Очень просто! Я подошел к ней прямо, честно и смело... Но, во-первых, я должен вам рассказать один случай перед этим, который ужасно поразил меня. Перед тем как нам ехать, отец получил какое-то письмо. Я в это время входил в его кабинет и остановился у двери. Он не видал меня. Он до того был поражен этим письмом, что говорил сам с собою, восклицал что-то, вне себя ходил по комнате и наконец вдруг захохотал, а в руках письмо держит. Я даже побоялся войти, переждал еще и потом вошел. Отец был так рад чему-то, так рад; заговорил со мной как-то странно; потом вдруг прервал и велел мне тотчас же собираться ехать, хотя еще было очень рано. У них сегодня никого не было, только мы одни, и ты напрасно думала, Наташа, что там был званый вечер. Тебе не так передали...

— Ах, не отвлекайся, Алеша, пожалуйста; говори, как ты рассказывал всё Кате!

— Счастье в том, что мы с ней целых два часа оставались одни. Я просто объявил ей, что хоть нас и хотят сосватать, но брак наш невозможен; что в сердце моем все симпатии к ней и что она одна может спасти меня. Тут я открыл ей всё. Представь себе, она ничего не знала из нашей истории, про нас с тобой, Наташа! Если б ты могла видеть, как она была тронута; сначала даже испугалась. Побледнела вся. Я рассказал ей всю нашу историю: как ты бросила для меня свой дом, как мы жили одни, как мы теперь мучаемся, боимся всего и что теперь мы прибегаем к ней (я и от твоего имени говорил, Наташа), чтоб она сама взяла нашу сто-

рону и прямо сказала бы мачехе, что не хочет идти за меня, что в этом всё наше спасение и что нам более нечего ждать ниоткуда. Она с таким любопытством слушала, с такой симпатией. Какие у ней были глаза в ту минуту! Кажется, вся душа ее перешла в ее взгляд. У ней совсем голубые глаза. Она благодарила меня, что я не усомнился в ней, и дала слово помогать нам всеми силами. Потом о тебе стала расспрашивать, говорила, что очень хочет познакомиться с тобой, просила передать, что уже любит тебя как сестру и чтоб и ты ее любила как сестру, а когда узнала, что я уже пятый день тебя не видал, тотчас же стала гнать меня к тебе...

Наташа была тронута.

— И ты прежде этого мог рассказывать о своих подвигах у какой-то глухой княгини! Ах, Алеша, Алеша! — вскрикнула она, с упреком на него глядя. — Ну что ж Катя? Была рада, весела, когда отпускала тебя?

— Да, она была рада, что удалось ей сделать благородное дело, а сама плакала. Потому что она ведь тоже любит меня, Наташа! Она призналась, что начинала уже любить меня; что она людей не видит и что я понравился ей уже давно; она отличила меня особенно потому, что кругом всё хитрость и ложь, а я показался ей человеком искренним и честным. Она встала и сказала: «Ну, бог с вами, Алексей Петрович, а я думала...» Не договорила, заплакала и ушла. Мы решили, что завтра же она и скажет мачехе, что не хочет за меня, и что завтра же я должен всё сказать отцу и высказать твердо и смело. Она упрекала меня, зачем я раньше ему не сказал: «Честный человек ничего не должен бояться!» Она такая благородная. Отца моего она тоже не любит; говорит, что он хитрый и ищет денег. Я защищал его; она мне не поверила. Если же не удастся завтра у отца (а она наверное думает, что не удастся), тогда и она соглашается, чтоб я прибегнул к покровительству княгини К. Тогда уже никто из них не осмелится идти против. Мы с ней дали друг другу слово быть как брат с сестрой. О, если б ты знала и ее историю, как она несчастна, с каким отвращением смотрит на свою жизнь у мачехи, на всю эту обстановку... Она прямо не говорила, точно и меня боялась, но я по некоторым словам угадал. Наташа, голубчик мой! Как бы залюбовалась она на тебя, если б увидала! И какое у ней сердце доброе! С ней так легко! Вы обе созданы быть одна другой сестрами и должны любить друг друга. Я всё об этом думал. И право: я бы свел вас обеих вместе, а сам бы стоял возле да любовался на вас. Не думай же чего-нибудь, Наташечка, и позволь мне про нее говорить. Мне именно с тобой хочется про нее говорить, а с ней про тебя. Ты ведь знаешь, что я тебя больше всех люблю, больше ее... Ты мое всё!

Наташа молча смотрела на него, ласково и как-то грустно. Его слова как будто ласкали и как будто чем-то мучили ее.

— И давно, еще две недели назад, я оценил Катю, — продолжал он. — Я ведь каждый вечер к ним ездил. Ворочусь, бывало,

домой и всё думаю, всё думаю о вас обеих, всё сравниваю вас между собою.

— Которая же из нас выходила лучше? — спросила, улыбаясь, Наташа.

— Иной раз ты, другой она. Но ты всегда лучше оставалась. Когда же я говорю с ней, я всегда чувствую, что сам лучше становлюсь, умнее, благороднее как-то. Но завтра, завтра всё решится!

— И не жаль ее тебе? Ведь она любит тебя; ты говоришь, что сам это заметил?

— Жаль, Наташа! Но мы будем все трое любить друг друга, и тогда...

— А тогда и прощай! — проговорила тихо Наташа как будто про себя. Алеша с недоумением посмотрел на нее.

Но разговор наш вдруг был прерван самым неожиданным образом. В кухне, которая в то же время была и переднею, послышался легкий шум, как будто кто-то вошел. Через минуту Мавра отворила дверь и украдкой стала кивать Алеше, вызывая его. Все мы оборотились к ней.

— Там вот спрашивают тебя, пожалуй-ка, — сказала она каким-то таинственным голосом.

— Кто меня может теперь спрашивать? — проговорил Алеша, с недоумением глядя на нас. — Пойду!

В кухне стоял ливрейный лакей князя, его отца. Оказалось, что князь, возвращаясь домой, остановил свою карету у квартиры Наташи и послал узнать, у ней ли Алеша? Объявив это, лакей тотчас же вышел.

— Странно! Этого еще никогда не было, — говорил Алеша, в смущении нас оглядывая, — что это?

Наташа с беспокойством смотрела на него. Вдруг Мавра опять отворила к нам дверь.

— Сам идет, князь! — сказала она ускоренным шепотом и тотчас же спряталась.

Наташа побледнела и встала с места. Вдруг глаза ее загорелись. Она стала, слегка опершись на стол, и в волнении смотрела на дверь, в которую должен был войти незваный гость.

— Наташа, не бойся, ты со мной! Я не позволю обидеть тебя, — прошептал смущенный, но не потерявшийся Алеша.

Дверь отворилась, и на пороге явился сам князь Валковский своею собственною особою.

Глава II

Он окинул нас быстрым, внимательным взглядом. По этому взгляду еще нельзя было угадать: явился он врагом или другом? Но опишу подробно его наружность. В этот вечер он особенно поразил меня.

Я видел его и прежде. Это был человек лет сорока пяти, не больше, с правильными и чрезвычайно красивыми чертами лица, которого выражение изменялось судя по обстоятельствам; но изменялось резко, вполне, с необыкновенною быстротою, переходя от самого приятного до самого угрюмого или недовольного, как будто внезапно была передернута какая-то пружинка. Правильный овал лица несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие и довольно тонкие губы, красиво обрисованные, прямой, несколько продолговатый нос, высокий лоб, на котором еще не видно было ни малейшей морщинки, серые, довольно большие глаза — всё это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления. Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное, и какое-то слепое убеждение зарождалось в вас, что вы никогда и не добьетесь до настоящего его выражения. Вглядываясь пристальнее, вы начинали подозревать под всегдашней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое. Особенно останавливали ваше внимание его прекрасные с виду глаза, серые, открытые. Они одни как будто не могли вполне подчиняться его воле. Он бы и хотел смотреть мягко и ласково, но лучи его взглядов как будто раздваивались и между мягкими, ласковыми лучами мелькали жесткие, недоверчивые, пытливые, злые... Он был довольно высокого роста, сложен изящно, несколько худощаво и казался несравненно моложе своих лет. Темно-русые мягкие волосы его почти еще и не начинали седеть. Уши, руки, оконечности ног его были удивительно хороши. Это была вполне породистая красивость. Одет он был с утонченною изящностию и свежестию, но с некоторыми замашками молодого человека, что, впрочем, к нему шло. Он казался старшим братом Алеши. По крайней мере его никак нельзя было принять за отца такого взрослого сына.

Он подошел прямо к Наташе и сказал ей, твердо смотря на нее:

— Мой приход к вам в такой час и без доклада — странен и вне принятых правил; но я надеюсь, вы поверите, что, по крайней мере, я в состоянии сознать всю эксцентричность моего поступка. Я знаю тоже, с кем имею дело; знаю, что вы проницательны и великодушны. Подарите мне только десять минут, и я надеюсь, вы сами меня поймете и оправдаете.

Он выговорил всё это вежливо, но с силой и с какой-то настойчивостью.

— Садитесь, — сказала Наташа, еще не освободившаяся от первого смущения и некоторого испуга.

Он слегка поклонился и сел.

— Прежде всего позвольте мне сказать два слова ему, — начал он, указывая на сына. — Алеша, только что ты уехал, не дождавшись меня и даже не простясь с нами, графине доложили, что с Катериной Федоровной дурно. Она бросилась было к ней, но

Катерина Федоровна вдруг вошла к нам сама, расстроенная и в сильном волнении. Она сказала нам прямо, что не может быть твоей женой. Она сказала еще, что пойдет в монастырь, что ты просил ее помощи и сам признался ей, что любишь Наталью Николаевну... Такое невероятное признание от Катерины Федоровны и, наконец, в такую минуту, разумеется, было вызвано чрезвычайною странностию твоего объяснения с нею. Она была почти вне себя. Ты понимаешь, как я был поражен и испуган. Проезжая теперь мимо, я заметил в ваших окнах огонь, — продолжал он, обращаясь к Наташе. — Тогда мысль, которая преследовала меня уже давно, до того вполне овладела мною, что я не в состоянии был противиться первому влечению и вошел к вам. Зачем? Скажу сейчас, но прошу наперед, не удивляйтесь некоторой резкости моего объяснения. Всё это так внезапно...

— Я надеюсь, что пойму и как должно... оценю то, что вы скажете, — проговорила, запинаясь, Наташа.

Князь пристально в нее всматривался, как будто спешил *разучить* ее вполне в одну какую-нибудь минуту.

— Я и надеюсь на вашу проницательность, — продолжал он, — и если позволил себе прийти к вам теперь, то именно потому, что знал, с кем имею дело. Я давно уже знаю вас, несмотря на то что когда-то был так несправедлив и виноват перед вами. Выслушайте: вы знаете, между мной и отцом вашим — давнишние неприятности. Не оправдываю себя; может быть, я более виноват перед ним, чем сколько полагал до сих пор. Но если так, то я сам был обманут. Я мнителен и сознаюсь в том. Я склонен подозревать дурное прежде хорошего — черта несчастная, свойственная сухому сердцу. Но я не имею привычки скрывать свои недостатки. Я поверил всем наговорам и, когда вы оставили ваших родителей, я ужаснулся за Алешу. Но я вас еще не знал. Справки, сделанные мною мало-помалу, ободрили меня совершенно. Я наблюдал, изучал и наконец убедился, что подозрения мои неосновательны. Я узнал, что вы рассорились с вашим семейством, знаю тоже, что ваш отец всеми силами против вашего брака с моим сыном. И уж одно то, что вы, имея такое влияние, такую, можно сказать, власть над Алешей, не воспользовались до сих пор этою властью и не заставили его жениться на себе, уж одно это выказывает вас со стороны слишком хорошей. И все-таки, сознаюсь перед вами вполне, я всеми силами решился тогда препятствовать всякой возможности вашего брака с моим сыном. Я знаю, я выражаюсь слишком откровенно, но в эту минуту откровенность с моей стороны нужнее всего; вы сами согласитесь с этим, когда меня дослушаете. Скоро после того, как вы оставили ваш дом, я уехал из Петербурга; но, уезжая, я уже не боялся за Алешу. Я надеялся на благородную гордость вашу. Я понял, что вы сами не хотели брака прежде окончания наших фамильных неприятностей; не хотели нарушать согласия между Алешей и мною, потому что я никогда бы не простил ему его брака с вами; не хотели тоже,

чтоб сказали про вас, что вы искали жениха-князя и связей с нашим домом. Напротив, вы даже показали пренебрежение к нам и, может быть, ждали той минуты, когда я сам приду просить вас сделать нам честь отдать вашу руку моему сыну. Но все-таки я упорно оставался вашим недоброжелателем. Оправдывать себя не стану, но причин моих от вас не скрою. Вот они: вы не знатны и не богаты. Я хоть и имею состояние, но нам надо больше. Наша фамилия в упадке. Нам нужно связей и денег. Падчерица графини Зинаиды Федоровны хоть и без связей, но очень богата. Промедлить немного, и явились бы искатели и отбили бы у нас невесту; а нельзя было терять такой случай, и, несмотря на то что Алеша еще слишком молод, я решился его сватать. Видите, я не скрываю ничего. Вы можете с презрением смотреть на отца, который сам сознается в том, что наводил сына, из корысти и из предрассудков, на дурной поступок; потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем и перед которой он так виноват, — это дурной поступок. Но не оправдываю себя. Вторая причина предполагавшегося брака моего сына с падчерицею графини Зинаиды Федоровны та, что эта девушка в высшей степени достойна любви и уважения. Она хороша собой, прекрасно воспитана, с превосходным характером и очень умна, хотя во многом еще ребенок. Алеша без характера, легкомыслен, чрезвычайно нерассудителен, в двадцать два года еще совершенно ребенок и разве только с одним достоинством, с добрым сердцем, — качество даже опасное при других недостатках. Уже давно я заметил, что мое влияние на него начинает уменьшаться: пылкость, юношеские увлечения берут свое и даже берут верх над некоторыми настоящими обязанностями. Я его, может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного меня руководителем. А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным, благодетельным влиянием. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чем повелевать. Так он и останется на всю свою жизнь. Можете себе представить, как я обрадовался, встретив в Катерине Федоровне идеал девушки, которую бы я желал в жены своему сыну. Но я обрадовался поздно; над ним уже неразрушимо царило другое влияние — ваше. Я зорко наблюдал его, воротясь месяц тому назад в Петербург, и с удивлением заметил в нем значительную перемену к лучшему. Легкомыслие, детскость — в нем почти еще те же, но в нем укрепились некоторые благородные внушения; он начинает интересоваться не одними игрушками, а тем, что возвышенно, благородно, честно. Идеи его странны, неустойчивы, иногда нелепы; но желания, влечения, но сердце — лучше, а это фундамент для всего; и всё это лучшее в нем — бесспорно от вас. Вы перевоспитали его. Признаюсь вам, у меня тогда же промелькнула мысль, что вы, более чем кто-нибудь, могли бы составить его счастье. Но я прогнал эту мысль, я не хотел этих мыслей. Мне надо было отвлечь его от вас во что бы то ни стало; я стал дей-

ствовать и думал, что достиг своей цели. Еще час тому назад я думал, что победа на моей стороне. Но происшествие в доме графини разом перевернуло все мои предположения, и прежде всего меня поразил неожиданный факт: странная в Алеше серьезность, строгость привязанности к вам, упорство, живучесть этой привязанности. Повторяю вам: вы перевоспитали его окончательно. Я вдруг увидел, что перемена в нем идет еще дальше, чем даже я полагал. Сегодня он вдруг выказал передо мною признак ума, которого я отнюдь не подозревал в нем, и в то же время необыкновенную тонкость, догадливость сердца. Он выбрал самую верную дорогу, чтоб выйти из положения, которое считал затруднительным. Он затронул и возбудил самые благороднейшие способности человеческого сердца, именно — способность прощать и отплачивать за зло великодушием. Он отдался во власть обиженного им существа и прибег к нему же с просьбою об участии и помощи. Он затронул всю гордость женщины, уже любившей его, прямо признавшись ей, что у нее есть соперница, и в то же время возбудил в ней симпатию к ее сопернице, а для себя прощение и обещание бескорыстной братской дружбы. Идти на такое объяснение и в то же время не оскорбить, не обидеть — на это иногда не способны даже самые ловкие мудрецы, а способны именно сердца свежие, чистые и хорошо направленные, как у него. Я уверен, что вы, Наталья Николаевна, не участвовали в его сегодняшнем поступке ни словом, ни советом. Вы, может быть, только сейчас узнали обо всем от него же. Я не ошибаюсь? Не правда ли?

— Вы не ошибаетесь, — повторила Наташа, у которой пылало всё лицо и глаза сияли каким-то странным блеском, точно вдохновением. Диалектика князя начинала производить свое действие. — Я пять дней не видала Алеши, — прибавила она. — Всё это он сам выдумал, сам и исполнил.

— Непременно так, — подтвердил князь, — но, несмотря на то, вся эта неожиданная его прозорливость, вся эта решимость, сознание долга, наконец вся эта благородная твердость — всё это вследствие вашего влияния над ним. Всё это я окончательно сообразил и обдумал сейчас, едучи домой, а обдумав, вдруг ощутил в себе силу решиться. Сватовство наше с домом графини разрушено и восстановиться не может; но если б и могло — ему не бывать уже более. Что ж, если я сам убедился, что вы одна только можете составить его счастие, что вы — настоящий руководитель его, что вы уже положили начало его будущему счастью! Я не скрыл от вас ничего, не скрываю и теперь; я очень люблю карьеры, деньги, знатность, даже чины; сознательно считаю многое из этого предрассудком, но люблю эти предрассудки и решительно не хочу попирать их. Но есть обстоятельства, когда надо допустить и другие соображения, когда нельзя всё мерить на одну мерку... Кроме того, я люблю моего сына горячо. Одним словом, я пришел к заключению, что Алеша не должен разлучаться с вами, потому что без вас погибнет. И признаться ли? Я, может быть, целый

месяц как решил это и только теперь сам узнал, что я решил справедливо. Конечно, чтоб высказать вам всё это, я бы мог посетить вас и завтра, а не беспокоить вас почти в полночь. Но теперешняя поспешность моя, может быть, покажет вам, как горячо и, главное, как искренно я берусь за это дело. Я не мальчик; я не мог бы в мои лета решиться на шаг необдуманный. Когда я входил сюда, уже всё было решено и обдумано. Но я чувствую, что мне еще долго надо будет ждать, чтоб убедить вас вполне в моей искренности... Но к делу! Объяснять ли мне теперь вам, зачем я пришел сюда? Я пришел, чтоб исполнить мой долг перед вами и — торжественно, со всем беспредельным моим к вам уважением, прошу вас осчастливить моего сына и отдать ему вашу руку. О, не считайте, что я явился как грозный отец, решившийся наконец простить моих детей и милостиво согласиться на их счастье. Нет! Нет! Вы унизите меня, предположив во мне такие мысли. Не сочтите тоже, что я был заранее уверен в вашем согласии, основываясь на том, чем вы пожертвовали для моего сына; опять нет! Я первый скажу вслух, что он вас не стоит и... (он добр и чистосердечен) — он сам подтвердит это. Но этого мало. Меня влекло сюда, в такой час, не одно это... я пришел сюда... (и он почтительно и с некоторою торжественностью приподнялся с своего места) я пришел сюда для того, чтоб стать вашим другом! Я знаю, я не имею на это ни малейшего права, напротив! Но — позвольте мне заслужить это право! Позвольте мне надеяться!

Почтительно наклонясь перед Наташей, он ждал ее ответа. Всё время, как он говорил, я пристально наблюдал его. Он заметил это.

Проговорил он свою речь холодно, с некоторыми притязаниями на диалектику, а в иных местах даже с некоторою небрежностью. Тон всей его речи даже иногда не соответствовал порыву, привлекшему его к нам в такой неурочный час для первого посещения и особенно при таких отношениях. Некоторые выражения его были приметно выделаны, а в иных местах его длинной и странной своею длиннотою речи он как бы искусственно напускал на себя вид чудака, силящегося скрыть пробивающееся чувство под видом юмора, небрежности и шутки. Но всё это я сообразил потом; тогда же было другое дело. Последние слова он проговорил так одушевленно, с таким чувством, с таким видом самого искреннего уважения к Наташе, что победил нас всех. Даже что-то вроде слезы промелькнуло на его ресницах. Благородное сердце Наташи было побеждено совершенно. Она, вслед за ним, приподнялась с своего места и молча, в глубоком волнении протянула ему свою руку. Он взял ее и нежно, с чувством поцеловал. Алеша был вне себя от восторга.

— Что я говорил тебе, Наташа! — вскричал он. — Ты не верила мне! Ты не верила, что это благороднейший человек в мире! Видишь, видишь сама!..

Он бросился к отцу и горячо обнял его. Тот отвечал ему тем же, но поспешил сократить чувствительную сцену, как бы стыдясь выказать свои чувства.

— Довольно, — сказал он и взял свою шляпу, — я еду. Я просил у вас только десять минут, а просидел целый час, — прибавил он, усмехаясь. — Но я ухожу в самом горячем нетерпении свидеться с вами опять как можно скорее. Позволите ли мне посещать вас как можно чаще?

— Да, да! — отвечала Наташа, — как можно чаще! Я хочу поскорей... полюбить вас... — прибавила она в замешательстве.

— Как вы искренни, как вы честны! — сказал князь, улыбаясь словам ее. — Вы даже не хотите схитрить, чтоб сказать простую вежливость. Но ваша искренность дороже всех этих поддельных вежливостей. Да! Я сознаю, что я долго, долго еще должен заслуживать любовь вашу!

— Полноте, не хвалите меня... довольно! — шептала в смущении Наташа. Как хороша она была в эту минуту!

— Пусть так! — решил князь, — но еще два слова о деле. Можете ли вы представить, как я несчастлив! Ведь завтра я не могу быть у вас, ни завтра, ни послезавтра. Сегодня вечером я получил письмо, до того для меня важное (требующее немедленного моего участия в одном деле), что никаким образом я не могу избежать его. Завтра утром я уезжаю из Петербурга. Пожалуйста, не подумайте, что я зашел к вам так поздно именно потому, что завтра было бы некогда, ни завтра, ни послезавтра. Вы, разумеется, этого не подумаете, но вот вам образчик моей мнительности! Почему мне показалось, что вы непременно должны были это подумать? Да, много помешала мне эта мнительность в моей жизни, и весь раздор мой с семейством вашим, может быть, только последствия моего жалкого характера!.. Сегодня у нас вторник. В среду, в четверг, в пятницу меня не будет в Петербурге. В субботу же я непременно надеюсь воротиться и в тот же день буду у вас. Скажите, я могу прийти к вам на целый вечер?

— Непременно, непременно! — вскричала Наташа, — в субботу вечером я вас жду! С нетерпением жду!

— А как я-то счастлив! Я более и более буду узнавать вас! но... иду! И все-таки я не могу уйти, чтоб не пожать вашу руку, — продолжал он, вдруг обращаясь ко мне. — Извините! Мы все теперь говорим так бессвязно... Я имел уже несколько раз удовольствие встречаться с вами, и даже раз мы были представлены друг другу. Не могу выйти отсюда, не выразив, как бы мне приятно было возобновить с вами знакомство.

— Мы с вами встречались, это правда, — отвечал я, принимая его руку, — но, виноват, не помню, чтоб мы с вами знакомились.

— У князя Р. прошлого года.

— Виноват, забыл. Но, уверяю вас, в этот раз не забуду. Этот вечер для меня особенно памятен.

— Да, вы правы, мне тоже. Я давно знаю, что вы настоящий, искренний друг Натальи Николаевны и моего сына. Я надеюсь быть между вами троими четвертым. Не так ли? — прибавил он, обращаясь к Наташе.

— Да, он наш искренний друг, и мы должны быть все вместе! — отвечала с глубоким чувством Наташа. Бедненькая! Она так и засияла от радости, когда увидела, что князь не забыл подойти ко мне. Как она любила меня!

— Я встречал много поклонников вашего таланта, — продолжал князь, — и знаю двух самых искренних ваших почитательниц. Им так приятно будет узнать вас лично. Это графиня, мой лучший друг, и ее падчерица, Катерина Федоровна Филимонова. Позвольте мне надеяться, что вы не откажете мне в удовольствии представить вас этим дамам.

— Мне очень лестно, хотя теперь я мало имею знакомств...

— Но мне вы дадите ваш адрес! Где вы живете? Я буду иметь удовольствие...

— Я не принимаю у себя, князь, по крайней мере в настоящее время.

— Но я, хоть и не заслужил исключения... но...

— Извольте, если вы требуете, и мне очень приятно. Я живу в —м переулке, в доме Клугена.

— В доме Клугена! — вскричал он, как будто чем-то пораженный. — Как! Вы... давно там живете?

— Нет, недавно, — отвечал я, невольно в него всматриваясь. — Моя квартира сорок четвертый номер.

— В сорок четвертом? Вы живете... один?

— Совершенно один.

— Д-да! Я потому... что, кажется, знаю этот дом. Тем лучше... Я непременно буду у вас, непременно! Мне о многом нужно переговорить с вами, и я многого ожидаю от вас. Вы во многом можете обязать меня. Видите, я прямо начинаю с просьбы. Но до свидания! Еще раз вашу руку!

Он пожал руку мне и Алеше, еще раз поцеловал ручку Наташи и вышел, не пригласив Алешу следовать за собою.

Мы трое остались в большом смущении. Всё это случилось так неожиданно, так нечаянно. Все мы чувствовали, что в один миг всё изменилось и начинается что-то новое, неведомое. Алеша молча присел возле Наташи и тихо целовал ее руку. Изредка он заглядывал ей в лицо, как бы ожидая, что она скажет?

— Голубчик Алеша, поезжай завтра же к Катерине Федоровне, — проговорила наконец она.

— Я сам это думал, — отвечал он, — непременно поеду.

— А может быть, ей и тяжело будет тебя видеть... как сделать?

— Не знаю, друг мой. И про это я тоже думал. Я посмотрю.., увижу... так и решу. А что, Наташа, ведь у нас всё теперь переменилось, — не утерпел не заговорить Алеша.

Она улыбнулась и посмотрела на него долгим и нежным взглядом.

— И какой он деликатный. Видел, какая у тебя бедная квартира, и ни слова...

— О чем?

— Ну... чтоб переехать на другую... или что-нибудь, — прибавил он, закрасневшись.

— Полно, Алеша, с какой же бы стати!

— То-то я и говорю, что он такой деликатный. А как хвалил тебя! Я ведь говорил тебе... говорил! Нет, он может всё понимать и чувствовать! А про меня как про ребенка говорил; все-то они меня так почитают! Да что ж, я ведь и в самом деле такой.

— Ты ребенок, да проницательнее нас всех. Добрый ты, Алеша!

— А он сказал, что мое доброе сердце вредит мне. Как это? Не понимаю. А знаешь что, Наташа. Не поехать ли мне поскорей к нему? Завтра чем свет у тебя буду.

— Поезжай, поезжай, голубчик. Это ты хорошо придумал. И непременно покажись ему, слышишь? А завтра приезжай как можно раньше. Теперь уж не будешь от меня по пяти дней бегать? — лукаво прибавила она, лаская его взглядом. Все мы были в какой-то тихой, в какой-то полной радости.

— Со мной, Ваня? — крикнул Алеша, выходя из комнаты.

— Нет, он останется; мы еще поговорим с тобой, Ваня. Смотри же, завтра чем свет!

— Чем свет! Прощай, Мавра!

Мавра была в сильном волнении. Она всё слышала, что говорил князь, всё подслушала, но многого не поняла. Ей бы хотелось угадать и расспросить. А покамест она смотрела так серьезно, даже гордо. Она тоже догадывалась, что многое изменилось.

Мы остались одни. Наташа взяла меня за руку и несколько времени молчала, как будто ища, что сказать.

— Устала я! — проговорила она наконец слабым голосом. — Слушай: ведь ты пойдешь завтра к нашим?

— Непременно.

— Маменьке скажи, а *ему* не говори.

— Да я ведь и без того никогда об тебе с ним не говорю.

— То-то; он и без того узнает. А ты замечай, что он скажет? Как примет? Господи, Ваня! Что, неужели ж он в самом деле проклянет меня за этот брак? Нет, не может быть!

— Всё должен уладить князь, — подхватил я поспешно. — Он должен непременно с ним помириться, а тогда и всё уладится.

— О боже мой! Если б! Если б! — с мольбою вскричала она.

— Не беспокойся, Наташа, всё уладится. На то идет.

Она пристально поглядела на меня.

— Ваня! Что ты думаешь о князе?

— Если он говорил искренно, то, по-моему, он человек вполне благородный.

— Если он говорил искренно? Что это значит? Да разве он мог говорить неискренно?

— И мне тоже кажется, — отвечал я. «Стало быть, у ней мелькает какая-то мысль, — подумал я про себя. — Странно!»

— Ты всё смотрел на него... так пристально...

— Да, он немного странен; мне показалось.

— И мне тоже. Он как-то всё так говорит... Устала я, голубчик. Знаешь что? Ступай и ты домой. А завтра приходи ко мне как можно пораньше от них. Да слушай еще: это не обидно было, когда я сказала ему, что хочу поскорее полюбить его?

— Нет... почему ж обидно?

— И... не глупо? То есть ведь это значило, что покамест я еще не люблю его.

— Напротив, это было прекрасно, наивно, быстро. Ты так хороша была в эту минуту! Глуп будет он, если не поймет этого с своей великосветскостью.

— Ты как будто на него сердишься, Ваня? А какая, однако ж, я дурная, мнительная и какая тщеславная! Не смейся; я ведь перед тобой ничего не скрываю. Ах, Ваня, друг ты мой дорогой! Вот если я буду опять несчастна, если опять горе придет, ведь уж ты, верно, будешь здесь подле меня; один, может быть, и будешь! Чем заслужу я тебе за всё! Не проклинай меня никогда, Ваня!..

Воротясь домой, я тотчас же разделся и лег спать. В комнате у меня было сыро и темно, как в погребе. Много странных мыслей и ощущений бродило во мне, и я еще долго не мог заснуть.

Но как, должно быть, смеялся в эту минуту один человек, засыпая в комфортной своей постели, — если, впрочем, он еще удостоил усмехнуться над нами! Должно быть, не удостоил!

Глава III

На другое утро часов в десять, когда я выходил из квартиры, торопясь на Васильевский остров к Ихменевым, чтоб пройти от них поскорее к Наташе, я вдруг столкнулся в дверях со вчерашней посетительницей моей, внучкой Смита. Она входила ко мне. Не знаю почему, но, помню, я ей очень обрадовался. Вчера я еще и разглядеть не успел ее, и днем она еще более удивила меня. Да и трудно было встретить более странное, более оригинальное существо, по крайней мере по наружности. Маленькая, с сверкающими, черными, какими-то нерусскими глазами, с густейшими черными всклоченными волосами и с загадочным, немым и упорным взглядом, она могла остановить внимание даже всякого прохожего на улице. Особенно поражал ее взгляд: в нем сверкал ум, а вместе с тем и какая-то инквизиторская недоверчивость и даже подозрительность. Ветхое и грязное ее платьице при дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище. Мне казалось, что она

больна в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм. Бледное и худое ее лицо имело какой-то ненатуральный смугло-желтый, желчный оттенок. Но вообще, несмотря на всё безобразие нищеты и болезни, она была даже недурна собою. Брови ее были резкие, тонкие и красивые; особенно был хорош ее широкий лоб, немного низкий, и губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные.

— Ах, ты опять! — вскричал я, — ну, я так и думал, что ты придешь. Войди же!

Она вошла, медленно переступив через порог, как и вчера, и недоверчиво озираясь кругом. Она внимательно осмотрела комнату, в которой жил ее дедушка, как будто отмечая, насколько изменилась комната от другого жильца. «Ну, каков дедушка, такова и внучка, — подумал я. — Уж не сумасшедшая ли она?» Она всё еще молчала; я ждал.

— За книжками! — прошептала она наконец, опустив глаза в землю.

— Ах, да! Твои книжки; вот они, возьми! Я нарочно их сберег для тебя.

Она с любопытством на меня посмотрела и как-то странно искривила рот, как будто хотела недоверчиво улыбнуться. Но позыв улыбки прошел и сменился тотчас же прежним суровым и загадочным выражением.

— А разве дедушка вам говорил про меня? — спросила она, иронически оглядывая меня с ног до головы.

— Нет, про тебя он не говорил, но он...

— А почему ж вы знали, что я приду? Кто вам сказал? — спросила она, быстро перебивая меня.

— Потому, мне казалось, твой дедушка не мог жить один, всеми оставленный. Он был такой старый, слабый; вот я и думал, что кто-нибудь ходил к нему. Возьми, вот твои книги. Ты по ним учишься?

— Нет.

— Зачем же они тебе?

— Меня учил дедушка, когда я ходила к нему.

— А разве потом не ходила?

— Потом не ходила... я больна сделалась, — прибавила она, как бы оправдываясь.

— Что ж у тебя, семья, мать, отец?

Она вдруг нахмурила свои брови и даже с каким-то испугом взглянула на меня. Потом потупилась, молча повернулась и тихо пошла из комнаты, не удостоив меня ответом, совершенно как вчера. Я с изумлением провожал ее глазами. Но она остановилась на пороге.

— Отчего он умер? — отрывисто спросила она, чуть-чуть оборотясь ко мне, совершенно с тем же жестом и движением, как

и вчера, когда, тоже выходя и стоя лицом к дверям, спросила об Азорке.

Я подошел к ней и начал ей наскоро рассказывать. Она молча и пытливо слушала, потупив голову и стоя ко мне спиной. Я рассказал ей тоже, как старик, умирая, говорил про Шестую линию. «Я и догадался, — прибавил я, — что там, верно, кто-нибудь живет из дорогих ему, оттого и ждал, что придут о нем наведаться. Верно, он тебя любил, когда в последнюю минуту о тебе поминал».

— Нет, — прошептала она как бы невольно, — не любил.

Она была сильно взволнована. Рассказывая, я нагибался к ней и заглядывал в ее лицо. Я заметил, что она употребляла ужасные усилия подавить свое волнение, точно из гордости передо мной. Она всё больше и больше бледнела и крепко закусила свою нижнюю губу. Но особенно поразил меня странный стук ее сердца. Оно стучало всё сильнее и сильнее, так что, наконец, можно было слышать его за два, за три шага, как в аневризме. Я думал, что она вдруг разразится слезами, как и вчера; но она преодолела себя.

— А где забор?

— Какой забор?

— Под которым он умер.

— Я тебе покажу его... когда выйдем. Да, послушай, как тебя зовут?

— Не надо...

— Чего не надо?

— Не надо; ничего ... никак не зовут, — отрывисто и как будто с досадой проговорила она и сделала движение уйти. Я остановил ее.

— Подожди, странная ты девочка! Ведь я тебе добра желаю; мне тебя жаль со вчерашнего дня, когда ты там в углу на лестнице плакала. Я вспомнить об этом не могу... К тому же твой дедушка у меня на руках умер, и, верно, он об тебе вспоминал, когда про Шестую линию говорил, значит, как будто тебя мне на руки оставлял. Он мне во сне снится... Вот и книжки я тебе сберег, а ты такая дикая, точно боишься меня. Ты, верно, очень бедна и сиротка, может быть, на чужих руках; так или нет?

Я убеждал ее горячо и сам не знаю, чем влекла она меня так к себе. В чувстве моем было еще что-то другое, кроме одной жалости. Таинственность ли всей обстановки, впечатление ли, произведенное Смитом, фантастичность ли моего собственного настроения, — не знаю, но что-то непреодолимо влекло меня к ней. Мои слова, казалось, ее тронули; она как-то странно поглядела на меня, но уж не сурово, а мягко и долго; потом опять потупилась как бы в раздумье.

— Елена, — вдруг прошептала она, неожиданно и чрезвычайно тихо.

— Это тебя зовут Елена?

— Да...

— Что же, ты будешь приходить ко мне?

— Нельзя... не знаю... приду, — прошептала она как бы в борьбе и раздумье. В эту минуту вдруг где-то ударили стенные часы. Она вздрогнула и, с невыразимой болезненной тоскою смотря на меня, прошептала: — Это который час?

— Должно быть, половина одиннадцатого.

Она вскрикнула от испуга.

— Господи! — проговорила она и вдруг бросилась бежать. Но я остановил ее еще раз в сенях.

— Я тебя так не пущу, — сказал я. — Чего ты боишься? Ты опоздала?

— Да, да, я тихонько ушла! Пустите! Она будет бить меня! — закричала она, видимо проговорившись и вырываясь из моих рук.

— Слушай же и не рвись; тебе на Васильевский, и я туда же, в Тринадцатую линию. Я тоже опоздал и хочу взять извозчика. Хочешь со мной? Я довезу. Скорее, чем пешком-то...

— Ко мне нельзя, нельзя, — вскричала она еще в сильнейшем испуге. Даже черты ее исказились от какого-то ужаса при одной мысли, что я могу прийти туда, где она живет.

— Да говорю тебе, что я в Тринадцатую линию, по своему делу, а не к тебе! Не пойду я за тобою. На извозчике скоро доедем. Пойдем!

Мы поспешно сбежали вниз. Я взял первого попавшегося ваньку, на скверной гитаре. Видно, Елена очень торопилась, коли согласилась сесть со мною. Всего загадочнее было то, что я даже и расспрашивать ее не смел. Она так и замахала руками и чуть не соскочила с дрожек, когда я спросил, кого она дома так боится? «Что за таинственность?» — подумал я.

На дрожках ей было очень неловко сидеть. При каждом толчке она, чтоб удержаться, схватывалась за мое пальто левой рукой, грязной, маленькой, в каких-то цыпках. В другой руке она крепко держала свои книги; видно было по всему, что книги эти ей очень дороги. Поправляясь, она вдруг обнажила свою ногу, и, к величайшему удивлению моему, я увидел, что она была в одних дырявых башмаках, без чулок. Хоть я и решился было ни о чем ее не расспрашивать, но тут опять не мог утерпеть.

— Неужели ж у тебя нет чулок? — спросил я. — Как можно ходить на босу ногу в такую сырость и в такой холод?

— Нет, — отвечала она отрывисто.

— Ах, боже мой, да ведь ты живешь же у кого-нибудь! Ты бы попросила у других чулки, коли надо было выйти.

— Я так сама хочу.

— Да ты заболеешь, умрешь.

— Пускай умру.

Она, видимо, не хотела отвечать и сердилась на мои вопросы.

— Вот здесь он и умер, — сказал я, указывая ей на дом, у которого умер старик.

Она пристально посмотрела и вдруг, с мольбою обратившись ко мне, сказала:

— Ради бога не ходите за мной. А я приду, приду! Как только можно будет, так и приду!

— Хорошо, я сказал уже, что не пойду к тебе. Но чего ты боишься! Ты, верно, какая-то несчастная. Мне больно смотреть на тебя...

— Я никого не боюсь, — отвечала она с каким-то раздражением в голосе.

— Но ты давеча сказала: «Она прибьет меня!»

— Пусть бьет! — отвечала она, и глаза ее засверкали. — Пусть бьет! Пусть бьет! — горько повторяла она, и верхняя губка ее как-то презрительно приподнялась и задрожала.

Наконец мы приехали на Васильевский. Она остановила извозчика в начале Шестой линии и спрыгнула с дрожек, с беспокойством озираясь кругом.

— Поезжайте прочь; я приду, приду! — повторяла она в страшном беспокойстве, умоляя меня не ходить за ней. — Ступайте же скорее, скорее!

Я поехал. Но, проехав по набережной несколько шагов, отпустил извозчика и, воротившись назад в Шестую линию, быстро перебежал на другую сторону улицы. Я увидел ее; она не успела еще много отойти, хотя шла очень скоро и всё оглядывалась; даже остановилась было на минутку, чтоб лучше высмотреть: иду ли я за ней или нет? Но я притаился в попавшихся мне воротах, и она меня не заметила. Она пошла далее, я за ней, всё по другой стороне улицы.

Любопытство мое было возбуждено в последней степени. Я хоть и решил не входить за ней, но непременно хотел узнать тот дом, в который она войдет, на всякий случай. Я был под влиянием тяжелого и странного впечатления, похожего на то, которое произвел во мне в кондитерской ее дедушка, когда умер Азорка...

Глава IV

Мы шли долго, до самого Малого проспекта. Она чуть не бежала; наконец вошла в лавочку. Я остановился подождать ее. «Ведь не живет же она в лавочке», — подумал я.

Действительно, через минуту она вышла, но уже книг с ней не было. Вместо книг в ее руках была какая-то глиняная чашка. Пройдя немного, она вошла в ворота одного невзрачного дома. Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, окрашенный грязно-желтою краской. В одном из окон нижнего этажа, которых было всего три, торчал маленький красный гробик, — вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которые просвечивали розовые коленкоровые занавески. Я перешел через улицу, подошел

к дому и прочел на железном листе, над воротами дома: дом мещанки Бубновой.

Но только что я успел разобрать надпись, как вдруг на дворе у Бубновой раздался пронзительный женский визг и затем ругательства. Я заглянул в калитку; на ступеньке деревянного крылечка стояла толстая баба, одетая как мещанка, в головке и в зеленой шали. Лицо ее было отвратительно-багрового цвета; маленькие, заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости. Видно было, что она нетрезвая, несмотря на дообеденное время. Она визжала на бедную Елену, стоявшую перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках. С лестницы из-за спины багровой бабы выглядывало полурастрепанное, набеленное и нарумяненное женское существо. Немного погодя отворилась дверь с подвальной лестницы в нижний этаж, и на ступеньках ее показалась, вероятно привлеченная криком, бедно одетая средних лет женщина, благообразной и скромной наружности. Из полуотворенной же двери выглядывали и другие жильцы нижнего этажа, дряхлый старик и девушка. Рослый и дюжий мужик, вероятно дворник, стоял посреди двора, с метлой в руке, и лениво посматривал на всю сцену.

— Ах ты, проклятая, ах ты, кровопивица, гнида ты эдакая! — визжала баба, залпом выпуская из себя все накопившиеся ругательства, большею частию без запятых и без точек, но с каким-то захлебыванием, — так-то ты за мое попеченье воздаешь, лохматая! За огурцами только послали ее, а она уж и улизнула! Сердце мое чувствовало, что улизнет, когда посылала. Ныло сердце мое, ныло! Вчера ввечеру все вихры ей за это же оттаскала, а она и сегодня бежать! Да куда тебе ходить, распутница, куда ходить! К кому ты ходишь, идол проклятый, лупоглазая гадина, яд, к кому! Говори, гниль болотная, или тут же тебя задушу!

И разъяренная баба бросилась на бедную девочку, но, увидав смотревшую с крыльца женщину, жилицу нижнего этажа, вдруг остановилась и, обращаясь к ней, завопила еще визгливее прежнего, размахивая руками, как будто беря ее в свидетельницы чудовищного преступления ее бедной жертвы.

— Мать издохла у ней! Сами знаете, добрые люди: одна ведь осталась как шиш на свете. Вижу у вас, бедных людей, на руках, самим есть нечего; дай, думаю, хоть для Николая-то угодника потружусь, приму сироту. Приняла. Что ж бы вы думали? Вот уж два месяца содержу, — кровь она у меня в эти два месяца выпила, белое тело мое поела! Пиявка! Змей гремучий! Упорная сатана! Молчит, хоть бей, хоть брось, всё молчит; словно себе воды в рот наберет, — всё молчит! Сердце мое надрывает — молчит! Да за кого ты себя почитаешь, фря ты эдакая, облизьяна зеленая? Да без меня ты бы на улице с голоду померла. Ноги мои должна мыть да воду эту пить, изверг, черная ты шпага французская. Околела бы без меня!

— Да что вы, Анна Трифоновна, так себя надсаждаете? Чем она вам опять досадила? — почтительно спросила женщина, к которой обращалась разъяренная мегера.

— Как чем, добрая ты женщина, как чем? Не хочу, чтоб против меня шли! Не делай своего хорошего, а делай мое дурное, — вот я какова! Да она меня чуть в гроб сегодня не уходила! За огурцами в лавочку ее послала, а она через три часа воротилась! Сердце мое предчувствовало, когда посылала; ныло оно, ныло; ныло-ныло! Где была? Куда ходила? Каких себе покровителей нашла? Я ль ей не благодетельствовала! Да я ее поганке-матери четырнадцать целковых долгу простила, на свой счет похоронила, чертенка ее на воспитание взяла, милая ты женщина, знаешь, сама знаешь! Что ж, не вправе я над ней после этого? Она бы чувствовала, а вместо чувствия она супротив идет! Я ей счастья хотела. Я ее, поганку, в кисейных платьях водить хотела, в Гостином ботинки купила, как паву нарядила, — душа у праздника! Что ж бы вы думали, добрые люди! В два дня всё платье изорвала, в кусочки изорвала да в клочочки, да так и ходит, так и ходит! Да ведь что вы думаете, нарочно изорвала, — не хочу лгать, сама подглядела; хочу, дескать, в затрапезном ходить, не хочу в кисейном! Ну, отвела тогда душу над ней, исколотила ее, так ведь я лекаря потом призывала, ему деньги платила. А ведь задавить тебя, гнида ты эдакая, так только неделю молока не пить, — всего-то наказанья за тебя только положено! За наказание полы мыть ее заставила; что ж бы вы думали: моет! Моет, стерьва, моет! Горячит мое сердце, — моет! Ну, думаю: бежит она от меня! Да только подумала, глядь — она и бежала вчера! Сами слышали, добрые люди, как я вчера ее за это била, руки обколотила все об нее, чулки, башмаки отняла — не уйдет на босу ногу, думаю; а она и сегодня туда ж! Где была? Говори! Кому, семя крапивное, жаловалась, кому на меня доносила? Говори, цыганка, маска привозная, говори!

И в исступлении она бросилась на обезумевшую от страха девочку, вцепилась ей в волосы и грянула ее оземь. Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась; это еще более усилило бешенство пьяной мегеры. Она била свою жертву по лицу, по голове; но Елена упорно молчала, и ни одного звука, ни одного крика, ни одной жалобы не проронила она, даже и под побоями. Я бросился на двор, почти не помня себя от негодования, прямо к пьяной бабе.

— Что вы делаете? как смеете вы так обращаться с бедной сиротой! — вскричал я, хватая эту фурию за руку.

— Это что! Да ты кто такой? — завизжала она, бросив Елену и подпершись руками в боки. — Вам что в моем доме угодно?

— То угодно, что вы безжалостная! — кричал я. — Как вы смеете так тиранить бедного ребенка? Она не ваша; я сам слышал, что она только ваш приемыш, бедная сирота...

— Господи Иисусе! — завопила фурия, — да ты кто таков навязался! Ты с ней пришел, что ли? Да я сейчас к частному приставу! Да меня сам Андрон Тимофеич как благородную почитает! Что она, к тебе, что ли, ходит? Кто такой? В чужой дом буянить пришел. Караул!

И она бросилась на меня с кулаками. Но в эту минуту вдруг раздался пронзительный, нечеловеческий крик. Я взглянул, — Елена, стоявшая как без чувств, вдруг с страшным, неестественным криком ударилась оземь и билась в страшных судорогах. Лицо ее исказилось. С ней был припадок падучей болезни. Растрепанная девка и женщина снизу подбежали, подняли ее и поспешно понесли наверх.

— А хоть издохни, проклятая! — завизжала баба вслед за ней. — В месяц уж третий припадок... Вон, маклак! — и она снова бросилась на меня.

— Чего, дворник, стоишь? За что жалованье получаешь?

— Пошел! Пошел! Хочешь, чтоб шею нагладили, — лениво пробасил дворник, как бы для одной только проформы. — Двоим любо, третий не суйся. Поклон, да и вон!

Нечего делать, я вышел за ворота, убедившись, что выходка моя была совершенно бесполезна. Но негодование кипело во мне. Я стал на тротуаре против ворот и глядел в калитку. Только что я вышел, баба бросилась наверх, а дворник, сделав свое дело, тоже куда-то скрылся. Через минуту женщина, помогавшая снести Елену, сошла с крыльца, спеша к себе вниз. Увидев меня, она остановилась и с любопытством на меня поглядела. Ее доброе и смирное лицо ободрило меня. Я снова ступил на двор и прямо подошел к ней.

— Позвольте спросить, — начал я, — что такое здесь эта девочка и что делает с ней эта гадкая баба? Не думайте, пожалуйста, что я из простого любопытства расспрашиваю. Эту девочку я встречал и по одному обстоятельству очень ею интересуюсь.

— А коль интересуетесь, так вы бы лучше ее к себе взяли али место какое ей нашли, чем ей тут пропадать, — проговорила как бы нехотя женщина, делая движение уйти от меня.

— Но если вы меня не научите, что ж я сделаю? Говорю вам, я ничего не знаю. Это, верно, сама Бубнова, хозяйка дома?

— Сама хозяйка.

— Так как же девочка-то к ней попала? У ней здесь мать умерла?

— А так и попала... Не наше дело. — И она опять хотела уйти.

— Да сделайте же одолжение; говорю вам, меня это очень интересует. Я, может быть, что-нибудь и в состоянии сделать. Кто ж эта девочка? Кто была ее мать, — вы знаете?

— А словно из иностранок каких-то, приезжая; у нас внизу и жила; да больная такая; в чахотке и померла.

— Стало быть, была очень бедная, коли в углу в подвале жила?

— Ух, бедная! Всё сердце на нее изныло. Мы уж на што перебиваемся, а и нам шесть рублей в пять месяцев, что у нас прожила, задолжала. Мы и похоронили; муж и гроб делал.

— А как же Бубнова говорит, что она похоронила?

— Какое похоронила!

— А как была ее фамилия?

— А и не выговорю, батюшка; мудрено; немецкая, должно быть.

— Смит?

— Нет, что-то не так. А Анна Трифоновна сироту-то к себе и забрала; на воспитание, говорит. Да нехорошо оно вовсе...

— Верно, для целей каких-нибудь забрала?

— Нехорошие за ней дела, — отвечала женщина, как бы в раздумье и колеблясь: говорить или нет? — Нам что, мы посторонние...

— А ты бы лучше язык-то на привязи подержала! — раздался сзади нас мужской голос. Это был пожилых лет человек в халате и в кафтане сверх халата, с виду мещанин — мастеровой, муж моей собеседницы.

— Ей, батюшка, с вами нечего разговаривать; не наше это дело... — промолвил он, искоса оглядев меня. — А ты пошла! Прощайте, сударь; мы гробовщики. Коли что по мастерству надоть, с нашим полным удовольствием... А окромя того нечего нам с вами происходить...

Я вышел из этого дома в раздумье и в глубоком волнении. Сделать я ничего не мог, но чувствовал, что мне тяжело оставить всё это так. Некоторые слова гробовщицы особенно меня возмутили. Тут скрывалось какое-то нехорошее дело: я это предчувствовал.

Я шел, потупив голову и размышляя, как вдруг резкий голос окликнул меня по фамилии. Гляжу — передо мной стоит хмельной человек, чуть не покачиваясь, одетый довольно чисто, но в скверной шинели и в засаленном картузе. Лицо очень знакомое. Я стал всматриваться. Он подмигнул мне и иронически улыбнулся.

— Не узнаешь?

Глава V

— А! Да это ты, Маслобоев! — вскричал я, вдруг узнав в нем прежнего школьного товарища, еще по губернской гимназии, — ну, встреча!

— Да, встреча! Лет шесть не встречались. То есть и встречались, да ваше превосходительство не удостоивали взглядом-с. Ведь вы генералы-с, литературные то есть-с!.. — Говоря это, он насмешливо улыбался.

— Ну, брат Маслобоев, это ты врешь, — прервал я его. — Во-первых, генералы, хоть бы и литературные, и с виду не такие бывают, как я, а второе, позволь тебе сказать, я действительно

припоминаю, что раза два тебя на улице встретил, да ты сам видимо избегал меня, а мне что ж подходить, коли вижу, человек избегает. И знаешь, что я думаю? Не будь ты теперь хмелен, ты бы и теперь меня не окликнул. Не правда ли? Ну, здравствуй! Я, брат, очень, очень рад, что тебя встретил.

— Право! А не компрометирую я тебя моим... *не тем видом*? Ну, да нечего об этом расспрашивать; не суть важное; я, брат Ваня, всегда помню, какой ты был славный мальчуга. А помнишь, тебя за меня высекли? Ты смолчал, а меня не выдал, а я, вместо благодарности, над тобой же неделю трунил. Безгрешная ты душа! Здравствуй, душа моя, здравствуй! (Мы поцеловались.) Ведь я уж сколько лет один маюсь, — день да ночь — сутки прочь, а старого не забыл. Не забывается! А ты-то, ты-то?

— Да что я-то, и я один маюсь...

Он долго глядел на меня с сильным чувством расслабленного от вина человека. Впрочем, он и без того был чрезвычайно добрый человек.

— Нет, Ваня, ты не то, что я! — проговорил он наконец трагическим тоном. — Я ведь читал; читал, Ваня, читал!.. Да послушай: поговорим по душе! Спешишь?

— Спешу; и, признаюсь тебе, ужасно расстроен одним делом. А вот что лучше: где ты живешь?

— Скажу. Но это не лучше; а сказать ли, что лучше?

— Ну, что?

— А вот что! Видишь? — И он указал мне на вывеску в десяти шагах от того места, где мы стояли, — видишь: кондитерская и ресторан, то есть попросту ресторация, но место хорошее. Предупрежу, помещение приличное, а водка, и не говори! Из Киева пешком пришла! Пил, многократно пил, знаю; а мне худого здесь и не смеют подать. Знают Филиппа Филиппыча. Я ведь Филипп Филиппыч. Что? Гримасничаешь? Нет, ты дай мне договорить. Теперь четверть двенадцатого, сейчас смотрел; ну, так ровно в тридцать пять минут двенадцатого я тебя и отпущу. А тем временем муху задавим. Двадцать минут на старого друга, — идет?

— Если только двадцать минут, то идет; потому, душа моя, ей-богу, дело...

— А идет, так идет. Только вот что, два слова прежде всего: лицо у тебя нехорошее, точно сейчас тебе чем надосадили, правда?

— Правда.

— То-то я и угадал. Я, брат, теперь в физиономистику пустился, тоже занятие! Ну, так пойдем, поговорим. В двадцать минут, во-первых, успею вздушить адмирала Чаинского и пропущу березовки, потом зорной, потом померанцевой, потом parfait amour, [1] а потом еще что-нибудь изобрету. Пью, брат! Только по праздникам перед обедней и хорош. А ты хоть и не пей. Мне просто тебя одного надо. А выпьешь, особенное благородство души

[1] Букв.: прекрасная любовь (*франц.*).

докажешь. Пойдем! Сболтнем слова два, да и опять лет на десять врозь. Я, брат, тебе, Ваня, не пара!

— Ну, да ты не болтай, а поскорей пойдем. Двадцать минут твои, а там и пусти.

В ресторацию надо было попасть, поднявшись по деревянной двухколенчатой лестнице с крылечком во второй этаж. Но на лестнице мы вдруг столкнулись с двумя сильно выпившими господами. Увидя нас, они, покачиваясь, посторонились.

Один из них был очень молодой и моложавый парень, еще безбородый, с едва пробивающимися усиками и с усиленно глуповатым выражением лица. Одет он был франтом, но как-то смешно: точно он был в чужом платье, с дорогими перстнями на пальцах, с дорогой булавкой в галстухе и чрезвычайно глупо причесанный, с каким-то коком. Он всё улыбался и хихикал. Товарищ его был уже лет пятидесяти, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстухе, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и в очках на носу, похожем на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели как из щелочек. По-видимому, они оба знали Маслобоева, но пузан при встрече с нами скорчил досадную, хоть и мгновенную гримасу, а молодой так и ушел в какую-то подобострастно-сладкую улыбку. Он даже снял картуз. Он был в картузе.

— Простите, Филипп Филиппыч, — пробормотал он, умильно смотря на него.

— А что?

— Виноват-с... того-с... (он щелкнул по воротнику). Там Митрошка сидит-с. Так он, выходит, Филипп Филиппыч-с, подлец-с.

— Да что такое?

— Да уж так-с... А ему вот (он кивнул на товарища) на прошлой неделе, через того самого Митрошку-с, в неприличном месте рожу в сметане вымазали-с... кхи!

Товарищ с досадой подтолкнул его локтем.

— А вы бы с нами, Филипп Филиппыч, полдюжинки распили-с, у Дюссо-с, прикажете надеяться-с?

— Нет, батюшка, теперь нельзя, — отвечал Маслобоев. — Дело есть.

— Кхи! И у меня дельце есть, до вас-с... — Товарищ опять подтолкнул его локтем.

— После, после!

Маслобоев как-то видимо старался не смотреть на них. Но только что мы вошли в первую комнату, через которую, по всей длине ее, тянулся довольно опрятный прилавок, весь уставленный закусками, подовыми пирогами, расстегаями и графинами с настойками разных цветов, как Маслобоев быстро отвел меня в угол и сказал:

— Молодой — это купеческий сын Сизобрюхов, сын извест-

ного лабазника, получил полмиллиона после отца и теперь кутит. В Париж ездил, денег там видимо-невидимо убил, там бы, может, и всё просадил, да после дяди еще наследство получил и вернулся из Парижа; так здесь уж и добивает остальное. Через год-то он, разумеется, пойдет по миру. Глуп как гусь — и по первым ресторанам, и в подвалах и кабаках, и по актрисам, и в гусары просился — просьбу недавно подавал. Другой, пожилой, — Архипов, тоже что-то вроде купца или управляющего, шлялся и по откупам; бестия, шельма и теперешний товарищ Сизобрюхова, Иуда и Фальстаф, всё вместе, двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело; вывернулся. По одному случаю я очень теперь рад, что его здесь встретил; я его ждал... Архипов, разумеется, обирает Сизобрюхова. Много разных закоулков знает, тем и драгоценен для этаких вьюношей. Я, брат, на него уже давно зубы точу. Точит на него зубы и Митрошка, вот тот молодцеватый парень, в богатой поддевке, — там, у окна стоит, цыганское лицо. Он лошадьми барышничает и со всеми здешними гусарами знаком. Я тебе скажу, такой плут, что в глазах у тебя будет фальшивую бумажку делать, а ты хоть и видел, а все-таки ему ее разменяешь. Он в поддевке, правда в бархатной, и похож на славянофила (да это, по-моему, к нему и идет), а наряди его сейчас в великолепнейший фрак и тому подобное, отведи его в английский клуб да скажи там: такой-то, дескать, владетельный граф Барабанов, так там его два часа за графа почитать будут, — и в вист сыграет, и говорить по-графски будет, и не догадаются; надует. Он плохо кончит. Так вот этот Митрошка на пузана крепко зубы точит, потому у Митрошки теперь тонко, а пузан у него Сизобрюхова отбил, прежнего приятеля, с которого он не успел еще шерсточку обстричь. Если они сошлись теперь в ресторации, так тут, верно, какая-нибудь штука была. Я даже знаю какая и предугадываю, что Митрошка, а не кто другой, известил меня, что Архипов с Сизобрюховым будут здесь и шныряют по этим местам за каким-то скверным делом. Ненавистью Митрошки к Архипову я хочу воспользоваться, потому что имею свои причины; да и явился я здесь почти по этой причине. Виду же Митрошке не хочу показывать, да и ты на него не засматривайся. А когда будем выходить отсюда, то он, наверно, сам ко мне подойдет и скажет то, что мне надо... А теперь пойдем, Ваня, вон в ту комнату, видишь? Ну, Степан, — продолжал он, обращаясь к половому, — понимаешь, чего мне надо?

— Понимаю-с.

— И удовлетворишь?

— Удовлетворю-с.

— Удовлетвори. Садись, Ваня. Ну, что ты так на меня смотришь? Я вижу ведь, ты на меня смотришь. Удивляешься? Не удивляйся. Всё может с человеком случиться, что даже и не снилось ему никогда, и уж особенно тогда... ну, да хоть тогда, когда

мы с тобой зубрили Корнелия Непота! Вот что, Ваня, верь одному: Маслобоев хоть и сбился с дороги, но сердце в нем то же осталось, а обстоятельства только переменились. Я хоть и в саже, да никого не гаже. И в доктора поступал, и в учителя отечественной словесности готовился, и об Гоголе статью написал, и в золотопромышленники хотел, и жениться собирался — жива-душа калачика хочет, и *она* соглашалась, хотя в доме такая благодать, что нечем кошки из избы было выманить. Я было уж к свадебной церемонии и сапоги крепкие занимать хотел, потому у самого были уж полтора года в дырьях... Да и не женился. Она за учителя вышла, а я стал в конторе служить, то есть не в коммерческой конторе, а так, просто в конторе. Ну, тут пошла музыка не та. Протекли годы, и я теперь хоть и не служу, но денежки наживаю удобно: взятки беру и за правду стою; молодец против овец, а против молодца и сам овца. Правила имею: знаю, например, что один в поле не воин, и — дело делаю. Дело же мое больше по подноготной части... понимаешь?

— Да ты уж не сыщик ли какой-нибудь?

— Нет, не то чтобы сыщик, а делами некоторыми занимаюсь, отчасти и официально, отчасти и по собственному призванию. Вот что, Ваня: водку пью. А так как ума я никогда не пропивал, то знаю и мою будущность. Время мое прошло, черного кобеля не отмоешь добела. Одно скажу: если б во мне не откликался еще человек, не подошел бы я сегодня к тебе, Ваня. Правда твоя, встречал я тебя, видал и прежде, много раз хотел подойти, да всё не смел, всё откладывал. Не стою я тебя. И правду ты сказал, Ваня, что если и подошел, так только потому, что хмельной. И хоть всё это сильнейшая ерунда, но мы обо мне покончим. Давай лучше о тебе говорить. Ну, душа: читал! Читал, ведь и я прочел! Я, дружище, про твоего первенца говорю. Как прочел — я, брат, чуть порядочным человеком не сделался! Чуть было; да только пораздумал и предпочел лучше остаться непорядочным человеком. Так-то...

И много еще он мне говорил. Он хмелел всё больше и больше и начал крепко умиляться, чуть не до слез. Маслобоев был всегда славный малый, но всегда себе на уме и развит как-то не по силам; хитрый, пронырливый, пролаз и крючок еще с самой школы, но в сущности человек не без сердца; погибший человек. Таких людей между русскими людьми много. Бывают они часто с большими способностями; но всё это в них как-то перепутывается, да сверх того они в состоянии сознательно идти против своей совести из слабости на известных пунктах, и не только всегда погибают, но и сами заранее знают, что идут к погибели. Маслобоев, между прочим, потопул в вине.

— Теперь, друг, еще одно слово, — продолжал он. — Слышал я, как твоя слава сперва прогремела; читал потом на тебя разные критики (право, читал; ты думаешь, я уж ничего не читаю); встречал тебя потом в худых сапогах, в грязи без калош, в обло-

манной шляпе и кой о чем догадался. По журналистам теперь промышляешь?

— Да, Маслобоев.

— Значит, в почтовые клячи записался?

— Похоже на то.

— Ну, так на это я, брат, вот что скажу: пить лучше! Я вот напьюсь, лягу себе на диван (а у меня диван славный, с пружинами) и думаю, что вот я, например, какой-нибудь Гомер или Дант, или какой-нибудь Фридрих Барбаруса, — ведь всё можно себе представить. Ну, а тебе нельзя представлять себе, что ты Дант или Фридрих Барбаруса, во-первых, потому что ты хочешь быть сам по себе, а во-вторых, потому что тебе всякое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча. У меня воображение, а у тебя действительность. Послушай же откровенно и прямо, по-братски (не то на десять лет обидишь и унизишь меня), — не надо ли денег? Есть. Да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплатись с антрепренерами, скинь хомут, потом обеспечь себе целый год жизни и садись за любимую мысль, пиши великое произведение! А? Что скажешь?

— Слушай, Маслобоев! Братское твое предложение ценю, но ничего не могу теперь отвечать — а почему — долго рассказывать. Есть обстоятельства. Впрочем, обещаюсь: всё расскажу тебе потом, по-братски. За предложение благодарю: обещаюсь, что приду к тебе и приду много раз. Но вот в чем дело: ты со мной откровенен, а потому и я решаюсь спросить у тебя совета, тем более что ты в этих делах мастак.

И я рассказал ему всю историю Смита и его внучки, начиная с самой кондитерской. Странное дело: когда я рассказывал, мне по глазам его показалось, что он кой-что знает из этой истории. Я спросил его об этом.

— Нет, не то, — отвечал он. — Впрочем, так кой-что о Смите я слышал, что умер какой-то старик в кондитерской. А об мадам Бубновой я действительно кой-что знаю. С этой дамы я уж взял два месяца тому назад взятку. Je prends mon bien, où je le trouve [1] и только в этом смысле похож на Мольера. Но хотя я и содрал с нее сто рублей, все-таки я тогда же дал себе слово скрутить ее уже не на сто, а на пятьсот рублей. Скверная баба! Непозволительными делами занимается. Оно бы ничего, да иногда уж слишком до худого доходит. Ты не считай меня, пожалуйста, Дон-Кихотом. Дело всё в том, что может крепко мне перепасть, и когда я, полчаса тому назад, Сизобрюхова встретил, то очень обрадовался. Сизобрюхова, очевидно, сюда привели, и привел его пузан, а так как я знаю, по какого рода делам пузан особенно промышляет, то и заключаю... Ну, да уж я его накрою! Я очень рад, что от тебя про эту девочку услыхал; теперь я на другой след попал. Я ведь,

---

[1] Я беру свое добро там, где нахожу его (*франц.*).

брат, разными частными комиссиями занимаюсь, да еще с какими людьми знаком! Разыскивал я недавно одно дельце, для одного князя, так я тебе скажу — такое дельце, что от этого князя и ожидать нельзя было. А то, хочешь, другую историю про мужнюю жену расскажу? Ты, брат, ко мне ходи, я тебе таких сюжетов наготовил, что, опиши их, так не поверят тебе...

— А как фамилия того князя? — перебил я его, предчувствуя что-то.

— А тебе на что? Изволь: Валковский.

— Петр?

— Он. Ты знаком?

— Знаком, да не очень. Ну, Маслобоев, я об этом господине к тебе не раз понаведаюсь, — сказал я, вставая, — ты меня ужасно заинтересовал.

— Вот видишь, старый приятель, наведывайся сколько хочешь. Сказки я умею рассказывать, но ведь до известных пределов, — понимаешь? Не то кредит и честь потеряешь, деловую то есть, ну и так далее.

— Ну, насколько честь позволит.

Я был даже в волнении. Он это заметил.

— Ну, что ж теперь скажешь мне про ту историю, которую я сейчас тебе рассказал. Придумал ты что или нет?

— Про твою историю? А вот подожди меня две минутки; я расплачусь.

Он пошел к буфету и там, как бы нечаянно, вдруг очутился вместе с тем парнем в поддевке, которого так бесцеремонно звали Митрошкой. Мне показалось, что Маслобоев знал его несколько ближе, чем сам признавался мне. По крайней мере, видно было, что сошлись они теперь не в первый раз. Митрошка был с виду парень довольно оригинальный. В своей поддевке, в шелковой красной рубашке, с резкими, но благообразными чертами лица, еще довольно моложавый, смуглый, с смелым сверкающим взглядом, он производил и любопытное и не отталкивающее впечатление. Жест его был как-то выделанно удалой, а вместе с тем в настоящую минуту он, видимо, сдерживал себя, всего более желая себе придать вид чрезвычайной деловитости и солидности.

— Вот что, Ваня, — сказал Маслобоев, воротясь ко мне, — наведайся-ка ты сегодня ко мне в семь часов, так я, может, кой-что и скажу тебе. Один-то я, видишь ли, ничего не значу; прежде значил, а теперь только пьяница и удалился от дел. Но у меня остались прежние сношения; могу кой о чем разведать, с разными тонкими людьми перенюхаться; этим и беру; правда, в свободное, то есть трезвое, время и сам кой-что делаю, тоже через знакомых... больше по разведкам... Ну, да что тут! Довольно... Вот и адрес мой: в Шестилавочной. А теперь, брат, я уж слишком прокис. Пропущу еще золотую, да и домой. Полежу. Придешь — с Александрой Семеновной познакомлю, а будет время, о поэзии поговорим.

— Ну, а о том-то?
— Ну, и о том, может быть.
— Пожалуй, приду, наверно приду...

Глава VI

Анна Андреевна уже давно дожидалась меня. То, что я вчера сказал ей о записке Наташи, сильно завлекло ее любопытство, и она ждала меня гораздо раньше утром, по крайней мере часов в десять. Когда же я явился к ней во втором часу пополудни, то муки ожидания достигли в бедной старушке последней степени своей силы. Кроме того, ей очень хотелось объявить мне о своих новых надеждах, возродившихся в ней со вчерашнего дня, и об Николае Сергеиче, который со вчерашнего дня прихворнул, стал угрюм, а между тем и как-то особенно с нею нежен. Когда я появился, она приняла было меня с недовольной и холодной складкой в лице, едва цедила сквозь зубы и не показывала ни малейшего любопытства, как будто чуть не проговорила: «Зачем пришел? Охота тебе, батюшка, каждый день шляться». Она сердилась за поздний приход. Но я спешил и потому без дальнейших проволочек рассказал ей всю вчерашнюю сцену у Наташи. Как только старушка услышала о посещении старшего князя и о торжественном его предложении, как тотчас же соскочила с нее вся напускная хандра. Недостает у меня слов описать, как она обрадовалась, даже как-то потерялась, крестилась, плакала, клала перед образом земные поклоны, обнимала меня и хотела тотчас же бежать к Николаю Сергеичу и объявить ему свою радость.

— Помилуй, батюшка, ведь это он всё от разных унижений и оскорблений хандрит, а вот теперь узнает, что Наташе полное удовлетворение сделано, так мигом всё позабудет.

Насилу я отговорил ее. Добрая старушка, несмотря на то что двадцать пять лет прожила с мужем, еще плохо знала его. Ей ужасно тоже захотелось тотчас же поехать со мной к Наташе. Я представил ей, что Николай Сергеич не только, может быть, не одобрит ее поступка, но еще мы этим повредим всему делу. Насилу-то она одумалась, но продержала меня еще полчаса лишних и всё время говорила только сама. «С кем же я-то теперь останусь, — говорила она, — с такой радостью да сидя одна в четырех стенах?» Наконец я убедил ее отпустить меня, представив ей, что Наташа теперь ждет меня не дождется. Старушка перекрестила меня несколько раз на дорогу, послала особое благословение Наташе и чуть не заплакала, когда я решительно отказался прийти в тот же день еще раз, вечером, если с Наташей не случится чего особенного. Николая Сергеича в этот раз я не видал: он не спал всю ночь, жаловался на головную боль, на озноб и теперь спал в своем кабинете.

Тоже и Наташа прождала меня всё утро. Когда я вошел, она, по обыкновению своему, ходила по комнате, сложа руки и о чем-то

раздумывая. Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, как всегда одну в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, с сложенными руками, с опущенными вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед.

Она тихо, всё еще продолжая ходить, спросила, почему я так поздно? Я рассказал ей вкратце все мои похождения, но она меня почти и не слушала. Заметно было, что она чем-то очень озабочена. «Что нового?» — спросил я. «Нового ничего», — отвечала она, но с таким видом, по которому я тотчас догадался, что новое у ней есть и что она для того и ждала меня, чтоб рассказать это новое, но, по обыкновению своему, расскажет не сейчас, а когда я буду уходить. Так всегда у нас было. Я уж применился к ней и ждал.

Мы, разумеется, начали разговор о вчерашнем. Меня особенно поразило то, что мы совершенно сходимся с ней в впечатлении нашем о старом князе: ей он решительно не нравился, гораздо больше не нравился, чем вчера. И когда мы перебрали по черточкам весь его вчерашний визит, Наташа вдруг сказала:

— Послушай, Ваня, а ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом. По крайней мере, так всегда бывало со мною.

— Дай бог так, Наташа. К тому же вот мое мнение, и окончательное: я всё перебрал и вывел, что хоть князь, может быть, и иезуитничает, но соглашается он на ваш брак вправду и серьезно.

Наташа остановилась среди комнаты и сурово взглянула на меня. Всё лицо ее изменилось; даже губы слегка вздрогнули.

— Да как же бы он мог в *таком* случае начать хитрить и... лгать? — спросила она с надменным недоумением.

— То-то, то-то! — поддакнул я скорее.

— Разумеется, не лгал. Мне кажется, и думать об этом нечего. Нельзя даже предлога приискать к какой-нибудь хитрости. И, наконец, что ж я такое в глазах его, чтоб до такой степени смеяться надо мной? Неужели человек может быть способен на такую обиду?

— Конечно, конечно! — подтверждал я, а про себя подумал: «Ты, верно, об этом только и думаешь теперь, ходя по комнате, моя бедняжка, и, может, еще больше сомневаешься, чем я».

— Ах, как бы я желала, чтоб он поскорее воротился! — сказала она. — Целый вечер хотел просидеть у меня, и тогда... Должно быть, важные дела, коль всё бросил да уехал. Не знаешь ли, какие, Ваня? Не слыхал ли чего-нибудь?

— А господь его знает. Ведь он всё деньги наживает. Я слышал, участок в каком-то подряде здесь в Петербурге берет. Мы, Наташа, в делах ничего не смыслим.

— Разумеется, не смыслим. Алеша говорил про какое-то письмо вчера.

— Известие какое-нибудь. А был Алеша?

— Был.

— Рано?

— В двенадцать часов: да ведь он долго спит. Посидел. Я прогнала его к Катерине Федоровне; нельзя же, Ваня.

— А разве сам он не собирался туда?

— Нет, и сам собирался...

Она хотела что-то еще прибавить и замолчала. Я глядел на нее и выжидал. Лицо у ней было грустное. Я бы и спросил ее, да она очень иногда не любила расспросов.

— Странный этот мальчик, — сказала она наконец, слегка искривив рот и как будто стараясь не глядеть на меня.

— А что! Верно, что-нибудь у вас было?

— Нет, ничего; так... Он был, впрочем, и милый... Только уж...

— Вот теперь все его горести и заботы кончились, — сказал я.

Наташа пристально и пытливо взглянула на меня. Ей, может быть, самой хотелось бы ответить мне: «Немного-то было у него горестей и забот и прежде»; но ей показалось, что в моих словах та же мысль, она и надулась.

Впрочем, тотчас же опять стала и приветлива, и любезна. В этот раз она была чрезвычайно кротка. Я просидел у ней более часу. Она очень беспокоилась. Князь пугал ее. Я заметил по некоторым ее вопросам, что ей очень бы хотелось узнать наверно, какое именно произвела она на него вчера впечатление? Так ли она себя держала? Не слишком ли она выразила перед ним свою радость? Не была ли слишком обидчива? Или, наоборот, уж слишком снисходительна? Не подумал бы он чего-нибудь? Не просмеял бы? Не почувствовал бы презрения к ней?.. От этой мысли щеки ее вспыхнули как огонь.

— Неужели можно так волноваться из-за того только, что дурной человек что-нибудь подумает? Да пусть его думает! — сказал я.

— Почему же он дурной? — спросила она.

Наташа была мнительна, но чиста сердцем и прямодушна. Мнительность ее происходила из чистого источника. Она была горда, и благородно горда, и не могла перенести, если то, что считала выше всего, предалось бы на посмеяние в ее же глазах. На презрение человека низкого она, конечно, отвечала бы только презрением, но все-таки болела бы сердцем за насмешку над тем, что считала святынею, кто бы ни смеялся. Не от недостатка твердости происходило это. Происходило отчасти и от слишком малого знания света, от непривычки к людям, от замкнутости в своем угле. Она всю жизнь прожила в своем угле, почти не выходя из него. И, наконец, свойство самых добродушных людей, может быть перешедшее к ней от отца, — захвалить человека, упорно считать его лучше, чем он в самом деле, сгоряча преувеличивать в нем всё доброе — было в ней развито в сильной степени. Тяжело таким людям потом разочаровываться; еще тяжеле, когда чувствуешь, что сам виноват. Зачем ожидал более, чем могут дать? А таких людей поминутно ждет такое разочарование. Всего лучше, если они спокойно сидят в своих углах и не выходят на свет;

я даже заметил, что они действительно любят свои углы до того, что даже дичают в них. Впрочем, Наташа перенесла много несчастий, много оскорблений. Это было уже больное существо, и ее нельзя винить, если только в моих словах есть обвинение.

Но я спешил и встал уходить. Она изумилась и чуть не заплакала, что я ухожу, хотя всё время, как я сидел, не показывала мне никакой особенной нежности, напротив, даже была со мной как будто холоднее обыкновенного. Она горячо поцеловала меня и как-то долго посмотрела мне в глаза.

— Послушай, — сказала она, — Алеша был пресмешной сегодня и даже удивил меня. Он был очень мил, очень счастлив с виду, но влетел таким мотыльком, таким фатом, всё перед зеркалом вертелся. Уж он слишком как-то без церемонии теперь... да и сидел-то недолго. Представь: мне конфет привез.

— Конфет? Что ж, это очень мило и простодушно. Ах, какие вы оба! Вот уж и пошли теперь наблюдать друг за другом, шпионить, лица друг у друга изучать, тайные мысли на них читать (а ничего-то вы в них и не понимаете!). Еще он ничего. Он веселый и школьник по-прежнему. А ты-то, ты-то!

И всегда, когда Наташа переменяла тон и подходила, бывало, ко мне или с жалобой на Алешу, или для разрешения каких-нибудь щекотливых недоумений, или с каким-нибудь секретом и с желанием, чтоб я понял его с полслова, то, помню, она всегда смотрела на меня, оскаля зубки и как будто вымаливая, чтоб я непременно решил как-нибудь так, чтоб ей тотчас же стало легче на сердце. Но помню тоже, я в таких случаях всегда как-то принимал суровый и резкий тон, точно распекая кого-то, и делалось это у меня совершенно нечаянно, но всегда *удавалось*. Суровость и важность моя были кстати, казались авторитетнее, а ведь иногда человек чувствует непреодолимую потребность, чтоб его кто-нибудь пораспек. По крайней мере, Наташа уходила от меня иногда совершенно утешенная.

— Нет, видишь, Ваня, — продолжала она, держа одну свою ручку на моем плече, другою сжимая мне руку, а глазками заискивая в моих глазах, — мне показалось, что он был как-то мало проникнут... он показался мне таким уж mari, [1] — знаешь, как будто десять лет женат, но всё еще любезный с женой человек. Не рано ли уж очень?.. Смеялся, вертелся, но как будто это всё ко мне только так, только уж отчасти относится, а не так, как прежде... Очень торопился к Катерине Федоровне... Я ему говорю, а он не слушает или об другом заговаривает, знаешь, эта скверная, великосветская привычка, от которой мы оба его так отучали. Одним словом, был такой... даже как будто равнодушный... Но что я! Вот и пошла, вот и начала! Ах, какие мы все требовательные, Ваня, какие капризные деспоты! Только теперь вижу! Пустой перемены в лице человеку не простим, а у него еще бог

[1] мужем (*франц.*).

знает отчего переменилось лицо! Ты прав, Ваня, что сейчас укорял меня! Это я одна во всем виновата! Сами себе горести создаем, да еще жалуемся... Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утешил. Ах, кабы он сегодня приехал! Да чего! Пожалуй, еще рассердится за давешнее.

— Да неужели вы уж поссорились! — вскричал я с удивлением.

— И виду не подала! Только я была немного грустна, а он из веселого стал вдруг задумчивым и, мне показалось, сухо со мной простился. Да я пошлю за ним... Приходи и ты, Ваня, сегодня.

— Непременно, если только не задержит одно дело.

— Ну вот, какое там дело?

— Да навязал себе! А впрочем, кажется, непременно приду.

Глава VII

Ровно в семь часов я был у Маслобоева. Он жил в Шестилавочной, в небольшом доме, во флигеле, в довольно неопрятной квартире о трех комнатах, впрочем не бедно меблированных. Виден был даже некоторый достаток и в то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми, веселыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться. Она спросила: кто я, и, услышав фамилию, сказала, что он ждет меня, но что теперь спит в своей комнате, куда меня и повела. Маслобоев спал на прекрасном, мягком диване, накрытый своею грязною шинелью, с кожаной истертой подушкой в головах. Сон у него был очень чуткий; только что мы вошли, он тотчас же окликнул меня по имени.

— А! Это ты? Жду. Сейчас во сне видел, что ты пришел и меня будишь. Значит, пора. Едем.

— Куда едем?

— К даме.

— К какой? Зачем?

— К мадам Бубновой, затем чтобы ее раскассировать. А какая красотка-то! — протянул он, обращаясь к Александре Семеновне, и даже поцеловал кончики пальцев при воспоминании о мадам Бубновой.

— Ну уж пошел, выдумал! — проговорила Александра Семеновна, считая непременным долгом немного рассердиться.

— Незнаком? Познакомься, брат: вот, Александра Семеновна, рекомендую тебе, это литературный генерал; их только раз в год даром осматривают, а в прочее время за деньги.

— Ну, вот дуру нашел. Вы его, пожалуйста, не слушайте, всё смеется надо мной. Какие они генералы?

— Я про то вам и говорю, что особенные. А ты, ваше превосходительство, не думай, что мы глупы; мы гораздо умнее, чем с первого взгляда кажемся.

— Да не слушайте его! Вечно-то застыдит при хороших людях, бесстыдник. Хоть бы в театр когда свез.

— Любите, Александра Семеновна, домашние свои... А не забыли, что любить-то надо? Словечко-то не забыли? Вот которому я вас учил?

— Конечно, не забыла. Вздор какой-нибудь значит.

— Ну, да какое ж словечко-то?

— Вот стану я срамиться при госте. Оно, может быть, срам какой значит. Язык отсохни, коли скажу.

— Значит, забыли-с?

— А вот и не забыла; пенаты! Любите свои пенаты... ведь вот что выдумает! Может, никаких пенатов и не было; и за что их любить-то? Всё врет!

— Зато у мадам Бубновой...

— Тьфу ты с своей Бубновой! — и Александра Семеновна выбежала в величайшем негодовании.

— Пора! идем! Прощайте, Александра Семеновна!

Мы вышли.

— Видишь, Ваня, во-первых, сядем на этого извозчика. Так. А во-вторых, я давеча, как с тобой простился, кой-что еще узнал и узнал уж не по догадкам, а в точности. Я еще на Васильевском целый час оставался. Этот пузан — страшная каналья, грязный, гадкий, с вычурами и с разными подлыми вкусами. Эта Бубнова давно уж известна кой-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попалась. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку (вот ты давеча рассказывал), не давали мне покоя; потому что я кой-что уже до этого слышал. Давеча я кой-что еще разузнал, правда совершенно случайно, но, кажется, наверно. Сколько лет девочке?

— По лицу лет тринадцать.

— А по росту меньше. Ну, так она и сделает. Коли надо, скажет одиннадцать, а то пятнадцать. И так как у бедняжки ни защиты, ни семейства, то...

— Неужели?

— А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если пузан туда повадился, так уж так. Он с ней давеча утром виделся. А болвану Сизобрюхову обещана сегодня красавица, мужняя жена, чиновница и штаб-офицерка. Купецкие дети из кутящих до этого падки; всегда про чин спросят. Это как в латинской грамматике, помнишь: значение предпочитается окончанию. А впрочем, я еще, кажется, с давешнего пьян. Ну, а Бубнова такими делами заниматься не смей. Она и полицию надуть хочет; да врешь! А потому я и пугну, так как она знает, что я по старой памяти... ну и прочее — понимаешь?

Я был страшно поражен. Все эти известия взволновали мою душу. Я всё боялся, что мы опоздаем, и погонял извозчика.

— Не беспокойся; меры приняты, — говорил Маслобоев. — Там Митрошка. Сизобрюхов ему поплатится деньгами, а пузатый подлец — натурой. Это еще давеча решено было. Ну, а Бубнова на мой пай приходится... Потому она не смей...

Мы приехали и остановились у ресторации; но человека, называвшегося Митрошкой, там не было. Приказав извозчику нас дожидаться у крыльца ресторации, мы пошли к Бубновой. Митрошка поджидал нас у ворот. В окнах разливался яркий свет, и слышался пьяный, раскатистый смех Сизобрюхова.

— Там они все, с четверть часа будет, — известил Митрошка. — Теперь самое время.

— Да как же мы войдем? — спросил я.

— Как гости, — возразил Маслобоев. — Она меня знает; да и Митрошку знает. Правда, всё на запоре, да только не для нас.

Он тихо постучал в ворота, и они тотчас же отворились. Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой. Мы вошли тихо; в доме нас не слыхали. Дворник провел нас по лесенке и постучался. Его окликнули; он отвечал, что один: «дескать, надоть». Отворили, и мы все вошли разом. Дворник скрылся.

— Ай, кто это? — закричала Бубнова, пьяная и растрепанная, стоявшая в крошечной передней со свечою в руках.

— Кто? — подхватил Маслобоев. — Как же вы это, Анна Трифоновна, дорогих гостей не узнаете? Кто же, как не мы?.. Филипп Филиппыч.

— Ах, Филипп Филиппыч! это вы-с... дорогие гости... Да как же вы-с... я-с... ничего-с... пожалуйте сюда-с.

И она совсем заметалась.

— Куда сюда? Да тут перегородка... Нет, вы нас принимайте получше. Мы у вас холодненького выпьем, да машерочек нет ли?

Хозяйка мигом ободрилась.

— Да для таких дорогих гостей из-под земли найду; из китайского государства выпишу.

— Два слова, голубушка Анна Трифоновна: здесь Сизобрюхов?

— З...здесь.

— Так его-то мне и надобно. Как же он смел, подлец, без меня кутить!

— Да он вас, верно, не позабыл. Всё кого-то поджидал, верно, вас.

Маслобоев толкнул дверь, и мы очутились в небольшой комнате, в два окна, с геранями, плетеными стульями и с сквернейшими фортепианами; всё как следовало. Но еще прежде, чем мы вошли, еще когда мы разговаривали в передней, Митрошка стушевался. Я после узнал, что он и не входил, а пережидал за дверью. Ему было кому потом отворить. Растрепанная и нарумяненная женщина, выглядывавшая давеча утром из-за плеча Бубновой, приходилась ему кума.

Сизобрюхов сидел на тоненьком диванчике под красное дерево, перед круглым столом, покрытым скатертью. На столе стояли две бутылки теплого шампанского, бутылка скверного рому; стояли тарелки с кондитерскими конфетами, пряниками и орехами трех сортов. За столом, напротив Сизобрюхова, сидело отвратительное существо лет сорока и рябое, в черном тафтяном платье и с бронзовыми браслетами и брошками. Это была штаб-офицерка, очевидно поддельная. Сизобрюхов был пьян и очень доволен. Пузатого его спутника с ним не было.

— Так-то люди делают! — заревел во всё горло Маслобоев, — а еще к Дюссо приглашает!

— Филипп Филиппыч, осчастливили-с! — пробормотал Сизобрюхов, с блаженным видом подымаясь нам навстречу.

— Пьешь?

— Извините-с.

— Да ты не извиняйся, а приглашай гостей. С тобой погулять приехали. Вот привел еще гостя: приятель! — Маслобоев указал на меня.

— Рады-с, то есть осчастливили-с... Кхи!

— Ишь, шампанское называется! На кислые щи похоже.

— Обижаете-с.

— Знать, ты к Дюссо-то и показываться не смеешь; а еще приглашает!

— Он сейчас рассказывал, что в Париже был, — подхватила штаб-офицерка, — вот врет-то, должно быть!

— Федосья Титишна, не обижайте-с. Были-с. Ездили-с.

— Ну, такому ли мужику в Париже быть?

— Были-с. Могли-с. Мы там с Карпом Васильичем отличались. Карпа Васильича изволите знать-с?

— А на что мне знать твоего Карпа Васильича?

— Да уж так-с... из политики дело-с. А мы с ним там, в местечке Париже-с, у мадам Жубер-с, англицкую трюму разбили-с.

— Что разбили?

— Трюму-с. Трюма такая была, во всю стену до потолка простиралась; а уж Карп Васильич так пьян, что уж с мадам Жубер-с по-русски заговорил. Он это у трюмы стал, да и облокотился. А Жуберта-то и кричит ему, по-свойски то есть: «Трюма семьсот франков стоит (по-нашему четвертаков), разобьешь!» Он ухмыляется да на меня смотрит; а я супротив сижу на канапе, и красота со мной, да не такое рыло, как вот ефта-с, а с киксом, словом сказать-с. Он и кричит: «Степан Терентьич, а Степан Терентьич! Пополам идет, что ли?» Я говорю: «Идет!» — как он кулачищем-то по трюме-то стукнет — дзынь! Только осколки посыпались. Завизжала Жуберта, так в рожу ему прямо и лезет: «Что ты, разбойник, куда пришел?» (по-ихнему то есть). А он ей: «Ты, говорит, мадам Жубер-с, деньги бери, а ндраву моему не препятствуй», да тут же ей шестьсот пятьдесят франков и отвалил. Полсотни выторговали-с.

В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос Елены. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, возня и наконец ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг с силой отворилась дверь и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились. Визги и крики раздались при ее появлении. Вслед за ней показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде. Он доволок его до порога и вбросил к нам в комнату.

— Вот он! Берите его! — произнес Митрошка с совершенно довольным видом.

— Слушай, — проговорил Маслобоев, спокойно подходя ко мне и стукнув меня по плечу, — бери нашего извозчика, бери девочку и поезжай к себе, а здесь тебе больше нечего делать. Завтра уладим и остальное.

Я не заставил себе повторять два раза. Схватив за руку Елену, я вывел ее из этого вертепа. Уж не знаю, как там у них кончилось. Нас не останавливали: хозяйка была поражена ужасом. Всё произошло так скоро, что она и помешать не могла. Извозчик нас дожидался, и через двадцать минут я был уже на своей квартире.

Елена была как полумертвая. Я расстегнул крючки у ее платья, спрыснул ее водой и положил на диван. С ней начался жар и бред. Я глядел на ее бледное личико, на бесцветные ее губы, на ее черные, сбившиеся на сторону, но расчесанные волосок к волоску и напомаженные волосы, на весь ее туалет, на эти розовые бантики, еще уцелевшие кой-где на платье, — и понял окончательно всю эту отвратительную историю. Бедная! Ей становилось всё хуже и хуже. Я не отходил от нее и решился не ходить этот вечер к Наташе. Иногда Елена подымала свои длинные ресницы и взглядывала на меня, и долго и пристально глядела, как бы узнавая меня. Уже поздно, часу в первом ночи, она заснула. Я заснул подле нее на полу.

Глава VIII

Я встал очень рано. Всю ночь я просыпался почти каждые полчаса, подходил к моей бедной гостье и внимательно к ней присматривался. У нее был жар и легкий бред. Но к утру она заснула крепко. Добрый знак, подумал я, но, проснувшись утром, решился поскорей, покамест бедняжка еще спала, сбегать к док-

тору. Я знал одного доктора, холостого и добродушного старичка, с незапамятных времен жившего у Владимирской вдвоем с своей экономкой-немкой. К нему-то я и отправился. Он обещал быть у меня в десять часов. Было восемь, когда я приходил к нему. Мне ужасно хотелось зайти по дороге к Маслобоеву, но я раздумал: он, верно, еще спал со вчерашнего, да к тому же Елена могла проснуться и, пожалуй, без меня испугалась бы, увидя себя в моей квартире. В болезненном своем состоянии она могла забыть: как, когда и каким образом попала ко мне.

Она проснулась в ту самую минуту, когда я входил в комнату. Я подошел к ней и осторожно спросил: как она себя чувствует? Она не отвечала, но долго-долго и пристально на меня смотрела своими выразительными черными глазами. Мне показалось из ее взгляда, что она всё понимает и в полной памяти. Не отвечала же она мне, может быть, по своей всегдашней привычке. И вчера и третьего дня, как приходила ко мне, она на иные мои вопросы не проговаривала ни слова, а только начинала вдруг смотреть мне в глаза своим длинным, упорным взглядом, в котором вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость. Теперь же я заметил в ее взгляде суровость и даже как будто недоверчивость. Я было приложил руку к ее лбу, чтоб пощупать, есть ли жар, но она молча и тихо своей маленькой ручкой отвела мою и отвернулась от меня лицом к стене. Я отошел, чтоб уж и не беспокоить ее.

У меня был большой медный чайник. Я уже давно употреблял его вместо самовара и кипятил в нем воду. Дрова у меня были, дворник разом носил мне их дней на пять. Я затопил печь, сходил за водой и наставил чайник. На столе же приготовил мой чайный прибор. Елена повернулась ко мне и смотрела на всё с любопытством. Я спросил ее, не хочет ли и она чего? Но она опять от меня отвернулась и ничего не ответила.

«На меня-то за что ж она сердится? — подумал я. — Странная девочка!»

Мой старичок доктор пришел, как сказал, в десять часов. Он осмотрел больную со всей немецкой внимательностью и сильно обнадежил меня, сказав, что хоть и есть лихорадочное состояние, но особенной опасности нет никакой. Он прибавил, что у ней должна быть другая, постоянная болезнь, что-нибудь вроде неправильного сердцебиения, «но что этот пункт будет требовать особенных наблюдений, теперь же она вне опасности». Он прописал ей микстуру и каких-то порошков, более для обычая, чем для надобности, и тотчас же начал меня расспрашивать: каким образом она у меня очутилась? В то же время он с удивлением рассматривал мою квартиру. Этот старичок был ужасный болтун.

Елена же его поразила; она вырвала у него свою руку, когда он щупал ее пульс, и не хотела показать ему язык. На все вопросы его не отвечала ни слова, но всё время только пристально смотрела на его огромный Станислав, качавшийся у него на шее. «У нее,

верно, голова очень болит, — заметил старичок, — но только как она глядит!» Я не почел за нужное ему рассказывать о Елене и отговорился тем, что это длинная история.

— Дайте мне знать, если надо будет, — сказал он, уходя. — А теперь нет опасности.

Я решился на весь день остаться с Еленой и, по возможности, до самого выздоровления оставлять ее как можно реже одну. Но зная, что Наташа и Анна Андреевна могут измучиться, ожидая меня понапрасну, решился хоть Наташу уведомить по городской почте письмом, что сегодня у ней не буду. Анне же Андреевне нельзя было писать. Она сама просила меня, чтоб я, раз навсегда, не присылал ей писем, после того как я однажды послал было ей известие во время болезни Наташи. «И старик хмурится, как письмо твое увидит, — говорила она, — узнать-то ему очень хочется, сердечному, что́ в письме, да и спросить-то нельзя, не решается. Вот и расстроится на весь день. Да к тому же, батюшка, письмом-то ты меня только раздразнишь. Ну что десять строк! Захочется подробнее расспросить, а тебя-то и нет». И потому я написал одной Наташе и, когда относил в аптеку рецепт, отправил зараз и письмо.

Тем временем Елена опять заснула. Во сне она слегка стонала и вздрагивала. Доктор угадал: у ней сильно болела голова. Порой она слегка вскрикивала и просыпалась. На меня она взглядывала даже с досадою, как будто ей особенно тяжело было мое внимание. Признаюсь, мне было это очень больно.

В одиннадцать часов пришел Маслобоев. Он был озабочен и как будто рассеян; зашел он только на минутку и очень куда-то торопился.

— Ну, брат, я ожидал, что ты живешь неказисто, — заметил он, осматриваясь, — но, право, не думал, что найду тебя в таком сундуке. Ведь это сундук, а не квартира. Ну, да это-то, положим, ничего, а главная беда в том, что тебя все эти посторонние хлопоты только отвлекают от работы. Я об этом думал еще вчера, когда мы ехали к Бубновой. Я ведь, брат, по натуре моей и по социальному моему положению принадлежу к тем людям, которые сами путного ничего не делают, а другим наставления читают, чтоб делали. Теперь слушай: я, может быть, завтра или послезавтра зайду к тебе, а ты непременно побывай у меня в воскресенье утром. К тому времени дело этой девочки, надеюсь, совсем кончится; в тот же раз я с тобой серьезно переговорю, потому что за тебя надо серьезно приняться. Эдак жить нельзя. Я тебе вчера только намекнул, а теперь логически представлять буду. Да и, наконец, скажи: что ж ты за бесчестье, что ли, считаешь взять у меня денег на время?..

— Да не ссорься! — прервал я его. — Лучше скажи, чем у вас там вчера-то кончилось?

— Да что, кончилось благополучнейшим образом, и цель достигнута, понимаешь? Теперь же мне некогда. На минутку

зашел только уведомить, что мне некогда и не до тебя; да, кстати, узнать: что, ты ее поместишь куда-нибудь или у себя держать хочешь? Потому это надо обдумать и решить.

— Этого я еще наверно не знаю и, признаюсь, ждал тебя, чтоб с тобой посоветоваться. Ну на каком, например, основании я буду ее у себя держать?

— Э, чего тут, да хоть в виде служанки...

— Прошу тебя только, говори тише. Она хоть и больна, но совершенно в памяти, и как тебя увидела, я заметил, как будто вздрогнула. Значит, вчерашнее вспомнила...

Тут я ему рассказал об ее характере и всё, что я в ней заметил. Слова мои заинтересовали Маслобоева. Я прибавил, что, может быть, помещу ее в один дом, и слегка рассказал ему про моих стариков. К удивлению моему, он уже отчасти знал историю Наташи и на вопрос мой: откуда он знает?

— Так; давно, как-то мельком слышал, к одному делу приходилось. Ведь я уже говорил тебе, что знаю князя Валковского. Это ты хорошо делаешь, что хочешь отправить ее к тем старикам. А то стеснит она тебя только. Да вот еще что: ей нужен какой-нибудь вид. Об этом не беспокойся; на себя беру. Прощай, заходи чаще. Что она теперь, спит?

— Кажется, — отвечал я.

Но только что он ушел, Елена тотчас же меня окликнула.

— Кто это? — спросила она. Голос ее дрожал, но смотрела она на меня всё тем же пристальным и как будто надменным взглядом. Иначе я не умею выразиться.

Я назвал ей фамилию Маслобоева и прибавил, что через него-то я и вырвал ее от Бубновой и что Бубнова его очень боится. Щеки ее вдруг загорелись как будто заревом, вероятно от воспоминаний.

— И она теперь никогда не придет сюда? — спросила Елена, пытливо смотря на меня.

Я поспешил ее обнадежить. Она замолчала, взяла было своими горячими пальчиками мою руку, но тотчас же отбросила ее, как будто опомнившись. «Не может быть, чтоб она в самом деле чувствовала ко мне такое отвращение, — подумал я. — Это ее манера, или... или просто бедняжка видела столько горя, что уж не доверяет никому на свете».

В назначенное время я сходил за лекарством и вместе с тем в знакомый трактир, в котором я иногда обедал и где мне верили в долг. В этот раз, выходя из дому, я захватил с собой судки и взял в трактире порцию супу из курицы для Елены. Но она не хотела есть, и суп до времени остался в печке.

Дав ей лекарство, я сел за свою работу. Я думал, что она спит, но, нечаянно взглянув на нее, вдруг увидел, что она приподняла голову и пристально следила, как я пишу. Я притворился, что не заметил ее.

Наконец она и в самом деле заснула и, к величайшему моему удовольствию, спокойно, без бреду и без стонов. На меня напало

раздумье; Наташа не только могла, не зная, в чем дело, рассердиться на меня за то, что я не приходил к ней сегодня, но даже, думал я, наверно будет огорчена моим невниманием именно в такое время, когда, может быть, я ей наиболее нужен. У нее даже наверно могли случиться теперь какие-нибудь хлопоты, какое-нибудь дело препоручить мне, а меня, как нарочно, и нет.

Что же касается до Анны Андреевны, то я совершенно не знал, как завтра отговорюсь перед нею. Я думал-думал и вдруг решился сбегать и туда и сюда. Всё мое отсутствие могло продолжаться всего только два часа. Елена же спит и не услышит, как я схожу. Я вскочил, накинул пальто, взял фуражку, но только было хотел уйти, как вдруг Елена позвала меня. Я удивился: неужели ж она притворялась, что спит?

Замечу кстати: хоть Елена и показывала вид, что как будто не хочет говорить со мною, но эти оклики, довольно частые, эта потребность обращаться ко мне со всеми недоумениями, доказывали противное и, признаюсь, были мне даже приятны.

— Куда вы хотите отдать меня? — спросила она, когда я к ней подошел. Вообще она задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для меня неожиданно. В этот раз я даже не сейчас ее понял.

— Давеча вы говорили с вашим знакомым, что хотите отдать меня в какой-то дом. Я никуда не хочу.

Я нагнулся к ней: она была опять вся в жару; с ней был опять лихорадочный кризис. Я начал утешать ее и обнадеживать; уверял ее, что если она хочет остаться у меня, то я никуда ее не отдам. Говоря это, я снял пальто и фуражку. Оставить ее одну в таком состоянии я не решился.

— Нет, ступайте! — сказала она, тотчас догадавшись, что я хочу остаться. — Я спать хочу; я сейчас засну.

— Да как же ты одна будешь?.. — говорил я в недоумении. — Я, впрочем, наверно через два часа назад буду...

— Ну, и ступайте. А то целый год больна буду, так вам целый год из дому не уходить, — и она попробовала улыбнуться и как-то странно взглянула на меня, как будто борясь с каким-то добрым чувством, отозвавшимся в ее сердце. Бедняжка! Добренькое, нежное ее сердце выглядывало наружу, несмотря на всю ее нелюдимость и видимое ожесточение.

Сначала я сбегал к Анне Андреевне. Она ждала меня с лихорадочным нетерпением и встретила упреками; сама же была в страшном беспокойстве: Николай Сергеич сейчас после обеда ушел со двора, а куда — неизвестно. Я предчувствовал, что старушка не утерпела и рассказала ему всё, по своему обыкновению, *намеками*. Она, впрочем, мне почти что призналась в этом сама, говоря, что не могла утерпеть, чтоб не поделиться с ним такою радостью, но что Николай Сергеич стал, по ее собственному выражению, чернее тучи, ничего не сказал, «всё молчал, даже на вопросы мои не отвечал», и вдруг после обеда собрался и был таков.

Рассказывая это, Анна Андреевна чуть не дрожала от страху и умоляла меня подождать с ней вместе Николая Сергеича. Я отговорился и сказал ей почти наотрез, что, может быть, и завтра не приду и что я собственно потому и забежал теперь, чтобы об этом предуведомить. В этот раз мы чуть было не поссорились. Она заплакала; резко и горько упрекала меня, и только когда я уже выходил из двери, она вдруг бросилась ко мне на шею, крепко обняла меня обеими руками и сказала, чтоб я не сердился на нее, «сироту», и не принимал в обиду слов ее.

Наташу, против ожидания, я застал опять одну, и — странное дело, мне показалось, что она вовсе не так была мне в этот раз рада, как вчера и вообще в другие разы. Как будто я ей в чем-нибудь досадил или помешал. На мой вопрос: был ли сегодня Алеша? — она отвечала: разумеется, был, но недолго. Обещался сегодня вечером быть, — прибавила она, как бы в раздумье.

— А вчера вечером был?

— Н-нет. Его задержали, — прибавила она скороговоркой. — Ну, что, Ваня, как твои дела?

Я видел, что она хочет зачем-то замять наш разговор и свернуть на другое. Я оглядел ее пристальнее: она была видимо расстроена. Впрочем, заметив, что я пристально слежу за ней и в нее вглядываюсь, она вдруг быстро и как-то гневно взглянула на меня и с такою силою, что как будто обожгла меня взглядом. «У нее опять горе, — подумал я, — только она говорить мне не хочет».

В ответ на ее вопрос о моих делах я рассказал ей всю историю Елены, со всеми подробностями. Ее чрезвычайно заинтересовал и даже поразил мой рассказ.

— Боже мой! И ты мог ее оставить одну, больную! — вскричала она.

Я объяснил, что хотел было совсем не приходить к ней сегодня, но думал, что она на меня рассердится и что во мне могла быть какая-нибудь нужда.

— Нужда, — проговорила она про себя, что-то обдумывая, — нужда-то, пожалуй, есть в тебе, Ваня, но лучше уж в другой раз. Был у наших?

Я рассказал ей.

— Да; бог знает, как отец примет теперь все эти известия. А впрочем, что и принимать-то...

— Как что принимать? — спросил я, — такой переворот!

— Да уж так... Куда ж это он опять пошел? В тот раз вы думали, что он ко мне ходил. Видишь, Ваня, если можешь, зайди ко мне завтра. Может быть, я кой-что и скажу тебе... Совестно мне только тебя беспокоить; а теперь шел бы ты домой к своей гостье. Небось часа два прошло, как ты вышел из дома?

— Прошло. Прощай, Наташа. Ну, а каков был сегодня с тобой Алеша?

— Да что Алеша, ничего... Удивляюсь даже твоему любопытству.

— До свидания, друг мой.

— Прощай. — Она подала мне руку как-то небрежно и отвернулась от моего последнего прощального взгляда. Я вышел от нее несколько удивленный. «А впрочем, — подумал я, — есть же ей об чем и задуматься. Дела не шуточные. А завтра всё первая же мне и расскажет».

Возвратился я домой грустный и был страшно поражен, только что вошел в дверь. Было уже темно. Я разглядел, что Елена сидела на диване, опустив на грудь голову, как будто в глубокой задумчивости. На меня она и не взглянула, точно была в забытьи. Я подошел к ней; она что-то шептала про себя. «Уж не в бреду ли?» — подумал я.

— Елена, друг мой, что с тобой? — спросил я, садясь подле нее и охватив ее рукою.

— Я хочу отсюда... Я лучше хочу к ней, — проговорила она, не подымая ко мне головы.

— Куда? К кому? — спросил я в удивлении.

— К ней, к Бубновой. Она всё говорит, что я ей должна много́ денег, что она маменьку на свои деньги похоронила... Я не хочу, чтобы она бранила маменьку, я хочу у ней работать и всё ей заработаю... Тогда от нее сама и уйду. А теперь я опять к ней пойду.

— Успокойся, Елена, к ней нельзя, — говорил я. — Она тебя замучает; она тебя погубит...

— Пусть погубит, пусть мучает, — с жаром подхватила Елена, — не я первая; другие и лучше меня, да мучаются. Это мне нищая на улице говорила. Я бедная и хочу быть бедная. Всю жизнь буду бедная; так мне мать велела, когда умирала. Я работать буду... Я не хочу это платье носить...

— Я завтра же тебе куплю другое. Я и книжки твои тебе принесу. Ты будешь у меня жить. Я тебя никому не отдам, если сама не захочешь; успокойся...

— Я в работницы наймусь.

— Хорошо, хорошо! Только успокойся, ляг, засни!

Но бедная девочка залилась слезами. Мало-помалу слезы ее обратились в рыдания. Я не знал, что с ней делать; подносил ей воды, мочил ей виски, голову. Наконец она упала на диван в совершенном изнеможении, и с ней опять начался лихорадочный озноб. Я окутал ее, чем нашлось, и она заснула, но беспокойно, поминутно вздрагивая и просыпаясь. Хоть я и не много ходил в этот день, но устал ужасно и рассудил сам лечь как можно раньше. Мучительные заботы роились в моей голове. Я предчувствовал, что с этой девочкой мне будет много хлопот. Но более всего заботила меня Наташа и ее дела. Вообще, вспоминаю теперь, я редко был в таком тяжелом расположении духа, как засыпая в эту несчастную ночь.

Глава IX

Проснулся я больной, поздно, часов в десять утра. У меня кружилась и болела голова. Я взглянул на постель Елены: постель была пуста. В то же время из правой моей комнатки долетали до меня какие-то звуки, как будто кто-то шуркал по полу веником. Я вышел посмотреть. Елена, держа в руке веник и придерживая другой рукой свое нарядное платьице, которое она еще и не снимала с того самого вечера, мела пол. Дрова, приготовленные в печку, были сложены в уголку; со стола стерто, чайник вычищен; одним словом, Елена хозяйничала.

— Послушай, Елена, — закричал я, — кто же тебя заставляет пол мести? Я этого не хочу, ты больна; разве ты в работницы пришла ко мне?

— Кто ж будет здесь пол мести? — отвечала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня. — Теперь я не больна.

— Но я не для работы взял тебя, Елена. Ты как будто боишься, что я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты у меня даром живешь? И откуда ты взяла этот гадкий веник? У меня не было веника, — прибавил я, смотря на нее с удивлением.

— Это мой веник. Я его сама сюда принесла. Я и дедушке здесь пол мела. А веник вот тут, под печкой с того времени и лежал.

Я воротился в комнату в раздумье. Могло быть, что я грешил; но мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство и что она всячески хотела доказать мне, что живет у меня не даром. «В таком случае какой же это озлобленный характер?» — подумал я. Минуты две спустя вошла и она и молча села на свое вчерашнее место на диване, пытливо на меня поглядывая. Между тем я вскипятил чайник, заварил чай, налил ей чашку и подал с куском белого хлеба. Она взяла молча и беспрекословно. Целые сутки она почти ничего не ела.

— Вот и платьице хорошенькое запачкала веником, — сказал я, заметив большую грязную полосу на подоле ее юбки.

Она осмотрелась и вдруг, к величайшему моему удивлению, отставила чашку, ущипнула обеими руками, по-видимому хладнокровно и тихо, кисейное полотнище юбки и одним взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это, она молча подняла на меня свой упорный, сверкающий взгляд. Лицо ее было бледно.

— Что ты делаешь, Елена? — закричал я, уверенный, что вижу перед собою сумасшедшую.

— Это нехорошее платье, — проговорила она, почти задыхаясь от волнения. — Зачем вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить, — вскричала она вдруг, вскочив с места. — Я его изорву. Я не просила ее рядить меня. Она меня нарядила сама, насильно. Я уж разорвала одно платье, разорву и это, разорву! Разорву! Разорву!..

И она с яростию накинулась на свое несчастное платьице. В один миг она изорвала его чуть не в клочки. Когда она кончила,

она была так бледна, что едва стояла на месте. Я с удивлением смотрел на такое ожесточение. Она же смотрела на меня каким-то вызывающим взглядом, как будто и я был тоже в чем-нибудь виноват перед нею. Но я уже знал, что мне делать.

Я положил, не откладывая, сегодня же утром купить ей новое платье. На это дикое, ожесточенное существо нужно было действовать добротой. Она смотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей. Если она уж раз, несмотря на жестокое наказание, изорвала в клочки свое первое, такое же платье, то с каким же ожесточением она должна была смотреть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту.

На Толкучем можно было очень дешево купить хорошенькое и простенькое платьице. Беда была в том, что у меня в ту минуту почти совсем не было денег. Но я еще накануне, ложась спать, решил отправиться сегодня в одно место, где была надежда достать их, и как раз приходилось идти в ту самую сторону, где Толкучий. Я взял шляпу. Елена пристально следила за мной, как будто чего-то ждала.

— Вы опять запрете меня? — спросила она, когда я взялся за ключ, чтоб запереть за собой квартиру, как вчера и третьего дня.

— Друг мой, — сказал я, подходя к ней, — не сердись за это. Я потому запираю, что может кто-нибудь прийти. Ты же больная, пожалуй испугаешься. Да и бог знает, кто еще придет; может быть, Бубнова вздумает прийти...

Я нарочно сказал ей это. Я запирал ее, потому что не доверял ей. Мне казалось, что она вдруг вздумает уйти от меня. До времени я решился быть осторожнее. Елена промолчала, и я-таки запер ее и в этот раз.

Я знал одного антрепренера, издававшего уже третий год одну многотомную книгу. У него я часто доставал работу, когда нужно было поскорей заработать сколько-нибудь денег. Платил он исправно. Я отправился к нему, и мне удалось получить двадцать пять рублей вперед, с обязательством доставить через неделю компилятивную статью. Но я надеялся выгадать время на моем романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда.

Добыв денег, я отправился на Толкучий. Там скоро я отыскал знакомую мне старушку торговку, продававшую всякое тряпье. Я ей рассказал примерно рост Елены, и она мигом выбрала мне светленькое ситцевое, совершенно крепкое и не более одного раза мытое платьице за чрезвычайно дешевую цену. Кстати уж я захватил и шейный платочек. Расплачиваясь, я подумал, что надо же Елене какую-нибудь шубейку, мантильку или что-нибудь в этом роде. Погода стояла холодная, а у ней ровно ничего не было. Но я отложил эту покупку до другого раза. Елена была такая обидчивая, гордая. Господь знает, как примет она и это платье, несмотря на то что я нарочно выбирал как можно проще и неказистее, самое буднишнее, какое только можно было выбрать.

Впрочем, я все-таки купил две пары чулок нитяных и одни шерстяные. Это я мог отдать ей под предлогом того, что она больна, а в комнате холодно. Ей надо было тоже белья. Но всё это я оставил до тех пор, пока поближе с ней познакомлюсь. Зато я купил старые занавески к кровати — вещь необходимую и которая могла принесть Елене большое удовольствие.

Со всем этим я воротился домой уже в час пополудни. Замок мой отпирался почти неслышно, так что Елена не сейчас услыхала, что я воротился. Я заметил, что она стояла у стола и перебирала мои книги и бумаги. Услышав же меня, она быстро захлопнула книгу, которую читала, и отошла от стола, вся покраснев. Я взглянул на эту книгу: это был мой первый роман, изданный отдельной книжкой и на заглавном листе которого выставлено было мое имя.

— А сюда кто-то без вас стучался, — сказала она таким тоном, как будто поддразнивая меня: зачем, дескать, запирал?

— Уж не доктор ли, — сказал я, — ты не окликнула его, Елена?

— Нет.

Я не отвечал, взял узелок, развязал его и вынул купленное платье.

— Вот, друг мой Елена, — сказал я, подходя к ней, — в таких клочьях, как ты теперь, ходить нельзя. Я и купил тебе платье, буднишнее, самое дешевое, так что тебе нечего беспокоиться; оно всего рубль двадцать копеек стоит. Носи на здоровье.

Я положил платье подле нее. Она вспыхнула и смотрела на меня некоторое время во все глаза.

Она была чрезвычайно удивлена, и вместе с тем мне показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-то мягкое, нежное засветилось в глазах ее. Видя, что она молчит, я отвернулся к столу. Поступок мой, видимо, поразил ее. Но она с усилием превозмогала себя и сидела, опустив глаза в землю.

Голова моя болела и кружилась всё более и более. Свежий воздух не принес мне ни малейшей пользы. Между тем надо было идти к Наташе. Беспокойство мое об ней не уменьшалось со вчерашнего дня, напротив — возрастало всё более и более. Вдруг мне показалось, что Елена меня окликнула. Я оборотился к ней.

— Вы, когда уходите, не запирайте меня, — проговорила она, смотря в сторону и пальчиком теребя на диване покромку, как будто бы вся была погружена в это занятие. — Я от вас никуда не уйду.

— Хорошо, Елена, я согласен. Но если кто-нибудь придет чужой? Пожалуй, еще бог знает кто?

— Так оставьте ключ мне, я и запрусь изнутри; а будут стучать, я и скажу: нет дома. — И она с лукавством посмотрела на меня, как бы приговаривая: «Вот ведь как это просто делается!»

— Вам кто белье моет? — спросила она вдруг, прежде чем я успел ей отвечать что-нибудь.

— Здесь, в этом доме, есть женщина.

— Я умею мыть белье. А где вы кушанье вчера взяли?

— В трактире.

— Я и стряпать умею. Я вам кушанье буду готовить.

— Полно, Елена; ну что ты можешь уметь стряпать? Всё это ты не к делу говоришь...

Елена замолчала и потупилась. Ее, видимо, огорчило мое замечание. Прошло по крайней мере минут десять; мы оба молчали.

— Суп, — сказала она вдруг, не поднимая головы.

— Как суп? Какой суп? — спросил я, удивляясь.

— Суп умею готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынок ходила.

— Вот видишь, Елена, вот видишь, какая ты гордая, — сказал я, подходя к ней и садясь с ней на диван рядом. — Я с тобой поступаю, как мне велит мое сердце. Ты теперь одна, без родных, несчастная. Я тебе помочь хочу. Так же бы и ты мне помогла, когда бы мне было худо. Но ты не хочешь так рассудить, и вот тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты тотчас же хочешь за него заплатить, заработать, как будто я Бубнова и тебя попрекаю. Если так, то это стыдно, Елена.

Она не отвечала, губы ее вздрагивали. Кажется, ей хотелось что-то сказать мне; но она скрепилась и смолчала. Я встал, чтоб идти к Наташе. В этот раз я оставил Елене ключ, прося ее, если кто придет и будет стучаться, окликнуть и спросить: кто такой? Я совершенно был уверен, что с Наташей случилось что-нибудь очень нехорошее, а что она до времени таит от меня, как это и не раз бывало между нами. Во всяком случае, я решился зайти к ней только на одну минутку, иначе я мог раздражить ее моею назойливостью.

Так и случилось. Она опять встретила меня недовольным, жестким взглядом. Надо было тотчас же уйти; а у меня ноги подкашивались.

— Я к тебе на минутку, Наташа, — начал я, — посоветоваться: что мне делать с моей гостьей? — И я начал поскорей рассказывать всё про Елену. Наташа выслушала меня молча.

— Не знаю, что тебе посоветовать, Ваня, — отвечала она. — По всему видно, что это престранное существо. Может быть, она была очень обижена, очень напугана. Дай ей по крайней мере выздороветь. Ты ее хочешь к нашим?

— Она всё говорит, что никуда от меня не пойдет. Да и бог знает, как там ее примут, так что я и не знаю. Ну что, друг мой, как ты? Ты вчера была как будто нездорова! — спросил я ее робея.

— Да... у меня и сегодня что-то голова болит, — отвечала она рассеянно. — Не видал ли кого из наших?

— Нет. Завтра схожу. Ведь вот завтра суббота...

— Так что же?

— Вечером будет князь...

— Так что же? Я не забыла.

— Нет, я ведь только так...

Она остановилась прямо передо мной и долго и пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде была какая-то решимость, какое-то упорство; что-то лихорадочное, горячечное.

— Знаешь что, Ваня, — сказала она, — будь добр, уйди от меня, ты мне очень мешаешь...

Я встал с кресел и с невыразимым удивлением смотрел на нее.

— Друг мой, Наташа! Что с тобой? Что случилось? — вскричал я в испуге.

— Ничего не случилось! Всё, всё завтра узнаешь, а теперь я хочу быть одна. Слышишь, Ваня: уходи сейчас. Мне так тяжело, так тяжело смотреть на тебя!

— Но скажи мне по крайней мере...

— Всё, всё завтра узнаешь! О боже мой! Да уйдешь ли ты?

Я вышел. Я был так поражен, что едва помнил себя. Мавра выскочила за мной в сени.

— Что, сердится? — спросила она меня. — Я уж и подступиться к ней боюсь.

— Да что с ней такое?

— А то, что *наш*-то третий день носу к нам не показывал!

— Как третий день? — спросил я в изумлении, — да она сама вчера говорила, что он вчера утром был да еще вчера вечером хотел приехать...

— Какое вечером! Он и утром совсем не был! Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет. Неужто сама вчера сказывала, что утром был?

— Сама говорила.

— Ну, — сказала Мавра в раздумье, — значит, больно ее задело, когда уж перед тобой признаться не хочет, что не был. Ну, молодец!

— Да что ж это такое! — вскричал я.

— А то такое, что и не знаю, что с ней делать, — продолжала Мавра, разводя руками. — Вчера еще было меня к нему посылала, да два раза с дороги воротила. А сегодня так уж и со мной говорить не хочет. Хоть бы ты его повидал. Я уж и отойти от нее не смею.

Я бросился вне себя вниз по лестнице.

— К вечеру-то будешь у нас? — закричала мне вслед Мавра.

— Там увидим, — отвечал я с дороги. — Я, может, только к тебе забегу и спрошу: что и как? Если только сам жив буду.

Я действительно почувствовал, что меня как будто что ударило в самое сердце.

Глава X

Я отправился прямо к Алеше. Он жил у отца в Малой Морской. У князя была довольно большая квартира, несмотря на то что он жил один. Алеша занимал в этой квартире две прекрасные ком-

наты. Я очень редко бывал у него, до этого раза всего, кажется, однажды. Он же заходил ко мне чаще, особенно сначала, в первое время его связи с Наташей.

Его не было дома. Я прошел прямо в его половину и написал ему такую записку:

«Алеша, вы, кажется, сошли с ума. Так как вечером во вторник ваш отец сам просил Наташу сделать вам честь быть вашей женою, вы же этой просьбе были рады, чему я свидетелем, то, согласитесь сами, ваше поведение в настоящем случае несколько странно. Знаете ли, что вы делаете с Наташей? Во всяком случае, моя записка вам напомнит, что поведение ваше перед вашей будущей женою в высшей степени недостойно и легкомысленно. Я очень хорошо знаю, что не имею никакого права вам читать наставления, но не обращаю на это никакого внимания.

P. S. О письме этом она ничего не знает, и даже не она мне говорила про вас».

Я запечатал записку и оставил у него на столе. На вопрос мой слуга отвечал, что Алексей Петрович почти совсем не бывает дома и что и теперь воротится не раньше, как ночью, перед рассветом.

Я едва дошел домой. Голова моя кружилась, ноги слабели и дрожали. Дверь ко мне была отворена. У меня сидел Николай Сергеич Ихменев и дожидался меня. Он сидел у стола и молча, с удивлением смотрел на Елену, которая тоже с неменьшим удивлением его рассматривала, хотя упорно молчала. «То-то, — думал я, — она должна ему показаться странною».

— Вот, брат, целый час жду тебя и, признаюсь, никак не ожидал... тебя так найти, — продолжал он, осматриваясь в комнате и неприметно мигая мне на Елену. В глазах его изображалось изумление. Но, вглядевшись в него ближе, я заметил в нем тревогу и грусть. Лицо его было бледнее обыкновенного.

— Садись-ка, садись, — продолжал он с озабоченным и хлопотливым видом, — вот спешил к тебе, дело есть; да что с тобой? На тебе лица нет.

— Нездоровится. С самого утра кружится голова.

— Ну, смотри, этим нечего пренебрегать. Простудился, что ли?

— Нет, просто нервный припадок. У меня это иногда бывает. Да вы-то здоровы ли?

— Ничего, ничего! Это так, сгоряча. Есть дело. Садись.

Я придвинул стул и уселся лицом к нему у стола. Старик слегка нагнулся ко мне и начал полушепотом:

— Смотри не гляди на нее и показывай вид, как будто мы говорим о постороннем. Это что у тебя за гостья такая сидит?

— После вам всё объясню, Николай Сергеич. Это бедная девочка, совершенная сирота, внучка того самого Смита, который здесь жил и умер в кондитерской.

— А, так у него была и внучка! Ну, братец, чудак же она! Как глядит, как глядит! Просто говорю: еще бы ты минут пять не пришел, я бы здесь не высидел. Насилу отперла и до сих пор ни

слова; просто жутко с ней, на человеческое существо не похожа. Да как она здесь очутилась? А, понимаю, верно, к деду пришла, не зная, что он умер.

— Да. Она была очень несчастна. Старик, еще умирая, об ней вспоминал.

— Гм! каков дед, такова и внучка. После всё это мне расскажешь. Может быть, можно будет и помочь чем-нибудь, так чем-нибудь, коль уж она такая несчастная... Ну, а теперь нельзя ли, брат, ей сказать, чтоб она ушла, потому что поговорить с тобой надо серьезно.

— Да уйти-то ей некуда. Она здесь и живет.

Я объяснил старику, что мог, в двух словах, прибавив, что можно говорить и при ней, потому что она дитя.

— Ну да... конечно, дитя. Только ты, брат, меня ошеломил. С тобой живет, господи боже мой!

И старик в изумлении посмотрел на нее еще раз. Елена, чувствуя, что про нее говорят, сидела молча, потупив голову и щипала пальчиками покромку дивана. Она уже успела надеть на себя новое платьице, которое вышло ей совершенно впору. Волосы ее были приглажены тщательнее обыкновенного, может быть, по поводу нового платья. Вообще если б не странная дикость ее взгляда, то она была бы премиловидная девочка.

— Коротко и ясно, вот в чем, брат, дело, — начал опять старик, — длинное дело, важное дело...

Он сидел потупившись, с важным и соображающим видом и, несмотря на свою торопливость и на «коротко и ясно», не находил слов для начала речи. «Что-то будет?» — подумал я.

— Видишь, Ваня, пришел я к тебе с величайшей просьбой. Но прежде... так как я сам теперь соображаю, надо бы тебе объяснить некоторые обстоятельства... чрезвычайно щекотливые обстоятельства...

Он откашлянулся и мельком взглянул на меня; взглянул и покраснел; покраснел и рассердился на себя за свою ненаходчивость; рассердился и решился:

— Ну, да что тут еще объяснять! Сам понимаешь. Просто-запросто я вызываю князя на дуэль, а тебя прошу устроить это дело и быть моим секундантом.

Я отшатнулся на спинку стула и смотрел на него вне себя от изумления.

— Ну что смотришь! Я ведь не сошел с ума.

— Но, позвольте, Николай Сергеич! Какой же предлог, какая цель? И, наконец, как это можно...

— Предлог! цель! — вскричал старик, — вот прекрасно!..

— Хорошо, хорошо, знаю, что вы скажете; но чему же вы поможете вашей выходкой! Какой выход представляет дуэль? Признаюсь, ничего не понимаю.

— Я так и думал, что ты ничего не поймешь. Слушай: тяжба наша кончилась (то есть кончится на днях; остаются только одни

пустые формальности); я осужден. Я должен заплатить до десяти тысяч; так присудили. За них отвечает Ихменевка. Следственно, теперь уж этот подлый человек обеспечен в своих деньгах, а я, предоставив Ихменевку, заплатил и делаюсь человеком посторонним. Тут-то я и поднимаю голову. Так и так, почтеннейший князь, вы меня оскорбляли два года; вы позорили мое имя, честь моего семейства, и я должен был всё это переносить! Я не мог тогда вас вызвать на поединок. Вы бы мне прямо сказали тогда: «А, хитрый человек, ты хочешь убить меня, чтоб не платить мне денег, которые, ты предчувствуешь, присудят тебя мне заплатить, рано ли, поздно ли! Нет, сначала посмотрим, как решится тяжба, а потом вызывай». Теперь, почтенный князь, процесс решен, вы обеспечены, следовательно, нет никаких затруднений, и потому не угодно ли сюда, к барьеру. Вот в чем дело. Что ж, по-твоему, я не вправе, наконец, отмстить за себя, за всё, за всё!

Глаза его сверкали. Я долго смотрел на него молча. Мне хотелось проникнуть в его тайную мысль.

— Послушайте, Николай Сергеич, — отвечал я наконец, решившись сказать главное слово, без которого мы бы не понимали друг друга. — Можете ли вы быть со мною совершенно откровенны?

— Могу, — отвечал он с твердостью.

— Скажите же прямо: одно ли чувство мщения побуждает вас к вызову или у вас в виду и другие цели?

— Ваня, — отвечал он, — ты знаешь, что я не позволяю никому в разговорах со мною касаться некоторых пунктов; но для теперешнего раза делаю исключение, потому что ты своим ясным умом тотчас же догадался, что обойти этот пункт невозможно. Да, у меня есть другая цель. Эта цель: спасти мою погибшую дочь и избавить ее от пагубного пути, на который ставят ее теперь последние обстоятельства.

— Но как же вы спасете ее этой дуэлью, вот вопрос?

— Помешав всему тому, что там теперь затевается. Слушай: не думай, что во мне говорит какая-нибудь там отцовская нежность и тому подобные слабости. Всё это вздор! Внутренность сердца моего я никому не показываю. Не знаешь его и ты. Дочь оставила меня, ушла из моего дома с любовником, и я вырвал ее из моего сердца, вырвал раз навсегда, в тот самый вечер — помнишь? Если ты видел меня рыдающим над ее портретом, то из этого еще не следует, что я желаю простить ее. Я не простил и тогда. Я плакал о потерянном счастии, о тщетной мечте, но не о *ней*, как она теперь. Я, может быть, и часто плачу; я не стыжусь в этом признаться, так же как и не стыжусь признаться, что любил прежде дитя мое больше всего на свете. Всё это, по-видимому, противоречит моей теперешней выходке. Ты можешь сказать мне: если так, если вы равнодушны к судьбе той, которую уже не считаете вашей дочерью, то для чего же вы вмешиваетесь в то, что там теперь затевается? Отвечаю: во-первых, для того, что не хочу дать востор-

жествовать низкому и коварному человеку, а во-вторых, из чувства самого обыкновенного человеколюбия. Если она мне уже не дочь, то она все-таки слабое, незащищенное и обманутое существо, которое обманывают еще больше, чтоб погубить окончательно. Ввязаться в дело прямо я не могу, а косвенно, дуэлью, могу. Если меня убьют или прольют мою кровь, неужели она перешагнет через наш барьер, а может быть, через мой труп и пойдет с сыном моего убийцы к венцу, как дочь того царя (помнишь, у нас была книжка, по которой ты учился читать), которая переехала через труп своего отца в колеснице? Да и, наконец, если пойдет на дуэль, так князья-то наши и сами свадьбы не захотят. Одним словом, я не хочу этого брака и употреблю все усилия, чтоб его не было. Понял меня теперь?

— Нет. Если вы желаете Наташе добра, то каким образом вы решаетесь помешать ее браку, то есть именно тому, что может восстановить ее доброе имя? Ведь ей еще долго жить на свете; ей нужно доброе имя.

— А плевать на все светские мнения, вот как она должна думать! Она должна сознать, что главнейший позор заключается для нее в этом браке, именно в связи с этими подлыми людьми, с этим жалким светом. Благородная гордость — вот ответ ее свету. Тогда, — может быть, и я соглашусь протянуть ей руку, и увидим, кто тогда осмелится опозорить дитя мое!

Такой отчаянный идеализм изумил меня. Но я тотчас догадался, что он был сам не в себе и говорил сгоряча.

— Это слишком идеально, — отвечал я ему, — следственно, жестоко. Вы требуете от нее силы, которой, может быть, вы не дали ей при рождении. И разве она соглашается на брак потому, что хочет быть княгиней? Ведь она любит; ведь это страсть, это фатум. И наконец: вы требуете от нее презрения к светскому мнению, а сами перед ним преклоняетесь. Князь вас обидел, публично заподозрил вас в низком побуждении обманом породниться с его княжеским домом, и вот вы теперь рассуждаете: если она сама откажет им теперь, после формального предложения с их стороны, то, разумеется, это будет самым полным и явным опровержением прежней клеветы. Вот вы чего добиваетесь, вы преклоняетесь перед мнением самого князя, вы добиваетесь, чтоб он сам сознался в своей ошибке. Вас тянет осмеять его, отмстить ему, и для этого вы жертвуете счастьем дочери. Разве это не эгоизм?

Старик сидел мрачный и нахмуренный и долго не отвечал ни слова.

— Ты несправедлив ко мне, Ваня, — проговорил он наконец, и слеза заблистала на его ресницах, — клянусь тебе, несправедлив, но оставим это! Я не могу выворотить перед тобой мое сердце, — продолжал он, приподнимаясь и берясь за шляпу, — одно скажу: ты заговорил сейчас о счастье дочери. Я решительно и буквально не верю этому счастью, кроме того, что этот брак и без моего вмешательства никогда не состоится.

— Как так! Почему вы думаете? Вы, может быть, знаете что-нибудь? — вскричал я с любопытством.

— Нет, особенного ничего не знаю. Но эта проклятая лисица не могла решиться на такое дело. Всё это вздор, одни козни. Я уверен в этом, и помяни мое слово, что так и сбудется. Во-вторых: если б этот брак и сбылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца есть свой особый, таинственный, никому не известный расчет, по которому этот брак ему выгоден, — расчет, которого я решительно не понимаю, то реши сам, спроси свое собственное сердце: будет ли она счастлива в этом браке? Попреки, унижения, подруга мальчишки, который уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится — тотчас же начнет ее не уважать, обижать, унижать; в то же время сила страсти с ее стороны, по мере охлаждения с другой; ревность, муки, ад, развод, может быть, само преступление... нет, Ваня! Если вы там это стряпаете, а ты еще помогаешь, то, предрекаю тебе, дашь ответ богу, но уж будет поздно! Прощай!

Я остановил его.

— Послушайте, Николай Сергеич, решим так: подождем. Будьте уверены, что не одни глаза смотрят за этим делом, и, может быть, оно разрешится самым лучшим образом, само собою, без насильственных и искусственных разрешений, как например эта дуэль. Время — самый лучший разрешитель! А наконец, позвольте вам сказать, что весь ваш проект совершенно невозможен. Неужели ж вы могли хоть одну минуту думать, что князь примет ваш вызов?

— Как не примет? Что ты, опомнись!

— Клянусь вам, не примет, и поверьте, что найдет отговорку совершенно достаточную; сделает всё это с педантскою важностью, а между тем вы будете совершенно осмеяны...

— Помилуй, братец, помилуй! Ты меня просто сразил после этого! Да как же это он не примет? Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт; именно, настоящий поэт! Да что ж, по-твоему, неприлично, что ль, со мной драться? Я не хуже его. Я старик, оскорбленный отец; ты — русский литератор, и потому лицо тоже почетное, можешь быть секундантом и... и... Я уж и не понимаю, чего ж тебе еще надобно...

— Вот увидите. Он такие предлоги подведет, что вы сами, вы, первый, найдете, что вам с ним драться — в высшей степени невозможно.

— Гм... хорошо, друг мой, пусть будет по-твоему! Я пережду, до известного времени, разумеется. Посмотрим, что сделает время. Но вот что, друг мой: дай мне честное слово, что ни там, ни Анне Андреевне ты не объявишь нашего разговора?

— Даю.

— Второе, Ваня, сделай милость, не начинай больше никогда со мной говорить об этом.

— Хорошо, даю слово.

— И, наконец, еще просьба: я знаю, мой милый, тебе у нас, может быть, и скучно, но ходи к нам почаще, если только можешь. Моя бедная Анна Андреевна так тебя любит и... и... так без тебя скучает... понимаешь, Ваня?

И он крепко сжал мою руку. Я от всего сердца дал ему обещание.

— А теперь, Ваня, последнее щекотливое дело: есть у тебя деньги?

— Деньги! — повторил я с удивлением.

— Да (и старик покраснел и опустил глаза); смотрю я, брат, на твою квартиру... на твои обстоятельства... и как подумаю, что у тебя могут быть другие экстренные траты (и именно теперь могут быть), то... вот, брат, сто пятьдесят рублей, на первый случай...

— Сто пятьдесят, да еще на *первый случай*, тогда как вы сами проиграли тяжбу!

— Ваня, ты, как я вижу, меня совсем не понимаешь! Могут быть *экстренные* надобности, пойми это. В иных случаях деньги способствуют независимости положения, независимости решения. Может быть, тебе теперь и не нужно, но не надо ль на что-нибудь в будущем? Во всяком случае, я у тебя их оставлю. Это всё, что я мог собрать. Не истратишь, так воротишь. А теперь прощай! Боже мой, какой ты бледный! Да ты весь больной...

Я не возражал и взял деньги. Слишком ясно было, на что он их оставлял у меня.

— Я едва стою на ногах, — отвечал я ему.

— Не пренебрегай этим, Ваня, голубчик, не пренебрегай! Сегодня никуда не ходи. Анне Андреевне так и скажу, в каком ты положении. Не надо ли доктора? Завтра навещу тебя; по крайней мере всеми силами постараюсь, если только сам буду ноги таскать. А теперь лег бы ты... Ну, прощай. Прощай, девочка; отворотилась! Слушай, друг мой! Вот еще пять рублей; это девочке. Ты, впрочем, ей не говори, что я дал, а так, просто истрать на нее, ну там башмачонки какие-нибудь, белье... мало ль что понадобится! Прощай, друг мой...

Я проводил его до ворот. Мне нужно было попросить дворника сходить за кушаньем. Елена до сих пор не обедала...

Глава XI

Но только что я воротился к себе, голова моя закружилась, и я упал посреди комнаты. Помню только крик Елены: она всплеснула руками и бросилась ко мне поддержать меня. Это было последнее мгновение, уцелевшее в моей памяти...

Помню потом себя уже на постели. Елена рассказывала мне впоследствии, что она вместе с дворником, принесшим в это время нам кушанье, перенесла меня на диван. Несколько раз я просыпался и каждый раз видел склонившееся надо мной сострадатель-

ное, заботливое личико Елены. Но всё это я помню как сквозь сон, как в тумане, и милый образ бедной девочки мелькал передо мной среди забытья, как виденье, как картинка; она подносила мне пить, оправляла меня на постели или сидела передо мной, грустная, испуганная, и приглаживала своими пальчиками мои волосы. Один раз вспоминаю ее тихий поцелуй на моем лице. В другой раз, вдруг очнувшись ночью, при свете нагоревшей свечи, стоявшей передо мной на придвинутом к дивану столике, я увидел, что Елена прилегла лицом на мою подушку и пугливо спала, полураскрыв свои бледные губки и приложив ладонь к своей теплой щечке. Но очнулся я хорошо уже только рано утром. Свеча догорела вся; яркий, розовый луч начинавшейся зари уже играл на стене. Елена сидела на стуле перед столом и, склонив свою усталую головку на левую руку, улегшуюся на столе, крепко спала, и, помню, я загляделся на ее детское личико, полное и во сне как-то не детски грустного выражения и какой-то странной, болезненной красоты; бледное, с длинными ресницами на худеньких щеках, обрамленное черными как смоль волосами, густо и тяжело ниспадавшими небрежно завязанным узлом на сторону. Другая рука ее лежала на моей подушке. Я тихо-тихо поцеловал эту худенькую ручку, но бедное дитя не проснулось, только как будто улыбка проскользнула на ее бледных губках. Я смотрел-смотрел на нее и тихо заснул покойным, целительным сном. В этот раз я проспал чуть не до полудня. Проснувшись, я почувствовал себя почти выздоровевшим. Только слабость и тягость во всех членах свидетельствовали о недавней болезни. Подобные нервные и быстрые припадки бывали со мною и прежде; я знал их хорошо. Болезнь обыкновенно почти совсем проходила в сутки, что, впрочем, не мешало ей действовать в эти сутки сурово и круто.

Был уже почти полдень. Первое, что я увидел, это протянутые в углу, на снурке, занавесы, купленные мною вчера. Распорядилась Елена и отмежевала себе в комнате особый уголок. Она сидела перед печкой и кипятила чайник. Заметив, что я проснулся, она весело улыбнулась и тотчас же подошла ко мне.

— Друг ты мой, — сказал я, взяв ее за руку, — ты целую ночь за мной смотрела. Я не знал, что ты такая добрая.

— А вы почему знаете, что я за вами смотрела; может быть, я всю ночь проспала? — спросила она, смотря на меня с добродушным и стыдливым лукавством и в то же время застенчиво краснея от своих слов.

— Я просыпался и видел всё. Ты заснула только перед рассветом...

— Хотите чаю? — перебила она, как бы затрудняясь продолжать этот разговор, что бывает со всеми целомудренными и сурово честными сердцами, когда об них им же заговорят с похвалою.

— Хочу, — отвечал я. — Но обедала ли ты вчера?

— Не обедала, а ужинала. Дворник принес. Вы, впрочем, не разговаривайте, а лежите покойно: вы еще не совсем здо-

ровы, — прибавила она, поднося мне чаю и садясь на мою постель.

— Какое лежите! До сумерек, впрочем, буду лежать, а там пойду со двора. Непременно надо, Леночка.

— Ну, уж и надо! К кому вы пойдете? Уж не к вчерашнему ли гостю?

— Нет, не к нему.

— Вот и хорошо, что не к нему. Это он вас расстроил вчера. Так к его дочери?

— А ты почему знаешь про его дочь?

— Я всё вчера слышала, — отвечала она потупившись.

Лицо ее нахмурилось. Брови сдвинулись над глазами.

— Он дурной старик, — прибавила она потом.

— Разве ты знаешь его? Напротив, он очень добрый человек.

— Нет, нет; он злой; я слышала, — отвечала она с увлечением.

— Да что же ты слышала?

— Он свою дочь не хочет простить...

— Но он любит ее. Она перед ним виновата, а он об ней заботится, мучается.

— А зачем не прощает? Теперь, как простит, дочь и не шла бы к нему.

— Как так? Почему же?

— Потому что он не стоит, чтоб его дочь любила, — отвечала она с жаром. — Пусть она уйдет от него навсегда и лучше пусть милостыню просит, а он пусть видит, что дочь просит милостыню, да мучается.

Глаза ее сверкали, щечки загорелись. «Верно, она неспроста так говорит», — подумал я про себя.

— Это вы меня к нему-то в дом хотели отдать? — прибавила она, помолчав.

— Да, Елена.

— Нет, я лучше в служанки наймусь.

— Ах, как не хорошо это всё, что ты говоришь, Леночка. И какой вздор: ну к кому ты можешь наняться?

— Ко всякому мужику, — нетерпеливо отвечала она, всё более и более потупляясь. Она была приметно вспыльчива.

— Да мужику и не надо такой работницы, — сказал я усмехаясь.

— Ну к господам.

— С твоим ли характером жить у господ?

— С моим. — Чем более раздражалась она, тем отрывистее отвечала.

— Да ты не выдержишь.

— Выдержу. Меня будут бранить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я буду всё молчать, всё молчать, пусть бьют, ни за что не заплачу. Им же хуже будет от злости, что я не пла́чу.

— Что ты, Елена! Сколько в тебе озлобления; и гордая ты какая! Много, знать, ты видала горя...

Я встал и подошел к моему большому столу. Елена осталась на диване, задумчиво смотря в землю, и пальчиками щипала покромку. Она молчала. «Рассердилась, что ли, она на мои слова?» — думал я.

Стоя у стола, я машинально развернул вчерашние книги, взятые мною для компиляции, и мало-помалу завлекся чтением. Со мной это часто случается: подойду, разверну книгу на минутку справиться и зачитаюсь так, что забуду всё.

— Что вы тут всё пишете? — с робкой улыбкой спросила Елена, тихонько подойдя к столу.

— А так, Леночка, всякую всячину. За это мне деньги дают.

— Просьбы?

— Нет, не просьбы. — И я объяснил ей сколько мог, что описываю разные истории про разных людей: из этого выходят книги, которые называются повестями и романами. Она слушала с большим любопытством.

— Что же, вы тут всё правду описываете?

— Нет, выдумываю.

— Зачем же вы неправду пишете?

— А вот прочти, вот видишь, вот эту книжку; ты уж раз ее смотрела. Ты ведь умеешь читать?

— Умею.

— Ну вот и увидишь. Эту книжку я написал.

— Вы? прочту...

Ей что-то очень хотелось мне сказать, но она, очевидно, затруднялась и была в большом волнении. Под ее вопросами что-то крылось.

— А вам много за это платят? — спросила она наконец.

— Да как случится. Иногда много, а иногда и ничего нет, потому что работа не работается. Эта работа трудная, Леночка.

— Так вы не богатый?

— Нет, не богатый.

— Так я буду работать и вам помогать...

Она быстро взглянула на меня, вспыхнула, опустила глаза и, ступив ко мне два шага, вдруг обхватила меня обеими руками, а лицом крепко-крепко прижалась к моей груди. Я с изумлением смотрел на нее.

— Я вас люблю... я не гордая, — проговорила она. — Вы сказали вчера, что я гордая. Нет, нет... я не такая... я вас люблю. Вы только один меня любите...

Но уже слезы задушали ее. Минуту спустя они вырвались из ее груди с такою силою, как вчера во время припадка. Она упала передо мной на колени, целовала мои руки, ноги...

— Вы любите меня!.. — повторяла она, — вы только один, один!..

Она судорожно сжимала мои колени своими руками. Всё чувство ее, сдерживаемое столько времени, вдруг разом вырвалось наружу в неудержимом порыве, и мне стало понятно это странное упорство сердца, целомудренно таящего себя до времени и тем

упорнее, тем суровее, чем сильнее потребность излить себя, высказаться, и всё это до того неизбежного порыва, когда всё существо вдруг до самозабвения отдается этой потребности любви, благодарности, ласкам, слезам...

Она рыдала до того, что с ней сделалась истерика. Насилу я развел ее руки, обхватившие меня. Я поднял ее и отнес на диван. Долго еще она рыдала, укрыв лицо в подушки, как будто стыдясь смотреть на меня, но крепко стиснув мою руку в своей маленькой ручке и не отнимая ее от своего сердца.

Мало-помалу она утихла, но всё еще не подымала ко мне своего лица. Раза два, мельком, ее глаза скользнули по моему лицу, и в них было столько мягкости и какого-то пугливого и снова прятавшегося чувства. Наконец она покраснела и улыбнулась.

— Легче ли тебе? — спросил я, — чувствительная ты моя Леночка, больное ты мое дитя?

— Не Леночка, нет... — прошептала она, всё еще пряча от меня свое личико.

— Не Леночка? Как же?

— Нелли.

— Нелли? Почему же непременно Нелли? Пожалуй, это очень хорошенькое имя. Так я тебя и буду звать, коли ты сама хочешь.

— Так меня мамаша звала... И никто так меня не звал, никогда, кроме нее... И я не хотела сама, чтоб меня кто звал так, кроме мамаши... А вы зовите; я хочу... Я вас буду всегда любить, всегда любить...

«Любящее и гордое сердечко, — подумал я, — а как долго надо мне было заслужить, чтоб ты для меня стала... Нелли». Но теперь я уже знал, что ее сердце предано мне навеки.

— Нелли, послушай, — спросил я, как только она успокоилась. — Ты вот говоришь, что тебя любила только одна мамаша и никто больше. А разве твой дедушка и вправду не любил тебя?

— Не любил...

— А ведь ты плакала здесь о нем, помнишь, на лестнице.

Она на минуту задумалась.

— Нет, не любил... Он был злой. — И какое-то больное чувство выдавилось на ее лице.

— Да ведь с него нельзя было и спрашивать, Нелли. Он, кажется, совсем уже выжил из ума. Он и умер как безумный. Ведь я тебе рассказывал, как он умер.

— Да; но он только в последний месяц стал совсем забываться. Сидит, бывало, здесь целый день, и, если б я не приходила к нему, он бы и другой, и третий день так сидел, не пивши, не евши. А прежде он был гораздо лучше.

— Когда же прежде?

— Когда еще мамаша не умирала.

— Стало быть, это ты ему приносила пить и есть, Нелли?

— Да, и я приносила.

— Где ж ты брала, у Бубновой?

— Нет, я никогда ничего не брала у Бубновой, — настойчиво проговорила она каким-то вздрогнувшим голосом.

— Где же ты брала, ведь у тебя ничего не было?

Нелли помолчала и страшно побледнела; потом долгим-долгим взглядом посмотрела на меня.

— Я на улицу милостыню ходила просить... Напрошу пять копеек и куплю ему хлеба и табаку нюхального...

— И он позволял! Нелли! Нелли!

— Я сначала сама пошла и ему не сказала. А он, как узнал, потом уж сам стал меня прогонять просить. Я стою на мосту, прошу у прохожих, а он ходит около моста, дожидается; и как увидит, что мне дали, так и бросится на меня и отнимет деньги, точно я утаить от него хочу, не для него собираю.

Говоря это, она улыбнулась какою-то едкою, горькою улыбкою.

— Это всё было, когда мамаша умерла, — прибавила она. — Тут он уж совсем стал как безумный.

— Стало быть, он очень любил твою мамашу? Как же он не жил с нею?

— Нет, не любил... Он был злой и ее не прощал... как вчерашний злой старик, — проговорила она тихо, совсем почти шепотом и бледнея всё больше и больше.

Я вздрогнул. Завязка целого романа так и блеснула в моем воображении. Эта бедная женщина, умирающая в подвале у гробовщика, сиротка дочь ее, навещавшая изредка дедушку, проклявшего ее мать; обезумевший чудак старик, умирающий в кондитерской после смерти своей собаки!..

— А ведь Азорка-то был прежде маменькин, — сказала вдруг Нелли, улыбаясь какому-то воспоминанию. — Дедушка очень любил прежде маменьку, и когда мамаша ушла от него, у него и остался мамашин Азорка. Оттого-то он и любил так Азорку... Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер, — сурово прибавила Нелли, и улыбка исчезла с лица ее.

— Нелли, кто ж он был такой прежде? — спросил я, подождав немного.

— Он был прежде богатый... Я не знаю, кто он был, — отвечала она. — У него был какой-то завод... Так мамаша мне говорила. Она сначала думала, что я маленькая, и всего мне не говорила. Всё, бывало, целует меня, а сама говорит: всё узнаешь; придет время, узнаешь, бедная, несчастная! И всё меня бедной и несчастной звала. И когда ночью, бывало, думает, что я сплю (а я нарочно, не сплю, притворюсь, что сплю), она всё плачет надо мной, целует меня и говорит: бедная, несчастная!

— Отчего же умерла твоя мамаша?

— От чахотки; теперь шесть недель будет.

— А ты помнишь, когда дедушка был богат?

— Да ведь я еще тогда не родилась. Мамаша еще прежде, чем я родилась, ушла от дедушки.

— С кем же ушла?

— Не знаю, — отвечала Нелли, тихо и как бы задумываясь. — Она за границу ушла, а я там и родилась.

— За границей? Где же?

— В Швейцарии. Я везде была, и в Италии была, и в Париже была.

Я удивился.

— И ты помнишь, Нелли?

— Многое помню.

— Как же ты так хорошо по-русски знаешь, Нелли?

— Мамаша меня еще и там учила по-русски. Она была русская, потому что ее мать была русская, а дедушка был англичанин, но тоже как русский. А как мы сюда с мамашей воротились полтора года назад, я и научилась совсем. Мамаша была уже тогда больная. Тут мы стали всё беднее и беднее. Мамаша всё плакала. Она сначала долго отыскивала здесь в Петербурге дедушку и всё говорила, что перед ним виновата, и всё плакала... Так плакала, так плакала! А как узнала, что дедушка бедный, то еще больше плакала. Она к нему и письма часто писала, он всё не отвечал.

— Зачем же мамаша воротилась сюда? Только к отцу?

— Не знаю. А там нам так хорошо было жить, — и глаза Нелли засверкали. — Мамаша жила одна, со мной. У ней был один друг, добрый, как вы... Он ее еще здесь знал. Но он там умер, мамаша и воротилась...

— Так с ним-то мамаша твоя и ушла от дедушки?

— Нет, не с ним. Мамаша ушла с другим от дедушки, а тот ее и оставил...

— С кем же, Нелли?

Нелли взглянула на меня и ничего не отвечала. Она, очевидно, знала, с кем ушла ее мамаша и кто, вероятно, был и ее отец. Ей было тяжело даже и мне назвать его имя...

Я не хотел ее мучить расспросами. Это был характер странный, неровный и пылкий, но подавлявший в себе свои порывы; симпатичный, но замыкавшийся в гордость и недоступность. Всё время, как я ее знал, она, несмотря на то что любила меня всем сердцем своим, самою светлою и ясною любовью, почти наравне с своею умершею матерью, о которой даже не могла вспоминать без боли, — несмотря на то, она редко была со мной наружу и, кроме этого дня, редко чувствовала потребность говорить со мной о своем прошедшем; даже, напротив, как-то сурово таилась от меня. Но в этот день, в продолжение нескольких часов, среди мук и судорожных рыданий, прерывавших рассказ ее, она передала мне всё, что наиболее волновало и мучило ее в ее воспоминаниях, и никогда не забуду я этого страшного рассказа. Но главная история ее еще впереди...

Это была страшная история; это история покинутой женщины, пережившей свое счастье; больной, измученной и оставленной всеми; отвергнутой последним существом, на которое она могла

надеяться, — отцом своим, оскорбленным когда-то ею и в свою очередь выжившим из ума от нестерпимых страданий и унижений. Это история женщины, доведенной до отчаяния; ходившей с своею девочкой, которую она считала еще ребенком, по холодным, грязным петербургским улицам и просившей милостыню; женщины, умиравшей потом целые месяцы в сыром подвале и которой отец отказывал в прощении до последней минуты ее жизни и только в последнюю минуту опомнившийся и прибежавший простить ее, но уже заставший один холодный труп вместо той, которую любил больше всего на свете. Это был странный рассказ о таинственных, даже едва понятных отношениях выжившего из ума старика с его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей, несмотря на свое детство, многое из того, до чего не развивается иной в целые годы своей обеспеченной и гладкой жизни. Мрачная это была история, одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно, сбываются под тяжелым петербургским небом, в темных, потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни...

Но эта история еще впереди...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I

Давно уже наступили сумерки, настал вечер, и только тогда я очнулся от мрачного кошмара и вспомнил о настоящем.

— Нелли, — сказал я, — вот ты теперь больна, расстроена, а я должен тебя оставить одну, взволнованную и в слезах. Друг мой! Прости меня и узнай, что тут есть тоже одно любимое и непрощенное существо, несчастное, оскорбленное и покинутое. Она ждет меня. Да и меня самого влечет теперь после твоего рассказа так, что я, кажется, не перенесу, если не увижу ее сейчас, сию минуту...

Не знаю, поняла ли Нелли всё, что я ей говорил. Я был взволнован и от рассказа и от недавней болезни; но я бросился к Наташе. Было уже поздно, час девятый, когда я вошел к ней.

Еще на улице, у ворот дома, в котором жила Наташа, я заметил коляску, и мне показалось, что это коляска князя. Вход к Наташе был со двора. Только что я стал входить на лестницу, я заслышал перед собой, одним всходом выше, человека, взбиравшегося ощупью, осторожно, очевидно незнакомого с местностью. Мне вообразилось, что это должен быть князь; но вскоре я стал разуверяться. Незнакомец, взбираясь наверх, ворчал и прокли-

нал дорогу и всё сильнее и энергичнее, чем выше он подымался. Конечно, лестница была узкая, грязная, крутая, никогда не освещенная; но таких ругательств, какие начались в третьем этаже, я бы никак не мог приписать князю: взбиравшийся господин ругался, как извозчик. Но с третьего этажа начался свет; у Наташиных дверей горел маленький фонарь. У самой двери я нагнал моего незнакомца, и каково же было мое изумление, когда я узнал в нем князя. Кажется, ему чрезвычайно было неприятно так нечаянно столкнуться со мною. Первое мгновение он не узнал меня; но вдруг всё лицо его преобразилось. Первый, злобный и ненавистный взгляд его на меня сделался вдруг приветливым и веселым, и он с какою-то необыкновенною радостью протянул мне обе руки.

— Ах, это вы! А я только что хотел было стать на колена и молить бога о спасении моей жизни. Слышали, как я ругался?

И он захохотал простодушнейшим образом. Но вдруг лицо его приняло серьезное и заботливое выражение.

— И Алеша мог поместить Наталью Николаевну в такой квартире! — сказал он, покачивая головою. — Вот эти-то так называемые *мелочи* и обозначают человека. Я боюсь за него. Он добр, у него благородное сердце, но вот вам пример: любит без памяти, а помещает ту, которую любит, в такой конуре. Я даже слышал, что иногда хлеба не было, — прибавил он шепотом, отыскивая ручку колокольчика. — У меня голова трещит, когда подумаю о его будущности, а главное, о будущности *Анны* Николаевны, когда она будет его женой...

Он ошибся именем и не заметил того, с явною досадою не находя колокольчика. Но колокольчика и не было. Я подергал ручку замка, и Мавра тотчас же нам отворила, суетливо встречая нас. В кухне, отделявшейся от крошечной передней деревянной перегородкой, сквозь отворенную дверь заметны были некоторые приготовления: всё было как-то не по-всегдашнему, вытерто и вычищено; в печи горел огонь; на столе стояла какая-то новая посуда. Видно было, что нас ждали. Мавра бросилась снимать наши пальто.

— Алеша здесь? — спросил я ее.

— Не бывал, — шепнула она мне как-то таинственно.

Мы вошли к Наташе. В ее комнате не было никаких особенных приготовлений; всё было по-старому. Впрочем, у нее всегда было всё так чисто и мило, что нечего было и прибирать. Наташа встретила нас, стоя перед дверью. Я поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее лица, хотя румянец и блеснул на одно мгновение на ее помертвевших щеках. Глаза были лихорадочные. Она молча и торопливо протянула князю руку, приметно суетясь и теряясь. На меня же она и не взглянула. Я стоял и ждал молча.

— Вот и я! — дружески и весело заговорил князь, — только несколько часов как воротился. Всё это время вы не выходили

из моего ума (он нежно поцеловал ее руку), — и сколько, сколько я передумал о вас! Сколько выдумал вам сказать, передать... Ну, да мы наговоримся! Во-первых, мой ветрогон, которого, я вижу, еще здесь нет...

— Позвольте, князь, — перебила его Наташа, покраснев и смешавшись, — мне надо сказать два слова Ивану Петровичу. Ваня, пойдем... два слова...

Она схватила меня за руку и повела за ширмы.

— Ваня, — сказала она шепотом, заведя меня в самый темный угол, — простишь ты меня или нет?

— Наташа, полно, что ты!

— Нет, нет, Ваня, ты слишком часто и слишком много прощал мне, но ведь есть же конец всякому терпению. Ты меня никогда не разлюбишь, я знаю, но ты меня назовешь неблагодарною, а я вчера и третьего дня была пред тобой неблагодарная, эгоистка, жестокая...

Она вдруг залилась слезами и прижалась лицом к моему плечу.

— Полно, Наташа, — спешил я разуверить ее. — Ведь я был очень болен всю ночь: даже и теперь едва стою на ногах, оттого и не заходил ни вечером вчера, ни сегодня, а ты и думаешь, что я рассердился... Друг ты мой дорогой, да разве я не знаю, что теперь в твоей душе делается?

— Ну и хорошо... значит, простил, как всегда, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку. — Остальное после. Много надо сказать тебе, Ваня. А теперь к нему...

— Поскорей, Наташа; мы так его вдруг оставили...

— Вот ты увидишь, увидишь, что будет, — наскоро шепнула она мне. — Я теперь знаю всё, всё угадала. Виноват всему *он*. Этот вечер много решит. Пойдем!

Я не понял, но спросить было некогда. Наташа вышла к князю с светлым лицом. Он всё еще стоял со шляпой в руках. Она весело перед ним извинилась, взяла у него шляпу, сама придвинула ему стул, и мы втроем уселись кругом ее столика.

— Я начал о моем ветренике, — продолжал князь, — я видел его только одну минуту и то на улице, когда он садился ехать к графине Зинаиде Федоровне. Он ужасно спешил и, представьте, даже не хотел встать, чтоб войти со мной в комнаты после четырех дней разлуки. И, кажется, я в том виноват, Наталья Николаевна, что он теперь не у вас и что мы пришли прежде него; я воспользовался случаем, и так как сам не мог быть сегодня у графини, то дал ему одно поручение. Но он явится сию минуту.

— Он вам наверно обещал приехать сегодня? — спросила Наташа с самым простодушным видом, смотря на князя.

— Ах, боже мой, еще бы он не приехал; как это вы спрашиваете! — воскликнул он с удивлением, всматриваясь в нее. — Впрочем, понимаю: вы на него сердитесь. Действительно, как будто дурно с его стороны прийти всех позже. Но, повторяю, виноват в этом я. Не сердитесь и на него. Он легкомысленный, ветреник;

я его не защищаю, но некоторые особенные обстоятельства требуют, чтоб он не только не оставлял теперь дома графини и некоторых других связей, но, напротив, как можно чаще являлся туда. Ну, а так как он, вероятно, не выходит теперь от вас и забыл всё на свете, то, пожалуйста, не сердитесь, если я буду иногда брать его часа на два, не больше, по моим поручениям. Я уверен, что он еще ни разу не был у княгини К. с того вечера, и так досадую, что не успел давеча расспросить его!..

Я взглянул на Наташу. Она слушала князя с легкой полунасмешливой улыбкой. Но он говорил так прямо, так натурально. Казалось, не было возможности в чем-нибудь подозревать его.

— И вы вправду не знали, что он у меня во все эти дни ни разу не был? — спросила Наташа тихим и спокойным голосом, как будто говоря о самом обыкновенном для нее происшествии.

— Как! Ни разу не был? Позвольте, что вы говорите! — сказал князь, по-видимому в чрезвычайном изумлении.

— Вы были у меня во вторник, поздно вечером; на другое утро он заезжал ко мне на полчаса, и с тех пор я его не видала ни разу.

— Но это невероятно! (Он изумлялся всё более и более.) Я именно думал, что он не выходит от вас. Извините, это так странно... просто невероятно.

— Но, однако ж, верно, и как жаль: я нарочно ждала вас, думала от вас-то и узнать, где он находится?

— Ах, боже мой! Да ведь он сейчас же будет здесь! Но то, что вы мне сказали, меня до того поразило, что я... признаюсь, я всего ожидал от него, но этого... этого!

— Как вы изумляетесь! А я так думала, что вы не только не станете изумляться, но даже заранее знали, что так и будет.

— Знал! Я? Но уверяю же вас, Наталья Николаевна, что видел его только одну минуту сегодня и больше никого об нем не расспрашивал; и мне странно, что вы мне как будто не верите, — продолжал он, оглядывая нас обоих.

— Сохрани бог, — подхватила Наташа, — совершенно уверена, что вы сказали правду.

И она засмеялась снова, прямо в глаза князю, так, что его как будто передернуло.

— Объяснитесь, — сказал он в замешательстве.

— Да тут нечего и объяснять. Я говорю очень просто. Вы ведь знаете, какой он ветреный, забывчивый. Ну вот, как ему дана теперь полная свобода, он и увлекся.

— Но так увлекаться невозможно, тут что-нибудь да есть, и только что он приедет, я заставлю его объяснить это дело. Но более всего меня удивляет, что вы как будто и меня в чем-то обвиняете, тогда как меня даже здесь и не было. А впрочем, Наталья Николаевна, я вижу, вы на него очень сердитесь, — и это понятно! Вы имеете на то все права, и... и... разумеется, я первый виноват, ну хоть потому только, что я первый подвернулся; не правда ли? —

продолжал он, обращаясь ко мне с раздражительною усмешкою.

Наташа вспыхнула.

— Позвольте, Наталья Николаевна, — продолжал он с достоинством, — соглашаюсь, что я виноват, но только в том, что уехал на другой день после нашего знакомства, так что вы, при некоторой мнительности, которую я замечаю в вашем характере, уже успели изменить обо мне ваше мнение, тем более что тому способствовали обстоятельства. Не уезжал бы я — вы бы меня узнали лучше, да и Алеша не ветреничал бы под моим надзором. Сегодня же вы услышите, что я наговорю ему.

— То есть сделаете, что он мною начнет тяготиться. Невозможно, чтоб, при вашем уме, вы вправду думали, что такое средство мне поможет.

— Так уж не хотите ли вы намекнуть, что я нарочно хочу так устроить, чтоб он вами тяготился? Вы обижаете меня, Наталья Николаевна.

— Я стараюсь как можно меньше употреблять намеков, с кем бы я ни говорила, — отвечала Наташа, — напротив, всегда стараюсь говорить как можно прямее, и вы, может быть, сегодня же убедитесь в этом. Обижать я вас не хочу, да и незачем, хоть уж потому только, что вы моими словами не обидитесь, что бы я вам ни сказала. В этом я совершенно уверена, потому что совершенно понимаю наши взаимные отношения: ведь вы на них не можете смотреть серьезно, не правда ли? Но если я в самом деле вас обидела, то готова просить прощения, чтоб исполнить перед вами все обязанности... гостеприимства.

Несмотря на легкий и даже шутливый тон, с которым Наташа произнесла эту фразу, со смехом на губах, никогда еще я не видал ее до такой степени раздраженною. Теперь только я понял, до чего наболело у нее в сердце в эти три дня. Загадочные слова ее, что она уже всё знает и обо всем догадалась, испугали меня; они прямо относились к князю. Она изменила о нем свое мнение и смотрела на него как на своего врага, — это было очевидно. Она, видимо, приписывала его влиянию все свои неудачи с Алешей и, может быть, имела на это какие-нибудь данные. Я боялся между ними внезапной сцены. Шутливый тон ее был слишком обнаружен, слишком не закрыт. Последние же слова ее князю о том, что он не может смотреть на их отношения серьезно, фраза об извинении по обязанности гостеприимства, ее обещание, в виде угрозы, доказать ему в этот же вечер, что она умеет говорить прямо, — всё это было до такой степени язвительно и немаскировано, что не было возможности, чтоб князь не понял всего этого. Я видел, что он изменился в лице, но он умел владеть собою. Он тотчас же показал вид, что не заметил этих слов, не понял их настоящего смысла, и, разумеется, отделался шуткой.

— Боже меня сохрани требовать извинений! — подхватил он смеясь. — Я вовсе не того хотел, да и не в моих правилах требовать извинения от женщины. Еще в первое наше свидание

я отчасти предупредил вас о моем характере, а потому вы, вероятно, не рассердитесь на меня за одно замечание, тем более что оно будет вообще о всех женщинах; вы тоже, вероятно, согласитесь с этим замечанием, — продолжал он, с любезностью обращаясь ко мне. — Именно, я заметил, в женском характере есть такая черта, что если, например, женщина в чем виновата, то скорей она согласится потом, впоследствии, загладить свою вину тысячью ласк, чем в настоящую минуту, во время самой очевидной улики в проступке, сознаться в нем и попросить прощения. Итак, если только предположить, что я вами обижен, то теперь, в настоящую минуту, я нарочно не хочу извинения; мне выгоднее будет впоследствии, когда вы сознаете вашу ошибку и захотите ее загладить передо мной... тысячью ласк. А вы так добры, так чисты, свежи, так наружу, что минута, когда вы будете раскаиваться, предчувствую это, будет очаровательна. А лучше, вместо извинения, скажите мне теперь, не могу ли я сегодня же чем-нибудь доказать вам, что я гораздо искреннее и прямее поступаю с вами, чем вы обо мне думаете?

Наташа покраснела. Мне тоже показалось, что в ответе князя слышится какой-то уж слишком легкий, даже небрежный тон, какая-то нескромная шутливость.

— Вы хотите мне доказать, что вы со мной прямы и простодушны? — спросила Наташа, с вызывающим видом смотря на него.

— Да.

— Если так, исполните мою просьбу.

— Заранее даю слово.

— Вот она: ни одним словом, ни одним намеком обо мне не беспокоить Алешу ни сегодня, ни завтра. Ни одного упрека за то, что он забыл меня; ни одного наставления. Я именно хочу встретить его так, как будто ничего между нами не было, чтоб он и заметить ничего не мог. Мне это надо. Дадите вы мне такое слово?

— С величайшим удовольствием, — отвечал князь, — и позвольте мне прибавить от всей души, что я редко в ком встречал более благоразумного и ясного взгляда на такие дела... Но вот, кажется, и Алеша.

Действительно, в передней послышался шум. Наташа вздрогнула и как будто к чему-то приготовилась. Князь сидел с серьезною миною и ожидал, что-то будет; он пристально следил за Наташей. Но дверь отворилась, и к нам влетел Алеша.

Глава II

Он именно влетел с каким-то сияющим лицом, радостный, веселый. Видно было, что он весело и счастливо провел эти четыре дня. На нем как будто написано было, что он хотел нам что-то сообщить.

— Вот и я! — провозгласил он на всю комнату. — Тот, которому бы надо быть раньше всех. Но сейчас узнаете всё, всё, всё! Давеча, папаша, мы с тобой двух слов не успели сказать, а мне много надо было сказать тебе. Это он мне только в добрые свои минуты позволяет говорить себе: *ты*, — прервал он, обращаясь ко мне, — ей-богу, в иное время запрещает! И какая у него является тактика: начинает сам говорить мне *вы*. Но с этого дня я хочу, чтоб у него всегда были добрые минуты, и сделаю так! Вообще я весь переменился в эти четыре дня, совершенно, совершенно переменился и всё вам расскажу. Но это впереди. А главное теперь: вот она! вот она! опять! Наташа, голубчик, здравствуй, ангел ты мой! — говорил он, усаживаясь подле нее и жадно целуя ее руку, — тосковал-то я по тебе в эти дни! Но что хочешь — не мог! Управиться не мог. Милая ты моя! Как будто ты похудела немножко, бледненькая стала какая...

Он в восторге покрывал ее руки поцелуями, жадно смотрел на нее своими прекрасными глазами, как будто не мог наглядеться. Я взглянул на Наташу и по лицу ее угадал, что у нас были одни мысли: он был вполне невинен. Да и когда, как этот *невинный* мог бы сделаться виноватым? Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи, точно вся кровь, собравшаяся в ее сердце, отхлынула вдруг в голову. Глаза ее засверкали, и она гордо взглянула на князя.

— Но где же... ты был... столько дней? — проговорила она сдержанным и прерывающимся голосом. Она тяжело и неровно дышала. Боже мой, как она любила его!

— То-то и есть, что я в самом деле как будто виноват перед тобой; да что: *как будто*! разумеется, виноват, и сам это знаю, и приехал с тем, что знаю. Катя вчера и сегодня говорила мне, что не может женщина простить такую небрежность (ведь она всё знает, что было у нас здесь во вторник; я на другой же день рассказал). Я с ней спорил, доказывал ей, говорил, что эта женщина называется *Наташа* и что во всем свете, может быть, только одна есть равная ей: это Катя; и я приехал сюда, разумеется зная, что я выиграл в споре. Разве такой ангел, как ты, может не простить? «Не был, стало быть, непременно что-нибудь помешало, а не то что разлюбил», — вот как будет думать моя Наташа! Да и как тебя разлюбить? Разве возможно? Всё сердце наболело у меня по тебе. Но я все-таки виноват! А когда узнаешь всё, меня же первая оправдаешь! Сейчас всё расскажу, мне надобно излить душу пред всеми вами; с тем и приехал. Хотел было сегодня (было полминутки свободной) залететь к тебе, чтоб поцеловать тебя на лету, но и тут неудача: Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам. Это еще до того времени, когда я на дрожках сидел, папа, и ты меня видел; это я другой раз, по другой записке к Кате тогда ехал. У нас ведь теперь целые дни скороходы с записками из дома в дом бегают. Иван Петрович, вашу записку я только вчера ночью успел прочесть, и вы совершенно правы во всем,

что вы там написали. Но что же делать: физическая невозможность! Так и подумал: завтра вечером во всем оправдаюсь; потому что уж сегодня вечером невозможно мне было не приехать к тебе, Наташа.

— Какая это записка? — спросила Наташа.

— Он у меня был, не застал, разумеется, и сильно разругал в письме, которое мне оставил, за то, что к тебе не хожу. И он совершенно прав. Это было вчера.

Наташа взглянула на меня.

— Но если у тебя доставало времени бывать с утра до вечера у Катерины Федоровны... — начал было князь.

— Знаю, знаю, что ты скажешь, — перебил Алеша: — «Если мог быть у Кати, то у тебя должно быть вдвое причин быть здесь». Совершенно с тобой согласен и даже прибавлю от себя: не вдвое причин, а в миллион больше причин! Но, во-первых, бывают же странные, неожиданные события в жизни, которые всё перемешивают и ставят вверх дном. Ну, вот и со мной случились такие события. Говорю же я, что в эти дни я совершенно изменился, весь до конца ногтей; стало быть, были же важные обстоятельства!

— Ах, боже мой, да что же с тобой было! Не томи, пожалуйста! — вскричала Наташа, улыбаясь на горячку Алеши.

В самом деле, он был немного смешон: он торопился; слова вылетали у него быстро, часто, без порядка, какой-то стукотней. Ему всё хотелось говорить, говорить, рассказать. Но, рассказывая, он все-таки не покидал руки Наташи и беспрерывно подносил ее к губам, как будто не мог нацеловаться.

— В том-то и дело, что со мной было, — продолжал Алеша. — Ах, друзья мои! Что я видел, что делал, каких людей узнал! Во-первых, Катя: это такое совершенство! Я ее совсем, совсем не знал до сих пор! И тогда, во вторник, когда я говорил тебе об ней, Наташа, — помнишь, я еще с таким восторгом говорил, ну, так и тогда даже я ее совсем почти не знал. Она сама таилась от меня до самого теперешнего времени. Но теперь мы совершенно узнали друг друга. Мы с ней уж теперь на *ты*. Но начну сначала: во-первых, Наташа, если б ты могла только слышать, что она говорила мне про тебя, когда я на другой день, в среду, рассказал ей, что здесь между нами было... А кстати: припоминаю, каким я был глупцом перед тобой, когда я приехал к тебе тогда утром, в среду! Ты встречаешь меня с восторгом, ты вся проникнута новым положением нашим, ты хочешь говорить со мной обо всем этом; ты грустна и в то же время шалишь и играешь со мной, а я — такого солидного человека из себя корчу! О глупец! Глупец! Ведь, ей-богу же, мне хотелось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужем, солидным человеком, и нашел же перед кем хвастаться, — перед тобой! Ах, как, должно быть, ты тогда надо мной смеялась и как я стоил твоей насмешки!

Князь сидел молча и с какой-то торжествующе иронической улыбкой смотрел на Алешу. Точно он рад был, что сын выказы-

вает себя с такой легкомысленной и даже смешной точки зрения. Весь этот вечер я прилежно наблюдал его и совершенно убедился, что он вовсе не любит сына, хотя и говорили про слишком горячую отцовскую любовь его.

— После тебя я поехал к Кате, — сыпал свой рассказ Алеша. — Я уже сказал, что мы только в это утро совершенно узнали друг друга, и странно как-то это произошло... не помню даже... Несколько горячих слов, несколько ощущений, мыслей, прямо высказанных, и мы — сблизились навеки. Ты должна, должна узнать ее, Наташа! Как она рассказала, как она растолковала мне тебя! Как объяснила мне, какое ты сокровище для меня! Мало-помалу она объяснила мне все свои идеи и свой взгляд на жизнь; это такая серьезная, такая восторженная девушка! Она говорила о долге, о назначении нашем, о том, что мы все должны служить человечеству, и так как мы совершенно сошлись, в какие-нибудь пять-шесть часов разговора, то кончили тем, что поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что во всю жизнь нашу будем действовать вместе!

— В чем же действовать? — с удивлением спросил князь.

— Я так изменился, отец, что всё это, конечно, должно удивлять тебя; даже заранее предчувствую все твои возражения, — отвечал торжественно Алеша. — Все вы люди практические, у вас столько выжитых правил, серьезных, строгих; на всё новое, на всё молодое, свежее вы смотрите недоверчиво, враждебно, насмешливо. Но теперь уж я не тот, каким ты знал меня несколько дней тому назад. Я другой! Я смело смотрю в глаза всему и всем на свете. Если я знаю, что мое убеждение справедливо, я преследую его до последней крайности; и если я не собьюсь с дороги, то я честный человек. С меня довольно. Говорите после того, что хотите, я в себе уверен.

— Ого! — сказал князь насмешливо.

Наташа с беспокойством оглядела нас. Она боялась за Алешу. Ему часто случалось очень невыгодно для себя увлекаться в разговоре, и она знала это. Ей не хотелось, чтоб Алеша выказал себя с смешной стороны перед нами и особенно перед отцом.

— Что ты, Алеша! Ведь это уж философия какая-то, — сказала она, — тебя, верно, кто-нибудь научил... ты бы лучше рассказывал.

— Да я и рассказываю! — вскричал Алеша. — Вот видишь: у Кати есть два дальние родственника, какие-то кузены, Левенька и Боренька, один студент, а другой просто молодой человек. Она с ними имеет сношения, а те — просто необыкновенные люди! К графине они почти не ходят, по принципу. Когда мы говорили с Катей о назначении человека, о призвании и обо всем этом, она указала мне на них и немедленно дала мне к ним записку; я тотчас же полетел с ними знакомиться. В тот же вечер мы сошлись совершенно. Там было человек двенадцать разного народу —студентов, офицеров, художников; был один писатель... они все вас

знают, Иван Петрович, то есть читали ваши сочинения и много ждут от вас в будущем. Так они мне сами сказали. Я говорил им, что с вами знаком, и обещал им вас познакомить с ними. Все они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями. Я с первого же разу сказал им, что буду скоро женатый человек; так они и принимали меня за женатого человека. Живут они в пятом этаже, под крышами; собираются как можно чаще, но преимущественно по средам, к Левеньке и Бореньке. Это всё молодежь свежая; все они с пламенной любовью ко всему человечеству; все мы говорили о нашем настоящем, будущем, о науках, о литературе и говорили так хорошо, так прямо и просто... Туда тоже ходит один гимназист. Как они обращаются между собой, как они благородны! Я не видал еще до сих пор таких! Где я бывал до сих пор? Что я видал? На чем я вырос? Одна ты только, Наташа, и говорила мне что-нибудь в этом роде. Ах, Наташа, ты непременно должна познакомиться с ними; Катя уже знакома. Они говорят об ней чуть не с благоговением, и Катя уже говорила Левеньке и Бореньке, что когда она войдет в права над своим состоянием, то непременно тотчас же пожертвует миллион на общественную пользу.

— И распорядителями этого миллиона, верно, будут Левенька и Боренька и их вся компания? — спросил князь.

— Неправда, неправда; стыдно, отец, так говорить! — с жаром вскричал Алеша, — я подозреваю твою мысль! А об этом миллионе действительно был у нас разговор, и долго решали: как его употребить? Решили наконец, что прежде всего на общественное просвещение...

— Да, я действительно не совсем знал до сих пор Катерину Федоровну, — заметил князь как бы про себя, всё с той же насмешливой улыбкой. — Я, впрочем, многого от нее ожидал, но этого...

— Чего этого! — прервал Алеша, — что тебе так странно? Что это выходит несколько из вашего порядка? Что никто до сих пор не жертвовал миллиона, а она пожертвует? Это, что ли? Но, что ж, если она не хочет жить на чужой счет; потому что жить этими миллионами значит жить на чужой счет (я только теперь это узнал). Она хочет быть полезна отечеству и всем и принесть на общую пользу свою лепту. Про лепту-то еще мы в прописях читали, а как эта лепта запахла миллионом, так уж тут и не то? И на чем держится всё это хваленое благоразумие, в которое я так верил! Что ты так смотришь на меня, отец? Точно ты видишь перед собой шута, дурачка! Ну, что ж что дурачок! Послушала бы ты, Наташа, что говорила об этом Катя: «Не ум главное, а то, что направляет его, — натура, сердце, благородные свойства, развитие». Но главное, на этот счет есть гениальное выражение Безмыгина. Безмыгин — это знакомый Левеньки и Бореньки и, между нами, голова, и действительно гениальная голова! Не далее как вчера он сказал к разговору: дурак, сознавшийся, что он

дурак, есть уже не дурак! Какова правда! Такие изречения у него поминутно. Он сыплет истинами.

— Действительно гениально! — заметил князь.

— Ты всё смеешься. Но ведь я от тебя ничего никогда не слыхал такого; и от всего вашего общества тоже никогда не слыхал. У вас, напротив, всё это как-то прячут, всё бы пониже к земле, чтоб все росты, все носы выходили непременно по каким-то меркам, по каким-то правилам — точно это возможно! Точно это не в тысячу раз невозможнее, чем то, об чем мы говорим и что думаем. А еще называют нас утопистами! Послушал бы ты, как они мне вчера говорили...

— Но что же, об чем вы говорите и думаете? Расскажи, Алеша, я до сих пор как-то не понимаю, — сказала Наташа.

— Вообще обо всем, что ведет к прогрессу, к гуманности, к любви; всё это говорится по поводу современных вопросов. Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях; мы их разбираем, читаем. Но главное, мы дали друг другу слово быть совершенно между собой откровенными и прямо говорить друг другу всё о самих себе, не стесняясь. Только откровенность, только прямота могут достигнуть цели. Об этом особенно старается Безмыгин. Я рассказал об этом Кате, и она совершенно сочувствует Безмыгину. И потому мы все, под руководством Безмыгина, дали себе слово действовать честно и прямо всю жизнь, и что бы ни говорили о нас, как бы ни судили о нас, — не смущаться ничем, не стыдиться нашей восторженности, наших увлечений, наших ошибок и идти напрямки. Коли ты хочешь, чтоб тебя уважали, во-первых и главное, уважай сам себя; только этим, только самоуважением ты заставишь и других уважать себя. Это говорит Безмыгин, и Катя совершенно с ним согласна. Вообще мы теперь уговариваемся в наших убеждениях и положили заниматься изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга...

— Что за галиматья! — вскричал князь с беспокойством, — и кто этот Безмыгин? Нет, это так оставить нельзя...

— Чего нельзя оставить? — подхватил Алеша, — слушай, отец, почему я говорю всё это теперь, при тебе? Потому что хочу и надеюсь ввести и тебя в наш круг. Я дал уже там и за тебя слово. Ты смеешься, ну, я так и знал, что ты будешь смеяться! Но выслушай! Ты добр, благороден; ты поймешь. Ведь ты не знаешь, ты не видал никогда этих людей, не слыхал их самих. Положим, что ты обо всем этом слышал, всё изучил, ты ужасно учен; но самих-то их ты не видал, у них не был, а потому как же ты можешь судить о них верно! Ты только воображаешь, что знаешь. Нет, ты побудь у них, послушай их и тогда, — и тогда я даю слово за тебя, что ты будешь наш! А главное, я хочу употребить все средства, чтоб спасти тебя от гибели в твоем обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений.

Князь молча и с ядовитейшей насмешкой выслушал эту выходку; злость была в лице его. Наташа следила за ним с нескрываемым отвращением. Он видел это, но показывал, что не замечает. Но как только Алеша кончил, князь вдруг разразился смехом. Он даже упал на спинку стула, как будто был не в силах сдержать себя. Но смех этот был решительно выделанный. Слишком заметно было, что он смеялся единственно для того, чтоб как можно сильнее обидеть и унизить своего сына. Алеша действительно огорчился; всё лицо его изобразило чрезвычайную грусть. Но он терпеливо переждал, когда кончится веселость отца.

— Отец, — начал он грустно, — для чего же ты смеешься надо мной? Я шел к тебе прямо и откровенно. Если, по твоему мнению, я говорю глупости, вразуми меня, а не смейся надо мною. Да и над чем смеяться? Над тем, что для меня теперь свято, благородно? Ну, пусть я заблуждаюсь, пусть это всё неверно, ошибочно, пусть я дурачок, как ты несколько раз называл меня; но если я и заблуждаюсь, то искренно, честно; я не потерял своего благородства. Я восторгаюсь высокими идеями. Пусть они ошибочны, но основание их свято. Я ведь сказал тебе, что ты и все ваши ничего еще не сказали мне такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собой. Опровергни их, скажи мне что-нибудь лучше ихнего, и я пойду за тобой, но не смейся надо мной, потому что это очень огорчает меня.

Алеша произнес это чрезвычайно благородно и с каким-то строгим достоинством. Наташа с сочувствием следила за ним. Князь даже с удивлением выслушал сына и тотчас же переменил свой тон.

— Я вовсе не хотел оскорбить тебя, друг мой, — отвечал он, — напротив, я о тебе сожалею. Ты приготовляешься к такому шагу в жизни, при котором пора бы уже перестать быть таким легкомысленным мальчиком. Вот моя мысль. Я смеялся невольно и совсем не хотел оскорблять тебя.

— Почему же так показалось мне? — продолжал Алеша с горьким чувством. — Почему уже давно мне кажется, что ты смотришь на меня враждебно, с холодной насмешкой, а не как отец на сына? Почему мне кажется, что если б я был на твоем месте, я б не осмеял так оскорбительно своего сына, как ты теперь меня. Послушай: объяснимся откровенно, сейчас, навсегда, так, чтоб уж не оставалось больше никаких недоумений. И... я хочу говорить всю правду: когда я вошел сюда, мне показалось, что и здесь произошло какое-то недоумение; не так как-то ожидал я вас встретить здесь вместе. Так или нет? Если так, то не лучше ли каждому высказать свои чувства? Сколько зла можно устранить откровенностью!

— Говори, говори, Алеша! — сказал князь. — То, что ты предлагаешь нам, очень умно. Может быть, с этого и надо было начать, — прибавил он, взглянув на Наташу.

— Не рассердись же за полную мою откровенность, — начал Алеша, — ты сам ее хочешь, сам вызываешь. Слушай. Ты согласился на мой брак с Наташей; ты дал нам это счастье и для этого победил себя самого. Ты был великодушен, и мы все оценили твой благородный поступок. Но почему же теперь ты с какой-то радостью беспрерывно намекаешь мне, что я еще смешной мальчик и вовсе не гожусь быть мужем; мало того, ты как будто хочешь осмеять, унизить, даже как будто очернить меня в глазах Наташи. Ты очень рад всегда, когда можешь хоть чем-нибудь меня выказать с смешной стороны; это я заметил не теперь, а уже давно. Как будто ты именно стараешься для чего-то доказать нам, что брак наш смешон, нелеп и что мы не пара. Право, как будто ты сам не веришь в то, что для нас предназначаешь; как будто смотришь на всё это как на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смешной водевиль... Я ведь не из сегодняшних только слов твоих это вывожу. Я в тот же вечер, во вторник же, как воротился к тебе отсюда, слышал от тебя несколько странных выражений, изумивших, даже огорчивших меня. И в среду, уезжая, ты тоже сделал несколько каких-то намеков на наше теперешнее положение, сказал и о ней — не оскорбительно, напротив, но как-то не так, как бы я хотел слышать от тебя, как-то слишком легко, как-то без любви, без такого уважения к ней... Это трудно рассказать, но тон ясен; сердце слышит. Скажи же мне, что я ошибаюсь. Разуверь меня, ободри меня и... и ее, потому что ты и ее огорчил. Я это угадал с первого же взгляда, как вошел сюда...

Алеша высказал это с жаром и с твердостью. Наташа с какою-то торжественностью его слушала и вся в волнении, с пылающим лицом, раза два проговорила про себя в продолжение его речи: «Да, да, это так!» Князь смутился.

— Друг мой, — отвечал он, — я, конечно, не могу припомнить всего, что говорил тебе; но очень странно, если ты принял мои слова в такую сторону. Готов разуверить тебя всем, чем только могу. Если я теперь смеялся, то и это понятно. Скажу тебе, что моим смехом я даже хотел прикрыть мое горькое чувство. Когда соображу теперь, что ты скоро собираешься быть мужем, то это мне теперь кажется совершенно несбыточным, нелепым, извини меня, даже смешным. Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что всё это через тебя. Винюсь и я: может быть, я сам мало следил за тобой в последнее время и потому только теперь, в этот вечер, узнал, на что ты можешь быть способен. Теперь уже я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной: я поторопился; я вижу, что вы очень несходны между собою. Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остается. Я уж и не говорю о твоей судьбе, но подумай, если только в тебе честные намерения, вместе с собой ты губишь и Наталью Николаевну, решительно губишь! Вот ты говорил теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве убеждений, о благородных людях, с которыми познакомился; а спроси Ивана Петровича, что говорил

я ему давеча, когда мы поднялись в четвертый этаж, по здешней отвратительной лестнице, и оставались здесь у дверей, благодаря бога за спасение наших жизней и ног? Знаешь ли, какая мысль мне невольно тотчас же пришла в голову? Я удивился, как мог ты, при такой любви к Наталье Николаевне, терпеть, чтоб она жила в такой квартире? Как ты не догадался, что если не имеешь средств, если не имеешь способностей исполнять свои обязанности, то не имеешь права и быть мужем, не имеешь права брать на себя никаких обязательств. Одной любви мало; любовь оказывается делами; а ты как рассуждаешь: «Хоть и страдай со мной, но живи со мной», — ведь это не гуманно, это не благородно! Говорить о всеобщей любви, восторгаться общечеловеческими вопросами и в то же время делать преступления против любви и не замечать их — непонятно! Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, дайте мне кончить; мне слишком горько, и я должен высказаться. Ты говорил, Алеша, что в эти дни увлекался всем, что благородно, прекрасно, честно, и укорял меня, что в нашем обществе нет таких увлечений, а только одно сухое благоразумие. Посмотри же: увлекаться высоким и прекрасным и после того, что было здесь во вторник, четыре дня пренебрегать тою, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свете! Ты даже признался о твоем споре с Катериной Федоровной, что Наталья Николаевна так любит тебя, так великодушна, что простит тебе твой проступок. Но какое право ты имеешь рассчитывать на такое прощение и предлагать об этом пари? И неужели ты ни разу не подумал, сколько горьких мыслей, сколько сомнений, подозрений послал ты в эти дни Наталье Николаевне? Неужели, потому что ты там увлекся какими-то новыми идеями, ты имел право пренебречь самою первейшею своею обязанностью? Простите меня, Наталья Николаевна, что я изменил моему слову. Но теперешнее дело серьезнее этого слова: вы сами поймете это... Знаешь ли ты, Алеша, что я застал Наталью Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти четыре дня, которые, напротив, должны бы быть лучшими днями ее жизни. Такие поступки, с одной стороны, и — слова, слова и слова — с другой... неужели я не прав. И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват?

Князь кончил. Он даже увлекся своим красноречием и не мог скрыть от нас своего торжества. Когда Алеша услышал о страданиях Наташи, то с болезненной тоской взглянул на нее, но Наташа уже решилась.

— Полно, Алеша, не тоскуй, — сказала она, — другие виноватее тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчас твоему отцу. Пора кончить!

— Объяснитесь, Наталья Николаевна, — подхватил князь, — убедительно прошу вас! Я уже два часа слышу об этом загадки. Это становится невыносимо, и, признаюсь, не такой ожидал я здесь встречи.

— Может быть; потому что думали очаровать нас словами, так что мы и не заметим ваших тайных намерений. Что вам объяснять! Вы сами всё знаете и всё понимаете. Алеша прав. Самое первое желание ваше — разлучить нас. Вы заранее почти наизусть знали всё, что здесь случится, после того вечера, во вторник, и рассчитали всё как по пальцам. Я уже сказала вам, что вы смотрите и на меня и на сватовство, вами затеянное, не серьезно. Вы шутите с нами; вы играете и имеете вам известную цель. Игра ваша верная. Алеша был прав, когда укорял вас, что вы смотрите на всё это как на водевиль. Вы бы, напротив, должны были радоваться, а не упрекать Алешу, потому что он, не зная ничего, исполнил всё, что вы от него ожидали; может быть, даже и больше.

Я остолбенел от изумления. Я и ожидал, что в этот вечер случится какая-нибудь катастрофа. Но слишком резкая откровенность Наташи и нескрываемый презрительный тон ее слов изумили меня до последней крайности. Стало быть, она действительно что-то знала, думал я, и безотлагательно решилась на разрыв. Может быть, даже с нетерпением ждала князя, чтобы разом всё прямо в глаза ему высказать. Князь слегка побледнел. Лицо Алеши изображало наивный страх и томительное ожидание.

— Вспомните, в чем вы меня сейчас обвинили! — вскричал князь, — и хоть немножко обдумайте ваши слова... я ничего не понимаю.

— А! Так вы не хотите понять с двух слов, — сказала Наташа, — даже он, даже вот Алеша вас понял так же, как и я, а мы с ним не сговаривались, даже не видались! И ему тоже показалось, что вы играете с нами недостойную, оскорбительную игру, а он любит вас и верит в вас, как в божество. Вы не считали за нужное быть с ним поосторожнее, похитрее; рассчитывали, что он не догадается. Но у него чуткое, нежное, впечатлительное сердце, и ваши слова, ваш *тон*, как он говорит, у него остались на сердце...

— Ничего, ничего не понимаю! — повторил князь, с видом величайшего изумления обращаясь ко мне, точно брал меня в свидетели. Он был раздражен и разгорячился. — Вы мнительны, вы в тревоге, — продолжал он, обращаясь к ней, — просто-запросто вы ревнуете к Катерине Федоровне и потому готовы обвинить весь свет и меня первого, и... и позвольте уж всё сказать: странное мнение можно получить о вашем характере... Я не привык к таким сценам; я бы ни минуты не остался здесь после этого, если б не интересы моего сына... Я всё еще жду, не благоволите ли вы объясниться?

— Так вы все-таки упрямитесь и не хотите понять с двух слов, несмотря на то что всё это наизусть знаете? Вы непременно хотите, чтоб я вам всё прямо высказала?

— Я только этого и добиваюсь.

— Хорошо же, слушайте же, — вскричала Наташа, сверкая глазами от гнева, — я выскажу всё, всё!

Глава III

Она встала и начала говорить стоя, не замечая того от волнения. Князь слушал, слушал и тоже встал с места. Вся сцена становилась слишком торжественною.

— Припомните сами свои слова во вторник, — начала Наташа. — Вы сказали: мне нужны деньги, торные дороги, значение в свете, — помните?

— Помню.

— Ну, так для того-то, чтобы добыть эти деньги, чтобы добиться всех этих успехов, которые у вас ускользали из рук, вы и приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вам поможет поймать то, что от вас ускользало.

— Наташа, — вскричал я, — подумай, что ты говоришь!

— Шутка! Расчет! — повторял князь с видом крайне оскорбленного достоинства.

Алеша сидел убитый горем и смотрел, почти ничего не понимая.

— Да, да, не останавливайте меня, я поклялась всё высказать, — продолжала раздраженная Наташа. — Вы помните сами: Алеша не слушался вас. Целые полгода вы трудились над ним, чтоб отвлечь его от меня. Он не поддавался вам. И вдруг у вас настала минута, когда время уже не терпело. Упустить его, и невеста, деньги, главное — деньги, целых три миллиона приданого, ускользнут у вас из-под пальцев. Оставалось одно: чтоб Алеша полюбил ту, которую вы назначили ему в невесты; вы думали: если полюбит, то, может быть, и отстанет от меня...

— Наташа, Наташа! — с тоскою вскричал Алеша. — Что ты говоришь!

— Вы так и сделали, — продолжала она, не останавливаясь на крик Алеши, — но — и тут опять та же, прежняя история! Всё бы могло уладиться, да я-то опять мешаю! Одно только могло вам подать надежду: вы, как опытный и хитрый человек, может быть, уж и тогда заметили, что Алеша иногда как будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не заметить, что он начинает мною пренебрегать, скучать, по пяти дней ко мне не ездит. Авось наскучит совсем и бросит, как вдруг, во вторник, решительный поступок Алеши поразил вас совершенно. Что вам делать!..

— Позвольте, — вскричал князь, — напротив, этот факт...

— Я говорю, — настойчиво перебила Наташа, — вы спросили себя в тот вечер: «Что теперь делать?» — и решили: позволить ему жениться на мне, не в самом деле, а только так, *на словах,* чтоб только его успокоить. Срок свадьбы, думали вы, можно отдалять сколько угодно; а между тем новая любовь началась; вы это заметили. И вот на этом-то начале новой любви вы всё и основали.

— Романы, романы, — произнес князь вполголоса, как будто про себя, — уединение, мечтательность и чтение романов!

— Да, на этой-то новой любви вы всё и основали, — повторила Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и всё более и более увлекаясь, — и какие шансы для этой новой любви! Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки! В ту самую минуту, когда он, в тот вечер, открывается этой девушке, что не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему, — эта девушка вдруг выказывает пред ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, чтоб она была так прекрасна! Он и ко мне тогда приехал, — только и говорил, что о ней; она слишком поразила его. Да, он назавтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь та, прежняя, уже не страдает, судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была бы Наташа, если б она ревновала даже к этой минуте? И вот незаметно отнимается у этой Наташи, вместо минуты, день, другой, третий. А между тем в это время девушка выказывается перед ним в совершенно неожиданном, новом виде; она такая благородная, энтузиастка и в то же время такой наивный ребенок, и в этом так сходна с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, хотят не разлучаться всю жизнь. «*В какие-нибудь пять-шесть часов разговора*» вся душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается всё... Придет наконец время, думаете вы, он сравнит свою прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями: там всё знакомое, всегдашнее; там так серьезны, требовательны; там его ревнуют, бранят; там слезы... А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком... а главное: всё такое прежнее, известное...

Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа скрепилась еще на минуту.

— Что ж дальше? А дальше время; ведь не сейчас же назначена свадьба с Наташей; времени много, и всё изменится... А тут ваши слова, намеки, толкования, красноречие... Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу; можно выставить ее в таком невыгодном свете и... как это всё разрешится — неизвестно, но победа ваша! Алеша! Не вини меня, друг мой! Не говори, что я не понимаю твоей любви и мало ценю ее. Я ведь знаю, что ты и теперь любишь меня и что в эту минуту, может быть, и не понимаешь моих жалоб. Я знаю, что я очень-очень худо сделала, что теперь это всё высказала. Но что же мне делать, если я это всё понимаю и всё больше и больше люблю тебя... совсем... без памяти!

Она закрыла лицо руками, упала в кресла и зарыдала как ребенок. Алеша с криком бросился к ней. Он никогда не мог видеть без слез ее слезы.

Ее рыдания, кажется, очень помогли князю: все увлечения Наташи в продолжение этого длинного объяснения, все резкости ее выходок против него, которыми уж из одного приличия надо было обидеться, всё это теперь, очевидно, можно было свести на безумный порыв ревности, на оскорбленную любовь, даже на болезнь. Даже следовало выказать сочувствие...

— Успокойтесь, утешьтесь, Наталья Николаевна, — утешал князь, — всё это исступление, мечты, уединение... Вы так были раздражены его легкомысленным поведением... Но ведь это только одно легкомыслие с его стороны. Самый главный факт, про который вы особенно упоминали, происшествие во вторник, скорей бы должно доказать вам всю безграничность его привязанности к вам, а вы, напротив, подумали...

— О, не говорите мне, не мучайте меня хоть теперь! — прервала Наташа, горько плача, — мне всё уже сказало сердце, и давно сказало! Неужели вы думаете, что я не понимаю, что прежняя любовь его вся прошла... Здесь, в этой комнате, одна... когда он оставлял, забывал меня... я всё это пережила... всё передумала... Что ж мне и делать было! Я тебя не виню, Алеша... Что вы меня обманываете? Неужели ж вы думаете, что я не пробовала сама себя обманывать!.. О, сколько раз, сколько раз! Разве я не вслушивалась в каждый звук его голоса? Разве я не научилась читать по его лицу, по его глазам?.. Всё, всё погибло, всё схоронено... О, я несчастная!

Алеша плакал перед ней на коленях.

— Да, да, это я виноват! Всё от меня!.. — повторял он среди рыданий.

— Нет, не вини себя, Алеша... тут есть другие... враги наши. Это они... они!

— Но позвольте же наконец, — начал князь с некоторым нетерпением, — на каком основании приписываете вы мне все эти... преступления? Ведь это одни только ваши догадки, ничем не доказанные...

— Доказательств! — вскричала Наташа, быстро приподымаясь с кресел, — вам доказательств, коварный вы человек! Вы не могли, не могли действовать иначе, когда приходили сюда с вашим предложением! Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызения, чтоб он свободнее и спокойнее отдался весь Кате; без этого он всё бы вспоминал обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться. Что, разве это неправда?

— Признаюсь, — отвечал князь с саркастической улыбкой, — если б я хотел вас обмануть, я бы действительно так рассчитал; вы очень... остроумны, но ведь это надобно доказать и тогда уже оскорблять людей такими упреками...

— Доказать! А ваше всё прежнее поведение, когда вы отбивали его от меня? Тот, который научает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег, — развращает его! Что вы говорили давеча о лестнице и о дурной квар-

тире? Не вы ли отняли у него жалованье, которое прежде давали ему, чтоб принудить нас разойтись через нужду и голод? Через вас и эта квартира, и эта лестница, а вы же его теперь попрекаете, двуличный вы человек! И откуда у вас вдруг явился тогда, в тот вечер, такой жар, такие новые, вам не свойственные убеждения? И для чего я вам так понадобилась? Я ходила здесь эти четыре дня; я всё обдумала, всё взвесила, каждое слово ваше, выражение вашего лица и убедилась, что всё это было напускное, шутка, комедия, оскорбительная, низкая и недостойная... Я ведь знаю вас, давно знаю! Каждый раз, когда Алеша приезжал от вас, я по лицу его угадывала всё, что вы ему говорили, внушали; все влияния ваши на него изучила! Нет, вам не обмануть меня! Может быть, у вас есть и еще какие-нибудь расчеты, может быть, я и не самое главное теперь высказала; но всё равно! Вы меня обманывали — это главное! Это вам и надо было сказать прямо в лицо!..

— Только-то? Это все доказательства? Но подумайте, исступленная вы женщина: этой выходкой (как вы называете мое предложение во вторник) я слишком себя связывал. Это было бы слишком легкомысленно для меня.

— Чем, чем вы себя связывали? Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушке! Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, *замаравшая* себя, *безнравственная*! Стоит ли с ней церемониться, коли эта *шутка* может принесть хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду!

— В какое же положение вы сами ставите себя, Наталья Николаевна, подумайте! Вы непременно настаиваете, что с моей стороны было вам оскорбление. Но ведь это оскорбление так важно, так унизительно, что я не понимаю, как можно даже предположить его, тем более настаивать на нем. Нужно быть уж слишком ко всему приученной, чтоб так легко допускать это, извините меня. Я вправе упрекать вас, потому что вы вооружаете против меня сына: если он не восстал теперь на меня за вас, то сердце его против меня...

— Нет, отец, нет, — вскричал Алеша, — если я не восстал на тебя, то верю, что ты не мог оскорбить, да и не могу я поверить, чтоб можно было так оскорблять!

— Слышите? — вскричал князь.

— Наташа, во всем виноват я, не обвиняй его. Это грешно и ужасно!

— Слышишь, Ваня? Он уж против меня! — вскричала Наташа.

— Довольно! — сказал князь, — надо кончить эту тяжелую сцену. Этот слепой и яростный порыв ревности вне всяких границ рисует ваш характер совершенно в новом для меня виде. Я предупрежден. Мы поторопились, действительно поторопились. Вы даже и не замечаете, как оскорбили меня; для вас это ничего. Поторопились... поторопились... конечно, слово мое должно быть свято, но... я отец и желаю счастья моему сыну...

— Вы отказываетесь от своего слова, — вскричала Наташа вне себя, — вы обрадовались случаю! Но знайте, что я сама, еще два дня тому, здесь, одна, решилась освободить его от его слова, а теперь подтверждаю при всех. Я отказываюсь!

— То есть, может быть, вы хотите воскресить в нем все прежние беспокойства, чувство долга, всю «тоску по своим обязанностям» (как вы сами давеча выразились), для того чтоб этим снова привязать его к себе по-старому. Ведь это выходит по вашей же теории; я потому так и говорю; но довольно; решит время. Я буду ждать минуты более спокойной, чтоб объясниться с вами. Надеюсь, мы не прерываем отношений наших окончательно. Надеюсь тоже, вы научитесь лучше ценить меня. Я еще сегодня хотел было вам сообщить мой проект насчет ваших родных, из которого бы вы увидали... но довольно! Иван Петрович! — прибавил он, подходя ко мне, — теперь более чем когда-нибудь мне будет драгоценно познакомиться с вами ближе, не говоря уже о давнишнем желании моем. Надеюсь, вы поймете меня. На днях я буду у вас; вы позволите?

Я поклонился. Мне самому казалось, что теперь я уже не мог избежать его знакомства. Он пожал мне руку, молча поклонился Наташе и вышел с видом оскорбленного достоинства.

Глава IV

Несколько минут мы все не говорили ни слова. Наташа сидела задумавшись, грустная и убитая. Вся ее энергия вдруг ее оставила. Она смотрела прямо перед собой, ничего не видя, как бы забывшись и держа руку Алеши в своей руке. Тот тихо доплакивал свое горе, изредка взглядывая на нее с боязливым любопытством.

Наконец он робко начал утешать ее, умолял не сердиться, винил себя; видно было, что ему очень хотелось оправдать отца и что это особенно у него лежало на сердце; он несколько раз заговаривал об этом, но не смел ясно высказаться, боясь снова возбудить гнев Наташи. Он клялся ей во всегдашней, неизменной любви и с жаром оправдывался в своей привязанности к Кате; беспрерывно повторял, что он любит Катю только как сестру, как милую, добрую сестру, которую не может оставить совсем, что это было бы даже грубо и жестоко с его стороны, и всё уверял, что если Наташа узнает Катю, то они обе тотчас же подружатся, так что никогда не разойдутся, и тогда уже никаких не будет недоразумений. Эта мысль ему особенно нравилась. Бедняжка не лгал нисколько. Он не понимал опасений Наташи, да и вообще не понял хорошо, что она давеча говорила его отцу. Понял только, что они поссорились, и это-то особенно лежало камнем на его сердце.

— Ты меня винишь за отца? — спросила Наташа.

— Могу ль я винить, — отвечал он с горьким чувством, — когда сам всему причиной и во всем виноват? Это я довел тебя до

такого гнева, а ты в гневе и его обвинила, потому что хотела меня оправдать; ты меня всегда оправдываешь, а я не стою того. Надо было сыскать виноватого, вот ты и подумала, что он. А он, право, право, не виноват! — воскликнул Алеша, одушевляясь. — И с тем ли он приезжал сюда! Того ли ожидал!

Но, видя, что Наташа смотрит на него с тоской и упреком, тотчас оробел.

— Ну не буду, не буду, прости меня, — сказал он. — Я всему причиною!

— Да, Алеша, — продолжала она с тяжким чувством. — Теперь он прошел между нами и нарушил весь наш мир, на всю жизнь. Ты всегда в меня верил больше, чем во всех; теперь же он влил в твое сердце подозрение против меня, недоверие, ты винишь меня, он взял у меня половину твоего сердца. Черная *кошка* пробежала между нами.

— Не говори так, Наташа. Зачем ты говоришь: «черная кошка»? — Он огорчился выражением.

— Он фальшивою добротою, ложным великодушием привлек тебя к себе, — продолжала Наташа, — и теперь всё больше и больше будет восстановлять тебя против меня.

— Клянусь тебе, что нет! — вскричал Алеша еще с большим жаром. — Он был раздражен, когда сказал, что «поторопились», — ты увидишь сама, завтра же, на днях, он спохватится, и если он до того рассердился, что в самом деле не захочет нашего брака, то я, клянусь тебе, его не послушаюсь. У меня, может быть, достанет на это силы... И знаешь, кто нам поможет, — вскричал он вдруг с восторгом от своей идеи, — Катя нам поможет! И ты увидишь, ты увидишь, что за прекрасное это созданье! Ты увидишь, хочет ли она быть твоей соперницей и разлучить нас! И как ты несправедлива была давеча, когда говорила, что я из таких, которые могут разлюбить на другой день после свадьбы! Как это мне горько было слышать! Нет, я не такой, и если я часто ездил к Кате...

— Полно, Алеша, будь у ней, когда хочешь. Я не про то давеча говорила. Ты не понял всего. Будь счастлив с кем хочешь. Не могу же я требовать у твоего сердца больше, чем оно может мне дать...

Вошла Мавра.

— Что ж, подавать чай, что ли? Шутка ли, два часа самовар кипит; одиннадцать часов.

Она спросила грубо и сердито; видно было, что она очень не в духе и сердилась на Наташу. Дело в том, что она все эти дни, со вторника, была в таком восторге, что ее барышня (которую она очень любила) выходит замуж, что уже успела разгласить это по всему дому, в околодке, в лавочке, дворнику. Она хвалилась и с торжеством рассказывала, что князь, важный человек, генерал и ужасно богатый, сам приезжал просить согласия ее барышни, и она, Мавра, собственными ушами это слышала, и вдруг, теперь,

всё пошло прахом. Князь уехал рассерженный, и чаю не подавали, и, уж разумеется, всему виновата барышня. Мавра слышала, как она говорила с ним непочтительно.

— Что ж... подай, — отвечала Наташа.

— Ну, а закуску-то подавать, что ли?

— Ну, и закуску, — Наташа смешалась.

— Готовили, готовили! — продолжала Мавра, — со вчерашнего дня без ног. За вином на Невский бегала, а тут... — И она вышла, сердито хлопнув дверью.

Наташа покраснела и как-то странно взглянула на меня. Между тем подали чай, тут же и закуску; была дичь, какая-то рыба, две бутылки превосходного вина от Елисеева. «К чему ж это все наготовили?» — подумал я.

— Это я, видишь, Ваня, вот какая, — сказала Наташа, подходя к столу и конфузясь даже передо мной. — Ведь предчувствовала, что всё это сегодня так выйдет, как вышло, а все-таки думала, что авось, может быть, и не так кончится. Алеша приедет, начнет мириться, мы помиримся; все мои подозрения окажутся несправедливыми, меня разуверят, и... на всякий случай я и приготовила закуску. Что ж, думала, мы заговоримся, засидимся...

Бедная Наташа! Она так покраснела, говоря это. Алеша пришел в восторг.

— Вот видишь, Наташа! — вскричал он. — Сама ты себе не верила; два часа тому назад еще не верила своим подозрениям! Нет, это надо всё поправить; я виноват, я всему причиной, я всё и поправлю. Наташа, позволь мне сейчас же к отцу! Мне надо его видеть; он обижен, он оскорблен; его надо утешить, я ему выскажу всё, всё от себя, только от одного себя; ты тут не будешь замешана. И я всё улажу... Не сердись на меня, что я так хочу к нему и что тебя хочу оставить. Совсем не то: мне жаль его; он оправдается перед тобой; увидишь... Завтра, чем свет, я у тебя, и весь день у тебя, к Кате не поеду...

Наташа его не останавливала, даже сама посоветовала ехать. Она ужасно боялась, что Алеша будет теперь нарочно, *через силу,* просиживать у нее целые дни и наскучит ею. Она просила только, чтоб он от ее имени ничего не говорил, и старалась повеселее улыбнуться ему на прощание. Он уже хотел было выйти, но вдруг подошел к ней, взял ее за обе руки и сел подле нее. Он смотрел на нее с невыразимою нежностью.

— Наташа, друг мой, ангел мой, не сердись на меня, и не будем никогда ссориться. И дай мне слово, что будешь всегда во всем верить мне, а я тебе. Вот что, мой ангел, я тебе расскажу теперь: были мы раз с тобой в ссоре, не помню за что; я был виноват. Мы не говорили друг с другом. Мне не хотелось просить прощения первому, а было мне ужасно грустно. Я ходил по городу, слонялся везде, заходил к приятелям, а в сердце было так тяжело, так тяжело... И пришло мне тогда на ум: что если б ты, например, от чего-нибудь заболела и умерла. И когда я вообразил себе это, на

меня вдруг нашло такое отчаяние, точно я в самом деле навеки потерял тебя. Мысли всё шли тяжелее, ужаснее. И вот мало-помалу я стал воображать себе, что пришел будто я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. Вообразил я себе, как бы я целовал эту могилу, звал бы тебя из нее, хоть на одну минуту, и молил бы у бога чуда, чтоб ты хоть на одно мгновение воскресла бы передо мною; представилось мне, как бы я бросился обнимать тебя, прижал бы к себе, целовал и, кажется, умер бы тут от блаженства, что хоть одно мгновение мог еще раз, как прежде, обнять тебя. И когда я воображал себе это, мне вдруг подумалось: вот я на одно мгновение буду просить тебя у бога, а между тем была же ты со мною шесть месяцев и в эти шесть месяцев сколько раз мы поссорились, сколько дней мы не говорили друг с другом! Целые дни мы были в ссоре и пренебрегали нашим счастьем, а тут только на одну минуту вызываю тебя из могилы и за эту минуту готов заплатить всею жизнью!.. Как вообразил я это всё, я не мог выдержать и бросился к тебе скорей, прибежал сюда, а ты уж ждала меня, и, когда мы обнялись после ссоры, помню, я так крепко прижал тебя к груди, как будто и в самом деле лишаюсь тебя. Наташа! не будем никогда ссориться! Это так мне всегда тяжело! И можно ли, господи! подумать, чтоб я мог оставить тебя!

Наташа плакала. Они крепко обнялись друг с другом, и Алеша еще раз поклялся ей, что никогда ее не оставит. Затем он полетел к отцу. Он был в твердой уверенности, что всё уладит, всё устроит.

— Всё кончено! Всё пропало! — сказала Наташа, судорожно сжав мою руку. — Он меня любит и никогда не разлюбит; но он и Катю любит и через несколько времени будет любить ее больше меня. А эта ехидна князь не будет дремать, и тогда...

— Наташа! Я сам верю, что князь поступает не чисто, но...

— Ты не веришь всему, что я ему высказала! Я заметила это по твоему лицу. Но погоди, сам увидишь, права была я или нет? Я ведь еще только вообще говорила, а бог знает, что у него еще в мыслях! Это ужасный человек! Я ходила эти четыре дня здесь по комнате и догадалась обо всем. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алеши от его грусти, мешавшей ему жить, от обязанностей любви ко мне. Он выдумал это сватовство и для того еще, чтоб втереться между нами своим влиянием и очаровать Алешу благородством и великодушием. Это правда, правда, Ваня! Алеша именно такого характера. Он бы успокоился на мой счет; тревога бы у него прошла за меня. Он бы думал: что ведь теперь уж она жена моя, навеки со мной, и невольно бы обратил больше внимания на Катю. Князь, видно, изучил эту Катю и угадал, что она пара ему, что она может его сильней увлечь, чем я. Ох, Ваня! На тебя вся моя надежда теперь: он для чего-то хочет с тобой сойтись, знакомиться. Не отвергай этого и старайся, голубчик, ради бога поскорее попасть к графине. Познакомься с этой Катей, разгляди ее лучше и скажи мне: что она такое? Мне надо, чтоб там был твой взгляд. Никто так меня не понимает, как ты, и ты пой-

мешь, что мне надо. Разгляди еще, в какой степени они дружны, что между ними, об чем они говорят; Катю, Катю, главное, рассмотри... Докажи мне еще этот раз, милый, возлюбленный мой Ваня, докажи мне еще раз свою дружбу! На тебя, только на тебя теперь и надежда моя!..

. . . .

Когда я воротился домой, был уже первый час ночи. Нелли отворила мне с заспанным лицом. Она улыбнулась и светло посмотрела на меня. Бедняжка очень досадовала на себя, что заснула. Ей всё хотелось меня дождаться. Она сказала, что меня кто-то приходил спрашивать, сидел с ней и оставил на столе записку. Записка была от Маслобоева. Он звал меня к себе завтра, в первом часу. Мне хотелось расспросить Нелли, но я отложил до завтра, настаивая, чтоб она непременно шла спать; бедняжка и без того устала, ожидая меня, и заснула только за полчаса до моего прихода.

Глава V

Наутро Нелли рассказала мне про вчерашнее посещение довольно странные вещи. Впрочем, уж и то было странно, что Маслобоев вздумал в этот вечер прийти: он наверно знал, что я не буду дома; я сам предуведомил его об этом при последнем нашем свидании и очень хорошо это помнил. Нелли рассказывала, что сначала она было не хотела отпирать, потому что боялась: было уж восемь часов вечера. Но он упросил ее через запертую дверь, уверяя, что если он не оставит мне теперь записку, то завтра мне почему-то будет очень худо. Когда она его впустила, он тотчас же написал записку, подошел к ней и уселся подле нее на диване. «Я встала и не хотела с ним говорить, — рассказывала Нелли, — я его очень боялась; он начал говорить про Бубнову, как она теперь сердится, что она уж не смеет меня теперь взять, и начал вас хвалить; сказал, что он с вами большой друг и вас маленьким мальчиком знал. Тут я стала с ним говорить. Он вынул конфеты и просил, чтоб и я взяла; я не хотела; он стал меня уверять тогда, что он добрый человек, умеет петь песни и плясать; вскочил и начал плясать. Мне стало смешно. Потом сказал, что посидит еще немножко, — дождусь Ваню, авось воротится, — и очень просил меня, чтоб я не боялась и села подле него. Я села; но говорить с ним ничего не хотела. Тогда он сказал мне, что знал мамашу и дедушку и... тут я стала говорить. И он долго сидел».

— А об чем же вы говорили?

— О мамаше... о Бубновой... о дедушке. Он сидел часа два.

Нелли как будто не хотелось рассказывать, об чем они говорили. Я не расспрашивал, надеясь узнать всё от Маслобоева. Мне показалось только, что Маслобоев нарочно заходил без меня, чтоб застать Нелли одну. «Для чего ему это?» — подумал я.

Она показала мне три конфетки, которые он ей дал. Это были леденцы в зеленых и красных бумажках, прескверные и, вероятно, купленные в овощной лавочке. Нелли засмеялась, показывая мне их.

— Что ж ты их не ела? — спросил я.

— Не хочу, — отвечала она серьезно, нахмурив брови. — Я и не брала у него; он сам на диване оставил...

В этот день мне предстояло много ходьбы. Я стал прощаться с Нелли.

— Скучно тебе одной? — спросил я ее, уходя.

— И скучно и не скучно. Скучно потому, что вас долго нет.

И она с такою любовью взглянула на меня, сказав это. Всё это утро она смотрела на меня таким же нежным взглядом и казалась такою веселенькою, такою ласковою, и в то же время что-то стыдливое, даже робкое было в ней, как будто она боялась чем-нибудь досадить мне, потерять мою привязанность и... и слишком высказаться, точно стыдясь этого.

— А чем же не скучно-то? Ведь ты сказала, что тебе «и скучно и не скучно»? — спросил я, невольно улыбаясь ей, так становилась она мне мила и дорога.

— Уж я сама знаю чем, — отвечала она, усмехнувшись, и чего-то опять застыдилась. Мы говорили на пороге, у растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потупив глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, а другою пощипывая мне рукав сюртука.

— Что ж это, секрет? — спросил я.

— Нет... ничего... я — я вашу книжку без вас читать начала, — проговорила она вполголоса и, подняв на меня нежный, проницающий взгляд, вся закраснелась.

— А, вот как! Что ж, нравится тебе? — я был в замешательстве автора, которого похвалили в глаза, но я бы бог знает что дал, если б мог в эту минуту поцеловать ее. Но как-то нельзя было поцеловать. Нелли помолчала.

— Зачем, зачем он умер? — спросила она с видом глубочайшей грусти, мельком взглянув на меня и вдруг опять опустив глаза.

— Кто это?

— Да вот этот, молодой, в чахотке... в книжке-то?

— Что ж делать, так надо было, Нелли.

— Совсем не надо, — отвечала она почти шепотом, но как-то вдруг, отрывисто, чуть не сердито, надув губки и еще упорнее уставившись глазами в пол.

Прошла еще минута.

— А она... ну, вот и они-то... девушка и старичок, — шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав, — что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?

— Нет, Нелли, она уедет далеко; выйдет замуж за помещика, а он один останется, — отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.

— Ну, вот... Вот! Вот как это! У, какие!.. Я и читать теперь не хочу!

И она сердито оттолкнула мою руку, быстро отвернулась от меня, ушла к столу и стала лицом к углу, глазами в землю. Она вся покраснела и неровно дышала, точно от какого-то ужасного огорчения.

— Полно, Нелли, ты рассердилась! — начал я, подходя к ней, — ведь это всё неправда, что написано, — выдумка; ну, чего ж тут сердиться! Чувствительная ты девочка!

— Я не сержусь, — проговорила она робко, подняв на меня такой светлый, такой любящий взгляд; потом вдруг схватила мою руку, прижала к моей груди лицо и отчего-то заплакала.

Но в ту же минуту и засмеялась, — и плакала и смеялась — всё вместе. Мне тоже было и смешно и как-то... сладко. Но она ни за что не хотела поднять ко мне голову, и когда я стал было отрывать ее личико от моего плеча, она всё крепче приникала к нему и всё сильнее и сильнее смеялась.

Наконец кончилась эта чувствительная сцена. Мы простились; я спешил. Нелли, вся разрумянившаяся и всё еще как будто пристыженная и с сияющими, как звездочки, глазками, выбежала за мной на самую лестницу и просила воротиться скорее. Я обещал, что непременно ворочусь к обеду и как можно пораньше.

Сначала я пошел к старикам. Оба они хворали. Анна Андреевна была совсем больная; Николай Сергеич сидел у себя в кабинете. Он слышал, что я пришел, но я знал, что по обыкновению своему он выйдет не раньше, как через четверть часа, чтоб дать нам наговориться. Я не хотел очень расстраивать Анну Андреевну и потому смягчал по возможности мой рассказ о вчерашнем вечере, но высказал правду; к удивлению моему, старушка хоть и огорчилась, но как-то без удивления приняла известие о возможности разрыва.

— Ну, батюшка, так я и думала, — сказала она. — Вы ушли тогда, а я долго продумала и надумалась, что не бывать этому. Не заслужили мы у господа бога, да и человек-то такой подлый; можно ль от него добра ожидать. Шутка ль, десять тысяч с нас задаром берет, знает ведь, что задаром, и все-таки берет. Последний кусок хлеба отнимает; продадут Ихменевку. А Наташечка справедлива и умна, что им не поверила. Да знаете ль вы еще, батюшка, — продолжала она, понизив голос, — мой-то, мой-то! Совсем напротив этой свадьбы идет. Проговариваться стал: не хочу, говорит! Я сначала думала, что он блажит; нет, взаправду. Что ж тогда с ней-то будет, с голубушкой? Ведь он ее тогда совсем проклянет. Ну, а тот-то, Алеша-то, он-то что?

И долго еще она меня расспрашивала и по обыкновению своему охала и сетовала с каждым моим ответом. Вообще я заметил, что она в последнее время как-то совсем потерялась. Всякое известие потрясало ее. Скорбь об Наташе убивала ее сердце и здоровье.

Вошел старик, в халате, в туфлях; он жаловался на лихорадку, но с нежностью посмотрел на жену и всё время, как я у них был,

ухаживал за ней, как нянька, смотрел ей в глаза, даже робел перед нею. Во взглядах его было столько нежности. Он был испуган ее болезнью; чувствовал, что лишится всего в жизни, если и ее потеряет.

Я просидел у них с час. Прощаясь, он вышел за мною до передней и заговорил о Нелли. У него была серьезная мысль принять ее к себе в дом вместо дочери. Он стал советоваться со мной, как склонить на то Анну Андреевну. С особенным любопытством расспрашивал меня о Нелли и не узнал ли я о ней еще чего нового? Я наскоро рассказал ему. Рассказ мой произвел на него впечатление.

— Мы еще поговорим об этом, — сказал он решительно, — а покамест... а впрочем, я сам к тебе приду, вот только немножко поправлюсь здоровьем. Тогда и решим.

Ровно в двенадцать часов я был у Маслобоева. К величайшему моему изумлению, первое лицо, которое я встретил, войдя к нему, был князь. Он в передней надевал свое пальто, а Маслобоев суетливо помогал ему и подавал ему его трость. Он уж говорил мне о своем знакомстве с князем, но все-таки эта встреча чрезвычайно изумила меня.

Князь как будто смешался, увидев меня.

— Ах, это вы! — вскрикнул он как-то уж слишком с жаром, — представьте, какая встреча! Впрочем, я сейчас узнал от господина Маслобоева, что вы с ним знакомы. Рад, рад, чрезвычайно рад, что вас встретил; я именно желал вас видеть и надеюсь как можно скорее заехать к вам, вы позволите? У меня просьба до вас: помогите мне, разъясните теперешнее положение наше. Вы, верно, поняли, что я говорю про вчерашнее... Вы там знакомы дружески, вы следили за всем ходом этого дела: вы имеете влияние... Ужасно жалею, что не могу с вами теперь же... Дела! Но на днях и даже, может быть, скорее я буду иметь удовольствие быть у вас. А теперь...

Он как-то уж слишком крепко пожал мне руку, перемигнулся с Маслобоевым и вышел.

— Скажи ты мне, ради бога... — начал было я, входя в комнату.

— Ровно-таки ничего тебе не скажу, — перебил Маслобоев, поспешно хватая фуражку и направляясь в переднюю, — дела! Я, брат, сам бегу, опоздал!..

— Да ведь ты сам написал, что в двенадцать часов.

— Что ж такое, что написал? Вчера тебе написал, а сегодня мне написали, да так, что лоб затрещал, — такие дела! Ждут меня. Прости, Ваня. Всё, что могу предоставить тебе в удовлетворение, это исколотить меня за то, что напрасно тебя потревожил. Если хочешь удовлетвориться, то колоти, но только ради Христа поскорее! Не задержи, дела, ждут...

— Да зачем мне тебя колотить? Дела, так спеши, у всякого бывает свое непредвиденное. А только...

— Нет, про *только*-то уж я скажу, — перебил он, выскакивая в переднюю и надевая шинель (за ним и я стал одеваться). — У меня и до тебя дело; очень важное дело, за ним-то я и звал тебя; прямо до тебя касается и до твоих интересов. А так как в одну минуту, теперь, рассказать нельзя, то дай ты, ради бога, слово, что придешь ко мне сегодня ровно в семь часов, ни раньше, ни позже. Буду дома.

— Сегодня, — сказал я в нерешимости, — ну, брат, я сегодня вечером хотел было зайти...

— Зайди, голубчик, сейчас туда, куда ты хотел вечером зайти, а вечером ко мне. Потому, Ваня, и вообразить не можешь, какие я вещи тебе сообщу.

— Да изволь, изволь; что бы такое? Признаюсь, ты завлек мое любопытство.

Между тем мы вышли из ворот дома и стояли на тротуаре.

— Так будешь? — спросил он настойчиво.

— Сказал, что буду.

— Нет, дай честное слово.

— Фу, какой! Ну, честное слово.

— Отлично и благородно. Тебе куда?

— Сюда, — отвечал я, показывая направо.

— Ну, а мне сюда, — сказал он, показывая налево. — Прощай, Ваня! Помни, семь часов.

«Странно», — подумал я, смотря ему вслед.

Вечером я хотел быть у Наташи. Но так как теперь дал слово Маслобоеву, то и рассудил отправиться к ней сейчас. Я был уверен, что застану у ней Алешу. Действительно, он был там и ужасно обрадовался, когда я вошел.

Он был очень мил, чрезвычайно нежен с Наташей и даже развеселился с моим приходом. Наташа хоть и старалась казаться веселою, но видно было, что через силу. Лицо ее было больное и бледное; плохо спала ночью. К Алеше она была как-то усиленно ласкова.

Алеша хоть и много говорил, много рассказывал, по-видимому желая развеселить ее и сорвать улыбку с ее невольно складывавшихся не в улыбку губ, но заметно обходил в разговоре Катю и отца. Вероятно, вчерашняя его попытка примирения не удалась.

— Знаешь что? Ему ужасно хочется уйти от меня, — шепнула мне наскоро Наташа, когда он вышел на минуту что-то сказать Мавре, — да и боится. А я сама боюсь ему сказать, чтоб он уходил, потому что он тогда, пожалуй, нарочно не уйдет, а пуще всего боюсь, что он соскучится и за это совсем охладеет ко мне! Как сделать?

— Боже, в какое положение вы сами себя ставите! И какие вы мнительные, как вы следите друг за другом! Да просто объясниться, ну и кончено. Вот через это-то положение он, может быть, и действительно соскучится.

— Как же быть? — вскричала она, испуганная.

— Постой, я вам всё улажу... — и я вышел в кухню под предлогом попросить Мавру обтереть одну очень загрязнившуюся мою калошу.

— Осторожнее, Ваня! — закричала она мне вслед.

Только что я вошел к Мавре, Алеша так и бросился ко мне, точно меня ждал:

— Иван Петрович, голубчик, что мне делать? Посоветуйте мне: я еще вчера дал слово быть сегодня, именно теперь, у Кати. Не могу же я манкировать! Я люблю Наташу как не знаю что, готов просто в огонь, но, согласитесь сами, там совсем бросить, ведь это нельзя...

— Ну что ж, поезжайте...

— Да как же Наташа-то? Ведь я огорчу ее, Иван Петрович, выручите как-нибудь...

— По-моему, лучше поезжайте. Вы знаете, как она вас любит; ей всё будет казаться, что вам с ней скучно и что вы с ней сидите насильно. Непринужденнее лучше. Впрочем, пойдемте, я вам помогу.

— Голубчик, Иван Петрович! Какой вы добрый!

Мы вошли; через минуту я сказал ему:

— А я видел сейчас вашего отца.

— Где? — вскричал он, испуганный.

— На улице, случайно. Он остановился со мной на минуту, опять просил быть знакомым. Спрашивал об вас: не знаю ли я, где теперь вы? Ему очень надо было вас видеть, что-то сказать вам.

— Ах, Алеша, съезди, покажись ему, — подхватила Наташа, понявшая, к чему я клоню.

— Но... где ж я его теперь встречу? Он дома?

— Нет, помнится, он сказал, что он у графини будет.

— Ну, так как же... — наивно произнес Алеша, печально смотря на Наташу.

— Ах, Алеша, так что же! — сказала она. — Неужели ж ты вправду хочешь оставить это знакомство, чтоб меня успокоить. Ведь это по-детски. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, ты просто будешь неблагороден перед Катей. Вы друзья; разве можно так грубо разрывать связи. Наконец, ты меня просто обижаешь, коли думаешь, что я так тебя ревную. Поезжай, немедленно поезжай, я прошу тебя! Да и отец твой успокоится.

— Наташа, ты ангел, а я твоего пальчика не стою! — вскричал Алеша с восторгом и с раскаянием. — Ты так добра, а я... я... ну узнай же! Я сейчас же просил, там, в кухне, Ивана Петровича, чтоб он помог мне уехать от тебя. Он это и выдумал. Но не суди меня, ангел Наташа! Я не совсем виноват, потому что люблю тебя в тысячу раз больше всего на свете и потому выдумал новую мысль: открыться во всем Кате и немедленно рассказать ей всё наше теперешнее положение и всё, что вчера было. Она что-нибудь выдумает для нашего спасения, она нам всею душою предана...

— Ну и ступай, — отвечала Наташа, улыбаясь, — и вот что,

друг мой, я сама хотела бы очень познакомиться с Катей. Как бы это устроить?

Восторгу Алеши не было пределов. Он тотчас же пустился в предположения, как познакомиться. По его выходило очень легко: Катя выдумает. Он развивал свою идею с жаром, горячо. Сегодня же обещался и ответ принести, через два же часа, и вечер просидеть у Наташи.

— Вправду приедешь? — спросила Наташа, отпуская его.

— Неужели ты сомневаешься? Прощай, Наташа, прощай, возлюбленная ты моя, — вечная моя возлюбленная! Прощай, Ваня! Ах, боже мой, я вас нечаянно назвал Ваней; послушайте, Иван Петрович, я вас люблю — зачем мы не на *ты*. Будем на *ты*.

— Будем на *ты*.

— Слава богу! Ведь мне это сто раз в голову приходило. Да я всё как-то не смел вам сказать. Вот и теперь *вы* говорю. А ведь это очень трудно *ты* говорить. Это, кажется, где-то у Толстого хорошо выведено: двое дали друг другу слово говорить *ты*, да и никак не могут и всё избегают такие фразы, в которых местоимения. Ах, Наташа! Перечтем когда-нибудь «Детство и отрочество»; ведь как хорошо!

— Да уж ступай, ступай, — прогоняла Наташа, смеясь, — заболтался от радости...

— Прощай! Через два часа у тебя!

Он поцеловал у ней руку и поспешно вышел.

— Видишь, видишь, Ваня! — проговорила она и залилась слезами.

Я просидел с ней часа два, утешал ее и успел убедить во всем. Разумеется, она была во всем права, во всех своих опасениях. У меня сердце ныло в тоске, когда я думал о теперешнем ее положении; боялся я за нее. Но что ж было делать?

Странен был для меня и Алеша: он любил ее не меньше, чем прежде, даже, может быть, и сильнее, мучительнее, от раскаяния и благодарности. Но в то же время новая любовь крепко вселялась в его сердце. Чем это кончится — невозможно было предвидеть. Мне самому ужасно любопытно было посмотреть на Катю. Я снова обещал Наташе познакомиться с нею.

Под конец она даже как будто развеселилась. Между прочим, я рассказал ей всё о Нелли, о Маслобоеве, о Бубновой, о сегодняшней встрече моей у Маслобоева с князем и о назначенном свидании в семь часов. Всё это ужасно ее заинтересовало. О стариках я говорил с ней немного, а о посещении Ихменева умолчал, до времени; предполагаемая дуэль Николая Сергеича с князем могла испугать ее. Ей тоже показались очень странными сношения князя с Маслобоевым и чрезвычайное его желание познакомиться со мною, хотя всё это и довольно объяснялось теперешним положением...

Часа в три я воротился домой. Нелли встретила меня с своим светлым личиком...

Глава VI

Ровно в семь часов вечера я уже был у Маслобоева. Он встретил меня с громкими криками и с распростертыми объятиями. Само собою разумеется, он был вполпьяна. Но более всего меня удивили чрезвычайные приготовления к моей встрече. Видно было, что меня ожидали. Хорошенький томпаковый самовар кипел на круглом столике, накрытом прекрасною и дорогою скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие, варенья киевские, жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья, апельсины, яблоки и трех или четырех сортов орехи, — одним словом, целая фруктовая лавка. На третьем столе, покрытом белоснежною скатертью, стояли разнообразнейшие закуски: икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинов с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов — зеленых, рубиновых, коричневых, золотых. Наконец, на маленьком столике, в стороне, тоже накрытом белою скатертью, стояли две вазы с шампанским. На столе перед диваном красовались три бутылки: сотерн, лафит и коньяк, — бутылки елисеевские и предорогие. За чайным столиком сидела Александра Семеновна хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась; встречая меня, она привстала с некоторою торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике. Маслобоев сидел в прекрасных китайских туфлях, в дорогом халате и в свежем щегольском белье. На рубашке его были везде, где только можно было прицепить, модные запонки и пуговки. Волосы были расчесаны, напомажены и с косым пробором, по-модному.

Я так был озадачен, что остановился среди комнаты и смотрел, раскрыв рот, то на Маслобоева, то на Александру Семеновну, самодовольство которой доходило до блаженства.

— Что это, Маслобоев? Разве у тебя сегодня званый вечер? — вскричал я наконец с беспокойством.

— Нет, ты один, — отвечал он торжественно.

— Да что же это (я указал на закуски), ведь тут можно накормить целый полк?

— И напоить — главное забыл: напоить! — прибавил Маслобоев.

— И это всё для одного меня?

— И для Александры Семеновны. Всё это ей угодно было так сочинить.

— Ну, вот уж! Я так и знала! — воскликнула, закрасневшись, Александра Семеновна, но нисколько не потеряв своего довольного вида. — Гостя прилично принять нельзя: тотчас я виновата!

— С самого утра, можешь себе представить, с самого утра, только что узнала, что ты придешь на вечер, захлопотала; в муках была...

— И тут солгал! Вовсе не с самого утра, а со вчерашнего вечера. Ты вчера вечером, как пришел, так и сказал мне, что они в гости на целый вечер придут...

— Это вы ослышались-с.

— Вовсе не ослышалась, а так было. Я никогда не лгу. А почему ж гостя не встретить? Живем-живем, никто-то к нам не ходит, а всё-то у нас есть. Пусть же хорошие люди видят, что и мы умеем, как люди, жить.

— И, главное, узнают, какая вы великолепная хозяйка и распорядительница, — прибавил Маслобоев. — Представь, дружище, я-то, я-то за что тут попался. Рубашку голландскую на меня напялили, запонки натыкали, туфли, халат китайский, волосы расчесала мне сама и распомадила: бергамот-с; духами какими-то попрыскать хотела: крем-брюле, да уж тут я не вытерпел, восстал, супружескую власть показал...

— Вовсе не бергамот, а самая лучшая французская помада, из фарфоровой расписной баночки! — подхватила, вся вспыхнув, Александра Семеновна. — Посудите сами, Иван Петрович, ни в театр, ни танцевать никуда не пускает, только платья дарит, а что мне в платье-то? Наряжусь да и хожу одна по комнате. Намедни упросила, совсем уж было собрались в театр; только что отвернулась брошку прицепить, а он к шкапику: одну, другую, да и накатился. Так и остались. Никто-то, никто-то, никто-то не ходит к нам в гости; а только по утрам, по делам какие-то люди ходят; меня и прогонят. А между тем и самовары, и сервиз есть, и чашки хорошие — всё это есть, всё дареное. И съестное-то нам носят, почти одно вино покупаем да какую-нибудь помаду, да вот там закуски, — пастет, окорока да конфеты для вас купили... Хоть бы посмотрел кто, как мы живем! Целый год думала: вот придет гость, настоящий гость, мы всё это и покажем, и угостим: и люди похвалят, и самим любо будет; а что его, дурака, напомадила, так он и не стоит того; ему бы всё в грязном ходить. Вон какой халат на нем: подарили, да стоит ли он такого халата? Ему бы только нализаться прежде всего. Вот увидите, что он вас будет прежде чаю водкой просить.

— А что! Ведь и вправду дело: выпьем-ка, Ваня, золотую и серебряную, а потом, с освеженной душой и к другим напиткам приступим.

— Ну, так я и знала!

— Не беспокойтесь, Сашенька, и чайку выпьем, с коньячком, за ваше здоровье-с.

— Ну, так и есть! — вскричала она, всплеснув руками. — Чай ханский, по шести целковых, третьего дня купец подарил, а он его с коньяком хочет пить. Не слушайте, Иван Петрович, вот я вам сейчас налью... увидите, сами увидите, какой чай!

И она захлопотала у самовара.

Было понятно, что рассчитывали меня продержать весь вечер. Александра Семеновна целый год ожидала гостя и теперь готовилась отвести на мне душу. Всё это было не в моих расчетах.

— Послушай, Маслобоев, — сказал я, усаживаясь, — ведь я к тебе вовсе не в гости; я по делам; ты сам меня звал что-то сообщить...

— Ну, так ведь дело делом, а приятельская беседа своим чередом.

— Нет, душа моя, не рассчитывай. В половину девятого — и прощай. Дело есть; я дал слово...

— Не думаю. Помилуй, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты с Александрой-то Семеновной делаешь? Ты взгляни на нее: обомлела. За что ж меня напомадила-то: ведь на мне бергамот; подумай!

— Ты всё шутишь, Маслобоев. Я Александре Семеновне поклянусь, что на будущей неделе, ну хоть в пятницу, приду к вам обедать; а теперь, брат, я дал слово, или, лучше сказать, мне просто надобно быть в одном месте. Лучше объясни мне: что ты хотел сообщить?

— Так неужели ж вы только до половины девятого! — вскричала Александра Семеновна робким и жалобным голосом, чуть не плача и подавая мне чашку превосходного чаю.

— Не беспокойтесь, Сашенька; всё это вздор, — подхватил Маслобоев. — Он останется; это вздор. А вот что ты лучше скажи мне, Ваня, куда это ты всё уходишь? Какие у тебя дела? Можно узнать? Ведь ты каждый день куда-то бегаешь, не работаешь...

— А зачем тебе? Впрочем, может быть, скажу после. А вот объясни-ка ты лучше, зачем ты приходил ко мне вчера, когда я сам сказал тебе, помнишь, что меня не будет дома?

— Потом вспомнил, а вчера забыл. Об деле действительно хотел с тобою поговорить, но пуще всего надо было утешить Александру Семеновну. «Вот, говорит, есть человек, оказался приятель, зачем не позовешь?» И уж меня, брат, четверо суток за тебя продергивают. За бергамот мне, конечно, на том свете сорок грехов простят, но, думаю, отчего же не посидеть вечерок по-приятельски? Я и употребил стратагему: написал, что, дескать, такое дело, что если не придешь, то все наши корабли потонут.

Я попросил его вперед так не делать, а лучше прямо предуведомить. Впрочем, это объяснение меня не совсем удовлетворило.

— Ну, а давеча-то зачем бежал от меня? — спросил я.

— А давеча действительно было дело, настолечко не солгу.

— Не с князем ли?

— А вам нравится наш чай? — спросила медовым голоском Александра Семеновна.

Вот уж пять минут она ждала, что я похвалю их чай, а я и не догадался.

— Превосходный, Александра Семеновна, великолепный! Я еще и не пивал такого.

Александра Семеновна так и зарделась от удовольствия и бросилась наливать мне еще.

— Князь! — вскричал Маслобоев, — этот князь, брат, такая шельма, такой плут... ну! Я, брат, вот что тебе скажу: я хоть и сам плут, но из одного целомудрия не захотел бы быть в его коже! Но довольно; молчок! Только это одно об нем и могу сказать.

— А я, как нарочно, пришел к тебе, чтобы и об нем расспросить между прочим. Но это после. А зачем ты вчера без меня моей Елене леденцов давал да плясал перед ней? И об чем ты мог полтора часа с ней говорить!

— Елена, это маленькая девочка, лет двенадцати или одиннадцати, живет до времени у Ивана Петровича, — объяснил Маслобоев, вдруг обращаясь к Александре Семеновне. — Смотри, Ваня, смотри, — продолжал он, показывая на нее пальцем, — так вся и вспыхнула, как услышала, что я незнакомой девушке леденцов носил, так и зарделась, так и вздрогнула, точно мы вдруг из пистолета выстрелили... ишь глазенки-то, так и сверкают, как угольки. Да уж нечего, Александра Семеновна, нечего скрывать! Ревнивы-с. Не растолкуй я, что это одиннадцатилетняя девочка, так меня тотчас же за вихры оттаскала бы: и бергамот бы не спас!

— Он и теперь не спасет!

И с этими словами Александра Семеновна одним прыжком прыгнула к нам из-за чайного столика, и прежде чем Маслобоев успел заслонить свою голову, она схватила его за клочок волос и порядочно продернула.

— Вот тебе, вот тебе! Не смей говорить перед гостем, что я ревнива, не смей, не смей, не смей!

Она даже раскраснелась и хоть смеялась, но Маслобоеву досталось порядочно.

— Про всякий стыд рассказывает! — серьезно прибавила она, обратясь ко мне.

— Ну, Ваня, таково-то житье мое! По этой причине непременно водочки! — решил Маслобоев, оправляя волосы и чуть не бегом направляясь к графину. Но Александра Семеновна предупредила его: подскочила к столу, налила сама, подала и даже ласково потрепала его по щеке. Маслобоев с гордостью подмигнул мне глазом, щелкнул языком и торжественно выпил свою рюмку.

— Насчет леденцов трудно сообразить, — начал он, усаживаясь подле меня на диване. — Я их купил третьего дня, в пьяном виде, в овощной лавочке, — не знаю для чего. Впрочем, может быть, для того, чтоб поддержать отечественную торговлю и промышленность, — не знаю наверно; помню только, что я шел тогда по улице пьяный, упал в грязь, рвал на себе волосы и плакал о том, что ни к чему не способен. Я, разумеется, об леденцах забыл, так они и остались у меня в кармане до вчерашнего дня, когда я сел на них, садясь на твой диван. Насчет танцев же опять тот же нетрезвый вид: вчера я был достаточно пьян, а в пьяном виде я, когда бываю доволен судьбою, иногда танцую. Вот и всё; кроме

разве того, что эта сиротка возбудила во мне жалость; да, кроме того, она и говорить со мной не хотела, как будто сердилась. Я и ну танцевать, чтоб развеселить ее, и леденчиками попотчевал.

— А не подкупал ее, чтоб у ней кое-что выведать, и, признайся откровенно: нарочно ты зашел ко мне, зная, что меня дома не будет, чтоб поговорить с ней между четырех глаз и что-нибудь выведать, или нет? Ведь я знаю, ты с ней часа полтора просидел, уверил ее, что ее мать покойницу знаешь, и что-то выспрашивал.

Маслобоев прищурился и плутовски усмехнулся.

— А ведь идея-то была бы недурна, — сказал он. — Нет, Ваня, это не то. То есть, почему не расспросить при случае; но это не то. Слушай, старинный приятель, я хоть теперь и довольно пьян, по обыкновению, но знай, что с *злым умыслом* Филипп тебя никогда не обманет, с *злым то есть* умыслом.

— Ну, а без злого умысла?

— Ну... и без злого умысла. Но к черту это, выпьем, и об деле! Дело-то пустое, — продолжал он, выпив. — Эта Бубнова не имела никакого права держать эту девочку; я всё разузнал. Никакого тут усыновления или прочего не было. Мать должна была ей денег, та и забрала к себе девчонку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба-дура, как и все бабы. У покойницы был хороший паспорт; следственно, всё чисто. Елена может жить у тебя, хотя бы очень хорошо было, если б какие-нибудь люди семейные и благодетельные взяли ее серьезно на воспитание. Но покамест пусть она у тебя. Это ничего; я тебе всё обделаю: Бубнова и пальцем пошевелить не смеет. О покойнице же матери я почти ничего не узнал точного. Она чья-то вдова, по фамилии Зальцман.

— Так, мне так и Нелли говорила.

— Ну, так и кончено. Теперь же, Ваня, — начал он с некоторою торжественностью, — я имею к тебе одну просьбицу. Ты же исполни. Расскажи мне по возможности подробнее, что у тебя за дела, куда ты ходишь, где бываешь по целым дням? Я хоть отчасти и слышал и знаю, но мне надобно знать гораздо подробнее.

Такая торжественность удивила меня и даже обеспокоила.

— Да что такое? Для чего тебе это знать? Ты так торжественно спрашиваешь...

— Вот что, Ваня, без лишних слов: я тебе хочу оказать услугу. Видишь, дружище, если б я с тобой хитрил, я бы у тебя и без торжественности умел выпытать. А ты подозреваешь, что я с тобой хитрю: давеча, леденцы-то; я ведь понял. Но так как я с торжественностью говорю, значит, не для себя интересуюсь, а для тебя. Так ты не сомневайся и говори напрямик, правду — истинную...

— Да какую услугу? Слушай, Маслобоев, для чего ты не хочешь мне рассказать что-нибудь о князе? Мне это нужно. Вот это будет услуга.

— О князе! гм... Ну, так и быть, прямо скажу: я и выспрашиваю теперь тебя по поводу князя.

— Как?

— А вот как: я, брат, заметил, что он как-то в твои дела замешался; между прочим, он расспрашивал меня об тебе. Уж как он узнал, что мы знакомы, — это не твое дело. А только главное в том: берегись ты этого князя. Это Иуда-предатель и даже хуже того. И потому, когда я увидал, что он отразился в твоих делах, то вострепетал за тебя. Впрочем, я ведь ничего не знаю; для того-то и прошу тебя рассказать, чтоб я мог судить... И даже для того тебя сегодня к себе призвал. Вот это-то и есть то важное дело; прямо объясняю.

— По крайней мере ты мне скажешь хоть что-нибудь, хоть то, почему именно я должен опасаться князя.

— Хорошо, так и быть; я, брат, вообще употребляюсь иногда по иным делам. Но рассуди: мне ведь иные и доверяются-то потому, что я не болтун. Как же я тебе буду рассказывать? Так и не взыщи, если расскажу вообще, слишком вообще, для того только, чтоб показать: какой, дескать, он выходит подлец. Ну, начинай же сначала ты, про свое.

Я рассудил, что в моих делах мне решительно нечего было скрывать от Маслобоева. Дело Наташи было не секретное; к тому же я мог ожидать для нее некоторой пользы от Маслобоева. Разумеется, в моем рассказе я, по возможности, обошел некоторые пункты. Маслобоев в особенности внимательно слушал всё, что касалось князя; во многих местах меня останавливал, многое вновь переспрашивал, так что я рассказал ему довольно подробно. Рассказ мой продолжался с полчаса.

— Гм! умная голова у этой девицы, — решил Маслобоев. — Если, может быть, и не совсем верно догадалась она про князя, то уж то одно хорошо, что с первого шагу узнала, с кем имеет дело, и прервала все сношения. Молодец Наталья Николаевна! Пью за ее здоровье! (Он выпил.) Тут не только ум, тут сердца надо было, чтоб не дать себя обмануть. И сердце не выдало. Разумеется, ее дело проиграно: князь настоит на своем, и Алеша ее бросит. Жаль одного, Ихменева, — десять тысяч платить этому подлецу! Да кто у него по делу-то ходил, кто хлопотал? Небось сам! Э-эх! То-то все эти горячие и благородные! Никуда не годится народ! С князем не так надо было действовать. Я бы такого адвокатика достал Ихменеву — э-эх! — И он с досадой стукнул по столу.

— Ну, теперь что же князь-то?

— А ты всё о князе. Да что об нем говорить; и не рад, что вызвался. Я ведь, Ваня, только хотел тебя насчет этого мошенника предуведомить, чтобы, так сказать, оградить тебя от его влияния. Кто с ним связывается, тот не безопасен. Так ты держи ухо востро; вот и всё. А ты уж и подумал, что я тебе бог знает какие парижские тайны хочу сообщить. И видно, что романист! Ну, что говорить о подлеце? Подлец так и есть подлец... Ну, вот, например, расскажу тебе одно его дельце, разумеется без мест, без городов, без лиц, то есть без календарской точности. Ты знаешь, что он еще в первой молодости, когда принужден был жить канцелярским жалованьем,

женился на богатой купчихе. Ну, с этой купчихой он не совсем вежливо обошелся, и хоть не в ней теперь дело, но замечу, друг Ваня, что он всю жизнь наиболее по таким делам любил промышлять. Вот еще случай: поехал он за границу. Там...

— Постой, Маслобоев, про которую ты поездку говоришь? В котором году?

— Ровно девяносто девять лет тому назад и три месяца. Ну-с, там он и сманил одну дочь у одного отца да и увез с собой в Париж. Да ведь как сделал-то! Отец был вроде какого-то заводчика или участвовал в каком-то эдаком предприятии. Наверно не знаю. Я ведь если и рассказываю тебе, то по собственным умозаключениям и соображениям из других данных. Вот князь его и надул, тоже в предприятие с ним вместе залез. Надул вполне и деньги с него взял. Насчет взятых денег у старика были, разумеется, кой-какие документы. А князю хотелось так взять, чтоб и не отдать, по-нашему — просто украсть. У старика была дочь, и дочь-то была красавица, а у этой красавицы был влюбленный в нее идеальный человек, братец Шиллеру, поэт, в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом — вполне немец, Феферкухен какой-то.

— То есть это фамилия его Феферкухен?

— Ну, может, и не Феферкухен, черт его дери, не в нем дело. Только князь-то и подлез к дочери, да так подлез, что она влюбилась в него, как сумасшедшая. Князю и захотелось тогда двух вещей: во-первых, овладеть дочкой, а во-вторых, документами во взятой у старика сумме. Ключи от всех ящиков стариковых были у его дочери. Старик же любил дочь без памяти, до того, что замуж ее отдавать не хотел. Серьезно. Ко всякому жениху ревновал, не понимал, как можно расстаться с нею, и Феферкухена прогнал, чудак какой-то англичанин...

— Англичанин? Да где же всё это происходило?

— Я только так сказал: англичанин, для сравнения, а ты уж и подхватил. Было ж это в городе Санта-фе-де-Богота, а может, и в Кракове, но вернее всего, что в фюрстентум Нассау, вот что на зельтерской воде написано, именно в Нассау; довольно с тебя? Ну-с, вот-с князь девицу-то сманил, да и увез от отца, да по настоянию князя девица захватила с собой и кой-какие документики. Ведь бывает же такая любовь, Ваня! Фу ты, боже мой, а ведь девушка была честная, благородная, возвышенная! Правда, может, толку-то большого в бумагах не знала. Ее заботило одно: отец проклянет. Князь и тут нашелся; дал ей форменное, законное обязательство, что на ней женится. Таким образом и уверил ее, что они так только поедут, на время, прогуляются, а когда гнев старика поутихнет, они и воротятся к нему обвенчанные и будут втроем век жить, добра наживать и так далее до бесконечности. Бежала она, старик-то ее проклял да и обанкрутился. За нею в Париж потащился и Фрауенмильх, всё бросил и торговлю бросил; влюблен был уж очень.

— Стой! Какой Фрауенмильх?

— Ну тот, как его! Фейербах-то... тьфу, проклятый: Феферкухен! Ну-с, князю, разумеется, жениться нельзя было: что, дескать, графиня Хлестова скажет? Как барон Помойкин об этом отзовется? Следовательно, надо было надуть. Ну, надул-то он слишком нагло. Во-первых, чуть ли не бил ее, во-вторых, нарочно пригласил к себе Феферкухена, тот и ходил, другом ее сделался, ну, хныкали вместе, по целым вечерам одни сидели, несчастья свои оплакивали, тот утешал: известно, божьи души. Князь-то нарочно так подвел: раз застает их поздно да и выдумал, что они в связи, придрался к чему-то: своими глазами, говорит, видел. Ну и вытолкал их обоих за ворота, а сам на время в Лондон уехал. А та была уж на сносях; как выгнали ее, она и родила дочь... то есть не дочь, а сына, именно сынишку, Володькой и окрестили. Феферкухен восприемником был. Ну вот и поехала она с Феферкухеном. У того маленькие деньжонки были. Объехала она Швейцарию, Италию... во всех то есть поэтических землях была, как и следует. Та всё плакала, а Феферкухен хныкал, и много лет таким образом прошло, и девочка выросла. И для князя-то всё бы хорошо было, да одно нехорошо: обязательство жениться он у ней назад не выхлопотал. «Низкий ты человек, — сказала она ему при прощании, — ты меня обокрал, ты меня обесчестил и теперь оставляешь. Прощай! Но обязательства тебе не отдам. Не потому, что я когда-нибудь хотела за тебя выйти, а потому, что ты этого документа боишься. Так пусть он и будет у меня вечно в руках». Погорячилась, одним словом, но князь, впрочем, остался покоен. Вообще эдаким подлецам превосходно иметь дело с так называемыми возвышенными существами. Они так благородны, что их весьма легко обмануть, а во-вторых, они всегда отделываются возвышенным и благородным презрением вместо практического применения к делу закона, если только можно его применить. Ну, вот хоть бы эта мать: отделалась гордым презрением и хоть оставила у себя документ, но ведь князь знал, что она скорее повесится, чем употребит его в дело: ну, и был покоен до времени. А она хоть и плюнула ему в его подлое лицо, да ведь у ней Володька на руках оставался: умри она, что с ним будет? Но об этом не рассуждалось. Брудершафт тоже ободрял ее и не рассуждал; Шиллера читали. Наконец, Брудершафт отчего-то скиснул и умер...

— То есть Феферкухен?

— Ну да, черт его дери! А она...

— Постой! Сколько лет они странствовали?

— Ровнешенько двести. Ну-с, она и воротилась в Краков. Отец-то не принял, проклял, она умерла, а князь перекрестился от радости. Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало, дали мне шлык, а я в подворотню шмыг... выпьем, брат Ваня!

— Я подозреваю, что ты у него по этому делу хлопочешь, Маслобоев.

— Тебе непременно этого хочется?

— Но не понимаю только, что ты-то тут можешь сделать!

— А видишь, она как воротилась в Мадрид-то после десятилетнего отсутствия, под чужим именем, то надо было всё это разузнать и о Брудершафте, и о старике, и действительно ли она воротилась, и о птенце, и умерла ли она, и нет ли бумаг, и так далее до бесконечности. Да еще кой о чем. Сквернейший человек, берегись его, Ваня, а об Маслобоеве вот что думай: никогда, ни за что не называй его подлецом! Он хоть и подлец (по-моему, так нет человека не подлеца), но не против тебя. Я крепко пьян, но слущай: если когда-нибудь, близко ли, далеко ли, теперь ли, или на будущий год, тебе покажется, что Маслобоев против тебя в чем-нибудь схитрил (и, пожалуйста, не забудь этого слова *схитрил*), — то знай, что без злого умысла. Маслобоев над тобой наблюдает. И потому не верь подозрениям, а лучше приди и объяснись откровенно и по-братски с самим Маслобоевым. Ну, теперь хочешь пить?

— Нет.

— Закусить?

— Нет, брат, извини...

— Ну, так и убирайся, без четверти девять, а ты спесив. Теперь тебе уже пора.

— Как? Что? Напился пьян да и гостя гонит! Всегда-то он такой! Ах, бесстыдник! — вскричала чуть не плача Александра Семеновна.

— Пеший конному не товарищ! Александра Семеновна, мы остаемся вместе и будем обожать друг друга. А это генерал! Нет, Ваня, я соврал; ты не генерал, а я — подлец! Посмотри, на что я похож теперь? Что я перед тобой? Прости, Ваня, не осуди и дай излить...

Он обнял меня и залился слезами. Я стал уходить.

— Ах, боже мой! А у нас и ужинать приготовлено, — говорила Александра Семеновна в ужаснейшем горе. — А в пятницу-то придете к нам?

— Приду, Александра Семеновна, честное слово, приду.

— Да вы, может быть, побрезгаете, что он вот такой... пьяный. Не брезгайте, Иван Петрович, он добрый, очень добрый, а уж вас как любит! Он про вас мне и день и ночь теперь говорит, всё про вас. Нарочно ваши книжки купил для меня; я еще не прочла; завтра начну. А уж мне-то как хорошо будет, когда вы придете! Никого-то не вижу, никто-то не ходит к нам посидеть. Всё у нас есть, а сидим одни. Теперь вот я сидела, всё слушала, всё слушала, как вы говорили, и как это хорошо... Так до пятницы...

Глава VII

Я шел и торопился домой: слова Маслобоева слишком меня поразили. Мне бог знает что приходило в голову... Как нарочно, дома меня ожидало одно происшествие, которое меня потрясло, как удар электрической машины.

Против самых ворот дома, в котором я квартировал, стоял фонарь. Только что я стал под ворота, вдруг от самого фонаря бро-

силась на меня какая-то странная фигура, так что я даже вскрикнул, какое-то живое существо, испуганное, дрожащее, полусумасшедшее, и с криком уцепилось за мои руки. Ужас охватил меня. Это была Нелли!

— Нелли! Что с тобой? — закричал я. — Что ты!

— Там, наверху... он сидит... у нас...

— Кто такой? Пойдем; пойдем вместе со мной.

— Не хочу, не хочу! Я подожду, пока он уйдет... в сенях... не хочу.

Я поднялся к себе с каким-то странным предчувствием, отворил дверь и — увидел князя. Он сидел у стола и читал роман. По крайней мере, книга была раскрыта.

— Иван Петрович! — вскричал он с радостью. — Я так рад, что вы наконец воротились. Только что хотел было уезжать. Более часу вас ждал. Я дал сегодня слово, по настоятельнейшей и убедительнейшей просьбе графини, приехать к ней сегодня вечером с вами. Она так просила, так хочет с вами познакомиться! Так как уж вы дали мне обещание, то я рассудил заехать к вам самому, пораньше, покамест вы еще не успели никуда отправиться, и пригласить вас с собою. Представьте же мою печаль; приезжаю: ваша служанка объявляет, что вас нет дома. Что делать! Я ведь дал честное слово явиться с вами; а потому сел вас подождать, решив, что прожду четверть часа. Но вот они, четверть часа: развернул ваш роман и зачитался. Иван Петрович! Ведь это совершенство! Ведь вас не понимают после этого! Ведь вы у меня слезы исторгли. Ведь я плакал, а я не очень часто плачу...

— Так вы хотите, чтоб я ехал? Признаюсь вам, теперь... хоть я вовсе не прочь, но...

— Ради бога, поедемте! Что же со мной-то вы сделаете? Ведь я вас ждал полтора часа!.. Притом же мне с вами так надо, так надо поговорить — вы понимаете о чем? Вы всё это дело знаете лучше меня... Мы, может быть, решим что-нибудь, остановимся на чем-нибудь, подумайте! Ради бога, не отказывайте.

Я рассудил, что рано ли, поздно ли надо будет ехать. Положим, Наташа теперь одна, я ей нужен, но ведь она же сама поручила мне как можно скорей узнать Катю. К тому же, может быть, и Алеша там... Я знал, что Наташа не будет покойна, прежде чем я не принесу ей известий о Кате, и решился ехать. Но меня смущала Нелли.

— Погодите, — сказал я князю и вышел на лестницу. Нелли стояла тут, в темном углу.

— Почему ты не хочешь идти, Нелли? Что он тебе сделал? Что с тобой говорил?

— Ничего... Я не хочу, не хочу... — повторяла она, — я боюсь...

Как я ее ни упрашивал — ничто не помогало. Я уговорился с ней, чтоб как только я выйду с князем, она бы вошла в комнату и заперлась.

— И не пускай к себе никого, Нелли, как бы тебя ни упрашивали.

— А вы с ним едете?

— С ним.

Она вздрогнула и схватила меня за руки, точно хотела упросить, чтоб я не ехал, но не сказала ни слова. Я решил расспросить ее подробно завтра.

Попросив извинения у князя, я стал одеваться. Он начал уверять меня, что туда не надо никаких гардеробов, никаких туалетов. «Так, разве посвежее что-нибудь! — прибавил он, инквизиторски оглядев меня с головы до ног, — знаете, все-таки эти светские предрассудки... ведь нельзя же совершенно от них избавиться. Этого совершенства вы в нашем свете долго не найдете», — заключил он, с удовольствием увидав, что у меня есть фрак.

Мы вышли. Но я оставил его на лестнице, вошел в комнату, куда уже проскользнула Нелли, и еще раз простился с нею. Она была ужасно взволнована. Лицо ее посинело. Я боялся за нее; мне тяжко было ее оставить.

— Странная это у вас служанка, — говорил мне князь, сходя с лестницы. — Ведь эта маленькая девочка ваша служанка?

— Нет... она так... живет у меня покамест.

— Странная девочка. Я уверен, что она сумасшедшая. Представьте себе, сначала отвечала мне хорошо, но потом, когда разглядела меня, бросилась ко мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня... что-то хочет сказать — не может. Признаюсь, я струсил, хотел уж бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Я был в изумлении. Как это вы уживаетесь?

— У нее падучая болезнь, — отвечал я.

— А, вот что! Ну, это не так удивительно... если она с припадками.

Мне тут же показалось одно: что вчерашний визит ко мне Маслобоева, тогда как он знал, что я не дома, что сегодняшний мой визит к Маслобоеву, что сегодняшний рассказ Маслобоева, который он рассказал в пьяном виде и нехотя, что приглашение быть у него сегодня в семь часов, что его убеждения не верить в его хитрость и, наконец, что князь, ожидающий меня полтора часа и, может быть, знавший, что я у Маслобоева, тогда как Нелли выскочила от него на улицу, — что всё это имело между собой некоторую связь. Было о чем задуматься.

У ворот дожидалась его коляска. Мы сели и поехали.

Глава VIII

Ехать было недолго, к Торговому мосту. Первую минуту мы молчали. Я всё думал: как-то он со мной заговорит? Мне казалось, что он будет меня пробовать, ощупывать, выпытывать. Но он заговорил без всяких изворотов и прямо приступил к делу.

— Меня чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство, Иван Петрович, — начал он, — о котором я хочу прежде всего переговорить с вами и попросить у вас совета: я уж давно решил отказаться от выигранного мною процесса и уступить спорные десять тысяч Ихменеву. Как поступить?

«Не может быть, чтоб ты не знал, как поступить, — промелькнуло у меня в мыслях. — Уж не на смех ли ты меня подымаешь?»

— Не знаю, князь, — отвечал я как можно простодушнее, — в чем другом, то есть что касается Натальи Николаевны, я готов сообщить вам необходимые для вас и для нас всех сведения, но в этом деле вы, конечно, знаете больше моего.

— Нет, нет, конечно, меньше. Вы с ними знакомы, и, может быть, даже сама Наталья Николаевна вам не раз передавала свои мысли на этот счет; а это для меня главное руководство. Вы можете мне много помочь; дело же крайне затруднительное. Я готов уступить и даже непременно положил уступить, как бы ни кончились все прочие дела; вы понимаете? Но как, в каком виде сделать эту уступку, вот в чем вопрос? Старик горд, упрям; пожалуй, меня же обидит за мое же добродушие и швырнет мне эти деньги назад.

— Но позвольте, вы как считаете эти деньги: своими или его?

— Процесс выигран мною, следственно, моими.

— Но по совести?

— Разумеется, считаю моими, — отвечал он, несколько пикированный моею бесцеремонностью, — впрочем, вы, кажется, не знаете всей сущности этого дела. Я не виню старика в умышленном обмане и, признаюсь вам, никогда не винил. Вольно ему было самому напустить на себя обиду. Он виноват в недосмотре, в нерачительности о вверенных ему делах, а, по бывшему уговору нашему, за некоторые из подобных дел он должен был отвечать. Но знаете ли вы, что даже и не в этом дело: дело в нашей ссоре, во взаимных тогдашних оскорблениях; одним словом, в обоюдно уязвленном самолюбии. Я, может быть, и внимания не обратил бы тогда на эти дрянные десять тысяч; но вам, разумеется, известно, из-за чего и как началось тогда всё это дело. Соглашаюсь, я был мнителен, я был, пожалуй, неправ (то есть тогда неправ), но я не замечал этого и, в досаде, оскорбленный его грубостями, не хотел упустить случая и начал дело. Вам всё это, пожалуй, покажется с моей стороны не совсем благородным. Я не оправдываюсь; замечу вам только, что гнев и, главное, раздраженное самолюбие — еще не есть отсутствие благородства, а есть дело естественное, человеческое, и, признаюсь, повторяю вам, я ведь почти вовсе не знал Ихменева и совершенно верил всем этим слухам насчет Алеши и его дочери, а следственно, мог поверить и умышленной краже денег... Но это в сторону. Главное в том: что мне теперь делать? Отказаться от денег; но если я тут же скажу, что считаю и теперь свой иск правым, то ведь это значит: я их дарю ему. А тут прибавьте еще щекотливое положение насчет Натальи Николаевны... Он непременно швырнет мне эти деньги назад.

— Вот видите, сами же вы говорите: *швырнет*; следовательно, считаете его человеком честным, а поэтому и можете быть совершенно уверены, что он не крал ваших денег. А если так, почему бы вам не пойти к нему и не объявить прямо, что считаете свой иск незаконным? Это было бы благородно, и Ихменев, может быть, не затруднился бы тогда взять *свои* деньги.

— Гм... *свои* деньги; вот в том-то и дело; что же вы со мной-то делаете? Идти и объявить ему, что считаю свой иск незаконным. Да зачем же ты искал, коли знал, что ищешь незаконно? — так мне все в глаза скажут. А я этого не заслужил, потому что искал законно; я нигде не говорил и не писал, что он у меня крал; но в его неосмотрительности, в легкомыслии, в неуменье вести дела и теперь уверен. Эти деньги положительно мои, и потому больно взводить самому на себя поклеп, и, наконец, повторяю вам, старик сам взвел на себя обиду, а вы меня заставляете в этой обиде у него прощения просить, — это тяжело.

— Мне кажется, если два человека хотят помириться, то...

— То это легко, вы думаете?

— Да.

— Нет, иногда очень нелегко, тем более...

— Тем более если с этим связаны другие обстоятельства. Вот в этом я с вами согласен, князь. Дело Натальи Николаевны и вашего сына должно быть разрешено вами во всех тех пунктах, которые от вас зависят, и разрешено вполне удовлетворительно для Ихменевых. Только тогда вы можете объясниться с Ихменевым и о процессе совершенно искренно. Теперь же, когда еще ничего не решено, у вас один только путь: признаться в несправедливости вашего иска и признаться открыто, а если надо, так и публично, — вот мое мнение; говорю вам прямо, потому что вы же сами спрашивали моего мнения и, вероятно, не желали, чтоб я с вами хитрил. Это же дает мне смелость спросить вас: для чего вы беспокоитесь об отдаче этих денег Ихменеву? Если вы считаете себя в этом иске правым, то для чего отдавать? Простите мое любопытство, но это так связано с другими обстоятельствами...

— А как вы думаете? — спросил он вдруг, как будто совершенно не слыхал моего вопроса, — уверены ли вы, что старик Ихменев откажется от десяти тысяч, если б даже вручить ему деньги безо всяких оговорок и... и... и всяких этих смягчений?

— Разумеется, откажется!

Я весь так и вспыхнул и даже вздрогнул от негодования. Этот нагло скептический вопрос произвел на меня такое же впечатление, как будто князь мне плюнул прямо в глаза. К моему оскорблению присоединилось и другое: грубая, великосветская манера, с которою он, не отвечая на мой вопрос и как будто не заметив его, перебил его другим, вероятно давая мне заметить, что я слишком увлекся и зафамильярничал, осмелившись предлагать ему такие вопросы. Я до ненависти не любил этого великосветского маневра и всеми силами еще прежде отучал от него Алешу.

— Гм... вы слишком пылки, и на свете некоторые дела не так делаются, как вы воображаете, — спокойно заметил князь на мое восклицание. — Я, впрочем, думаю, что об этом могла бы отчасти решить Наталья Николаевна; вы ей передайте это. Она могла бы посоветовать.

— Ничуть, — отвечал я грубо. — Вы не изволили выслушать, что я начал вам говорить давеча, и перебили меня. Наталья Николаевна поймет, что если вы возвращаете деньги неискренно и без всяких этих, как вы говорите, *смягчений*, то, значит, вы платите отцу за дочь, а ей за Алешу, — одним словом, награждаете деньгами...

— Гм... вот вы как меня понимаете, добрейший мой Иван Петрович. — Князь засмеялся. Для чего он засмеялся? — А между тем, — продолжал он, — нам еще столько, столько надо вместе переговорить. Но теперь некогда. Прошу вас только, поймите *одно:* дело касается прямо Натальи Николаевны и всей ее будущности, и всё это зависит отчасти от того, как мы с вами это решим и на чем остановимся. Вы тут необходимы, — сами увидите. И потому, если вы продолжаете быть привязанным к Наталье Николаевне, то и не можете отказаться от объяснений со мною, как бы мало ни чувствовали ко мне симпатии. Но мы приехали... A bientôt.[1]

Глава IX

Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе не пышно. Всё, однако же, носило на себе характер временного пребывания; это была только приличная квартира на время, а не постоянное, утвердившееся жилье богатой фамилии со всем размахом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми за необходимость. Носился слух, что графиня на лето едет в свое имение (разоренное и перезаложенное), в Симбирскую губернию, и что князь сопровождает ее. Я уже слышал про это и с тоскою подумал: как поступит Алеша, когда Катя уедет с графиней? С Наташей я еще не заговаривал об этом, боялся; но по некоторым признакам успел заметить, что, кажется, и ей этот слух известен. Но она молчала и страдала про себя.

Графиня приняла меня прекрасно, приветливо протянула мне руку и подтвердила, что давно желала меня у себя видеть. Она сама разливала чай из прекрасного серебряного самовара, около которого мы и уселись: я, князь и еще какой-то очень великосветский господин пожилых лет и со звездой, несколько накрахмаленный, с дипломатическими приемами. Этого гостя, кажется, очень уважали. Графиня, воротясь из-за границы, не успела еще в эту зиму завести в Петербурге больших связей и основать свое поло-

[1] До скорого свидания (*франц.*).

жение, как хотела и рассчитывала. Кроме этого гостя, никого не было, и никто не являлся во весь вечер. Я искал глазами Катерину Федоровну; она была в другой комнате с Алешей, но, услышав о нашем приезде, тотчас же вышла к нам. Князь с любезностию поцеловал у ней руку, а графиня указала ей на меня. Князь тотчас же нас познакомил. Я с нетерпеливым вниманием в нее вглядывался: это была нежная блондиночка, одетая в белое платье, невысокого роста, с тихим и спокойным выражением лица, с совершенно голубыми глазами, как говорил Алеша, с красотой юности и только. Я ожидал встретить совершенство красоты, но красоты не было. Правильный, нежно очерченный овал лица, довольно правильные черты, густые и действительно прекрасные волосы, обыденная домашняя их прическа, тихий, пристальный взгляд; при встрече с ней где-нибудь я бы прошел мимо нее, не обратив на нее никакого особенного внимания; но это было только с первого взгляда, и я успел несколько лучше разглядеть ее потом, в этот вечер. Уж одно то, как она подала мне руку, с каким-то наивно усиленным вниманием продолжая смотреть мне в глаза и не говоря мне ни слова, поразило меня своею странностию, и я отчего-то невольно улыбнулся ей. Видно, я тотчас же почувствовал перед собой существо чистое сердцем. Графиня пристально следила за нею. Пожав мне руку, Катя с какою-то поспешностью отошла от меня и села в другом конце комнаты, вместе с Алешей. Здороваясь со мной, Алеша шепнул мне: «Я здесь только на минутку, но сейчас *туда*».

«Дипломат» — не знаю его фамилии и называю его дипломатом, чтобы как-нибудь назвать, — говорил спокойно и величаво, развивая какую-то идею. Графиня внимательно его слушала. Князь одобрительно и льстиво улыбался; оратор часто обращался к нему, вероятно ценя в нем достойного слушателя. Мне дали чаю и оставили меня в покое, чему я был очень рад. Между тем я всматривался в графиню. По первому впечатлению она мне как-то нехотя понравилась. Может быть, она была уже не молода, но мне казалось, что ей не более двадцати восьми лет. Лицо ее было еще свежо и когда-то, в первой молодости, должно быть, было очень красиво. Темно-русые волосы были еще довольно густы; взгляд был чрезвычайно добрый, но какой-то ветреный и шаловливо насмешливый. Но теперь она для чего-то видимо себя сдерживала. В этом взгляде выражалось тоже много ума, но более всего доброты и веселости. Мне показалось, что преобладающее ее качество было некоторое легкомыслие, жажда наслаждений и какой-то добродушный эгоизм, может быть даже и большой. Она была под началом у князя, который имел на нее чрезвычайное влияние. Я знал, что они были в связи, слышал также, что он был уж слишком не ревнивый любовник во время их пребывания за границей; но мне всё казалось — кажется и теперь, — что их связывало, кроме бывших отношений, еще что-то другое, отчасти таинственное, что-нибудь вроде взаимного обязательства, основанного на каком-

нибудь расчете... одним словом, что-то такое должно было быть. Знал я тоже, что князь в настоящее время тяготился ею, а между тем отношения их не прерывались. Может быть, их тогда особенно связывали виды на Катю, которые, разумеется, в инициативе своей должны были принадлежать князю. На этом основании князь и отделался от брака с графиней, которая этого действительно требовала, убедив ее содействовать браку Алеши с ее падчерицей. Так, по крайней мере, я заключал по прежним простодушным рассказам Алеши, который хоть что-нибудь да мог же заметить. Мне всё казалось тоже, отчасти из тех же рассказов, что князь, несмотря на то что графиня была в его полном повиновении, имел какую-то причину бояться ее. Даже Алеша это заметил. Я узнал потом, что князю очень хотелось выдать графиню за кого-нибудь замуж и что отчасти с этою целью он и отсылал ее в Симбирскую губернию, надеясь приискать ей приличного мужа в провинции.

Я сидел и слушал, не зная, как бы мне поскорее поговорить глаз на глаз с Катериной Федоровной. Дипломат отвечал на какой-то вопрос графини о современном положении дел, о начинающихся реформах и о том, следует ли их бояться или нет? Он говорил много и долго, спокойно и как власть имеющий. Он развивал свою идею тонко и умно, но идея была отвратительная. Он именно настаивал на том, что весь этот дух реформ и исправлений слишком скоро принесет известные плоды; что, увидя эти плоды, возьмутся за ум и что не только в обществе (разумеется, в известной его части) пройдет этот новый дух, но увидят по опыту ошибку и тогда с удвоенной энергией начнут поддерживать старое. Что опыт, хоть бы и печальный, будет очень выгоден, потому что научит, как поддерживать это спасительное старое, принесет для этого новые данные; а следственно, даже надо желать, чтоб теперь поскорее дошло до последней степени неосторожности. «Без *нас* нельзя, — заключил он, — без нас ни одно общество еще никогда не стояло. Мы не потеряем, а напротив, еще выиграем; мы всплывем, всплывем, и девиз наш в настоящую минуту должен быть: «Pire ça va, mieux ça est».[1] Князь улыбнулся ему с отвратительным сочувствием. Оратор был совершенно доволен собою. Я был так глуп, что хотел было возражать; сердце кипело во мне. Но меня остановил ядовитый взгляд князя; он мельком скользнул в мою сторону, и мне показалось, что князь именно ожидает какой-нибудь странной и юношеской выходки с моей стороны; ему, может быть, даже хотелось этого, чтоб насладиться тем, как я себя скомпрометирую. Вместе с тем я был твердо уверен, что дипломат непременно не заметит моего возражения, а может быть, даже и самого меня. Мне скверно стало сидеть с ними; но выручил Алеша.

Он тихонько подошел ко мне, тронул меня за плечо и попросил на два слова. Я догадался, что он послом от Кати. Так и было. Через минуту я уже сидел рядом с нею. Сначала она всего меня

[1] Чем хуже, тем лучше (*франц.*).

пристально оглядела, как будто говоря про себя: «вот ты какой», и в первую минуту мы оба не находили слов для начала разговора. Я, однако ж, был уверен, что ей стоит только заговорить, чтоб уж и не останавливаться, хоть до утра. «Какие-нибудь пять-шесть часов разговора», о которых рассказывал Алеша, мелькнули у меня в уме. Алеша сидел тут же и с нетерпением ждал, как-то мы начнем.

— Что ж вы ничего не говорите? — начал он, с улыбкою смотря на нас. — Сошлись и молчат.

— Ах, Алеша, какой ты... мы сейчас, — отвечала Катя. — Нам ведь так много надо переговорить вместе, Иван Петрович, что не знаю, с чего и начать. Мы очень поздно знакомимся; надо бы раньше, хоть я вас и давным-давно знаю. И так мне хотелось вас видеть. Я даже думала вам письмо написать...

— О чем? — спросил я, невольно улыбаясь.

— Мало ли о чем, — отвечала она серьезно. — Вот хоть бы о том, правду ли он рассказывает про Наталью Николаевну, что она не оскорбляется, когда он ее в такое время оставляет одну? Ну, можно ли так поступать, как он? Ну, зачем ты теперь здесь, скажи, пожалуйста?

— Ах, боже мой, да я сейчас и поеду. Я ведь сказал, что здесь только одну минутку пробуду, на вас обоих посмотрю, как вы вместе будете говорить, а там и туда.

— Да что мы вместе, ну вот и сидим, — видел? И всегда-то он такой, — прибавила она, слегка краснея и указывая мне на него пальчиком. — «Одну минутку, говорит, только одну минутку», а смотришь, и до полночи просидел, а там уж и поздно. «Она, говорит, не сердится, она добрая», — вот он как рассуждает! Ну, хорошо ли это, ну, благородно ли?

— Да я, пожалуй, поеду, — жалобно отвечал Алеша, — только мне бы очень хотелось побыть с вами...

— А что тебе с нами? Нам, напротив, надо о многом наедине переговорить. Да послушай, ты не сердись; это необходимость — пойми хорошенько.

— Если необходимость, то я сейчас же... чего же тут сердиться. Я только на минуточку к Левеньке, а там тотчас и к ней. Вот что, Иван Петрович, — продолжал он, взяв свою шляпу, — вы знаете, что отец хочет отказаться от денег, которые выиграл по процессу с Ихменева.

— Знаю, он мне говорил.

— Как благородно он это делает. Вот Катя не верит, что он делает благородно. Поговорите с ней об этом. Прощай, Катя, и, пожалуйста, не сомневайся, что я люблю Наташу. И зачем вы все навязываете мне эти условия, упрекаете меня, следите за мной, — точно я у вас под надзором! Она знает, как я ее люблю, и уверена во мне, и я уверен, что она во мне уверена. Я люблю ее безо всего, безо всяких обязательств. Я не знаю, как я ее люблю. Просто люблю. И потому нечего меня допрашивать, как виноватого. Вот

спроси Ивана Петровича, теперь уж он здесь и подтвердит тебе, что Наташа ревнива и хоть очень любит меня, но в любви ее много эгоизма, потому что она ничем не хочет для меня пожертвовать.

— Как это? — спросил я в удивлении, не веря ушам своим.

— Что ты это, Алеша? — чуть не вскрикнула Катя, всплеснув своими руками.

— Ну да; что ж тут удивительного? Иван Петрович знает. Она всё требует, чтоб я с ней был. Она хоть и не требует этого, но видно, что ей этого хочется.

— И не стыдно, не стыдно это тебе! — сказала Катя, вся загоревшись от гнева.

— Да что же стыдно-то? Какая ты, право, Катя! Я ведь люблю ее больше, чем она думает, а если б она любила меня настоящим образом, так, как я ее люблю, то, наверно, пожертвовала бы мне своим удовольствием. Она, правда, и сама отпускает меня, да ведь я вижу по лицу, что это ей тяжело, стало быть, для меня всё равно что и не отпускает.

— Нет, это неспроста! — вскричала Катя, снова обращаясь ко мне с сверкающим гневным взглядом. — Признавайся, Алеша, признавайся сейчас, это всё наговорил тебе отец? Сегодня наговорил? И, пожалуйста, не хитри со мной: я тотчас узнаю! Так или нет?

— Да, говорил, — отвечал смущенный Алеша, — что ж тут такого? Он говорил со мной сегодня так ласково, так по-дружески, а ее всё мне хвалил, так что я даже удивился: она его так оскорбила, а он ее же так хвалит.

— А вы, вы и поверили, — сказал я, — вы, которому она отдала всё, что могла отдать, и даже теперь, сегодня же всё ее беспокойство было об вас, чтоб вам не было как-нибудь скучно, чтоб как-нибудь не лишить вас возможности видеться с Катериной Федоровной! Она сама мне это говорила сегодня. И вдруг вы поверили фальшивым наговорам! Не стыдно ли вам?

— Неблагодарный! Да что, ему никогда ничего не стыдно! — проговорила Катя, махнув на него рукой, как будто на совершенно потерянного человека.

— Да что вы в самом деле! — продолжал Алеша жалобным голосом. — И всегда-то ты такая, Катя! Всегда ты во мне одно худое подозреваешь... Уж не говорю про Ивана Петровича! Вы думаете, я не люблю Наташу. Я не к тому сказал, что она эгоистка. Я хотел только сказать, что она меня уж слишком любит, так что уж из меры выходит, а от этого и мне и ей тяжело. А отец меня никогда не проведет, хоть бы и хотел. Не дамся. Он вовсе не говорил, что она эгоистка, в дурном смысле слова; я ведь понял. Он именно сказал точь-в-точь так же, как я теперь передал: что она до того уж слишком меня любит, до того сильно, что уж это выходит просто эгоизм, так что и мне и ей тяжело, а впоследствии и еще тяжелее мне будет. Что ж, ведь это он правду сказал, меня любя, и это вовсе не значит, что он обижал Наташу; напротив, он

видел в ней самую сильную любовь, любовь без меры, до невозможности...

Но Катя прервала его и не дала ему кончить. Она с жаром начала укорять его, доказывать, что отец для того и начал хвалить Наташу, чтоб обмануть его видимою добротою, и всё это с намерением расторгнуть их связь, чтоб невидимо и неприметно вооружить против нее самого Алешу. Она горячо и умно вывела, как Наташа любила его, как никакая любовь не простит того, что он с ней делает, — и что настоящий-то эгоист и есть он сам, Алеша. Мало-помалу Катя довела его до ужасной печали и до полного раскаяния; он сидел подле нас, смотря в землю, уже ничего не отвечая, совершенно уничтоженный и с страдальческим выражением в лице. Но Катя была неумолима. Я с крайним любопытством всматривался в нее. Мне хотелось поскорее узнать эту странную девушку. Она была совершенный ребенок, но какой-то странный, *убежденный* ребенок, с твердыми правилами и с страстной, врожденной любовью к добру и к справедливости. Если ее действительно можно было назвать еще ребенком, то она принадлежала к разряду *задумывающихся* детей, довольно многочисленному в наших семействах. Видно было, что она уже много рассуждала. Любопытно было бы заглянуть в эту рассуждающую головку и подсмотреть, как смешивались там совершенно детские идеи и представления с серьезно выжитыми впечатлениями и наблюдениями жизни (потому что Катя уже жила), а вместе с тем и с идеями, еще ей не знакомыми, не выжитыми ею, но поразившими ее отвлеченно, книжно, которых уже должно было быть очень много и которые она, вероятно, принимала за выжитые ею самою. Во весь этот вечер и впоследствии, мне кажется, я довольно хорошо изучил ее. Сердце в ней было пылкое и восприимчивое. Она в иных случаях как будто пренебрегала уменьем владеть собою, ставя прежде всего истину, а всякую жизненную выдержку считала за условный предрассудок и, кажется, тщеславилась таким убеждением, что случается со многими пылкими людьми, даже и не в очень молодых годах. Но это-то и придавало ей какую-то особенную прелесть. Она очень любила мыслить и добиваться истины, но была до того не педант, до того с ребяческими, детскими выходками, что вы с первого взгляда начинали любить в ней все ее оригинальности и мириться с ними. Я вспомнил Левеньку и Бореньку, и мне показалось, что всё это совершенно в порядке вещей. И странно: лицо ее, в котором я не заметил ничего особенно прекрасного с первого взгляда, в этот же вечер поминутно становилось для меня всё прекраснее и привлекательнее. Это наивное раздвоение ребенка и размышляющей женщины, эта детская и в высшей степени правдивая жажда истины и справедливости и непоколебимая вера в свои стремления — всё это освещало ее лицо каким-то прекрасным светом искренности, придавало ему какую-то высшую, духовную красоту, и вы начинали понимать, что не так скоро можно исчерпать всё значение этой красоты, которая не поддается вся сразу

каждому обыкновенному, безучастному взгляду. И я понял, что Алеша должен был страстно привязаться к ней. Если он не мог сам мыслить и рассуждать, то любил именно тех, которые за него мыслили и даже желали, — а Катя уже взяла его под опеку. Сердце его было благородно и неотразимо, разом покорялось всему, что было честно и прекрасно, а Катя уже много и со всею искренностью детства и симпатии перед ним высказалась. У него не было ни капли собственной воли; у ней было очень много настойчивой, сильно и пламенно настроенной воли, а Алеша мог привязаться только к тому, кто мог им властвовать и даже повелевать. Этим отчасти привязала его к себе Наташа, в начале их связи, но в Кате было большое преимущество перед Наташей — то, что она сама была еще дитя и, кажется, еще долго должна была оставаться ребенком. Эта детскость ее, ее яркий ум и в то же время некоторый недостаток рассудка — всё это было как-то более сродни для Алеши. Он чувствовал это, и потому Катя влекла его к себе всё сильней и сильней. Я уверен, что когда они говорили между собой наедине, то рядом с серьезными «пропагандными» разговорами Кати дело, может быть, доходило у них и до игрушек. И хоть Катя, вероятно, очень часто журила Алешу и уже держала его в руках, но ему, очевидно, было с ней легче, чем с Наташей. Они были более *пара* друг другу, а это было главное.

— Полно, Катя, полно, довольно; ты всегда права выходишь, а я нет. Это потому, что в тебе душа чище моей, — сказал Алеша, вставая и подавая ей на прощанье руку. — Сейчас же и к ней, и к Левеньке не заеду...

— И нечего тебе у Левеньки делать; а что теперь слушаешься и едешь, то в этом ты очень мил.

— А ты в тысячу раз всех милее, — отвечал грустный Алеша.— Иван Петрович, мне нужно вам два слова сказать.

Мы отошли на два шага.

— Я сегодня бесстыдно поступил, — прошептал он мне, — я низко поступил, я виноват перед всеми на свете, а перед ними обеими больше всего. Сегодня отец после обеда познакомил меня с Александриной (одна француженка) — очаровательная женщина. Я... увлекся и... ну, уж что тут говорить, я недостоин быть вместе с ними... Прощайте, Иван Петрович!

— Он добрый, он благородный, — поспешно начала Катя, когда я уселся опять подле нее, — но мы об нем потом будем много говорить; а теперь нам прежде всего нужно условиться: вы как считаете князя?

— Очень нехорошим человеком.

— И я тоже. Следственно, мы в этом согласны, а потому нам легче будет судить. Теперь о Наталье Николаевне... Знаете, Иван Петрович, я теперь как впотьмах, я вас ждала, как света. Вы мне всё это разъясните, потому что в самом-то главном пункте я сужу по догадкам, из того, что мне рассказывал Алеша. А больше не

от кого было узнать. Скажите же, во-первых (это главное), как по вашему мнению: будут Алеша и Наташа вместе счастливы или нет? Это мне прежде всего нужно знать для окончательного моего решения, чтоб уж самой знать, как поступать.

— Как же можно об этом сказать наверно?..

— Да, разумеется, не наверно, — перебила она, — а как вам кажется? — потому что вы очень умный человек.

— По-моему, они не могут быть счастливы.

— Почему же?

— Они не пара.

— Я так и думала! — И она сложила ручки, как бы в глубокой тоске.

— Расскажите подробнее. Слушайте: я ужасно желаю видеть Наташу, потому что мне много надо с ней переговорить, и мне кажется, что мы с ней всё решим. А теперь я всё ее представляю себе в уме: она должна быть ужасно умна, серьезная, правдивая и прекрасная собой. Ведь так?

— Так.

— Так и я была уверена. Ну, так если она такая, как же она могла полюбить Алешу, такого мальчика? Объясните мне это; я часто об этом думаю.

— Этого нельзя объяснить, Катерина Федоровна; трудно представить, за что и как можно полюбить. Да, он ребенок. Но знаете ли, как можно полюбить ребенка? (Сердце мое размягчилось, глядя на нее и на ее глазки, пристально, с глубоким, серьезным и нетерпеливым вниманием устремленные на меня.) И чем больше Наташа сама не похожа на ребенка, — продолжал я, — чем серьезнее она, тем скорее она могла полюбить его. Он правдив, искренен, наивен ужасно, а иногда грациозно наивен. Она, может быть, полюбила его — как бы это сказать?.. Как будто из какой-то жалости. Великодушное сердце может полюбить из жалости... Впрочем, я чувствую, что я вам ничего не могу объяснить, но зато спрошу вас самих: ведь вы его любите?

Я смело задал ей этот вопрос и чувствовал, что поспешностью такого вопроса я не могу смутить беспредельной, младенческой чистоты этой ясной души.

— Ей-богу, еще не знаю, — тихо отвечала она мне, светло смотря мне в глаза, — но, кажется, очень люблю...

— Ну, вот видите. А можете ли изъяснить, за что его любите?

— В нем лжи нет, — отвечала она, подумав, — и когда он посмотрит прямо в глаза и что-нибудь говорит мне при этом, то мне это очень нравится... Послушайте, Иван Петрович, вот я с вами говорю об этом, я девушка, а вы мужчина; хорошо ли я это делаю или нет?

— Да что же тут такого?

— То-то. Разумеется, что же тут такого? А вот они (она указала глазами на группу, сидевшую за самоваром), они, наверно, сказали бы, что это нехорошо. Правы они или нет?

— Нет! Ведь вы не чувствуете в сердце, что поступаете дурно, стало быть...

— Так я и всегда делаю, — перебила она, очевидно спеша как можно больше наговориться со мною, — как только я в чем смущаюсь, сейчас спрошу свое сердце, и коль оно спокойно, то и я спокойна. Так и всегда надо поступать. И я потому с вами говорю так совершенно откровенно, как будто сама с собою, что, во-первых, вы прекрасный человек, и я знаю вашу прежнюю историю с Наташей до Алеши, и я плакала, когда слушала.

— А вам кто рассказывал?

— Разумеется, Алеша, и сам со слезами рассказывал: это было очень хорошо с его стороны, и мне очень понравилось. Мне кажется, он вас больше любит, чем вы его, Иван Петрович. Вот эдакими-то вещами он мне и нравится. Ну, а во-вторых, я потому с вами так прямо говорю, как сама с собою, что вы очень умный человек и много можете мне дать советов и научить меня.

— Почему же вы знаете, что я до того умен, что могу вас учить?

— Ну вот; что это вы! — Она задумалась.

— Я ведь только так об этом заговорила; будемте говорить о самом главном. Научите меня, Иван Петрович: вот я чувствую теперь, что я Наташина соперница, я ведь это знаю, как же мне поступать? Я потому и спросила вас: будут ли они счастливы. Я об этом день и ночь думаю. Положение Наташи ужасно, ужасно! Ведь он совсем ее перестал любить, а меня всё больше и больше любит. Ведь так?

— Кажется, так.

— И ведь он ее не обманывает. Он сам не знает, что перестает любить, а она наверно это знает. Каково же она мучается!

— Что же вы хотите делать, Катерина Федоровна?

— Много у меня проектов, — отвечала она серьезно, — а между тем я всё путаюсь. Потому-то и ждала вас с таким нетерпением, чтоб вы мне всё это разрешили. Вы всё это гораздо лучше меня знаете. Ведь вы для меня теперь как будто какой-то бог. Слушайте, я сначала так рассуждала: если они любят друг друга, то надобно, чтоб они были счастливы, и потому я должна собой пожертвовать и им помогать. Ведь так!

— Я знаю, что вы и пожертвовали собой.

— Да, пожертвовала, а потом как он начал приезжать ко мне и всё больше и больше меня любить, так я стала задумываться про себя и всё думаю: пожертвовать или нет? Ведь это очень худо, не правда ли?

— Это естественно, — отвечал я, — так должно быть... и вы не виноваты.

— Не думаю; это вы потому говорите, что очень добры. А я так думаю, что у меня сердце не совсем чистое. Если б было чистое сердце, я бы знала, как решить. Но оставим это! Потом я узнала побольше об их отношениях от князя, от maman, от самого Алеши и догадалась, что они не ровня; вы вот теперь подтвердили. Я и

задумалась еще больше: как же теперь? Ведь если они будут несчастливы, так ведь им лучше разойтись; а потом и положила: расспросить вас подробнее обо всем и поехать самой к Наташе, а уж с ней и решить всё дело.

— Но как же решить-то, вот вопрос?

— Я так и скажу ей: «Ведь вы его любите больше всего, а потому и счастье его должны любить больше своего; следственно, должны с ним расстаться».

— Да, но каково же ей будет это слышать? А если она согласится с вами, то в силах ли она будет это сделать?

— Вот об этом-то я и думаю день и ночь и... и...

И она вдруг заплакала.

— Вы не поверите, как мне жалко Наташу, — прошептала она дрожавшими от слез губками.

Нечего было тут прибавлять. Я молчал, и мне самому хотелось заплакать, смотря на нее, так, от любви какой-то. Что за милый был это ребенок! Я уж не спрашивал ее, почему она считает себя способною сделать счастье Алеши.

— Вы ведь любите музыку? — спросила она, несколько успокоившись, еще задумчивая от недавних слез.

— Люблю, — отвечал я с некоторым удивлением.

— Если б было время, я бы вам сыграла Третий концерт Бетховена. Я его теперь играю. Там все эти чувства... точно так же, как я теперь чувствую. Так мне кажется. Но это в другой раз; а теперь надо говорить.

Начались у нас переговоры о том, как ей видеться с Наташей и как это всё устроить. Она объявила мне, что за ней присматривают, хотя мачеха ее добрая и любит ее, но ни за что не позволит ей познакомиться с Натальей Николаевной; а потому она и решилась на хитрость. Поутру она иногда ездит гулять, почти всегда с графиней. Иногда же графиня не ездит с нею, а отпускает ее одну с француженкой, которая теперь больна. Бывает же это, когда у графини болит голова; а потому и ждать надо, когда у ней заболит голова. А до этого она уговорит свою француженку (что-то вроде компаньонки, старушка), потому что француженка очень добра. В результате выходило, что никак нельзя было определить заранее дня, назначенного для визита к Наташе.

— С Наташей вы познакомитесь и не будете раскаиваться, — сказал я. — Она вас сама очень хочет узнать, и это нужно хоть для того только, чтоб ей знать, кому она передает Алешу. О деле же этом не тоскуйте очень. Время и без ваших забот решит. Ведь вы едете в деревню?

— Да, скоро, может быть через месяц, — отвечала она, — и я знаю, что на этом настаивает князь.

— Как вы думаете, поедет с вами Алеша?

— Вот и я об этом думала! — проговорила она, пристально смотря на меня. — Ведь он поедет.

— Поедет.

— Боже мой, что из этого всего выйдет — не знаю. Послушайте, Иван Петрович. Я вам обо всем буду писать, буду часто писать и много. Уж я теперь пошла вас мучить. Вы часто будете к нам приходить?

— Не знаю, Катерина Федоровна: это зависит от обстоятельств. Может быть, и совсем не буду ходить.

— Почему же?

— Это будет зависеть от разных причин, а главное, от отношений моих с князем.

— Это нечестный человек, — сказала решительно Катя. — А знаете, Иван Петрович, что если б я к вам приехала! Это хорошо бы было или не хорошо?

— Как вы сами думаете?

— Я думаю, что хорошо. Так, навестила бы вас... — прибавила она, улыбнувшись. — Я ведь к тому говорю, что я, кроме того, что вас уважаю, — я вас очень люблю... И у вас научиться многому можно. А я вас люблю... И ведь это не стыдно, что я вам про всё это говорю?

— Чего же стыдно? Вы сами мне уже дороги, как родная.

— Ведь вы хотите быть моим другом?

— О да, да! — отвечал я.

— Ну, а они непременно бы сказали, что стыдно и не следует так поступать молодой девушке, — заметила она, снова указав мне на собеседников у чайного стола. Замечу здесь, что князь, кажется, нарочно оставил нас одних вдоволь наговориться.

— Я ведь знаю очень хорошо, — прибавила она, — князю хочется моих денег. Про меня они думают, что я совершенный ребенок, и даже мне прямо это говорят. Я же не думаю этого. Я уж не ребенок. Странные они люди: сами ведь они точно дети; ну, из чего хлопочут?

— Катерина Федоровна, я забыл спросить: кто эти Левенька и Боренька, к которым так часто ездит Алеша?

— Это мне дальняя родня. Они очень умные и очень честные, но уж много говорят... Я их знаю...

И она улыбнулась.

— Правда ли, что вы хотите им подарить со временем миллион?

— Ну, вот видите, ну хоть бы этот миллион, уж они так болтают о нем, что уж и несносно становится. Я, конечно, с радостию пожертвую на всё полезное, к чему ведь такие огромные деньги, не правда ли? Но ведь когда еще я его пожертвую; а они уж там теперь делят, рассуждают, кричат, спорят: куда лучше употребить его, даже ссорятся из-за этого, — так что уж это и странно. Слишком торопятся. Но все-таки они такие искренние и... умные. Учатся. Это всё же лучше, чем как другие живут. Ведь так?

И много еще мы говорили с ней. Она мне рассказала чуть не всю свою жизнь и с жадностью слушала мои рассказы. Всё требовала, чтоб я всего более рассказывал ей про Наташу и про Алешу. Было уже двенадцать часов, когда князь подошел ко мне и дал знать,

что пора откланиваться. Я простился. Катя горячо пожала мне руку и выразительно на меня взглянула. Графиня просила меня бывать; мы вышли вместе с князем.

Не могу удержаться от странного и, может быть, совершенно не идущего к делу замечания. Из трехчасового моего разговора с Катей я вынес, между прочим, какое-то странное, но вместе с тем глубокое убеждение, что она до того еще вполне ребенок, что совершенно не знает всей тайны отношений мужчины и женщины. Это придавало необыкновенную комичность некоторым ее рассуждениям и вообще серьезному тону, с которым она говорила о многих очень важных вещах...

Глава X

— А знаете ли что, — сказал мне князь, садясь вместе со мною в коляску, — что если б нам теперь поужинать, а? Как вы думаете?

— Право, не знаю, князь, — отвечал я, колеблясь, — я никогда не ужинаю...

— Ну, разумеется, и *поговорим* за ужином, — прибавил он, пристально и хитро смотря мне прямо в глаза.

Как было не понять! «Он хочет высказаться, — подумал я, — а мне ведь того и надо». Я согласился.

— Дело в шляпе. В Большую Морскую, к Б.

— В ресторан? — спросил я с некоторым замешательством.

— Да. А что ж? Я ведь редко ужинаю дома. Неужели ж вы мне не позволите пригласить вас?

— Но я вам сказал уже, что я никогда не ужинаю.

— Что за дело один раз. К тому же ведь это я вас приглашаю...

То есть заплачу за тебя; я уверен, что он прибавил это нарочно. Я позволил везти себя, но в ресторане решился платить за себя сам. Мы приехали. Князь взял особую комнату и со вкусом и знанием дела выбрал два-три блюда. Блюда были дорогие, равно как и бутылка тонкого столового вина, которую он велел принести. Всё это было не по моему карману. Я посмотрел на карту и велел принести себе полрябчика и рюмку лафиту. Князь взбунтовался.

— Вы не хотите со мной ужинать! Ведь это даже смешно. Pardon, mon ami, [1] но ведь это... возмутительная щепетильность. Это уж самое мелкое самолюбие. Тут замешались чуть ли не сословные интересы, и бьюсь об заклад, что это так. Уверяю вас, что вы меня обижаете.

Но я настоял на своем.

— Впрочем, как хотите, — прибавил он. — Я вас не принуждаю... скажите, Иван Петрович, можно мне с вами говорить вполне дружелюбно?

— Я вас прошу об этом.

---

[1] Извините, мой друг (*франц.*).

— Ну так, по-моему, такая щепетильность вам же вредит. Так же точно вредят себе и все ваши этим же самым. Вы литератор, вам нужно знать свет, а вы всего чуждаетесь. Я не про рябчиков теперь говорю, но ведь вы готовы отказываться совершенно от всякого сообщения с нашим кругом, а это положительно вредно. Кроме того, что вы много теряете, — ну, одним словом, карьеру, — кроме того, хоть одно то, что надобно самому узнать, что вы описываете, а у вас там, в повестях, и графы, и князья, и будуары... впрочем, что ж я? У вас там теперь всё нищета, потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничий быт, знаю, знаю.

— Но вы ошибаетесь, князь; если я не хожу в так называемый вами «высший круг», то это потому, что там, во-первых, скучно, а во-вторых, нечего делать! Но и, наконец, я все-таки бываю...

— Знаю, у князя Р., раз в год; я там вас и встретил. А остальное время года вы коснеете в демократической гордости и чахнете на ваших чердаках, хотя и не все так поступают из ваших. Есть такие искатели приключений, что даже меня тошнит...

— Я просил бы вас, князь, переменить этот разговор и не возвращаться к нам на чердаки.

— Ах, боже мой, вот вы и обиделись. Впрочем, сами же вы позволили мне говорить с вами дружелюбно. Но, виноват, я ничем еще не заслужил вашей дружбы. Вино порядочное. Попробуйте.

Он налил мне полстакана из своей бутылки.

— Вот видите, мой милый Иван Петрович, я ведь очень хорошо понимаю, что навязываться на дружбу неприлично. Ведь не все же мы грубы и наглы с вами, как вы о нас воображаете; ну, я тоже очень хорошо понимаю, что вы сидите здесь со мной не из расположения ко мне, а оттого, что я обещался с вами *поговорить*. Не правда ли?

Он засмеялся.

— А так как вы наблюдаете интересы известной особы, то вам и хочется послушать, что я буду говорить. Так ли? — прибавил он с злою улыбкою.

— Вы не ошиблись, — прервал я с нетерпением (я видел, что он был из тех, которые, видя человека хоть капельку в своей власти, сейчас же дают ему это почувствовать. Я же был в его власти; я не мог уйти, не выслушав всего, что он намерен был сказать, и он знал это очень хорошо. Его тон вдруг изменился и всё больше и больше переходил в нагло фамильярный и насмешливый). — Вы не ошиблись, князь; я именно за этим и приехал, иначе, право, не стал бы сидеть... так поздно.

Мне хотелось сказать: иначе ни за что бы не остался с вами, но я не сказал и перевернул по-другому, не из боязни, а из проклятой моей слабости и деликатности. Ну как в самом деле сказать человеку грубость прямо в глаза, хотя он и стоил того и хотя я именно и хотел сказать ему грубость? Мне кажется, князь это приметил по моим глазам и с насмешкою смотрел на меня во всё

продолжение моей фразы, как бы наслаждаясь моим малодушием и точно подзадоривая меня своим взглядом: «А что, не посмел, сбрендил, то-то, брат!» Это наверно так было, потому что он, когда я кончил, расхохотался и с какой-то протежирующей лаской потрепал меня по колену.

«Смешишь же ты, братец», — прочитал я в его взгляде. «Постой же!» — подумал я про себя.

— Мне сегодня очень весело! — вскричал он, — и, право, не знаю почему. Да, да, мой друг, да! Я именно об этой особе и хотел говорить. Надо же окончательно высказаться, *договориться* до чего-нибудь, и надеюсь, что в этот раз вы меня совершенно поймете. Давеча я с вами заговорил об этих деньгах и об этом колпаке-отце, шестидесятилетнем младенце... Ну! Не стоит теперь и поминать. Я ведь это *так* говорил! Ха-ха-ха, ведь вы литератор, должны же были догадаться...

Я с изумлением смотрел на него. Кажется, он был еще не пьян.

— Ну, а что касается до этой девушки, то, право, я ее уважаю, даже люблю, уверяю вас; капризна она немножко, но ведь «нет розы без шипов», как говорили пятьдесят лет назад, и хорошо говорили: шипы колются, но ведь это-то и заманчиво, и хоть мой Алексей дурак, но я ему отчасти уже простил — за хороший вкус. Короче, мне эти девицы нравятся, и у меня — он многознаменательно сжал губы — даже виды особенные... Ну, да это после...

— Князь! Послушайте, князь! — вскричал я, — я не понимаю в вас этой быстрой перемены, но... перемените разговор, прошу вас!

— Вы опять горячитесь! Ну, хорошо... переменю, переменю! Только вот что хочу спросить у вас, мой добрый друг: очень вы ее уважаете?

— Разумеется, — отвечал я с грубым нетерпением.

— Ну, ну и любите? — продолжал он, отвратительно скаля зубы и прищурив глаза.

— Вы забываетесь! — вскричал я.

— Ну, не буду, не буду! Успокойтесь! В удивительнейшем расположении духа я сегодня. Мне так весело, как давно не бывало. Не выпить ли нам шампанского! Как думаете, мой поэт?

— Я не буду пить, не хочу!

— И не говорите! Вы непременно должны мне составить сегодня компанию. Я чувствую себя прекрасно, и так как я добр до сентиментальности, то и не могу быть счастливым один. Кто знает, мы, может быть, еще дойдем до того, что выпьем на ты, ха-ха-ха! Нет, молодой мой друг, вы меня еще не знаете! Я уверен, что вы меня полюбите. Я хочу, чтоб вы разделили сегодня со мною и горе и радость, и веселье и слезы, хотя, надеюсь, что я-то, по крайней мере, не заплачу. Ну как же, Иван Петрович? Ведь вы сообразите только, что если не будет того, что мне хочется, то всё мое вдохновение пройдет, пропадет, улетучится, и вы ничего не услышите; ну, а ведь вы здесь единственно для того, чтоб что-нибудь услышать.

Не правда ли? — прибавил он, опять нагло мне подмигивая, — ну так и выбирайте.

Угроза была важная. Я согласился. «Уж не хочет ли он меня напоить пьяным?» — подумал я. Кстати, здесь место упомянуть об одном слухе про князя, слухе, который уже давно дошел до меня. Говорили про него, что он — всегда такой приличный и изящный в обществе — любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться как стелька и потаенно развратничать, гадко и таинственно развратничать... Я слыхал о нем ужасные слухи... Говорят, Алеша знал о том, что отец иногда пьет, и старался скрывать это перед всеми и особенно перед Наташей. Однажды было он мне проговорился, но тотчас же замял разговор и не отвечал на мои расспросы. Впрочем, я не от него и слышал и, признаюсь, прежде не верил; теперь же ждал, что будет.

Подали вино; князь налил два бокала, себе и мне.

— Милая, милая девочка, хоть и побранила меня! — продолжал он, с наслаждением смакуя вино, — но эти милые существа именно тут-то и милы, в такие именно моменты... А ведь она, наверно, думала, что меня пристыдила, помните в тот вечер, разбила в прах! Ха-ха-ха! И как к ней идет румянец! Знаток вы в женщинах? Иногда внезапный румянец ужасно идет к бледным щекам, заметили вы это? Ах, боже мой! Да вы, кажется, опять сердитесь?

— Да, сержусь! — вскричал я, уже не сдерживая себя, — и не хочу, чтоб вы говорили теперь о Наталье Николаевне... то есть говорили в таком тоне. Я... я не позволю вам этого!

— Ого! Ну, извольте, сделаю вам удовольствие, переменю тему. Я ведь уступчив и мягок, как тесто. Будем говорить об вас. Я вас люблю, Иван Петрович, если б вы знали, какое дружеское, какое искреннее я беру в вас участие...

— Князь, не лучше ли говорить о деле, — прервал я его.

— То есть о *нашем деле,* хотите вы сказать. Я вас понимаю с полуслова, mon ami, но вы и не подозреваете, как близко мы коснемся к делу, если заговорим теперь об вас и если, разумеется, вы меня не прервете. Итак, продолжаю: я хотел вам сказать, мой бесценный Иван Петрович, что жить так, как вы живете, значит просто губить себя Уж вы позвольте мне коснуться этой деликатной материи; я из дружбы. Вы бедны, вы берете у вашего антрепренера вперед, платите свои должишки, на остальное питаетесь полгода одним чаем и дрожите на своем чердаке в ожидании, когда напишется ваш роман в журнал вашего антрепренера; ведь так?

— Хоть и так, но всё же это...

— Почетнее, чем воровать, низкопоклонничать, брать взятки, интриговать, ну и прочее и прочее. Знаю, знаю, что вы хотите сказать; всё это давно напечатано.

— А следственно, вам нечего и говорить о моих делах. Неужели я вас должен, князь, учить деликатности.

— Ну, уж конечно, не вы. Только что же делать, если мы именно касаемся этой деликатной струны. Ведь не обходить же ее.

Ну, да впрочем, оставим чердаки в покое. Я и сам до них не охотник, разве в известных случаях (и он отвратительно захохотал). А вот что меня удивляет: что за охота вам играть роль второго лица? Конечно, один ваш писатель даже, помнится, сказал где-то: что, может быть, самый великий подвиг человека в том, если он сумеет ограничиться в жизни ролью второго лица... Кажется, что-то эдакое! Об этом я еще где-то разговор слышал, но ведь Алеша отбил у вас невесту, я ведь это знаю, а вы, как какой-нибудь Шиллер, за них же распинаетесь, им же прислуживаете и чуть ли у них не на побегушках... Вы уж извините меня, мой милый, но ведь это какая-то гаденькая игра в великодушные чувства... Как это вам не надоест, в самом деле! Даже стыдно. Я бы, кажется, на вашем месте умер с досады; а главное: стыдно, стыдно!

— Князь! Вы, кажется, нарочно привезли меня сюда, чтоб оскорбить! — вскричал я вне себя от злости.

— О нет, мой друг, нет, я в эту минуту просто-запросто деловой человек и хочу вашего счастья. Одним словом, я хочу уладить всё дело. Но оставим на время *всё дело,* а вы меня дослушайте до конца, постарайтесь не горячиться, хоть две какие-нибудь минутки. Ну, как вы думаете, что если б вам жениться? Видите, я ведь теперь совершенно говорю о *постороннем;* что ж вы на меня с таким удивлением смотрите?

— Жду, когда вы всё кончите, — отвечал я, действительно смотря на него с удивлением.

— Да высказывать-то нечего. Мне именно хотелось знать, что бы вы сказали, если б вам кто-нибудь из друзей ваших, желающий вам основательного, истинного счастья, не эфемерного какого-нибудь, предложил девушку, молоденькую, хорошенькую, но... уже кое-что испытавшую; я говорю аллегорически, но вы меня понимаете, ну, вроде Натальи Николаевны, разумеется с приличным вознаграждением... (Заметьте, я говорю о постороннем, а не *о нашем* деле); ну, что бы вы сказали?

— Я скажу вам, что вы... сошли с ума.

— Ха-ха-ха! Ба! Да вы чуть ли не бить меня собираетесь? Я действительно готов был на него броситься. Дальше я не мог выдержать. Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мною; он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. Мне казалось (и я понимал это), что он находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости и в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску. Он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом. Он меня искренно презирал и смеялся надо мною.

Я предчувствовал еще с самого начала, что всё это преднамеренно и к чему-нибудь клонится; но я был в таком положении, что во что бы то ни стало должен был его дослушать. Это было в интере-

сах Наташи, и я должен был решиться на всё и всё перенести, потому что в эту минуту, может быть, решалось всё дело. Но как можно было слушать эти циничские, подлые выходки на ее счет, как можно было это переносить хладнокровно? А он, вдобавок к тому, сам очень хорошо понимал, что я не могу его не выслушать, и это еще усугубляло обиду. «Впрочем, он ведь сам нуждается во мне», — подумал я и стал отвечать ему резко и бранчиво. Он понял это.

— Вот что, молодой мой друг, — начал он, серьезно смотря на меня, — нам с вами эдак продолжать нельзя, а потому лучше уговоримся. Я, видите ли, намерен был вам кое-что высказать, ну, а вы уж должны быть так любезны, чтобы согласиться выслушать, что бы я ни сказал. Я желаю говорить, как хочу и как мне нравится, да по-настоящему так и надо. Ну, так как же, молодой мой друг, будете вы терпеливы?

Я скрепился и смолчал, несмотря на то что он смотрел на меня с такою едкою насмешкою, как будто сам вызывал меня на самый резкий протест. Но он понял, что я уже согласился не уходить, и продолжал:

— Не сердитесь на меня, друг мой. Вы ведь на что рассердились? На одну наружность, не правда ли? Ведь вы от меня, в самой сущности дела, ничего другого и не ожидали, как бы я ни говорил с вами: с раздушенною ли вежливостью, или как теперь; следовательно, смысл все-таки был бы тот же, как и теперь. Вы меня презираете, не правда ли? Видите ли, сколько во мне этой милой простоты, откровенности, этой bonhomie. [1] Я вам во всем признаюсь, даже в моих детских капризах. Да, mon cher, [2] да, побольше bonhomie и с вашей стороны, и мы сладимся, сговоримся совершенно и наконец поймем друг друга окончательно. А на меня не дивитесь: мне до того, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алешины пасторали, вся эта шиллеровщина, все эти возвышенности в этой проклятой связи с этой Наташей (впрочем, очень миленькой девочкой), что я, так сказать, поневоле рад случаю над всем этим погримасничать. Ну, случай и вышел. К тому же я и хотел перед вами излить мою душу. Ха-ха-ха!

— Вы меня удивляете, князь, и я вас не узнаю. Вы впадаете в тон полишинеля; эти неожиданные откровенности...

— Ха-ха-ха, а ведь это верно отчасти! Премиленькое сравнение! ха-ха-ха! Я *кучу,* мой друг, я *кучу,* я рад и доволен, ну, а вы, мой поэт, должны уж оказать мне всевозможное снисхождение. Но давайте-ка лучше пить, — решил он, совершенно довольный собою и подливая в бокал. — Вот что, друг мой, уж один тот глупый вечер, помните, у Наташи, доконал меня окончательно. Правда, сама она была очень мила, но я вышел оттуда с ужасной злобой и не хочу этого забыть. Ни забыть, ни скрывать. Конечно, будет и наше время и даже быстро приближается, но теперь мы это оста-

---

[1] добродушия (*франц.*).
[2] мой дорогой (*франц.*).

вим. А между прочим, я хотел объяснить вам, что у меня именно есть черта в характере, которую вы еще не знали, — это ненависть ко всем этим пошлым, ничего не стоящим наивностям и пасторалям, и одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было прикинуться сначала самому на этот лад, войти в этот тон, обласкать, ободрить какого-нибудь вечно юного Шиллера и потом вдруг, сразу огорошить его; вдруг поднять перед ним маску и из восторженного лица сделать ему гримасу, показать ему язык именно в ту минуту, когда он менее всего ожидает этого сюрприза. Что? Вы этого не понимаете, вам это кажется гадким, нелепым, неблагородным, может быть, так ли?

— Разумеется, так.

— Вы откровенны. Ну, да что же делать, если самого меня мучат! Глупо и я откровенен, но уж таков мой характер. Впрочем, мне хочется рассказать кой-какие черты из моей жизни. Вы меня поймете лучше, и это будет очень любопытно. Да, я действительно, может быть, сегодня похож на полишинеля; а ведь полишинель откровенен, не правда ли?

— Послушайте, князь, теперь поздно. и, право...

— Что? Боже, какая нетерпимость! Да и куда спешить? Ну, посидим, поговорим по-дружески, искренно, знаете, эдак за бокалом вина, как добрые приятели. Вы думаете, я пьян: ничего, это лучше. Ха-ха-ха! Право, эти дружеские сходки всегда так долго потом памятны, с таким наслаждением об них вспоминается. Вы недобрый человек, Иван Петрович. Сентиментальности в вас нет, чувствительности. Ну, что вам часик для такого друга, как я? К тому же ведь это тоже касается к делу... Ну, как этого не понять? А еще литератор; да вы бы должны были случай благословлять. Ведь вы можете с меня тип писать, ха-ха-ха! Боже, как я мило откровенен сегодня!

Он видимо хмелел. Лицо его изменилось и приняло какое-то злобное выражение. Ему, очевидно, хотелось язвить, колоть, кусать, насмехаться. «Это отчасти и лучше, что он пьян, —подумал я, — пьяный всегда разболтает». Но он был себе на уме.

— Друг мой, — начал он, видимо наслаждаясь собою, — я сделал вам сейчас одно признание, может быть даже и неуместное, о том, что у меня иногда является непреодолимое желание показать кому-нибудь в известном случае язык. За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с полишинелем, что меня искренно рассмешило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я с вами теперь груб и, пожалуй, еще неблагопристоен, как мужик, — одним словом, вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно несправедливы. Во-первых, мне так угодно, во-вторых, я не у себя, а *с вами*... то есть я хочу сказать, что мы теперь *кутим,* как добрые приятели, а в-третьих, я ужасно люблю капризы. Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы? Это, впрочем, было ужасно давно, в златые дни

моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал на чем свет стоит; и вы не поверите, что тогда случилось со мною? От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками... Да уж вы не гримасничаете ли? О молодой мой друг! Да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда ж и покутить, когда ж и распахнуться! Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, патриот, люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умрем и — что там! Ну, так вот-с я и волочился. Помню, еще у одной пастушки был муж, красивый молодой мужичок. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать (прошлые проказы, мой поэт!), да и не отдал в солдаты. Умер он у меня в больнице... У меня ведь в селе больница была, на двенадцать кроватей, — великолепно устроенная; чистота, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожил, а тогда гордился ею: филантропом был; ну, а мужичка чуть не засек за жену... Ну, что вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства? Ну, ну, успокойтесь! Всё это прошло. Это я сделал, когда романтизировал, хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать... в такую тогда колею попал. Тогда и сек. Теперь не высеку; теперь надо гримасничать; теперь мы все гримасничаем — такое время пришло... Но более всего меня смешит теперь дурак Ихменев. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком... и что ж? Он из доброты своей души, созданной, кажется, из патоки, и оттого, что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе, — решился ничему не верить и не поверил; то есть факту не поверил и двенадцать лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулось. Ха-ха-ха! Ну, да всё это вздор! Выпьем, мой юный друг. Послушайте: любите вы женщин?

Я ничего не отвечал. Я только слушал его. Он уж начал вторую бутылку.

— А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одной mademoiselle Phileberte — а? Как вы думаете? Да что с вами? Вы и смотреть на меня не хотите... гм!

Он было задумался. Но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал.

— Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, — то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия

и приличия. В них глубокая мысль — не скажу, нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, то есть изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после, я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так: вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что *откровеннее* других и больше ничего; что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде... Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. Впрочем, не беспокойтесь, — прибавил он с насмешливою улыбкой, — я сказал «виноват», но ведь я вовсе не прошу прощения. Заметьте себе еще: я не конфужу вас, не спрашиваю о том: нет ли у вас у самого каких-нибудь таких же тайн, чтоб вашими тайнами оправдать и себя... Я поступаю прилично и благородно. Вообще я всегда поступаю благородно...

— Вы просто заговариваетесь, — сказал я, с презрением смотря на него.

— Заговариваетесь, ха-ха-ха! А сказать, об чем вы теперь думаете? Вы думаете: зачем это я завез вас сюда и вдруг, ни с того ни с сего, так перед вами разоткровенничался? Так или нет?

— Так.

— Ну, это вы после узнаете.

— А проще всего, выпили чуть не две бутылки и... охмелели.

— То есть просто пьян. И это может быть. «Охмелели!» — то есть это понежнее, чем пьян. О преисполненный деликатностей человек! Но... мы, кажется, опять начали браниться, а заговорили было о таком интересном предмете. Да, мой поэт, если еще есть на свете что-нибудь хорошенькое и сладенькое, так это женщины.

— Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом ваших тайн и любовных... стремлений.

— Гм... да ведь я вам сказал, что узнаете после. Не беспокойтесь; а впрочем, хоть бы и так, безо всяких причин; вы поэт, вы меня поймете, да я уж и говорил вам об этом. Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что даже не удостоивает и постыдиться перед ним. Я вам расскажу анекдот: был в Париже один сумасшедший чиновник; его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну так когда он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия: он раздевался у себя дома, совершенно, как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него и с важной, величественной миной выходил на улицу. Ну, сбоку посмотреть — человек, как и все, прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия. Но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего, где-нибудь наедине, так чтоб кругом никого не было, он молча шел на него, с самым серьезным и глубокомысленным видом,

вдруг останавливался перед ним, развертывал свой плащ и показывал себя во всем... чистосердечии. Это продолжалось одну минуту, потом он завертывался опять и молча, не пошевелив ни одним мускулом лица, проходил мимо остолбеневшего от изумления зрителя важно, плавно, как тень в Гамлете. Так он поступал со всеми, с мужчинами, женщинами и детьми, и в этом состояло всё его удовольствие. Вот часть-то этого самого удовольствия и можно находить, внезапно огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидает этого. «Огорошив» — каково словечко? Я его вычитал где-то в вашей же современной литературе.

— Ну, так то был сумасшедший, а вы...

— Себе на уме?

— Да.

Князь захохотал.

— Вы справедливо судите, мой милый, — прибавил он с самым наглым выражением лица.

— Князь, — сказал я, разгорячившись от его нахальства, — вы нас ненавидите, в том числе и меня, и мстите мне теперь за всё и за всех. Всё это в вас из самого мелкого самолюбия. Вы злы и мелочно злы. Мы вас разозлили, и, может быть, больше всего вы сердитесь за тот вечер. Разумеется, вы ничем так сильно не могли отплатить мне, как этим окончательным презрением ко мне; вы избавляете себя даже от обыденной и всем обязательной вежливости, которою мы все друг другу обязаны. Вы ясно хотите показать мне, что даже не удостоиваете постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно и так неожиданно вашу гадкую маску и выставляясь в таком нравственном цинизме...

— Для чего ж вы это мне всё говорите? — спросил он, грубо и злобно смотря на меня. — Чтоб показать свою проницательность?

— Чтоб показать, что я вас понимаю, и заявить это перед вами.

— Quelle idée, mon cher, [1] — продолжал он, вдруг переменив свой тон на прежний веселый и болтливо-добродушный. — Вы только отбили меня от предмета. Buvons, mon ami, [2] позвольте мне налить. А я только что было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней; была она не первой молодости, а так лет двадцати семи-восьми; красавица первостепенная, что за бюст, что за осанка, что за походка! Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго; держала себя величаво и недоступно. Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосягаемою, своею грозною добродетелью. Именно грозною. Не было во всем ее круге такого нетерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость в других женщинах, и карала

---

[1] Что за мысль, мой дорогой (*франц.*).

[2] Выпьем, мой друг (*франц.*).

безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали ее, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно-жестоко, как абесса средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляда и суждения. Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию, — уж так она себя поставила в обществе; боялись ее даже мужчины. Наконец она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем тоже спокойный и величавый... И что ж? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить вполне ее доверенность. Одним словом — я был ее тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних не мог иметь ни малейшего подозрения; только одна ее прехорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во все ее тайны, но на эту камеристку можно было вполне положиться; она тоже брала участие в деле, — каким образом? Я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении — была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком, недоступном и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать, — и всё это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить, — вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная, и я понимал, вполне понимал этот хохот и сам хохотал... Я еще и теперь задыхаюсь при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменила меня. Если б я и хотел, я бы не мог повредить ей. Ну, кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что скажете, молодой мой друг?

— Фу, какая низость! — отвечал я, с отвращением выслушав это признание.

— Вы бы не были молодым моим другом, если б отвечали иначе! Я так и знал, что вы это скажете. Ха-ха-ха! Подождите, mon ami, поживете и поймете, а теперь вам еще нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого: эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться.

— Да зачем же доходить до такого зверства?

— До какого зверства?

— До которого дошла эта женщина и вы с нею.

— А, вы называете это зверством, — признак, что вы всё еще на помочах и на веревочке. Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но...

будем говорить попроще, mon ami... согласитесь сами, ведь всё это вздор.

— Что же не вздор?

— Не вздор — это личность, это я сам. Всё для меня, и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. Говорят, так и сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил всё, всё, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих, и дошел до того, что ничего у него не осталось; остался в итоге нуль, вот он и провозгласил, что в жизни самое лучшее — синильная кислота. Вы скажете: это Гамлет, это грозное отчаяние, — одним словом, что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда. Но вы поэт, а я простой человек и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи; у вас ноги спутаны и вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать всё, что прикажете; но что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело — тем более тут эгоизма. Люби самого себя — вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, — вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по них никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов... и en somme, [1] я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно *добродетельнее*, я бы, может быть, без нее и не обошелся, как тот дурак философ (без сомнения, немец). Нет! В жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное — женщины... и женщины во всех видах; я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для разнообразия... Ха-ха-ха! Смотрю я на ваше лицо: с каким презрением смотрите вы на меня теперь!

— Вы правы, — отвечал я.

— Ну, положим, что и вы правы, но ведь во всяком случае лучше грязнотца, чем синильная кислота. Не правда ли?

— Нет, уж синильная кислота лучше.

---

[1] в общем (*франц.*).

— Я нарочно спросил вас: «не правда ли?», чтоб насладиться вашим ответом; я его знал заранее. Нет, мой друг: если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязнотцой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете и останутся одни только дураки. То-то им счастье будет! Да ведь и теперь есть пословица: дуракам счастье, и, знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: выгодно! Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения; ведь я вижу, что я живу в обществе пустом; но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чем. Я на всё согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Всё на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем наверх. Кстати: посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы примерно, феноменально живучи; поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует, хе-хе-хе! Я хочу непременно жить до девяноста лет. Я смерти не люблю и боюсь ее. Ведь черт знает еще как придется умереть! Но к чему говорить об этом! Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту философию! Buvons, mon cher! Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках... Куда это вы!

— Я иду, да и вам пора...

— Полноте, полноте! Я, так сказать, открыл перед вами всё мое сердце, а вы даже и не чувствуете такого яркого доказательства дружбы. Хе-хе-хе! В вас мало любви, мой поэт. Но постойте, я хочу еще бутылку.

— Третью?

— Третью. Про добродетель, мой юный питомец (вы мне позволите назвать вас этим сладким именем: кто знает, может быть, мои поучения пойдут и впрок)... Итак, мой питомец, про добродетель я уж сказал вам: «чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма». Хочу вам рассказать на эту тему один премиленький анекдот: я любил однажды девушку и любил почти искренно. Она даже многим для меня пожертвовала...

— Это та, которую вы обокрали? — грубо спросил я, не желая более сдерживаться.

Князь вздрогнул, переменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами; в его взгляде было недоумение и бешенство.

— Постойте, — проговорил он как бы про себя, — постойте, дайте мне сообразить. Я действительно пьян, и мне трудно сообразить...

Он замолчал и пытливо, с той же злобой смотрел на меня, придерживая мою руку своей рукой, как бы боясь, чтоб я не ушел.

Я уверен, что в эту минуту он соображал и доискивался, откуда я могу знать это дело, почти никому не известное, и нет ли во всём этом какой-нибудь опасности? Так продолжалось с минуту; но вдруг лицо его быстро изменилось; прежнее насмешливое, пьяно-веселое выражение появилось снова в его глазах. Он захохотал.

Ха-ха-ха! Талейран, да и только! Ну что ж, я действительно стоял перед ней как оплеванный, когда она брякнула мне в глаза, что я обокрал ее! Как она визжала тогда, как ругалась! Бешеная была женщина и... без всякой выдержки. Но, посудите сами: во-первых, я вовсе не обокрал ее, как вы сейчас выразились. Она подарила мне свои деньги сама, и они уже были мои. Ну, положим, вы мне дарите ваш лучший фрак (говоря это, он взглянул на мой единственный и довольно безобразный фрак, шитый года три назад портным Иваном Скорнягиным), я вам благодарен, ношу его, вдруг через год вы поссорились со мной и требуете его назад, а я его уж износил. Это неблагородно; зачем же дарить? Во-вторых, я, несмотря на то что деньги были мои, непременно бы возвратил их назад, но согласитесь сами: где же я вдруг мог собрать такую сумму? А главное, я терпеть не могу пасторалей и шиллеровщины, я уж вам говорил, — ну, это-то и было всему причиною. Вы не поверите, как она рисовалась передо мною, крича, что дарит мне (впрочем, мои же) деньги. Злость взяла меня, и я вдруг сумел рассудить совершенно правильно, потому что присутствие духа никогда не оставляет меня: я рассудил, что, отдав ей деньги, сделаю ее, может быть, даже несчастною. Я бы отнял у ней наслаждение быть несчастной вполне *из-за меня* и проклинать меня за это всю свою жизнь. Поверьте, мой друг, в несчастии такого рода есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и великодушным и иметь полное право назвать своего обидчика подлецом. Это упоение злобы встречается у шиллеровских натур, разумеется; может быть, потом ей было нечего есть, но я уверен, что она была счастлива. Я и не хотел лишить ее этого счастья и не отослал ей денег. Таким образом и оправдано вполне мое правило, что чем громче и крупней человеческое великодушие, тем больше в нем самого отвратительного эгоизма... Неужели вам это неясно? Но... вы хотели поддеть меня, ха-ха-ха!.. ну, признайтесь, хотели поддеть?.. О Талейран!

— Прощайте! — сказал я, вставая.

— Минутку! Два заключительных слова, — вскричал он, изменяя вдруг свой гадкий тон на серьезный. — Выслушайте мое последнее: из всего, что я сказал вам, следует ясно и ярко (думаю, что и вы сами это заметили), что я никогда и ни для кого не хочу упускать мою выгоду. Я люблю деньги, и мне они надобны. У Катерины Федоровны их много; ее отец десять лет содержал винный откуп. У ней три миллиона, и эти три миллиона мне очень пригодятся. Алеша и Катя — совершенная пара: оба дураки в последней степени; мне того и надо. И потому я непременно желаю и хочу, чтоб их брак устроился, и как можно скорее. Недели через две,

через три графиня и Катя едут в деревню. Алеша должен сопровождать их. Предуведомьте Наталью Николаевну, чтоб не было пасторалей, чтоб не было шиллеровщины, чтоб против меня не восставали. Я мстителен и зол, я за свое постою. Ее я не боюсь: всё, без сомнения, будет по-моему, и потому если предупреждаю теперь, то почти для нее же самой. Смотрите же, чтоб не было глупостей и чтоб вела она себя благоразумно. Не то ей будет плохо, очень плохо. Уж она за то только должна быть мне благодарна, что я не поступил с нею как следует, по законам. Знайте, мой поэт, что законы ограждают семейное спокойствие, они гарантируют отца в повиновении сына и что те, которые отвлекают детей от священных обязанностей к их родителям, законами не поощряются. Сообразите, наконец, что у меня есть связи, что у ней никаких и... неужели вы не понимаете, что я бы мог с ней сделать?.. Но я не сделал, потому что до сих пор она вела себя благоразумно. Не беспокойтесь: каждую минуту, за каждым движением их присматривали зоркие глаза все эти полгода, и я знал всё до последней мелочи. И потому я спокойно ждал, пока Алеша сам ее бросит, что уж и начинается; а покамест ему милое развлечение. Я же остался в его понятиях гуманным отцом, а мне надо, чтоб он так обо мне думал. Ха-ха-ха! Как вспомню я, что чуть не комплименты ей делал, тогда вечером, что она была так великодушна и бескорыстна, что не вышла за него замуж; желал бы я знать, как бы она вышла! Что же касается до моего тогдашнего к ней приезда, то всё это было единственно для того, что уж пора было кончить их связь. Но мне надобно было увериться во всём своими глазами, своим собственным опытом... Ну, довольно ли с вас? Или вы, может быть, хотите узнать еще: для чего я завез вас сюда, для чего я перед вами так ломался и так спроста откровенничал, тогда как всё это можно было высказать без всяких откровенностей, — да?

— Да. — Я скрепился и жадно слушал. Мне нечего было отвечать ему более.

— Единственно потому, мой друг, что в вас я заметил несколько более благоразумия и ясного взгляда на вещи, чем в обоих наших дурачках. Вы могли и раньше знать, кто я, предугадывать, составлять предположения обо мне, но я хотел вас избавить от всего этого труда и решился вам наглядно показать, *с кем* вы имеете дело. Действительное впечатление великая вещь. Поймите же меня, mon ami. Вы знаете, с кем имеете дело, ее вы любите, и потому я надеюсь теперь, что вы употребите всё свое влияние (а вы-таки имеете на нее влияние), чтоб избавить ее от *некоторых* хлопот. Иначе будут хлопоты, и уверяю, уверяю вас, что не шуточные. Ну-с, наконец, третья причина моих с вами откровенностей это... (да ведь вы угадали же, мой милый), да, мне действительно хотелось поплевать немножко на всё это дело, и поплевать именно в ваших глазах...

— И вы достигли вашей цели, — сказал я, дрожа от волнения. — Я согласен, что ничем вы не могли так выразить передо

мной всей вашей злобы и всего презрения вашего ко мне и ко всем нам, как этими откровенностями. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могут вас передо *мной* компрометировать, но даже и не стыдились меня... Вы действительно походили на того сумасшедшего в плаще. Вы меня за человека не считали.

— Вы угадали, мой юный друг, — сказал он, вставая, — вы всё угадали: недаром же вы литератор. Надеюсь, что мы расстаемся дружелюбно. Брудершафт ведь не будем пить?

— Вы пьяны, и единственно потому я не отвечаю вам, как бы следовало...

— Опять фигура умолчания, — не договорили, как следовало бы отвечать, ха-ха-ха! Заплатить за вас вы мне не позволяете.

— Не беспокойтесь, я сам заплачу.

— Ну, уж без сомнения. Ведь нам не по дороге?

— Я с вами не поеду.

— Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли...

Он вышел, шагая несколько нетвердо и не оборачиваясь ко мне. Лакей усадил его в коляску. Я пошел своею дорогою. Был третий час утра. Шел дождь, ночь была темная...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1

Не стану описывать моего озлобления. Несмотря на то что можно было всего ожидать, я был поражен; точно он предстал передо мной во всем своем безобразии совсем неожиданно. Впрочем, помню, ощущения мои были смутны: как будто я был чем-то придавлен, ушиблен, и черная тоска всё больше и больше сосала мне сердце; я боялся за Наташу. Я предчувствовал ей много мук впереди и смутно заботился, как бы их обойти, как бы облегчить эти последние минуты перед окончательной развязкой всего дела. В развязке же сомнения не было никакого. Она приближалась, и как было не угадать, какова она будет!

Я и не заметил, как дошел домой, хотя дождь мочил меня всю дорогу. Было уже часа три утра. Не успел я стукнуть в дверь моей квартиры, как послышался стон, и дверь торопливо начала отпираться, как будто Нелли и не ложилась спать, а всё время сторожила меня у самого порога. Свечка горела. Я взглянул в лицо Нелли и испугался: оно всё изменилось; глаза горели, как в горячке, и смотрели как-то дико, точно она не узнавала меня. С ней был сильный жар.

— Нелли, что с тобой, ты больна? — спросил я, наклоняясь к ней и обняв ее рукой.

Она трепетно прижалась ко мне, как будто боялась чего-то, что-то заговорила, скоро, порывисто, как будто только и ждала

меня, чтоб поскорей мне это рассказать. Но слова ее были бессвязны и странны; я ничего не понял, она была в бреду.

Я повел ее поскорей на постель. Но она всё бросалась ко мне и прижималась крепко, как будто в испуге, как будто прося защитить себя от кого-то, и когда уже легла в постель, всё еще хваталась за мою руку и крепко держала ее, боясь, чтоб я опять не ушел. Я был до того потрясен и расстроен нервами, что, глядя на нее, даже заплакал. Я сам был болен. Увидя мои слезы, она долго и неподвижно вглядывалась в меня с усиленным, напряженным вниманием, как будто стараясь что-то осмыслить и сообразить. Видно было, что ей стоило это больших усилий. Наконец что-то похожее на мысль прояснилось в лице ее; после сильного припадка падучей болезни она обыкновенно некоторое время не могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Так было и теперь: сделав над собой чрезвычайное усилие, чтоб выговорить мне что-то, и догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала отирать мои слезы, потом обхватила мою шею, нагнула меня к себе и поцеловала.

Было ясно: с ней без меня был припадок, и случился он именно в то мгновение, когда она стояла у самой двери. Очнувшись от припадка, она, вероятно, долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается с бредом, и ей, верно, вообразилось что-нибудь ужасное, какие-нибудь страхи. В то же время она смутно сознавала, что я должен воротиться и буду стучаться у дверей, а потому, лежа у самого порога на полу, чутко ждала моего возвращения и приподнялась на мой первый стук.

«Но для чего ж она как раз очутилась у дверей?» — подумал я и вдруг с удивлением заметил, что она была в шубейке (я только что купил ей у знакомой старухи торговки, зашедшей ко мне на квартиру и уступавшей мне иногда свой товар в долг); следовательно, она собиралась куда-то идти со двора и, вероятно, уже отпирала дверь, как вдруг эпилепсия поразила ее. Куда ж она хотела идти? Уж не была ли она и тогда в бреду?

Между тем жар не проходил, и она скоро опять впала в бред и беспамятство. С ней был уже два раза припадок на моей квартире, но всегда оканчивался благополучно, а теперь она была точно в горячке. Посидев над ней с полчаса, я примостил к дивану стулья и лег, как был, одетый, близ нее, чтобы скорей проснуться, если б она меня позвала. Свечки я не тушил. Много раз еще я взглядывал на нее прежде, чем сам заснул. Она была бледна; губы — запекшиеся от жару и окровавленные, вероятно, от падения; с лица не сходило выражение страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во сне. Я решился назавтра как можно раньше сходить к доктору, если б ей стало хуже. Боялся я, чтоб не приключилось настоящей горячки.

«Это ее князь напугал!» — подумал я с содроганием и вспомнил рассказ его о женщине, бросившей ему в лицо свои деньги.

Глава II

...Прошло две недели; Нелли выздоравливала. Горячки с ней не было, но была она сильно больна. Она встала с постели уже в конце апреля, в светлый, ясный день. Была страстная неделя.

Бедное создание! Я не могу продолжать рассказа в прежнем порядке. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю всё это прошлое, но до сих пор с такой тяжелой, пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико, эти пронзительные долгие взгляды ее черных глаз, когда, бывало, мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня с своей постели, смотрит, долго смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у ней на уме; но видя, что я не угадываю и всё в прежнем недоумении, тихо и как будто про себя улыбнется и вдруг ласково протянет мне свою горячую ручку с худенькими, высохшими пальчиками. Теперь всё прошло, уж всё известно, а до сих пор я не знаю всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного маленького сердца.

Я чувствую, что я отвлекусь от рассказа, но в эту минуту мне хочется думать об одной только Нелли. Странно: теперь, когда я лежу на больничной койке один, оставленный всеми, кого я так много и сильно любил, — теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта из того времени, тогда часто для меня не приметная и скоро забываемая, вдруг приходя на память, внезапно получает в моем уме совершенно другое значение, цельное и объясняющее мне теперь то, чего я даже до сих пор не умел понять.

Первые четыре дня ее болезни мы, я и доктор, ужасно за нее боялись, но на пятый день доктор отвел меня в сторону и сказал мне, что бояться нечего и она непременно выздоровеет. Это был тот самый доктор, давно знакомый мне старый холостяк, добряк и чудак, которого я призывал еще в первую болезнь Нелли и который так поразил ее своим Станиславом на шее, чрезвычайных размеров.

— Стало быть, совсем нечего бояться! — сказал я, обрадовавшись.

— Да, она теперь выздоровеет, но потом она весьма скоро умрет.

— Как умрет! Да почему же! — вскричал я, ошеломленный таким приговором.

— Да, она непременно весьма скоро умрет. У пациентки органический порок в сердце, и при малейших неблагоприятных обстоятельствах она сляжет снова. Может быть, снова выздоровеет, но потом опять сляжет снова и наконец умрет.

— И неужели ж нельзя никак спасти ее? Нет, этого быть не может!

— Но это должно быть. И однако, при удалении неблагоприятных обстоятельств, при спокойной и тихой жизни, когда будет более удовольствий, пациентка еще может быть отдалена от смерти,

и даже бывают случаи... неожиданные... ненормальные и странные... одним словом, пациентка даже может быть спасена, при совокуплении многих благоприятных обстоятельств, но радикально спасена — никогда.

— Но боже мой, что же теперь делать?

— Следовать советам, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я заметил, что эта девица капризна, неровного характера и даже насмешлива; она очень не любит исправно принимать порошки и вот сейчас решительно отказалась.

— Да, доктор. Она действительно странная, но я всё приписываю болезненному раздражению. Вчера она была очень послушна; сегодня же, когда я ей подносил лекарство, она пихнула ложку как будто нечаянно, и всё пролилось. Когда же я хотел развести новый порошок, она вырвала у меня всю коробку и ударила ее об пол, а потом залилась слезами... Только, кажется, не оттого, что ее заставляли принимать порошки, — прибавил я, подумав.

— Гм! ирритация. Прежние большие несчастия (я подробно и откровенно рассказал доктору многое из истории Нелли, и рассказ мой очень поразил его), всё это в связи, и вот от этого и болезнь. Покамест единственное средство — принимать порошки, и она должна принять порошок. Я пойду и еще раз постараюсь внушить ей ее обязанность слушаться медицинских советов и... то есть говоря вообще... принимать порошки.

Мы оба вышли из кухни (в которой и происходило наше свидание), и доктор снова приблизился к постели больной. Но Нелли, кажется, нас слышала: по крайней мере, она приподняла голову с подушек и, обратив в нашу сторону ухо, всё время чутко прислушивалась. Я заметил это в щель полуотворенной двери; когда же мы пошли к ней, плутовка юркнула вновь под одеяло и поглядывала на нас с насмешливой улыбкой. Бедняжка очень похудела в эти четыре дня болезни: глаза ввалились, жар всё еще не проходил. Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге.

Он серьезно, но стараясь как можно смягчить свой голос, ласковым и нежнейшим тоном изложил необходимость и спасительность порошков, а следственно, и обязанность каждого больного принимать их. Нелли приподняла было голову, но вдруг, по-видимому совершенно нечаянным движением руки, задела ложку, и всё лекарство пролилось опять на пол. Я уверен, она это сделала нарочно.

— Это очень неприятная неосторожность, — спокойно сказал старичок, — и я подозреваю, что вы сделали это нарочно, что очень непохвально. Но... можно всё исправить и еще развести порошок.

Нелли засмеялась ему прямо в глаза.

Доктор методически покачал головою.

— Это очень нехорошо, — сказал он, разводя новый порошок, — очень, очень непохвально.

— Не сердитесь на меня, — отвечала Нелли, тщетно стараясь не засмеяться снова, — я непременно приму... А любите вы меня?

— Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить.

— Очень?

— Очень.

— А теперь не любите?

— И теперь люблю.

— А поцелуете меня, если я захочу вас поцеловать?

— Да, если вы будете того заслуживать.

Тут Нелли опять не могла вытерпеть и снова засмеялась.

— У пациентки веселый характер, но теперь — это нервы и каприз, — прошептал мне доктор с самым серьезным видом.

— Ну, хорошо, я выпью порошок, — вскрикнула вдруг своим слабым голоском Нелли, — но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замуж?

Вероятно, выдумка этой новой шалости очень ей нравилась; глаза ее так и горели, а губки так и подергивало смехом в ожидании ответа несколько изумленного доктора.

— Ну да, — отвечал он, улыбаясь невольно этому новому капризу, — ну да, если вы будете добрая и благовоспитанная девица, будете послушны и будете...

— Принимать порошки? — подхватила Нелли.

— Ого! ну да, принимать порошки. Добрая девица, — шепнул он мне снова, — в ней много, много... доброго и умного, но, однако ж... замуж... какой странный каприз...

И он снова поднес ей лекарство. Но в этот раз она даже и не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и всё лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку. Нелли громко засмеялась, но не прежним простодушным и веселым смехом. В лице ее промелькнуло что-то жестокое, злое. Во всё это время она как будто избегала моего взгляда, смотрела на одного доктора и с насмешкою, сквозь которую проглядывало, однако же, беспокойство, ждала, что-то будет теперь делать «смешной» старичок.

— О! вы опять... Какое несчастие! Но... можно еще развести порошок, — проговорил старик, отирая платком лицо и манишку.

Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнева, думала, что ее начнут бранить, упрекать, и, может быть, ей, бессознательно, того только и хотелось в эту минуту, — чтоб иметь предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбросать опять порошки, как давеча, и даже разбить что-нибудь с досады, и всем этим утолить свое капризное, наболевшее сердечко. Такие капризы бывают и не у одних больных, и не у одной Нелли. Как часто, бывало, я ходил взад и вперед по комнате с бессознательным желанием, чтоб поскорей меня кто-нибудь обидел или сказал слово, которое бы можно было принять за обиду, и поскорей сорвать на чем-нибудь сердце. Женщины же, «срывая» таким образом сердце, начинают плакать самыми искренними слезами, а самые чувствительные из

них даже доходят до истерики. Дело очень простое и самое житейское и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому не известная печаль в сердце и которую хотелось бы, да нельзя никому высказать.

Но вдруг пораженная ангельской добротою обиженного ею старичка и терпением, с которым он снова разводил ей третий порошок, не сказав ей ни одного слова упрека, Нелли вдруг притихла. Насмешка слетела с ее губок, краска ударила ей в лицо, глаза повлажнели; она мельком взглянула на меня и тотчас же отворотилась. Доктор поднес ей лекарство. Она смирно и робко выпила его, схватив красную пухлую руку старика, и медленно поглядела ему в глаза.

— Вы... сердитесь... что я злая, — сказала было она, но не докончила, юркнула под одеяло, накрылась с головой и громко, истерически зарыдала.

— О дитя мое, не плачьте... Это ничего... Это нервы; выпейте воды.

Но Нелли не слушала.

— Утешьтесь... не расстраивайте себя, — продолжал он, чуть сам не хныча над нею, потому что был очень чувствительный человек, — я вас прощаю и замуж возьму, если вы, при хорошем поведении честной девицы, будете...

— Принимать порошки! — послышалось из-под одеяла с тоненьким, как колокольчик, нервическим смехом, прерываемым рыданиями, — очень мне знакомым смехом.

— Доброе, признательное дитя, — сказал доктор торжественно и чуть не со слезами на глазах. — Бедная девица!

И с этих пор между ним и Нелли началась какая-то странная, удивительная симпатия. Со мной же, напротив, Нелли становилась всё угрюмее, нервичнее и раздражительнее. Я не знал, чему это приписать, и дивился на нее, тем более что эта перемена произошла в ней как-то вдруг. В первые дни болезни она была со мной чрезвычайно нежна и ласкова; казалось, не могла наглядеться на меня, не отпускала от себя, схватывала мою руку своею горячею рукой и садила меня возле себя, и если замечала, что я угрюм и встревожен, старалась развеселить меня, шутила, играла со мной и улыбалась мне, видимо подавляя свои собственные страдания. Она не хотела, чтоб я работал по ночам или сидел, сторожил ее, и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замечал в ней озабоченный вид; она начинала расспрашивать и выпытывать от меня, почему я печалюсь, что у меня на уме; но странно, когда доходило до Наташи, она тотчас же умолкала или начинала заговаривать о другом. Она как будто избегала говорить о Наташе, и это поразило меня. Когда я приходил, она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрела уныло и как-то странно, как будто с упреком, провожала меня глазами.

На четвертый день ее болезни я весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташи. Нам было тогда о чем говорить. Уходя же из дому, я сказал моей больной, что ворочусь очень ско-

ро, на что и сам рассчитывал. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я был спокоен насчет Нелли: она оставалась не одна. С ней сидела Александра Семеновна, узнавшая от Маслобоева, зашедшего ко мне на минуту, что Нелли больна и я в больших хлопотах и одинодинехонек. Боже мой, как захлопотала добренькая Александра Семеновна:

— Так, стало быть, он и обедать к нам теперь не придет!.. Ах, боже мой! И один-то он, бедный, один. Ну, так покажем же мы теперь ему наше радушие. Вот случай выдался, так и не надо его упускать.

Тотчас же она явилась у нас, привезя с собой на извозчике целый узел. Объявив с первого слова, что теперь и не уйдет от меня, и приехала, чтоб помогать мне в хлопотах, она развязала узел. В нем были сиропы, варенья для больной, цыплята и курица, в случае если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины, киевские сухие варенья (на случай если доктор позволит), наконец, белье, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, компрессы — точно на целый лазарет.

— Всё-то у нас есть, — говорила она мне, скоро и хлопотливо выговаривая каждое слово, как будто куда-то торопясь, — ну, а вот вы живете по-холостому. У вас ведь этого всего мало. Так уж позвольте мне... и Филипп Филиппыч так приказал. Ну, что же теперь... поскорей, поскорей! Что же теперь надо делать? Что она? В памяти? Ах, так ей нехорошо лежать, надо поправить подушку, чтоб ниже лежала голова, да знаете ли... не лучше ли кожаную подушку? От кожаной-то холодит. Ах, какая я дура! И на ум не пришло привезть. Я поеду за ней... Не нужно ли огонь развести? Я свою старуху вам пришлю. У меня есть знакомая старуха. У вас ведь никого нет из женской прислуги... Ну, что же теперь делать? Это что? Трава... доктор прописал? Верно, для грудного чаю? Сейчас пойду разведу огонь.

Но я ее успокоил, и она очень удивилась и даже опечалилась, что дела-то оказывается вовсе не так много. Это, впрочем, не обескуражило ее совершенно. Она тотчас же подружилась с Нелли и много помогала мне во всё время ее болезни, навещала нас почти каждый день и всегда, бывало, приедет с таким видом, как будто что-нибудь пропало или куда-то уехало и надо поскорее ловить. Она всегда прибавляла, что так и Филипп Филиппыч приказал. Нелли она очень поправилась. Они полюбили одна другую, как две сестры, и я думаю, что Александра Семеновна во многом была такой же точно ребенок, как и Нелли. Она рассказывала ей разные истории, смешила ее, и Нелли потом часто скучала, когда Александра Семеновна уезжала домой. Первое же ее появление у нас удивило мою больную, но она тотчас же догадалась, зачем приехала незваная гостья, и, по обыкновению своему, даже нахмурилась, сделалась молчалива и нелюбезна.

— Она зачем к нам приезжала? — спросила Нелли как будто с недовольным видом, когда Александра Семеновна уехала.

— Помочь тебе, Нелли, и ходить за тобой.

— Да что ж?.. За что же? Ведь я ей ничего такого не сделала.

— Добрые люди и не ждут, чтоб им прежде делали, Нелли. Они и без этого любят помогать тем, кто нуждается. Полно, Нелли; на свете очень много добрых людей. Только твоя-то беда, что ты их не встречала и не встретила, когда было надо.

Нелли замолчала; я отошел от нее. Но четверть часа спустя она сама подозвала меня к себе слабым голосом, попросила было пить и вдруг крепко обняла меня, припала к моей груди и долго не выпускала меня из своих рук. На другой день, когда приехала Александра Семеновна, она встретила ее с радостной улыбкой, но как будто всё еще стыдясь ее отчего-то.

Глава III

Вот в этот-то день я и был у Наташи весь вечер. Я пришел уже поздно. Нелли спала. Александре Семеновне тоже хотелось спать, но она всё сидела над больною и ждала меня. Тотчас же торопливым шепотом начала она мне рассказывать, что Нелли сначала была очень весела, даже много смеялась, но потом стала скучна и, видя, что я не прихожу, замолчала и задумалась. «Потом стала жаловаться, что у ней голова болит, заплакала и так разрыдалась, что уж я и не знала, что с нею делать, — прибавила Александра Семеновна. — Заговорила было со мной о Наталье Николаевне, но я ей ничего не могла сказать; она и перестала расспрашивать и всё потом плакала, так и уснула в слезах. Ну, прощайте же, Иван Петрович; ей все-таки легче, как я заметила, а мне надо домой, так и Филипп Филиппыч приказал. Уж я признаюсь вам, ведь он меня этот раз только на два часа отпустил, а я уж сама осталась. Да что, ничего, не беспокойтесь обо мне; не смеет он сердиться... Только вот разве... Ах, боже мой, голубчик Иван Петрович, что мне делать: всё-то он теперь домой хмельной приходит! Занят он чем-то очень, со мной не говорит, тоскует, дело у него важное на уме; я уж это вижу; а вечером все-таки пьян... Подумаю только: воротился он теперь домой, кто-то его там уложит? Ну, еду, еду, прощайте. Прощайте, Иван Петрович. Книги я у вас тут смотрела: сколько книг-то у вас, и всё, должно быть, умные; а я-то дура, ничего-то я никогда не читала... Ну, до завтра...»

Но назавтра же Нелли проснулась грустная и угрюмая, нехотя отвечала мне. Сама же ничего со мной не заговаривала, точно сердилась на меня. Я заметил только несколько взглядов ее, брошенных на меня вскользь, как бы украдкой; в этих взглядах было много какой-то затаенной сердечной боли, но все-таки в них проглядывала нежность, которой не было, когда она прямо глядела на меня. В этот-то день и происходила сцена при приеме лекарства с доктором; я не знал, что подумать.

Но Нелли переменилась ко мне окончательно. Ее странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мне — всё это продолжалось

вплоть до самого того дня, когда она перестала жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь наш роман. Но об этом после.

Случалось иногда, впрочем, что она вдруг становилась на какой-нибудь час ко мне по-прежнему ласкова. Ласки ее, казалось, удвоивались в эти мгновения; чаще всего в эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять в прежнюю тоску и опять враждебно смотрела на меня, или капризилась, как при докторе, или вдруг, заметив, что мне неприятна какая-нибудь ее новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами.

Она поссорилась даже раз с Александрой Семеновной, сказала ей, что ничего не хочет от нее. Когда же я стал пенять ей, при Александре же Семеновне, она разгорячилась, отвечала с какой-то порывчатой, накопившейся злобой, но вдруг замолчала и ровно два дня ни одного слова не говорила со мной, не хотела принять ни одного лекарства, даже не хотела пить и есть, и только старичок доктор сумел уговорить и усовестить ее.

Я сказал уже, что между доктором и ею, с самого дня приема лекарства, началась какая-то удивительная симпатия. Нелли очень полюбила его и всегда встречала его с веселой улыбкой, как бы ни была грустна перед его приходом. С своей стороны, старичок начал ездить к нам каждый день, а иногда и по два раза в день, даже и тогда, когда Нелли стала ходить и уже совсем выздоравливала, и казалось, она заворожила его так, что он не мог прожить дня, не слыхав ее смеху и шуток над ним, нередко очень забавных. Он стал возить ей книжки с картинками, всё назидательного свойства. Одну он нарочно купил для нее. Потом стал возить ей сласти, конфет в хорошеньких коробочках. В такие разы он входил обыкновенно с торжественным видом, как будто был именинник, и Нелли тотчас же догадывалась, что он приехал с подарком. Но подарка он не показывал, а только хитро смеялся, усаживался подле Нелли, намекал, что если одна молодая девица умела вести себя хорошо и заслужить в его отсутствие уважение, то такая молодая девица достойна хорошей награды. При этом он так простодушно и добродушно на нее поглядывал, что Нелли хоть и смеялась над ним самым откровенным смехом, но вместе с тем искренняя, ласкающая привязанность просвечивалась в эту минуту в ее прояснevших глазках. Наконец старик торжественно подымался со стула, вынимал коробочку с конфетами и, вручая ее Нелли, непременно прибавлял: «Моей будущей и любезной супруге». В эту минуту он сам был, наверно, счастливее Нелли.

После этого начинались разговоры, и каждый раз он серьезно и убедительно уговаривал ее беречь здоровье и давал ей убедительные медицинские советы.

— Более всего надо беречь свое здоровье, — говорил он догматическим тоном, — и во-первых, и главное, для того чтоб остаться в живых, а во-вторых, чтобы всегда быть здоровым и, таким обра-

зом, достигнуть счастия в жизни. Если вы имеете, мое милое дитя, какие-нибудь горести, то забывайте их или лучше всего старайтесь о них не думать. Если же не имеете никаких горестей, то... также о них не думайте, а старайтесь думать об удовольствиях... о чем-нибудь веселом, игривом...

— А об чем же это веселом, игривом думать? — спрашивала Нелли.

Доктор немедленно становился в тупик.

— Ну, там... об какой-нибудь невинной игре, приличной вашему возрасту; или там... ну, что-нибудь эдакое...

— Я не хочу играть; я не люблю играть, — говорила Нелли. — А вот я люблю лучше новые платья.

— Новые платья! Гм. Ну, это уже не так хорошо. Надо во всём удовольствоваться скромною долей в жизни. А впрочем... пожалуй... можно любить и новые платья.

— А вы много мне сошьете платьев, когда я за вас замуж выйду?

— Какая идея! — говорил доктор и уж невольно хмурился. Нелли плутовски улыбалась и даже раз, забывшись, с улыбкою взглянула и на меня. — А впрочем... я вам сошью платье, если вы его заслужите своим поведением, — продолжал доктор.

— А порошки нужно будет каждый день принимать, когда я за вас замуж выйду?

— Ну, тогда можно будет и не всегда принимать порошки, — и доктор начинал улыбаться.

Нелли прерывала разговор смехом. Старичок смеялся вслед за ней и с любовью следил за ее веселостью.

— Игривый ум! — говорил он, обращаясь ко мне. — Но всё еще виден каприз и некоторая прихотливость и раздражительность.

Он был прав. Я решительно не знал, что делалось с нею. Она как будто совсем не хотела говорить со мной, точно я перед ней в чем-нибудь провинился. Мне это было очень горько. Я даже сам нахмурился и однажды целый день не заговаривал с нею, но на другой день мне стало стыдно. Часто она плакала, и я решительно не знал, чем ее утешить. Впрочем, она однажды прервала со мной свое молчание.

Раз я воротился домой перед сумерками и увидел, что Нелли быстро спрятала под подушку книгу. Это был мой роман, который она взяла со стола и читала в мое отсутствие. К чему же было его прятать от меня? Точно она стыдится, — подумал я, но не показал виду, что заметил что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышел на минутку в кухню, она быстро вскочила с постели и положила роман на прежнее место: воротясь, я увидал уже его на столе. Через минуту она позвала меня к себе; в голосе ее отзывалось какое-то волнение. Уже четыре дня как она почти не говорила со мной.

— Вы... сегодня... пойдете к Наташе? — спросила она меня прерывающимся голосом.

— Да, Нелли; мне очень нужно ее видеть сегодня.

Нелли замолчала.

— Вы... очень ее любите? — спросила она опять слабым голосом.

— Да, Нелли, очень люблю.

— И я ее люблю, — прибавила она тихо. Затем опять наступило молчание.

— Я хочу к ней и с ней буду жить, — начала опять Нелли, робко взглянув на меня.

— Это нельзя, Нелли, — отвечал я, несколько удивленный. — Разве тебе дурно у меня?

— Почему ж нельзя? — и она вспыхнула. — Ведь уговариваете же вы меня, чтоб я пошла жить к ее отцу; а я не хочу идти. У ней есть служанка?

— Есть.

— Ну, так пусть она отошлет свою служанку, а я ей буду служить. Всё буду ей делать и ничего с нее не возьму; я любить ее буду и кушанье буду варить. Вы так и скажите ей сегодня.

— Но к чему же, что за фантазия, Нелли? И как же ты о ней судишь: неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вместо кухарки? Уж если возьмет она тебя, то как свою ровную, как младшую сестру свою.

— Нет, я не хочу как ровная. Так я не хочу...

— Почему же?

Нелли молчала. Губки ее подергивало: ей хотелось плакать.

— Ведь тот, которого она теперь любит, уедет от нее и ее одну бросит? — спросила она наконец.

Я удивился.

— Да почему ты это знаешь, Нелли?

— Вы и сами говорили мне всё, и третьего дня, когда муж Александры Семеновны приходил утром, я его спрашивала: он мне всё и сказал.

— Да разве Маслобоев приходил утром?

— Приходил, — отвечала она, потупив глазки.

— А зачем же ты мне не сказала, что он приходил?

— Так...

Я подумал с минуту. Бог знает, зачем этот Маслобоев шляется, с своею таинственностью. Что за сношения завел? Надо бы его увидать.

— Ну, так что ж тебе, Нелли, если он ее бросит?

— Ведь вы ее любите же очень, — отвечала Нелли, не подымая на меня глаз. — А коли любите, стало быть, замуж ее возьмете, когда тот уедет.

— Нет, Нелли, она меня не любит так, как я ее люблю, да и я... Нет, не будет этого, Нелли.

— А я бы вам обоим служила, как служанка ваша, а вы бы жили и радовались, — проговорила она чуть не шепотом, не смотря на меня.

«Что с ней, что с ней!» — подумал я, и вся душа перевернулась во мне. Нелли замолчала и более во весь вечер не сказала ни

слова. Когда же я ушел, она заплакала, плакала весь вечер, как донесла мне Александра Семеновна, и так и уснула в слезах. Даже ночью, во сне, она плакала и что-то ночью говорила в бреду.

Но с этого дня она сделалась еще угрюмее и молчаливее и совсем уж не говорила со мной. Правда, я заметил два-три взгляда ее, брошенные на меня украдкой, и в этих взглядах было столько нежности! Но это проходило вместе с мгновением, вызвавшим эту внезапную нежность, и, как бы в отпор этому вызову, Нелли чуть не с каждым часом делалась всё мрачнее, даже с доктором, удивлявшимся перемене ее характера. Между тем она уже совсем почти выздоровела, и доктор позволил ей наконец погулять на свежем воздухе, но только очень немного. Погода стояла светлая, теплая. Была страстная неделя, приходившаяся в этот раз очень поздно; я вышел поутру; мне надо было непременно быть у Наташи, но я положил раньше воротиться домой, чтоб взять Нелли и идти с нею гулять; дома же покамест оставил ее одну.

Но не могу выразить, какой удар ожидал меня дома. Я спешил домой. Прихожу и вижу, что ключ торчит снаружи у двери. Вхожу: никого нет. Я обмер. Смотрю: на столе бумажка, и на ней написано карандашом крупным, неровным почерком:

«Я ушла от вас и больше к вам никогда не приду. Но я вас очень люблю.

Ваша верная *Нелли*».

Я вскрикнул от ужаса и бросился вон из квартиры.

Глава IV

Я еще не успел выбежать на улицу, не успел сообразить, что и как теперь делать, как вдруг увидел, что у наших ворот останавливаются дрожки и с дрожек сходит Александра Семеновна, ведя за руку Нелли. Она крепко держала ее, точно боялась, чтоб она не убежала другой раз. Я так и бросился к ним.

— Нелли, что с тобой! — закричал я, — куда ты уходила, зачем?

— Постойте, не торопитесь; пойдемте-ка поскорее к вам, там всё и узнаете, — защебетала Александра Семеновна, — какие вещи-то я вам расскажу, Иван Петрович, — шептала она наскоро дорогою. — Дивиться только надо... Вот пойдемте, сейчас узнаете.

На лице ее было написано, что у ней были чрезвычайно важные новости.

— Ступай, Нелли, ступай, приляг немножко, — сказала она, когда мы вошли в комнаты, — ведь ты устала; шутка ли, сколько обегала; а после болезни-то тяжело; приляг, голубчик, приляг. А мы с вами уйдемте-ка пока отсюда, не будем ей мешать, пусть уснет. — И она мигнула мне, чтоб я вышел с ней в кухню.

Но Нелли не прилегла, она села на диван и закрыла обеими руками лицо.

Мы вышли, и Александра Семеновна наскоро рассказала мне, в чем дело. Потом я узнал еще более подробностей. Вот как это всё было.

Уйдя от меня часа за два до моего возвращения и оставив мне записку, Нелли побежала сперва к старичку доктору. Адрес его она успела выведать еще прежде. Доктор рассказывал мне, что он так и обмер, когда увидел у себя Нелли, и всё время, пока она была у него, «не верил глазам своим». «Я и теперь не верю, — прибавил он в заключение своего рассказа, — и никогда этому не поверю». И однако ж, Нелли действительно была у него. Он сидел спокойно в своем кабинете, в креслах, в шлафроке и за кофеем, когда она вбежала и бросилась к нему на шею, прежде чем он успел опомниться. Она плакала, обнимала и целовала его, целовала ему руки и убедительно, хотя и бессвязно, просила его, чтоб он взял ее жить к себе; говорила, что не хочет и не может более жить со мной, потому и ушла от меня; что ей тяжело; что она уже не будет более смеяться над ним и говорить об новых платьях и будет вести себя хорошо, будет учиться, выучится «манишки ему стирать и гладить» (вероятно, она сообразила всю свою речь дорогою, а может быть, и раньше) и что, наконец, будет послушна и хоть каждый день будет принимать какие угодно порошки. А что если она говорила тогда, что замуж хотела за него выйти, так ведь это она шутила, что она и не думает об этом. Старый немец был так ошеломлен, что сидел всё время, разинув рот, подняв свою руку, в которой держал сигару, и забыв о сигаре, так что она и потухла.

— Мадмуазель, — проговорил он наконец, получив кое-как употребление языка, — мадмуазель, сколько я вас понял, вы просите, чтоб я вам дал место у себя. Но это — невозможно! Вы видите, я очень стеснен и не имею значительного дохода... И, наконец, так прямо, не подумав... Это ужасно! И, наконец, вы, сколько я вижу, бежали из своего дома. Это очень непохвально и невозможно... И, наконец, я вам позволил только немного гулять, в ясный день, под надзором вашего благодетеля, а вы бросаете своего благодетеля и бежите ко мне, тогда как вы должны беречь себя и... и... принимать лекарство. И, наконец... наконец, я ничего не понимаю...

Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичок всё более и более впадал в изумление и всё более и более ничего не понимал. Наконец Нелли бросила его, вскрикнула: «Ах, боже мой!» — и выбежала из комнаты. «Я был болен весь этот день, — прибавил доктор, заключая свой рассказ, — и на ночь принял декокт...»

А Нелли бросилась к Маслобоевым. Она запаслась и их адресом и отыскала их, хотя и не без труда. Маслобоев был дома. Александра Семеновна так и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее к ним. На ее же расспросы: почему ей так хочется, что ей тяжело, что ли, у меня? — Нелли ничего не

отвечала и бросилась, рыдая, на стул. «Она так рыдала, так рыдала, — рассказывала мне Александра Семеновна, — что я думала, она умрет от этого». Нелли просилась хоть в горничные, хоть в кухарки, говорила, что будет пол мести и научится белье стирать. (На этом мытье белья она основывала какие-то особенные надежды и почему-то считала это самым сильным прельщением, чтоб ее взяли.) Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать. Но Филипп Филиппыч решительно этому воспротивился и тотчас же приказал отвезти беглянку ко мне. Дорогою Александра Семеновна обнимала и целовала ее, отчего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась и Александра Семеновна. Так обе всю дорогу и плакали.

— Да почему же, почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить; что он, обижает тебя, что ли? — спрашивала, заливаясь слезами, Александра Семеновна.

— Нет, не обижает.

— Ну, так отчего же?

— Так, не хочу у него жить... не могу... я такая с ним всё злая... а он добрый... а у вас я не буду злая, я буду работать, — проговорила она, рыдая как в истерике.

— Отчего же ты с ним такая злая, Нелли?..

— Так...

— И только я от нее это «так» и выпытала, — заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы, — что это она за горемычная такая? Родимец, что ли, это? Как вы думаете, Иван Петрович?

Мы вошли к Нелли; она лежала, скрыв лицо в подушках, и плакала. Я стал перед ней на колени, взял ее руки и начал целовать их. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнее. Я не знал, что и говорить. В эту минуту вошел старик Ихменев.

— А я к тебе по делу, Иван, здравствуй! — сказал он, оглядывая нас всех и с удивлением видя меня на коленях. Старик был болен всё последнее время. Он был бледен и худ, но, как будто храбрясь перед кем-то, презирал свою болезнь, не слушал увещаний Анны Андреевны, не ложился, а продолжал ходить по своим делам.

— Прощайте покамест, — сказала Александра Семеновна, пристально посмотрев на старика. — Мне Филипп Филиппыч приказал как можно скорее воротиться. Дело у нас есть. А вечером, в сумерки, приеду к вам, часика два посижу.

— Кто такая? — шепнул мне старик, по-видимому думая о другом. Я объяснил.

— Гм. А вот я по делу, Иван...

Я знал, по какому он делу, и ждал его посещения. Он пришел переговорить со мной и с Нелли и перепросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась наконец взять в дом сиротку. Случилось это вследствие наших тайных разговоров: я убедил Анну Андре-

евну и сказал ей, что вид сиротки, которой мать была тоже проклята своим отцом, может быть, повернет сердце нашего старика на другие мысли. Я так ярко разъяснил ей свой план, что она теперь сама уже стала приставать к мужу, чтоб взять сиротку. Старик с готовностью принялся за дело: ему хотелось, во-первых, угодить своей Анне Андреевне, а во-вторых, у него были свои особые соображения... Но всё это я объясню потом подробнее...

Я сказал уже, что Нелли не любила старика еще с первого его посещения. Потом я заметил, что даже какая-то ненависть проглядывала в лице ее, когда произносили при ней имя Ихменева. Старик начал дело тотчас же, без околичностей. Он прямо подошел к Нелли, которая всё еще лежала, скрыв лицо свое в подушках, и, взяв ее за руку, спросил: хочет ли она перейти к нему жить вместо дочери?

— У меня была дочь, я ее любил больше самого себя, — заключил старик, — но теперь ее нет со мной. Она умерла. Хочешь ли ты заступить ее место в моем доме и... в моем сердце?

И в его глазах, сухих и воспаленных от лихорадочного жара, накипела слеза.

— Нет, не хочу, — отвечала Нелли, не подымая головы.

— Почему же, дитя мое? У тебя нет никого. Иван не может держать тебя вечно при себе, а у меня ты будешь как в родном доме.

— Не хочу, потому что вы злой. Да, злой, злой, — прибавила она, подымая голову и садясь на постели против старика. — Я сама злая, и злее всех, но вы еще злее меня!.. — Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее засверкали; даже дрожавшие губы ее побледнели и искривились от прилива какого-то сильного ощущения. Старик в недоумении смотрел на нее.

— Да, злее меня, потому что вы не хотите простить свою дочь; вы хотите забыть ее совсем и берете к себе другое дитя, а разве можно забыть свое родное дитя? Разве вы будете любить меня? Ведь как только вы на меня взглянете, так и вспомните, что я вам чужая и что у вас была своя дочь, которую вы сами забыли, потому что вы жестокий человек. А я не хочу жить у жестоких людей, не хочу, не хочу!.. — Нелли всхлипнула и мельком взглянула на меня.

— Послезавтра Христос воскрес, все целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются... Я ведь знаю... Только вы один, вы... у! жестокий! Подите прочь!

Она залилась слезами. Эту речь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила, на случай если старик еще раз будет ее приглашать к себе. Старик был поражен и побледнел. Болезненное ощущение выразилось в лице его.

— И к чему, к чему, зачем обо мне все так беспокоятся? Я не хочу, не хочу! — вскрикнула вдруг Нелли в каком-то исступлении, — я милостыню пойду просить!

— Нелли, что с тобой? Нелли, друг мой! — вскрикнул я невольно, но восклицанием моим только подлил к огню масла.

— Да, я буду лучше ходить по улицам и милостыню просить, а здесь не останусь, — кричала она, рыдая. — И мать моя милостыню просила, а когда умирала, сама сказала мне: будь бедная и лучше милостыню проси, чем... Милостыню не стыдно просить: я не у одного человека прошу, я у всех прошу, а все не один человек; у одного стыдно, а у всех не стыдно; так мне одна нищенка говорила; ведь я маленькая, мне негде взять. Я у всех и прошу. А здесь я не хочу, не хочу, не хочу, я злая; я злее всех; вот какая я злая!

И Нелли вдруг совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее об пол.

— Вот теперь и разбилась, — прибавила она, с каким-то вызывающим торжеством смотря на меня. — Чашек-то всего две,— прибавила она, — я и другую разобью... Тогда из чего будете чай-то пить?

Она была как взбешенная и как будто сама ощущала наслаждение в этом бешенстве, как будто сама сознавала, что это и стыдно и нехорошо, и в то же время как будто поджигала себя на дальнейшие выходки.

— Она больна у тебя, Ваня, вот что, — сказал старик, — или... я уж и не понимаю, что это за ребенок. Прощай!

Он взял свою фуражку и пожал мне руку. Он был как убитый; Нелли страшно оскорбила его; всё поднялось во мне:

— И не пожалела ты его, Нелли! — вскричал я, когда мы остались одни, — и не стыдно, не стыдно тебе! Нет, ты не добрая, ты и вправду злая! — и как был без шляпы, так и побежал я вслед за стариком. Мне хотелось проводить его до ворот и хоть два слова сказать ему в утешение. Сбегая с лестницы, я как будто еще видел перед собой лицо Нелли, страшно побледневшее от моих упреков.

Я скоро догнал моего старика.

— Бедная девочка оскорблена, и у ней свое горе, верь мне, Иван; а я ей о своем стал расписывать, — сказал он, горько улыбаясь. — Я растравил ее рану. Говорят, сытый голодного не разумеет; а я, Ваня, прибавлю, что и голодный голодного не всегда поймет. Ну, прощай!

Я было заговорил о чем-то постороннем, но старик только рукой махнул.

— Полно меня-то утешать; лучше смотри, чтоб твоя-то не убежала от тебя; она так и смотрит, — прибавил он с каким-то озлоблением и пошел от меня скорыми шагами, помахивая и постукивая своей палкой по тротуару.

Он и не ожидал, что будет пророком.

Что сделалось со мной, когда, воротясь к себе, я, к ужасу моему, опять не нашел дома Нелли! Я бросился в сени, искал ее на лестнице, кликал, стучался даже у соседей и спрашивал о ней; поверить я не мог и не хотел, что она опять бежала. И как она могла убежать? Ворота в доме одни; она должна была пройти

мимо нас, когда я разговаривал с стариком. Но скоро, к большому моему унынию, я сообразил, что она могла прежде спрятаться где-нибудь на лестнице и выждать, пока я пройду обратно домой, а потом бежать, так что я никак не мог ее встретить. Во всяком случае, она не могла далеко уйти.

В сильном беспокойстве выбежал я опять на поиски, оставив на всякий случай квартиру отпертою.

Прежде всего я отправился к Маслобоевым. Маслобоевых я не застал дома, ни его, ни Александры Семеновны. Оставив у них записку, в которой извещал их о новой беде, и прося, если к ним придет Нелли, немедленно дать мне знать, я пошел к доктору; того тоже не было дома, служанка объявила мне, что, кроме давешнего посещения, другого не было. Что было делать? Я отправился к Бубновой и узнал от знакомой мне гробовщицы, что хозяйка со вчерашнего дня сидит за что-то в полиции, а Нелли там *с тех пор* и не видали. Усталый, измученный, я побежал опять к Маслобоевым; тот же ответ: никого не было, да и они сами еще не возвращались. Записка моя лежала на столе. Что было мне делать?

В смертельной тоске возвращался я к себе домой поздно вечером. Мне надо было в этот вечер быть у Наташи; она сама звала меня еще утром. Но я даже и не ел ничего в этот день; мысль о Нелли возмущала всю мою душу. «Что же это такое? — думал я. — Неужели ж это такое мудреное следствие болезни? Уж не сумасшедшая ли она или сходит с ума? Но, боже мой, где она теперь, где я сыщу ее!»

Только что я это воскликнул, как вдруг увидел Нелли, в нескольких шагах от меня, на В—м мосту. Она стояла у фонаря и меня не видела. Я хотел бежать к ней, но остановился. «Что ж это она здесь делает?» — подумал я в недоумении и, уверенный, что теперь уж не потеряю ее, решился ждать и наблюдать за ней. Прошло минут десять, она всё стояла, посматривая на прохожих. Наконец прошел один старичок, хорошо одетый, и Нелли подошла к нему: тот, не останавливаясь, вынул что-то из кармана и подал ей. Она ему поклонилась. Не могу выразить, что почувствовал я в это мгновение. Мучительно сжалось мое сердце; как будто что-то дорогое, что я любил, лелеял и миловал, было опозорено и оплевано передо мной в эту минуту, но вместе с тем и слезы потекли из глаз моих.

Да, слезы о бедной Нелли, хотя я в то же время чувствовал непримиримое негодование: она не от нужды просила; она была не брошенная, не оставленная кем-нибудь на произвол судьбы; бежала не от жестоких притеснителей, а от друзей своих, которые ее любили и лелеяли. Она как будто хотела кого-то изумить или испугать своими подвигами; точно она хвасталась перед кем-то? Но что-то тайное зрело в ее душе... Да, старик был прав; она оскорблена, рана ее не могла зажить, и она как бы нарочно старалась растравлять свою рану этой таинственностью, этой недоверчи-

востью ко всем нам; точно она наслаждалась сама своей болью, этим *эгоизмом страдания*, если так можно выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно: это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою и сознающих в себе ее несправедливость. Но на какую же несправедливость нашу могла пожаловаться Нелли? Она как будто хотела нас удивить и испугать своими капризами и дикими выходками, точно она в самом деле перед нами хвалилась... Но нет! Она теперь одна, никто не видит из нас, что она просила милостыню. Неужели ж она сама про себя находила в этом наслаждение? Для чего ей милостыня, для чего ей деньги?

Получив подаяние, она сошла с моста и подошла к ярко освещенным окнам одного магазина. Тут она принялась считать свою добычу; я стоял в десяти шагах. Денег в руке ее было уже довольно; видно, что она с самого утра просила. Зажав их в руке, она перешла через улицу и вошла в мелочную лавочку. Я тотчас же подошел к дверям лавочки, отворенным настежь, и смотрел: что она там будет делать?

Я видел, что она положила на прилавок деньги и ей подали чашку, простую чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтоб показать мне и Ихменеву, какая она злая. Чашка эта стоила, может быть, копеек пятнадцать, может быть, даже и меньше. Купец завернул ее в бумагу, завязал и отдал Нелли, которая торопливо с довольным видом вышла из лавочки.

— Нелли! — вскрикнул я, когда она поравнялась со мною, — Нелли!

Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула из ее рук, упала на мостовую и разбилась. Нелли была бледна; но, взглянув на меня и уверившись, что я всё видел и знаю, вдруг покраснела; этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыд. Я взял ее за руку и повел домой; идти было недалеко. Мы ни слова не промолвили дорогою. Придя домой, я сел; Нелли стояла передо мной, задумчивая и смущенная, бледная по-прежнему, опустив в землю глаза. Она не могла смотреть на меня.

— Нелли, ты просила милостыню?

— Да! — прошептала она и еще больше потупилась.

— Ты хотела набрать денег, чтоб купить разбитую давеча чашку?

— Да...

— Но разве я попрекал тебя, разве я бранил тебя за эту чашку? Неужели ж ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого в твоем поступке? Хорошо ли это? Неужели тебе не стыдно? Неужели...

— Стыдно... — прошептала она чуть слышным голосом, и слезинка покатилась по ее щеке.

— Стыдно... — повторил я за ней. — Нелли, милая, если я виноват перед тобой, прости меня и помиримся.

Она взглянула на меня, слезы брызнули из ее глаз, и она бросилась ко мне на грудь.

В эту минуту влетела Александра Семеновна.

— Что! Она дома? Опять? Ах, Нелли, Нелли, что это с тобой делается? Ну да хорошо, что по крайней мере дома... где вы отыскали ее, Иван Петрович?

Я мигнул Александре Семеновне, чтоб она не расспрашивала, и она поняла меня. Я нежно простился с Нелли, которая всё еще горько плакала, и упросил добренькую Александру Семеновну посидеть с ней до моего возвращения, а сам побежал к Наташе. Я опоздал и торопился.

В этот вечер решалась наша судьба: нам было много о чем говорить с Наташей, но я все-таки ввернул словечко о Нелли и рассказал всё, что случилось, со всеми подробностями. Рассказ мой очень заинтересовал и даже поразил Наташу.

— Знаешь что, Ваня, — сказала она, подумав, — мне кажется, она тебя любит.

— Что... как это? — спросил я в удивлении.

— Да, это начало любви, женской любви...

— Что ты, Наташа, полно! Ведь она ребенок!

— Которому скоро четырнадцать лет. Это ожесточение оттого, что ты не понимаешь ее любви, да и она-то, может быть, сама не понимает себя; ожесточение, в котором много детского, но серьезное, мучительное. Главное — она ревнует тебя ко мне. Ты так меня любишь, что, верно, и дома только обо мне одной заботишься, говоришь и думаешь, а потому на нее обращаешь мало внимания. Она заметила это, и ее это уязвило. Она, может быть, хочет говорить с тобой, чувствует потребность раскрыть перед тобой свое сердце, не умеет, стыдится, сама не понимает себя, ждет случая, а ты, вместо того чтоб ускорить этот случай, отдаляешься от нее, убегаешь от нее ко мне и даже, когда она была больна, по целым дням оставлял ее одну. Она и плачет об этом: ей тебя недостает, и пуще всего ей больно, что ты этого не замечаешь. Ты вот и теперь, в такую минуту, оставил ее одну для меня. Да она больна будет завтра от этого. И как ты мог оставить ее? Ступай к ней скорее...

— Я и не оставил бы ее, но...

— Ну да, я сама тебя просила прийти. А теперь ступай.

— Пойду, но только, разумеется, я ничему этому не верю.

— Оттого что всё это на других не похоже. Вспомни ее историю, сообрази всё и поверишь. Она росла не так, как мы с тобой...

Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мне, что Нелли опять, как в тот вечер, очень много плакала «и так и уснула в слезах», как тогда. «А уж теперь я уйду, Иван Петрович, так и Филипп Филиппыч приказал. Ждет он меня, бедный».

Я поблагодарил ее и сел у изголовья Нелли. Мне самому было тяжело, что я мог оставить ее в такую минуту. Долго, до глубокой ночи сидел я над нею, задумавшись... Роковое это было время.

Но надо рассказать, что случилось в эти две недели...

Глава V

После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане у Б., я несколько дней сряду был в постоянном страхе за Наташу. «Чем грозил ей этот проклятый князь и чем именно хотел отмстить ей?» — спрашивал я сам себя поминутно и терялся в разных предположениях. Я пришел наконец к заключению, что угрозы его были не вздор, не фанфаронство и что, покамест она живет с Алешей, князь действительно мог наделать ей много неприятностей. Он мелочен, мстителен, зол и расчетлив, думал я. Трудно, чтоб он мог забыть оскорбление и не воспользоваться каким-нибудь случаем к отмщению. Во всяком случае, он указал мне на один пункт во всем этом деле и высказался насчет этого пункта довольно ясно: он настоятельно требовал разрыва Алеши с Наташей и ожидал от меня, чтоб я приготовил ее к близкой разлуке и так приготовил, чтоб не было «сцен, пасторалей и шиллеровщины». Разумеется, он хлопотал всего более о том, чтоб Алеша остался им доволен и продолжал его считать нежным отцом; а это ему было очень нужно для удобнейшего овладения впоследствии Катиными деньгами. Итак, мне предстояло приготовить Наташу к близкой разлуке. Но в Наташе я заметил сильную перемену: прежней откровенности ее со мною и помину не было; мало того, она как будто стала со мной недоверчива. Утешения мои ее только мучили; мои расспросы всё более и более досаждали ей, даже сердили ее. Сижу, бывало, у ней, гляжу на нее! Она ходит, скрестив руки, по комнате из угла в угол, мрачная, бледная, как будто в забытьи, забыв даже, что и я тут, подле нее. Когда же ей случалось взглянуть на меня (а она даже и взглядов моих избегала), то нетерпеливая досада вдруг проглядывала в ее лице и она быстро отворачивалась. Я понимал, что она сама обдумывала, может быть, какой-нибудь свой собственный план о близком, предстоящем разрыве, и могла ли она его без боли, без горечи обдумывать? А я был убежден, что она уже решилась на разрыв. Но все-таки меня мучило и пугало ее мрачное отчаяние. К тому же говорить с ней, утешать ее я иногда и не смел, а потому со страхом ожидал, чем это всё разрешится.

Что же касается до ее сурового и неприступного вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я был уверен в сердце моей Наташи: я видел, что ей очень тяжело и что она была слишком расстроена. Всякое постороннее вмешательство возбуждало в ней только досаду, злобу. В таком случае особенно вмешательство близких друзей, знающих наши тайны, становится нам всего досаднее. Но я знал тоже очень хорошо, что в последнюю минуту Наташа придет же ко мне снова и в моем же сердце будет искать себе облегчения.

О моем разговоре с князем я, разумеется, ей умолчал: рассказ мой только бы взволновал и расстроил ее еще более. Я сказал ей

только так, мимоходом, что был с князем у графини и убедился, что он ужасный подлец. Но она и не расспрашивала про него, чему я был очень рад; зато жадно выслушала всё, что я рассказал ей о моем свидании с Катей. Выслушав, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ее бледное лицо, и весь почти этот день она была в особенном волнении. Я не скрыл ничего о Кате и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрасное впечатление. Да и к чему было скрывать? Ведь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только рассердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывал как можно подробнее, стараясь предупредить все ее вопросы, тем более что ей самой в ее положении трудно было меня расспрашивать: легко ли в самом деле, под видом равнодушия, выпытывать о совершенствах своей соперницы?

Я думал, что она еще не знает, что Алеша, по непременному распоряжению князя, должен был сопровождать графиню и Катю в деревню, и затруднялся, как открыть ей это, чтоб по возможности смягчить удар. Но каково же было мое изумление, когда Наташа с первых же слов остановила меня и сказала, что нечего ее *утешать*, что она уже пять дней, как знает про это.

— Боже мой! — вскричал я, — да кто же тебе сказал?

— Алеша.

— Как? Он уже сказал?

— Да, и я на всё решилась, Ваня, — прибавила она с таким видом, который ясно и как-то нетерпеливо предупреждал меня, чтоб я и не продолжал этого разговора.

Алеша довольно часто бывал у Наташи, но всё на минутку; один раз только просидел у ней несколько часов сряду; но это было без меня. Входил он обыкновенно грустный, смотрел на нее робко и нежно; но Наташа так нежно, так ласково встречала его, что он тотчас же всё забывал и развеселялся. Ко мне он тоже начал ходить очень часто, почти каждый день. Правда, он очень мучился, но не мог и минуты пробыть один с своей тоской и поминутно прибегал ко мне за утешением.

Что мог я сказать ему? Он упрекал меня в холодности, в равнодушии, даже в злобе к нему; тосковал, плакал, уходил к Кате и уж там утешался.

В тот день, когда Наташа объявила мне, что знает про отъезд (это было с неделю после разговора моего с князем), он вбежал ко мне в отчаянии, обнял меня, упал ко мне на грудь и зарыдал как ребенок. Я молчал и ждал, что он скажет.

— Я низкий, я подлый человек, Ваня, — начал он мне, — спаси меня от меня самого. Я не оттого плачу, что я низок и подл, но оттого, что через меня Наташа будет несчастна. Ведь я оставляю ее на несчастье... Ваня, друг мой, скажи мне, реши за меня, кого я больше люблю из них: Катю или Наташу?

— Этого я не могу решить, Алеша, — отвечал я, — тебе лучше знать, чем мне...

— Нет, Ваня, не то; ведь я не так глуп, чтоб задавать такие вопросы; но в том-то и дело, что я тут сам ничего не знаю. Я спрашиваю себя и не могу ответить. А ты смотришь со стороны и, может, больше моего знаешь... Ну, хоть и не знаешь, то скажи, как тебе кажется?

— Мне кажется, что Катю ты больше любишь.

— Тебе так кажется! Нет, нет, совсем нет! Ты совсем не угадал. Я беспредельно люблю Наташу. Я ни за что, никогда не могу ее оставить; я это и Кате сказал, и Катя совершенно со мною согласна. Что ж ты молчишь? Вот, я видел, ты сейчас улыбнулся. Эх, Ваня, ты никогда не утешал меня, когда мне было слишком тяжело, как теперь... Прощай!

Он выбежал из комнаты, оставив чрезвычайное впечатление в удивленной Нелли, молча выслушавшей наш разговор. Она тогда была еще больна, лежала в постели и принимала лекарство. Алеша никогда не заговаривал с нею и при посещениях своих почти не обращал на нее никакого внимания.

Через два часа он явился снова, и я удивился его радостному лицу. Он опять бросился ко мне на шею и обнял меня.

— Кончено дело! — вскричал он, — все недоумения разрешены. От вас я прямо пошел к Наташе: я был расстроен, я не мог быть без нее. Войдя, я упал перед ней на колени и целовал ее ноги: мне это нужно было, мне хотелось этого; без этого я бы умер с тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тут я прямо ей сказал, что Катю люблю больше ее...

— Что ж она?

— Она ничего не отвечала, а только ласкала и утешала меня, — меня, который ей это сказал! Она умеет утешать, Иван Петрович! О, я выплакал перед ней всё горе, всё ей высказал. Я прямо сказал, что люблю очень Катю, но что как бы я ее ни любил и кого бы я ни любил, я все-таки без нее, без Наташи, обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу без нее, я это чувствую, да! и потому мы решили немедленно с ней обвенчаться; а так как до отъезда нельзя этого сделать, потому что теперь великий пост и венчать не станут, то уж по приезде моем, а это будет к первому июня. Отец позволит, в этом нет и сомнения. Что же касается до Кати, то что ж такое! Я ведь не могу жить без Наташи... Обвенчаемся и тоже туда с ней поедем, где Катя...

Бедная Наташа! Каково было ей утешать этого мальчика, сидеть над ним, выслушать его признание и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствия его, сказку о скором браке. Алеша действительно на несколько дней успокоился. Он и бегал к Наташе, собственно, из того, что слабое сердце его не в силах было одно перенесть печали. Но все-таки, когда время начало приближаться к разлуке, он опять впал в беспокойство, в слезы и опять прибегал ко мне и выплакивал свое горе. В последнее время он так привязался к Наташе, что не мог ее оставить и на день, не только на полтора месяца. Он вполне был, однако ж, уверен

до самой последней минуты, что оставляет ее только на полтора месяца и что по возвращении его будет их свадьба. Что же касается до Наташи, то она в свою очередь вполне понимала, что вся судьба ее меняется, что Алеша уж никогда теперь к ней не воротится и что так тому и следует быть.

День разлуки их наступил. Наташа была больна, — бледная, с воспаленным взглядом, с запекшимися губами, изредка разговаривала сама с собою, изредка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвечала на мои вопросы и вздрагивала, как листок на дереве, когда раздавался звонкий голос входившего Алеши. Она вспыхивала, как зарево, и спешила к нему; судорожно обнимала его, целовала его, смеялась... Алеша вглядывался в нее, иногда с беспокойством расспрашивал, здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. Наташа делала видимые усилия, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала перед ним.

Один раз он заговорил, что надо оставить ей денег на всё время его отъезда и чтоб она не беспокоилась, потому что отец обещал ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоем, я объявил, что у меня есть для нее *сто пятьдесят рублей*, на всякий случай. Она не расспрашивала, откуда эти деньги. Это было за два дня до отъезда Алеши и накануне первого и последнего свидания Наташи с Катей. Катя прислала с Алешей записку, в которой просила Наташу позволить посетить себя завтра; причем писала и ко мне: она просила и меня присутствовать при их свидании.

Я непременно решился быть в двенадцать часов (назначенный Катей час) у Наташи, несмотря ни на какие задержки; а хлопот и задержек было много. Не говоря уже о Нелли, в последнее время мне было много хлопот у Ихменевых.

Эти хлопоты начались еще неделю назад. Анна Андреевна прислала в одно утро за мною с просьбой бросить всё и немедленно спешить к ней по очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Придя к ней, я застал ее одну: она ходила по комнате вся в лихорадке от волнения и испуга, с трепетом ожидая возвращения Николая Сергеича. По обыкновению, я долго не мог добиться от нее, в чем дело и чего она так испугалась, а между тем, очевидно, каждая минута была дорога. Наконец, после горячих и ненужных делу попреков: «зачем я не хожу и оставляю их, как сирот, одних в горе», так что уж «бог знает что без меня происходит», — она объявила мне, что Николай Сергеич в последние три дня был в таком волнении, «что и описать невозможно».

— Просто на себя не похож, — говорила она, — в лихорадке, по ночам, тихонько от меня, на коленках перед образом молится, во сне бредит, а наяву как полуумный: стали вчера есть щи, а он ложку подле себя отыскать не может, спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутно уходить: «всё по делам, говорит, ухожу, адвоката видеть надо»; наконец, се-

годня утром заперся у себя в кабинете: «мне, говорит, нужную бумагу по тяжебному делу надо писать». Ну, какую, думаю про себя, тебе бумагу писать, когда ложку подле прибора не мог отыскать? Однако в замочную щелку я подсмотрела: сидит, пишет, а сам так и заливается-плачет. Какую же такую, думаю, деловую бумагу так пишут? Али, может, ему уж так Ихменевку нашу жалко; стало быть, уж совсем пропала наша Ихменевка! Вот думаю я это, а он вдруг вскочил из-за стола да как ударит пером по столу, раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне. «Я, говорит, Анна Андреевна, скоро приду». Ушел он, а я тотчас же к его столику письменному; бумаг у него по нашей тяжбе там пропасть такая лежит, что уж он мне и прикасаться к ним не позволяет. Сколько раз, бывало, прошу: «Дай ты мне хоть раз бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла». Куды, закричит, замашет руками: нетерпеливый он такой стал здесь в Петербурге, крикун. Так вот я к столику-то подошла и ищу: которая это бумага, что он сейчас-то писал? Потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги сунул. Ну вот, батюшка, Иван Петрович, что я нашла, посмотри-ка.

И она подала мне лист почтовой бумаги, вполовину исписанный, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно.

Бедный старик! С первых строк можно было догадаться, что и к кому он писал. Это было письмо к Наташе, к возлюбленной его Наташе. Он начинал горячо и нежно: он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно было разобрать всё письмо, написанное нескладно и порывисто, с бесчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первые, задушевные строки, быстро, после этих первых строк, переродилось в другое: старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ей ее преступление, с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятием и кончал требованием, чтоб она немедленно и покорно возвратилась домой, и тогда, только тогда, может быть, после покорной и примерной новой жизни «в недрах семейства», мы решимся простить тебя, писал он. Видно было, что первоначальное, великодушное чувство свое он, после нескольких строк, принял за слабость, стал стыдиться ее и, наконец, почувствовав муки оскорбленной гордости, кончал гневом и угрозами. Старушка стояла передо мной, сложа руки и в страхе ожидая, что я скажу по прочтении письма.

Я высказал ей всё прямо, как мне казалось. Именно: что старик не в силах более жить без Наташи и что положительно можно сказать о необходимости скорого их примирения; но что, однако же, всё зависит от обстоятельств. Я объяснил при этом мою до-

гадку, что, во-первых, вероятно, дурной исход процесса сильно расстроил и потряс его, не говоря уже о том, насколько было уязвлено его самолюбие торжеством над ним князя и сколько негодования возродилось в нем при таком решении дела. В такие минуты душа не может не искать себе сочувствия, и он еще сильнее вспомнил о той, которую всегда любил больше всего на свете. Наконец, может быть и то: он, наверно, слышал (потому что он следит и всё знает про Наташу), что Алеша скоро оставляет ее. Он мог понять, каково было ей теперь, и по себе почувствовал, как необходимо было ей утешение. Но все-таки он не мог преодолеть себя, считая себя оскорбленным и униженным дочерью. Ему, верно, приходило на мысль, что все-таки не она идет к нему первая; что, может быть, даже она и не думает об них и потребности не чувствует к примирению. Так он должен был думать, заключил я мое мнение, и вот почему не докончил письма, и, может быть, из всего этого произойдут еще новые оскорбления, которые еще сильнее почувствуются, чем первые, и, кто знает, примирение, может быть, еще надолго отложится...

Старушка плакала, меня слушая. Наконец, когда я сказал, что мне необходимо сейчас же к Наташе и что я опоздал к ней, она встрепенулась и объявила, что и забыла о *главном*. Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами, и старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без него перерыли бумаги и что Анна Андреевна прочла письмо к Наташе. Ее страх был очень основателен: уж из одного того, что мы знаем его тайну, он со стыда и досады мог продлить свою злобу и из гордости упорствовать в прощении.

Но, рассмотрев дело, я уговорил старушку не беспокоиться. Он встал из-за письма в таком волнении, что мог и не помнить всех мелочей, и теперь, вероятно, подумает, что сам запачкал письмо и забыл об этом. Утешив таким образом Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее место, а я вздумал, уходя, переговорить с нею серьезно о Нелли. Мне казалось, что бедная брошенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своим отцом, могла бы грустным, трагическим рассказом о прежней своей жизни и о смерти своей матери тронуть старика и подвигнуть его на великодушные чувства. Всё готово, всё созрело в его сердце; тоска по дочери стала уже пересиливать его гордость и оскорбленное самолюбие. Недоставало только толчка, последнего удобного случая, и этот удобный случай могла бы заменить Нелли. Старушка слушала меня с чрезвычайным вниманием: всё лицо ее оживилось надеждой и восторгом. Она тотчас же стала меня упрекать: зачем я давно ей этого не сказал? нетерпеливо начала меня расспрашивать о Нелли и кончила торжественным обещанием, что сама теперь будет просить старика, чтоб взял в дом сиротку. Она уже начала искренно любить Нелли, жалела о том, что она больна, расспрашивала о ней, принудила меня взять

для Нелли банку варенья, за которым сама побежала в чулан; принесла мне пять целковых, предполагая, что у меня нет денег для доктора, и, когда я их не взял, едва успокоилась и утешилась тем, что Нелли нуждается в платье и белье и что, стало быть, можно еще ей быть полезною, вследствие чего стала тотчас же перерывать свой сундук и раскладывать все свои платья, выбирая из них те, которые можно было подарить «сиротке».

А я пошел к Наташе. Подымаясь на последнюю лестницу, которая, как я уже сказал прежде, шла винтом, я заметил у ее дверей человека, который хотел уже было постучаться, но, заслышав мои шаги, приостановился. Наконец, вероятно после некоторого колебания, вдруг оставил свое намерение и пустился вниз. Я столкнулся с ним на последней забежной ступеньке, и каково было мое изумление, когда я узнал Ихменева. На лестнице и днем было очень темно. Он прислонился к стене, чтобы дать мне пройти, и помню странный блеск его глаз, пристально меня рассматривавших. Мне казалось, что он ужасно покраснел; по крайней мере он ужасно смешался и даже потерялся.

— Эх, Ваня, да это ты! — проговорил он неровным голосом, — а я здесь к одному человеку... к писарю... всё по делу... недавно переехал... куда-то сюда... да не здесь, кажется, живет. Я ошибся. Прощай.

И он быстро пустился вниз по лестнице.

Я решился до времени не говорить Наташе об этой встрече, но непременно сказать ей тотчас же, когда она останется одна, по отъезде Алеши. В настоящее же время она была так расстроена, что хотя бы и поняла и осмыслила вполне всю силу этого факта, но не могла бы его так принять и прочувствовать, как впоследствии, в минуту подавляющей последней тоски и отчаяния. Теперь же минута была не та.

В тот день я бы мог сходить к Ихменевым, и подмывало меня на это, но я не пошел. Мне казалось, что старику будет тяжело смотреть на меня; он даже мог подумать, что я нарочно прибежал вследствие встречи. Пошел я к ним уже на третий день; старик был грустен, но встретил меня довольно развязно и всё говорил о делах.

— А что, к кому это ты тогда ходил, так высоко, вот помнишь, мы встретились, когда бишь это? — третьего дня, кажется, — спросил он вдруг довольно небрежно, но все-таки как-то отводя от меня свои глаза в сторону.

— Приятель один живет, — отвечал я, тоже отводя глаза в сторону.

— А! А я писаря моего искал, Астафьева; на тот дом указали... да ошибся... Ну, так вот я тебе про дело-то говорил: в сенате решили... — и т. д., и т. д.

Он даже покраснел, когда начал говорить *о деле*.

Я рассказал всё в тот же день Анне Андреевне, чтоб обрадовать старушку, умоляя ее, между прочим, не заглядывать ему

теперь в лицо с особенным видом, не вздыхать, не делать намеков и, одним словом, ни под каким видом не показывать, что ей известна эта последняя его выходка. Старушка до того удивилась и обрадовалась, что даже сначала мне не поверила. С своей стороны, она рассказала мне, что уже намекала Николаю Сергеичу о сиротке, но что он промолчал, тогда как прежде сам всё упрашивал взять в дом девочку. Мы решили, что завтра она попросит его об этом прямо, без всяких предисловий и намеков. Но назавтра оба мы были в ужасном испуге и беспокойстве.

Дело в том, что Ихменев виделся утром с чиновником, хлопотавшим по его делу. Чиновник объявил ему, что видел князя и что князь хоть и оставляет Ихменевку за собой, но *«вследствие некоторых семейных обстоятельств»* решается вознаградить старика и выдать ему десять тысяч. От чиновника старик прямо прибежал ко мне, ужасно расстроенный; глаза его сверкали бешенством. Он вызвал меня, неизвестно зачем, из квартиры на лестницу и настоятельно стал требовать, чтоб я немедленно шел к князю и передал ему вызов на дуэль. Я был так поражен, что долго не мог ничего сообразить. Начал было его уговаривать. Но старик пришел в такое бешенство, что с ним сделалось дурно. Я бросился к себе за стаканом воды; но, воротясь, уже не застал Ихменева на лестнице.

На другой день я отправился к нему, но его уже не было дома; он исчез на целых три дня.

На третий день мы узнали всё. От меня он кинулся прямо к князю, не застал его дома и оставил ему записку; в записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их себе смертельным оскорблением, а князя низким человеком и вследствие всего этого вызывает его на дуэль, предупреждая при этом, чтоб князь не смел уклоняться от вызова, иначе будет обесчещен публично.

Анна Андреевна рассказывала мне, что он воротился домой в таком волнении и расстройстве, что даже слег. С ней был очень нежен, но на расспросы ее отвечал мало, и видно было, что он чего-то ждал с лихорадочным нетерпением. На другое утро пришло по городской почте письмо; прочтя его, он вскрикнул и схватил себя за голову. Анна Андреевна обмерла от страха. Но он тотчас же схватил шляпу, палку и выбежал вон.

Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо он извещал Ихменева, что в словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом. Что хотя он очень сожалеет Ихменева за проигранный процесс, но при всем своем сожалении никак не может найти справедливым, чтоб проигравший в тяжбе имел право, из мщения, вызывать своего соперника на дуэль. Что же касается до «публичного бесчестия», которым ему грозили, то князь просил Ихменева не беспокоиться об этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет, да и быть не может; что письмо его немедленно будет передано куда следует и что предупрежденная

полиция, наверно, в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия.

Ихменев с письмом в руке тотчас же бросился к князю. Князя опять не было дома; но старик успел узнать от лакея, что князь теперь, верно, у графа N. Долго не думая, он побежал к графу. Графский швейцар остановил его, когда уже он подымался на лестницу. Взбешенный до последней степени старик ударил его палкой. Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые препроводили его в часть. Доложили графу. Когда же случившийся тут князь объяснил сластолюбивому старичку, что этот самый Ихменев — отец той самой Натальи Николаевны (а князь не раз прислуживал графу по *этим делам*), то вельможный старичок только засмеялся и переменил гнев на милость: сделано было распоряжение отпустить Ихменева на все четыре стороны; но выпустили его только на третий день, причем (наверно, по распоряжению князя) объявили старику, что сам князь упросил графа его помиловать.

Старик воротился домой как безумный, бросился на постель и целый час лежал без движения; наконец приподнялся и, к ужасу Анны Андреевны, объявил торжественно, что *навеки* проклинает свою дочь и лишает ее своего родительского благословения.

Анна Андреевна пришла в ужас, но надо было помогать старику, и она, сама чуть не без памяти, весь этот день и почти всю ночь ухаживала за ним, примачивала ему голову уксусом, обкладывала льдом. С ним был жар и бред. Я оставил их уже в третьем часу ночи. Но наутро Ихменев встал и в тот же день пришел ко мне, чтоб окончательно взять к себе Нелли. Но о сцене его с Нелли я уже рассказывал; эта сцена потрясла его окончательно. Воротясь домой, он слег в постель. Всё это происходило в страстную пятницу, когда было назначено свидание Кати и Наташи, накануне отъезда Алеши и Кати из Петербурга. На этом свидании я был: оно происходило рано утром, еще до прихода ко мне старика и до первого побега Нелли.

Глава VI

Алеша приехал еще за час до свидания предупредить Наташу. Я же пришел именно в то мгновение, когда коляска Кати остановилась у наших ворот. С Катей была старушка француженка, которая, после долгих упрашиваний и колебаний, согласилась наконец сопровождать ее и даже отпустить ее наверх к Наташе одну, но не иначе, как с Алешей; сама же осталась дожидаться в коляске. Катя подозвала меня и, не выходя из коляски, просила вызвать к ней Алешу. Наташу я застал в слезах; и Алеша и она — оба плакали. Услышав, что Катя уже здесь, она встала со стула, отерла слезы и с волнением стала против дверей. Одета она была в это утро вся в белом. Темно-русые волосы ее были зачесаны

гладко и назади связывались густым узлом. Эту прическу я очень любил. Увидав, что я остался с нею, Наташа попросила и меня пойти тоже навстречу гостям.

— До сих пор я не могла быть у Наташи, — говорила мне Катя, подымаясь на лестницу. — Меня так шпионили, что ужас. Madame Albert я уговаривала целых две недели, наконец-то согласилась. А вы, а вы, Иван Петрович, ни разу ко мне не зашли! Писать я вам тоже не могла, да и охоты не было, потому что письмом ничего не разъяснишь. А как мне надо было вас видеть... Боже мой, как у меня теперь сердце бьется...

— Лестница крутая, — отвечал я.

— Ну да... и лестница... а что, как вы думаете: не будет сердиться на меня Наташа?

— Нет, за что же?

— Ну да... конечно, за что же; сейчас сама увижу; к чему же и спрашивать?..

Я вел ее под руку. Она даже побледнела и, кажется, очень боялась. На последнем повороте она остановилась перевести дух, но взглянула на меня и решительно поднялась наверх.

Еще раз она остановилась в дверях и шепнула мне: «Я просто войду и скажу ей, что я так в нее верила, что приехала не опасаясь... впрочем, что ж я разговариваю; ведь я уверена, что Наташа благороднейшее существо. Не правда ли?»

Она вошла робко, как виноватая, и пристально взглянула на Наташу, которая тотчас же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла к ней, схватила ее за руки и прижалась к ее губам своими пухленькими губками. Затем, еще ни слова не сказав Наташе, серьезно и даже строго обратилась к Алеше и попросила его оставить нас на полчаса одних.

— Ты не сердись, Алеша, — прибавила она, — это я потому, что мне много надо переговорить с Наташей, об очень важном и о серьезном, чего ты не должен слышать. Будь же умен, поди. А вы, Иван Петрович, останьтесь. Вы должны выслушать весь наш разговор.

— Сядем, — сказала она Наташе по уходе Алеши, — я так, против вас сяду. Мне хочется сначала на вас посмотреть.

Она села почти прямо против Наташи и несколько мгновений пристально на нее смотрела. Наташа отвечала ей невольной улыбкой.

— Я уже видела вашу фотографию, — сказала Катя, — мне показывал Алеша.

— Что ж, похожа я на портрете?

— Вы лучше, — ответила Катя решительно и серьезно. — Да я так и думала, что вы лучше.

— Право? А я вот засматриваюсь на вас. Какая вы хорошенькая!

— Что вы! Куды мне!.. голубчик вы мой! — прибавила она, дрожавшей рукой взяв руку Наташи, и обе опять примолкли, всматриваясь друг в друга. — Вот что, мой ангел, — прервала

Катя, — нам всего полчаса быть вместе; madame Albert и на это едва согласилась, а нам много надо переговорить... Я хочу... я должна... ну я вас просто спрошу: очень вы любите Алешу?

— Да, очень.

— А если так... если вы очень любите Алешу... то... вы должны любить и его счастье... — прибавила она робко и шепотом.

— Да, я хочу, чтоб он был счастлив...

— Это так... но вот, в чем вопрос: составлю ли я его счастье? Имею ли я право так говорить, потому что я его у вас отнимаю. Если вам кажется и мы решим теперь, что с вами он будет счастливее, то... то...

— Это уже решено, милая Катя, ведь вы же сами видите, что всё решено, — отвечала тихо Наташа и склонила голову. Ей было, видимо, тяжело продолжать разговор.

Катя приготовилась, кажется, на длинное объяснение на тему: кто лучше составит счастье Алеши и кому из них придется уступить? Но после ответа Наташи тотчас же поняла, что всё уже давно решено и говорить больше не об чем. Полураскрыв свои хорошенькие губки, она с недоумением и с печалью смотрела на Наташу, всё еще держа ее руку в своей.

— А вы его очень любите? — спросила вдруг Наташа.

— Да; и вот я тоже хотела вас спросить и ехала с тем: скажите мне, за что именно вы его любите?

— Не знаю, — отвечала Наташа, и как будто горькое нетерпение послышалось в ее ответе.

— Умен он, как вы думаете? — спросила Катя.

— Нет, я так его, просто люблю.

— И я тоже. Мне его всё как будто жалко.

— И мне тоже, — отвечала Наташа.

— Что с ним делать теперь! И как он мог оставить вас для меня, не понимаю! — воскликнула Катя. — Вот как теперь увидала вас и не понимаю! — Наташа не отвечала и смотрела в землю. Катя помолчала немного и вдруг, поднявшись со стула, тихо обняла ее. Обе, обняв одна другую, заплакали. Катя села на ручку кресел Наташи, не выпуская ее из своих объятий, и начала целовать ее руки.

— Если б вы знали, как я вас люблю! — проговорила она плача. — Будем сестрами, будем всегда писать друг другу... а я вас буду вечно любить... я вас буду так любить, так любить...

— Он вам о нашей свадьбе, в июне месяце, говорил? — спросила Наташа.

— Говорил. Он говорил, что и вы согласны. Ведь это всё только *так*, чтоб его утешить, не правда ли?

— Конечно.

— Я так и поняла. Я буду его очень любить, Наташа, и вам обо всем писать. Кажется, он будет теперь скоро моим мужем; на то идет. И они все так говорят. Милая Наташечка, ведь вы пойдете теперь... в ваш дом?

Наташа не отвечала ей, но молча и крепко поцеловала ее.

— Будьте счастливы! — сказала она.

— И... и вы... и вы тоже, — проговорила Катя. В это мгновение отворилась дверь, и вошел Алеша. Он не мог, он не в силах был переждать эти полчаса и, увидя их обеих в объятиях друг у друга и плакавших, весь изнеможенный, страдающий, упал на колена перед Наташей и Катей.

— Чего же ты-то плачешь? — сказала ему Наташа, — что разлучаешься со мной? Да надолго ли? В июне приедешь?

— И свадьба ваша будет тогда, — поспешила сквозь слезы проговорить Катя, тоже в утешение Алеше.

— Но я не могу, я не могу тебя и на день оставить, Наташа. Я умру без тебя... ты не знаешь, как ты мне теперь дорога! Именно теперь!..

— Ну, так вот как ты сделай, — сказала, вдруг оживляясь, Наташа, — ведь графиня останется хоть сколько-нибудь в Москве?

— Да, почти неделю, — подхватила Катя.

— Неделю! Так чего ж лучше: ты завтра проводишь их до Москвы, это всего один день, и тотчас же приезжай сюда. Как им надо будет выезжать из Москвы, мы уж тогда совсем, на месяц, простимся, и ты воротишься в Москву их провожать.

— Ну, так, так... А вы все-таки лишних четыре дня пробудете вместе, — вскрикнула восхищенная Катя, обменявшись многозначительным взглядом с Наташей.

Не могу выразить восторга Алеши от этого нового проекта. Он вдруг совершенно утешился; его лицо засияло радостию, он обнимал Наташу, целовал руки Кати, обнимал меня. Наташа с грустною улыбкою смотрела на него, но Катя не могла вынести. Она переглянулась со мной горячим, сверкающим взглядом, обняла Наташу и встала со стула, чтоб ехать. Как нарочно, в эту минуту француженка прислала человека с просьбою окончить свидание поскорее и что условленные полчаса уже прошли.

Наташа встала. Обе стояли одна против другой, держась за руки и как будто силясь передать взглядом всё, что скопилось в душе.

— Ведь мы уж больше никогда не увидимся, — сказала Катя.

— Никогда, Катя, — отвечала Наташа.

— Ну, так простимся. — Обе обнялись.

— Не проклинайте меня, — прошептала наскоро Катя, — а я... всегда... будьте уверены... он будет счастлив... Пойдем, Алеша, проводи меня! — быстро произнесла она, схватывая его руку.

— Ваня! — сказала мне Наташа, взволнованная и измученная, когда они вышли, — ступай за ними и ты и... не приходи назад: у меня будет Алеша до вечера, до восьми часов; а вечером ему нельзя, он уйдет. Я останусь одна... Приходи часов в девять. Пожалуйста!

Когда в девять часов, оставив Нелли (после разбитой чашки) с Александрой Семеновной, я пришел к Наташе, она уже была одна и с нетерпением ждала меня. Мавра подала нам самовар; Наташа налила мне чаю, села на диван и подозвала меня поближе к себе.

— Вот и кончилось всё, — сказала она, пристально взглянув на меня. Никогда не забуду я этого взгляда.

— Вот и кончилась наша любовь. Полгода жизни! И на всю жизнь, — прибавила она, сжимая мне руку. Ее рука горела. Я стал уговаривать ее одеться потеплее и лечь в постель.

— Сейчас, Ваня, сейчас, мой добрый друг. Дай мне поговорить и припомнить немного... Я теперь как разбитая... Завтра в последний раз его увижу, в десять часов... *в последний*!

— Наташа, у тебя лихорадка, сейчас будет озноб; пожалей себя...

— Что же? Ждала я тебя теперь, Ваня, эти полчаса, как он ушел, и как ты думаешь, о чем думала, о чем себя спрашивала? Спрашивала: любила я его иль не любила и что это такое была наша любовь? Что, тебе смешно, Ваня, что я об этом только теперь себя спрашиваю?

— Не тревожь себя, Наташа...

— Видишь, Ваня: ведь я решила, что я его не любила как ровню, так, как обыкновенно женщина любит мужчину. Я любила его как... почти как мать. Мне даже кажется, что совсем и не бывает на свете такой любви, чтоб оба друг друга любили как ровные, а? Как ты думаешь?

Я с беспокойством смотрел на нее и боялся, не начинается ли с ней горячка. Как будто что-то увлекало ее; она чувствовала какую-то особенную потребность говорить; иные слова ее были как будто без связи, и даже иногда она плохо выговаривала их. Я очень боялся.

— Он был мой, — продолжала она. — Почти с первой встречи с ним у меня явилось тогда непреодолимое желание, чтоб он был *мой*, поскорей *мой*, и чтоб он ни на кого не глядел, никого не знал, кроме меня, одной меня... Катя давеча хорошо сказала: я именно любила его так, как будто мне всё время было отчего-то его жалко... Было у меня всегда непреодолимое желание, даже мучение, когда я оставалась одна, о том, чтоб он был ужасно и вечно счастлив. На его лицо (ты ведь знаешь выражение его лица, Ваня) я спокойно смотреть не могла: такого выражения ни *у кого не бывает*, а засмеется он, так у меня холод и дрожь была... Право!..

— Наташа, послушай...

— Вот говорили, — перебила она, — да и ты, впрочем, говорил, что он без характера и... и умом недалек, как ребенок. Ну, а я это-то в нем и любила больше всего... веришь ли этому? Не знаю, впрочем, любила ли именно одно это: так, просто, всего его любила, и будь он хоть чем-нибудь другой, с характером иль умнее, я бы, может, и не любила его так. Знаешь, Ваня, я тебе

признаюсь в одном: помнишь, у нас была ссора, три месяца назад, когда он был у той, как ее, у этой Минны... я узнала, выследила, и веришь ли: мне ужасно было больно, а в то же время как будто и приятно... не знаю, почему... одна уж мысль, что он тоже, как *большой* какой-нибудь, вместе с другими *большими* по красавицам разъезжает, тоже к Минне поехал! Я... Какое наслаждение было мне тогда в этой ссоре; а потом простить его... о милый!

Она взглянула мне в лицо и как-то странно рассмеялась. Потом как будто задумалась, как будто всё еще припоминала. И долго сидела она так, с улыбкой на губах, вдумываясь в прошедшее.

— Я ужасно любила его прощать, Ваня, — продолжала она, — знаешь что, когда он оставлял меня одну, я хожу, бывало, по комнате, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю: чем виноватее он передо мной, тем ведь лучше... да! И знаешь: мне всегда представлялось, что он как будто такой маленький мальчик: я сижу, а он положил ко мне на колени голову, заснул, а я его тихонько по голове глажу, ласкаю... Всегда так воображала о нем, когда его со мной не было... Послушай, Ваня, — прибавила она вдруг, — какая это прелесть Катя!

Мне показалось, что она сама нарочно растравляет свою рану, чувствуя в этом какую-то потребность, — потребность отчаяния, страданий... И так часто бывает это с сердцем, много потерявшим!

— Катя, мне кажется, может его сделать счастливым, — продолжала она. — Она с характером и говорит, как будто такая убежденная, и с ним она такая серьезная, важная, — всё об умных вещах говорит, точно большая. А сама-то, сама-то — настоящий ребенок! Милочка, милочка! О! пусть они будут счастливы! Пусть, пусть, пусть!..

И слезы, рыдания вдруг разом так и хлынули из ее сердца. Целых полчаса она не могла прийти в себя и хоть сколько-нибудь успокоиться.

Милый ангел Наташа! Еще в этот же вечер, несмотря на свое горе, она смогла-таки принять участие и в моих заботах, когда я, видя, что она немножко успокоилась, или, лучше сказать, устала, и думая развлечь ее, рассказал ей о Нелли... Мы расстались в этот вечер поздно; я дождался, пока она заснула, и, уходя, просил Мавру не отходить от своей больной госпожи всю ночь.

— О, поскорее, поскорее! — восклицал я, возвращаясь домой, — поскорее конец этим мукам! Хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, но только скорее, скорее!

Наутро, ровно в десять часов, я уже был у нее. В одно время со мной приехал и Алеша... прощаться. Не буду говорить, не хочу вспоминать об этой сцене. Наташа как будто дала себе слово скрепить себя, казаться веселее, равнодушнее, но не могла. Она обняла Алешу судорожно, крепко. Мало говорила с ним, но глядела на него долго, пристально, мученическим и словно безумным взглядом. Жадно вслушивалась в каждое слово его и, кажется, ничего не понимала из того, что он ей говорил. Помню,

он просил простить ему, простить ему и любовь эту и всё, чем он оскорблял ее в это время, свои измены, свою любовь к Кате, отъезд... Он говорил бессвязно, слезы душили его. Иногда он вдруг принимался утешать ее, говорил, что едет только на месяц или много что на пять недель, что приедет летом, тогда будет их свадьба, и отец согласится, и, наконец, главное, что ведь он послезавтра приедет из Москвы, и тогда целых четыре дня они еще пробудут вместе и что, стало быть, теперь расстаются на один только день...

Странное дело: сам он был вполне уверен, что говорит правду и что непременно послезавтра воротится из Москвы... Чего же сам он так плакал и мучился?

Наконец часы пробили одиннадцать. Я насилу мог уговорить его ехать. Московский поезд отправлялся ровно в двенадцать. Оставался один час. Наташа мне сама потом говорила, что не помнит, как последний раз взглянула на него. Помню, что она перекрестила его, поцеловала и, закрыв руками лицо, бросилась назад в комнату. Мне же надо было проводить Алешу до самого экипажа, иначе он непременно бы воротился и никогда бы не сошел с лестницы.

— Вся надежда на вас, — говорил он мне, сходя вниз. — Друг мой, Ваня! Я перед тобой виноват и никогда не мог заслужить твоей любви, но будь мне до конца братом: люби ее, не оставляй ее, пиши мне обо всем как можно подробнее и мельче, как можно мельче пиши, чтоб больше уписалось. Послезавтра я здесь опять, непременно, непременно! Но потом, когда я уеду, пиши!

Я посадил его на дрожки.

— До послезавтра! — закричал он мне с дороги. — Непременно!

С замиравшим сердцем воротился я наверх к Наташе. Она стояла посреди комнаты, скрестив руки, и в недоумении на меня посмотрела, точно не узнавала меня. Волосы ее сбились как-то на сторону; взгляд был мутный и блуждающий. Мавра, как потерянная, стояла в дверях, со страхом смотря на нее.

Вдруг глаза Наташи засверкали:

— А! Это ты! Ты! — вскричала она на меня. — Только ты один теперь остался. Ты его ненавидел! Ты никогда ему не мог простить, что я его полюбила... Теперь ты опять при мне! Что ж? Опять *утешать* пришел меня, уговаривать, чтоб я шла к отцу, который меня бросил и проклял. Я так и знала еще вчера, еще за два месяца!.. Не хочу, не хочу! Я сама проклинаю их!.. Поди прочь, я не могу тебя видеть! Прочь, прочь!

Я понял, что она в исступлении и что мой вид возбуждает в ней гнев до безумия, понял, что так и должно было быть, и рассудил лучше выйти. Я сел на лестнице, на первую ступеньку и — ждал. Иногда я подымался, отворял дверь, подзывал к себе Мавру и расспрашивал ее; Мавра плакала.

Так прошло часа полтора. Не могу изобразить, что я вынес в это время. Сердце замирало во мне и мучилось от беспредельной боли. Вдруг дверь отворилась, и Наташа выбежала на лестницу, в шляпке и бурнусе. Она была как в беспамятстве и сама потом говорила мне, что едва помнит это и не знает, куда и с каким намерением она хотела бежать.

Я не успел еще вскочить с своего места и куда-нибудь от нее спрятаться, как вдруг она меня увидала и, как пораженная, остановилась передо мной без движения. «Мне вдруг припомнилось, — говорила она мне потом, — что я, безумная, жестокая, могла выгнать тебя, тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя! И как увидела, что ты, бедный, обиженный мною, сидишь у меня на лестнице, не уходишь и ждешь, пока я тебя опять позову, — боже! — если б ты знал, Ваня, что тогда со мной сталось! Как будто в сердце мне что-то вонзили...»

— Ваня! Ваня! — закричала она, протягивая мне руки, — ты здесь!.. — и упала в мои объятия.

Я подхватил ее и понес в комнату. Она была в обмороке! «Что делать? — думал я. — С ней будет горячка, это наверно!»

Я решился бежать к доктору; надо было захватить болезнь. Съездить же можно было скоро; до двух часов мой старик немец обыкновенно сидел дома. Я побежал к нему, умоляя Мавру ни на минуту, ни на секунду не уходить от Наташи и не пускать ее никуда. Бог мне помог: еще бы немного, и я бы не застал моего старика дома. Он встретился уже мне на улице, когда выходил из квартиры. Мигом я посадил его на моего извозчика, так что он еще не успел удивиться, и мы пустились обратно к Наташе.

Да, бог мне помог! В полчаса моего отсутствия случилось у Наташи такое происшествие, которое бы могло совсем убить ее, если б мы с доктором не подоспели вовремя. Не прошло и четверти часа после моего отъезда, как вошел князь. Он только что проводил своих и явился к Наташе прямо с железной дороги. Этот визит, вероятно, уже давно был решен и обдуман им. Наташа сама рассказывала мне потом, что в первое мгновение она даже и не удивилась князю. «Мой ум помешался», — говорила она.

Он сел против нее, глядя на нее ласковым, соболезнующим взглядом.

— Милая моя, — сказал он, вздохнув, — я понимаю ваше горе; я знал, как будет тяжела вам эта минута, и положил себе за долг посетить вас. Утешьтесь, если можете, хоть тем, что, отказавшись от Алеши, вы составили его счастье. Но вы лучше меня это понимаете, потому что решились на великодушный подвиг...

«Я сидела и слушала, — рассказывала мне Наташа, — но я сначала, право, как будто не понимала его. Помню только, что пристально, пристально глядела на него. Он взял мою руку и начал пожимать ее в своей. Это ему, кажется, было очень приятно. Я же до того была не в себе, что и не подумала вырвать у него руку».

— Вы поняли, — продолжал он, — что, став женою Алеши, могли возбудить в нем впоследствии к себе ненависть, и у вас достало благородной гордости, чтоб сознать это и решиться... но — ведь не хвалить же я вас приехал. Я хотел только заявить перед вами, что никогда и нигде не найдете вы лучшего друга, как я. Я вам сочувствую и жалею вас. Во всем этом деле я принимал невольное участие, но — я исполнял свой долг. Ваше прекрасное сердце поймет это и примирится с моим... А мне было тяжелее вашего, поверьте!

— Довольно, князь, — сказала Наташа. — Оставьте меня в покое.

— Непременно, я уйду скоро, — отвечал он, — но я люблю вас, как дочь свою, и вы позволите мне посещать себя. Смотрите на меня теперь как на вашего отца и позвольте мне быть вам полезным.

— Мне ничего не надо, оставьте меня, — прервала опять Наташа.

— Знаю, вы горды... Но я говорю искренно, от сердца. Что намерены вы теперь делать? Помириться с родителями? Доброе бы оно дело, но ваш отец несправедлив, горд и деспот; простите меня, но это так. В вашем доме вы встретите теперь одни попреки и новые мучения... Но, однако же, надо, чтоб вы были независимы, а моя обязанность, мой священный долг — заботиться теперь о вас и помогать вам. Алеша умолял меня не оставлять вас и быть вашим другом. Но и кроме меня есть люди, вам глубоко преданные. Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа N. Он с превосходным сердцем, родственник наш и даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства; он многое делал для Алеши. Алеша очень уважал и любил его. Он очень сильный человек, с большим влиянием, уже старичок, и принимать его вам, девице, можно. Я уж говорил ему про вас. Он может пристроить вас и, если захотите, доставит вам превосходное место... у одной из своих родственниц. Я давно уже, прямо и откровенно, объяснил ему всё *наше* дело, и он до того увлекся своим добрым и благороднейшим чувством, что даже сам упрашивает меня теперь как можно скорее представиться вам... Это человек, сочувствующий всему прекрасному, поверьте мне, — щедрый, почтенный старичок, способный ценить достоинство и еще даже недавно благороднейшим образом обошелся с вашим отцом в одной истории.

Наташа приподнялась, как уязвленная. Теперь она уж понимала его.

— Оставьте меня, оставьте сейчас же! — закричала она.

— Но, мой друг, вы забываете: граф может быть полезен и вашему отцу...

— Мой отец ничего не возьмет от вас. Оставите ли вы меня! — закричала еще раз Наташа.

— О боже, как вы нетерпеливы и недоверчивы! Чем заслужил я это, — произнес князь, с некоторым беспокойством осмат-

риваясь кругом, — во всяком случае вы позволите мне, — продолжал он, вынимая большую пачку из кармана, — вы позволите мне оставить у вас это доказательство моего к вам участия и в особенности участия графа N, побудившего меня своим советом. Здесь, в этом пакете, десять тысяч рублей. Подождите, мой друг, — подхватил он, видя, что Наташа с гневом поднялась с своего места, — выслушайте терпеливо всё: вы знаете, отец ваш проиграл мне тяжбу, и эти десять тысяч послужат вознаграждением, которое...

— Прочь, — закричала Наташа, — прочь с этими деньгами! Я вас вижу насквозь... о низкий, низкий, низкий человек!

Князь поднялся со стула, бледный от злости.

Вероятно, он приехал с тем, чтоб оглядеть местность, разузнать положение и, вероятно, крепко рассчитывал на действие этих десяти тысяч рублей перед нищею и оставленною всеми Наташей... Низкий и грубый, он не раз подслуживался графу N, сластолюбивому старику, в такого рода делах. Но он ненавидел Наташу и, догадавшись, что дело не пошло на лад, тотчас же переменил тон и с злою радостию поспешил оскорбить ее, чтоб *не уходить по крайней мере даром.*

— Вот уж это и нехорошо, моя милая, что вы так горячитесь, — произнес он несколько дрожащим голосом от нетерпеливого наслаждения видеть поскорее эффект своей обиды, — вот уж это и нехорошо. Вам предлагают покровительство, а вы поднимаете носик... А того и не знаете, что должны быть мне благодарны; уже давно мог бы я посадить вас в смирительный дом, как отец развращаемого вами молодого человека, которого вы обирали, да ведь не сделал же этого... хе-хе-хе-хе!

Но мы уже входили. Услышав еще из кухни голоса, я остановил на одну секунду доктора и вслушался в последнюю фразу князя. Затем раздался отвратительный хохот его и отчаянное восклицание Наташи: «О боже мой!» В эту минуту я отворил дверь и бросился на князя.

Я плюнул ему в лицо и изо всей силы ударил его по щеке. Он хотел было броситься на меня, но, увидав, что нас двое, пустился бежать, схватив сначала со стола свою пачку с деньгами. Да, он сделал это; я сам видел. Я бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил в кухне, на столе... Вбежав опять в комнату, я увидел, что доктор удерживал Наташу, которая билась и рвалась у него из рук, как в припадке. Долго мы не могли успокоить ее; наконец нам удалось уложить ее в постель; она была как в горячечном бреду.

— Доктор! Что с ней? — спросил я, замирая от страха.

— Подождите, — отвечал он, — надо еще приглядеться к болезни и потом уже сообразить... но, вообще говоря, дело очень нехорошо. Может кончиться даже горячкой... Впрочем, мы примем меры...

Но меня уже осенила другая мысль. Я умолил доктора остаться с Наташей еще на два или на три часа и взял с него слово не ухо-

дить от нее ни на одну минуту. Он дал мне слово, и я побежал домой.

Нелли сидела в углу, угрюмая и встревоженная, и странно поглядывала на меня. Должно быть, я и сам был странен.

Я схватил ее на руки, сел на диван, посадил к себе на колени и горячо поцеловал ее. Она вспыхнула.

— Нелли, ангел! — сказал я, — хочешь ли ты быть нашим спасением? Хочешь ли спасти всех нас?

Она с недоумением посмотрела на меня.

— Нелли! Вся надежда теперь на тебя! Есть один отец: ты его видела и знаешь; он проклял свою дочь и вчера приходил просить тебя к себе вместо дочери. Теперь ее, Наташу (а ты говорила, что любишь ее!), оставил тот, которого она любила и для которого ушла от отца. Он сын того князя, который приезжал, помнишь, вечером ко мне и застал еще тебя одну, а ты убежала от него и потом была больна... Ты ведь знаешь его? Он злой человек!

— Знаю, — отвечала Нелли, вздрогнула и побледнела.

— Да, он злой человек. Он ненавидел Наташу за то, что его сын, Алеша, хотел на ней жениться. Сегодня уехал Алеша, а через час его отец уже был у ней и оскорбил ее, и грозил ее посадить в смирительный дом, и смеялся над ней. Понимаешь меня, Нелли?

Черные глаза ее сверкнули, но она тотчас же их опустила.

— Понимаю, — прошептала она чуть слышно.

— Теперь Наташа одна, больная; я оставил ее с нашим доктором, а сам прибежал к тебе. Слушай, Нелли: пойдем к отцу Наташи; ты его не любишь, ты к нему не хотела идти, но теперь пойдем к нему вместе. Мы войдем, и я скажу, что ты теперь хочешь быть у них вместо дочери, вместо Наташи. Старик теперь болен, потому что проклял Наташу и потому что отец Алеши еще на днях смертельно оскорбил его. Он не хочет и слышать теперь про дочь, но он ее любит, любит, Нелли, и хочет с ней примириться; я знаю это, я всё знаю! Это так!.. Слышишь ли, Нелли?

— Слышу, — произнесла она тем же шепотом. Я говорил ей, обливаясь слезами. Она робко взглядывала на меня.

— Веришь ли этому?

— Верю.

— Ну так я войду с тобой, посажу тебя, и тебя примут, обласкают и начнут расспрашивать. Тогда я сам так подведу разговор, что тебя начнут расспрашивать о том, как ты жила прежде: о твоей матери и о твоем дедушке. Расскажи им, Нелли, всё так, как ты мне рассказывала. Всё, всё расскажи, просто и ничего не утаивая. Расскажи им, как твою мать оставил злой человек, как она умирала в подвале у Бубновой, как вы с матерью вместе ходили по улицам и просили милостыню; что говорила она тебе и о чем просила тебя, умирая... Расскажи тут же и про дедушку. Расскажи, как он не хотел прощать твою мать, и как она посылала тебя к нему в свой предсмертный час, чтоб он пришел к ней простить ее, и как он не хотел... и как она умерла. Всё, всё расскажи!

И как расскажешь всё это, то старик почувствует всё это и в своем сердце. Он ведь знает, что сегодня бросил ее Алеша и она осталась, униженная и поруганная, одна, без помощи и без защиты, на поругание своему врагу. Он всё это знает... Нелли! спаси Наташу! Хочешь ли ехать?

— Да, — отвечала она, тяжело переводя дух и каким-то странным взглядом, пристально и долго, посмотрев на меня; что-то похожее на укор было в этом взгляде, и я почувствовал это в моем сердце.

Но я не мог оставить мою мысль. Я слишком верил в нее. Я схватил за руку Нелли, и мы вышли. Был уже третий час пополудни. Находила туча. Всё последнее время погода стояла жаркая и удушливая, но теперь послышался где-то далеко первый, ранний весенний гром. Ветер пронесся по пыльным улицам.

Мы сели на извозчика. Всю дорогу Нелли молчала, изредка только взглядывала на меня всё тем же странным и загадочным взглядом. Грудь ее волновалась, и, придерживая ее на дрожках, я слышал, как в моей ладони колотилось ее маленькое сердечко, как будто хотело выскочить вон.

Глава VII

Дорога мне казалась бесконечною. Наконец мы приехали, и я вошел к моим старикам с замиранием сердца. Я не знал, как выйду из их дома, но знал, что мне во что бы то ни стало надо выйти с прощением и примирением.

Был уже четвертый час. Старики сидели одни, по обыкновению. Николай Сергеич был очень расстроен и болен и полулежал, протянувшись в своем покойном кресле, бледный и изнеможенный, с головой, обвязанной платком. Анна Андреевна сидела возле него, изредка примачивала ему виски уксусом и беспрестанно, с пытливым и страдальческим видом, заглядывала ему в лицо, что, кажется, очень беспокоило старика и даже досаждало ему. Он упорно молчал, она не смела говорить. Наш внезапный приезд поразил их обоих. Анна Андреевна чего-то вдруг испугалась, увидя меня с Нелли, и в первые минуты смотрела на нас так, как будто в чем-нибудь вдруг почувствовала себя виноватою.

— Вот я привез к вам мою Нелли, — сказал я, входя. — Она надумалась и теперь сама захотела к вам. Примите и полюбите...

Старик подозрительно взглянул на меня, и уже по одному взгляду можно было угадать, что ему всё известно, то есть что Наташа теперь уже одна, оставлена, брошена и, может быть, уже оскорблена. Ему очень хотелось проникнуть в тайну нашего прибытия, и он вопросительно смотрел на меня и на Нелли. Нелли дрожала, крепко сжимая своей рукой мою, смотрела в землю и изредка только бросала кругом себя пугливый взгляд, как пойманный зверок. Но скоро Анна Андреевна опомнилась и догадалась: она так и кинулась к Нелли, поцеловала ее, приласкала,

даже заплакала и с нежностью усадила ее возле себя, не выпуская из своей руки ее руку. Нелли с любопытством и с каким-то удивлением оглядела ее искоса.

Но, обласкав и усадив Нелли подле себя, старушка уже и не знала больше, что делать, и с наивным ожиданием стала смотреть на меня. Старик поморщился, чуть ли не догадавшись, для чего я привел Нелли. Увидев, что я замечаю его недовольную мину и нахмуренный лоб, он поднес к голове свою руку и сказал мне отрывисто:

— Голова болит, Ваня.

Мы всё еще сидели и молчали; я обдумывал, что начать. В комнате было сумрачно; надвигалась черная туча, и вновь послышался отдаленный раскат грома.

— Гром-то как рано в эту весну, — сказал старик. — А вот в тридцать седьмом году, помню, в наших местах был еще раньше.

Анна Андреевна вздохнула.

— Не поставить ли самоварчик? — робко спросила она; но никто ей не ответил, и она опять обратилась к Нелли.

— Как тебя, моя голубушка, звать? — спросила она ее.

Нелли слабым голосом назвала себя и еще больше потупилась. Старик пристально поглядел на нее.

— Это Елена, что ли? — продолжала, оживляясь, старушка.

— Да, — отвечала Нелли, и опять последовало минутное молчание.

— У сестрицы Прасковьи Андреевны была племянница Елена, — проговорил Николай Сергеич, — тоже Нелли звали. Я помню.

— Что ж у тебя, голубушка, ни родных, ни отца, ни матери нету? — спросила опять Анна Андреевна.

— Нет, — отрывисто и пугливо прошептала Нелли.

— Слышала я это, слышала. А давно ли матушка твоя померла?

— Недавно.

— Голубчик ты мой, сироточка, — продолжала старушка, жалостливо на нее поглядывая. Николай Сергеич в нетерпении барабанил по столу пальцами.

— Матушка-то твоя из иностранок, что ли, была? Так, что ли, вы рассказывали, Иван Петрович? — продолжались робкие расспросы старушки.

Нелли бегло взглянула на меня своими черными глазами, как будто призывая меня на помощь. Она как-то неровно и тяжело дышала.

— У ней, Анна Андреевна, — начал я, — мать была дочь англичанина и русской, так что скорее была русская; Нелли же родилась за границей.

— Как же ее матушка-то с супругом своим за границу поехала?

Нелли вдруг вся вспыхнула. Старушка мигом догадалась, что обмолвилась, и вздрогнула под гневным взглядом старика. Он строго посмотрел на нее и отворотился было к окну.

— Ее мать была дурным и подлым человеком обманута, — произнес он, вдруг обращаясь к Анне Андреевне. — Она уехала с ним от отца и передала отцовские деньги любовнику; а тот выманил их у нее обманом, завез за границу, обокрал и бросил. Один добрый человек ее не оставил и помогал ей до самой своей смерти. А когда он умер, она, два года тому назад, воротилась назад к отцу. Так, что ли, ты рассказывал, Ваня? — спросил он отрывисто.

Нелли в величайшем волнении встала с места и хотела было идти к дверям.

— Поди сюда, Нелли, — сказал старик, протягивая наконец ей руку. — Сядь здесь, сядь возле меня, вот тут, — сядь! — Он нагнулся, поцеловал ее в лоб и тихо начал гладить ее по головке. Нелли так вся и затрепетала... но сдержала себя. Анна Андреевна в умилении, с радостною надеждою смотрела, как ее Николай Сергеич приголубил наконец сиротку.

— Я знаю, Нелли, что твою мать погубил злой человек, злой и безнравственный, но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала, — с волнением произнес старик, продолжая гладить Нелли по головке и не стерпев, чтоб не бросить нам в эту минуту этот вызов. Легкая краска покрыла его бледные щеки; он старался не взглядывать на нас.

— Мамаша любила дедушку больше, чем ее дедушка любил, — робко, но твердо проговорила Нелли, тоже стараясь ни на кого не взглянуть.

— А ты почему знаешь? — резко спросил старик, не выдержав, как ребенок, и как будто сам стыдясь своего нетерпения.

— Знаю, — отрывисто отвечала Нелли. — Он не принял матушку и... прогнал ее...

Я видел, что Николаю Сергеичу хотелось было что-то сказать, возразить, сказать, например, что старик за дело не принял дочь, но он поглядел на нас и смолчал.

— Как же, где же вы жили-то, когда дедушка вас не принял? — спросила Анна Андреевна, в которой вдруг родилось упорство и желание продолжать именно на эту тему.

— Когда мы приехали, то долго отыскивали дедушку, — отвечала Нелли, — но никак не могли отыскать. Мамаша мне и сказала тогда, что дедушка был прежде очень богатый и фабрику хотел строить, а что теперь он очень бедный, потому что тот, с кем мамаша уехала, взял у ней все дедушкины деньги и не отдал ей. Она мне это сама сказала.

— Гм... — отозвался старик.

— И она говорила мне еще, — продолжала Нелли, всё более и более оживляясь и как будто желая возразить Николаю Сергеичу, но обращаясь к Анне Андреевне, — она мне говорила, что дедушка на нее очень сердит, и что она сама во всем перед ним виновата, и что нет у ней теперь на всей земле никого, кроме дедушки. И когда говорила мне, то плакала... «Он меня не простит, — го-

ворила она, еще когда мы сюда ехали, — но, может быть, тебя увидит и тебя полюбит, а за тебя и меня простит». Мамаша очень любила меня, и когда это говорила, то всегда меня целовала, а к дедушке идти очень боялась. Меня же учила молиться за дедушку, и сама молилась и много мне еще рассказывала, как она прежде жила с дедушкой и как дедушка ее очень любил, больше всех. Она ему на фортепьяно играла и книги читала по вечерам, а дедушка ее целовал и много ей дарил... всё дарил, так что один раз они и поссорились, в мамашины именины; потому что дедушка думал, что мамаша еще не знает, какой будет подарок, а мамаша уже давно узнала какой. Мамаше хотелось серьги, а дедушка всё нарочно обманывал ее и говорил, что подарит не серьги, а брошку; и когда он принес серьги и как увидел, что мамаша уж знает, что будут серьги, а не брошка, то рассердился за то, что мамаша узнала, и половину дня не говорил с ней, а потом сам пришел ее целовать и прощенья просить...

Нелли рассказывала с увлечением, и даже краска заиграла на ее бледных больных щечках.

Видно было, что ее *мамаша* не раз говорила с своей маленькой Нелли о своих прежних счастливых днях, сидя в своем угле, в подвале, обнимая и целуя свою девочку (всё, что у ней осталось отрадного в жизни) и плача над ней, а в то же время и не подозревая, с какою силою отзовутся эти рассказы ее в болезненно впечатлительном и рано развившемся сердце больного ребенка.

Но увлекшаяся Нелли как будто вдруг опомнилась, недоверчиво осмотрелась кругом и притихла. Старик наморщил лоб и снова забарабанил по столу; у Анны Андреевны показалась на глазах слезинка, и она молча отерла ее платком.

— Мамаша приехала сюда очень больная, — прибавила Нелли тихим голосом, — у ней грудь очень болела. Мы долго искали дедушку и не могли найти, а сами нанимали в подвале, в углу.

— В углу, больная-то! — вскричала Анна Андреевна.

— Да... в углу... — отвечала Нелли. Мамаша была бедная. Мамаша мне говорила, — прибавила она, оживляясь, — что не грех быть бедной, а что грех быть богатым и обижать... и что ее бог наказывает.

— Что же вы на Васильевском нанимали? Это там у Бубновой, что ли? — спросил старик, обращаясь ко мне и стараясь выказать некоторую небрежность в своем вопросе. Спросил же, как будто ему неловко было сидеть молча.

— Нет, не там... а сперва в Мещанской, — отвечала Нелли. — Там было очень темно и сыро, — продолжала она, помолчав, — и матушка очень заболела, но еще тогда ходила. Я ей белье мыла, а она плакала. Там тоже жила одна старушка, капитанша, и жил отставной чиновник, и всё приходил пьяный, и всякую ночь кричал и шумел. Я очень боялась его. Матушка брала меня к себе на постель и обнимала меня, а сама вся, бывало, дрожит, а чиновник кричит и бранится. Он хотел один раз прибить капитаншу,

а та была старая старушка и ходила с палочкой. Мамаше стало жаль ее, и она за нее заступилась; чиновник и ударил мамашу, а я чиновника...

Нелли остановилась. Воспоминание взволновало ее; глазки ее засверкали.

— Господи боже мой! — вскричала Анна Андреевна, до последней степени заинтересованная рассказом и не спускавшая глаз с Нелли, которая преимущественно обращалась к ней.

— Тогда мамаша вышла, — продолжала Нелли, — и меня увела с собой. Это было днем. Мы всё ходили по улицам, до самого вечера, и мамаша всё плакала и всё ходила, а меня вела за руку. Я очень устала; мы и не ели этот день. А мамаша всё сама с собой говорила и мне всё говорила: «Будь бедная, Нелли, и когда я умру, не слушай никого и ничего. Ни к кому не ходи; будь одна, бедная, и работай, а нет работы, так милостыню проси, а *к ним* не ходи». Только в сумерки мы переходили через одну большую улицу; вдруг мамаша закричала: «Азорка! Азорка!» — и вдруг большая собака, без шерсти, подбежала к мамаше, завизжала и бросилась к ней, а мамаша испугалась, стала бледная, закричала и бросилась на колени перед высоким стариком, который шел с палкой и смотрел в землю. А этот высокий старик и был дедушка, и такой сухощавый, в дурном платье. Тут-то я в первый раз и увидала дедушку. Дедушка тоже очень испугался и весь побледнел, и как увидал, что мамаша лежит подле него и обхватила его ноги, — он вырвался, толкнул мамашу, ударил по камню палкой и пошел скоро от нас. Азорка еще остался и всё выл и лизал мамашу, потом побежал к дедушке, схватил его за полу и потащил назад, а дедушка его ударил палкой. Азорка опять к нам было побежал, да дедушка кликнул его, он и побежал за дедушкой и всё выл. А мамаша лежала как мертвая, кругом народ собрался, полицейские пришли. Я всё кричала и подымала мамашу. Она и встала, огляделась кругом и пошла за мной. Я ее повела домой. Люди на нас долго смотрели и всё головой качали...

Нелли приостановилась перевести дух и скрепить себя. Она была очень бледна, но решительность сверкала в ее взгляде. Видно было, что она решилась наконец *всё* говорить. В ней было даже что-то вызывающее в эту минуту.

— Что ж, — заметил Николай Сергеич неровным голосом, с какою-то раздражительною резкостью, — что ж, твоя мать оскорбила своего отца, и он за дело отверг ее...

— Матушка мне то же говорила, — резко подхватила Нелли, — и, как мы шли домой, всё говорила: это твой дедушка, Нелли, а я виновата перед ним, вот он и проклял меня, за это меня теперь бог и наказывает, и весь вечер этот и все следующие дни всё это же говорила. А говорила, как будто себя не помнила...

Старик смолчал.

— А потом как же вы на другую-то квартиру перебрались? — спросила Анна Андреевна, продолжавшая тихо плакать.

— Мамаша в ту же ночь заболела, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой, а на третий день мы и переехали, и капитанша с нами; и как переехали, мамаша совсем слегла и три недели лежала больная, а я ходила за ней. Деньги у нас совсем все вышли, и нам помогла капитанша и Иван Александрыч.

— Гробовщик, хозяин, — сказал я в пояснение.

— А когда мамаша встала с постели и стала ходить, тогда мне про Азорку и рассказала.

Нелли приостановилась. Старик как будто обрадовался, что разговор перешел на Азорку.

— Что ж она про Азорку тебе рассказывала? — спросил он, еще более нагнувшись в своих креслах, точно чтоб еще больше скрыть свое лицо и смотреть вниз.

— Она всё мне говорила про дедушку, — отвечала Нелли, — и больная всё про него говорила, и когда в бреду была, тоже говорила. Вот она как стала выздоравливать, то и начала мне опять рассказывать, как она прежде жила... тут и про Азорку рассказала, потому что раз где-то на реке, за городом, мальчишки тащили Азорку на веревке топить, а мамаша дала им денег и купила у них Азорку. Дедушка, как увидел Азорку, стал над ним очень смеяться. Только Азорка и убежал. Мамаша стала плакать; дедушка испугался и сказал, что даст сто рублей тому, кто приведет Азорку. На третий день его и привели; дедушка сто рублей отдал и с этих пор стал любить Азорку. А мамаша так его стала любить, что даже на постель с собой брала. Она мне рассказывала, что Азорка прежде с комедиантами по улицам ходил, и служить умел, и обезьяну на себе возил, и ружьем умел делать, и много еще умел... А когда мамаша уехала от дедушки, то дедушка и оставил Азорку у себя и всё с ним ходил, так что на улице, как только мамаша увидала Азорку, тотчас же и догадалась, что тут же и дедушка...

Старик, видимо, ожидал не того об Азорке и всё больше и больше хмурился. Он уж не расспрашивал более ничего.

— Так как же, вы так больше и не видали дедушку? — спросила Анна Андреевна.

— Нет, когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встретила опять дедушку. Я ходила в лавочку за хлебом: вдруг увидела человека с Азоркой, посмотрела и узнала дедушку. Я посторонилась и прижалась к стене. Дедушка посмотрел на меня, долго смотрел и такой был страшный, что я его очень испугалась, и прошел мимо; Азорка же меня припомнил и начал скакать подле меня и мне руки лизать. Я поскорей пошла домой, посмотрела назад, а дедушка зашел в лавочку. Тут я подумала: верно, расспрашивает, и испугалась еще больше, и когда пришла домой, то мамаше ничего не сказала, чтоб мамаша опять не сделалась больна. Сама же в лавочку на другой день не ходила; сказала, что у меня голова болит; а когда пошла на третий день, то никого не встретила и ужасно боялась, так что бегом бежала. А еще через день вдруг я иду, только что за угол зашла, а дедушка передо мной и Азорка. Я по-

бежала и поворотила в другую улицу и с другой стороны в лавочку зашла; только вдруг прямо на него опять и наткнулась и так испугалась, что тут же и остановилась и не могу идти. Дедушка стал передо мною и опять долго смотрел на меня, а потом погладил меня по головке, взял за руку и повел меня, а Азорка за нами и хвостом махает. Тут я и увидала, что дедушка и ходить прямо уж не может и всё на палку упирается, а руки у него совсем дрожат. Он меня привел к разносчику, который на углу сидел и продавал пряники и яблоки. Дедушка купил пряничного петушка и рыбку, и одну конфетку, и яблоко, и когда вынимал деньги из кожаного кошелька, то руки у него очень тряслись, и он уронил пятак, а я подняла ему. Он мне этот пятак подарил, и пряники отдал, и погладил меня по голове, но опять ничего не сказал, а пошел от меня домой.

Тогда я пришла к мамаше и рассказала ей всё про дедушку, и как я сначала его боялась и пряталась от него. Мамаша мне сперва не поверила, а потом так обрадовалась, что весь вечер меня расспрашивала, целовала и плакала, и когда я уж ей всё рассказала, то она мне вперед приказала: чтоб я никогда не боялась дедушку и что, стало быть, дедушка любит меня, коль нарочно приходил ко мне. И велела, чтоб я ласкалась к дедушке и говорила с ним. А на другой день всё меня высылала несколько раз поутру, хотя я и сказала ей, что дедушка приходил всегда только перед вечером. Сама же она за мной издали шла и за углом пряталась и на другой день также, но дедушка не пришел, а в эти дни шел дождь, и матушка очень простудилась, потому что всё со мной выходила за ворота, и опять слегла.

Дедушка же пришел через неделю и опять мне купил одну рыбку и яблоко и опять ничего не сказал. А когда уж он пошел от меня, я тихонько пошла за ним, потому что заранее так вздумала, чтоб узнать, где живет дедушка, и сказать мамаше. Я шла издали по другой стороне улицы, так чтоб дедушка меня не видал. А жил он очень далеко, не там, где после жил и умер, а в Гороховой, тоже в большом доме, в четвертом этаже. Я всё это узнала и поздно воротилась домой. Мамаша очень испугалась, потому что не знала, где я была. Когда же я рассказала, то мамаша опять очень обрадовалась и тотчас же хотела идти к дедушке, на другой же день; но на другой день стала думать и бояться и всё боялась, целых три дня; так и не ходила. А потом позвала меня и сказала: вот что, Нелли, я теперь больна и не могу идти, а я написала письмо твоему дедушке, поди к нему и отдай письмо. И смотри, Нелли, как он его прочтет, что скажет и что будет делать; а ты стань на колени, целуй его и проси его, чтоб он простил твою мамашу... И мамаша очень плакала, и всё меня целовала, и крестила в дорогу, и богу молилась, и меня с собой на колени перед образом поставила и хоть очень была больна, но вышла меня провожать к воротам, и когда я оглядывалась, она всё стояла и глядела на меня, как я иду...

Я пришла к дедушке и отворила дверь, а дверь была без крючка. Дедушка сидел за столом и кушал хлеб с картофелем, а Азорка стоял перед ним, смотрел, как он ест, и хвостом махал. У дедушки тоже и в той квартире были окна низкие, темные и тоже только один стол и стул. А жил он один. Я вошла, и он так испугался, что весь побледнел и затрясся. Я тоже испугалась и ничего не сказала, а только подошла к столу и положила письмо. Дедушка как увидал письмо, то так рассердился, что вскочил, схватил палку и замахнулся на меня, но не ударил, а только вывел меня в сени и толкнул меня. Я еще не успела и с первой лестницы сойти, как он отворил опять дверь и выбросил мне назад письмо нераспечатанное. Я пришла домой и всё рассказала. Тут матушка слегла опять...

Глава VIII

В эту минуту раздался довольно сильный удар грома, и дождь крупным ливнем застучал в стекла; в комнате стемнело. Старушка словно испугалась и перекрестилась. Мы все вдруг остановились.

— Сейчас пройдет, — сказал старик, поглядывая на окна; затем встал и прошелся взад и вперед по комнате. Нелли искоса следила за ним взглядом. Она была в чрезвычайном, болезненном волнении. Я видел это; но на меня она как-то избегала глядеть.

— Ну, что ж дальше? — спросил старик, снова усевшись в свои кресла.

Нелли пугливо огляделась кругом.

— Так ты уж больше и не видала своего дедушку?

— Нет, видела...

— Да, да! Рассказывай, голубчик мой, рассказывай, — подхватила Анна Андреевна.

— Я его три недели не видела, — начала Нелли, — до самой зимы. Тут зима стала, и снег выпал. Когда же я встретила дедушку опять, на прежнем месте, то очень обрадовалась... потому что мамаша тосковала, что он не ходит. Я, как увидела его, нарочно побежала на другую сторону улицы, чтоб он видел, что я бегу от него. Только я оглянулась и вижу, что дедушка сначала скоро пошел за мной, а потом и побежал, чтоб меня догнать, и стал кричать мне: «Нелли, Нелли!» И Азорка бежал за ним. Мне жалко стало, я и остановилась. Дедушка подошел, и взял меня за руку, и повел, а когда увидел, что я плачу, остановился, посмотрел на меня, нагнулся и поцеловал. Тут он увидал, что у меня башмаки худые, и спросил: разве у меня нет других. Я тотчас же сказала ему поскорей, что у мамаши совсем нет денег и что нам хозяева из одной жалости есть дают. Дедушка ничего не сказал, но повел меня на рынок и купил мне башмаки и велел тут же их надеть, а потом повел меня к себе, в Гороховую, а прежде зашел в лавочку и купил пирог и две конфетки, и когда мы пришли, сказал, чтоб я ела пирог, и смотрел на меня, когда я ела, а потом дал мне конфетки. А Азорка

положил лапы на стол и тоже просил пирога, я ему и дала, и дедушка засмеялся. Потом взял меня, поставил подле себя, начал по голове гладить и спрашивать: училась ли я чему-нибудь и что я знаю? Я ему сказала, а он велел мне, как только мне можно будет, каждый день, в три часа, ходить к нему, и что он сам будет учить меня. Потом сказал мне, чтоб я отвернулась и смотрела в окно, покамест он скажет, чтоб я опять повернулась к нему. Я так и стояла, но тихонько обернулась назад и увидела, что он распорол свою подушку, с нижнего уголка, и вынул четыре целковых. Когда вынул, принес их мне и сказал: «Это тебе одной». Я было взяла, но потом подумала и сказала: «Коли мне одной, так не возьму». Дедушка вдруг рассердился и сказал мне: «Ну, бери как знаешь, ступай». Я вышла, а он и не поцеловал меня.

Как я пришла домой, всё мамаше и рассказала. А мамаше всё становилось хуже и хуже. К гробовщику ходил один студент; он лечил мамашу и велел ей лекарства принимать.

А я ходила к дедушке часто; мамаша так приказывала. Дедушка купил Новый завет и географию и стал меня учить; а иногда рассказывал, какие на свете есть земли, и какие люди живут, и какие моря, и что было прежде, и как Христос нас всех простил. Когда я его сама спрашивала, то он был очень рад; потому я и стала часто его спрашивать, и он всё рассказывал и про бога много говорил. А иногда мы не учились и с Азоркой играли: Азорка меня очень стал любить, и я его выучила через палку скакать, и дедушка смеялся и всё меня по головке гладил. Только дедушка редко смеялся. Один раз много говорит, а то вдруг замолчит и сидит, как будто заснул, а глаза открыты. Так и досидит до сумерек, а в сумерки он такой становится страшный, старый такой... А то, бывало, приду к нему, а он сидит на своем стуле, думает и ничего не слышит, и Азорка подле него лежит. Я жду, жду и кашляю; дедушка всё не оглядывается. Я так и уйду. А дома мамаша так уж и ждет меня: она лежит, а я ей рассказываю всё, всё, так и ночь придет, а я всё говорю, и она всё слушает про дедушку: что он делал сегодня и что мне рассказывал, какие истории, и что на урок мне задал. А как начну про Азорку, что я его через палку заставляла скакать и что дедушка смеялся, то и она вдруг начнет смеяться и долго, бывало, смеется и радуется и опять заставляет повторить, а потом молиться начнет. А я всё думала: что ж мамаша так любит дедушку, а он ее не любит, и когда пришла к дедушке, то нарочно стала ему рассказывать, как мамаша его любит. Он всё слушал, такой сердитый, а всё слушал и ни слова не говорил; тогда я и спросила, отчего мамаша его так любит, что всё об нем спрашивает, а он никогда про мамашу не спрашивает. Дедушка рассердился и выгнал меня за дверь; я немножко постояла за дверью, а он вдруг опять отворил и позвал меня назад, и всё сердился и молчал. А когда потом мы начали Закон божий читать, я опять спросила: отчего же Иисус Христос сказал: любите друг друга и прощайте

обиды, а он не хочет простить мамашу? Тогда он вскочил и закричал, что это мамаша меня научила, вытолкнул меня в другой раз вон и сказал, чтоб я никогда не смела теперь к нему приходить. А я сказала, что я и сама теперь к нему не приду, и ушла от него... А дедушка на другой день из квартиры переехал...

— Я сказал, что дождь скоро пройдет, вот и прошел, вот и солнышко... смотри, Ваня, — сказал Николай Сергеевич, оборотясь к окну.

Анна Андреевна поглядела на него в чрезвычайном недоумении, и вдруг негодование засверкало в глазах доселе смирной и напуганной старушки. Молча взяла она Нелли за руку и посадила к себе на колени.

— Рассказывай мне, ангел мой, — сказала она, — я буду тебя слушать. Пусть те, у кого жестокие сердца...

Она не договорила и заплакала. Нелли вопросительно взглянула на меня как бы в недоумении и в испуге. Старик посмотрел на меня, пожал плечами было, но тотчас же отвернулся.

— Продолжай, Нелли, — сказал я.

— Я три дня не ходила к дедушке, — начала опять Нелли, — а в это время мамаше стало худо. Деньги у нас все вышли, а лекарства не на что было купить, да и не ели мы ничего, потому что у хозяев тоже ничего не было, и они стали нас попрекать, что мы на их счет живем. Тогда я на третий день утром встала и начала одеваться. Мамаша спросила: куда я иду? Я и сказала: к дедушке, просить денег, и она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамаше всё, как он прогнал меня от себя, и сказала ей, что не хочу больше ходить к дедушке, хоть она и плакала и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дедушка переехал, и пошла искать его в новый дом. Как только я пришла к нему в новую квартиру, он вскочил, бросился на меня и затопал ногами, и я ему тотчас сказала, что мамаша очень больна, что на лекарство надо денег, пятьдесят копеек, а нам есть нечего. Дедушка закричал и вытолкал меня на лестницу и запер за мной дверь на крючок. Но когда он толкал меня, я ему сказала, что я на лестнице буду сидеть и до тех пор не уйду, покамест он денег не даст. Я и сидела на лестнице. Немного спустя он отворил дверь и увидел, что я сижу, и опять затворил. Потом долго прошло, он опять отворил, опять увидал меня и опять затворил. И потом много раз отворял и смотрел. Наконец вышел с Азоркой, запер дверь и прошел мимо меня со двора и ни слова мне не сказал. И я ни слова не сказала, и так и осталась сидеть, и сидела до сумерек.

— Голубушка моя, — вскричала Анна Андреевна, — да ведь холодно, знать, на лестнице-то было!

— Я была в шубке, — отвечала Нелли.

— Да что ж в шубке... голубчик ты мой, сколько ты натерпелась! Что ж он, дедушка-то твой?

Губки у Нелли начало было потрогивать, но она сделала чрезвычайное усилие и скрепила себя.

— Он пришел, когда уже стало совсем темно, и, входя, наткнулся на меня и закричал: кто тут? Я сказала, что это я. А он, верно, думал, что я давно ушла, и как увидал, что я всё еще тут, то очень удивился и долго стоял передо мной. Вдруг ударил по ступенькам палкой, побежал, отпер свою дверь и через минуту вынес мне медных денег, всё пятаки, и бросил их в меня на лестницу. «Вот тебе, закричал, возьми, это у меня всё, что было, и скажи твоей матери, что я ее проклинаю», — а сам захлопнул дверь. А пятаки покатились по лестнице. Я начала подбирать их в темноте, и дедушка, видно, догадался, что он разбросал пятаки и что в темноте мне их трудно собрать, отворил дверь и вынес свечу, и при свечке я скоро их собрала. И дедушка сам сбирал вместе со мной, и сказал мне, что тут всего должно быть семь гривен, и сам ушел. Когда я пришла домой, я отдала деньги и всё рассказала мамаше, и мамаше сделалось хуже, а сама я всю ночь была больна и на другой день тоже вся в жару была, но я только об одном думала, потому что сердилась на дедушку, и когда мамаша заснула, пошла на улицу, к дедушкиной квартире, и, не доходя, стала на мосту. Тут и прошел *тот*...

— Это Архипов, — сказал я, — тот, об котором я говорил, Николай Сергеич, вот что с купцом у Бубновой был и которого там отколотили. Это в первый раз Нелли его тогда увидала... Продолжай, Нелли.

— Я остановила его и попросила денег, рубль серебром. Он посмотрел на меня и спросил: «Рубль серебром?» Я сказала: «Да». Тогда он засмеялся и сказал мне: «Пойдем со мной». Я не знала, идти ли, вдруг подошел один старичок, в золотых очках, — а он слышал, как я спрашивала рубль серебром, — нагнулся ко мне и спросил, для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больна и что нужно столько на лекарство. Он спросил, где мы живем, и записал, и дал мне бумажку, рубль серебром. А *тот*, как увидал старика в очках, ушел и не звал меня больше с собой. Я пошла в лавочку и разменяла рубль на медные; тридцать копеек завернула в бумажку и отложила мамаше, а семь гривен не завернула в бумажку, а нарочно зажала в руках и пошла к дедушке. Как пришла к нему, то отворила дверь, стала на пороге, размахнулась и бросила ему с размаху все деньги, так они и покатились по полу.

— Вот, возьмите ваши деньги! — сказала я ему. — Не надо их от вас мамаше, потому что вы ее проклинаете, — хлопнула дверью и тотчас же убежала прочь.

Ее глаза засверкали, и она с наивно вызывающим видом взглянула на старика.

— Так и надо, — сказала Анна Андреевна, не смотря на Николая Сергеича и крепко прижимая к себе Нелли, — так и надо с ним; твой дедушка был злой и жестокосердый...

— Гм! — отозвался Николай Сергеич.

— Ну, так как же, как же? — с нетерпением спрашивала Анна Андреевна.

— Я перестала ходить больше к дедушке, и он перестал ходить ко мне, — отвечала Нелли.

— Что ж, как же вы остались с мамашей-то? Ох, бедные вы, бедные!

— А мамаше стало еще хуже, и она уже редко вставала с постели, — продолжала Нелли, и голос ее задрожал и прервался. — Денег у нас уж ничего больше не было, я и стала ходить с капитаншей. А капитанша по домам ходила, тоже и на улице людей хороших останавливала и просила, тем и жила. Она говорила мне, что она не нищая, а что у ней бумаги есть, где ее чин написан и написано тоже, что она бедная. Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мне, что у всех просить не стыдно. Я и ходила с ней, и нам подавали, тем мы и жили. Мамаша узнала про это, потому что жильцы стали попрекать, что она нищая, а Бубнова сама приходила к мамаше и говорила, что лучше б она меня к ней отпустила, а не просить милостыню. Она и прежде к мамаше приходила и ей денег носила; а когда мамаша не брала от нее, то Бубнова говорила: зачем вы такие гордые, и кушанье присылала. А как сказала она это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Бубнова начала ее бранить, потому что была пьяна, и сказала, что я и без того нищая и с капитаншей хожу, и в тот же вечер выгнала капитаншу из дому. Мамаша как узнала про всё, то стала плакать, потом вдруг встала с постели, оделась, схватила меня за руку и повела за собой. Иван Александрыч стал ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить и каждую минуту садилась на улице, а я ее придерживала. Мамаша всё говорила, что идет к дедушке и чтоб я вела ее, а уж давно стала ночь. Вдруг мы пришли в большую улицу; тут перед одним домом останавливались кареты и много выходило народу, а в окнах везде был свет, и слышна была музыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мне тогда: «Нелли, будь бедная, будь всю жизнь бедная, не ходи к ним, кто бы тебя ни позвал, кто бы ни пришел. И ты бы могла там быть, богатая и в хорошем платье, да я этого не хочу. Они злые и жестокие, и вот тебе мое приказание: оставайся бедная, работай и милостыню проси, а если кто придет за тобой, скажи: не хочу к вам!..» Это мне говорила мамаша, когда больна была, и я всю жизнь хочу ее слушаться, — прибавила Нелли, дрожа от волнения, с разгоревшимся личиком, — и всю жизнь буду служить и работать, и к вам пришла тоже служить и работать, а не хочу быть как дочь...

— Полно, полно, голубка моя, полно! — вскрикнула старушка, крепко обнимая Нелли. — Ведь матушка твоя была в это время больна, когда говорила.

— Безумная была, — резко заметил старик.

— Пусть безумная! — подхватила Нелли, резко обращаясь к нему, — пусть безумная, но она мне так приказала, так я и буду

всю жизнь. И когда она мне это сказала, то даже в обморок упала.

— Господи боже! — вскрикнула Анна Андреевна,—больная-то, на улице, зимой?..

— Нас хотели взять в полицию, но один господин вступился, расспросил у меня квартиру, дал мне десять рублей и велел отвезти мамашу к нам домой на своих лошадях. После этого мамаша уж и не вставала, а через три недели умерла...

— А отец-то что ж? Так и не простил? — вскрикнула Анна Андреевна.

— Не простил! — отвечала Нелли, с мучением пересиливая себя. — За неделю до смерти мамаша подозвала меня и сказала: «Нелли, сходи еще раз к дедушке, в последний раз, и попроси, чтоб он пришел ко мне и простил меня; скажи ему, что я через несколько дней умру и тебя одну на свете оставляю. И скажи ему еще, что мне тяжело умирать...» Я и пошла, постучалась к дедушке, он отворил и, как увидел меня, тотчас хотел было передо мной дверь затворить, но я ухватилась за дверь обеими руками и закричала ему: «Мамаша умирает, вас зовет, идите!..» Но он оттолкнул меня и захлопнул дверь. Я воротилась к мамаше, легла подле нее, обняла ее и ничего не сказала... Мамаша тоже обняла меня и ничего не расспрашивала...

Тут Николай Сергеич тяжело оперся рукой на стол и встал, но, обведя нас всех каким-то странным, мутным взглядом, как бы в бессилии опустился в кресла. Анна Андреевна уже не глядела на него, но, рыдая, обнимала Нелли...

— Вот в последний день, перед тем как ей умереть, перед вечером, мамаша подозвала меня к себе,взяла меня за руку и сказала: «Я сегодня умру, Нелли», хотела было еще говорить, но уж не могла. Я смотрю на нее, а она уж как будто меня и не видит, только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу бежала бегом и прибежала к дедушке. Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила: «Сейчас умрет». Тут он вдруг так и заметался; схватил свою палку и побежал за мной; даже и шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, чтоб он нанял извозчика, потому что мамаша сейчас умрет; но у дедушки было только семь копеек всех денег. Он останавливал извозчиков, торговался, но они только смеялись, и над Азоркой смеялись, а Азорка с нами бежал, и мы всё дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышал трудно, но всё торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести, и только перед самой ночью мы пришли домой... Но матушка уже лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, всплеснул руками, задрожал и стал над ней, а сам ничего не говорит. Тогда я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему: «Вот, жестокий и злой человек,

вот, смотри!.. смотри!» — тут дедушка закричал и упал на пол как мертвый...

Нелли вскочила, высвободилась из объятий Анны Андреевны и стала посреди нас, бледная, измученная и испуганная. Но Анна Андреевна бросилась к ней и, снова обняв ее, закричала как будто в каком-то вдохновении:

— Я, я буду тебе мать теперь, Нелли, а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдем, бросим их всех, жестоких и злых! Пусть потешаются над людьми, бог, бог зачтет им... Пойдем, Нелли, пойдем отсюда, пойдем!..

Я никогда, ни прежде, ни после, не видал ее в таком состоянии, да и не думал, чтоб она могла быть когда-нибудь так взволнована. Николай Сергеич выпрямился в креслах, приподнялся и прерывающимся голосом спросил:

— Куда ты, Анна Андреевна?

— К ней, к дочери, к Наташе! — закричала она и потащила Нелли за собой к дверям.

— Постой, постой, подожди!..

— Нечего ждать, жестокосердый и злой человек! Я долго ждала, и она долго ждала, а теперь прощай!..

Ответив это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенела: Николай Сергеич стоял перед ней, захватив свою шляпу, и дрожавшими бессильными руками торопливо натягивал на себя свое пальто.

— И ты... и ты со мной! — вскрикнула она, с мольбою сложив руки и недоверчиво смотря на него, как будто не смея и поверить такому счастью.

— Наташа, где моя Наташа! Где она! Где дочь моя! — вырвалось наконец из груди старика. — Отдайте мне мою Наташу! Где, где она! — и, схватив костыль, который я ему подал, он бросился к дверям.

— Простил! Простил! — вскричала Анна Андреевна.

Но старик не дошел до порога. Дверь быстро отворилась, и в комнату вбежала Наташа, бледная, с сверкающими глазами, как будто в горячке. Платье ее было измято и смочено дождем. Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней на затылок, и на разбившихся густых прядях ее волос сверкали крупные капли дождя. Она вбежала, увидала отца и с криком бросилась перед ним на колена, простирая к нему руки.

Глава IX

Но он уже держал ее в своих объятиях!..

Он схватил ее и, подняв как ребенка, отнес в свои кресла, посадил ее, а сам упал перед ней на колена. Он целовал ее руки, ноги; он торопился целовать ее, торопился наглядеться на нее, как будто еще не веря, что она опять вместе с ним, что он опять ее видит и слышит,— ее, свою дочь, свою Наташу! Анна Андреевна,

рыдая, охватила ее, прижала голову ее к своей груди и так и замерла в этом объятии, не в силах произнесть слова.

— Друг мой!.. жизнь моя!.. радость моя!.. — бессвязно восклицал старик, схватив руки Наташи и, как влюбленный, смотря в бледное, худенькое, но прекрасное личико ее, в глаза ее, в которых блистали слезы. — Радость моя, дитя мое! — повторял он и опять смолкал и с благоговейным упоением глядел на нее. — Что же, что же мне сказали, что она похудела! — проговорил он с торопливою, как будто детскою улыбкою, обращаясь к нам и всё еще стоя перед ней на коленах. — Худенькая, правда, бледненькая, но посмотри на нее, какая хорошенькая! Еще лучше, чем прежде была, да, лучше! — прибавил он, невольно умолкая под душевной болью, радостною болью, от которой как будто душу ломит надвое.

— Встаньте, папаша! Да встаньте же, — говорила Наташа, — ведь мне тоже хочется вас целовать...

— О милая! Слышишь, слышишь, Аннушка, как она это хорошо сказала, — и он судорожно обнял ее.

— Нет, Наташа, мне, мне надо у твоих ног лежать до тех пор, пока сердце мое услышит, что ты простила меня, потому что никогда, никогда не могу заслужить я теперь от тебя прощения! Я отверг тебя, я проклинал тебя, слышишь, Наташа, я проклинал тебя, — и я мог это сделать!.. А ты, а ты, Наташа: и могла ты поверить, что я тебя проклял! И поверила — ведь поверила! Не надо было верить! Не верила бы, просто бы не верила! Жестокое сердечко! Что же ты не шла ко мне? Ведь ты знала, как я приму тебя!.. О Наташа, ведь ты помнишь, как я прежде тебя любил: ну, а теперь и во всё это время я тебя вдвое, в тысячу раз больше любил, чем прежде! Я тебя с кровью любил! Душу бы из себя с кровью вынул, сердце свое располосовал да к ногам твоим положил бы!.. О радость моя!

— Да поцелуйте же меня, жестокий вы человек, в губы, в лицо поцелуйте, как мамаша целует! — воскликнула Наташа больным, расслабленным, полным слезами радости голосом.

— И в глазки тоже! И в глазки тоже! Помнишь, как прежде, — повторял старик после долгого, сладкого объятия с дочерью. — О Наташа! Снилось ли тебе когда про нас? А мне ты снилась чуть не каждую ночь, и каждую ночь ты ко мне приходила, и я над тобой плакал, а один раз ты, как маленькая, пришла, помнишь, когда еще тебе только десять лет было и ты на фортепьяно только что начинала учиться, — пришла в коротеньком платьице, в хорошеньких башмачках и с ручками красненькими... ведь у ней красненькие такие ручки были тогда, помнишь, Аннушка? — пришла ко мне, на колени села и обняла меня... И ты, и ты, девочка ты злая! И ты могла думать, что я проклял тебя, что я не приму тебя, если б ты пришла!.. Да ведь я... слушай, Наташа: да ведь я часто к тебе ходил, и мать не знала, и никто не знал; то под окнами у тебя стою, то жду: полсутки иной раз жду где-нибудь на тро-

туаре у твоих ворот! Не выйдешь ли ты, чтоб издали только посмотреть на тебя! А то у тебя по вечерам свеча на окошке часто горела; так сколько раз я, Наташа, по вечерам к тебе ходил, хоть на свечку твою посмотреть, хоть тень твою в окне увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла ли меня на ночь? Думала ли обо мне? Слышало ли твое сердечко, что я тут под окном? А сколько раз зимой я поздно ночью на твою лестницу подымусь и в темных сенях стою, сквозь дверь прислушиваюсь: не услышу ли твоего голоска? Не засмеешься ли ты? Проклял? Да ведь я в этот вечер к тебе приходил, простить тебя хотел и только от дверей воротился... О Наташа!

Он встал, он приподнял ее из кресел и крепко-крепко прижал ее к сердцу.

— Она здесь опять, у моего сердца! — вскричал он, — о, благодарю тебя, боже, за всё, за всё, и за гнев твой и за милость твою!.. И за солнце твое, которое просияло теперь, после грозы, на нас! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе, и пусть, пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унизившие и оскорбившие нас! Пусть они бросят в нас камень! Не бойся, Наташа... Мы пойдем рука в руку, и я скажу им: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю и которую благословляю во веки веков!..

— Ваня! Ваня!.. — слабым голосом проговорила Наташа, протягивая мне из объятий отца свою руку.

О! никогда я не забуду, что в эту минуту она вспомнила обо мне и позвала меня!

— Где же Нелли? — спросил старик, озираясь.

— Ах, где же она? — вскрикнула старушка, — голубчик мой! Ведь мы так ее и оставили!

Но ее не было в комнате; она незаметно проскользнула в спальню. Все пошли туда. Нелли стояла в углу, за дверью, и пугливо пряталась от нас.

— Нелли, что с тобой, дитя мое! — воскликнул старик, желая обнять ее. Но она как-то долго на него посмотрела...

— Мамаша, где мамаша? — проговорила она, как в беспамятстве, — где, где моя мамаша? — вскрикнула она еще раз, протягивая свои дрожащие руки к нам, и вдруг страшный, ужасный крик вырвался из ее груди; судороги пробежали по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол...

ЭПИЛОГ

Последние воспоминания

Половина июня. День жаркий и удушливый; в городе невозможно оставаться: пыль, известь, перестройки, раскаленные камни, отравленный испарениями воздух... Но вот, о радость! загремел где-то гром; мало-помалу небо нахмурилось; повеял ветер, гоняя

перед собою клубы городской пыли. Несколько крупных капель тяжело упало на землю, а за ними вдруг как будто разверзлось всё небо, и целая река воды пролилась над городом. Когда чрез полчаса снова просияло солнце, я отворил окно моей каморки и жадно, всею усталою грудью, дохнул свежим воздухом. В упоении я было хотел уже бросить перо, и все дела мои, и самого антрепренера, и бежать к *нашим* на Васильевский. Но хоть и велик был соблазн, я-таки успел побороть себя и с какою-то яростию снова напал на бумагу: во что бы то ни стало нужно было кончить! Антрепренер велит и иначе не даст денег. Меня *там* ждут, но зато я вечером буду свободен, совершенно свободен, как ветер, и сегодняшний вечер вознаградит меня за эти последние два дня и две ночи, в которые я написал три печатных листа с половиною.

И вот наконец кончена и работа; бросаю перо и подымаюсь, ощущаю боль в спине и в груди и дурман в голове. Знаю, что в эту минуту нервы мои расстроены в сильной степени, и как будто слышу последние слова, сказанные мне моим старичком доктором: «Нет, никакое здоровье не выдержит подобных напряжений, потому что это невозможно!» Однако ж покамест это возможно! Голова моя кружится; я едва стою на ногах, но радость, беспредельная радость наполняет мое сердце. Повесть моя совершенно кончена, и антрепренер, хотя я ему и много теперь должен, все-таки даст мне хоть сколько-нибудь, увидя в своих руках добычу, — хоть пятьдесят рублей, а я давным-давно не видал у себя в руках таких денег. Свобода и деньги!.. В восторге я схватил шляпу, рукопись под мышку и бегу стремглав, чтоб застать дома нашего драгоценнейшего Александра Петровича.

Я застаю его, но уже на выходе. Он, в свою очередь, только что кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и, выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким, милым баском спрашивает о моем здоровье. Это добрейший человек, и я, без шуток, многим ему обязан. Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был *только* антрепренером? Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя, честь ему и слава за это — антрепренерская, разумеется.

Он с приятной улыбкой узнаёт, что повесть кончена и что следующий номер книжки, таким образом, обеспечен в главном отделе, и удивляется, как это я мог хоть что-нибудь *кончить*, и при этом премило острит. Затем идет к своему железному сундуку, чтоб выдать мне обещанные пятьдесят рублей, а мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести.

Смотрю: это статья «переписчика». Меня не то чтоб ругают, но и не то чтоб хвалят, и я очень доволен. Но «переписчик» говорит, между прочим, что от сочинений моих вообще «пахнет потом», то

есть я до того над ними потею, тружусь, до того их обделываю и отделываю, что становится приторно.

Мы с антрепренером хохочем. Я докладываю ему, что прошлая повесть моя была написана в две ночи, а теперь в два дня и две ночи написано мною три с половиной печатных листа, — и если б знал это «переписчик», упрекающий меня в излишней копотливости и в тугой медленности моей работы!

— Однако ж вы сами виноваты, Иван Петрович. Зачем же вы так запаздываете, что приходится вот работать по ночам?

Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость — похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе, я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на Острова на свою дачу и, услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довезти меня в своей карете.

— У меня ведь новая каретка; вы не видали? Премиленькая.

Мы сходим к подъезду. Карета действительно премиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность *подвозить* в ней своих знакомых.

В карете Александр Петрович опять несколько раз пускается в рассуждения о современной литературе. При мне он не конфузится и преспокойно повторяет разные чужие мысли, слышанные им на днях от кого-нибудь из литераторов, которым он верит и чье суждение уважает. При этом ему случается иногда уважать удивительные вещи. Случается ему тоже перевирать чужое мнение или вставлять его не туда, куда следует, так что выходит бурда. Я сижу, молча слушаю и дивлюсь разнообразию и прихотливости страстей человеческих. «Ну, вот человек, — думаю я про себя, — сколачивал бы себе деньги да сколачивал; нет, ему еще нужно славы, литературной славы, славы хорошего издателя, критика!»

В настоящую минуту он силится подробно изложить мне одну литературную мысль, слышанную им дня три тому назад от меня же, и против которой он, три дня тому назад, со мной же спорил, а теперь выдает ее за свою. Но с Александром Петровичем такая забывчивость поминутно случается, и он известен этой невинной слабостью между всеми своими знакомыми. Как он рад теперь, ораторствуя в *своей* карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведет учено-литературный разговор, и даже мягкий, приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помалу он *залиберальничался* и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда, не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно «взаимное битье друг друга по мордасам» — особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искрен-

ность считать если не дураком, то по крайней мере простофилей. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича.

Но я уже его не слушаю. На Васильевском острове он выпускает меня из кареты, и я бегу к нашим. Вот и Тринадцатая линия, вот и их домик. Анна Андреевна, увидя меня, грозит мне пальцем, махает на меня руками и *шикает* на меня, чтоб я не шумел.

— Нелли только что заснула, бедняжка! — шепчет она мне поскорее, — ради бога, не разбудите! Только уж очень она, голубушка, слаба. Боимся мы за нее. Доктор говорит, что это покамест ничего. Да что от него путного-то добьешься, от *вашего* доктора! И не грех вам это, Иван Петрович? Ждали вас, ждали к обеду-то... ведь двое суток не были!..

— Но ведь я объявил еще третьего дня, что не буду двое суток, — шепчу я Анне Андреевне. — Надо было работу кончать...

— Да ведь к обеду сегодня обещался же прийти! Что ж не приходил? Нелли нарочно с постельки встала, ангельчик мой, в кресло покойное ее усадили, да и вывезли к обеду: «Хочу, дескать, с вами вместе Ваню ждать», а наш Ваня и не бывал. Ведь шесть часов скоро! Где протаскался-то? Греховодники вы эдакие! Ведь ее вы так расстроили, что уж я не знала, как и уговорить... благо заснула, голубушка. А Николай Сергеич к тому же в город ушел (к чаю-то будет!); одна и бьюсь... Место-то ему, Иван Петрович, выходит; только как подумаю, что в Перми, так и захолонет у меня на душе...

— А где Наташа?

— В садике, голубка, в садике! Сходите к ней... Что-то она тоже у меня такая... Как-то и не соображу... Ох, Иван Петрович, тяжело мне душой! Уверяет, что весела и довольна, да не верю я ей... Сходи-ка к ней, Ваня, да мне и расскажи ужо потихоньку, что с ней... Слышишь?

Но я уже не слушаю Анну Андреевну, а бегу в садик. Этот садик принадлежит к дому; он шагов в двадцать пять длиною и столько же в ширину и весь зарос зеленью. В нем три высоких старых, раскидистых дерева, несколько молодых березок, несколько кустов сирени, жимолости, есть уголок малинника, две грядки с клубникой и две узеньких извилистых дорожки, вдоль и поперек садика. Старик от него в восторге и уверяет, что в нем скоро будут расти грибы. Главное же в том, что Нелли полюбила этот садик, и ее часто вывозят в креслах на садовую дорожку, а Нелли теперь идол всего дома. Но вот и Наташа; она с радостью встречает меня и протягивает мне руку. Как она худа, как бледна! Она тоже едва оправилась от болезни.

— Совсем ли кончил, Ваня? — спрашивает она меня.

— Совсем, совсем! И на весь вечер совершенно свободен.

— Ну, слава богу! Торопился? Портил?

— Что ж делать! Впрочем, это ничего. У меня вырабатывается,
такую напряженную работу, какое-то особенное раздражение

нервов; я яснее соображаю, живее и глубже чувствую, и даже слог мне вполне подчиняется, так что в напряженной-то работе и лучше выходит. Всё хорошо...

— Эх, Ваня, Ваня!

Я замечаю, что Наташа в последнее время стала страшно ревнива к моим литературным успехам, к моей славе. Она перечитывает всё, что я в последний год напечатал, поминутно расспрашивает о дальнейших планах моих, интересуется каждой критикой, на меня написанной, сердится на иные и непременно хочет, чтоб я высоко поставил себя в литературе. Желания ее выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ее направлению.

— Ты только испишешься, Ваня, — говорит она мне, — изнасилуешь себя и испишешься; а кроме того, и здоровье погубишь. Вон С ***, тот в два года по одной повести пишет, а N * в десять лет всего только один роман написал. Зато как у них отчеканено, отделано! Ни одной небрежности не найдешь.

— Да, они обеспечены и пишут не на срок; а я — почтовая кляча! Ну, да это всё вздор! Оставим это, друг мой. Что, нет ли нового?

— Много. Во-первых, от *него* письмо.

— Еще?

— Еще. — И она подала мне письмо от Алеши. Это уже третье после разлуки. Первое он написал еще из Москвы и написал точно в каком-то припадке. Он уведомлял, что обстоятельства так сошлись, что ему никак нельзя воротиться из Москвы в Петербург, как было проектировано при разлуке. Во втором письме он спешил известить, что приезжает к нам на днях, чтоб поскорей обвенчаться с Наташей, что это решено и никакими силами не может быть остановлено. А между тем по тону всего письма было ясно, что он в отчаянии, что посторонние влияния уже вполне отяготели над ним и что он уже сам себе не верил. Он упоминал, между прочим, что Катя — его провидение и что она одна утешает и поддерживает его. Я с жадностью раскрыл его теперешнее, *третье* письмо.

Оно было на двух листах, написано отрывочно, беспорядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось тем, что Алеша отрекался от Наташи и уговаривал ее забыть его. Он силился доказать, что союз их невозможен, что посторонние, враждебные влияния сильнее всего и что, наконец, так и должно быть: и он и Наташа вместе будут несчастны, потому что они неровня. Но он не выдержал и вдруг, бросив свои рассуждения и доказательства, тут же, прямо, не разорвав и не отбросив первой половины письма, признавался, что он преступник перед Наташей, что он погибший человек и не в силах восстать против желаний отца, приехавшего в деревню. Писал он, что не в силах выразить своих мучений; признавался, между прочим, что вполне сознает в себе возможность составить счастье Наташи, начинал вдруг доказывать,

что они вполне ровня; с упорством, со злобою опровергал доводы отца; в отчаянии рисовал картину блаженства всей жизни, которое готовилось бы им обоим, ему и Наташе, в случае их брака, проклинал себя за свое малодушие и — прощался навеки! Письмо было написано с мучением; он, видимо, писал вне себя; у меня навернулись слезы... Наташа подала мне другое письмо, от Кати. Это письмо пришло в одном конверте с Алешиным, но особо запечатанное. Катя довольно кратко, в нескольких строках, уведомляла, что Алеша действительно очень грустит, много плачет и как будто в отчаянии, даже болен немного, но что *она* с ним и что он будет счастлив. Между прочим, Катя силилась растолковать Наташе, чтоб она не подумала, что Алеша так скоро мог утешиться и что будто грусть его не серьезна. «Он вас не забудет никогда, — прибавляла Катя, — да и не может забыть никогда, потому что у него не такое сердце; любит он вас беспредельно, будет всегда любить, так что если разлюбит вас хоть когда-нибудь, если хоть когда-нибудь перестанет тосковать при воспоминании о вас, то я сама разлюблю его за это тотчас же...»

Я возвратил Наташе оба письма; мы переглянулись с ней и не сказали ни слова. Так было и при первых двух письмах, да и вообще о прошлом мы теперь избегали говорить, как будто между нами это было условлено. Она страдала невыносимо, я это видел, но не хотела высказываться даже и передо мной. После возвращения в родительский дом она три недели вылежала в горячке и теперь едва оправилась. Мы даже мало говорили и о близкой перемене нашей, хотя она и знала, что старик получает место и что нам придется скоро расстаться. Несмотря на то, она до того была ко мне нежна, внимательна, до того занималась всем, что касалось до меня, во всё это время; с таким настойчивым, упорным вниманием выслушивала всё, что я должен был ей рассказывать о себе, что сначала мне это было даже тяжело: мне казалось, что она хотела меня вознаградить за прошлое. Но эта тягость быстро исчезла: я понял, что в ней совсем другое желание, что она *просто* любит меня, любит бесконечно, не может жить без меня и не заботиться о всем, что до меня касается, и я думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, как Наташа любила меня. Я очень хорошо знал, что предстоявшая нам разлука давила ее сердце, что Наташа мучилась; она знала тоже, что и я не могу без нее жить; но мы об этом не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящих событиях...

Я спросил о Николае Сергеиче.

— Он скоро, я думаю, воротится, — отвечала Наташа, — обещал к чаю.

— Это он всё о месте хлопочет?

— Да; впрочем, место уж теперь без сомнения будет; да и уходить ему было сегодня, кажется, незачем, — прибавила она в раздумье, — мог бы и завтра.

— Зачем же он ушел?

— А потому что я письмо получила... Он до того *болен* мной, — прибавила Наташа, помолчав, — что мне это даже тяжело, Ваня. Он, кажется, и во сне только одну меня видит. Я уверена, что он, кроме того: что со мной, как живу я, о чем теперь думаю? — ни о чем более и не помышляет. Всякая тоска моя отзывается в нем. Я ведь вижу, как он неловко иногда старается пересилить себя и показать вид, что обо мне не тоскует, напускает на себя веселость, старается смеяться и нас смешить. Маменька тоже в эти минуты сама не своя, и тоже не верит его смеху, и вздыхает... Такая она неловкая... Прямая душа! — прибавила она со смехом. — Вот как я получила сегодня письма, ему и понадобилось сейчас убежать, чтоб не встречаться со мной глазами... Я его больше себя, больше всех на свете люблю, Ваня, — прибавила она, потупив голову и сжав мою руку, — даже больше тебя...

Мы прошли два раза по саду, прежде чем она начала говорить.

— У нас сегодня Маслобоев был и вчера тоже был, — сказала она.

— Да, он в последнее время очень часто повадился к вам.

— И знаешь ли, зачем он здесь? Маменька в него верует, как не знаю во что. Она думает, что он до того всё это знает (ну там законы и всё это), что всякое дело может обделать. Как ты думаешь, какая у ней теперь мысль бродит? Ей, про себя, очень больно и жаль, что я не сделалась княгиней. Эта мысль ей жить не дает, и, кажется, она вполне открылась Маслобоеву. С отцом она боится говорить об этом и думает: не поможет ли ей в чем-нибудь Маслобоев, нельзя ли как хоть по законам? Маслобоев, кажется, ей не противоречит, а она его вином потчует, — прибавила с усмешкой Наташа.

— От этого проказника станется. Да почему же ты знаешь?

— Да ведь маменька мне сама проговорилась... намеками...

— Что Нелли? Как она? — спросил я.

— Я даже удивляюсь тебе, Ваня: до сих пор ты об ней не спросил! — с упреком сказала Наташа.

Нелли была идолом у всех в этом доме. Наташа ужасно полюбила ее, и Нелли отдалась ей наконец всем своим сердцем. Бедное дитя! Она и не ждала, что сыщет когда-нибудь таких людей, что найдет столько любви к себе, и я с радостию видел, что озлобленное сердце размягчилось и душа отворилась для нас всех. Она с каким-то болезненным жаром откликнулась на всеобщую любовь, которою была окружена, в противоположность всему своему прежнему, развившему в ней недоверие, злобу и упорство. Впрочем, и теперь Нелли долго упорствовала, долго намеренно таила от нас слезы примирения, накипавшие в ней, и наконец отдалась нам совсем. Она сильно полюбила Наташу, затем старика. Я же сделался ей чем-то до того необходимым, что болезнь ее усиливалась, если я долго не приходил. В последний раз, расставаясь на два дня, чтоб кончить наконец запущенную мною работу, я должен был много уговаривать ее... конечно, обиняками. Нелли всё еще сты-

дилась слишком прямого, слишком беззаветного проявления своего чувства...

Она всех нас очень беспокоила. Молча и безо всяких разговоров решено было, что она останется навеки в доме Николая Сергеича, а между тем отъезд приближался, а ей становилось всё хуже и хуже. Она заболела с того самого дня, как мы пришли с ней тогда к старикам, в день примирения их с Наташей. Впрочем, что ж я? Она и всегда была больна. Болезнь постепенно росла в ней и прежде, но теперь начала усиливаться с чрезвычайною быстротою. Я не знаю и не могу определить в точности ее болезни. Припадки, правда, повторялись с ней несколько чаще прежнего; но, главное, какое-то изнурение и упадок всех сил, беспрерывное лихорадочное и напряженное состояние — всё это довело ее в последние дни до того, что она уже не вставала с постели. И странно: чем более одолевала ее болезнь, тем мягче, тем ласковее, тем открытее к нам становилась Нелли. Три дня тому назад она поймала меня за руку, когда я проходил мимо ее кроватки, и потянула меня к себе. В комнате никого не было. Лицо ее было в жару (она ужасно похудела), глаза сверкали огнем. Она судорожно-страстно потянулась ко мне, и когда я наклонился к ней, она крепко обхватила мою шею своими смуглыми худенькими ручками и крепко поцеловала меня, а потом тотчас же потребовала к себе Наташу; я позвал ее; Нелли непременно хотелось, чтоб Наташа присела к ней на кровать и смотрела на нее...

— Мне самой на вас смотреть хочется, — сказала она. — Я вас вчера во сне видела и сегодня ночью увижу... вы мне часто снитесь... всякую ночь...

Ей, очевидно, хотелось что-то высказать, чувство давило ее; но она и сама не понимала своих чувств и не знала, как их выразить...

Николая Сергеича она любила почти более всех, кроме меня. Надо сказать, что и Николай Сергеич чуть ли не так же любил ее, как и Наташу. Он имел удивительное свойство развеселять и смешить Нелли. Только что он, бывало, придет к ней, тотчас же и начинается смех и даже шалости. Больная девочка развеселялась как ребенок, кокетничала с стариком, подсмеивалась над ним, рассказывала ему свои сны и всегда что-нибудь выдумывала, заставляла рассказывать и его, и старик до того был рад, до того был доволен, смотря на свою «маленькую дочку Нелли», что каждый день всё более и более приходил от нее в восторг.

— Ее нам всем бог послал в награду за наши страдания, — сказал он мне раз, уходя от Нелли и перекрестив ее по обыкновению на ночь.

Каждый день, по вечерам, когда мы все собирались вместе (Маслобоев тоже приходил почти каждый вечер), приезжал иногда и старик доктор, привязавшийся всею душою к Ихменевым; вывозили и Нелли в ее кресле к нам за круглый стол. Дверь на балкон отворялась. Зеленый садик, освещенный заходящим солнцем,

был весь на виду. Из него пахло свежей зеленью и только что распустившеюся сиренью. Нелли сидела в своем кресле, ласково на всех нас посматривала и прислушивалась к нашему разговору. Иногда же оживлялась и сама и неприметно начинала тоже что-нибудь говорить... Но в такие минуты мы все слушали ее обыкновенно даже с беспокойством, потому что в ее воспоминаниях были темы, которых нельзя было касаться. И я, и Наташа, и Ихменевы чувствовали и сознавали всю нашу вину перед ней, в тот день, когда она, трепещущая и измученная, *должна* была рассказать нам свою историю. Доктор особенно был против этих воспоминаний, и разговор обыкновенно старались переменить. В таких случаях Нелли старалась не показать нам, что понимает наши усилия, и начинала смеяться с доктором или с Николаем Сергеичем...

И однако ж, ей делалось всё хуже и хуже. Она стала чрезвычайно впечатлительна. Сердце ее билось неправильно. Доктор сказал мне даже, что она может умереть очень скоро.

Я не говорил этого Ихменевым, чтоб не растревожить их. Николай Сергеич был вполне уверен, что она выздоровеет к дороге.

— Вот и папенька воротился, — сказала Наташа, заслышав его голос. — Пойдем, Ваня.

Николай Сергеич, едва переступив за порог, по обыкновению своему, громко заговорил. Анна Андреевна так и замахала на него руками. Старик тотчас же присмирел и, увидя меня и Наташу, шепотом и с уторопленным видом стал нам рассказывать о результате своих похождений: место, о котором он хлопотал, было за ним, и он очень был рад.

— Через две недели можно и ехать, — сказал он, потирая руки, и заботливо, искоса взглянул на Наташу. Но та ответила ему улыбкой и обняла его, так что сомнения его мигом рассеялись.

— Поедем, поедем, друзья мои, поедем! — заговорил он, обрадовавшись. — Вот только ты, Ваня, только с тобой расставаться больно... (Замечу, что он ни разу не предложил мне ехать с ними вместе, что, судя по его характеру, непременно бы сделал... при других обстоятельствах, то есть если б не знал моей любви к Наташе.)

— Ну, что ж делать, друзья, что ж делать! Больно мне, Ваня; но перемена места нас всех оживит... Перемена места — значит перемена *всего*! — прибавил он, еще раз взглянув на дочь.

Он верил в это и был рад своей вере.

— А Нелли? — сказала Анна Андреевна.

— Нелли? Что ж... она, голубчик мой, больна немножко, но к тому-то времени уж наверно выздоровеет. Ей и теперь лучше: как ты думаешь, Ваня? — проговорил он, как бы испугавшись, и с беспокойством смотрел на меня, точно я-то и должен был разрешить его недоумения.

— Что она? Как спала? Не было ли с ней чего? Не проснулась ли она теперь? Знаешь что, Анна Андреевна: мы столик-то придвинем

поскорей на террасу, принесут самовар, придут наши, мы все усядемся, и Нелли к нам выйдет... Вот и прекрасно. Да уж не проснулась ли она? Пойду я к ней. Только посмотрю на нее... не разбужу, не беспокойся! — прибавил он, видя, что Анна Андреевна снова замахала на него руками.

Но Нелли уж проснулась. Через четверть часа мы все, по обыкновению, сидели вокруг стола за вечерним самоваром.

Нелли вывезли в креслах. Явился доктор, явился и Маслобоев. Он принес для Нелли большой букет сирени; но сам был чем-то озабочен и как будто раздосадован.

Кстати: Маслобоев ходил чуть не каждый день. Я уже говорил, что все, и особенно Анна Андреевна, чрезвычайно его полюбили, но никогда ни слова не упоминалось у нас вслух об Александре Семеновне; не упоминал о ней и сам Маслобоев. Анна Андреевна, узнав от меня, что Александра Семеновна еще не успела сделаться его *законной* супругой, решила про себя, что и принимать ее и говорить об ней в доме нельзя. Так и наблюдалось, и этим очень обрисовывалась и сама Анна Андреевна. Впрочем, не будь у ней Наташи и, главное, не случись того, что случилось, она бы, может быть, и не была так разборчива.

Нелли в этот вечер была как-то особенно грустна и даже чем-то озабочена. Как будто она видела дурной сон и задумалась о нем. Но подарку Маслобоева она очень обрадовалась и с наслаждением поглядывала на цветы, которые поставили перед ней в стакане.

— Так ты очень любишь цветочки, Нелли? — сказал старик. — Постой же! — прибавил он с одушевлением, — завтра же... ну, да вот увидишь сама!..

— Люблю, — отвечала Нелли, — и помню, как мы мамашу с цветами встречали. Мамаша, еще когда мы были *там* (*там* значило теперь за границей), была один раз целый месяц очень больна. Я и Генрих сговорились, что когда она встанет и первый раз выйдет из своей спальни, откуда она целый месяц не выходила, то мы и уберем все комнаты цветами. Вот мы так и сделали. Мамаша сказала с вечера, что завтра утром она непременно выйдет вместе с нами завтракать. Мы встали рано-рано. Генрих принес много цветов, и мы всю комнату убрали зелеными листьями и гирляндами. И плющ был и еще такие широкие листья, — уж не знаю, как они называются, — и еще другие листья, которые за всё цепляются, и белые цветы большие были, и нарциссы были, а я их больше всех цветов люблю, и розаны были, такие славные розаны, и много-много было цветов. Мы их все развесили в гирляндах и в горшках расставили, и такие цветы тут были, что как целые деревья, в больших кадках; их мы по углам расставили и у кресел мамаши, и как мамаша вышла, то удивилась и очень обрадовалась, а Генрих был рад... Я это теперь помню...

В этот вечер Нелли была как-то особенно слаба и слабонервна. Доктор с беспокойством взглядывал на нее. Но ей очень хотелось говорить. И долго, до самых сумерек, рассказывала она о своей

прежней жизни *там*; мы ее не прерывали. *Там* с мамашей и с Генрихом они много ездили, и прежние воспоминания ярко восставали в ее памяти. Она с волнением рассказывала о голубых небесах, о высоких горах, со снегом и льдами, которые она видела и проезжала, о горных водопадах; потом об озерах и долинах Италии, о цветах и деревьях, об сельских жителях, об их одежде и об их смуглых лицах и черных глазах; рассказывала про разные встречи и случаи, бывшие с ними. Потом о больших городах и дворцах, о высокой церкви с куполом, который весь вдруг иллюминовался разноцветными огнями; потом об жарком, южном городе с голубыми небесами и с голубым морем... Никогда еще Нелли не рассказывала нам так подробно воспоминаний своих. Мы слушали ее с напряженным вниманием. Мы все знали только до сих пор другие ее воспоминания — в мрачном, угрюмом городе, с давящей, одуряющей атмосферой, с зараженным воздухом, с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью; с тусклым, бедным солнцем и с злыми, полусумасшедшими людьми, от которых так много и она, и мамаша ее вытерпели. И мне представилось, как они обе в грязном подвале, в сырой сумрачный вечер, обнявшись на бедной постели своей, вспоминали о своем прошедшем, о покойном Генрихе и о чудесах других земель... Представилась мне и Нелли, вспоминавшая всё это уже одна, без мамаши своей, когда Бубнова побоями и зверскою жестокостью хотела сломить ее и принудить на недоброе дело...

Но наконец с Нелли сделалось дурно, и ее отнесли назад. Старик очень испугался и досадовал, что ей дали так много говорить. С ней был какой-то припадок, вроде обмирания. Этот припадок повторялся с ней уже несколько раз. Когда он кончился, Нелли настоятельно потребовала меня видеть. Ей надо было что-то сказать мне одному. Она так упрашивала об этом, что в этот раз доктор сам настоял, чтоб исполнили ее желание, и все вышли из комнаты.

— Вот что, Ваня, — сказала Нелли, когда мы остались вдвоем, — я знаю, они думают, что я с ними поеду; но я не поеду, потому что не могу, и останусь пока у тебя, и мне это надо было сказать тебе.

Я стал было ее уговаривать; сказал, что у Ихменевых ее все так любят, что ее за родную дочь почитают. Что все будут очень жалеть о ней. Что у меня, напротив, ей тяжело будет жить и что хоть я и очень ее люблю, но что, нечего делать, расстаться надо.

— Нет, нельзя! — настойчиво ответила Нелли, — потому что я вижу часто мамашу во сне, и она говорит мне, чтоб я не ездила с ними и осталась здесь; она говорит, что я очень много согрешила, что дедушку одного оставила, и всё плачет, когда это говорит. Я хочу остаться здесь и ходить за дедушкой, Ваня.

— Но ведь твой дедушка уж умер, Нелли, — сказал я, выслушав ее с удивлением.

Она подумала и пристально посмотрела на меня.

— Расскажи мне, Ваня, еще раз, — сказала она, — как дедушка умер. Всё расскажи и ничего не пропускай.

Я был изумлен ее требованием, но, однако ж, принялся рассказывать во всей подробности. Я подозревал, что с нею бред или, по крайней мере, что после припадка голова ее еще не совсем свежа.

Она внимательно выслушала мой рассказ, и помню, как ее черные, сверкающие больным, лихорадочным блеском глаза пристально и неотступно следили за мной во всё продолжение рассказа. В комнате было уже темно.

— Нет, Ваня, он не умер! — сказала она решительно, всё выслушав и еще раз подумав. — Мамаша мне часто говорит о дедушке, и когда я вчера сказала ей: «Да ведь дедушка умер», она очень огорчилась, заплакала и сказала мне, что нет, что мне нарочно так сказали, а что он ходит теперь и милостыню просит, «так же как мы с тобой прежде просили, — говорила мамаша, — и всё ходит по тому месту, где мы с тобой его в первый раз встретили, когда я упала перед ним и Азорка узнал меня...»

— Это сон, Нелли, сон больной, потому что ты теперь сама больна, — сказал я ей.

— Я и сама всё думала, что это только сон, — сказала Нелли,— и не говорила никому. Только тебе одному всё рассказать хотела. Но сегодня, когда я заснула после того, как ты не пришел, то увидела во сне и самого дедушку. Он сидел у себя дома и ждал меня, и был такой страшный, худой, и сказал, что он два дня ничего не ел и Азорка тоже, и очень на меня сердился и упрекал меня. Он мне тоже сказал, что у него совсем нет нюхательного табаку, а что без этого табаку он и жить не может. Он и в самом деле, Ваня, мне прежде это один раз говорил, уж после того как мамаша умерла, когда я приходила к нему. Тогда он был совсем больной и почти ничего уж не понимал. Вот как я услышала это от него сегодня, и думаю: пойду я, стану на мосту и буду милостыню просить, напрошу и куплю ему и хлеба, и вареного картофелю, и табаку. Вот будто я стою прошу и вижу, что дедушка около ходит, помедлит немного и подойдет ко мне, и смотрит, сколько я набрала, и возьмет себе. Это, говорит, на хлеб, теперь на табак сбирай. Я сбираю, а он подойдет и отнимет у меня. Я ему и говорю, что и без того всё отдам ему и ничего себе не спрячу. «Нет, говорит, ты у меня воруешь; мне и Бубнова говорила, что ты воровка, оттого-то я тебя к себе никогда не возьму. Куды ты еще пятак дела?» Я заплакала тому, что он мне не верит, а он меня не слушает и всё кричит: «Ты украла один пятак!» — и стал бить меня, тут же на мосту, и больно бил. И я очень плакала... Вот я и подумала теперь, Ваня, что он непременно жив и где-нибудь один ходит и ждет, чтоб я к нему пришла...

Я снова начал ее уговаривать и разуверять и наконец, кажется, разуверил. Она отвечала, что боится теперь заснуть, потому что дедушку увидит. Наконец крепко обняла меня...

— А все-таки я не могу тебя покинуть, Ваня! — сказала она мне, прижимаясь к моему лицу своим личиком. — Если б и дедушки не было, я всё с тобой не расстанусь.

В доме все были испуганы припадком Нелли. Я потихоньку пересказал доктору все ее грезы и спросил у него окончательно, как он думает о ее болезни?

— Ничего еще неизвестно, — отвечал он, соображая, — я покамест догадываюсь, размышляю, наблюдаю, но... ничего неизвестно. Вообще выздоровление невозможно. Она умрет. Я им не говорю, потому что вы так просили, но мне жаль, и я предложу завтра же консилиум. Может быть, болезнь примет после консилиума другой оборот. Но мне очень жаль эту девочку, как дочь мою... Милая, милая девочка! И с таким игривым умом!

Николай Сергеич был в особенном волнении.

— Вот что, Ваня, я придумал, — сказал он, — она очень любит цветы. Знаешь что? Устроим-ка ей завтра, как она проснется, такой же прием, с цветами, как она с этим Генрихом для своей мамаши устроила, вот что сегодня рассказывала... Она это с таким волнением рассказывала...

— То-то с волнением, — отвечал я. — Волнения-то ей теперь вредны...

— Да, но приятные волнения другое дело! Уж поверь, голубчик, опытности моей поверь, приятные волнения ничего; приятные волнения даже излечить могут, на здоровье подействовать...

Одним словом, выдумка старика до того прельщала его самого, что он уже пришел от нее в восторг. Невозможно было и возражать ему. Я спросил совета у доктора, но прежде чем тот собрался сообразить, старик уже схватил свой картуз и побежал обделывать дело.

— Вот что, — сказал он мне, уходя, — тут неподалеку есть одна оранжерея; богатая оранжерея. Садовники распродают цветы, можно достать, и предешево!.. Удивительно даже, как дешево! Ты внуши это Анне Андреевне, а то она сейчас рассердится за расходы... Ну, так вот... Да! вот что еще, дружище: куда ты теперь? Ведь отделался, кончил работу, так чего ж тебе домой-то спешить? Ночуй у нас, наверху, в светелке: помнишь, как прежде бывало. И тюфяк твой и кровать — всё там на прежнем месте стоит и не тронуто. Заснешь, как французский король. А? останься-ка. Завтра проснемся пораньше, принесут цветы, и к восьми часам мы вместе всю комнату уберем. И Наташа поможет: у ней вкусу-то ведь больше, чем у нас с тобой... Ну, соглашаешься? Ночуешь?

Решили, что я останусь ночевать. Старик обделал дело. Доктор и Маслобоев простились и ушли. У Ихменевых ложились спать рано, в одиннадцать часов. Уходя, Маслобоев был в задумчивости и хотел мне что-то сказать, но отложил до другого раза. Когда же я, простясь с стариками, поднялся в свою светелку, то, к удивлению моему, увидел его опять. Он сидел в ожидании меня за столиком и перелистывал какую-то книгу.

— Воротился с дороги, Ваня, потому лучше уж теперь рассказать. Садись-ка. Видишь, дело-то всё такое глупое, досадно даже...

— Да что такое?

— Да подлец твой князь разозлил еще две недели тому назад; да так разозлил, что я до сих пор злюсь.

— Что, что такое? Разве ты всё еще с князем в сношениях?

— Ну, вот уж ты сейчас: «что, что такое?», точно и бог знает что случилось. Ты, брат Ваня, ни дать ни взять, моя Александра Семеновна, и вообще всё это несносное бабье... Терпеть не могу бабья!.. Ворона каркнет — сейчас и «что, что такое?»

— Да ты не сердись.

— Да я вовсе не сержусь, а на всякое дело надо смотреть обыкновенными глазами, не преувеличивая... вот что.

Он немного помолчал, как будто всё еще сердясь на меня. Я не прерывал его.

— Видишь, брат, — начал он опять, — напал я на один след... то есть в сущности вовсе не напал и не было никакого следа, а так мне показалось... то есть из некоторых соображений я было вывел, что Нелли... может быть... Ну, одним словом, князева законная дочь.

— Что ты!

— Ну, и заревел сейчас: «что ты!» То есть ровно ничего говорить нельзя с этими людьми! — вскричал он, неистово махнув рукой. — Я разве говорил тебе что-нибудь положительно, легкомысленная ты голова? Говорил я тебе, что она *доказанная законная* князева дочь? Говорил или нет?..

— Послушай, душа моя, — прервал я его в сильном волнении, — ради бога, не кричи и объясняйся точно и ясно. Ей-богу, пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дело и какие последствия...

— То-то последствия, а из чего? Где доказательства? Дела не так делаются, и я тебе под секретом теперь говорю. А зачем я об этом с тобой заговорил — потом объясню. Значит, так надо было. Молчи и слушай и знай, что всё это секрет...

Видишь, как было дело. Еще зимой, еще прежде, чем Смит умер, только что князь воротился из Варшавы, и начал он это дело. То есть начато оно было и гораздо раньше, еще в прошлом году. Но тогда он одно разыскивал, а теперь начал разыскивать другое. Главное дело в том, что он нитку потерял. Тринадцать лет, как он расстался в Париже с Смитихой и бросил ее, но все эти тринадцать лет он неуклонно следил за нею, знал, что она живет с Генрихом, про которого сегодня рассказывали, знал, что у ней Нелли, знал, что сама она больна; ну, одним словом, всё знал, только вдруг и потерял нитку. А случилось это, кажется, вскоре по смерти Генриха, когда Смитиха собралась в Петербург. В Петербурге он, разумеется, скоро бы ее отыскал, под каким бы именем она ни воротилась в Россию; да дело в том, что заграничные

его агенты его ложным свидетельством обманули: уверили его, что она живет в одном каком-то заброшенном городишке в южной Германии; сами они обманулись по небрежности: одну приняли за другую. Так и продолжалось год или больше. По прошествии года князь начал сомневаться: по некоторым фактам ему еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопрос: куда делась настоящая Смитиха? И пришло ему в голову (так, даже безо всяких данных): не в Петербурге ли она? Покамест за границей шла одна справка, он уже здесь затеял другую, но, видно, не хотел употреблять слишком официального пути и познакомился со мной. Ему меня рекомендовали: так и так, дескать, занимается делами, любитель, — ну и так далее, и так далее ...

Ну, так вот и разъяснил он мне дело; только темно, чертов сын, разъяснил, темно и двусмысленно. Ошибок было много, повторялся несколько раз, факты в различных видах в одно и то же время передавал... Ну, известно, как ни хитри, всех ниток не спрячешь. Я, разумеется, начал с подобострастия и простоты душевной, — словом, рабски предан; а по правилу, раз навсегда мною принятому, а вместе с тем и по закону природы (потому что это закон природы) сообразил, во-первых: ту ли надобность мне высказали? Во-вторых: не скрывается ли под высказанной надобностью какой-нибудь другой, недосказанной? Ибо в последнем случае, как, вероятно, и ты, милый сын, можешь понять поэтической своей головой, — он меня обкрадывал: ибо одна надобность, положим, рубль стоит, а другая вчетверо стоит; так дурак же я буду, если за рубль передам ему то, что четырех стоит. Начал я вникать и догадываться и мало-помалу стал нападать на следы; одно у него самого выпытал, другое — кой от кого из посторонних, насчет третьего своим умом дошел. Спросишь ты неравно: почему именно я так вздумал действовать? Отвечу: хоть бы по тому одному, что князь слишком уж что-то захлопотал, чего-то уж очень испугался. Потому в сущности — чего бы, кажется, пугаться? Увез от отца любовницу, она забеременела, а он ее бросил. Ну, что тут удивительного? Милая, приятная шалость и больше ничего. Не такому человеку, как князь, этого бояться! Ну, а он боялся... Вот мне и сомнительно стало. Я, брат, на некоторые прелюбопытные следы напал, между прочим через Генриха. Он, конечно, умер; но от одной из кузин его (теперь за одним булочником здесь, в Петербурге), страстно влюбленной в него прежде и продолжавшей любить его лет пятнадцать сряду, несмотря на толстого фатера-булочника, с которым невзначай прижила восьмерых детей, — от этой-то кузины, говорю, я и успел, через посредство разных многосложных маневров, узнать важную вещь: Генрих писал ей по-немецкому обыкновению письма и дневники, а перед смертью прислал ей кой-какие свои бумаги. Она, дура, важного-то в этих письмах не понимала, а понимала в них только те места, где говорится о луне, о мейн либер Августине и о Виланде еще, кажется. Но я-то сведения нужные получил и через эти письма на новый след напал.

Узнал я, например, о господине Смите, о капитале, у него похищенном дочкой, о князе, забравшем в свои руки капитал; наконец, среди разных восклицаний, обиняков и аллегорий проглянула мне в письмах и настоящая суть: то есть, Ваня, понимаешь! Ничего положительного. Дурачина Генрих нарочно об этом скрывал и только намекал, ну, а из этих намеков, из всего-то вместе взятого, стала выходить для меня небесная гармония: князь ведь был на Смитихе-то женат! Где женился, как, когда именно, за границей или здесь, где документы? — ничего неизвестно. То есть, брат Ваня, я волосы рвал с досады и отыскивал-отыскивал, то есть дни и ночи разыскивал!

Разыскал я наконец и Смита, а он вдруг и умри. Я даже на него живого-то и не успел посмотреть. Тут, по одному случаю, узнаю я вдруг, что умерла одна подозрительная для меня женщина на Васильевском острове, справляюсь — и нападаю на след. Стремлюсь на Васильевский, и, помнишь, мы тогда встретились. Много я тогда почерпнул. Одним словом, помогла мне тут во многом и Нелли...

— Послушай, — прервал я его, — неужели ты думаешь, что Нелли знает...

— Что?

— Что она дочь князя?

— Да ведь ты сам знаешь, что она дочь князя, — отвечал он, глядя на меня с какою-то злобною укоризною, — ну, к чему такие праздные вопросы делать, пустой ты человек? Главное не в этом, а в том, что она знает, что она не просто дочь князя, а *законная* дочь князя, — понимаешь ты это?

— Быть не может! — вскричал я.

— Я и сам говорил себе «быть не может» сначала, даже и теперь иногда говорю себе «быть не может»! Но в том-то и дело, что это *быть может* и, по всей вероятности, *есть*.

— Нет, Маслобоев, это не так, ты увлекся, — вскричал я. — Она не только не знает этого, но она и в самом деле незаконная дочь. Неужели мать, имея хоть какие-нибудь документы в руках, могла выносить такую злую долю, как здесь в Петербурге, и, кроме того, оставить свое дитя на такое сиротство? Полно! Этого быть не может.

— Я и сам это думал, то есть это даже до сих пор стоит передо мной недоумением. Но опять-таки дело в том, что ведь Смитиха была сама по себе безумнейшая и сумасброднейшая женщина в мире. Необыкновенная она женщина была; ты сообрази только все обстоятельства: ведь это романтизм, — всё это надзвездные глупости в самом диком и сумасшедшем размере. Возьми одно: с самого начала она мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об ангелах, влюбилась беззаветно, поверила безгранично и, я уверен, с ума сошла потом не оттого, что он ее разлюбил и бросил, а оттого, что в нем она обманулась, что он *способен был* ее обмануть и бросить; оттого, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее. Ее романтическая и безумная душа не вынесла

этого превращения. А сверх того и обида: понимаешь, какая обида! В ужасе и, главное, в гордости она отшатнулась от него с безграничным презрением. Она разорвала все связи, все документы; плюнула на деньги, даже забыла, что они не ее, а отцовы, и отказалась от них, как от грязи, как от пыли, чтоб подавить своего обманщика душевным величием, чтоб считать его своим вором и иметь право всю жизнь презирать его, и тут же, вероятно, сказала, что бесчестием себе почитает называться и женой его. У нас развода нет, но de facto[1] они развелись, и ей ли было после умолять его о помощи! Вспомни, что она, сумасшедшая, говорила Нелли уже на смертном одре: не ходи к ним, работай, погибни, но не ходи к ним, кто бы *ни звал тебя* (то есть она и тут мечтала еще, что ее *позовут,* а следственно, будет случай отмстить еще раз, подавить презрением *зовущего,* — одним словом, кормила себя вместо хлеба злобной мечтой). Много, брат, я выпытал и у Нелли; даже и теперь иногда выпытываю. Конечно, мать ее была больна, в чахотке; эта болезнь особенно развивает озлобление и всякого рода раздражения; но, однако ж, я наверно знаю, через одну куму у Бубновой, что она писала к князю, да, к князю, к самому князю...

— Писала! И дошло письмо? — вскричал я с нетерпением.

— Вот то-то и есть, не знаю, дошло ли оно. Раз Смитиха сошлась с этой кумой (помнишь, у Бубновой девка-то набеленная? — теперь она в смирительном доме), ну и посылала с ней это письмо и написала уж его, да и не отдала, назад взяла; это было за три недели до ее смерти ... Факт значительный: если раз уж решалась послать, так всё равно, хоть и взяла обратно: могла другой раз послать. Итак, посылала ли она письмо или не посылала — не знаю; но есть одно основание предположить, что не посылала, потому что князь узнал *наверно*, что она в Петербурге и где именно, кажется, уже после смерти ее. То-то, должно быть, обрадовался!

— Да, я помню, Алеша говорил о каком-то письме, которое его очень обрадовало, но это было очень недавно, всего каких-нибудь два месяца. Ну, что ж дальше, дальше, как же ты-то с князем?

— Да что я-то с князем? Пойми: полнейшая нравственная уверенность и ни одного положительного доказательства, — *ни одного,* как я ни бился. Положение критическое! Надо было за границей справки делать, а где за границей? — неизвестно. Я, разумеется, понял, что предстоит мне бой, что я только могу его испугать намеками, прикинуться, что знаю больше, чем в самом деле знаю...

— Ну, и что ж?

— Не дался в обман, а, впрочем, струсил, до того струсил, что трусит и теперь. У нас было несколько сходок; каким он Лазарем было прикинулся! Раз, по дружбе, сам мне всё принялся рассказывать. Это когда думал, что я *всё* знаю. Хорошо рассказывал, с чувством, откровенно — разумеется, бессовестно лгал. Вот тут я

[1] фактически (*лат.*).

и измерил, до какой степени он меня боялся. Прикидывался я перед ним одно время ужаснейшим простофилей, а наружу показывал, что хитрю. Неловко его запугивал, то есть нарочно неловко; грубостей ему нарочно наделал, грозить ему было начал, — ну, всё для того, чтоб он меня за простофилю принял и как-нибудь да проговорился. Догадался, подлец! Другой раз я пьяным прикинулся, тоже толку не вышло: хитер! Ты, брат, можешь ли это понять, Ваня, мне всё надо было узнать, в какой степени он меня опасается, и второе: представить ему, что я больше знаю, чем знаю в самом деле...

— Ну, что ж наконец-то?

— Да ничего не вышло. Надо было доказательств, фактов, а их у меня не было. Одно только он понял, что я все-таки могу сделать скандал. Конечно, он только скандала одного и боялся, тем более что здесь связи начал заводить. Ведь ты знаешь, что он женится?

— Нет...

— В будущем году! Невесту он себе еще в прошлом году приглядел; ей было тогда всего четырнадцать лет, теперь ей уж пятнадцать, кажется, еще в фартучке ходит, бедняжка. Родители рады! Понимаешь, как ему надо было, чтоб жена умерла? Генеральская дочка, денежная девочка — много денег! Мы, брат Ваня, с тобой никогда так не женимся... Только чего я себе во всю жизнь не прощу, — вскричал Маслобоев, крепко стукнув кулаком по столу, — это — что он оплел меня, две недели назад... подлец!

— Как так?

— Да так. Я вижу, он понял, что у меня нет ничего *положительного,* и, наконец, чувствую про себя, что чем больше дело тянуть, тем скорее, значит, поймет он мое бессилие. Ну, и согласился принять от него две тысячи.

— Ты взял две тысячи!..

— Серебром, Ваня; скрепя сердце взял. Ну, двух ли тысяч такое дело могло стоить! С унижением взял. Стою перед ним, как оплеванный; он говорит: я вам, Маслобоев, за ваши прежние труды еще не заплатил (а за прежние он давно заплатил сто пятьдесят рублей, по условию), ну, так вот я еду; тут две тысячи, и потому, надеюсь, *всё наше* дело совершенно теперь кончено. Ну, я и отвечал ему: «Совершенно кончено, князь», а сам и взглянуть в его рожу не смею; думаю: так и написано теперь на ней: «Что, много взял? Так только, из благодушия одного дураку даю!» Не помню, как от него и вышел!

— Да ведь это подло, Маслобоев! — вскричал я, — что ж ты сделал с Нелли?

— Это не просто подло, это каторжно, это пакостно... Это... это... да тут и слов нет, чтобы выразить!

— Боже мой! Да ведь он по крайней мере должен бы хоть обеспечить Нелли!

— То-то должен. А чем принудить? Запугать? Небось не испугается: ведь я деньги взял. Сам, сам перед ним признался, что

всего страху-то у меня на две тысячи рублей серебром, сам себя оценил в эту сумму! Чем его теперь напугаешь?

— И неужели, неужели дело Нелли так и пропало? — вскричал я почти в отчаянии.

— Ни за что! — вскричал с жаром Маслобоев и даже как-то весь встрепенулся. — Нет, я ему этого не спущу! Я опять начну новое дело, Ваня: я уж решился! Что ж, что я взял две тысячи? Наплевать. Я, выходит, за обиду взял, потому что он, бездельник, меня надул, стало быть, насмеялся надо мною. Надул, да еще насмеялся! Нет, я не позволю над собой смеяться... Теперь я, Ваня, уж с самой Нелли начну. По некоторым наблюдениям, я вполне уверен, что в ней заключается вся развязка этого дела. Она *всё* знает, *всё*... Ей сама мать рассказала. В горячке, в тоске могла рассказать. Некому было жаловаться, подвернулась Нелли, она ей и рассказала. А может быть, и на документики какие-нибудь нападем, — прибавил он в сладком восторге, потирая руки. — Понимаешь теперь, Ваня, зачем я сюда шляюсь? Во-первых, из дружбы к тебе, это само собою; но главное — наблюдаю Нелли, а в-третьих, друг Ваня, хочешь не хочешь, а ты должен мне помогать, потому что ты имеешь влияние на Нелли!..

— Непременно, клянусь тебе, — вскричал я, — и надеюсь, Маслобоев, что ты, главное, для Нелли будешь стараться — для бедной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды...

— Да тебе-то какое дело, для чьей выгоды я буду стараться, блаженный ты человек? Только бы сделать — вот что главное! Конечно, главное для сиротки, это и человеколюбие велит. Но ты, Ванюша, не осуждай меня безвозвратно, если я и об себе позабочусь. Я человек бедный, а он бедных людей не смей обижать. Он у меня мое отнимает, да еще и надул, подлец, вдобавок. Так я, по-твоему, такому мошеннику должен в зубы смотреть? Морген-фри!

Но цветочный праздник наш на другой день не удался. Нелли сделалось хуже, и она уже не могла выйти из комнаты.

И уж никогда больше она не выходила из этой комнаты.

Она умерла две недели спустя. В эти две недели своей агонии она уже ни разу не могла совершенно прийти в себя и избавиться от своих странных фантазий. Рассудок ее как будто помутился. Она твердо была уверена, до самой смерти своей, что дедушка зовет ее к себе и сердится на нее, что она не приходит, стучит на нее палкою и велит ей идти просить у добрых людей на хлеб и на табак. Часто она начинала плакать во сне и, просыпаясь, рассказывала, что видела мамашу.

Иногда только рассудок как будто возвращался к ней вполне. Однажды мы оставались одни: она потянулась ко мне и схватила мою руку своей худенькой, воспаленной от горячечного жару ручкой.

— Ваня, — сказала она мне, — когда я умру, женись на Наташе!

Это, кажется, была постоянная и давнишняя ее идея. Я молча улыбнулся ей. Увидя мою улыбку, она улыбнулась сама, с шаловливым видом погрозила мне своим худеньким пальчиком и тотчас же начала меня целовать.

За три дня до своей смерти, в прелестный летний вечер, она попросила, чтоб подняли штору и отворили окно в ее спальне. Окно выходило в садик; она долго смотрела на густую зелень, на заходящее солнце и вдруг попросила, чтоб нас оставили одних.

— Ваня, — сказала она едва слышным голосом, потому что была уже очень слаба, — я скоро умру. Очень скоро, и хочу тебе сказать, чтоб ты меня помнил. На память я тебе оставлю вот это (и она показала мне большую ладонку, которая висела у ней на груди вместе с крестом). Это мне мамаша оставила, умирая. Так вот, когда я умру, ты и сними эту ладонку, возьми себе и прочти, что в ней есть. Я и всем им сегодня скажу, чтоб они одному тебе отдали эту ладонку. И когда ты прочтешь, что в ней написано, то поди к *нему* и скажи, что я умерла, а *его* не простила. Скажи ему тоже, что я Евангелие недавно читала. Там сказано: прощайте всем врагам своим. Ну, так я это читала, а *его* все-таки не простила, потому что когда мамаша умирала и еще могла говорить, то последнее, что она сказала, было: «*Проклинаю его*», ну так и я *его* проклинаю, не за себя, а за мамашу проклинаю... Расскажи же ему, как умирала мамаша, как я осталась одна у Бубновой; расскажи, как ты видел меня у Бубновой, всё, всё расскажи и скажи тут же, что я лучше хотела быть у Бубновой, а к нему не пошла...

Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее сверкали и сердце начало стучать так сильно, что она опустилась на подушки и минуты две не могла проговорить слова.

— Позови их, Ваня, — сказала она наконец слабым голосом,— я хочу с ними со всеми проститься. Прощай, Ваня!..

Она крепко-крепко обняла меня в последний раз. Вошли все наши. Старик не мог понять, что она умирает; допустить этой мысли не мог. Он до последнего времени спорил со всеми нами и уверял, что она выздоровеет непременно. Он весь высох от заботы, он просиживал у кровати Нелли по целым дням и даже ночам... Последние ночи он буквально не спал. Он старался предупредить малейшую прихоть, малейшее желание Нелли и, выходя от нее к нам, горько плакал, но через минуту опять начинал надеяться и уверять нас, что она выздоровеет. Он заставил цветами всю ее комнату. Один раз купил он целый букет прелестнейших роз, белых и красных, куда-то далеко ходил за ними и принес своей Нелличке... Всем этим он очень волновал ее. Она не могла не отзываться всем сердцем своим на такую всеобщую любовь. В этот вечер, в вечер прощанья ее с нами, старик никак не хотел прощаться с ней навсегда. Нелли улыбнулась ему и весь вечер старалась казаться веселою, шутила с ним, даже смеялась... Мы все

вышли от нее почти в надежде, но на другой день она уже не могла говорить. Через два дня она умерла.

Помню, как старик убирал ее гробик цветами и с отчаянием смотрел на ее исхудалое мертвое личико, на ее мертвую улыбку, на руки ее, сложенные крестом на груди. Он плакал над ней, как над своим родным ребенком. Наташа, я, мы все утешали его, но он был неутешен и серьезно заболел после похорон Нелли.

Анна Андреевна сама отдала мне ладонку, которую сняла с ее груди. В этой ладонке было письмо матери Нелли к князю. Я прочитал его в день смерти Нелли. Она обращалась к князю с проклятием, говорила, что не может простить ему, описывала всю последнюю жизнь свою, все ужасы, на которые оставляет Нелли, и умоляла его сделать хоть что-нибудь для ребенка. «Он ваш, — писала она, — это дочь *ваша,* и *вы сами знаете,* что она *ваша, настоящая дочь.* Я велела ей идти к вам, когда я умру, и отдать вам в руки это письмо. Если вы не отвергнете Нелли, то, может быть, *там* я прощу вас, и в день суда сама стану перед престолом божиим и буду умолять Судию простить вам грехи ваши. Нелли знает содержание письма моего; я читала его ей; я разъяснила ей *всё,* она знает *всё, всё...*»

Но Нелли не исполнила завещания: она знала всё, но не пошла к князю и умерла непримиренная.

Когда мы воротились с похорон Нелли, мы с Наташей пошли в сад. День был жаркий, сияющий светом. Через неделю они уезжали. Наташа взглянула на меня долгим, странным взглядом.

— Ваня, — сказала она, — Ваня, ведь это был сон!

— Что было сон? — спросил я.

— Всё, всё, — отвечала она, — всё, за весь этот год. Ваня, зачем я разрушила твое счастье?

И в глазах ее я прочел:

«Мы бы могли быть навеки счастливы вместе!»

НАБРОСКИ И ПЛАНЫ
1859—1860

НОВЫЕ ИДЕИ РОМАНОВ, ДРАМ, ПОВЕСТЕЙ

1

23 ноября.[1]

Идея повести, которую, впрочем, можно сделать началом романа.

ВЕСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ[2]

Знатный МГ, богатый и его пришлепник, будущий писатель, ездят. В маленьком городке писатель попросил князя остановиться, тут его отец и родные. Князь согласен и сам. Знакомится с обществом, где его принимают подобострастно. Князь производит фурор, корчит человек⟨а⟩ с направлением и проч. Тут одна девочка, невеста, *без своих слов*, пристально всматривается в князя. Она его и любит, и боится. (Но писателя она более пугается за его образован⟨ие⟩, громкие слова.) Князь заиграл с нею (зная, что она невеста безобразного чиновника с состоянием). Она робко отдается.[3] Заходит к нему и без возражений отдается ему. Потом пишет к нему письмо и просит, чтоб он женился на ней, говоря, что и отдалась ему, чтоб только не быть женою чиновника. (N3. Она ничего не просит у князя, полагая, что ему и жениться нельзя на ней, так он ее выше.) Но князь не хочет потерять своей карьеры, литератор узнает это, идет и женится на ней.

---

[1] *Было:* июня
[2] *Заголовок написан на обороте л. 1, вверху.*
[3] *Далее было:* Заходит |к|, не написав ему.

2-й варьянт. Литератор имеет нравственное влияние над князем, а тот над ним физическое, денежное (и мстит ему за нравственное влияние бессознательно). В сущности, они ненавидят друг друга, а на деле они даже сами себя уверяют, что друзья. Литератор первый имел ее. Князь, у которого не было своих слов, был немного влюблен в нее, потом больше и очень; но стыдился признаться. Литератор, имев ее, злорадно отмстил красавчику князю и прямо объявил князю, что имел ее,[4] зная про себя, что князь ее любит. Литератор рассказал князю всю историю и из-за чего она ему предалась. Князь (который ее поцеловал еще прежде) был в негодовании, сначала тихо, потом более и более. Имеет с ней сношения. Она ему объяснил⟨а⟩, что его боялась[5] и оттого его не выбрала, что он высоко над ней и не женился бы на ней. Оказывается, что поэт имел с ней переписку, писал ей письма, уговаривал не выходить за чиновника, а на словах предлагал и себя, князя же назвал пустым.

Князь грустит и плачет вместе с нею, влюблен больше чем когда-нибудь, называет того подлецом, умоляет жениться. Тот выводит ему всю глупость его предложения, говорит о своей карьере, наконец говорит ему: «Женись-ка! (ты с направлением!)».

Князь горячится, хочет жениться,[6] доводит ее до благоговения в любви, она хочет быть достойна его, учится, расспрашивает и т. д. Князь[7] имеет ее,[8] пугается скандала и уезжает. *Она пишет ему последнее письмо.* Чиновник (объяснение с князем). Оба, князь и литератор, уезжают, чувствуя, что оба подлецы. Князь дает литератору пощечину на станции. Они расстаются со злобой и т. д.

3-й варьянт. Или князь женится.

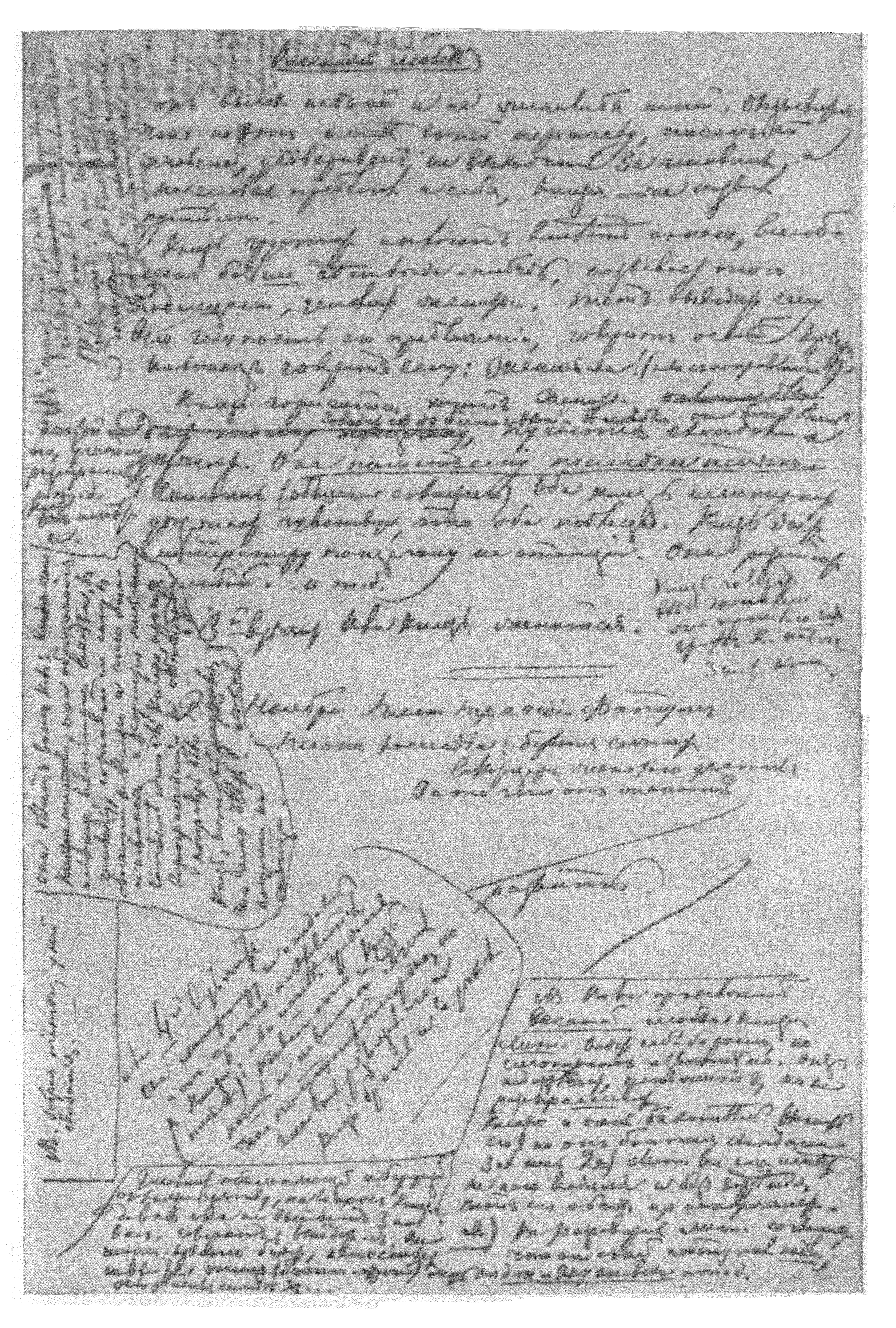
Князь говорит: «Ведь женился же прошлого года граф К. на бог знает ком».[9]

Или 4-й варьянт.

Она литератору не отдалась, а он просто наклеветал к князю:[10] ибо имел средства (письма) клеветать. Князь нашел ее невинной. Думал, что поступит благородно, но чиновник развязал его;[11] князь бросил ее и уехал.

---

[4] *Далее было:* но
[5] *Далее было начато:* и что давно
[6] *Далее было:* оглашает дело, дает тому пощечину
[7] *Было:* Он
[8] доводит ее ∾ имеет ее *вписано.*
[9] «Ведь женился ∾ на бог знает ком». *вписано позднее, теми же чернилами, что и запись от 7 января.*
[10] *Так в рукописи.*
[11] *Далее было:* и



«Весенняя любовь». Страница плана неосуществленной повести. 1859—1860 гг.

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

N3. Во всё продолжение *весенней* любви князя *лит⟨ератор⟩* ведет себя хорошо, но смотрит язвительно. Он подозревает, шпионит, но не расспрашивает.

Князю и очень бы хотелось выгнать его; но он боится скандала за нее. 2-е). Лит⟨ератор⟩ всё еще имеет на него влияние и без зазрения ест его обеды и распоряжается.

N3). В разговорах лит⟨ератор⟩ соглашаетс⟨я⟩, что он с ней поступил *подло*, по-*донжуановски* и т. д.

Чиновник, объясняющий и берущий с князя взятку, на вопрос князя: «Да ведь она не выйдет за вас» — говорит: «Выйдет-с. Всё шито-крыто будет, не посмеет не выйти, отец (бешено строгий), мать, оскорбленье семье... нельзя-с, не выдержит. Ну, а обо мне не беспокойтесь. Она будет доброй женой. Женясь, я тотчас же приму необходимые меры, — не беспокойтесь, — самые благоразумные меры ⟨?⟩».

Она делает вот как:[12] она обращается наконец, в восторге любви, к чиновнику, сознается ему в обожании к князю и что она *не невинна*, и сознается письменно. Чиновник идет к князю, просит вознаграждения и обещает поправить дело.

Князь, который мучился: что ему делать? — уехал, пощечина на станции.

N3. Добрая тетка, у ней свидания.

N3. Сцена капитальная: где он[13] предлагает ей руку, а она как дитя плачет и говорит: «Я не гожусь, я не *достойна*». Но князь возвышает ее, сказал ей несколько горячих и убедительных слов, и она, будучи унижена княз⟨ем⟩, понимает это всё и гордится князем и открывает ему, что она сама это думала, но не смела сказать, и всё это тут ⟨?⟩ дать ⟨?⟩.[14]

N3. Литератор сделал так: он ей обещался жениться; ее же уверил, что чиновник постыдится жениться на опозоренной (сладострастное существо), и ее прочил *уже своей женой* князю.[15]

N3. *7 генваря.*

Когда князь получил свое, то есть имел ее, то он тоже, придя домой и встретив дома приятеля, литер⟨атора⟩, которого до сих пор делал вид, что не замечает, он вдруг, теперь, начал хвалиться, форсить и дал ему знать, что имел ее.

Тот тотчас же воспользовался откровенностью князя и взял над ним власть (говоря ему, что *она* из таких и ее можно оставить — уехать). Князь вышел на воздух, на крыльцо, и мысленно дает себе пощечину; но, не выдержав, бросился на постель и заплакал и потом побежал к ней каяться.

---

[12] *Далее было:* видя, что князю тяжело

[13] *Далее было:* говорит

[14] Сцена ∾ тут ⟨?⟩ дать ⟨?⟩ *вписано позднее, теми же чернилами, что и запись от 7 января.*

[15] *Вписано на полях позднее, теми же чернилами, что и следующая запись.*

2

23 ноября.

План трагедии «Фатум».

План комедии: барыня сажает в карцер женатого учителя за то, что он женат.

Развить.

3

В 1860-й год

1) Миньона.
2) Весенняя любовь.
3) Двойник (переделанный).
4) Записки каторжника (отрывки).
5) Апатия и впечатления.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ

(Стр. 169)

Черновые заметки к частям I—II романа (ЧЗ)

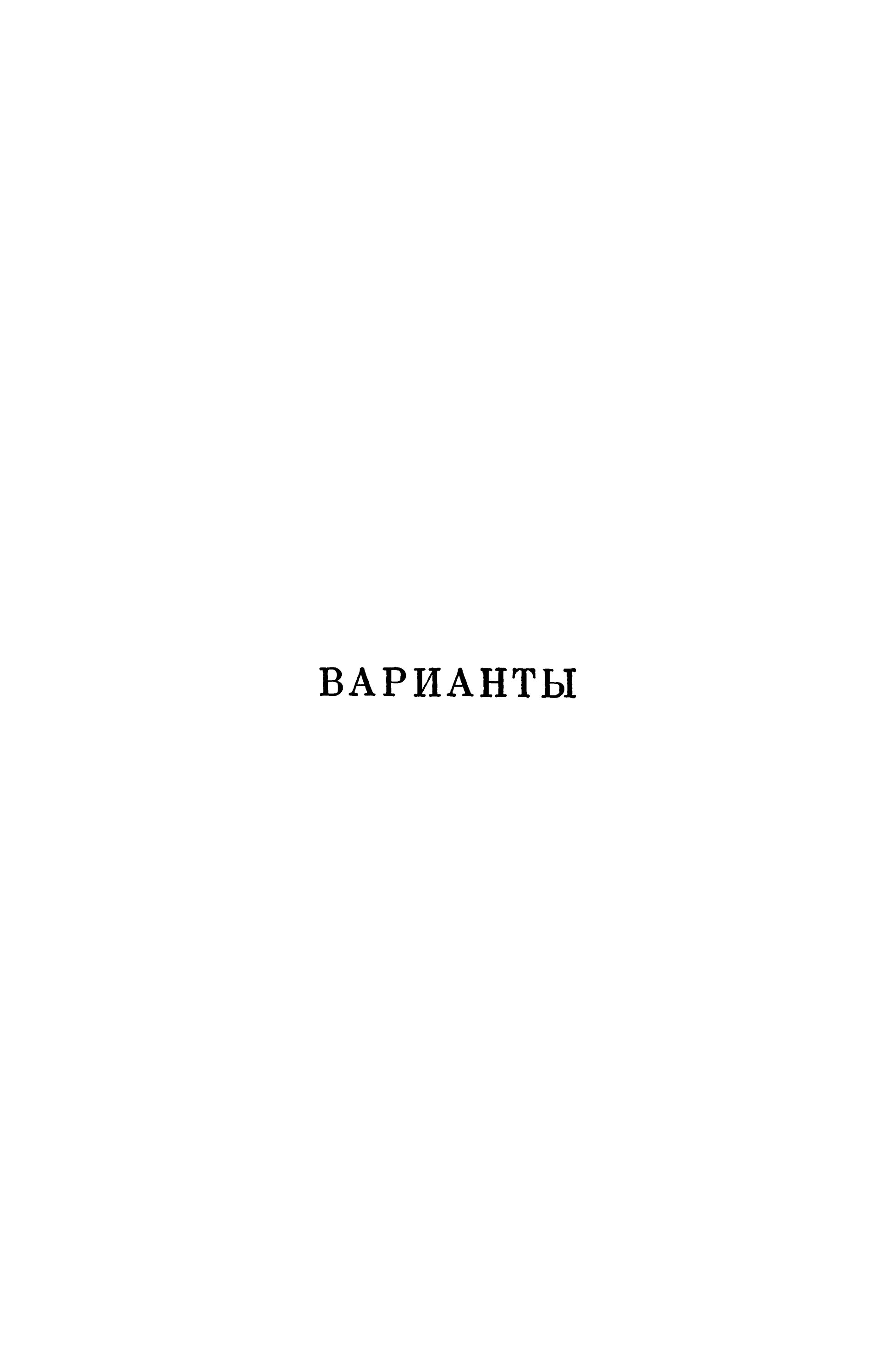
Меньше снисхождения и любви к Алеше со стороны поэта. Много вычеркнуть и перенести в другие главы.

Уменьшить разглагольствия *ее* об Алеше (перед встречей). Поэт независимее к Алеше (ненависть).

Алешу серьезнее (когда Алеша приходит к нему после *обеда* (перед отцом), то о Скрибе).

Подумать о появлении Нелли. [Когда]

N3. Проект. 2-й раз она приходит за книгами, и тут-то он бросается за ней.



ВАРИАНТЫ

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

(Стр. 5)

Варианты прижизненных изданий

Стр. 5.

11–12 была именно натура / именно была натура (*ОЗ, 1860*)

Стр. 6.

15 прежде женитьбы сына / прежде сына (*ОЗ, 1860*)

Стр. 7.

1 осталось /оставалось (*ОЗ, 1860*)
7 своя половина / своя отдельная половина (*ОЗ, 1860*)
10 в крестные и посаженые матери / в крестные и в посаженые матери (*1860*)

Стр. 12.

1 Он и действительно / Он действительно (*1860*)
2 Однако ж позвольте / Но, однако ж, позвольте (*ОЗ, 1860*)
12 от этого же самого унижения / от этого же унижения (*1860*)

Стр. 14.

16 чтоб у него / что у него (*1860*)

Стр. 15.

20 какую-нибудь / когда-нибудь (*ОЗ, 1860*)
42 почесывали затылки / почесывали свои затылки (*ОЗ, 1860*)

Стр. 17.

1 горит в вас искра / горит в вас эта искра (*ОЗ, 1860*)

Стр. 18.

1 случавшихся / случившихся (*1860*)
29 заговаривать о науках / заговаривать со мной о науках (*ОЗ, 1860*)
47–48 у меня голова закружилась / голова у меня закружилась (*ОЗ, 1860*)

Стр. 19.

39 из сомнений / из сомнения (*1860*)

Стр. 20.

5 у кузницы / у кузниц (*ОЗ, 1860*)
31–32 всей поясницей / всей своей поясницей (*ОЗ, 1860*)
38–39 длиннополый сюртук / длиннополый, синий сюртук (*ОЗ, 1860*)

Стр. 24.

23 на Фомку / на Фому *(1860)*

Стр. 26.

28–29 совершенно сбившись и уже не зная / совершенно сбившись и спутавшись и уже не зная (*ОЗ*); совершенно сбившись, испугавшись и уж не зная (*1860*)

Стр. 27.

17 в отставке полковником / в отставке полковник (*1860*)
28 Вон / Вот (*1860*)

Стр. 28.

28 За Фомку / За Фому (*ОЗ, 1860*)

Стр. 29.

46 индейский / индийский (*ОЗ, 1860*)

Стр. 31.

37 По китрадке / По тетрадке (*1860*)

Стр. 32.

41 совершенно сбился и спутался / совершенно сбился (*1860*)

Стр. 35.

4 да и кричишь / да кричишь (*1860*)
16–17 говорит / говорил (*1860*)
18 рубаха нечиста / рубаха нечистая (*ОЗ, 1860*)

Стр. 38.

8 мало бывал / мало был (*ОЗ, 1860*)

Стр. 39.

26 мне же добра желают / мне же желают добра (*ОЗ, 1860*)

Стр. 42.

4 похоже на бедлам / похожее на бедлам (*ОЗ, 1860*)

Стр. 43.

31 сидели рядком / сидели рядом (*1860*)

Стр. 46.

21 ты вот говоришь / ты говоришь (*1860*)
35 так и врал бы / так уж и врал бы (*ОЗ, 1860*)

Стр. 49.

24 знаете ли, что / знаете, что (*ОЗ, 1860*)

Стр. 50.

2 этих чудаков / этих же чудаков (*ОЗ, 1860*)
14–15 Дырявые сапоги, засаленная фуражка / Дырявые сапоги и засаленная фуражка (*ОЗ, 1860*)

Стр. 51.

32–33 так и другой кто-нибудь тут / так и другой кто-нибудь шут (*1860*)

Стр. 54.

6 Три раза повторял / Три раза им повторял (*ОЗ, 1860*)
37–38 проговорила / приговорила (*ОЗ*)

Стр. 55.

25 как будто бы боясь / как будто боясь (*ОЗ, 1860*)

Стр. 58.

7 на диван / на диване (*ОЗ, 1860*)
25 заливаясь слезами и крепко обвив / заливаясь слезами, крепко обвив (*1860*)

Стр. 59.

31 вскричал / вскрикнул (*ОЗ, 1860*)

Стр. 60.

14 в сердце своем обиду / в сердце свою обиду (*ОЗ, 1860*)

Стр. 61.

41 скажи мне / скажи же мне (*ОЗ, 1860*)

Стр. 63.

16 Ничто / Ничего (*ОЗ, 1860*)
29–30 спокойно вздохнуть / спокойно отдохнуть (*1860*)

Стр. 64.

1 Митюшка / Матюшка (*1860*)

Стр. 65.

22 фигурке / фигуре (*1860*)

Стр. 66.

14–15 Ну же, иди, иди / Ну же, иди (*1860*)

Стр. 67.

17 из этого ответа / из такого ответа (*ОЗ, 1860*)

Стр. 68.

21–22 но сегодня же, сегодня же ты будешь / но сегодня же ты будешь (*1860*)

Стр. 70.

25 объявляет / объявляет публике (*ОЗ, 1860*)
32 Есть — так поздравляю / Есть — так и поздравляю (*ОЗ, 1860*)
33–34 Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит / Он блещет остроумием, он кипит (*1860*)

Стр. 72.

2 можно / нужно (*1860*)
23 мы уж не видались / мы уж тогда не видались (*ОЗ, 1860*)

Стр. 73.

25–26 хотели заставить / хотели вы заставить (*ОЗ, 1860*)

Стр. 74.

5–6 Я не могу не говорить, я должен говорить, должен немедленно протестовать / Я не могу не говорить, должен немедленно протестовать (*1860*)
20 видели вы / видели ли вы (*ОЗ, 1860*)

Стр. 79.

6–7 завтра утром, пораньше; я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пруда / завтра утром пораньше. Знаете, там у пруда (*1860*)
20–21 вызывал / вызвал (*1860*)
34–35 Неужели вы не понимаете / Неужели не понимаете (*1860*)

Стр. 80.

23 кричат обо мне / кричат опять обо мне (*ОЗ, 1860*)
26 Завтра же, завтра же / Завтра, завтра же (*1860*)
44 А где он / А где (*1860*)

Стр. 81.

19 Но я решился / Я решился (*1860*)

Стр. 83.

26 святыми / светилами (*ОЗ, 1860*)

Стр. 84.

35 не подкупал / не покупал (*ОЗ, 1860*)

Стр. 85.

29 деньгами / деньги (*1860*)

Стр. 87.

37 проговорил / повторил (*1860*)

Стр. 89.

6 впжу, — со вздохом отвечал / вижу, впжу, — со вздохом отвечал (*ОЗ, 1860*)

Стр. 89—90.

48–1 Всё могу опровергнуть; все положения / Всё могу опровергнуть и все положения (*1860*)

Стр. 90.

12 перед ними / перед нпм (*1860*)

Стр. 91.

36 только две минутки / только две минуты (*1860*)

Стр. 92.

14 остались / оставались (*ОЗ, 1860*)

Стр. 93.

17 втрое более бы разгорячился / втрое бы разгорячился (*ОЗ. 1860*)
44 Чем это объяснпть / Чем объяснить (*1860*)

Стр. 94.

13 думаете, что непременно / думаете, это непременно (*ОЗ, 1860*)

Стр. 95.

33 той идеей / такой идеей (*1860*)

Стр. 96.

16–17 Теперь я одумался / Теперь одумался (*1860*)

Стр. 97.

22 Но дня через четыре / Но дня через три, через четыре (*ОЗ, 1860*)
41 почему вы удостоили / почему именно вы удостоили (*ОЗ, 1860*)

Стр. 98.

16–17 ведь за идеи берут же деньги / ведь за идеи же берут деньги (*ОЗ, 1860*)

Стр. 101.

22 не дам — я уж решился / не дам — уж решился (*1860*)

Стр. 103.

31 К тому же пишет / К тому же еще пишет (*ОЗ, 1860*)

Стр. 104.

34 печатать / напечатать (*ОЗ, 1860*)

Стр. 106.

14 потому и не любит / потому не любит (*ОЗ, 1860*)
25 ведь / вот (*ОЗ, 1860*)
30 но уж я теперь / но я уж теперь (*ОЗ, 1860*)

Стр. 112.

31 не могу дать вам / не могу вам дать (*ОЗ, 1860*)

Стр. 113.

20 выследили, — уж знаю / выследили — я уж знаю (*ОЗ, 1860*)
39–40 завтра же уеду / завтра уеду (*1860*)

Стр. 115.

36–37 он же уехал / он уже уехал (*1860*)
45 Анна Ниловна выследила / Анна Ниловна ее выследила (*ОЗ, 1860*)

Стр. 116.

11 Часть вторая и последняя / Часть вторая (*1860*)

Стр. 119.

32–33 как разодета: журнал, просто журнал / как разодета: просто журнал (*1860*)

Стр. 123.

32–33 а это и дом-то / а то и дом-то (*ОЗ, 1860*)
41 не услышали / не слышали (*1860*)

Стр. 125.

40 теперь нас пятеро / нас теперь пятеро (*ОЗ, 1860*)

Стр. 128.

21 если он в самом деле разгласит / если в самом деле разгласить (*ОЗ, 1860*)

Стр. 133.

33 Илюша / Илюшка (*ОЗ,* 1860)
50 кто ж такой / кто ж такое (*ОЗ, 1860*)

Стр. 137.

27 Умерьте страсти / Умерьте страсти свои (*ОЗ, 1860*)
41 Трудиться, трудиться обязан / Трудиться обязан (*1860*)

Стр. 139.

8 изобличить / изобличать (*ОЗ, 1860*)
22 говорю / договорю (*ОЗ, 1860*)
25 повернул / перевернул (*ОЗ, 1860*)

Стр. 142.

17 изволят / изволит (*1860*)

Стр. 143.

1 наклоняясь / наклонясь (*ОЗ, 1860*)

Стр. 147.

3 и исчезнуть / и потом исчезнуть (*ОЗ, 1860*)

Стр. 149.

44 руку, не подозревая / руку, и не подозревая (*ОЗ, 1860*)

Стр. 153.

21–22 вы столько для нас сделали, что я / вы столько для нас сделали, столько сделали, что я (*ОЗ, 1860*)

46 что теперь его / что его (*ОЗ, 1860*)

46–47 особенно когда он / особенно теперь, когда он (*ОЗ, 1860*)

Стр. 159.

14 Цезарей / цесарей (*ОЗ, 1860*)

19 дать / задать (*ОЗ, 1860*)

Стр. 160.

42 добрейший / предобрейший (*ОЗ, 1860*)

Стр. 161.

26 волоски у тебя такие светленькие / волоски у тебя тогда были такие светленькие (*ОЗ, 1860*)

Стр. 162.

15–16 Из-за этого мне теперь и проходу нет-с. Как только я мимо иду-с, все мне следом кричат / Из-за этого мне следом кричат (*1860*)

Стр. 163.

7 тебе я велел / тебе же велел (*ОЗ, 1860*)

Стр. 164.

27 улыбнулась / улыбалась (*1860*)

Стр. 165.

22 но всегда / но, однако ж, всегда (*ОЗ, 1860*)

33 на другой же день / на другой день (*1860*)

Стр. 166.

46 и Петербурге / и в Петербурге (*ОЗ, 1860*)

Стр. 167.

6 умерла три года назад / умерла скоропостижно три года назад (*ОЗ, 1860*)

Стр. 168.

5 тотчас же заложил / тотчас заложил (*1860*)

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ

(Стр. 169)

Варианты прижизненных изданий

Стр. 169.

1–3 Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. /Униженные и оскорбленные. Из записок неудавшегося литератора. Роман. (Посвящается М. М. Достоевскому) (*Вр*)

Стр. 170.

33 на нем почти не было / на нем уже почти не было (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 171.

4 да, это непременно / и это непременно (*Вр*)
4 Во-первых, с виду она была / Во-первых, она была (*Вр*)
6 с первого раза / с первого же раза (*Вр*)
41 смотря перед собою / смотря неподвижно перед собою (*Вр*)

Стр. 172.

12 большею частию / были большею частию (*Вр*)
13 собираются / собирались (*Вр*)
20 ласкали детей и собак / ласкали и детей и собак (*Вр, 1861, 1865*)
39 мешает жить / мешает мне жить (*Вр*)

Стр. 174.

3–4 прокричал он по-немецки / прокричал по-немецки (*1865*)
45 повторял старик и пошевелил / повторял старик, сильным и задыхающимся голосом. Он пошевелил (*Вр*)

Стр. 176.

4–5 на колена / в колена (*Вр*)
28 происходит во сне / происходит со мною во сне (*Вр, 1861, 1865*)
33–34 состоящей из одной / состоявшей из одной (*Вр*)

Стр. 177.

29 Особняк соблазнял / Особняк соблазнил (*Вр*)

Стр. 179.

11–12 был в большом волнении / был очень бледен и дрожал (*Вр*)
12 не клеился / не склеился (*Вр, 1865*)
29–30 Сто душ погибло / Сто душ погибли (*Вр, 1861, 1865*)
38 всю жизнь / всю свою жизнь (*Вр, 1861*)

Стр. 180.

42–43 Надо думать / Надобно думать (*1865*)
45 надо очаровать / надобно очаровать (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 182.

11–12 довольно самостоятельно / гордо и самостоятельно (*Вр*)
43–44 Я написал / Я писал (*Вр, 1861*)
44–45 очень любит своего сына / любит своего сына без памяти (*Вр*)

Стр. 183.

29 очень любил его / любил его без памяти (*Вр*)

Стр. 184.

12 способности подчиняться / способности немедленно подчиняться (*Вр*)
17 выказал / выразил (*Вр*)

Стр. 185.

34 поверенного / доверенного (*Вр*)

Стр. 186.

3 осталась такой же / осталась почти такой же (*Вр*)
29–30 я перед ней / я и перед ней (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 187.

15 Он начал / Он даже начал (*Вр, 1861*)
31 первый раз / в первый раз (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 188.

[39] всматриваясь / всматривалась (*Вр, 1861*)
[40] шевелила своими хорошенькими губками / шевелила за мною своими хорошенькими губками (*Вр, 1861*)

Стр. 189.

[3] забитый / забытый (*Вр*)
[36] деньги стали / деньги-то стали (*Вр*)

Стр. 191.

[2] не велика / еще не велика (*Вр, 1861, 1865*)
[47] сидел я перед стариком / сидел я тогда перед стариком (*Вр, 1861*)

Стр. 192.

[45] есть и у них / есть у них (*1865*)

Стр. 193.

[1] между тем и пришел / между тем я и пришел (*Вр, 1861*)
[23] Три недели не видались / Три недели не видать (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 194.

[2] в три недели / в эти три недели (*Вр, 1861, 1865*)
[10] не спускала / не спуская (*Вр, 1861*)
[18] сказала она / сказала старушка (*Вр*)

Стр. 195.

[43] но теперь слова ее / но слова ее (*Вр*)

Стр. 196.

[2] этого быть не может / но этого быть не может (*Вр*)
[31] припомни, что отец / а главное, что отец (*Вр*)

Стр. 197.

[15] Можно не уходить / Можно и не уходить (*Вр, 1861, 1865*)
[17] не уходи / не выходи (*Вр, 1861, 1865*)
[19] угожу... / угожу... сами увидите (*Вр*)
[20] Наташечка / Наташенька (*Вр, 1861*)
[47] ты мне надобен / мне ты надобен (*Вр*)

Стр. 198.

[36] поклянется / поклялся (*Вр*)

Стр. 200.

[38] с горькой усмешкой / с горькой, тяжелой усмешкой (*Вр*)

Стр. 201.

[19] для Наташи / для нее (*Вр*)

Стр. 202.

[7–8] из действительной жизни / в действительной жизни (*Вр, 1861, 1865*)
[21] и родителей, и прощанье / и родителей, и покинутый дом, и прощанье (*Вр*)
[47–48] знаю, простить / знаю, что простить (*Вр*)

Стр. 203.

[16] это должно / это неминуемо должно (*Вр*)
[18] старики помирятся / старики наши помирятся (*Вр*)

Стр. 204.

[22] гораздо лучше / гораздо почетнее (*Вр*)
[34] ведь вам же платят! / ведь вам же платят? (*Вр, 1861, 1865*)
[45] Я вам правду скажу / Знаете ли, я вам правду скажу (*Вр*)

Стр. 205.

1–2 как нарочно, недостанет / недостанет (*Вр*)

35 *После*: что же делать? — Изменить невозможно. (*Вр*)

43 *Слов*: Ты сама настаиваешь... — *нет*. (*Вр*)

Стр. 206.

19 Будь благословен / О, будь благословен (*Вр*)

26 *После*: бросилась ко мне. — Она вся дрожала, как будто в испуге. (*Вр*)

29 писано / написано (*Вр*)

38–39 *После*: схватила мою руку — поднесла ее к губам своим (*Вр*)

Стр. 207.

12 с своими / с моими (*Вр*)

36 *После*: стал собираться — я спешил (*Вр*)

Стр. 210.

27 наклонив голову / опустив глаза к земле (*Вр*)

38 тороплив и порывист / тороплив, порывист (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 212.

13–14 не накормит / не кормит (*Вр*)

30 отсюда / отсюдова (*Вр, 1861, 1865*)

36 дрожащее / дрожавшее (*Вр, 1861, 1865*)

40 дрожащую ручонку / дрожавшую ручонку (*Вр, 1861*)

Стр. 213.

6 *После*: смотрю на него — наскоро перекрестил ее последний раз (*Вр*)

25 попросить / просить (*Вр, 1861, 1865*)

39 *После*: В иных натурах — с сердцем и с душой (*Вр*)

Стр. 214.

7 одни на свете / одни на земле (*Вр*)

15 известие / известия (*Вр, 1861, 1865*)

32 что бог не простит / что и бог не простит (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 215.

5 он такой / он так (*Вр*)

7–8 простить-то бы мог / простить-то мог бы (*Вр, 1861, 1865*)

23 *После*: все глаза высмотрела. — А как по нем-то тосковала; три часа ведь он ходил; в пятом в начале вышел. (*Вр*)

Стр. 216.

6 *После*: кричал. — Ну, да ведь ты наши обстоятельства знаешь. (*Вр, 1861, 1865*)

7–8 в щелку (щелка такая есть / в щелочку (щелочка такая есть (*Вр, 1861, 1865*)

9 увидала / увидела (*Вр, 1861, 1865*)

31 хотя и не высказанным / хоть не высказанным (*Вр, 1861, 1865*)

37–38 в новой-то нашел / в новой-то своей нашел (*Вр*)

43 всякая очаровательная / всякая очаровательна (*Вр, 1861, 1865*)

44–45 по благородству души / по благородству своему (*Вр*)

Стр. 217.

14 *После*: выдумал, очаровательная! — Да тебе-то что? какая очаровательная! (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 218.

11–12 лучше была бы / лучше б была (*Вр, 1861, 1866*)

14 я забыла / и забыла (*Вр*)

Стр. 221.

11–12 испуганный взгляд / испуганный, молящий взгляд (*Вр*)

Стр. 222.

13–14 рассерженный и уничтоженный / рассерженный и униженный (*Вр, 1861*)

46 над ней / с ней (*Вр, 1861*)

Стр. 223.

28 не ошиблась / не ошибалась (*Вр*)

Стр. 224.

4 остановился в ужасе / остановился как вкопанный, как будто в ужасе (*Вр*)

13 покрывал, при нас, бесчисленными поцелуями / покрывал бесчисленными поцелуями (*Вр*)

Стр. 227.

6–7 Ну что с тобой / Но что с тобой (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 229.

1–2 Что грустит / Что он грустит (*Вр, 1861, 1865*)

36–37 счастливых дней, которые я прожила вместе с ними. Если б отец и простил / счастливых дней, в которые отец знал меня. Если б он и простил (*Вр*)

39 по голове / по головке (*Вр, 1861*)

Стр. 230.

27 это обиднее / это еще обиднее (*Вр, 1861*)

Стр. 231.

35 тебя за делом / тебя к себе за делом (*Вр, 1861*)

42–43 я знал/ я давно уже знал (*Вр, 1861*)

Стр. 232.

14 вряд ли это / вряд ли и это (*Вр, 1861*)

Стр. 233.

35 только ждала / только и ждала (*Вр, 1861*)

Стр. 234.

11 *После*: я сейчас оправдаюсь. — Я не боюсь. (*Вр*)

30 я тебе / я всё тебе (*Вр*)

36 вскрикнул он / вскрикнул Алеша (*Вр*)

42 ангел мой, ангел мой / ангел мой (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 235.

1 и приехал / и приехать (*Вр*)

37 рассказать / рассказывать (*Вр, 1861, 1865*)

38 поставить / наставить (*Вр, 1861*)

40 Ступай, Мавра, ступай / Наставь, Мавра, и ступай (*Вр*)

Стр. 237.

18 смотрите сколько / смотрите, вот сколько (*Вр*)

21–22 тысячи полторы / тысячи в полторы (*Вр*)

38 что не хочу / что я не хочу (*Вр, 1861, 1865*)

45–46 *После*: не хочу ни от кого отличаться... — одним словом, изложил ему все эти здравые идеи... (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 238.

6 да тот / да и тот (*Вр, 1861, 1865*)

32 отца теперь что-то не любят / отца не любят (*Вр*)

Стр. 239.

29 дайте мне / дайте же мне (*Вр, 1861*)
34–35 даже граф / даже сам граф (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 240.

14 к тому же упрямая / вместе упрямая (*Вр*)
40 хоть отдаляет / хоть и отдаляет (*Вр, 1861*)

Стр. 241.

9 *После*: Ну, так рассказывай же! — Наташа была недовольна, ей не то хотелось узнать от Алеши. Нетерпение и невольная досада проглянули в ее лице. (*Вр*)
11 продолжал Алеша / начал Алеша (*Вр*)
30 еще мальчиком / еще мальчик (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 242.

18 никогда бы не решился / никак бы не решился (*Вр, 1861*)
23 Рассказывай поскорее / Рассказывай, рассказывай поскорее (*Вр*)
38 рассказывал / рассказал (*Вр, 1861*)

Стр. 243.

13–14 вскрикнула она / воскликнула она (*Вр, 1861*); вскликнула она (*1865*)
24 завтра же я / завтра же и я (*Вр, 1861*)
34 на свою жизнь / на всю жизнь (*Вр*)

Стр. 244.

20 спрашивают / спрашивает (*Вр*)
35 Она стала / Она стояла (*Вр, 1861*)

Стр. 245.

1 Я видел / Я видал (*Вр, 1861, 1865*)
14 напускное / напущенное (*Вр*)
20 подчиняться / подчиниться (*Вр, 1861, 1865*)
25 Темно-русые мягкие волосы / Темно-русые и мягкие волосы (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 246.

1 сама, расстроенная / сама, бледная, расстроенная (*Вр*)
3 твоей женой / твоей женой (хотя еще об этом до сих пор не говорилось почти ни слова между нами) (*Вр*)
8 *После*: вне себя — и после своих слов упала без чувств (*Вр*)
8 *После*: испуган. — Когда мы удостоверились, что Катерине Федоровне легче и что она вне серьезной опасности, я простился с графиней и поехал домой. (*Вр*)
12–13 Скажу сейчас / Я скажу сейчас (*Вр*)
38 хорошей / возвышенной (*Вр*)
42–43 *После:* дослушаете. — Безграничная доверенность — это всё, чем я могу изъявить вам мое уважение. (*Вр*)

Стр. 247.

12–13 я не скрываю ничего / я не скрываю от вас ничего (*Вр*)
17 *После*: себя — я решался на дурное дело, сознавая, что оно дурно. Мало того: я тем сильнее настаивал на своем намерении, что надо было как можно скорее оторвать Алешу от вас. Я надеялся, что страсть его к вам остынет сама собою; но время уходило; привязанность его к вам не уменьшалась, и я решился не медлить и взять свои меры. (*Вр*)
26–27 пылкость, юношеские увлечения / пылкость сердца, юношеские увлечения (*Вр*)

30–31 А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным, благодетельным влиянием. / А между тем он непременно должен иметь руководителя. Он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным, благодетельным влиянием. (*Вр*)

33 *После*: на всю свою жизнь. — И потому, чтоб доставить ему такого руководителя и прежде всего избавить его из-под вашего влияния, я и решил женить его как можно скорее. (*Вр*)

35 своему сыну / моему сыну (*Вр*)

42 Идеи его странны / Я разговаривал с ним: идеи его странны (*Вр*)

44–45 бесспорно от вас. Вы перевоспитали его / бесспорно ваши следы в его сердце. Вы перевоспитали его. Ваше влияние над ним было безгранично (*Вр*)

Стр. 248.

3 предположения, и прежде всего / предположения. Прежде всего (*Вр*)

15 существа / сердца (*Вр*)

20–21 на это иногда не способны даже самые ловкие мудрецы / на это неспособны даже самые ловкие мудрецы из нашего круга (*Вр*)

33–34 всё это вследствие вашего влияния над ним / всё это следствие вашего влияния над ним (*1861*); всё это следствие вашего влияния над ним. Не возражайте мне; это бесспорно так (*Вр*)

35 вдруг ощутил / ощутил (*Вр*)

40 вы уже положили начало / вы, наконец, вашим прекрасным влиянием уже положили начало (*Вр*)

44 *После*: попирать их. — С ними так легко живется на свете; такие готовые, такие торные дороги, и вместе с тем такие приятные дороги! (*Вр*)

48 без вас погибнет / он погибнет без вас (*Вр*)

Стр. 249.

6 в мои лета / в пятьдесят лет (*Вр*)

12 прошу вас осчастливить / иметь честь просить вас осчастливить (*Вр*)

15 Нет! Нет! Вы унизите меня / О нет! нет! вы унизите и придавите меня (*Вр*)

17 основываясь на том / зная всё то (*Вр*)

Стр. 250.

3 высказать / высказывать (*Вр*)

7 Позволите ли мне / Позволите ли вы мне (*Вр*)

15 *После*: любовь вашу! — Благородное созданье! (*Вр*)

23 из Петербурга / из Петербурга по Псковской дороге (*Вр*)

35 *После*: С нетерпением жду! — А как о многом надо еще нам переговорить вместе! Но... будет время! Мы вознаградим потерянное! А как я-то счастлив! (*Вр*)

39 так бессвязно... / так бессвязно ... по крайней мере (*Вр*)

Стр. 251.

16 Где вы живете / Позвольте, где вы живете (*Вр*)

Стр. 252.

9–10 А как хвалил тебя / А как хвалил-то тебя (*Вр*)

Стр. 253.

1–2 Если он говорил искренно? Что это значит? Да разве он мог говорить неискренно? / Но почему же так уж непременно думать, что он говорил неискренно? Да и зачем бы ему обманывать? Я ищу и предлогов не нахожу. Так не обманывают! (*Вр*)

7 *После*: всё так говорит ... — А впрочем, он добрый и благородный. (*Вр*)

15 в эту минуту / в ту минуту (*Вр, 1861*)

Стр. 254.

4–5 нищеты и болезни / нищеты и болезненности (*Вр*)
13 недоверчиво озираясь / недоверчиво, как зверек, озираясь (*Вр*)

Стр. 255.

10 взволнована / взволнована и дрожала (*Вр*)

Стр. 256.

28 ей было очень неловко / было ей очень неловко (*Вр, 1861*)
42 Да ты заболеешь, умрешь. / Да ведь ты заболеешь, умрешь! (*Вр*)
47 посмотрела / поглядела (*Вр*)
47 обратившись / оборотившись (*Вр*)

Стр. 257.

10 повторяла она / повторила она (*Вр, 1861*)

Стр. 258.

18 старик и девушка / старик и девочка (*Вр*)
21 ах ты, кровопивица / ах ты, кровопивца (*Вр, 1861*)
42–43 Упорная сатана / Упорная такая, сатана (*Вр*)

Стр. 259.

42 за руку / за руки (*Вр*)
48 ваш приемыш / вам приемыш (*Вр*)

Стр. 260.

34 место какое ей нашли / место ей какое нашли (*Вр, 1861*)
39 к ней попала / к ней попалась (*Вр, 1861, 1865*)
41 так и попала / так и попалась (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 262.

11 Здравствуй, душа моя / Здравствуй, голубчик (*Вр*)
31 дай мне договорить / дай договорить (*Вр, 1861*)
42 во-первых /я, во-первых (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 263.

10 с едва пробивающимися / с легкими, едва пробивающимися (*Вр, 1861*)
39 дельце есть, до вас-с / дельцо есть-с, до вас-с (*Вр, 1861*); дельце есть-с, до вас (*1865*)

Стр. 264.

2 денег там видимо-невидимо убил / денег видимо-невидимо там убил (*Вр, 1861, 1865*)
5 Глуп как гусь / Глуп, глуп (*Вр*)
17 там, у окна / видишь, там у окна (*Вр*)

Стр. 265.

12 тут пошла музыка / тут пошла уж музыка (*Вр*)
23 не откликался еще / еще откликался (*Вр*)
29 душа / голубчик (*Вр*)
35 начал крепко умиляться / начинал крепко умиляться (*Вр, 1861*)

Стр. 266.

9 Фридрих Барбаруса / Фредерик Барбаруса (*Вр, 1861*)
26 ты в этих делах / ты, кажется, в этих делах (*Вр, 1861, 1865*)
38 Оно бы ничего / Оно бы и ничего (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 267.

36 деловитости и солидности / деловитости, важности и солидности (*Вр, 1861*)
47–48 о поэзии поговорим / и о поэзии поговорим (*Вр, 1861*)

Стр. 268.

16 чуть не проговорила / чуть не проговаривала (*Вр, 1861*)
20 старшего князя / старого князя (*Вр*)
25 свою радость / всю радость (*Вр, 1861*)
27 хандрит / хандрил (*Вр*)
44 в своем кабинете / в своем кабинетике (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 269.

1 когда я вспоминаю / когда вспоминаю (*Вр, 1861, 1865*)
5 продолжая ходить / продолжала ходить (*1865*)

Стр. 270.

18–19 Я просидел у ней более часу. Она очень беспокоилась. / Я просидел у ней более часу. Мы всё говорили о будущем визите князя в субботу. Она очень беспокоилась и волновалась. Сначала было хотела казаться передо мной равнодушною, но не вытерпела и скоро перешла в свой всегдашний искренний и прямодушный тон. (*Вр*)
43 чем он в самом деле / чем он есть в самом деле (*Вр*)

Стр. 271.

23 с полслова / в полслова (*1861, 1865*)
27 точно распекая / точно распекаю (*Вр*)

Стр. 272.

18 был даже некоторый достаток / был некоторый достаток (*Вр*)

Стр. 274.

14 как же мы войдем / как же войдем (*Вр, 1861, 1865*)
45 не входил / не выходил (*Вр*)

Стр. 275.

2 покрытым скатертью / накрытым скатертью (*Вр, 1861, 1865*)
3 бутылка скверного рому / несколько бутылок скверного рома (*Вр*)
17 привел еще гостя / привез еще гостя (*Вр, 1861*)
20 На кислые щи похоже / Горькое, да и то на кислые щи похоже (*Вр*)
22 и показываться не смеешь / и показаться не смеешь (*Вр, 1861*)
35 Карп Васильич / Карп-то Васильич (*Вр, 1861*)
37 Жуберта-то / Жуберта (*Вр, 1861*)
44 Завизжала Жуберта / Батюшки, завизжала Жуберта (*Вр*)

Стр. 276.

10 но разбившимися / но с разбившимися (*Вр, 1861, 1865*)
29–30 начался жар / начинался жар (*Вр, 1861, 1865*)
34 Бедная / Бедненькая (*Вр, 1861, 1865*)
36 свои длинные ресницы / свои длинные, стрельчатые ресницы (*Вр, 1861, 1865*)
40 Глава VIII / Часть третья. Глава I (*Вр*)

Стр. 277.

7 пожалуй, без меня испугалась бы / пожалуй, испугалась бы (*Вр*)
23 Я отошел / Я отошел от нее (*Вр*)
27 разом носил / разом наносил (*Вр, 1861, 1865*)
30 не хочет ли и она / не хочет ли она (*1865*)
40–41 микстуру / микстурку (*Вр*)

Стр. 278.

1–2 но только как она глядит / но только как она глядит, как глядит (*Вр, 1861, 1865*)
31 да это-то / да это (*Вр, 1861, 1865*)
39 кончится / окончится (*Вр, 1861*)

Стр. 279.

9 увидела / увидала (*Вр, 1861*)

Стр. 280.

11–12 хотел уйти / хотел выйти из комнаты (*Вр*)
18 спросила она / спросила она вдруг (*Вр*)
24 была опять вся в жару / была вся в жару (*Вр*)
29 Нет, ступайте! / Нет, ступайте, ступайте! (*Вр*)
33 А то целый год / А то я целый год (*Вр, 1861*)

Стр. 281.

4 я собственно потому / я даже собственно потому (*Вр*)
10 Наташу, против ожидания, я застал опять одну / Скоро я уже был у Наташи. Против ожидания, я застал ее опять одну. (*Вр*)
21–22 была видимо расстроена / была бледна и расстроена (*Вр*)
45 тебя беспокоить / тебя беспокоить, голубчик (*Вр*)

Стр. 282.

39–41 она упала на диван в совершенном изнеможении, и с ней опять начался лихорадочный озноб / она упала на диван в совершенном изнеможении, вся отдавшись слезам своим; кончилось обмороком. Когда она пришла в чувство, ей было легче, только опять начинался лихорадочный озноб. (*Вр*)

Стр. 283.

1 Глава IX / Глава II (*Вр*)
42 вскочив с места / вскочив с места и дрожа всем телом (*Вр*)

Стр. 284.

7–8 не видывала / не видала (*Вр*)
8–9 жестокое наказание / ожесточенное наказание (*Вр*)
14 ложась спать / ложась вчера спать (*Вр, 1861*)
43 какую-нибудь / хоть какую-нибудь (*Вр*)
46 она и это / она еще и это (*Вр, 1861, 1865*)
48 какое только / как только (*Вр*)

Стр. 285.

45 нет дома / нету дома (*Вр, 1861, 1865*)
45 посмотрела / поглядела (*Вр, 1861*)

Стр. 286.

4 кушанье буду готовить / буду кушанье готовить (*Вр, 1861*)

Стр. 287.

22 А то, что *наш*-то третий день носу к нам не показывал! / А то, что сегодня с ней даже обморок был. Третий день *наш*-то носу к нам не показывал! (*Вр*)
30–31 больно ее задело / больно ее это задело (*Вр*)
36–37 и со мной говорить не хочет. Хоть бы ты его повидал. / и со мной говорить не хочет. Давеча слышу, как будто что-то прошумело у ней в комнатке. Заглянула, — она и лежит; обморок. Так тут у меня ноги и подкосились. Хоть бы ты его повидал. (*Вр*)
44 Глава X / Глава III (*Вр*)

Стр. 288.

15–16 мне говорила / мне и говорила (*Вр*)
20 ноги слабели / ноги ослабели (*Вр*)
24–25 думал я / подумал я (*Вр, 1861*)
46 Ну, братец, чудак же она / Ну, брат, чудачка же она (*Вр, 1861*) // Ну, братец, чудачка же она (*1865*)

Стр. 289.

4 была очень несчастна / очень была несчастна (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 290.

12 почтенный / почтеннейший (*Вр, 1861, 1865*)
29 есть другая / есть и другая (*Вр, 1861*)
43 как и не стыжусь / как не стыжусь (*Вр, 1861*)

Стр. 291.

8 помнишь, у нас / помнишь, еще у нас (*Вр, 1861, 1865*)
22 Тогда, — может быть / Тогда, — тогда, может быть (*Вр*)
36 вы преклоняетесь / вы проникаете (*Вр, 1861, 1865*)
40–41 не отвечал ни слова / не отвечал мне ни слова (*Вр*)

Стр. 292.

5 так и сбудется / так сбудется (*Вр, 1861, 1865*)
44 не объявишь / не объяснишь (*Вр*)
46 Второе, Ваня / Второе, голубчик Ваня (*Вр*)

Стр. 293.

20 я у тебя их оставлю / я их у тебя оставлю (*Вр, 1861, 1865*)
37 Глава XI / Глава IV (*Вр*)

Стр. 294.

2 милый образ / личный образ (*Вр*)
10 приложив ладонь / приложив мою ладонь (*Вр*)
17 с длинными ресницами / с стрельчатыми, длинными ресницами (*Вр, 1861, 1865*)
18 как смоль / как смола (*Вр, 1861*)
35 Друг ты мой / Голубчик ты мой (*Вр*)
36 Я не знал / Я и не знал (*Вр*)

Стр. 295.

11 Я всё / Я ведь всё (*Вр*)
48 видала / видела (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 296.

43 Вы любите меня!.. — повторяла она / Вы спасли меня!.. — говорила она (*Вр*)

Стр. 297.

31 дедушка и вправду не любил / дедушка не любил (*Вр*)

Стр. 298.

24 навещавшая / навещающая (*Вр*)
37 Она сначала думала / Она думала (*Вр*)
37–38 *После:* не говорила. — Она ужасно боялась мне про себя и про дедушку рассказывать. (*Вр*)

Стр. 299.

17–18 *После:* еще больше плакала. — Она ходила к дедушке, а дедушка ее прогнал. (*Вр*)
26 *После:* Нет, не с ним — он уже потом, долго спустя, встретил мамашу... Уж и я это помню. (*Вр*)
31 *После:* назвать его имя... — Нелли потупилась и замолчала. (*Вр*)
33 неровный /нервный (*Вр, 1861*)

Стр. 300.

8 прибежавший простить / бежавший простить (*Вр*)
23–24 Часть третья. Глава I / *глава IV продолжается до слов*: когда я вошел к ней (*Вр*)

26 очнулся от мрачного кошмара / очнулся как бы от мрачного кошмара (*Вр*)
37 Еще на улице, у ворот / Глава V. Еще на улице, у ворот (*Вр*)

Стр. 301.

9 не узнал / не узнавал (*Вр*)
24 когда подумаю / когда я подумаю (*Вр*)
34–35 снимать наши пальто / снимать с нас наши пальто (*Вр*)
40 прибирать / улучшать (*Вр*)

Стр. 302.

24 улыбаясь / смеясь (*Вр*)
47–48 *После:* виноват в этом я — в чем и спешу у вас просить прощения. Мое поручение было такого рода, что он действительно мог с ним замешкаться... Вообще же говоря, он теперь даже в каком-то странном положении; я думал об этом в эти дни и даже решил особенно просить вас, Наталья Николаевна, не сердиться на него в иных случаях. (*Вр*)

Стр. 303.

3 являлся туда / являлся бы туда. Именно теперь это даже очень нужно, по некоторым моим соображениям (*Вр*)
4 не выходит теперь от вас / не выходит от вас (*Вр*)
7 *Слов:* с того вечера — *нет.* (*Вр*)
16 в чрезвычайном изумлении / вне себя от изумления (*Вр*)
30 Знал! Я? / Знал! Вы говорите знал? (*Вр*)
30–31 что видел / что я видел (*Вр*)
31 одну минуту сегодня / одну минуту (*Вр*)
35 вы сказали правду / вы сказали нам правду, то есть что вы его не расспрашивали. Но, право, не знаю, отчего мне кажется, даже теперь, что вы-то и должны были знать, что Алеша, в его положении, если не точь-в-точь так поступит, как теперь поступил, то сделает что-нибудь совершенно в этом же роде; и что знали вы это еще с прошлого вторника, а может быть, даже и до вторника. (*Вр*)
36 И она засмеялась / И Наташа засмеялась (*Вр*)
47 я первый виноват / я первый и виноват (*Вр*)

Стр. 304.

1 *После:* с раздражительною усмешкою — не было б меня, виноваты были бы вы, Иван Петрович: ведь так всегда бывает на свете. (*Вр*)
10 услышите / услышите сами (*Вр, 1861, 1865*)
15 Вы обижаете / Вы... вы обижаете (*Вр*)
20 убедитесь в этом / убедитесь, что я умею говорить прямо (*Вр*)
41 до такой степени язвительно / до такой степени дерзко, язвительно (*Вр*)
48 от женщины / от женщин (*Вр*)

Стр. 305.

5 в женском характере / что в женском характере (*Вр*)
8–9 в проступке / в ее проступке (*Вр*)
20 слышится / слышался (*Вр, 1861, 1865*)
37–38 Наташа вздрогнула и как будто к чему-то приготовилась. / Наташа вдруг побледнела; рука ее, лежавшая на столе, задрожала. (*Вр*)
41 Глава II / Глава VI (*Вр*)

Стр. 306.

2 *После:* раньше всех — пришел позже всех (*Вр*).
6–7 у него является / у него вдруг является (*Вр*)
13 ее руку / ее руки (*Вр*)
13 тосковал-то я / тосковал-то как я (*Вр*)
14 Управиться / Урваться (*Вр*)

14 Милая ты моя / Голубчик ты мой (*Вр*)
15 бледненькая стала какая... / бледненькая какая, а милая! (*Вр*)
17 *После:* не мог наглядеться. — И столько было любви в его глазах! (*Вр*)
35 *После:* может не простить? — Разве ты, узнав мое сердце, могла бы в нем хоть на минутку усомниться (*Вр*)
38 наболело / изболело (*Вр*)
42 залететь к тебе / залететь к тебе, голубчик (*Вр*)

Стр. 307.

6 Он у меня был / О записке после. Впрочем, вот что: он у меня был (*Вр*)
13 должно быть вдвое / должно было быть вдвое (*Вр*)
38 перед тобой / перед тобой, Наташа (*Вр*)
46 *После:* я стоил твоей насмешки! — И он с грустным, пристыженным видом посмотрел на Наташу. Она тоже как-то грустно улыбнулась ему в ответ. (*Вр*)

Стр. 307—308.

48–1 выказывает себя / высказывает себя (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 308.

2 наблюдал его / наблюдал князя (*Вр*)
3 хотя и говорили / хотя в свете и говорили (*Вр*)
26–27 *После:* всему и всем на свете. — Я знаю теперь вот что: что всякий человек знает о себе то, чего никто, кроме него, о нем не знает, и всякий человек не знает о себе чего-нибудь такого, что всякий, кроме него, о нем знает. Это мне сказала Катя. Поэтому если человек узнает наконец эту свою особенность, это самое, чего никто, кроме него, о нем не знает, — вот уж он и укрепился в своей индивидуальности. И тогда нет ему дела до того, осудят ли его другие, если он тверд в своих убеждениях. (*Вр*)
27–28 мое убеждение справедливо, я преследую его /моя мысль справедлива, я преследую ее (*Вр*)

Стр. 309.

8–9 молодежь свежая; все они с пламенной любовью ко всему человечеству / молодежь светлая, чистая, свежая; всё это сгорает пламенной любовью ко всему человечеству, уважением к человеческому достоинству (*Вр*)
11 так прямо и просто... / так прямо и просто, так упоительно хорошо! (*Вр*)
13 Я не видал еще до сих пор таких! / Я не видел ничего до сих пор подобного! (*Вр*)
16 познакомиться с ними / познакомиться со всеми ими (*Вр*)
16–17 говорят об ней чуть не с благоговением / говорят об ней с благоговением (*Вр*)
32 так странно / так странно, отец (*Вр*)
33 из вашего порядка / из порядка действительности (*Вр*)
34 она пожертвует / она жертвует (*Вр, 1861*)

Стр. 310.

4 всё смеешься / всё смеешься, отец (*Вр*)
4–5 *После:* не слыхал такого — что бы воспламенило меня, заставило прояснеть мой ум, а сердце биться благородными ощущениями. (*Вр*)
7–8 по каким-то меркам, по каким-то правилам / по таким-то меркам, по таким-то правилам (*Вр*)
10–11 *Слов:* Послушал бы ты, как они мне вчера говорили... — *нет.* (*Вр*)
21 Об этом особенно старается Безмыгин. / Эту идею особенно развивает Безмыгин. (*Вр*)
37 там и за тебя / там за тебя (*Вр*)
39 Ты добр, благороден; ты поймешь / Ты добр, ты благороден и поэтому должен отозваться на мой призыв (*Вр*)
43 верно! / верно и окончательно? (*Вр*)

Стр. 311.

3 но показывал / показывая (*Вр*, *1861*, *1865*)
15–16 что для меня теперь свято, благородно? / что свято, чисто, благородно? (*Вр*)
21 *После:* такого же — от чего бы мог воспламениться мой ум (*Вр*)
32 *После:* мальчиком — в своих поступках (*Вр*)
38–39 как ты теперь меня / как теперь ты меня (*Вр*)
39 Послушай / Послушай, отец (*Вр*)
47 *После:* очень умно — и я этому вполне сочувствую (*Вр*)

Стр. 312.

10 заметил не теперь / заметил еще не здесь (*Вр*)
11 доказать нам / доказать нам теперь (*Вр*)
36 мне теперь кажется / мне кажется (*Вр*)
40 Теперь уже я трепещу / Я трепещу теперь (*Вр*)
42 я поторопился; я вижу, что вы очень несходны между собою / вы так не сходны между собою (*Вр*)

Стр. 313.

21 должна быть для тебя / должна была теперь для тебя быть (*Вр*)
25 *Слов:* и предлагать об этом пари — *нет.* (*Вр*)
26 сколько горьких мыслей / сколько му́ки, сколько горьких мыслей (*Вр*, *1861*, *1865*)
32 *После:* среди таких страданий — полную таких подозрений (*Вр*)
35–36 с другой ... неужели / с другой, и неужели (*Вр*)
39 *После:* торжества — он с гордостью обвел нас всех взглядом, как будто спрашивая: каково? (*Вр*)
39 Когда Алеша услышал / Алеша давно уже начал плакать от слов его, но когда услышал (*Вр*)
40 *После:* взглянул на нее — всплеснул руками и бросился перед ней на колени (*Вр*)
42 Полно, Алеша, не тоскуй, — сказала она / Полно, Алеша, полно, голубчик, — сказала она, — встань (*Вр*)
43 скажу / выскажу (*Вр*)
44 *После:* Пора кончить! — Князь, — сказала она, когда Алеша смиренно уселся подле нее, робко на нее посматривая, — зачем обвинять других, когда вы сами всё это приготовили, всё это предузнали заранее и, может быть, этого же и добивались всеми силами? (*Вр*)
45–46 Объяснитесь, Наталья Николаевна, — подхватил князь, — убедительно прошу вас! Я уже два часа слышу об этом загадки. / Но объяснитесь, Наталья Николаевна, убедительно прошу вас, объяснитесь! Я уже два часа слышу от вас загадки. (*Вр*)

Стр. 314.

1 потому что думали / потому что вы думали (*Вр*)
23 обдумайте ваши слова / обдумывайте слова ваши (*Вр*)
30–31 не догадается / не догадается, не поймет (*Вр*)
32 *После:* остались на сердце — и отозвались в нем и недоверием и болью (*Вр*)

Стр. 315.

1 Глава III / Глава VII (*Вр*)
10 ускользали / ускользнули (*Вр*)
21 *После:* не поддавался вам. — Вы сознали наконец, что есть же такие чистые сердца, для которых долг — святое дело. Вы могли измучить его, убить, но не оторвать от меня. (*Вр*)
25 вы назначили / вы назначали (*Вр*)
26 *После:* отстанет от меня — потому что только новою любовью изгоняется прежняя любовь, а ничем другим. (*Вр*)

30–31 опять та же, прежняя история! Всё бы могло уладиться, да я-то опять мешаю! / опять то же, прежняя беда! Вы увидели ясно, что всё бы могло уладиться, что уж и Алеша увлекается и что девушка так прекрасна, что он бы тотчас полюбил ее, да я-то опять мешаю! полюбить-то мешаю! (*Вр*)

41–45 «Что теперь делать?» ∾ И вот на этом-то начале новой любви вы всё и основали. / «Что теперь делать?» Алеша во всем подчинится, но в этом уж ни за что не подчинится; вполне испытано. Мало того, чем больше его гнать, мучить, — тем больше в нем будет сопротивления; потому что он именно таков, как все слабые, но честные люди: не гоните их, не преследуйте, они и не подумают сопротивляться, а преследуйте, то вы сами же разожжете в них сопротивление, которое без вашего преследования им бы и в голову, может быть, не пришло. Соблазном тоже, оказалось теперь, нельзя взять: прежнее влияние еще слишком сильно, и вы только в этот вечер вполне догадались, как оно сильно. Что ж делать?

Вы и придумали:

«Что если прекратить над ним всякое преследование? Что если снять с него то, чем тяготится теперь его сердце: снять то, что он считает своим долгом, обязанностью? Ведь, может быть, тогда в нем пройдет и жар и всё влечение к этим обязанностям.

Вот, например, он любит теперь эту Наташу; чего ж лучше: сказать ему прямо, что не только он может теперь ее любить, но даже позволяется ему исполнить в отношении к ней все свои обязанности, всё, чем он страдает за эту Наташу, и не только позволить, но даже как-нибудь обратить это позволение чуть не в приказ, сказать ему, что он *должен* на ней жениться, чаще твердить ему, что это его *обязанность*, — одним словом, всё, что он говорил сам себе каждый день свободно, от сердца, всё это обратить теперь даже в принуждение. Ну, что тогда будет?»

— Наталья Николаевна! — вскричал князь, — всё это одно расстройство вашего воображения, ваша мнительность; вы вне себя, вы преувеличиваете! — И князь с видом сожаления пожал плечами.

— Вот что тогда будет, — продолжала Наташа, как будто не обращая ни малейшего внимания на слова князя. — «Во-первых, — думали вы, — я окончательно привлеку к себе его сердце, и он устыдится всякой недоверчивости ко мне; а это мне очень пригодится теперь! Первое впечатление будет, положим, невыгодно: он обрадуется. Он хоть и увлекается новой любовью, но ведь он сам еще не знает про эту новую любовь; он до сих пор еще думает и уверен, что по-прежнему, как полгода назад, с тем же жаром, с тою же страстью любит свою Наташу. Он хоть и привязался к Катерине Федоровне, но думает, что это только так; ему хорошо, весело с нею — неизвестно почему; да он и не спрашивает об этом! И хоть сердце каждый день влечет его всё сильнее и сильнее к новой любви, но он совершенно уверен, что там, в прежней любви, у Наташи, всё по-старому и никаких нет перемен. Он потому еще обрадуется, что действительно до сих пор еще любит эту Наташу; ведь она друг его, он так привык к ней; он даже об своей *Кате* (с которой он теперь на *ты*) едет к ней, к первой, рассказывать; он столько раз видел ее страдания и столько сам страдал от ее страданий!.. И потому он обрадуется, положим так, да и пусть его; оно даже и хорошо; радость обновляет, через радость старое забывается; одно горе памятно; всё это только на минуту; зато будущее выиграно...

Зато он, первый раз во все эти полгода, ляжет спать спокойно, с облегченным сердцем: оно уже не будет болеть за Наташу. Он не будет просыпаться во сне и с тоскою думать: „Как-то она? что-то она? чем это кончится? чем устроится?“ Теперь всё хорошо, и на другой же день он почувствует совсем невольно, без всякого расчета, что, слава богу, он уже не должник; теперь всё устроилось, и она уже всё получила, что он даже больше ей отдал, чем сама она думала; он отдает ей всю

свою будущность, и должна же она оценить это, тогда как до сих пор он должен был ценить всё, чем жертвовала ему Наташа. Вот и легче на душе, и дышется свободнее, и так невольно это всё подумается, так без расчету, с таким добрым, теплым чувством!» А вы смотрите да про себя думаете: «Это всё хорошо: несколько дней пройдет, и с ним случится то же самое, что бывает со всеми влюбленными скоро после свадьбы: препятствий нет, всё достигнуто, и любовь сама собой охладевает; там наступает скука; там захочется нового; жизнь не любит покоя; сердцу хочется жить... А тут как нарочно новая любовь еще прежде началась; она уж есть и изобретать ее не надобно...» (*Вр*)

Стр. 316.

1 повторила / продолжала (*Вр*)
12 слишком поразила / слишком сильно поразила (*Вр, 1861*)
18 была бы Наташа / была бы эта Наташа (*Вр, 1861, 1865*)
19 минуте / минутке (*Вр*)
21 новом виде / новом и своеобразном виде (*Вр*)
22–23 такой наивный / она такой наивный (*Вр*)
24 хотят не разлучаться всю жизнь / неразлучности на всю жизнь. Правда, они с любовью говорят между собой и о Наташе, но они хотят жить втроем, всегда (*Вр*)
26 *После:* отдается всё... — Тут еще новые идеи, и причина их опять *Катя*. Он еще, может быть, не сейчас начнет сравнивать, думаете вы, но это неминуемо. (*Вр*)
26–27 Придет наконец время, думаете вы / придет это время (*Вр*)
43–44 *Слов:* Я знаю, что я очень-очень худо сделала, что теперь это всё высказала — *нет.* (*Вр*)

Стр. 317.

3 против него, которыми уж / против князя, от которых уж (*Вр*)
6 выказать / высказать (*Вр*)
15 горько плача / задыхающимся от рыданий голосом (*Вр*)
16 я не понимаю / я не почувствовала (*Вр*)
25 *После:* перед ней на коленях. — Он тоже не мог ничего выговорить от слез. (*Вр*)
34–35 *После:* приподымаясь с кресел — и сверкая глазами (*Вр*)
36–37 *После:* с вашим предложением! — Я всё сообразила; разве этот расчет, который я вам теперь объяснила, не верен? (*Вр*)
37–38 успокоить вашего сына, усыпить его угрызения / успокоить его, усыпить его угрызения, утишить тоску его сердца (*Вр*)
40 Что, разве это неправда? / Что, разве неверен этот расчет? (*Вр*)

Стр. 318.

4–5 явился тогда, в тот вечер, такой жар, такие новые, вам не свойственные убеждения? / явился такой жар, такие новые, вам не свойственные убеждения, как во вторник? (*Вр*)
7 *После:* слово ваше — в тот вечер (*Вр*)
12–15 *Текста:* Может быть, у вас есть ∾ надо было сказать прямо в лицо!.. — *нет.* (*Вр*)
16–17 подумайте, исступленная вы женщина / подумайте (*Вр*)
20–22 Чем, чем вы себя связывали? Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушке! Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом / Да, но вы увлеклись, — сказала Наташа с горькой улыбкой. — К тому же вам, может быть, показалось, что с такими ничтожными, никуда не годными мечтателями, фантазерами, как мы, непременно и надо поступить как-нибудь не по-всегдашнему, как-нибудь почуднее, чтоб подладиться к нам и тем лучше нас обмануть. Ведь вы все, практические люди, считаете нас за таких глупцов! А что такое обида девушке! обида ужасная, в последней

степени обида, но что вам до этого! Ведь эта девушка несчастная, отверженная отцом (*Вр*)
38 Наташа / Нет, Наташа (*Вр*)
38–39 Это грешно и ужасно! / Это грешно, это ужасно! (*Вр*)
40–41 вскричала Наташа / закричала мне Наташа (*Вр*)
44 рисует / и рисует (*Вр*)
46 *После:* это ничего — совсем как будто ничего так оскорбить, хотя, может быть, завтра же вы сами будете смотреть на всё это другими глазами ... (*Вр*)
47 слово мое / слово князя Валковского (*Вр*)

Стр. 319.

3 решилась / решила (*Вр*)
16 не говоря / не говорю (*Вр*)
22 Глава IV / Глава VIII (*Вр*)
27 *После:* с боязливым любопытством. — Но наконец она взглянула на него и улыбнулась. Тогда он заговорил. (*Вр*)
28 Наконец он робко начал / Он робко начал (*Вр*)
39 *После:* не лгал нисколько. — Он любил Катю как сестру, но так, что уж не мог с ней расстаться. (*Вр*)
42 *После:* на его сердце. — Наташа видела, что он очень огорчен ее поступком с князем. (*Вр*)
43 спросила Наташа / спросила она (*Вр*)

Стр. 320.

4 воскликнул Алеша / воскликнул он (*Вр*)
8–9 Я всему причиною / Я, я всему причиною (*Вр*)
36–37 *После:* может мне дать... — Видя, что Наташа в душе не верит ему, Алеша снова заплакал. (*Вр*)
44 очень любила / любила без памяти (*Вр*)
46 рассказывала / рассказала (*Вр*)

Стр. 321.

3 говорила с ним непочтительно / говорила с ним (*Вр*)
8 без ног / все без ног (*Вр*)
14 видишь, Ваня / видишь ли, Ваня (*Вр*)
27 надо утешить / надо утешить, успокоить (*Вр*)
30 Совсем не то / Нет, не то (*Вр*)
36–37 улыбнуться ему на прощание / улыбнуться Алеше (*Вр*)

Стр. 322.

11 а между тем / и между тем (*Вр*)
23 никогда ее не оставит / никогда не оставит ее (*Вр*)
31 *После:* по твоему лицу — Ваня. (*Вр*)
39 *После:* такого характера — как и многие слабые люди. (*Вр*)
42 *После:* на Катю — ничто бы его не отрывало от нее (*Вр*)
45 старайся / постарайся (*Вр, 1861*)

Стр. 323.

11 оставил на столе / оставил мне на столе (*Вр, 1861*)
17 Глава V / Глава IX (*Вр*)
18 посещение / посещение Маслобоева (*Вр*)
19–20 Маслобоев / он (*Вр*)

Стр. 324.

32–33 *После:* нельзя было поцеловать. — Не целовал я. (*Вр*)

Стр. 325.

5 неровно дышала / тяжело дышала (*Вр*)
16 всё крепче приникала / всё крепче и крепче приникала (*Вр, 1861*)
44 с каждым / за каждым (*Вр*)

Стр. 326.

2 был испуган / был страшно испуган (*Вр*)
3 лишится / лишается (*Вр*)
5–6 до передней / до передней проводить меня (*Вр*)
10–11 впечатление / сильное впечатление (*Вр*)
26–27 *После:* просьба до вас — Я просто прошу вас (*Вр*)
32 *После:* А теперь... — Извините меня. (*Вр*)
35 Скажи ты мне / Скажите мне (*Вр*)

Стр. 327.

1 уж я скажу / я скажу (*Вр*)
5 минуту, теперь / минуту, как теперь (*Вр*)
8 в нерешимости / в нерешительности (*Вр*)
11 вечером / вечером-то (*Вр*)
11 вообразить не можешь / вообразить ты не можешь (*Вр*)
31–32 *После:* больное и бледное — Видно было, что она (*Вр*)
39 на минуту / на минутку (*Вр*)

Стр. 328.

13 огорчу ее, Иван Петрович / огорчу ее, голубчик Иван Петрович (*Вр*)
29 у графини будет / у графини (*Вр*)
35 неблагороден перед Катей / неблагодарен перед Катей (*Вр*)
42 чтоб он помог мне уехать от тебя / чтоб он выдумал что-нибудь, чтоб мне уехать от тебя (*Вр*)

Стр. 328—329.

48–1 и вот что, друг мой / и вот что, голубчик (*Вр*)

Стр. 329.

4–5 выходило очень легко / выходило это очень легко (*Вр*)
9–10 прощай, возлюбленная ты моя / прощай, голубчик, ангел, возлюбленная моя (*Вр*)
10–11 Прощай, Ваня / Прощайте, Ваня (*Вр*)
12 я вас люблю / я вас так люблю (*Вр*)
25 проговорила она / проговорила Наташа (*Вр*)
36 *После:* познакомиться с нею. — В этот раз я не мог не заплакать, смотря на слезы Наташи. Самое лучшее, самое сладкое утешение для женщины — это поплакать вместе с нею. (*Вр*)
39–40 свидании в семь часов / свидании моем в семь часов (*Вр*)

Стр. 330.

1 Глава VI / Глава X (*Вр*)

Стр. 331.

16–17 попрыскать / напрыскать (*Вр*)
20 расписной баночки / расписанной баночки (*Вр*)
22 танцевать / потанцевать (*Вр, 1861, 1865*)
27–28 *Слов:* какие-то люди ходят — *нет.* (*Вр*)
30–31 вот там / вон там (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 332.

29 не будет дома / нету дома (*Вр*)
31 надо было утешить / надо утешить (*Вр*)
33 зачем не позовешь? / зачем же не позовешь? Зачем не живешь?(*Вр*)
47–48 Я еще и не пивал такого. / а уж булочки такая прелесть, что я и не едал таких! (*Вр*)

Стр. 333.

11–12 *После:* одиннадцати — сиротка (*Вр*)
14–15 так вся и вспыхнула, как услышала / видишь: так вся и вспыхнула, когда услышала (*Вр*)

16 так и зарделась / так и зарделась, так и зарделась (*Вр*)
17 ишь глазенки-то / ишь глазенки-то, глазенки-то (*Вр*)
19–20 так меня / так бы меня (*Вр*)
35 подскочила / подскокала (*Вр*)
37 щелкнул языком / щелкнул (*Вр*)

Стр. 334.

6 чтоб поговорить / затем, чтоб поговорить (*Вр*)
7 знаю, ты / знаю, что ты (*Вр*)
10 Нет / Но нет (*Вр*)
22 всё чисто / всё это чисто (*Вр, 1861, 1865*)
25 всё обделаю: Бубнова / всё обделаю; а Бубнова (*Вр*)
27 не узнал / не знал (*Вр*)
35 Ты / и ты (*Вр*)
38 дружище / голубчик (*Вр*)

Стр. 335.

14 Так и не взыщи / И потому не взыщи (*Вр*)
20 для нее / для нее же (*Вр*)
21–22 некоторые пункты / некоторые щекотливые пункты (*Вр*)
35 *После:* не годится народ — лезут напрямки! (*Вр*)
40 Я ведь, Ваня / Я ведь, голубчик Ваня (*Вр*)

Стр. 336.

12 Вот князь его и надул / Вот и князь его надул (*Вр*)
23 как сумасшедшая / до беспамятства (*Вр*)
39–40 заботило одно: отец проклянет / заботило одно, что отец проклянет (*Вр*)

Стр. 337.

4 Следовательно / Следственно (*Вр, 1861, 1865*)
19 обязательство / обязательство-то (*Вр*)
22 что я / чтоб я (*Вр*)
27 весьма легко / всегда легко (*Вр, 1861*)
31 и хоть оставила / хоть и оставила (*Вр, 1861, 1865*)
40 Сколько лет / Сколько ж лет (*Вр, 1861*)

Стр. 338.

18 так и убирайся / ты и убирайся (*Вр*)
37 когда вы / как вы (*Вр*)
40 как это хорошо / так это хорошо (*Вр*)
41 Глава VII / Глава XI (*Вр*)

Стр. 339.

18 обещание / обещание познакомиться (*Вр*)
21–22 Я ведь дал / Я дал (*Вр*)
26 я плакал / я плакал, плакал (*Вр*)
27–28 хоть я вовсе / хоть я и вовсе (*Вр, 1861, 1865*)
44 Ничего... / Ничего, ничего! (*Вр*)
44 Я не хочу / Но я не хочу (*Вр*)

Стр. 340.

1–2 как бы тебя ни упрашивали / что бы они тебе ни говорили (*Вр*)
5 за руки / за руку (*Вр, 1861, 1865*)
14 есть фрак / есть порядочный фрак (*Вр*)
17 *После:* взволнована — вся дрожала (*Вр*)
19 Странная это / Странная эта (*Вр 1861, 1865*)
23–24 когда разглядела / как разглядела (*Вр*)
28 *После:* отвечал я — и действительно она с некоторыми припадками, (*Вр*)

29–30 если она с припадками / если с некоторыми припадками (*Вр*)
34–35 приглашение быть / приглашение его быть (*Вр, 1861, 1865*)
41 Глава VIII / Часть четвертая. Глава I (*Вр*)
42 недолго / недалеко (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 341.

4–5 спорные десять тысяч / спорных десять тысяч (*Вр, 1861, 1865*)
10 и для нас всех / и для всех нас (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 342.

1–2 следовательно, считаете / следственно, считаете (*Вр, 1861, 1865*)
36 не слыхал / не слыхав (*Вр*)
43 присоединилось / присоединялось (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 343.

21 ни чувствовали / вы ни чувствовали (*Вр, 1861*)
23 Глава IX / Глава II (*Вр*)
37 подтвердила / подтвердила мне (*Вр*)

Стр. 344.

9 как говорил / как говорит (*Вр*)

Стр. 345.

8 я заключал / я заключил (*Вр*)
18–19 о начинающихся реформах / о начинающихся крупных реформах (*Вр*)

Стр. 346.

35 я сейчас / я и сейчас (*Вр, 1861, 1865*)
36 на минуточку / на минутку (*Вр, 1861*)

Стр. 347.

32 фальшивым наговорам / этим фальшивым наговорам (*Вр, 1861*)
45–46 что уж это выходит просто эгоизм / что в результате доходит как будто бы до величайшего эгоизма (*Вр*)
47 правду сказал / правду говорил (*Вр*)

Стр. 347—348.

48–1 он видел / он признавал (*Вр*)

Стр. 348.

4 для того и начал / для того только и начал (*Вр, 1861, 1865*)
18 назвать еще ребенком / назвать еще дитей (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 349.

9 сильно и пламенно настроенной / сильной и пламенно настроенной (*Вр, 1861, 1865*)
11 к себе Наташа / к себе и Наташа (*Вр, 1861, 1865*)
14 оставаться / остаться (*Вр, 1861, 1865*)
39 он благородный / он ужасно благородный (*Вр*)
46 я вас ждала / и вас ждала (*Вр*)

Стр. 350.

16 она должна быть / она должно быть (*Вр*)
24–25 Сердце мое размягчилось / Сердце мое размягчалось (*Вр*)
47 глазами / глазом (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 351.

42 должно быть / должно было быть (*Вр*)

Стр. 352.

1 Ведь если они / Ведь или они (*Вр, 1861, 1865*)
28 хотя мачеха ее добрая / хотя мачеха ее и добрая (*Вр*)
30 почти / но почти (*Вр, 1861, 1865*)
39–40 для того только / для того бы только (*Вр*)

Стр. 353.

34 уж много / уж ужасно много (*Вр, 1861, 1865*)
40 *После:* не правда ли? — Точно ведь я это всё украла у всех бедных, сама живу праздно, а те работают. (*Вр*)

Стр. 354.

1 пора откланиваться / пора нам откланиваться (*Вр*)
12 Глава X / Часть четвертая. Глава III (*Вр*)
31 которую он велел / которого он велел (*Вр, 1861*)
34 *После:* со мной ужинать! — Mais, mon cher (*Вр*)

Стр. 355.

6 карьеру / даже карьеру (*Вр*)
14 Но и, наконец / Ну и, наконец (*Вр*)
19 Я просил бы вас, князь / Во-первых, это я один живу на чердаке, а во-вторых, я просил бы вас князь (*Вр*)

Стр. 356.

33 Вы забываетесь! / Князь! Вы забываетесь! (*Вр*)
40 быть счастливым / быть счастлив (*Вр, 1861*)
46 только, что если / только то, что если (*Вр*)

Стр. 357.

16 хоть и побранила / хоть побранила (*Вр*)
24 и не хочу / и я не хочу (*Вр*)

Стр. 358.

10 мой милый / голубчик, Иван Петрович (*Вр*)
41–42 в своей низости и в этом нахальстве / в своей наглости и в этом нахальстве (*Вр, 1861*)

Стр. 359.

7 подумал я и стал / подумал я, стал (*Вр*)
11–12 выслушать / слушать (*Вр*)
34 я и хотел / я хотел (*Вр, 1861, 1865*)
44 *Слов:* Ни забыть, ни скрывать — *нет.* (*Вр*)

Стр. 360.

1 объяснить вам, что / объяснить вам, mon ami, что (*Вр*)
2 *Слов:* которую вы еще не знали — *нет.* (*Вр*)
6 *Слов:* вечно юного — *нет.* (*Вр*)
14 откровенен, но уж / откровенен, mon ami, но уж (*Вр*)
15 хочется рассказать / хочется вам рассказать (*Вр, 1861*)
22 думаете, я пьян / думаете, что я пьян (*Вр*)
26 часик для / часик, другой для (*Вр, 1861, 1865*)
28 вы бы должны / вы бы еще должны (*Вр*)
34 Но он был / Впрочем, он был (*Вр*)
36–37 неуместное, о том, что / неуместное, что (*Вр*)
39 с полишинелем / с пульчинелем (*Вр*)

Стр. 361.

3 начал знакомиться / начал тогда знакомиться (*Вр*)

Стр. 362.

23 выпили / вы выпили (*Вр, 1861*)

Стр. 363.

23 *После:* презрением ко мне — неуважением ко мне (*Вр*)
27–28 выставляясь / выставляясь передо мной (*Вр*)
34–35 позвольте мне налить / позвольте вам налить (*Вр*)

Стр. 364.

12 Сношения были / Сношения наши были (*Вр*)
13 никто из ее домашних / никто из домашних (*Вр*)
20 *После:* над всем — над всеми уставами человеческими, над всем (*Вр*)
36 какая низость / какая пакость (*Вр, 1861*)
40 а теперь / а теперь, — теперь (*Вр, 1861, 1865*)
40–41 Нет, вы не поэт / Нет, mon ami, вы не поэт (*Вр*)
41–42 *После:* умела ею воспользоваться. — А вы, — вы всю жизнь свою взяли напрокат, вы переживаете не свое: вам чужие ее разлиневали еще прежде, чем вы родились, — а вы и не подумали ни разу, что стоит захотеть, стоит хоть на мгновение показать свою самостоятельность, хоть стотысячную долю самостоятельности, и жизнь будет *ваша*, вполне ваша, оригинальная, вами изобретенная и сочиненная, полная и богатая, в которой во сто раз будет больше настоящих жизненных соков, чем теперь ваша жалкая жизнь напрокат, жизнь, приказанная папенькой и маменькой. (*Вр*)
43 Да зачем же доходить до такого зверства? / Я понимаю, о чем вы говорите, — отвечал я ему, — но разве самостоятельность непременно должна довести до такого зверства? (*Вр*)

Стр. 365.

5 я еще верую / но я еще верую (*Вр*)
17 освободил себя / освободил свою личность (*Вр*)
33–34 именно *добродетельнее* / немного *добродетельнее* (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 366.

7 знаете ли / знаете ли, mon ami (*Вр*)
8–9 я дорожу / я даже иногда дорожу (*Вр*)
12 я первый же его / я первый его (*Вр*)
14 у меня не было / у меня никогда не было (*Вр, 1861, 1865*)
18 всплывем наверх / всплывем, мы всегда всплывем наверх (*Вр, 1861*)
20 *После:* когда-нибудь? — Мы доживаем до восьмидесяти, до девяноста лет! (*Вр, 1861, 1865*)
21 нам покровительствует / нас покровительствует (*Вр, 1861*)
25 мы начали / мы начинали (*Вр*)
27 Я иду / Я иду, князь (*Вр*)
30 мой поэт / mon cher (*Вр*)
34 назвать вас / назвать себя (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 367.

6 что ж, я / что ж, mon cher, я (*Вр*)
8 визжала тогда / визжала в эту минуту (*Вр*)
9 сами / сами, mon ami (*Вр*)
15 а я его уж / я уж его (*Вр*)
30 упоение злобы встречается у шиллеровских натур / упоение злобы у шиллеровских натур (*Вр*)
35 неясно / неясно, mon cher (*Вр*)
43–44 У Катерины Федоровны / У Кати (*Вр*)

Стр. 368.

44 мой милый / mon ami (*Вр*)

Стр. 369.

16 Надеюсь, вы / Надеюсь, что вы (*Вр*)
20–21 Часть четвертая. Глава I / Глава IV (*Вр*)

Стр. 370.

29 купил ей у знакомой старухи / купил ей шубку у знакомой старухи (*Вр*)

Стр. 371.

1 Глава II / Глава V (*Вр*)
5 продолжать рассказа / продолжать моего рассказа (*Вр, 1861, 1865*)
7 с такой тяжелой / с тяжелой (*Вр*)

Стр. 372.

12 подносил лекарство / подносил лекарства (*Вр, 1861, 1865*)
40 Я уверен, она / Я уверен, что она (*Вр*)

Стр. 374.

10 схватив / схватила (*Вр, 1861*)
43 Когда я приходил / Когда же я приходил (*1865*)

Стр. 375.

4 и я / и что я (*Вр*)
12 теперь и не уйдет / теперь она и не уйдет (*Вр, 1861*)
22 Филипп Филиппыч так приказал / Филипп Филиппыч мне так приказал (*Вр*)

Стр. 376.

4 Полно, Нелли / Полно, голубчик Нелли (*Вр*)
13 Глава III / Глава VI (*Вр*)
34 Прощайте, Иван Петрович / Прощайте, мой голубчик (*Вр*)
35 и всё, должно быть, умные / а всё, должно быть, умные (*Вр*)

Стр. 378.

6 веселом, игривом / веселом и игривом (*Вр, 1861*)
45 пойдете к Наташе? / поедете опять к Наташе? (*Вр*)
48 замолчала / помолчала (*Вр*)

Стр. 379.

17 что за фантазия / что это за фантазия (*Вр*)
45 чуть не шепотом / тихо, чуть не шепотом (*Вр*)

Стр. 380.

9 всё мрачнее / всё мрачнее и мрачнее (*Вр*)
25 Глава IV / Глава VII (*Вр*)
28 с дрожек сходит / из дрожек выходит (*Вр, 1861*)
37 у ней были / у ней (*Вр*)

Стр. 381.

18 и будет вести себя / а будет вести себя (*Вр*)
25 и забыв о сигаре / и забыв об руке и об сигаре (*Вр*)
46 когда услышала / когда услыхала (*Вр*)
47 к ним / к себе (*Вр*)

Стр. 382.

9–10 отвезти беглянку / отвести беглянку (*Вр, 1861, 1865*)
29 плакала / рыдала (*Вр*)
36 не ложился, а продолжал ходить / не ложился и продолжал ходить (*Вр, 1861*)

Стр. 383.

37 Послезавтра Христос воскрес / Послезавтра Светлое воскресенье, Христос воскрес (*Вр*)
47 друг мой! / голубчик мой! (*Вр*)

Стр. 384.

5 я у всех прошу / а у всех прошу (*1861*)
20–21 или ... я уж и не понимаю / или ... или я уж и не понимаю (*Вр, 1861*)
22 взял свою фуражку и пожал / взял свою фуражку; пожал (*Вр*)
25 не стыдно тебе / не стыдно тебе это (*Вр*)
34 Говорят, сытый / Говорят, что сытый (*Вр*)
45 опять не нашел / не нашел (*Вр*)

Стр. 385.

6 В сильном беспокойстве / В страшном беспокойстве (*Вр*)
18–19 Что было мне делать? / Что было делать? (*Вр, 1861, 1865*)
45 хвасталась / рисовалась (*Вр*)

Стр. 386.

7 испугать своими капризами / испугать своими подвигами, своими капризами (*Вр, 1861, 1865*)
8 перед нами хвалилась / рисовалась перед нами и хвалилась (*Вр*)
14 я стоял в десяти шагах / я стоял от нее в десяти шагах (*Вр*)

Стр. 388.

1 Глава V / Часть четвертая. Глава VIII (*Вр*)
26 мрачная, бледная / мрачная, бледная, задумчивая (*Вр*)

Стр. 390.

29 всё горе / всё мое горе (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 391.

12 *После:* смеялась... — Иногда в эти минуты она как будто вся перерождалась... (*Вр*)
32–33 с просьбой бросить всё и немедленно спешить / с просьбой, чтоб я бросил всё и немедленно спешил (*Вр*)

Стр. 392.

15 нетерпеливый он такой стал / нетерпеливый он стал такой (*Вр*)
42 кончал гневом / кончил гневом (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 393.

20–21 она встрепенулась / она вся встрепенулась (*Вр, 1861*)
31 всех мелочей / всех обстоятельств (*Вр*)
34 переговорить / поговорить (*Вр, 1861*)

Стр. 394.

34 вследствие встречи / вследствие давешней встречи (*Вр*)
43 на тот дом / на этот дом (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 396.

11 этот самый Ихменев / этот тот самый Ихменев (*Вр, 1861, 1865*)
20–21 проклинает свою дочь / проклинает дочь (*Вр*)
34 Глава VI / Глава IX (*Вр*)

Стр. 398.

31–32 увидала / увидела (*Вр, 1861, 1865*)
47 Милая Наташечка / Голубчик Наташечка (*Вр*)

Стр. 399.

9 В июне приедешь? / К июню ведь приедешь? (*Вр, 1861, 1865*)
27 руки Кати / руки у Кати (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 400.

11 Сейчас, Ваня, сейчас, мой добрый друг. / Сейчас, Алеша, сейчас, мой добрый голубчик. (*Вр*)
34 никого не знал / никого и не знал (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 401.

4–5 мысль, что он тоже, как *большой* / мысль, что он тешится... или нет не то: что он тоже, как *большой* (*Вр, 1861*)
17 по голове / по головке (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 402.

15 *После:* Оставался один час — его, верно, ждали (*Вр*)
16 как последний раз / как она последний раз (*Вр*)
24 пиши мне обо всем / пиши мне обо всем, обо всем (*Вр, 1861*)

Стр. 403.

35 ум помешался / ум мешался (*Вр, 1861*)
39 и положил / и потому положил (*Вр, 1861*)
40 хоть тем / хотя той мыслью (*Вр*)
43–44 но я сначала / но сначала (*Вр, 1861, 1865*)
47–48 у него руку / у него мою руку (*Вр*)

Стр. 404.

1 став женою / сделавшись женою (*Вр*)
28 многое делал / много сделал (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 405.

21 дрожащим голосом / дрожавшим голосом (*Вр, 1861, 1865*)
24–25 уже давно / потому что уже давно (*Вр*)
42 Доктор / Доктор, доктор (*Вр*)

Стр. 406.

4 поглядывала / поглядела (*Вр, 1861, 1865*)
30 слышать / слушать (*Вр, 1861, 1865*)
32 я всё знаю / я всё это знаю (*Вр, 1861*)

Стр. 407.

20 Глава VII / глава X (*Вр*)
32 не смела говорить / не смела заговорить (*Вр, 1861, 1865*)
33 чего-то вдруг испугалась / что-то вдруг испугалась (*Вр*)
38–39 по одному взгляду / по одному этому взгляду (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 409.

21 он старался / но он старался (*Вр, 1861, 1865*)
26 А ты почему знаешь? / А ты почему это знаешь? (*Вр*)
28 отрывисто отвечала / отрывисто ответила (*Вр, 1861*)

Стр. 410.

32 вскричала Анна Андреевна / вскрикнула Анна Андреевна (*Вр*)

Стр. 411.

43 а я виновата / я виновата (*Вр*)

Стр. 412.

3 и как переехали / и как переехала (*Вр*)
3 совсем слегла / совсем и слегла (*Вр, 1861*)
27 много еще умел / много еще знал (*Вр*)
47 А еще через день / А на следующий день (*Вр*)

Стр. 413.

3 Дедушка стал / Дедушка остановился (*Вр*)
40–41 письмо твоему дедушке / письмо к твоему дедушке (*Вр, 1861*)
42 прочтет, что скажет / прочтет и что скажет (*Вр, 1861*)

Стр. 414.

13 Глава VIII / Глава XI (*Вр*)
23 не видела / не видала (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 415.

12 так не возьму / так я не возьму (*Вр, 1861, 1865*)
20 рассказывал, какие / рассказывал мне, какие (*Вр, 1861*)
31 и Азорка / а Азорка (*Вр*)
34 всё говорю / всё рассказываю (*Вр*)
36 начну про Азорку / начну рассказывать про Азорку (*Вр*)
38 заставляет повторить / заставляет повторять (*Вр*)

Стр. 416.

2 меня в другой раз / меня другой раз (*Вр, 1861, 1865*)
11 напуганной / запуганной (*Вр*)

Стр. 417.

11–12 вынес свечу / вынес свечку (*Вр, 1861*)

Стр. 418.

21–22 заплакала, испугалась / заплакала и испугалась (*Вр*)

Стр. 419.

26 Вот в последний день / Вот последний день (*Вр, 1861*)
34 одно выговорила / одно и выговорила (*Вр, 1861, 1865*)

Стр. 420.

15 Куда ты / Куда, куда ты (*Вр*)
33 не дошел до порога / не дошел и до порога (*Вр*)
40 Глава IX / Глава XII (*Вр*)

Стр. 421.

10–11 Худенькая, правда, бледненькая / Худенькая, — правда, бледненькая, — да (*Вр*)
21–22 *После:* Я отверг тебя — я забыл тебя (*Вр*)

Стр. 422.

5 А ты благословляла ли / А ты, голубушка, благословляла ли (*Вр*)

Стр. 423.

31–32 подает мне руку / подает мне руки (*Вр, 1861, 1865*)
39–40 таким образом, обеспечен в главном отделе / обеспечен в главном отделе таким образом (*Вр*)

Стр. 424.

16 предлагает довезти / предлагает мне довезти (*Вр*)
25 повторяет разные / повторяет мне разные (*Вр*)

Стр. 425.

17 ангельчик мой / ангелочек мой (*Вр, 1861*)
30–31 Сходи-ка к ней, Ваня, да мне и расскажи ужо потихоньку, что с ней... Слышишь? / Сходите-ка к ней, голубчик, да мне и расскажите ужо потихоньку, что с ней ... Слышите? (*Вр*)

Стр. 426.

18 Да, они обеспечены / Да, но они обеспечены (*Вр, 1861, 1865*)
19 друг мой / голубчик (*Вр*)
41 и он / потому что и он (*Вр*)

Стр. 427.

5 с мучением / с мучением, с тоской (*Вр*)
37 предстоявшая нам разлука / предстоявшая наша разлука (*Вр, 1861*)

Стр. 428.

1 я письмо / я это письмо (*Вр*)
5 и не помышляет / и не заботится (*Вр*)
24 С отцом / С папашей (*Вр*)
27 она его вином / она его всё вином (*Вр*)
34–35 ужасно полюбила / как-то страстно полюбила (*Вр*)
44 сильно полюбила / ужасно полюбила (*Вр*)

Стр. 429.

29–30 как их выразить / как его выразить (*Вр, 1861, 1865*)
31 любила почти более всех, кроме меня / любила без памяти (*Вр*)
34–35 тотчас же и начинается / тотчас же и начнется (*Вр*)
45 приходил почти каждый вечер / приходил каждый вечер (*Вр*)
46 привязавшийся всею душою к Ихменевым / чрезвычайно полюбивший Ихменевых (*Вр*)

Стр. 431.

6–7 по обыкновению, сидели / уже сидели (*Вр*)
8 *После:* Явился доктор — очень полюбивший Ихменевых и особенно этот час всеобщей семейной сходки (*Вр*)
26 Постой же! / Ну, постой же! (*Вр*)
31 сговорились, что / сговорились так, что (*Вр*)

Стр. 432.

12 нам так подробно воспоминаний своих / нам ничего из этих воспоминаний своих (*Вр*)
16 с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью / с драгоценными палатами и с грязным дождем (*Вр*)

Стр. 434.

34 дружище / голубчик (*Вр*)
46 в свою светелку / в мою светелку (*Вр*)

Стр. 435.

13 Да я вовсе / Да и вовсе (*Вр*)
17 Видишь, брат / Видишь, брат Ваня (*Вр*)
40 дело в том / дело было в том (*Вр*)
48 воротилась / воротилась бы (*1865*)

Стр. 437.

7 князь ведь / князь-то ведь (*Вр, 1861, 1865*)
13 не успел посмотреть / не успел поглядеть (*Вр, 1861*)
41–42 всё это надзвездные глупости / все эти надзвездные глупости (*Вр*)

Стр. 438.

13–14 отмстить еще раз, подавить / отмстить и еще раз подавить (*Вр*)
27 послать / посылать (*1861, 1865*)
27 не посылала / не послала (*Вр, 1861*)

Стр. 440.

19 друг Ваня / голубчик мой (*Вр*)

Стр. 441.

4–5 сама, с шаловливым видом / сама и с шаловливым видом (*Вр*)
41 Он заставил цветами / Узнав, что Нелли любит цветы, он заставил цветами (*Вр*)

Стр. 442.

23–24 пошли в сад / вышли в сад (*Вр, 1861*)

Пометы Ф. М. Достоевского
в печатном тексте романа (VII и VIII главы четвертой части),
сделанные для прочтения на литературном вечере (1879)

Стр. 408—409.

42–35 *Зачеркнуто. На полях текст, частично срезанный при переплете:* у одного обрусевшего ⟨?⟩ единственная дочь, бросившая его для одного дурного человека, ограбившего ее отца, отчего тот разор⟨ился⟩, и увезшего ее за границу, где под конец и бросил ее. Но там у них родилась дочь Нелли. [Любовник бро] Мать и дочь воротились в Петербург и жили ⟨в⟩ нищете; рассказ⟨ать⟩, как умер⟨ла⟩ в Петербурге мать ⟨и⟩ как ст⟨арый⟩ отец, дедушка Нелли, пр⟨оклял?⟩ дочь и не хот⟨ел⟩ с ней ⟨при⟩мириться.

Стр. 409.

30–35 *На полях текст:* Рассказ 12-летн. девочки сироты о том, как ее дед не хотел простить ее мать.

35 *На полях цифра:* 1.

36–37 отвечала Нелли *зачеркнуто.*

38 *После:* богатый — *знак вставки и на полях:* но он [был] англичанин, не русский, [хотя?] родился в России и [Россию любил].

40 *Над строкой после:* уехала — и оставила дедушку.

42 *Зачеркнуто.*

43–45 *Текст:* продолжала Нелли ∾ мне говорила — *зачеркнут.*

46 *После:* дедушка — *знак вставки, и на полях:* через нее разорился, теперь совсем бедный и

47 *Слово:* нет — *зачеркнуто*; *над ним:* не осталось

Стр. 410.

7–8 *Отчеркнуто по полю; на полях:* когда е⟨ще⟩ он был бога⟨тый⟩.

8 *После:* дарил — *знак вставки, и на полях:* под⟨арков⟩

8–16 *Текст:* всё дарил ∾ просить ... — *зачеркнут.*

19–40 *Зачеркнуто.*

садилась на улицѣ, а я ее придерживала. Мамаша все говорила, что идетъ къ дѣдушкѣ и чтобъ я вела ее, а ужь давно стала ночь. Вдругъ мы пришли въ большую улицу; тутъ передъ однимъ домомъ останавливались кареты, и много выходило народу, а въ окнахъ вездѣ былъ свѣтъ и слышна была музыка. Мамаша остановилась; схватила меня и сказала мнѣ тогда: «Нелли, будь бѣдная, будь всю жизнь бѣдная, не ходи къ нимъ, кто-бы тебя ни позвалъ, кто-бы ни пришелъ. И ты-бы могла тамъ быть, богатая и въ хорошемъ платьѣ, да я этого не хочу. Они злые и жестокіе, и вотъ тебѣ мое приказаніе: оставайся бѣдная, работай и милостыню проси, а если кто придетъ за тобой, скажи: не хочу къ вамъ!...» Это мнѣ говорила мамаша, когда больна была, и я всю жизнь хочу ее слушаться, прибавила Нелли, дрожа отъ волненія, съ разгорѣвшимся личикомъ, — и всю жизнь буду служить и работать, и къ вамъ пришла тоже служить и работать, а не хочу быть, какъ дочь...

— Полно, полно, голубка моя, полно! вскрикнула старушка, крѣпко обнимая Нелли. Вѣдь матушка твоя была въ это время больна, когда говорила.

— Безумная была, рѣзко замѣтилъ старикъ.

— Пусть безумная! подхватила Нелли, рѣзко обращаясь къ нему; — пусть безумная, но она мнѣ такъ приказала, такъ я и буду всю жизнь. И когда она мнѣ это сказала, то даже въ обморокъ упала.

— Господи Боже! вскрикнула Анна Андреевна: — больная-то, на улицѣ, зимой?..

— Насъ хотѣли взять въ полицію, но одинъ господинъ вступился, разспросилъ у меня квартиру, далъ мнѣ десять рублей и велѣлъ отвезти мамашу къ намъ домой на своихъ лошадяхъ. Послѣ этого мамаша ужь и не вставала, — а черезъ три недѣли умерла...

«Униженные и оскорбленные». Страница главы VIII с исправлениями Достоевского для публичного чтения. 1879 г.
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

41–42 *Слова:* Нет, не там... а; отвечала Нелли ∾ продолжала она, помолчав — *зачеркнуты. К началу строки 41 на полях вставка:* 2. Когда мы приехали, то жили

Стр. 411.

4–8 *Зачеркнуто.*

13–14 *Фраза:* «Будь бедная ∾ никого и ничего. — *подчеркнута.*

15 к ним *зачеркнуто; на полях:* к этим гордым людям.

34–40 *Зачеркнуто.*

41–42 *На полях цифра* 3 *и поправка к тексту:* Как мы шли домой, матушка мне всё говорила.

46–48 *Зачеркнуто.*

Стр. 412.

1–2 *На полях цифра* 4 *и поправки к тексту:* В ту же ночь она заболела, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой.

4–5 *На полях цифра:* 5.

5 *Исправлено:* и Иван Александрыч, хозяин, гробовщик.

6 *Зачеркнуто.*

9–18 *До слов:* что раз где-то — *зачеркнуто.*

17–18 *На полях цифра:* 6

18 *Вставка:* Рассказывала мне [в]

31–34 *Зачеркнуто.*

35 *Слово:* нет — *зачеркнуто; на полях цифра:* 7

48 *После:* дедушка — *вставлено:* опять

Стр. 414.

13–27 *Зачеркнуто.*

28 *На полях цифра:* 8

28 *Исправлено:* Три недели я не видела с того времени дедушку — до самой зимы.

Стр. 416.

6–17 *Зачеркнуто.*

18 *На полях цифра:* 9

19 *Слова:* начала опять Нелли — *зачеркнуты; после:* стало — *вставка:* очень уж

42–48 *Зачеркнуто.*

Стр. 417.

1 *Исправлено:* Он воротился уже ночью.

20 *Слово:* тот — *зачеркнуто; надписано:* один господин

21–24 *Зачеркнуто.*

Стр. 417—418.

43–6 *Зачеркнуто.*

Стр. 418.

7–8 *Исправлено:* Мамаша уже редко вставала с постели, денег у нас — *и далее, как в основном тексте; на полях цифра:* 10.

14 *Слова:* что у всех просить не стыдно — *подчеркнуты.*

34 *Слово:* ним — *зачеркнуто; на полях вставка:* ⟨э⟩тим ⟨го⟩рдым жестоким людям.

36 *После:* жестокие — *знак вставки, и на полях:* ⟨о⟩ни не ⟨пр⟩ощают обид.

Стр. 418—419.

40–3 *Текст:* прибавила Нелли ∾ на улице зимой?.. — *зачеркнут; на полях вставка:* Мамаша так ослабела, что упала вдруг без чувств. Я закричала.

Стр. 419.

4 *На полях цифра:* 11

8–11 *Зачеркнуто до слов:* За неделю до смерти

11 *На полях цифра:* 12

22–25 *Зачеркнуто.*

48 *Над словом:* закричала — *надписано:* сказала

Стр. 420.

1 *Слово:* смотри! — *зачеркнуто.*

3–12 *Зачеркнуто.*



ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том вошли произведения 1859—1861 гг. — повесть «Село Степанчиково и его обитатели», роман «Униженные и оскорбленные», а также наброски сюжетов и планов неосуществленных произведений, относящихся к этому периоду.

«Село Степанчиково», как и писавшийся одновременно «Дядюшкин сон», Достоевский создавал в Семипалатинске, где он остро чувствовал свою оторванность от общественной и литературной жизни столиц. Справедливо рассчитывая на эффект появления своего имени в печати после многолетнего (с 1849 г.) перерыва, он в то же время был озабочен проблематикой, поисками сюжета для новых своих произведений. Задачу свою он формулировал таким образом: «... написать роман ⟨...⟩ получше „Бедных людей“» (письмо к А. Е. Врангелю от 23 марта 1856 г.). Создание романа такого значения, какое имели «Бедные люди» для литературы 1840-х годов, было делом, требовавшим времени, обдумывания и, главное, ориентировки в современной общественной жизни, знакомства с подспудными ее течениями, еще не пробившимися на поверхность, не заявившими о себе в литературе и публицистике.

О сложности этой ориентировки Достоевский вспоминал позднее, рассказывая в «Записках из Мертвого дома» о первой прочитанной им в конце каторги новой книге: «Это был нумер одного журнала. Точно весть с того света прилетела ко мне; прежняя жизнь вся ярко и светло восстала передо мной, и я старался угадать по прочитанному: много ль я отстал от этой жизни? много ль прожили там они без меня, что их теперь волнует, какие вопросы их теперь занимают? Я придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинственный смысл, намеки на прежнее; отыскивал следы того, что прежде, в мое время, волновало людей, и как грустно мне было теперь на деле сознать, до какой степени я был чужой в новой жизни, стал ломтем отрезанным. Надо было привыкать к новому, знакомиться с новым поколеньем» (ч. II, гл. X).

Определение литературной позиции было важно для Достоевского по двум причинам. Русская литература продолжала развиваться, несмотря на все препятствия, и во время «мрачного семилетия» (1848—1855), и, особенно, после смерти Николая I в связи с подъемом общественной жизни, начавшимся в канун крестьянской реформы. Сам же Достоевский за эти годы во многом переменился, продолжая пересмотр своих прежних убеждений и вырабатывая постепенно ту систему взглядов, которая позднее легла в основу программы журнала «Время» (1861—1863) и получила в 1860-е годы название «почвенничества». Но до основания журнала свое желание вмешаться в общественно-литературную борьбу эпохи Достоевский мог осуществить, да и то в очень ограниченной степени, только в собственных литературных произведениях. Может быть, поэтому в «Селе Степанчикове» литературная полемика занимает

столь важное место. Содержание и смысл этой полемики, охарактеризованные в комментариях, позволяют определить литературную позицию, занятую Достоевским в период затянувшейся работы над повестью.

Возможность соединения «временного» и «вечного», необходимость сочетания общечеловеческого и злободневного в художественной разработке характеров и ситуаций (как это имеет место в «Селе Степанчикове», где классический образ лицемера предстал в новой сложной художественной интерпретации, подсказанной новой эпохой русской жизни) многократно обсуждались как острая и спорная проблема в русской литературе и критике конца 1850-х годов. Характерна в этом смысле известная речь Л. Н. Толстого в Обществе любителей российской словесности, произнесенная 4 февраля 1859 г. (т. е. в то самое время, когда Достоевский заканчивал «Село Степанчиково»), где остро полемически затрагивается указанная тема.

«Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково» Достоевский рассматривал как первые опыты в определении своих новых творческих позиций, тогда как главным предметом его раздумий были планы больших романов, о которых он многократно упоминает в письмах из Семипалатинска 1856—1859 гг.

Два больших замысла возникли у Достоевского еще на каторге, и к их осуществлению он хотел приступить сразу же по выходе на свободу. Один — впечатления каторги, будущие «Записки из Мертвого дома»; другой — большой роман, «с страстным элементом», «мое главное произведение», как выражается о нем Достоевский в письме к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г.: «Я создал ⟨...⟩ в голове большую окончательную мою повесть. Я боялся, чтоб первая любовь к моему созданию не простыла, когда минут года и когда настал бы час исполнения, — любовь, без которой и писать нельзя. Но я ошибся; характер, созданный мною и который есть основание всей повести, потребовал нескольких лет развития, и я уверен, я бы испортил всё, если б принялся сгоряча, неприготовленный».

Военная служба, неясность жизненных перспектив, невозможность печататься, длительная и драматическая по своему характеру любовь к будущей жене М. Д. Исаевой — все это не давало Достоевскому сосредоточиться на выполнении своих обширных литературных планов. В том же письме к Майкову Достоевский сообщает, что он «отложил ⟨...⟩ главное произведение в сторону» и пишет «комический роман»: «Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни. Короче, я пишу комический роман, но до сих пор всё писал отдельные приключения, написал довольно, теперь *всё сшиваю* в целое». К одному из эпизодов «комического романа» восходит, по-видимому, генетически повесть «Дядюшкин сон» (см. об этом: наст. изд., т. II, стр 508). Возможно (хотя это и менее вероятно), что с «комическим романом» связан и позднейший замысел «Села Степанчикова» (см. стр. 498).

Из цитированного письма к Майкову можно сделать вывод, что большой роман автор скорее всего еще не писал, а только обдумывал. Из другого, позднейшего письма — к Е. И. Якушкину от 1 июня 1857 г. — можно получить некоторое представление и о том, каким виделся Достоевскому его буду-

щий большой роман: «Объясню Вам, что именно я пишу, хотя, конечно, не буду рассказывать Вам содержанье. Это длинный роман, приключенья одного лица, имеющие между собой цельную, общую связь, а между тем состоящие из совершенно отдельных друг от друга и законченных само по себе эпизодов. Каждый эпизод составляет часть. Так что я, н⟨а⟩прим⟨ер⟩, очень могу помещать по эпизоду, и это составит отдельное приключенье или повесть. Разумеется, мне бы желалось поместить всё по порядку. Скажу вам еще, что роман состоит из 3-х книг, каждая листов в 20 печатных, и из нескольких частей. Написана только 1-я книга в 5 частях. Остальные две книги напишу, т. е. не теперь, а когда-нибудь, ибо, во 1-х, они составляют хотя продолжение приключений того же лица, но в другом виде и характере и несколько лет спустя. 1-я же книга есть сама по себе полный и совершенно отдельный роман в 5 частях. Вся она написана, но еще не отделана, и потому я примусь теперь отделывать ее по частям и по частям буду доставлять Вам».

Замысел романа, который охватил бы несколько эпох жизни «одного лица», не был Достоевским осуществлен, хотя возникал у него неоднократно и позднее. Как роман о нескольких эпохах жизни одного героя было задумано «Житие великого грешника»; за «Братьями Карамазовыми» должно было последовать их продолжение, где главным героем стал бы младший брат — Алеша.

О том, что писание романа скорее всего остановилось на первоначальной стадии обдумывания и планировки, видно из переписки с М. М. Достоевским. Последний стал требовать от брата в конце 1857 г. присылки «готовой», как он полагал, первой части романа, и Ф. М. Достоевскому, чтобы оправдать свой отказ, пришлось пуститься в длинные объяснения, так как дальше первоначальных набросков работа над «главным произведением» к этому времени не продвинулась: «Что же касается до моего романа, то со мной и с ним случилась история неприятная, и вот отчего: я положил и поклялся, что теперь ничего необдуманного, ничего незрелого, ничего на срок (как прежде) из-за денег не напечатаю, что художественным произведением шутить нельзя, что надобно работать честно и что если я напишу дурно, что, вероятно, и случится много раз, то потому, что талантишка нет, а не от небрежности и легкомыслия. Вот почему, видя, что мой роман принимает размеры огромные, что сложился он превосходно, а надобно, непременно надобно (для денег) кончать его скоро, — я призадумался. Ничего нет грустнее этого раздумья во время работы. Охота, воля, энергия — всё гаснет. Я увидел себя в необходимости испортить мысль, которую три года обдумывал, к которой собрал бездну материалов (с которыми даже и не справлюсь — так их много) и которую уже отчасти исполнил, записав бездну отдельных сцен и глав. Более половины работы было готово вчерне. Но я видел, что я не кончу и половины к тому сроку, когда мне деньги будут нужны дозарезу. Я было думал (и уверил себя), что можно писать и печатать по частям, ибо каждая часть имела вид отдельности, но сомнение всё более меня мучило. Я давно положил за правило, что если закрадывается сомнение, то бросать работу ⟨...⟩ Но жаль было бросать» (письмо от 3 ноября 1857 г.).

Иначе, чем в письме к брату, Достоевский рисует историю работы над романом и степень его готовности в письме к М. Н. Каткову от 11 января 1858 г.: «Роман мой я задумал на досуге, во время пребывания моего в г.

Омске. Выехав из Омска года три назад, я мог иметь бумагу и перо и тотчас же принялся за работу. Но работой я не торопился; мне приятней было обдумывать всё, до последних подробностей, составлять и соразмерять части, записывать целиком отдельные сцены и главное — собирать материалы. В три года такой работы я не охладел к ней, а, напротив, пристрастился. Обстоятельства к тому же были такие, что систематически, усидчиво заниматься я решительно не мог. Но в мае м⟨есяц⟩е прошлого года я сел работать начисто. Начерно почти вся 1-я книга и часть 2-й были уже написаны. Несмотря на то, я до сих пор не успел еще кончить даже 1-ю книгу; но, впрочем, работа идет беспрерывно. Роман мой разделяется на три книги; но каждая книга (хотя и может делиться на части, но я отмечаю только главы) ⟨...⟩ есть сама по себе вещь совершенно отдельная».

Однако письмо издателю «Русского вестника» писалось с особой целью. Предлагая ему роман для печатания в журнале и желая получить за него аванс, в котором он в это время крайне нуждался, автор хотел убедить Каткова, что работа над романом (или, по крайней мере, его первой книгой) близка к окончательной стадии и что рукопись вскоре может быть отослана в редакцию. В действительности, как мы знаем из письма к брату от 3 ноября 1857 г., роман в это время уже был отложен в сторону.

О причинах, заставивших его приостановить работу над большим романом и сосредоточиться на повестях, Достоевский писал позднее (18 января 1858 г.) брату, М. М. Достоевскому: «Роман мой (большой) я оставляю до времени. Не могу кончать на срок! Он только бы измучил меня. Он уж и так меня измучил. Оставляю его до того времени, когда будет спокойствие в моей жизни и оседлость. Этот роман мне так дорог, так сросся со мною, что я ни за что не брошу его окончательно. Напротив, намерен из него сделать мой chef-d'oeuvre. Слишком хороша идея и слишком много он мне стоил, чтобы бросить его совсем».

Откладывая работу над романом, Достоевский не хотел окончательно расстаться со столь дорогим ему замыслом. Еще 8 февраля 1858 г. он писал Якушкину, что надеется «крепко» заняться им в конце года. Но в письмах к М. М. Достоевскому возобновление работы над романом связывается уже с возвращением в Европейскую Россию: «Роман же я отложил писать до возвращения в Россию. Это я сделал по необходимости. В нем идея довольно счастливая, характер новый, еще нигде не являвшийся. Но так как этот характер, вероятно, теперь в России в большом ходу, в действительной жизни, особенно теперь, судя по движению и идеям, которыми все полны, то я уверен, что я обогачу мой роман новыми наблюдениями, возвратясь в Россию» (письмо от 31 мая 1858 г.). Через год, 9 мая 1859 г., Достоевский снова пишет брату, что на роман ему нужно полтора года и хотя бы скромная обеспеченность.

Во время свидания в Твери в конце августа 1859 г. Федор Михайлович изложил брату, как это видно из письма к нему от 9 октября, изустно то, о чем ранее сообщал ему в письмах. Вернувшись в Петербург, Михаил Михайлович высказал в письме от 21 сентября 1859 г. свои соображения о том, как следует вести работу над романом: «Вот ты теперь и колеблешься между двумя романами, и я боюсь, что много времени погибнет в этом колебании. Зачем ты мне рассказывал сюжет? Майков раз как-то давно-давно сказал

мне, что тебе стоит только рассказать сюжет, чтобы не написать его. Милейший мой, я, может быть, ошибаюсь, но твои два больших романа будут нечто вроде „Lehrjahre und Wanderungen[1] Вильгельма Мейстера“. Пусть же они и пишутся, как писался „Вильгельм Мейстер“, отрывками, исподволь, годами. Тогда они и выйдут так же хороши, как и два Гетевы романа ⟨...⟩ Мне бы очень хотелось, чтоб в Твери ты написал что-нибудь хорошее, из ряду вон» (*Д, Материалы и исследования,* стр. 515).

О том, что к моменту встречи с братом задуманный Достоевским большой роман существовал лишь в воображении автора, можно заключить из более позднего письма М. М. Достоевского от 26 октября 1859 г., в котором он пишет о своем разговоре с Краевским по поводу того, над чем в данное время работает Ф. М. Достоевский: «Краевский в субботу сильно интересовался тем, пишешь ли ты теперь и что? Я сказал о „М⟨ертвом⟩ доме“ и о романе. О последнем я сказал, что ты уже давно его пишешь и что, судя по отрывкам, которые ты мне читал, это будет вещь из ряду вон». Однако постскриптум М. М. Достоевского к тому же письму свидетельствует, что он сознательно, в интересах брата, мистифицировал Краевского, так как никаких «отрывков» в действительности еще не существовало: «P. S. Ты, кажется, еще ни за что не принимался» (там же, стр. 527). Несколько раньше, в ответ на настояния брата, убеждавшего его приняться за роман, Ф. М. Достоевский написал, что «роман тот уже уничтожен» (письмо от 9 октября 1859 г.).

Желание выступить в литературе с новым большим произведением, значительным по содержанию и новизне идей, не оставляет, однако, Достоевского. В цитированном выше письме, где говорится об уничтожении большого романа, писатель излагает два новых замысла, из которых один в какой-то мере предвосхищает проблематику и принципы художественной разработки, примененные через несколько лет в «Записках из подполья»: «В декабре я начну роман (но не тот — м⟨олодой⟩ человек, которого высекли и который попал в Сибирь). Нет. Не помнишь ли, я тебе говорил про одну *исповедь* — роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Он соединился с тем романом (страстн⟨ый⟩ элемент), о котором я тебе рассказывал. Это будет, во 1-х, эффектно, страстно, а во 2-х, всё сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения. Он *естественно* разделится романа на 3 (разные эпохи жизни), каждый роман листов печатных 12. В марте или в апреле в каком-нибудь журнале я напечатаю 1-й роман. Эффект будет сильнее „Бедных людей“ (куда!) и „Неточки Незвановой“. Я ручаюсь ⟨...⟩ *Исповедь* окончательно утвердит мое имя». Очевидно, наиболее привлекательной литературной формой Достоевскому теперь снова представлялась та, которую он уже разрабатывал в 1840-е годы, — форма романа-исповеди с повествованием от первого лица. Ею Достоевский воспользовался в романе «Неточка Незванова», где каждая часть изображает одну из эпох жизни героини. Подобное деление романа Достоевскому могла подсказать и трилогия Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность», к этому времени уже полностью напечатанная. О связи между замыслом «Исповеди» и повестью «Записки из подполья» см. также наст. изд., т. V.

[1] Ученические годы и Странствия (*нем.*).

Еще один из литературных замыслов Достоевского 1850-х годов явился непосредственным отражением семипалатинского периода. Об этом замысле не раз упоминает в своих письмах к Достоевскому Александр Егорович Врангель (род. 1833), в 1854—1855 гг. — областной прокурор в Семипалатинске. Юрист по образованию, А. Е. Врангель по окончании лицея и службы в министерстве юстиции просил о назначении в Сибирь, и в 1854 г. был назначен прокурором во вновь созданную Семипалатинскую область. К Достоевскому Врангель питал глубокое уважение и искреннее сочувствие; очевидец казни петрашевцев, он по приезде в Семипалатинск (ноябрь 1854 г.) сразу познакомился с Достоевским, расположил его к себе и был некоторое время самым близким к нему человеком, а по возвращении в Петербург деятельнейшим образом хлопотал за ссыльного писателя (см.: *Врангель*).

Несмотря на разницу лет, между Достоевским и Врангелем в Семипалатинске установились искренние дружеские отношения. Уехав в Петербург, Врангель писал Достоевскому 25 октября 1859 г.: «С нетерпением жду появления Вашего романа. Помнится, хотели Вы еще в Семипалатинске описать наши сибирские мучения и выставить мне напоказ мой характер» (*Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 340). И позднее Врангель настойчиво спрашивал Достоевского о судьбе этого, ему хорошо известного замысла: «Жду с нетерпением появления Вашего романа, не узнаю ли в нем знакомые личности, помните, как в Сибири Вы собирались всё описать, и себя, и X., и меня — да, жду наших портретов» (письмо А. Е. Врангеля к Достоевскому от 9 ноября 1859 г. — там же). В письме к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. Достоевский очертил характер Врангеля, высказав свое доброжелательное к нему отношение: «... письмо это доставит вам Александр Егорович, барон Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лицея с *великодушной* мечтой узнать край, быть полезным и т. д. Он служил в Семипалатинске; мы с ним сошлись, и я полюбил его очень ⟨...⟩ дам вам два слова о его характере: чрезвычайно много доброты, никаких особенных убеждений, благородное сердце, есть ум, — но сердце слабое, нежное, хотя наружность с 1-го взгляда имеет некоторый вид недоступности. Круг полуаристократический, или на 3/4 аристократический, баронский, в котором он вырос, мне не совсем нравится, да и ему тоже, ибо он с превосходными качествами, но многое заметно из старого влияния ⟨...⟩ Добра он мне сделал множество. Но я его люблю и не за одно добро, мне сделанное. В заключение: он немного мнителен, очень впечатлителен, иногда скрытен и несколько неровен в расположении духа ⟨...⟩ Но, повторяю вам, я его очень люблю».

Врангель должен был явиться, по-видимому, прототипом героя задуманного Достоевским романа, а основой сюжета — стать две одновременно развивавшиеся любовные истории: Достоевского и М. Д. Исаевой, и очень напряженные, мучительные для Врангеля отношения с той женщиной, которую он и Достоевский в своей переписке, боясь огласки и компрометации ее, называют «X». А. С. Долининым было высказано предположение, по-видимому справедливое, что «X» — это Екатерина Иосифовна Гернгросс, жена главного начальника Алтайского округа генерала А. Р. Гернгросса (см.: *Д, Письма,* т. I, стр. 533, 537). В позднейших воспоминаниях Врангель бегло говорит о своем семипалатинском романе: «... героиня моя была на пятнадцать лет

старше меня, имела шесть человек детей, что, впрочем, не мешало ей пускать пыль в глаза выписываемыми ею парижскими туалетами и из поклонников своих вить веревки» (*Врангель*, стр. 53). В письмах к своему молодому другу Достоевский дает подробную характеристику возлюбленной Врангеля, с которой он познакомился в Барнауле: «... Вы думали искать в ней постоянства, верности и всего того, что есть в *правильной* и полной любви. А мне кажется, что она на это неспособна. Она способна только подарить одну минуту наслаждения и полного счастья, но только одну минуту; далее она и обещать не может, а ежели обещала, то сама ошибалась и в этом винить ее нельзя; а потому примите эту минуту, будьте ей бесконечно благодарны за нее и — только. Вы ее сделаете счастливою, если оставите в покое. Я уверен, что она сама так думает. Она любит наслажденье больше всего, любит сама *минуту*, и кто знает, может быть, сама заранее рассчитывает, когда эта минута кончится. Одно дурно, что она играет сердцем других; но знаете ли, до какой степени простирается *наивность* этих созданий? Я думаю, что она уверена, что она ни в чем не виновата! Мне кажется, она думает: „Я дала ему счастье; будь же доволен тем, что получил; ведь не всегда и это найдешь, а разве дурно *то*, что *было*; чем же он недоволен“. Если человек покоряется и доволен, то эти созданья способны питать к нему (по воспоминаниям) навеки бесконечную, искреннюю дружбу, даже повторить любовь при встрече» (письмо от 9 марта 1857 г.).

Тщательность анализа психологии в этом письме свидетельствует о том, что Достоевского Е. И. Гернгросс заинтересовала не только в силу его сочувствия страданиям Врангеля, к этому времени отвергнутого, но и сама по себе, как вариация «хищного типа», по классификации Аполлона Григорьева. Из позднейшего письма Врангеля видно, что «роман», где предметом изображения должна была стать «наша семипалатинская жизнь», до 1865 г. Достоевским еще написан не был (*Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 340). Не был он написан и позже — во всяком случае в том виде, в каком рисовался Врангелю. Можно предположить, однако, что в образе Натальи Васильевны Трусоцкой, героини «Вечного мужа» (1869), отразились некоторые черты личности и поведения «X» (см. об этом: наст. изд., т. IX).

Осуществлением замысла не написанного в 1850-х годах «большого романа» со «страстным элементом» явились «Униженные и оскорбленные», созданные уже в Петербурге и напечатанные в 1861 г. в журнале «Время». До этого романа были начаты печатаньем законченные в следующем 1862 г. «Записки из Мертвого дома» (см. наст. изд., т. IV). Об остальных художественных замыслах Достоевского 1859—1860 гг. некоторое представление дают помещенные в конце тома планы и наброски этих лет.

Тексты и варианты произведений, входящих в настоящий том, подготовили и комментарии к ним составили: А. В. Архипова («Село Степанчиково» — текст, варианты и комментарии; «Униженные и оскорбленные» — текст и варианты); И. М. Юдина («Униженные и оскорбленные» — варианты 1865 г.); И. З. Серман (вводная статья и комментарий к «Униженным и оскорбленным», в историко-литературной части— при участии редактора тома; комментарии к отделу «Наброски и планы»); Н. Н. Соломина (тексты отдела «Наброски и планы»). Редактор тома Г. М. Фридлендер; редакционно-техническую подготовку тома к печати провела Г. В. Степанова.

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

(Стр. 5)

Источники текста

ОЗ, 1859, № 11, отдел I, стр. 65—206; № 12, отд. I, стр. 343—410.
1860, том II, стр. 163—420.
1866, стр. 287—374.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в *ОЗ*, 1859, № 11, отд. I, стр. 65—206 и № 12, отд. I, стр. 343—410, с подписью: Достоевский (№ 11) и Ф. Достоевский (№ 12). Ценз. разр. — 10 ноября 1859 г.

Печатается по тексту *1866* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 14, строка 20: «чтоб уж так» вместо «чтоб уже так» (по *1860*).
Стр. 21, строка 7: «вот за что» вместо «вот что» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 24, строки 19—21: «меня расспросите. Ведь всё рассказать, так вы не поверите, а спросите: из каких я лесов к вам явился?» вместо: «меня расспросите: из каких я лесов к вам явился?» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 32, строка 5: «сигаю» вместо «шагаю» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 34, строка 27: «так-таки» вместо «таки-так» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 35, строка 2: «поминать» вместо «понимать» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 38, строка 1: «хоть капля благородства» вместо «капля благородства» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 42, строка 12: «Вот почему» вместо «Вот потому» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 46, строка 20: «поправляюсь» вместо «поправлюсь» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 46, строка 42: «закаялся» вместо «заклялся» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 49, строка 14: «Что прикажете-с?» вместо «Что прикажете-с» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 51, строка 47: «не понравилось» вместо «не нравилось» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 58, строка 2: «неблагодарный» вместо «неблагородный» (по *ОЗ 1860*).
Стр. 69, строка 13: «промямлил» вместо «промолвил» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 74, строка 4: «я сам должен» вместо «я вам должен» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 85, строка 16: «уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве» вместо «уверяли меня в этом братстве» (по *ОЗ, 1860*).
Стр. 86, строки 37—38: «Я должен, я обязан вас презирать; я обязан во имя нравственности» вместо «Я должен, я обязан во имя нравственности» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 88, строка 19: «Вы затрудняетесь, что́ прибавить» вместо «Вы затрудняетесь прибавить» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 88, строки 28—30: «склонить вперед корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность» вместо «склонить вперед корпус, выражая таким образом почтительность» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 92, строка 18: «похлопотать в его пользу» вместо «похлопотать в мою пользу» (опечатка во всех прижизненных изданиях).

Стр. 107, строка 14: «Но зато какой благородный» вместо «Но зато благородный» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 109, строки 4—5: «положим, и есть, положим, и много даже» вместо «положим, и много даже» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 112, строка 13: «проводил только недалеко» вместо «проводил недалеко» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 113, строка 14: «ей всё высказать» вместо «ей высказать» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 116, строки 41—42: «отрезвись хоть маленько, хоть для великого божьего праздника» вместо «отрезвись хоть для великого божьего праздника» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 120, строка 37: «совмещающий» вместо «совмещавший» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 121, строка 40: «стали ей льстить» вместо «стали льстить» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 135, строка 22: «Во́льтер» вместо «Вольтер» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 138, строка 21: «Благословляю» вместо «Благославлю» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 138, строка 25: «Подсади» вместо «Посади» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 151, строка 7: «ручку-то» вместо «руку-то» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 151, строка 31: «так скоро и просто устроилось» вместо «так скоро устроилось» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 155, строка 13: «подсказывал» вместо «подсказал» (по *ОЗ, 1860*).

Стр. 158, строка 5: «непочтительное» вместо «непочтительно» (по *ОЗ, 1860*).

Через год после опубликования повести в *ОЗ* «Село Степанчиково» издается в составе *1860*, т. II, с незначительной стилистической правкой. Так, некоторые просторечные формы были заменены литературными: «пудинг» вместо «пудин», «рядом» вместо «рядком», «высокоблагородие» вместо «высокородие», «поздравлять» вместо «проздравлять». Издание *1860* содержало большое число опечаток. Не отмечая их, как и вышеоговоренные случаи устранения просторечных выражений, выносим в варианты остальные разночтения издания *1860*.

В 1866 г. «Село Степанчиково» издается дважды: в составе *1866* и отдельной книжкой: «Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного. В двух частях. Ф. М. Достоевского. Новое, просмотренное издание. Издание и собственность Ф. Стелловского». Тексты обоих этих изданий идентичны; они печатались с одного и того же набора, который делался с текста *ОЗ*. Поэтому в *1866* не вошли индивидуальные особенности текста *1860*. В 1866 г. Достоевский вновь произвел стилистическую правку, во многом аналогичную правке 1860 г. Особенно часты здесь случаи замены устаревших или просторечных форм более новыми или литературными: «миллион» вместо «мильйон», «компаньонка» вместо «компаньйонка», «эспаньолка» вместо «эспаньйолка», «четверг» вместо «четверк», «маскарад» вместо «маскерад», «фамилия» вместо «фамилья», «оспаривать» вместо «оспоривать», «до сапог» (род. пад. мн. ч.) вместо «до сапогов». Указанные и некоторые другие аналогичные случаи исправлений в вариантах не оговариваются, чтобы не загромождать их. Изменилось согласование глагола-сказуемого с двумя подлежащими. Вместо единственного числа (в *ОЗ* и *1860*) в 1866 г. в этих случаях везде множественное число. Например: «начинались музыка, танцы» вместо «начиналась музыка,

танцы»; «исчезли вся суматоха, всё волнение» вместо «исчезла вся суматоха, всё волнение». Слова «ладони» и «ладошки» везде в этом издании заменены на «ладоши», что также специально не отмечается в разделе вариантов.

О времени возникновения замысла повести «Село Степанчиково и его обитатели» мы располагаем противоречивыми свидетельствами.

18 января 1858 г., сообщая брату, что он решил окончательно оставить свой «большой» роман (см. о нем стр. 490—493), Достоевский заявляет, что намерен взяться за другой: «... у меня уже восемь лет назад составилась идея одного небольшого романа, в величину „Бедных людей". В последнее время, я как будто знал, припомнил и создал его план вновь. Теперь всё это пригодилось. Сажусь за этот роман и пишу. Кончить надеюсь месяца в два». Что замысел «Села Степанчикова», о котором речь идет в данном письме, возник за несколько лет до этого, подтверждается заявлением Достоевского в письме брату от 9 мая 1859 г., где он пишет, однако, что главные характеры повести создавались и записывались «пять лет», т. е. относит начало работы над ними уже не к периоду каторги, а к 1854 г.

Свою версию о происхождении «Села Степанчикова» выдвинула после смерти писателя А. Г. Достоевская. В 1888 г. она сообщила К. С. Станиславскому, что, приступая к созданию «Села Степанчикова», муж ее первоначально предполагал писать не повесть, а пьесу, «но отказался от этого намерения потому, что хлопоты по проведению пьесы на сцену ⟨...⟩ трудны, а Федор Михайлович нуждался в деньгах».[1] Действительно, 18 января 1856 г. Достоевский сообщал А. Н. Майкову, что «шутя начал комедию», но что ему «так понравился герой», что он «бросил форму комедии» и принялся за «комический роман», состоящий из «отдельных приключений» героя (см. стр. 490). Как части этого неосуществленного романа ряд исследователей (М. П. Алексеев, А. С. Долинин, Л. П. Гроссман) [2] рассматривают повести «Село Степанчиково и его обитатели» и «Дядюшкин сон» (ср. наст. изд., т. II, стр. 508).

Однако если тесная связь «Дядюшкина сна» с замыслом «комического романа» подтверждается письмами Достоевского, то для «Села Степанчикова» гипотеза об аналогичной связи натыкается на ряд утверждений в письмах писателя, ей противоречащих: сообщая в конце 1857 г. брату о начатой работе над «Селом Степанчиковым», Достоевский характеризует эту повесть как неизвестную ему работу, в отличие от «Дядюшкина сна», который здесь же называет «эпизодом» прежнего, «большого» романа (см. письмо к М. М. Достоевскому от 3 ноября 1857 г.). [3]

Так или иначе, к писанию «Села Степанчикова», поскольку мы можем судить на основании дошедших до нас свидетельств, автор серьезно обратился не ранее осени 1857 г. — после того, как А. Н. Плещеев, хлопотавший за него перед издателем «Русского вестника», передал Достоевскому согласие М. Н. Каткова на сотрудничество писателя в «Русском вестнике». 3 ноября 1857 г. Достоевский сообщал брату, что «взял писать повесть, небольшую (впрочем, листов в 6 печатных)» для «Русского вестника», что вещь эта была начата и частично написана «давно», «работа идет прекрасно, и 15-го декабря я высылаю ⟨...⟩ повесть». Но степень готовности повести была, по-видимому, как это с ним часто бывало, преувеличена Достоевским в цитированном письме; поэтому работа затянулась и продолжалась до осени 1858 г. В сентябре Достоевский был вынужден ее прервать, чтобы срочно окончить повесть для «Русского слова», с которым был также связан обязательством. Завершив и отослав в феврале 1859 г. в «Русское слово» «Дядюш-

---

[1] К. Станиславский. Собрание сочинений в восьми томах, т. I, изд. «Искусство», М., 1954, стр. 138.

[2] *Творчество Достоевского, 1921,* стр. 55—56; *Д, Письма,* т. I, стр. 521; Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного. Гослитиздат, М., 1935, стр. 212.

[3] Под «большим» романом автор в данном случае имеет в виду, по-видимому, «комический роман», а не одновременно обдумывавшийся замысел, который характеризуется на стр. 490—493 данного тома и фигурирует в письмах Достоевского под тем же обозначением.

кий сон», писатель вновь принялся за работу для «Русского вестника». 11 апреля 1859 г. он выслал Каткову «три четверти» повести «Село Степанчиково», а в мае-июне отправил брату Михаилу для передачи в редакцию ее окончание.

На «Село Степанчиково» Достоевский возлагал большие надежды. В случае успеха повести (а он верил в успех) писатель рассчитывал упрочить с ее помощью свое литературное положение (требовать увеличения гонорара, издать собрание своих сочинений и т. д.). 9 мая 1859 г. он писал брату: «Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки и, главное, может быть, растянутость; но в чем я уверен, как в аксиоме, это то, что он имеет в то же время и великие достоинства и что это *лучшее* мое *произведение* ⟨...⟩ Не знаю, оценит ли Катков, но если публика примет мой роман холодно, то, признаюсь, я, может быть, впаду в отчаяние. На нем основаны все лучшие надежды мои и, главное, упрочение моего литературного имени».

Посылая повесть Каткову, Достоевский изложил свои условия (гонорар — 100 рублей за лист и 200 рублей аванса), но Катков на его письмо не ответил. Возмущенный Достоевский в июне 1859 г. написал ему новое резкое письмо, ответ на которое (от 28 августа) он получил уже в Твери. Письмом этим редакция «Русского вестника» отказывалась от условий, выставленных Достоевским, и от его произведения. Получив назад рукопись «Села Степанчикова», привезенную в Тверь М. М. Достоевским, писатель еще раз пересмотрел и поправил ее. В связи с отказом «Русского вестника» возникла мысль предложить повесть в «Современник», тем более что Некрасов еще раньше, в сентябре 1858 г. и апреле 1859 г., предлагал Достоевскому сотрудничество. 15 сентября старший брат писателя отнес Некрасову рукопись «Села Степанчикова», а 6 октября получил письмо от редактора «Современника» с такими гонорарными условиями, которые, по существу, означали отказ (за весь роман 1000 рублей с тем, чтобы печатать в будущем, 1860 г.).

Потрясенный Достоевский истолковал предложенные Некрасовым условия как «торгашество» редакции, которая, прослышав про отказ «Русского вестника», пользуется бедственным положением автора. «Я сам очень хорошо знаю недостатки своего романа, — писал Достоевский брату 11 октября, — но ⟨...⟩ мне кажется, что и в моем романе есть несколько хороших страниц». Однако Михаил Михайлович, догадываясь, что «Село Степанчиково» не понравилось Некрасову, советовал «о себе напомнить публике чем-нибудь страстным и грациозным, и скоро напоминать» (письмо от 6 октября 1859 г. — *Д, Материалы и исследования*, стр. 521). Достоевский одно время думал о переговорах с редакцией журнала «Светоч», о том, чтобы продать ей «Село Степанчиково» подороже и тем поднять свой престиж. Не оставлял он и надежды напечататься в «Современнике», рассчитывая на возможность компромисса с Некрасовым (см. письмо к брату от 11 октября 1859 г.). Однако практичный Михаил Михайлович, не надеясь на Некрасова, повел переговоры с редактором «Отечественных записок» А. А. Краевским. 21 октября эти переговоры закончились успешно. Краевский взял «Село Степанчиково» за 120 рублей с листа. Повесть была напечатана в ноябрьской и декабрьской книжках «Отечественных записок» за 1859 г., причем в первой книжке было помещено двенадцать глав, а во второй — шесть. Такое деление на две части было сделано по настоянию Достоевского. Издатель и Михаил Михайлович предлагали более равномерное разделение романа — по девять глав в каждой книжке журнала, мотивируя это свое пожелание тем, что главу «Мизинчиков» было бы более целесообразно перенести во вторую часть, иначе «читатели могут забыть его разговор с неизвестным, и потому вся соль, что не он увез, а Обноскин, может пропасть» (*Д, Материалы и исследования*, стр. 527). Но для Достоевского было очень важно окончить первую часть главой «Катастрофа», так как «остановиться не на 12-й главе» для него значило «сразу манкировать весь эффект» (письмо к М. М. Достоевскому от 29 октября 1859 г.).

Следил за изданием и держал корректуры М. М. Достоевский. Изменения, которые автор хотел внести в роман уже в процессе его печатания (сократить первую и третью главы, о чем он писал брату 29 октября), сделаны не

были, так как к этому времени названные главы были уже набраны. Переиздавая повесть в 1860 и 1865 гг., Достоевский ограничился сравнительно незначительной стилистической правкой, не сделав никаких существенных сокращений и изменений.

Цензором «Отечественных записок» был И. А. Гончаров. Михаил Михайлович писал брату 16 ноября, что, по словам Краевского, «цензура не вымарала ни одного слова» из «Села Степанчикова», а в следующем письме сообщал: Гончаров «выкинул, говорят, из первой части одно только слово. Какое, не знаю» (*Д, Материалы и исследования,* стр. 531 и 532). Ввиду отсутствия рукописей слово это остается неизвестным нам и в настоящее время.

Повесть вышла за подписью Достоевского, но вначале без его инициалов. Пропуск инициалов не мог не обеспокоить братьев Достоевских, так как в тех же «Отечественных записках» печатал свои произведения Михаил Михайлович. 23 ноября он писал брату: «Не понимаю только, зачем опять фиту выкинули. На обертке же О⟨течественных⟩ з⟨аписок⟩ она осталась. И что она их там смущает. Если тебе возвращены все права и даже дворянство, то, конечно, возвращено и право печатать. Печатают же с своими инициалами и Толь, и Плещеев, и Ахшарумов (бывшие петрашевцы, — *ред.*) и мн. другие».[1]

«Село Степанчиково» Достоевский в это время считал «лучшим» своим произведением. В письме к брату от 9 мая 1859 г. он сообщал: «Я писал его два года (с перерывом в середине «Дядюшкина сна»). Начало и середина обделаны, конец писан наскоро. Но тут положил я мою душу, мою плоть и кровь. Я не хочу сказать, что я высказался в нем весь; это будет вздор! Еще будет много, что высказать. К тому же в романе мало сердечного (т. е. страстного элемента, как например в «Дворянском гнезде») — но в нем есть два огромных типических характера, *создаваемых* и *записываемых* пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению), — характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой». Это письмо свидетельствует о том, что первоначальный замысел повести — противопоставить два различных характера, т. е. Фому Опискина и полковника Ростанева, относится к началу 1854 г.

«Село Степанчиково» создавалось в эпоху общественного возбуждения, усилившего в русской литературе интерес к «глубинной», провинциальной России. Критическое изображение предреформенной жизни у ряда писателей (Писемский, Островский, Щедрин) связано с развитием гоголевских традиций.[2] Обращение Достоевского к провинциальной теме было вызвано как общими устремлениями литературы, так и обстоятельствами личной жизни писателя, на несколько лет связавшими его с русской провинцией. Вопрос об изображении Достоевским предреформенной России поставлен в статье Л. П. Гроссмана «Деревня Достоевского».[3]

Выбрав местом действия помещичью усадьбу, Достоевский поместил героев в необычную для предшествующих его произведений обстановку. Однако в самом изображении Достоевским жизни дворянской помещичьей среды сказалось своеобразие его подхода к последней. Герои повести в большинстве своем принадлежат к излюбленному Достоевским типу героев — обедневших и опустившихся, без определенного положения в обществе: приживал Фома Опискин, бывшая приживалка Татьяна Ивановна, полунищий Обноскин, промотавшийся вконец Мизинчиков, спившийся Коровкин и дошедший до последней степени нищеты и унижения Ежевикин.[4]

Тема униженного человека, его ущемленного достоинства и болезненной амбиции, уже получившая отражение в «Двойнике» и других произведениях

---

[1] Приведено у Л. Гроссмана в кн.: Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. М., 1935, стр. 11.

[2] См.: История русской литературы, т. IX, ч. 2, Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 32.

[3] См.: Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. М., 1935, стр. 7—36.

[4] См. об этом предисловие А. Г. Цейтлина в кн.: Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Госиздат, М.—Л., 1928.

Достоевского 1840-х годов, стала центральной в «Селе Степанчикове», где она предстала в новом, неожиданном ракурсе: психологически ущемленный, болезненно сознающий в душе свою духовную неполноценность, в прошлом униженный человек перерастает здесь в мучителя и тирана; в нем пылает огонь мелочной злобы и ненависти к окружающим людям вместе с постоянной потребностью психологического самоутверждения за счет тиранства над ними.

При разработке сюжета повести писатель воспользовался в качестве канвы отдельными сюжетными мотивами ряда своих предшественников. Так, не раз отмечалось, что расстановка действующих лиц и основная схема их взаимоотношений напоминают комедию Ж.-Б. Мольера «Тартюф». Обитателям Степанчикова в известной мере соответствуют персонажи мольеровской комедии: Фоме Опискину — Тартюф, Ростаневу — Оргон, генеральше — г-жа Пернель, Бахчееву — Клеант и т. д. Связь «Села Степанчикова» с «Тартюфом» прослежена в работе М. П. Алексеева «О драматургических опытах Достоевского» (см.: *Творчество Достоевского, 1921*, стр. 41—62). Но Достоевский не повторял Мольера, а создавал своего, русского Тартюфа, и притом Тартюфа определенной, предреформенной эпохи. По наблюдениям И. З. Сермана, отдельные ситуации и персонажи повести могли быть подсказаны одним из самых характерных произведений натуральной школы 1840-х годов — комедией И. С. Тургенева «Нахлебник» (1848), запрещенной к печати в 1849 г. и опубликованной как раз в 1857 г. под названием «Чужой хлеб» (*С*, 1857, кн. 2, стр. 81—133). «Нахлебник» был написан под сильным влиянием произведений молодого Достоевского и не мог не привлечь его внимания, как указывает В. В. Виноградов, наличием близких ему социально-психологических мотивов человеческой униженности и нравственной ущемленности (*РЛ*, 1959, № 2, стр. 45—71). Пьеса читалась петрашевцами в 1849 г. наряду с другими запрещенными цензурой литературными произведениями; возможно, что Достоевский уже тогда прочел ее. Во всяком случае «Чужой хлеб» (если даже считать, что Достоевский познакомился с комедией Тургенева только в публикации «Современника») дал бытовой материал для психологической разработки двух образов «Села Степанчикова». Тургеневский «нахлебник» — Кузовкин — у Достоевского как бы раздвоился на Фому Опискина и Ежевикина. Положение Фомы-приживальщика при покойном генерале близко к положению Кузовкина в доме Корина; шутовское же поведение Кузовкина имеет много общего с поведением «добровольного шута» Ежевикина в повести Достоевского. Вспомним, что психологическая разработка образов нахлебника-«паразита» и «добровольного шута» интересовала Достоевского еще в 1840-х годах, на что указал А. Л. Григорьев в работе «Достоевский и Дидро» (*РЛ*, 1966, № 4, стр. 95—96). Эпизоды повести Достоевского, которые связаны с Татьяной Ивановной, ее похищением и погоней за ней, сюжетно перекликаются с теми главами «Записок Пиквикского клуба» Диккенса, где говорится о похищении Джинглем старой девы мисс Уордль.[1] Но психологически образ Татьяны Ивановны сложнее: ей приданы автором черты смешной, но доброй и незлобивой мечтательницы, история которой имеет трагический и в то же время «фантастический» оттенок.

Продолжал ориентироваться Достоевский и на Гоголя, учитывая опыт второго тома «Мертвых душ». Сцена разговора Ростанева с мужиками в III главе напоминает разговор Костанжогло с крестьянами, а некоторые поступки Фомы (обучение дворовых французскому языку, беседы с крестьянами об астрономии, электричестве и разделении труда) связаны с образом Кочкарева, который мечтал, чтобы «мужик его деревни, идя за плугом», читал бы «в то же время ⟨...⟩ книгу о громовых отводах Франклина, или Вер⟨гилиевы⟩ „Георгики“, или химическое исследование почв».[2]

---

[1] См. об этом: Б. Г. Реизов. Из истории европейских литератур. Изд. ЛГУ, Л., 1970, стр. 159—169.

[2] *Гоголь*, т. VII, стр. 63. — Отмечено в кн.: М. Гус. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. Изд. «Художественная литература», М., 1971, стр. 163—164.

Достоевский, как и в других случаях, не просто использовал в «Селе Степанчикове» традиционные классические образы и сюжетные схемы, он часто отталкивался от них, психологически переосмысляя их и полемизируя со своими предшественниками. Тургеневский Кузовкин робок и унижен, Опискин же сам стремится унизить всех окружающих. Кузовкин отказывается от предложенных ему Елецким десяти тысяч, движимый чувством собственного достоинства, Фома Опискин, отказываясь от ростаневских пятнадцати тысяч, это чувство собственного достоинства лишь симулирует, унижая и посрамляя своего благодетеля.

Столь же отличен психологически Фома и от мольеровского Тартюфа. Герой Мольера действует последовательно и планомерно. Маскируясь добродетелью, он стремится овладеть деньгами Оргона и его женой Эльвирой. Ради этого он хитрит и лицемерит, его поведение от начала до конца логично и рационально. Иначе действует Фома. Ситуации «Тартюфа» как бы намеренно предложены автором читателю в «Селе Степанчикове» в качестве возможной мотивировки, но отвергнуты им. Так, предположение, что «генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом», отведено автором. Не было у Фомы и интереса к Настеньке, что можно было бы вначале подозревать. Наконец, Фома отказался от предложенных ему Ростаневым денег — и отказался искренне. Фома не преследует определенной сознательной цели, он ничего не планирует заранее, действует по наитию. По словам Мизинчикова, он «тоже в своем роде какой-то поэт». Акцентировав в поведении Фомы моменты, не поддающиеся простому, рационалистическому объяснению, Достоевский затронул в «Селе Степанчикове» тему, ставшую центральной в «Записках из подполья» (1864). На эту связь образов Фомы Опискина и «подпольного» человека впервые указал В. В. Розанов.[1] Попытки полковника Ростанева и его племянника объяснить характер Фомы только условиями его жизни и тем, что сам он был унижен и оскорблен, представлены Достоевским как попытки несколько прекраснодушные и во всяком случае не дающие решения вопроса. Просветительские взгляды на роль среды в формировании человека у Достоевского ассоциировались с теорией и практикой натуральной школы 1840-х годов. Поэтому Сергей Александрович, рассуждая в «Заключении» повести о том, что «нельзя презирать падших, а, напротив, должно 〈...〉 восстановлять» их, и декламируя стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (см. стр. 160—161), рассказывает дяде о натуральной школе. Здесь ощущается скрытая полемика и со взглядами Белинского, в той или иной степени отразившимися в позиции «Современника» 1850-х годов.

Созданный Достоевским характер русского Тартюфа впитал в себя не только многочисленные, сложные литературные традиции. Еще А. А. Краевский, прочитав «Село Степанчиково», обратил внимание на черты известной психологической близости Фомы к Гоголю второй половины 1840-х годов, сказав М. М. Достоевскому, что Фома «напомнил ему Н. В. Гоголя в грустную эпоху его жизни» (*Д, Материалы и исследования,* стр. 525). Вопрос о Гоголе как возможном прототипе Фомы Опискина был детально исследован Ю. Н. Тыняновым в статье «К теории пародии» (см.: *Тынянов*, стр. 412—455). Тынянов убедительно показал, что в «Селе Степанчикове» пародируется книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» и отчасти личность ее автора. Внешний облик Гоголя последних лет жизни, его характер, манера поведения нашли отражение и сложное переосмысление в образе Фомы.

Еще одна деталь, подтверждающая сходство Фомы Опискина с Гоголем, отмечена американским исследователем Ю. Маргулисом (Альманах «Воздушные пути», III. Нью-Йорк, 1963, стр. 272—294). В пятой главе второй части «Села Степанчикова» возвращенный из «изгнания» Фома требует малаги, на что Бахчеев замечает: «И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца?» (см. стр. 145). Эпизод этот совпадает с рассказом И. И. Панаева о встрече Гоголя с молодыми пе-

[1] В. Розанов. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Изд. 3. СПб., 1906, стр. 31, сноска.

тербургскими писателями на квартире А. А. Комарова (см.: *Панаев*, стр. 305—306). Так как воспоминания Панаева были опубликованы только в 1860 г., то Маргулиес делает вывод, что Достоевский присутствовал на встрече с Гоголем, описанной Панаевым. Однако вывод этот не подтверждается другими данными; факт же, рассказанный Панаевым, мог быть известен Достоевскому от участников встречи.

Следует учесть, что Достоевскому во время работы над «Селом Степанчиковым» были уже доступны многие воспоминания о Гоголе и его письма (в 1854 г. вышел «Опыт биографии Гоголя», в 1856—1857 гг. — «Собрание сочинений и писем» под редакцией П. А. Кулиша). Как видно из позднейших черновых записей Достоевского к роману «Подросток» (1875; наст. изд., т. XIV; ср.: *ЛН*, т. 77, стр. 343), обращение писателя при создании образа Фомы к ряду черт личности и биографии Гоголя не случайно. Восхищаясь художественными произведениями Гоголя, Достоевский видел в нем тип русского человека своего времени с характерной для него душевной раздвоенностью, глубоко скрытым в душе психологическим «подпольем». Именно «подполье» внушило Гоголю, по мнению Достоевского, «Выбранные места из переписки с друзьями» с их неумеренной психологической экзальтацией, приобретающей временами трагикомический характер. Следует напомнить, что отрицательное отношение Достоевского к «Выбранным местам из переписки с друзьями» сформировалось еще в молодые годы. В 1847 г. он, как мы знаем из материалов процесса петрашевцев, разделял отрицательную оценку книги Гоголя, данную Белинским, и читал дважды знаменитое письмо Белинского к Гоголю на собраниях у Петрашевского и Дурова (см. наст. изд., т. XVIII). В 50-е годы, когда Достоевский уже пересматривал многое в своих взглядах, а также в позднейший период отрицательное отношение его к «Выбранным местам» сохранилось в полной силе. Упоминания этой книги Гоголя в его письмах, в романе «Бесы», в черновых записях к «Подростку», «Дневнике писателя» неизменно иронические или осуждающие. Достоевский упрекал Гоголя в неискренности, в позерстве, в том, что, создавая свое «Завещание», он «врал и паясничал» (упомянутые выше черновые записи к «Подростку») и т. д.

Во второй половине 50-х годов вопрос о Гоголе и оценке его последней книги снова стал злободневным. В 1857 г. появилась рецензия Н. Г. Чернышевского на только что вышедшее собрание сочинений Гоголя (*С*, 1857, № 8), в которой пересматривался сложившийся под воздействием Белинского взгляд на Гоголя последних лет и с писателя снималось обвинение в неискренности и сознательном угодничестве общественным верхам. Заблуждения Гоголя Чернышевский объяснял условиями его литературного воспитания и развития, рассматривая его как глубоко трагическую фигуру. Достоевский несомненно знал статью Чернышевского; попытки полковника Ростанева оправдать поведение Фомы в повести Достоевского в какой-то мере предстают как отражение статьи «Современника».

Достоевский высмеял в «Селе Степанчикове» политические и моральные установки автора «Выбранных мест», а также стиль этой книги, который пародируется во многих речах Фомы Опискина. Ряд высказываний Фомы представляет перифраз соответствующих страниц книги Гоголя или его писем, изданных Кулишом (см. стр. 508, 511—516). Но и стиль речи Фомы, сочетание грубости и витиеватости, обилие риторических фигур, нагнетание вопросов, повторение одного и того же слова (например, «искра небесного огня» — см. стр. 16—17), связан с Гоголем (ср.: *Тынянов*, стр. 447—452). Портрет Фомы, его образ жизни в семье Ростанева также напоминают внешность и образ жизни Гоголя в конце 40-х—начале 50-х годов (см.: *Тынянов*, стр. 440—441). Борясь с Гоголем — автором «Переписки», Достоевский продолжал учитывать опыт Гоголя-художника: пародия на Гоголя сделана в повести как бы средствами самого Гоголя. Имя Фома Фомич Опискин — в гоголевской манере, у него часто встречаются тождественные имена и отчества (Иван Иванович, Акакий Акакиевич, Петр Петрович Петух и мн. др.). Имя Фома вызывает и другие ассоциации: Гоголь, работая над «Перепиской с друзьями», увлекался книгой средневекового проповедника Фомы Кемпий-

ского (1379—1471) «Подражания Христу». С Фомой Кемпийским иронически сближали Гоголя и некоторые современники (см.: *Альтман*, стр. 443—461).

Повесть строится на противопоставлении двух характеров, которые автор, как мы знаем, считал «типическими»: Опискина и полковника Ростанева. Каждый из них явился важным звеном в разработке центральных социально-психологических мотивов творчества Достоевского. В Фоме Опискине получили дальнейшее развитие те черты, которые нашли отражение уже в героях многих более ранних произведений писателя (Голядкин, Ползунков, музыкант Ефимов в «Неточке Незвановой»). Вместе с тем его образ предвосхищает многое в последующем творчестве Достоевского. От Фомы Опискина тянутся нити к герою «Записок из подполья» и далее к ряду родственных характеров, вплоть до Федора Павловича Карамазова. Полковник Ростанев — первый набросок идеально прекрасного человека, черты которого воплотились на следующем этапе развития писателя отчасти в князе Мышкине, а отчасти и в старце Зосиме (мотив вины каждого человека перед всеми людьми). Ряд второстепенных персонажей повести также получил развитие в более поздних произведениях: Ежевикина напоминают Лебедев в «Идиоте» и капитан Снегирев в «Братьях Карамазовых», от Видоплясова — путь к Смердякову, а некоторые черты полубезумной Татьяны Ивановны претворены в усложненном виде в образе Марьи Лебядкиной в «Бесах».

Новыми приемами, характерными для последующего творчества, Достоевский воспользовался и в композиции «Села Степанчикова». Обилие набегающих друг на друга событий, напряженные, развернутые диалоги, сжатость во времени и пространстве насыщают действие драматизмом. Именно это позволило некоторым исследователям предположить, что повесть возникла из комедии. Однако тот же драматизм характерен для большинства последующих произведений Достоевского. Широко использует Достоевский в «Селе Степанчикове» сборища действующих лиц с неожиданными скандалами и непредвиденными последствиями (главы «Ежевикин», «Фома Фомич», «Погоня», «Изгнание»). Прием этот, названный Л. П. Гроссманом «конклавом», или «развязкой „Ревизора“», часто встречается у Достоевского, начиная с «Дядюшкина сна» (см.: *Творчество Достоевского*, стр. 344—348). М. М. Бахтин отметил, что в «Селе Степанчикове» ощущается свойственное Достоевскому чувство фантастичности жизни, представляющей род своеобразного «карнавала». Жизнь в этой повести — своего рода «мир наизнанку». Особенно «карнавализован характер Фомы Фомича», который «дан в карнавальной контрастной паре с полковником Ростаневым» (см.: *Бахтин*, стр. 219, 220).

Пародируя в языке Фомы Опискина различные литературные стили, Достоевский боролся с соответствующими литературными явлениями («Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, романтическая проза Марлинского и Полевого). Учел Достоевский, работая над повестью, и языковые наблюдения, сделанные в годы каторги и солдатской службы, наблюдения, отраженные в записной книжке, названной исследователями Достоевского «Сибирской тетрадью» (см. наст. изд., т. IV). Свыше сорока выражений из нее органически вошли в «Село Степанчиково».[1]

«Село Степанчиково» перегружено скрытой и явной литературной полемикой. Причем, хотя здесь имеются в виду и некоторые литературные явле-

---

[1] Ср.: «Сибирская тетрадь», записи под №№ 60, 65, 87, 93, 94, 106, 107, 118, 123, 129, 130, 147, 149, 154, 186, 187, 191, 192, 209, 217, 254, 261, 281, 294, 300, 309, 311, 321, 324, 350, 365, 373, 375 (обе записи), 378, 384, 401, 420, 434, 437, 454, 459, 460, 466, 468, 473 (см. наст. изд., т. IV).

О языке «Села Степанчикова» см.: *Тынянов*, стр. 412—455; К. А. Утехина. Из наблюдений над языком Ф. М. Достоевского (повесть «Село Степанчиково и его обитатели»). В сб.: Исследования по эстетике слова и стилистике художественной литературы. Изд. ЛГУ, 1964, стр. 100—109; Л. П. Гроссман. О языке повести. В кн.: Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. М., 1935, стр. 216—218.

ния 50-х годов (повесть А. Ф. Писемского «Тюфяк», стихотворение Козьмы Пруткова «Осада Памбы», статья А. Н. Афанасьева «Религиозно-языческое значение избы славянина» и др. — см. об этом стр. 514—515), полемика Достоевского в основном ориентирована на явления 40-х годов, ставшие к моменту выхода «Села Степанчикова» достоянием истории, но в то же время тесно связанные в его понимании и со злобой дня: «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, натуральную школу, «Сельское чтение» В. Ф. Одоевского и А. П. Заблоцкого-Десятовского, произведения Н. М. Карамзина и их восприятие (см. об этом стр. 509, 511).

Достоевского очень волновала судьба «Села Степанчикова». В письмах к старшему брату он постоянно просил запоминать и сообщать ему всё, что будут говорить о его повести, так как это «голос будущей критики». Во время переговоров М. М. Достоевского с Некрасовым писатель просил брата: «...замечай все подробности и все его слова и, ради бога, прошу, опиши всё это поподробнее. Для меня ведь это очень *интересно*» (письмо от 19 сентября 1859 г.). Некрасов, по свидетельству П. М. Ковалевского, отнесся к «Селу Степанчикову» более чем сдержанно: «Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше, — произнес Некрасов приговор».[1] Некрасов, писал тот же современник, «сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся», а «Достоевский в ответ взял да и написал „Записки из Мертвого дома" и „Преступление и наказание". Он только делался „весь"».[2]

Отношение Некрасова к «Селу Степанчикову» не было исключением. Повесть прошла почти незамеченной, и появление ее в «Отечественных записках» не вызвало печатных откликов. Дошедшие до нас немногочисленные устные отзывы современников содержатся в частных письмах.

А. Н. Плещеев в письме к А. П. Милюкову от 10 декабря 1859 г. писал, что роман Достоевского ему «решительно не по душе». «Где эти гоголевские типы, о которых мне говорил М‹ихаил› М‹ихайлович›? По-моему — тут, кроме Ростанева (дяди), нет ни одного живого лица. Всё это сочинено, придумано; ходульно страшно. Пожалуйста, не говорите ему ‹Достоевскому› того, что я пишу вам. Я отмолчусь как-нибудь; а высказывать такие вещи очень щекотливо. Чего доброго еще повредить может нашим отношениям. Да и притом — какой я судья. Может, роман и действительно превосходный; да я не понимаю его. Личного своего суждения я никому навязывать не желаю; а от других отзыва не слышал».[3]

Ряд отзывов о повести известен в передаче М. М. Достоевского, в его письмах брату. А. Н. Майкову повесть «очень, очень понравилась» (письмо М. М. Достоевского от 11 октября 1859 г. — *Д, Материалы и исследования,* стр. 522). Мнение И. А. Гончарова Михаил Михайлович передает с чужих слов: «Роман хвалил с оговорками. Какими, не знаю» (письмо от 23 ноября 1859 г. — там же, стр. 532). А. Н. Плещеев, который по просьбе Достоевского, после отказа от повести редакции «Русского вестника», узнавал мнение о ней редакции, сообщал, что «от начала они были просто в восторге ‹...› но что вообще роман требует сокращения» (письмо Достоевского брату от 11 октября 1859 г.). С отзывом А. А. Краевского нас знакомит письмо Михаила Михайловича от 21 октября 1859 г.: «О романе он сказал, что некоторые места великолепны, Фома ему чрезвычайно нравится ‹...› Характеры тоже, особенно распространялся он о помешанной девице. Это грациозное создание, сказал он ‹...› Сказал еще, что конец *великолепен*, вся вторая часть (и я согласен в этом) великолепна, но начало растянуто, и вообще жаль, что ты поддаешься иногда влиянию юмора и хочешь смешить. Сила Ф‹едора› М‹ихайловича›, — прибавил он, — в страстности, в пафосе, тут, может быть, нет ему соперников, и потому жаль, что он пренебрегает этим даром» (*Д, Материалы и исследования,* стр. 525). Наиболее положительные среди дошедших

---

[1] Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1928, стр. 422.

[2] Там же, стр. 422, 423.

[3] Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Т. 6. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 274.

до нас отзывов современников о «Селе Степанчикове» принадлежат М. М. Достоевскому: «Не умею сказать тебе, как нравится мне твое произведение. У меня постоянно стояли в глазах слезы от какого-то душевного благополучия при чтении второй части. Прекрасно. Полковник вышел чудно-хорош. Все, все лица обаятельно свежи и новы. Но чем я всего более дорожу, это то, что всё твое здание как в целом, так и в малейших деталях оригинально до чрезвычайности» (там же, стр. 531—532).

Печатные суждения о «Селе Степанчикове» появились уже после переиздания повести в 1860 г., во втором томе «Сочинений» Достоевского (в издании Н. А. Основского). Все они содержались в статьях, посвященных другим произведениям писателя. Так, рецензент «Северной пчелы» Ал. Пятковский в библиографическом обозрении, посвященном выходу в свет сочинений Достоевского и роману «Униженные и оскорбленные» (*СП*, 1861, 9 августа, № 176), кратко характеризует «Село Степанчиково» как произведение, не лишенное, «впрочем, и замечательных достоинств», но в котором автор пошел по «ложной дороге». Причины этого, по мнению критика, в том, что юмор, преобладающий в повести, не является «главной силой г. Достоевского». Отмечая значительность образа «полоумного нахала» Фомы, рецензент «Северной пчелы» в то же время находит неправдоподобным поведение полковника, особенно сцену, когда тот называет Фому «ваше превосходительство». В целом «Село Степанчиково», по мнению Ал. Пятковского, принадлежит к наименее удачным произведениям Достоевского.

Резко отрицательный отзыв о повести дал критик «Отечественных записок» А. Ленивцев (псевдоним А. В. Эвальда) в обзоре русской литературы 1862 г. «Недосказанные заметки», где он сравнивает два произведения Достоевского: «Кто хочет видеть в литературе всю благодетельную сторону знания жизни, положительного влияния этого знания, тот пусть сравнит два последние произведения: „Село Степанчиково" и „Записки из Мертвого дома". Сколько в первом натянутого мелодраматизма, столько в последнем материалов истинной драмы; сколько в первом фальшивого юмора, натянутости, чтобы заставить себя читать, столько во втором естественной занимательности. О пользе от того и другого произведения и говорить нечего; разве можно сказать, что насколько одно бесполезно, настолько другое благодетельно для общества» (*ОЗ*, 1863, № 2, стр. 191).

Наиболее проницательным был отзыв Н. А. Добролюбова, который в статье «Забитые люди» (*С*, 1861, № 9, отд. II, стр. 99—149) несколько раз упомянул о «Селе Степанчикове», рассматривая эту повесть в связи с другими произведениями Достоевского, посвященными теме униженной обществом личности и попыткам ее борьбы против этого унижения. «От г. Голядкина до Фомы Фомича в „Селе Степанчикове" он изобразил на своем веку много болезненных, ненормальных явлений», — писал Добролюбов. Поведение Ростанева, который отрекается «от своей воли перед Фомой Фомичом и считает себя решительно недостойным любви Настеньки 〈...〉 которую страстно любит», Добролюбов рассматривал как одно из тех ненормальных явлений, которые так часто встречались в русской общественной жизни и к изображению которых преимущественно обращался Достоевский. Отметил Добролюбов и то, что Достоевский в своих произведениях возвращается «к одним и тем же лицам по нескольку раз», показывая «с разных сторон» «те же характеры и положения». Фома Фомич относится к «типу человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства». Его предшественники, по мнению критика, — Голядкин, Ефимов (в «Неточке Незвановой»). К другому типу относится Настенька, образ которой Добролюбов считал неудачным. Вместе с Варенькой Доброселовой и Наташей из «Униженных и оскорбленных» Настенька — «идеал какой-то девушки», который автору «никак не удается представить»: «...всё это очень умные и добрые девицы, очень похожие на автора по своим понятиям и по манере говорить, но в сущности очень бесцветные» (*Добролюбов*, т. VII, стр. 233, 238, 239, 247).

Только в 1880-е годы, узнав всего Достоевского и особенности его творчества 1860—1870-х годов, критика оценила «Село Степанчиково», и прежде

всего фигуру Фомы Опискина. Первым это сделал Н. К. Михайловский. В статье «Жестокий талант», напечатанной через год после смерти Достоевского (*ОЗ*, 1882, №№ 9—10), он признал Фому Опискина классическим для Достоевского психологическим типом. Это злобный тиран и мучитель, который не преследует никакой практической цели, не стремится ни к какому результату. Он наслаждается самим процессом мучительства, ему «нужно ненужное». «Словами „ненужная жестокость“ исчерпывается чуть ли не вся нравственная физиономия Фомы, и если прибавить сюда безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин» (*Михайловский*, стр. 266).

Переводы повести «Село Степанчиково и его обитатели» на иностранные языки появились уже после смерти Достоевского. Первый перевод на английский язык вышел в 1888 г., на немецкий — в 1890 г.

Повесть Достоевского не раз перерабатывалась для сцены. Первая по времени инсценировка «Села Степанчикова» была выполнена К. С. Станиславским в 1888 г. Им же в 1891 г. была осуществлена и первая постановка. С тех пор и до наших дней «Село Степанчиково» ставилось на многих русских и зарубежных сценах. Наибольший общественный резонанс вызвала постановка 1917 г. в Московском Художественном театре. Из выдающихся исполнителей «Села Степанчикова» следует отметить К. С. Станиславского (Ростанев) в постановке 1891 г. и И. М. Москвина (Опискин) в постановке 1917 г. О сценических интерпретациях «Села Степанчикова» и истолковании его театральной критикой см.: И. Н. Виноградская. О постановках К. С. Станиславского в Обществе искусства и литературы. В кн.: Театральное наследство, т. I. М., 1955, стр. 512—517; Ю. Калашников. Драматургические опыты К. С. Станиславского. В кн.: Вопросы театра. Сборник статей и материалов. Изд. ВТО, М., 1966, стр. 101—102; С. Дрейден. В зрительном зале — Владимир Ильич. Изд. «Искусство», М., 1967, стр. 124—166; А. В. Архипова. Из сценической истории «Села Степанчикова». *Достоевский и его время*, стр. 307—321.

Стр. 7. *Фидельки* (от франц. fidèle — верный) — собачки.

Стр. 8. *...влияния различных иван-яковличей...* — Иван Яковлевич Корейша (1780—1861) — московский юродивый, особенно известный в 1820—1830-х годах; снискал среди своих почитателей славу провидца. В «Бесах» Достоевский изобразил Корейшу под именем Семена Яковлевича.

Стр. 12. *...вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч. и проч., романов...* — Всё это типичные названия авантюрных произведений с псевдоисторическим сюжетом, наводнявших в 1830—1840-е годы книжный рынок. «Князь Пожарский и нижегородский гражданин Минин, или Освобождение Москвы в 1612 году» — роман И. Глухарева (1840); «Атаман Буря, или Вольница Заволжская» — роман Д. Преснова (1835). В связи с выходом «Атамана Бури» Белинский писал: «Эта книга принадлежит к известному числу произведений, которых первоначальная идея зарождается на Толкучем рынке» (*Белинский*, т. I, стр. 319). Третье из комментируемых названий, очевидно, имеет пародийный характер («Русские в ... году» — обычный подзаголовок исторических романов 1830—1840-х годов, восходящий к «Юрию Милославскому» М. Н. Загоскина).

Стр. 12. *...доставлявших ∾ приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса.* — Псевдонимом «Барон Брамбеус» подписывал свои повести и фельетоны Осип Иванович Сенковский (1800—1858), редактор журнала «Библиотека для чтения» (1834—1865). Критические статьи журнала часто посвящались незначительным произведениям, недостатки которых высмеивались. Журнал Сенковского Ф. М. Достоевский знал с детства, так как «Библиотека для чтения» выписывалась его отцом (см.: *Достоевский, А. М.*, стр. 69).

Стр. 13. *Тридцать тысяч человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно.* — В этих словах Фомы можно видеть намек на выступление

Гоголя в 1834 г. в качестве профессора С.-Петербургского университета, закончившееся неудачей. В то же время они перекликаются со словами Хлестакова («тридцать пять тысяч курьеров»; «Ревизор», д. III, явл. 6). Ср.: *Тынянов*, стр. 441.

С т р. 13. ... *ему, Фоме, предстоит величайший подвиг...* — Ср. письмо Гоголя от 13 марта 1841 г. к С. Т. Аксакову: «Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного...» (*Гоголь*, т. XI, стр. 332). Опубликованное П. А. Кулишом в 1857 г. в «Сочинениях и письмах» Н. В. Гоголя, это письмо могло быть известно Достоевскому.

С т р. 13. *...написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия.* — В «Завещании» Гоголь говорил о задуманной им «Прощальной повести», о том, что это «лучшее из всего, что произвело перо» его, и что он его «носил долго в своем сердце как лучшее свое сокровище» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 220).

С т р. 13. *...Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отечества.* — Ср. слова Гоголя в Предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями»: «Я же у гроба господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 218). Ср.: *Тынянов*, стр. 442.

С т р. 14—15. *Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь...* — В этих словах полковника нашли отражение мысли Достоевского, высказанные в письме к А. Е. Врангелю от 14 августа 1855 г.: «...я очень хорошо знаю, что вы понимаете, может быть лучше другого, как должно обходиться с человеком, которого пришлось одолжить. Я знаю, что вы с ним удвоите, утроите учтивость; с человеком одолженным надо поступать осторожно; он мнителен; *ему так и кажется, что небрежностью с ним, фамильярностью хотят его заставить заплатить за одолжение, ему сделанное»* (подчеркнуто Достоевским, — *ред.*).

С т р. 15. *...дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои* ∾ *бакенбарды* ∾ *дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству.* — Здесь содержится иронический намек на одну из прихотей Николая I, который специальным указом от 2 апреля 1837 г. запретил носить усы и бороды чиновникам гражданского ведомства (Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XII. СПб., 1838, стр. 206). С проведением этого закона в жизнь Достоевский столкнулся в Семипалатинске. В «Воспоминаниях» А. Е. Врангеля рассказывается о чиновнике Малосапожкове, отвратительной личности, прозванной Достоевским «жареным скорпионом». Малосапожков послал донос генерал-губернатору и министру юстиции на Врангеля, который, исполняя должность прокурора, «вопреки закону носит усы» (*Врангель*, стр. 92, 93). Еще раньше, в 1846 г., Достоевский работал над повестью «Сбритые бакенбарды» (см. наст. изд., т. I, стр. 460).

С т р. 16. *Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку...* — Пушкин рассказывает этот анекдот в Table-talk, XVIII (*Пушкин*, т. XII, стр. 160—161). Достоевский цитирует неточно: у Пушкина — «государь».

С т р. 16. *Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».* — Обращение Фомы к мужикам пародирует стиль «Выбранных мест из переписки» Гоголя. Так, в письме «Русский помещик» Гоголь рекомендует обращаться к нерадивому мужику со словами: «Ах ты, невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному!» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 323). Эти слова с возмущением цитирует Белинский в своем письме к Гоголю от 15 июля 1847 г. (см.: *Белинский*, т. X, стр. 214).

С т р. 16. *Пехтерь* — плетеная высокая корзина из прутьев или бересты для носки сена или корма скоту. Иносказательно — неповоротливый, неуклюжий мешок. «Экой ты пехтеря!» (*Даль*, т. III, стр. 104).

С т р. 22. ... *«запасные, дескать, колотья у нас проявились».* — Ср.: «Сибирская тетрадь», № 118, а также «Записки из Мертвого дома», ч. II, глава II (наст. изд., т. IV).

С т р. 24. *Как не выгонят его со двора шелепами?* — Шелепы — побои, наносимые плетью (шéлеп — плеть, нагайка).

С т р. 24. *...штука капитана Кука...* — Выражение это записано Достоевским под № 309 в «Сибирской тетради» (см. наст. изд., т. IV). Джемс Кук (1728—1779) — знаменитый английский мореплаватель, открывший Новую Зеландию и ряд островов в Тихом океане. Погиб во время экспедиции на Гавайские острова. Ряд книг о нем и его путешествиях вышел в России в конце XVIII—начале XIX в.

С т р. 26. *Всё фармазоны: неверие распространяют...* — Фармазон (искаженное — франкмасон; от франц. franc maçon — вольный каменщик) — вольнодумец. Франкмасонство, или масонство, — религиозно-этическое движение, получившее широкое распространение в XVIII—начале XIX в., в частности в России.

С т р. 26. *Крикса* — крикун.

С т р. 27. *Морген-фри* — от нем. morgen früh — ранним утром.

С т р. 29. *Кошон* (франц. cochon) — свинья.

С т р. 30. *Фенезерф* (от франц. fines herbes — тонкие травы) — обозначение различных приправ, используемых в кулинарии.

С т р. 32. *...твержу вокабул.* — Вокабулами в начале XIX в. называли слова иностранного языка, подобранные в определенном порядке, снабженные переводом и предназначенные для заучивания наизусть.

С т р. 35. «*Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?*» — Содержание поучительных разговоров с мужиками Фомы Опискина (см. стр. 15—16) и Ростанева перекликается с содержанием некоторых статей известных сборников «Сельское чтение» (1843—1848), изданных В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким-Десятовским. Так, в 1-й книжке «Сельского чтения» была помещена статья А. П. Заблоцкого «О том, что называется миром и что такое земля, и о том, как велико славное Русское государство и что в нем есть», где сказано, что солнце, земля и луна — шары, что солнце в полтора миллиона раз больше земли и находится от земли на расстоянии в 143 с половиною миллиона верст («Сельское чтение». Кн. 1. Изд. 7. СПб., 1849, стр. 80). Ироническое отношение Достоевского к статье Заблоцкого предваряет его позднейшее полемическое выступление против либерально-просветительских взглядов на народное просвещение в статьях «Книжность и грамотность» (см. «Ряд статей о русской литературе» (1861) в т. XVIII наст. изд.).

С т р. 36. *...Фрол Силин, благодетельный человек...* — См. прим. к стр. 69.

С т р. 41. *Аделаидина цвета изволите галстух надеть...* — Цвет аделаида — темно-синий цвет. Это цветовое обозначение изредка упоминалось в русской печати в 40—50-х годах XIX в., но затем забылось. См. об этом заметку М. П. Алексеева в «Тургеневском сборнике» (III, изд. «Наука», Л., 1967, стр. 169—170).

С т р. 42. «*Однако здесь что-то похоже на бедлам*». — Бедлам (англ. Bedlam — название дома для умалишенных в Лондоне) — сумасшедший дом.

С т р. 45. *...вол-ти-жёр* (франц. voltigeur) — канатоходец, плясун на канате. Генеральша употребила это слово, подразумевая, вероятно, несерьезность занятий Сергея Александровича.

С т р. 46. *Вы читали «Тюфяка»?* — «Тюфяк» — повесть А. Ф. Писемского, впервые опубликованная в 1850 г. в «Москвитянине» (№№ 19—21) и затем перепечатанная в 1853 г. в его сборнике «Повести и рассказы». Герой этой повести — Павел Васильевич Бешметев, молодой дворянин, получивший университетское образование, но неловкий, мешковатый, незнакомый с действительной жизнью. Вследствие этого он совершает ряд трагических ошибок и в конце концов спивается и гибнет. Сергей Александрович, возможно, имеет в виду некоторое сходство свое с молодым Бешметевым, так же как и он, приехавшим после университета в провинцию.

С т р. 49. *Конфидантка* (от франц. confidente) — наперсница, доверенное лицо.

С т р. 52. *...детей-то у меня, просто семейство Холмских!* — «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и оди-

покой, русских дворян» — роман Д. Н. Бегичева (1786—1855) в шести частях. Издавался в Москве в 1832, 1833 и 1841 гг. В романе описана жизнь четырех сестер, принадлежащих к обширной дворянской семье Холмских.

Стр. 52. *Мономан* (от греч. monos — один, единственный — и mania — безумие) — человек, страдающий помешательством на одной мысли, идее, т. е. мономанией.

Стр. 52. ...*в бунтах недовес муки оказался.* — Бунты — хлеб в зерне или в муке, сложенный в кулях, накрытый и обшитый рогожами, в виде скирды (*Даль*, т. I, стр. 141).

Стр. 53. *Отец и благодетель! да простого-то человека я и боюсь!* — Эти слова Ежевикина перекликаются с собственным признанием Достоевского в письме к брату 22 февраля 1854 г.: «Да простого-то человека я боюсь более, чем сложного».

Стр. 55. ...*одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека (теперь стряпчим в Малинове...)* — Город Малинов — место действия второй части «Записок одного молодого человека» А. И. Герцена (1841). О Малинове здесь говорится, что это «худший город в мире, ибо ничего нельзя хуже представить для города, как совершенное несуществование его ⟨...⟩ Малинов лежит не в круге света, а в сторону от него...» (*Герцен*, т. I, стр. 283, 287). Условность города Малинова, как и упоминание Ростаневым герценовского героя — «молодого человека», подчеркивают сбивчивость и «фантастичность» рассказа полковника.

Стр. 55. *Фрикасеи* (от франц. fricassée) — жареное мясо.

Стр. 55—56. *Фрапировало* (от франц. frapper — ударять) — поразило.

Стр. 61. ...*донне муа мон мушуар...* (франц. donnez-moi mon mouchoir) — дайте мне платок.

Стр. 61. ...*«Натрескался пирога, как Мартын мыла!»* — Выражение записано Достоевским под № 254 в «Сибирской тетради» (см. наст. изд., т. IV).

Стр. 63—64. *Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся форейтор Митюшка.* — Дворовый оркестр по своему составу напоминает оркестр, слышанный Достоевским на каторге и описанный в «Записках из Мертвого дома», ч. I, гл. 11: «две скрипки⟨...⟩ три балалайки — все самодельщина, две гитары и бубен вместо контрабаса» (наст. изд., т. IV). Репертуар арестантского оркестра тот же, что и у дворовых Ростанева: плясовые мелодии, завершающиеся камаринской. Отмечено А. А. Гозенпудом (см.: *Гозенпуд*, стр. 65—68).

Стр. 66. *Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий.* — Эта фраза непосредственно связана с «Выбранными местами» Гоголя. В третьем письме по поводу «Мертвых душ» говорится: «Только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 296). Выражение «глупая светская башка» отмечено курсивом в рецензии Белинского на «Выбранные места из переписки с друзьями» (*Белинский*, т. X, стр. 66). Ср.: *Тынянов*, стр. 454—455.

Стр. 67. ...*господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический?* — Господскими назывались крестьяне, принадлежавшие помещику; казенными, или государственными, — принадлежавшие казне и царскому дому; экономическими — принадлежавшие монастырям. Обязанными или временно обязанными называли крестьян, не рассчитавшихся полностью с помещиком за полученный надел земли.

Стр. 68. ...*какие песни поет русский народ...* — В этом вопросе можно усмотреть пародийную передачу мыслей Гоголя о русских песнях, высказанных им во втором письме по поводу «Мертвых душ» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 289).

Стр. 68. *Что же делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны? ∾ Народ пляшет комаринского ∾ а они воспевают какие-то незабудочки!* — И. П. Бороздна (1803—1858) — второстепенный поэт. Выпад Фомы против русской поэзии имеет конкретный полемический повод. В 1852 г. в Петербурге вышел сборник «Незабудочка. Дамский альбом, составленный из лучших статей русской поэзии ⟨...⟩ с портретами Жуковского, Бенедик-

това и 10-ю оригинальными картинками Г. Педанова». В сборник вошли стихотворения самых различных русских поэтов от Жуковского и Пушкина до Коренева, Крешова, М. Владимирова, И. Бороздны. Для Опискина, одного из читателей «Незабудочки», как и для ее составителей, Пушкин, Лермонтов и Бороздна — явления одного поэтического ряда, авторы произведений для «дамского» чтения.

С т р. 68. *Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства ∾ Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления...* — В постоянных выпадах Фомы против комаринской, как песни грубой и безнравственной, заметно пародийное использование суждений реакционного музыкального критика Ростислава (псевдоним Ф. Толстого), который в одной из музыкальных рецензий в «Северной пчеле» писал: «Какое удовольствие могут доставить кривлянья растрепанного, глупого мужика? Питейный дом с его последствиями, конечно, дело существенное, но в эстетическом произведении следует ли его выставлять? 〈...〉 Что хорошо для рассказа, то не всегда хорошо в сценических произведениях, коих непосредственное назначение исправлять и очищать нравы и возвышать душу и чувства» (*СП*, 1853, № 107; ср.: А. А. Г о з е н п у д. Русский оперный театр XIX века. Изд. «Музыка», Л., 1969, стр. 392. См. также: *Гозенпуд*, стр. 69—72).

С т р. 68. *Я знаю Русь, и Русь меня знает...* — Эти слова принадлежат Н. А. Полевому, который в предисловии к роману «Клятва при гробе господнем» (1832) писал: «Кто читал, что писано мною доныне, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и — еще более, позвольте прибавить к этому, — Русь меня знает и любит» (Клятва при гробе господнем, ч. I. М., 1832, стр. IX). Формулу «я знаю Русь, и Русь меня знает» неоднократно цитировал Белинский в полемике с Полевым (см., например: *Белинский*, т. III, стр. 500; т. VI, стр. 404).

С т р. 68. *Пусть изобразят они мне мужика ∾ хоть даже в лаптях ∾ но преисполненного добродетелями ∾ Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе ∾ голодного, но довольного...* — Здесь, вероятно, пародируется обращение Гоголя к русскому поэту в статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время». Гоголь писал здесь: «Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников〈...〉 Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его 〈...〉 Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех в глазах, и каждому из нас захотелось бы самому быть бедным» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 280). Ср.: *Тынянов*, стр. 445—446.

С т р. 69. *...если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрола Силина»...* — «История государства Российского» в 11 томах (1816—1824; незаконченный XII том вышел после смерти Карамзина в 1829 г.), повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» (1803) и «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811 г., частично опубликована в 1837 и 1842 гг., полностью — в 1870 г.) — сочинения Карамзина. Повесть «Фрол Силин, благодетельный человек» была впервые напечатана Карамзиным в 1791 г. в «Московском журнале»; перепечатана в 5-м издании «Сочинений» Карамзина в 1848 г. В ней говорится о «трудолюбивом поселянине» Симбирской губернии, который в голодный год раздавал свой хлеб крестьянам, помогал всем неимущим, «на имя господина своего купил двух девок, выпросил им отпускные 〈...〉 и выдал замуж с хорошим приданым» и т. п. Как все положительные герои Карамзина, Фрол Силин отличается чувствительностью. Вместе с облагодетельствованными им крестьянами, которые «проливали слезы», «Фрол 〈...〉 плакал и смотрел на небо...» (О восприятии повести Карамзина в разные эпохи, и в частности Достоевским, см.: В. П. С т е п а н о в. Повесть Карамзина «Фрол Силин». В кн.: XVIII век, сб. 8. Изд. «Наука», Л., 1969, стр. 229—244). Вложенная в уста Фомы похвала «Фролу Силину» имеет иронический подтекст. Сам Достоевский относился к изобра-

жению народа в повестях Карамзина критически, видя в Карамзине одного из родоначальников сентиментально-мечтательного народолюбия славянофилов 1850—1860-х годов. В статье «Книжность и грамотность» (1861; см. наст. изд., т. XVIII) он призывал «не судить» о душе «народа по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзанчикам». Здесь Достоевский иронически упоминал о «Фроле Силине» как о примере искаженного представления о русском крестьянине.

Стр. 70. *«Брюссельские тайны»* — роман, представляющий собой подражание «Парижским тайнам» Э. Сю; в переводе с французского, без имени автора, вышел в Петербурге в 1847 г. Рецензент «Библиотеки для чтения» (1847, т. 84, отд. 6, стр. 10) отмечал, что это «одно из самых несчастных подражаний „Парижским тайнам“»; в «Литературной газете» (1847, № 27) говорилось об огромном количестве подражаний роману Сю, «которые, разумеется, все гораздо ниже оригинала ⟨...⟩ „Брюссельские тайны“ решительно худшее из всех этих произведений».

Стр. 70. *«Переписчик»! ∾ это тот, который пишет в журнал письма?* — Намек на «Письма иногородного подписчика в редакцию „Современника“ о русской журналистике», принадлежавшие А. В. Дружинину и печатавшиеся без подписи в «Современнике» в 1849 — начале 1850-х годов. Статьи Дружинина написаны от лица просвещенного помещика, который, живя в своей деревне, внимательно читает все столичные журналы. Ср. примеч. к «Неточке Незвановой» (наст. изд., т. II, стр. 502), а также роман «Униженные и оскорбленные», где иронически упоминается статья «Переписчика» (см. стр. 423—424).

Стр. 74. *Шематон* (от франц. chômer — бездельничать) — бездельник, шалопай.

Стр. 74. *А парле-ву-франсе? — Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе...* (франц. Parlez-vous français? — Oui, monsieur, je le parle un peu). — Говорите ли вы по-французски? — Да, сударь, немного говорю.

Стр. 75. *...на него колодку набей и в солдаты отдай!* — Колодки — массивные деревянные оковы, надевавшиеся на ноги, руки и шею арестованного для предупреждения побега.

Стр. 75. *Халдей* — здесь: нахал, наглец — от бранного переосмысления слова в значении «шут, скоморох» (халдей — ряженый в восточные одежды персонаж представления на религиозные темы).

Стр. 75. *Хамлет* — то же, что хам.

Стр. 76. *Либерте-эгалите-фратерните* (франц. liberté, égalité, fraternité — свобода, равенство, братство) — лозунги Великой французской революции.

Стр. 76. *Журналь де деба* (франц. «Journal des Débats») — французская политическая газета, основанная в 1789 г., имела большой литературный отдел. В 1850-е годы газета была органом, близким к правительству; поэтому Фома Опискин напрасно связывал с нею представления о вольномыслии.

Стр. 83. *Тут всё почти ломбардными и очень немного наличными.* — Ломбардный билет — квитанция, выданная в счет денег, помещенных на сохранение в ломбард с выплатой соответствующих процентов.

Стр. 85. *Кайенский перец.* — Кайенна — столица Французской Гвианы, колонии в Южной Америке, экспортировавшая перец в Европу.

Стр. 89. *Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание...* — Тон этих поучений Фомы совпадает с тоном поучений Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями». В статье «Близорукому приятелю» Гоголь писал: «Ты горд, говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заране. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России и что с этих только пор следует сурьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы ровно ничего не знал и всему от него хотел поучиться» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 348). Ср.: *Тынянов*, стр. 450.

Стр. 89. *Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю...* — Ср. у Гоголя: «...я, как бы ни

был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других...» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 220).

Стр. 90. *А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел...* — Макиавелли, Никколо ди Бернардо (1469—1527) — политический деятель и писатель эпохи Возрождения. Меркаданте, Саверио (1797—1870) — итальянский композитор, автор симфонических и вокальных произведений. Произведения Меркаданте в 30—40-х годах ставились на сценах русского и итальянского оперных театров в Петербурге и исполнялись в концертах. Однако «дикое сочетание имен политического деятеля XVI века ⟨...⟩ и сладкогласного итальянского композитора XIX века ⟨...⟩ отнюдь не сводится к демонстрации глубины „эрудиции" Фомы, подбирающего имена, начинающиеся с буквы М. Имя Меркаданте названо не случайно ⟨...⟩ О Меркаданте газеты и журналы писали чаще, нежели о Макиавелли. Поэтому замысловатая фамилия композитора засела в многодумной голове Фомы Фомича, если только он — что тоже возможно — по „рассеянности" не смешал Меркаданте с Данте» (*Гозенпуд*, стр. 91).

Стр. 91. *Да не зайдет солнце во гневе вашем!* — Цитата из Библии (Послание апостола Павла к ефесянам, гл. 4, ст. 26).

Стр. 92. *Парафы* — росчерк пера, например, при подписи.

Стр. 92. *...подействовать на него «моею машиною», как буквально изображено было в конце этого послания.* — Выражение Видоплясова находим в «Сибирской тетради» под № 454 (см. наст. изд., т. IV).

Стр. 95. *...будет нечто похожее на Гретна-Грин...* — Гретна-Грин — деревня на границе Англии и Шотландии, где можно было обвенчаться без соблюдения предварительных формальностей; название этой деревни стало нарицательным для обозначения браков, заключаемых в нарушение обычных церковных обрядов и юридических норм.

Стр. 96. *...корчил Бурцова...* — Алексей Петрович Бурцов (ум. в 1813 г.), гусарский офицер, известный своими кутежами. Воспет в стихах Дениса Давыдова:

Бурцов, ера, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради рома и... арака
Посети домишко мой!

(«Призвание на пунш», 1804)

Стр. 98. *...скоро успенский пост, и венчать не станут.* — Успенский пост, перед церковным праздником успения божьей матери, продолжался две недели — с 1 по 15 августа ст. ст.

Стр. 104—105. *Брамбеус* — см. прим. к стр. 12.

Стр. 105. *...чтоб тебя называли «Верный» ∾ какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный»*. Рифма «Верный — скверный» напоминает сходный факт из биографии И. В. Шервуда (1798—1867), первого доносчика по делу декабристов. 1 июня 1826 г. «в ознаменовании отличного подвига», совершенного Шервудом, царь повелел прибавить к его фамилии «Верный». В обществе роль Шервуда была хорошо известна, и его прозвали Шервуд-скверный. См. о Шервуде: Н. Шильдер. К биографии Шервуда-Верного. «Исторический вестник», 1896 г., т. V, стр. 509—520; Шервуд. По запискам кн. С. Г. Волконского. «Вестник всемирной истории», 1901, № 1, стр. 106—115.

Стр. 107. *...пойдем всем кагалом...* — Толпой, скопом.

Стр. 121. *Черепословие* (френология) — учение, выдвинутое австрийским врачом и анатомом Ф.-И. Галлем (1758—1828), согласно которому по форме черепа можно определить ум и характер человека.

Стр. 126. *Омбрелька* (от франц. ombrelle) — зонтик.

Стр. 126. *...коман-ву-порте-ву...* (франц. comment vous portez-vous). — Как поживаете?

Стр. 130. *...мы разбирали оставшиеся после него рукописи...* — «Сочинения» Фомы Опискина, упомянутые далее, характеризуют его как подражателя устаревшим образцам. Перечисление жанров и названий его произведений носит пародийный характер.

Стр. 130. *...начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии...* — Эта характеристика романа указывает на его псевдоисторический характер, так как Новгород основан в IX в. (ср. примеч. к стр. 12).

Стр. 130. *...чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами...* — Судя по ее названию, эта поэма должна была быть подражанием архаическим мистико-философским поэмам начала XIX в. (вроде поэм С. А. Ширинского-Шихматова, С. С. Боброва), которые часто писались безрифменными стихами.

Стр. 130. *...рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться...* — Название это пародирует традиционные названия сочинений подобного жанра, к числу которых принадлежат статья Гоголя «Русский помещик» (из «Выбранных мест из переписки с друзьями»), «Письмо сельского жителя» Н. М. Карамзина (1803), а также «Завещание моим крестьянам, или Нравственное им наставление» А. С. Шишкова (1843). Все указанные сочинения носили крепостнический характер.

Стр. 130. *...повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни...* — Модный в 30-е годы жанр «светской повести» в следующие два десятилетия стал прибежищем эпигонов. См., например, повесть А. П. Глинки «Графиня Полина» (СПб., 1856), в которой традиционные приемы светской повести превратились в откровенные штампы.

Стр. 130. *...заставал Фому за Поль де Коком.* — О Поль де Коке см. наст. изд., т. I, стр. 481.

Стр. 132. *Девять лет, как Педро Гóмец...* — Стихотворение «Осада Памбы» за подписью Козьмы Пруткова; впервые напечатано в сатирическом приложении к «Современнику» «Литературный ералаш» (*С*, 1854, № 3, стр. 36). Начальная часть его цитируется с некоторыми сокращениями и неточностями. По мнению В. Я. Кирпотина, чтение «Осады Памбы» играет в «Селе Степанчикове» экспозиционную роль, аналогичную чтению пушкинского «Рыцаря бедного» в позднейшем романе «Идиот». Герой стихотворения Пруткова Дон Педро является «ироническим подобием» Ростанева (см.: *Кирпотин*, стр. 539—540).

Стр. 133. *Экой фофан!* — Фóфан (просторечное) — недалекий, ограниченный человек, простофиля.

Стр. 133. *Каплан* (капеллан; от лат. capellanus) — католический священник при домашней церкви; в данном случае — при военном отряде.

Стр. 134. *...еще в романах Радклиф читал.* — Анна Радклиф (1764—1823) — английская писательница, автор «готических» романов тайн, «кошмаров и ужасов», широко популярная в России в первой половине XIX в. О воздействии А. Радклиф на творчество Ф. М. Достоевского см.: Л. Гроссман. Поэтика Достоевского. ГАХН, М., 1925, стр. 20—28.

Стр. 134. *Бенедиктинцы* — католический монашеский орден, основанный в VI в. Бенедиктом Нурсийским (480—543) и широко распространившийся в средневековой Европе.

Стр. 135. *...что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват?* — Здесь имеется в виду статья А. Н. Афанасьева «Религиозно-языческое значение избы славянина», где говорится: «Изба для славянина была ⟨...⟩ не только домом в обиходном смысле этого слова, местом жилья: она представлялась ему таинственным капищем, в котором пребывало благотворное светлое божество очага и в котором совершались обряды в честь этого пената. Изба была первым языческим храмом» (*ОЗ*, 1851, июнь, стр. 56). И далее: «...атрибуты кухни и очага — кочерга, помело, голик, ухват, лопата, сковорода и проч. — получили значение орудий жертвенных и удержали это значение даже до позднейшей эпохи языческого развития» (там же, стр. 57). Свое ироническое отношение к идеям Афанасьева Достоевский высказал в еще более резкой форме в статье 1861 г. «Г.-бов и вопрос об искусстве»: «Мы при-

поминаем в „Отечественных записках“ одну статью о метле, ухвате и лопате и о значении их в древней русской мифологии. Сведения, сообщенные автором этой статьи, были, конечно, полезные; но не в таких ли статьях видят „Отечественные записки“ обращение к народности? Если так, то взгляд их и понятие о народности довольно оригинальны» (см. наст. изд., т. XVIII). Печатая «Село Степанчиково» в журнале Краевского, Достоевский писал брату 20 октября 1859 г.: «Помнишь — литературные суждения п⟨олковни⟩ка Ростанева о литературе, о журналах, об учености „Отеч⟨ественных⟩ записок“ и проч. Непременное условие: чтоб ни одной строчки Краевский не выбрасывал из этого разговора. Мнение п⟨олковни⟩ка Ростанева не может ни унизить, ни обидеть Краевского. Пожалуйста, настой на этом. Особенно упомяни».

Стр. 137. *Вы помещик; вы должны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях ∾ Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания. ∾ Не отдых, а забота, и забота перед богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его!* — Наставления Фомы пародируют наставления Гоголя русскому помещику: «Возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем и законном смысле ⟨...⟩ взыщет с тебя бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить богу на своем месте, а не на чужом...» (*Гоголь,* т. VIII, стр. 322). В той же статье «Русский помещик» Гоголь дает и еще более конкретные наставления: «Заведи, чтобы при начале всякого общего дела ⟨...⟩ ты ⟨...⟩ вместе с ними вышел бы на работу, а в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца ⟨...⟩ И где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело всё живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе ⟨...⟩ Возьми сам в руки топор или косу...» (там же, стр. 324, 325). Ср.: *Тынянов,* стр. 443—444.

Стр. 146. *Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент...* — Иронический намек на «Завещание» Гоголя: «Завещаю не ставить надо мной никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя» (*Гоголь,* т. VIII, стр. 219—220). См.: *Тынянов,* стр. 452.

Стр. 147. *...невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от погибели».* — Здесь имеется в виду, по-видимому, знаменитый III сонет из «Канцоньере» Франческо Петрарки (1304—1374; «Era il giorno ch'al sol si scoloraro...» — «То было в день, когда свет солнца гас...»). «Меня любовь застигла безоружным», — жалуется здесь великий итальянский поэт, рассказывая о рождении своего чувства к Лауре:

Не думал я, что можно в этот час
Ждать ков любви; я шел, не соблюдая
Дозорных мер: мгновенье — и лихая
Моя беда с мирской бедой слилась...

(Пер. А. Эфроса).

В своем «переводе» Петрарки Фома Фомич вульгаризирует его образы: в устах героя Достоевского стихи Петрарки фразеологически сближаются с поэзией эпигонов русского и западноевропейского сентиментализма и их мысль приобретает характер патетически и витиевато изложенного «общего места», в чем обнаруживаются ничтожество и бездарность Опискина.

Достоевский мог познакомиться с сонетом Петрарки скорее всего в одном из переводов на немецкий или французский языки, например в переводе А. В. Шлегеля.

Стр. 147—148. *...и это был не тот «черный цвет», о котором поется в известном романсе...* — Сентиментальный романс «Черный цвет, мрачный цвет» был популярен в мещанской среде, входил в песенники. Автор неизве-

степ, возможно, что им был издатель М. Бернард. Романс этот поет героиня первой пьесы Островского «Семейная картина» (*Гозенпуд*, стр. 91).

Стр. 148. *Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил.* — Образ этот восходит не к Шекспиру, а к Шатобриану, в повести которого «Атала» (1801; русский перевод — 1802) индеец Шактас говорит: «Самое ясное сердце походит по виду на источник в саваннах Алашуа; поверхность его кажется чистой и спокойной, но, когда вы всмотритесь в глубину бассейна, — вы заметите там крокодила». Указанный образ Шатобриана не раз использовался в русской романтической литературе. К. Н. Батюшков в стихотворении «Счастливец» (1810) писал:

Сердце наше кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

А. Ф. Воейков в сатире «Дом сумасшедших» пародировал этот традиционный образ. Достоевский в пансионские годы знал наизусть сатиру Воейкова, ходившую тогда в рукописи (см.: *Достоевский, А. М.*, стр. 70).

Стр. 153. *...несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли.* — Гоголь писал в статье «О помощи бедным»: «...несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 236). О характеристике Гоголя как «легкомысленного» писателя и об использовании Достоевским эпитета «зернистый», также восходящего к Гоголю, см.: *Тынянов*, стр. 453.

Стр. 154. *Как Диоген с фонарем, ищу я его...* — Диоген (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ-циник, призывавший жить простою, естественной жизнью, пренебрегать условностями и земными благами. Относясь с презрением к окружающему обществу и его порокам, Диоген появился в полдень на улице с зажженным фонарем и на вопросы встречных отвечал: «Я ищу человека».

Стр. 154. *Фалалея ли я полюблю ∾ похоже на Фалалея!* — Ср. в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного!» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 300). Другие параллели из Гоголя см.: *Тынянов*, стр. 451.

Стр. 156. *Атанде-с* (франц. attendez) — подождите.

Стр. 159. *Зато он убил добродетельного Клита...* — В 328 г. до н. э. Александр Македонский во время пира поссорился с Клитом, который спас ему жизнь в одной из битв. В припадке гнева Александр заколол Клита. Имя добродетельного Клита стало нарицательным.

Стр. 161. *...рассказал даже о натуральной школе...* — См. выше, стр. 502.

Стр. 161. *Когда из мрака заблужденья...* — Стихотворение Н. А. Некрасова, опубликованное в 1846 г. в «Отечественных записках» (№ 4). Тема его — возрождение падшего создания, пробуждение в нем высоких человеческих чувств — была близка Достоевскому. Большой отрывок из этого стихотворения Достоевский приводит в качестве эпиграфа ко второй части «Записок из подполья» (1864; см. наст. изд., т. V), где тема его получила сложное психологическое развитие, включающее в себя и полемическое переосмысление.

Стр. 164. *...нравственно-лукулловских капризов.* — Имя Лукулла, древнеримского полководца (106(?) — 56 гг. до н. э.), известного своим богатством, стало нарицательным и обозначает человека, утопающего в роскоши, пресыщенного жизнью и ищущего особо изысканных удовольствий.

Стр. 165. *...с вознаграждениями проторей и убытков...* — Протори — судебные издержки.

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ

(Стр. 169)

Источники текста

ЧЗ — черновые заметки к ч. I—II романа (Музей Достоевского в Москве). Публикуется Г. Ф. Коган также: *ЛН*, т. 86.

Вр, 1861, № 1, стр. 5—92; № 2, стр. 417—474; № 3, стр. 235—324; № 4, стр. 615—683; № 5, стр. 269—314; № 6, стр. 535—582; № 7, стр. 287—314.

1861 — Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. Исправленное издание, тт. I—II. Типография Э. Праца, СПб., 1861.

1865, том II, стр. 5—155.

1879 — Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. Пятое издание. Типография бр. Пантелеевых, СПб., 1879.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано во *Вр*, 1861, №№ 1—7, с подзаголовком: «Из записок неудавшегося литератора. Роман. (Посвящается М. М. Достоевскому)». В конце подпись: «Федор Достоевский» — и дата: «9 июля 1861 года». Ценз. разр.: 1 декабря 1860 г. (№ 1), 9 февраля 1861 г. (№ 2), 21 февраля 1861 г. (№ 3), 19 апреля 1861 г. (№ 4), 4 мая 1861 г. (№ 5), 22 июня 1861 г. (№ 6), 3 июля 1861 г. (№ 7).

Печатается по тексту *1879* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 169, строка 14: «мыслям тесно» вместо «мыслить тесно» (по *Вр*, *1861*).

Стр. 173, строка 31: «стукнув» вместо «стукнул» (по *Вр, 1861*).

Стр. 174, строка 28: «перевертывается» вместо «перерывается» (по *Вр*).

Стр. 178, строка 21: «такое непетербургское солнце» вместо «такое петербургское солнце» (по *Вр, 1861*).

Стр. 186, строка 17: «литературная» вместо «первая» (по *Вр*).

Стр. 189, строка 6: «слезинки стояли» вместо «слезинка стояла» (по *Вр, 1861*).

Стр. 194, строка 43: «старушка» вместо «старуха» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 194, строка 48: «причитывала» вместо «прочитывала» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 198, строка 37: «отдастся» вместо «отдается» (по *Вр, 1861*).

Стр. 198, строка 39: «нельзя будет» вместо «пожалуй, нельзя будет» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 200, строка 27: «ему отдам, а он мне» вместо «ему отдам, он мне» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 203, строка 21: «Когда же вы обвенчаетесь?» вместо «Как же вы обвенчаетесь?» (по *Вр, 1861*).

Стр. 204, строка 7: «что ж ему останется» вместо «что ж ему остается» (по *Вр, 1861*).

Стр. 207, строка 20: «так бы и ожил» вместо «так бы и пожил» (по *Вр, 1861*).

Стр. 210, строки 31—32. «он и прежде» вместо «он прежде» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 212, строки 38—40: «обращено к нам; она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом» вместо «обращено к нам и с каким-то покорным страхом» (по *Вр, 1861*).

Стр. 214, строка 11: «не осмеливалась» вместо «не осмелилась» (по *Вр, 1861*).

Стр. 214, строка 12: «хотя это было» вместо «хотя то было» (по *Вр, 1861*).

Стр. 214, строка 32: «мы не умеем» вместо «не умеем» (по *Вр, 1861*).

Стр. 216, строки 42—43: «Что за очаровательная» вместо «Что за очаровательна» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 216, строка 46: «он ей изменял» вместо «он не изменял» (по *Вр, 1861*).

Стр. 217, строка 45: «там и согласились» вместо «так и согласились» (по *Вр*).

Стр. 218—219, строки 48—1: «в рубашечке кисейной представил ее, так что и тельце просвечивает» вместо «так что и тельце просвечивает» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 221, строка 4: «на нее и обратно» вместо «на нее обратно» (по *Вр, 1861*).

Стр. 222, строка 19: «и доставалось» вместо «и досталось» (по *Вр, 1861*).

Стр. 230, строка 5: «и не узнал» вместо «и не знал» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 230, строка 18: «что особенного» вместо «что особенно» (по *Вр, 1861*).

Стр. 230, строка 23: «приписывает» вместо «приписывается» (по *Вр, 1861*).

Стр. 232, строка 21: «о нем» вместо «об нем» (по *Вр, 1861*).

Стр. 232, строка 21: «замечала» вместо «заметила» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 233, строка 26: «благословлю» вместо «благословляю» (по *Вр, 1861*).

Стр. 234, строка 14: «Никто не отвечал» вместо «Никто не отвечает» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 238, строка 31: «принимают» вместо «понимают» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 241, строка 20: «ждут у нас всевозможного покровительства» вместо «ждут у нас всевозможные покровительства» (по *Вр, 1861*).

Стр. 241, строка 25: «ее и не примет, а княгиня не примет, так и другие» вместо «ее не примет, так и другие» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 243, строка 47: «я оценил Катю» вместо «я ценил Катю» (по *Вр, 1861*).

Стр. 244, строка 43: «врагом или другом» вместо «врагом или добрым» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 245, строка 22: «раздваивались» вместо «раздавались» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 245, строка 27: «Это была» вместо «Эта была» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 245, строка 32: «подошел» вместо «пошел» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 250, строка 7: «Позволите ли мне» вместо «Позволите мне» (по *1861*).

Стр. 257, строка 29: «странного» вместо «страшного» (по *Вр, 1861*).

Стр. 258, строка 27: «за это же оттаскала» вместо «за это же оттаскали» (по *Вр, 1861*).

Стр. 259, строки 22—23: «задавить тебя» вместо «задавите тебя» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 260, строка 22: «глядел в калитку» вместо «глядел на калитку» (по *Вр*).

Стр. 263, строки 35—36: «распили-с, у Дюссо-с» вместо «распили-с» (по *Вр*).

Стр. 265, строка 7: «соглашалась» вместо «согласилась» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 265, строка 16: «Дело же мое больше» вместо «Дело же мое большое» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 266, строка 18: «садись за любимую мысль» вместо «садись за любую мысль» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 266, строка 27: «всю историю Смита» вместо «свою историю Смита» (по *Вр*).

Стр. 266, строка 35: «я и содрал» вместо «и я содрал» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 268, строка 42: «не случится» вместо «не случилось» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 269, строка 31: «к какой-нибудь» вместо «в какой-нибудь» (по *Вр*).

Стр. 274, строка 22: «растрепанная» вместо «расстроенная» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 279, строка 3: «надо обдумать» вместо «надо подумать» (по *Вр, 1861*).

Стр. 283, строка 4: «В то же время» вместо «В то время» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 287, строка 22: «не показывал» вместо «не оказывал» (по *1861, 1865*).

Стр. 288, строка 5: «такую записку» вместо «только записку» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 290, строки 4—5: «человеком посторонним. Тут-то я и поднимаю голову. Так и так» вместо «человеком посторонним. Так и так» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 290, строка 25: «не позволяю» вместо «не позволю» (по *Вр, 1861*).

Стр. 291, строка 5: «Ввязаться в дело» вместо «Взяться за дело» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 296, строка 40: «задушали ее» вместо «задушили ее» (по *Вр, 1861*).

Стр. 302, строки 46—47: «как будто дурно» вместо «как-то будто дурно» (по *Вр, 1861*).

Стр. 309, строка 39: «а как эта лента» вместо «и как эта лента» (по *Вр*).

Стр. 310, строка 5: «вашего общества» вместо «нашего общества» (по *Вр, 1861*).

Стр. 316, строка 21: «выказывается» вместо «высказывается» (опечатка во всех прижизненных изданиях).

Стр. 319, строка 34: «он любит» вместо «он любил» (по *Вр, 1861*).

Стр. 329, строка 19: «Перечтем» вместо «Прочтем» (по *Вр, 1861*).

Стр. 329, строка 29: «пыло в тоске» вместо «было в тоске» (по *Вр*).

Стр. 332, строка 35: «вечерок» вместо «вечером» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 337, строка 32: «что она скорее» вместо «что скорее» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 339, строка 44: «повторяла» вместо «повторила» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 342, строка 38: «оговорок» вместо «отговорок» (по *Вр*).

Стр. 351, строка 39: «так я стала» вместо «так и стала» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 352, строка 24: «как я теперь» вместо «как и теперь» (по *Вр, 1861*).

Стр. 356, строка 6: «Смешишь» вместо «Спешишь» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 357, строка 38: «на остальное» вместо «на остальные» (по *Вр, 1861*).

Стр. 357, строка 40: «в журнал» вместо «в журнале» (по *Вр, 1861*).

Стр. 358, строка 3: «играть роль» вместо «играть роли» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 361, строка 9: «вот-с я и волочился» вместо «вот-с и волочился» (по *Вр, 1861*).

Стр. 362, строка 36: «выказывается» вместо «высказывается» (опечатки во всех прижизненных изданиях).

Стр. 363, строка 9: «ожидает» вместо «ожидал» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 365, строка 20: «тоскуете по идеалу» вместо «толкуете по идеалу» (опечатки во всех прижизненных изданиях).

Стр. 380, строка 8: «внезапную нежность» вместо «приятную нежность» (по *Вр, 1861*).

Стр. 384, строки 7—8: «Я у всех и прошу. А здесь я не хочу, не хочу, не хочу» вместо «Я у всех и прошу, не хочу, не хочу» (по *Вр*).

Стр. 388, строки 34—35: «я иногда» вместо «я никогда» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 396, строка 36: «мгновение, когда коляска Кати» вместо «мгновение, коляска Кати» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 401, строка 41: «в десять часов» вместо «в девять часов» (по *Вр*).

Стр. 406, строка 43: «умирала» вместо «умерла» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 410, строки 35—36: «и что ее бог наказывает» вместо «...ее бог наказывает» (по *Вр, 1861*).

Стр. 412, строка 2: «квартиру у Бубновой» вместо «у Бубновой» (по *Вр, 1861*).

Стр. 414, строка 15: «в стекла» вместо «в стекло» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 416, строка 22: «и они» вместо «а и они» (по *Вр, 1861*).

Стр. 418, строка 16: «потому что жильцы» вместо «потому жильцы» (по *Вр, 1861*).

Стр. 418, строки 17—18: «лучше б она меня к ней отпустила» вместо «лучше б я ее к ней отпустила» (опечатка во всех прижизненных изданиях).

Стр. 422, строки 21—22: «это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили» вместо «это возлюбленная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 423, строка 17: «старичком доктором» вместо «стариком доктором» (по *Вр, 1861*).

Стр. 433, строка 20: «сказал я ей» вместо «сказала ей» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 435, строка 47: «скоро бы ее отыскал» вместо «скоро ее отыскал» (по *Вр, 1861, 1865*).

Стр. 437, строки 25—26: «в том, что она знает, что она не просто дочь князя, а *законная* дочь» вместо «в том, что она не просто дочь князя, а *законная* дочь» (по *Вр*).

Стр. 437, строка 30: «быть может» вместо «быть не может» (по *Вр, 1861*).

Журнальный текст романа «Униженные и оскорбленные» значительно отличался от последующих изданий. Распределение глав по частям было следующим: в первой части — 15 глав, во второй — 7, в третьей — 11, в четвертой — 12. Первая часть была опубликована в январской книжке «Времени», вторая — в февральской, третья — в мартовской; последняя, четвертая, — в трех номерах журнала: I и II главы — в апреле; эта публикация завершалась следующим примечанием редакции: «Болезнь автора заставила нас остановиться на этих двух главах. Так как они составляют почти отдельный эпизод в романе, то мы решились напечатать их теперь же, не дожидаясь окончания четвертой части, которое мы надеемся поместить в следующем номере» (*Вр*, 1861, № 4, стр. 633).

Главы III—VII четвертой части были напечатаны в майской книжке, главы VIII—XII — в июньской, а эпилог — в июльской.

Осенью 1861 г. (ценз. разр. — 2 сентября) роман вышел отдельным изданием. Здесь сняты подзаголовок «Из записок неудавшегося литератора» и посвящение М. М. Достоевскому, роман разделен на два тома (том I — части 1 и 2; том II — части 3, 4 и эпилог). Распределение глав по частям иное, чем в журнальном тексте; позднее оно уже не менялось. При этом изменена лишь нумерация глав, границы их сохранены прежние, за исключением I главы третьей части, в которую включена, помимо текста первоначальной V главы, часть предшествующей IV главы (со слов: «Давно уже наступили сумерки» до слов: «когда я вошел к ней»).

При подготовке отдельного издания, вышедшего осенью 1861 г., текст романа подвергся стилистической правке. Был сокращен ряд монологов героев, исключены отдельные мелодраматические сцены (так, опущены частые обмороки героины), местами снижена эмоциональность языка. При переиздании романа в 1865 г. исправления незначительны; издание это выполнено на невысоком техническом уровне, в тексте много опечаток. В издании 1879 г. текст романа снова подвергся стилистической правке. Она была менее существенна, чем в 1861 г., но имела аналогичный характер: сокращались некоторые фразы и заменялись (или исключались) отдельные экспрессивные выражения. Сокращенная форма женских отчеств «Николавна», «Андревна» заменена полной формой: «Николаевна», «Андреевна». Частичным изменениям подверглась также пунктуация.

В Государственной библиотеке им. В. И. Ленина хранится экземпляр пятого издания «Униженных и оскорбленных», по которому Достоевский читал 14 декабря 1879 г. две главы (VII и VIII) последней части романа (рассказ Нелли) на литературно-музыкальном вечере в пользу Высших женских (Бестужевских) курсов в зале Благородного собрания (*ГБЛ*, ф. 93, I, 1, 1. — См. об этом: *Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 324; *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 276, где это чтение ошибочно отнесено к 1878 г.). На листе, вплетенном перед титульным листом этого экземпляра, надпись рукою А. Г. Достоевской: «„Униженные и оскорбленные" с собственноручными поправками (стр. 417—436) для прочтения на литературном вечере». Пометы и стилистические поправки Достоевского в этом экземпляре, хотя они сделаны уже после выхода из печати пятого издания романа, как имеющие специальное назначение, не внесены нами в основной текст романа и отражены в отделе «Варианты» на стр. 483—485 (ср. также: *Описание*, стр. 190—191).

Наряду с планами романов, задуманных в Семипалатинске и Твери, но по разным причинам не осуществленных, в письмах Достоевского упоминается и один замысел, который можно считать первоначальным зерном «Униженных и оскорбленных». В письме к старшему брату 3 ноября 1857 г. он писал: «Напишу роман из петербургского быта вроде „Бедных людей" (а мысль еще лучше «Бедных людей»)».

Окончательно замысел «Униженных и оскорбленных», по-видимому, сложился не раньше 1860 г., так как в известных нам перечнях замыслов 1859—1860 гг. (см. стр. 443) какое-то отношение к будущему роману мог иметь только один, озаглавленный «Миньона» (см. стр. 447).

К писанию «Униженных и оскорбленных» Достоевский приступил весной 1860 г. А. И. Шуберт он сообщал 3 мая по приезде в Петербург из Москвы: «Воротился я сюда и нахожусь в вполне лихорадочном положении. Всему причиною мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца три придется теперь сидеть дни и ночи. Зато какая награда, когда кончу! Спокойствие, ясный взгляд кругом, сознание, что сделал то, что хотел сделать, настоял на своем». Однако работа над романом весной и летом 1860 г. мало продвинулась вперед. Это видно из письма к А. П. Милюкову от 10 сентября, в котором Достоевский извещает последнего: «...приступаю к писанию и не знаю еще, что будет, но решаюсь работать не разгибая шеи».

Черновые материалы к «Униженным и оскорбленным» до нас не дошли, за исключением обнаруженных Г. Ф. Коган записей на обороте пригласительной повестки с просьбой «пожаловать на репетицию „Ревизора" в понедельник 4 апреля 1860 г.» (имеется в виду знаменитый спектакль «Ревизор», поставленный Литературным фондом 14 апреля 1860 г. в Петербурге в зале Руадзе; в этом спектакле ряд ролей исполняли писатели; в частности, Достоевский играл роль почтмейстера Шпекина; репетиция пьесы, на которую он приглашался, состоялась 4 апреля в 12 часов дня). Текст записей (*ЧЗ*) см. на стр. 448.

Записи Достоевского почти все относятся к I и II частям романа и представляют собой план исправления ряда входящих в них эпизодов. Замечание: «Уменьшить разглагольствия *ее* об Алеше (перед встречей)» — всего естественнее связать с главой VII, где Иван Петрович провожает Наташу Ихменеву, покинувшую родительский дом и направляющуюся к Алеше. В следующих двух записях — «поэт независимее к Алеше (ненависть)» и «Алешу серьезнее (когда Алеша приходит к нему после *обеда* (перед отцом), то о Скрибе)» — имеется в виду глава IX, где Алеша сообщает Ивану Петровичу о своем намерении переделать комедию Э. Скриба в роман. Заметка «Подумать о появлении Нелли» относится к главе X, где описан первый ее приход к Ивану Петровичу. В последней записи: «2-й раз она приходит за книгами, и тут-то он бросается за ней» — скорей всего речь идет о главах III—IV второй части, где говорится о втором приходе Нелли к Ивану Петровичу, когда ему удается ее уговорить согласиться, чтобы он отвез ее на Васильевский остров на извозчике; затем Иван Петрович следит за Нелли вплоть до дома Бубновой.

Точно определить, когда сделаны записи, трудно. Вряд ли их можно отнести к апрелю 1860 г., так как в это время первая и вторая части романа еще не сложились; тем менее Достоевский мог думать об исправлении написанного. Скорее можно предположить, что записи сделаны в период с мая по конец года. Во всяком случае, их следует датировать временем не позже ноября—декабря, так как первая часть романа была напечатана в январской книжке «Времени» за 1861 г., а следующая, к которой относится запись о втором приходе Нелли, — в февральской. По смыслу записи с равной степенью вероятности могут быть истолкованы как авторские наметки или как изложение чьих-то замечаний, высказанных писателю на одной из начальных стадий работы: почти все, что намечено в этих записях, было Достоевским реализовано в печатном тексте. Лицо, которому Достоевский мог читать начало романа или показывать его в рукописи, — скорее всего Михаил Михайлович Достоевский.

Закончен роман 9 июля 1861 г. — согласно дате, проставленной в конце журнальной публикации «Эпилога». Подтверждает эту дату окончания романа и М. М. Достоевский, который писал в письме к Я. П. Полонскому от 16 июля 1861 г. о брате: «Он только что отделался, то есть кончил роман свой» (*Сб. Достоевский, I*, стр. 459).

Вместо предположенных трех месяцев «Униженные и оскорбленные» писались более года, а печатались семь месяцев, и Достоевский был этим недоволен: «Я⟨...⟩ очень плохо сделал, что моих „Униженных и оскорбленных“ растянул до июля и ослабил впечатление», — писал он Полонскому 31 июля 1861 г.

«Униженные и оскорбленные» создавались в пору подъема русской общественной жизни и литературы, в первую очередь романистики. Романы Тургенева, Гончарова, Писемского становились большими общественными событиями, равно как и посвященные им статьи, — в особенности Добролюбова и Чернышевского.

Приступая к роману, Достоевский располагал богатейшим запасом личных впечатлений периода каторги, но они предназначались для будущих «Записок из Мертвого дома», а потому лишь немногие из них могли войти в «Униженные и оскорбленные» — в те главы, где изображено петербургское дно и где действует содержательница дома свиданий Бубнова. Несмотря на это вынужденное самоограничение, в «Униженные и оскорбленные» писатель вместил такое количество автобиографического материала, какого ранее он никогда еще не предлагал вниманию читателя. Центральный образ «Униженных и оскорбленных», «неудавшийся литератор» Иван Петрович, как бы синтезирует две эпохи жизни самого Ф. М. Достоевского: факты литературной деятельности, мытарств и тягостей писательства, выпадающие на долю Ивана Петровича, взяты из воспоминаний Достоевского о его литературной молодости, история же отношений Ивана Петровича и Наташи, его самоотверженной любви, по мнению А. С. Долинина, в той или иной мере в преображенном виде воспроизводит эпизоды отношений между Достоевским и его будущей женой Марией Дмитриевной (см.: *Д, Письма,* т. I, стр. 516—517).

Столь широкое, не свойственное Достоевскому ранее обращение к автобиографическому материалу — явление новое, характерное для русской прозы первой половины 1850-х годов (см.: Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой, кн. I. Изд. «Прибой», Л. — М., 1928, стр. 79—97; *Фридлендер*, стр. 93—96). «Автобиографизм» русской прозы этого времени имел разные направления. Достоевский в Семипалатинске с равным вниманием читал «Семейную хронику», «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Севастопольские рассказы», «Детство» и «Отрочество» Л. Н. Толстого. В форме «записок» осуществлены и «Униженные и оскорбленные». Это — «роман-мемуары», переадресованные вымышленному литературному персонажу, так же как это сделал Достоевский в «Записках из Мертвого дома» (см.: *Шкловский*, стр. 98—101).

Уже первые читатели и критики романа, в том числе Добролюбов, обратили внимание на то, что многие мотивы, а также характеры ряда главных героев «Униженных и оскорбленных» в той или иной мере повторяют соответ-

ствующие мотивы «Бедных людей» и в еще большей мере — «Белых ночей». Подобно Макару Алексеевичу в «Бедных людях», Иван Петрович выступает в романе в роли защитника и покровителя гонимой героини, он спасает Нелли из рук сводни, а самая эта сводня, как отметил В. Б. Шкловский, живет на 6-й линии Васильевского острова — по тому же адресу, что и Алена Фроловна в «Бедных людях» (там же, стр. 91). По психологическому рисунку отношения между Иваном Петровичем, Наташей и Алешей близки к отношениям Мечтателя, Настеньки и ее возлюбленного в «Белых ночах». Несомненные черты сходства по роли их в развитии действия есть также между Быковым и Валковским, хотя фигура последнего психологически и философски значительно более сложна. Совпадают во многом петербургская «атмосфера» и фон всех трех произведений. Все это свидетельствует не только о чертах типологического сродства, свойственного разным произведениям Достоевского, но и о несомненной общности отраженного в «Униженных и оскорбленных» и вещах 1840-х годов биографического материала.

Достоевский ввел в «Униженные и оскорбленные» в прямом, почти «не зашифрованном» виде воспоминания о своей литературной молодости: о работе над «Бедными людьми», их читательском успехе, статьях Белинского («критика Б.»), его литературных врагах, об эксплуатировавшем Достоевского издателе А. А. Краевском, срочных статьях для «многотомной книги» («Энциклопедического словаря» А. В. Старчевского) и т. д.[1] Все эти прямо названные и еще памятные в литературных кругах факты биографии молодого Достоевского дают возможность приурочить действие романа ко второй половине 1840-х годов — между 1845 и 1849 г.

Ихменевы приехали в Петербург, по словам рассказчика, «года два тому назад». «Незадолго до их приезда, — продолжает рассказчик, — я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера, и, как новичок, сначала не знал, куда его сунуть». Дальнейшее изложение не оставляет никаких сомнений в том, что Иван Петрович говорит о «Бедных людях»: «И вот вышел наконец мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался как ребенок, прочитав мою рукопись». Ихменевых в романе удивляет, что «выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались; и всё это таким простым слогом описано, ни дать ни взять как мы сами говорим...» Ихменев читает статьи критика Б., повторяет его мысли и жалуется на его врагов из «Северной пчелы». Но Достоевский уплотняет хронологию романа. В один год жизни Ивана Петровича он вмещает несколько лет своей реальной биографии; многие литературные (например, «Детство и отрочество» Л. Н. Толстого в отдельном издании 1856 г.) и общественно-политические явления, упомянутые в романе рядом с именами и событиями 1840-х годов, относятся к началу, середине или даже концу следующего десятилетия. Ироническое изображение кружка молодежи, который посещает Алеша Валковский, кружка, собирающегося у «Левеньки» и «Бореньки», — наиболее характерный пример этого смешения эпох в романе. Имена главных участников этого кружка перекликаются с именами молодых друзей Репетилова Левона и Бореньки, о которых он восторженно рассказывает Чацкому в последнем акте «Горя от ума».[2] Возможно, что в этом рассказе в сложном идеологическом преломлении отразились воспоминания Достоевского о его отношениях по кружку С. Ф. Дурова. Но далее старые воспоминания писателя смешаны с новыми впечатлениями. На повторный вопрос Наташи, о чем говорит молодежь на вечерах Левеньки и Бореньки, Алеша отвечает перечислением современных (конец 1850-х годов)

[1] Об автобиографических мотивах в романе см.: *Михайловский*, стр. 243—245, а также свидетельства А. Г. Достоевской в кн.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 55—56. Об образе Белинского в романе см.: В. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы. Изд. «Художественная литература», М., 1966, стр. 262—264, 297, 308—311.

[2] См.: А. Л. Бем. У истоков творчества Достоевского. Изд. «Петрополис», Прага, 1936, стр. 22—24.

политических проблем: «Вообще обо всем, что ведет к прогрессу, к гуманности, к любви; всё это говорится по поводу современных вопросов. Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях; мы их разбираем, читаем». Среди членов кружка Алеша особенно выделяет Безмыгина. О нем он отзывается пылко и восторженно: «Безмыгин — это 〈...〉 между нами, голова, и действительно гениальная голова!» «Учение» Безмыгина Алеша излагает в таком виде: «Коли ты хочешь, чтоб тебя уважали, во-первых и главное, уважай сам себя; только этим, только самоуважением ты заставишь и других уважать себя» (см. стр. 310). Эти слова Безмыгина представляют собой, по-видимому, пародийное переосмысление некоторых идей статьи Н. А. Добролюбова о прозе Плещеева «Благонамеренность и деятельность» (*С*, 1860, № 7). Как на главное условие нормального развития Добролюбов указывал здесь на уважение каждым человеком чужих интересов. По Добролюбову, природа человека «для того, чтобы иметь возможность развиваться 〈...〉 требует избежания всяких столкновений и помех. А для этого она, очевидно, предписывает человеку не мешать и другим, потому что иначе он и сам себе помешает, остановит и стеснит себя в своем развитии. Таким образом, признавая в человеке 〈...〉 способность к развитию и 〈...〉 наклонность к деятельности 〈...〉 и отдыху, мы из этого одного прямо можем вывести, с одной стороны, естественное требование человека, чтоб его никто не стеснял 〈...〉 а с другой стороны, — столь же естественное сознание, что и ему не нужно посягать на права других и вредить чужой деятельности» (*Добролюбов*, т. VI, стр. 197). В смещении хронологии, столь частом в романе, получила выражение одна из основных авторских идей — идея преемственности в умственной жизни второй половины 1850-х годов по отношению к определенному кругу литературных и общественных «преданий» предшествующего десятилетия, которые вели к Белинскому, петрашевцам, творчеству самого Достоевского 1840-х годов.

Обилие литературных цитаций, упоминаний и намеков свидетельствует о намерении Достоевского теснейшим образом связать свой роман со злобой дня в самом глубоком смысле этого слова. Смещенная хронология помогла автору создать роман не о «нашей семипалатинской жизни» (о чем он писал Врангелю), а большое произведение с широким охватом идейной жизни современного русского общества. В творчестве Достоевского «Униженные и оскорбленные» были первым подходом к тому новому типу романа, который позднее не раз характеризовали как роман «идеологический» (*Сб. Достоевский, II*, стр. 71—105).

Повествование в «Униженных и оскорбленных» ведется от первого лица. Эту форму Достоевский предпочитал другим уже в 1840-е годы. От первого лица написаны «Белые ночи» и «Неточка Незванова», скрытую форму изложения от первого лица можно усмотреть в «Бедных людях», где письма Макара Девушкина, в сущности, представляют собой единое сюжетное повествование. Однако «Записки неудавшегося литератора» написаны в иной, осложненной по сравнению с ранними произведениями Достоевского форме. Иван Петрович как бы «раздваивается» в своих «Записках»: он одновременно и действует в них и вспоминает о событиях, отнесенных в прошлое. Действие, которое Иван Петрович вспоминает и которое он рассказывает читателям как происходящее сейчас, перебивается его разъяснениями и комментариями, сделанными на основе позднейшего хода событий. Нарушенная таким образом последовательность изложения сопровождается повышением занимательности, увеличением числа происшествий и их значительности. Подобную форму уже применил до Достоевского Л. Н. Толстой в «Детстве» (1852) и «Юности» (1854) (см.: Е. Н. Купреянова. Молодой Толстой. Тула, 1956, стр. 25). Иртеньев здесь и «вспоминает» далекую, невозвратимую пору детства, и сам переживает ее. Промежуток между описанными событиями и временем их переживания героем в воспоминании у Толстого — промежуток между ребенком и взрослым человеком, у Достоевского же между ними проходит всего год. Но краткость этого промежутка компенсируется у него интенсивностью действия, концентрацией событий, их плотностью во времени и пространстве. Раздвоение Ивана Петровича на действующее лицо и расска-

чика мотивировано в «Униженных и оскорбленных» тем, что герой — профессиональный литератор, для которого «записывание» всего происходящего с ним, с близкими ему людьми — естественная форма деятельности.

Переживая события действительной жизни, Иван Петрович вместе с тем бессознательно рассматривает их и как материал для литературных произведений. Иногда же наоборот — он готов живых людей представлять себе литературными персонажами, сошедшими со страниц книг его любимых авторов. «Литераторство» Ивана Петровича облегчило Достоевскому ввод нового для русской литературы типа повествования от первого лица, облегчило связь между двумя сюжетными линиями романа — Нелли и Наташи.

Человеческие и литературные интересы Ивана Петровича переплетаются, его вмешательство в чужие жизни и судьбы образует как бы продолжение той программы деятельной филантропии и социального гуманизма, которыми проникнута первая повесть Ивана Петровича и ее реальный прообраз — «Бедные люди» самого Достоевского. Жизненное поведение Ивана Петровича во всех случаях, в обеих линиях романа определяется чистейшим, последовательным альтруизмом, братской любовью ко всем обиженным и несчастным, естественным для Ивана Петровича, для самой его «натуры» стремлением служить добру, а не злу, любви, а не насилию и эгоизму. В образе Ивана Петровича Достоевский воплотил собственную гуманистическую программу, которая развивалась им в журнале «Время».

Связь между сюжетными линиями осуществляется также благодаря их параллелизму. Князь Валковский обманывает и бросает дочь Смита, мать Нелли; так же поступает его сын, Алеша, бросивший Наташу ради Кати. Старик Смит проклинает и не хочет простить свою дочь; Ихменев проклинает Наташу, бежавшую из родительского дома к Алеше, и соглашается простить ее, только выслушав рассказ Нелли о судьбе несчастной дочери Смита, ее матери. Жестокому, неумолимому богу протестантизма, карающему богу Библии Достоевский противополагает свое этическое истолкование христианства как религии нравственной стойкости, непримиримости к злу — и вместе с тем любви, братства и всепрощения.

Ихменев и его семья слушают чтение повести Ивана Петровича (т. е. «Бедных людей») с теми же чувствами, с какими Макар Девушкин читал «Станционного смотрителя». Гуманистический пафос русской литературы, «новое слово», сказанное в ней Пушкиным, для Достоевского времени работы над «Униженными и оскорбленными» — наивысшее выражение русского народного нравственного идеала. Ориентация на Пушкина в романе дала повод исследователю сблизить Ивана Петровича с Иваном Петровичем Белкиным, признав знаменательным уже самое совпадение их имен; история Наташи в расширенном и усложненном виде повторяет историю героини «Станционного смотрителя». Добровольное бегство из родительского дома, отчаяние отца, его попытки найти управу на обидчика, гнев — все это развернуто Достоевским в ряде эпизодов, посвященных Ихменеву и его горю, хотя завершается эта линия романа иначе, чем новелла Пушкина. Самсон Вырин спивается и умирает, убежденный в неминуемой гибели дочери. Ихменев, в конце концов простив Наташу, морально исцеляется от своих бед и горестей. [1]

Ряд интересных параллелей к роману содержит социально-авантюрный роман Е. П. Ковалевского «Петербург днем и ночью» (*БдЧт*, 1845, №№ 9—12) — один из первых опытов оригинального русского романа-фельетона из жизни социальных низов Петербурга, написанный под влиянием «Парижских тайн» Э. Сю и романов Диккенса. Достоевский мог читать этот роман Ковалевского в молодые годы и сохранить в памяти некоторые его детали. Значительное место в романе Ковалевского (как и в других социально-авантюрных романах 1840-х годов) занимает мотив раскрытия тайны происхождения одного из главных его героев Оборвыша; а другой

[1] См.: М. С. Альтман. Роман Белкина (Пушкин и Достоевский). «Звезда», 1936, № 9, стр. 195—204; М. С. Альтман. Блудная дочь. «Slavia», 1937, т. XIV, вып. 3, стр. 405—415.

персонаж Ковалевского — князь — может с достаточным основанием рассматриваться как отдаленный прообраз Валковского. Фигурирует в романе и художник по фамилии Миллер. В тех же номерах «Библиотеки для чтения», где печатался «Петербург днем и ночью», публиковался русский перевод романа Ж. Санд «Теверино»; поэтому номера эти не могли не привлечь к себе внимания будущего автора «Униженных и оскорбленных».

Значительную роль при разработке философско-этической концепции романа сыграли размышления Достоевского над драматургией молодого Шиллера с характерным для нее противопоставлением распущенности и аморализма аристократии, с одной стороны, нравственной стойкости и высоты бедных людей, с другой (индивидуалистическая философия Франца Моора в «Разбойниках», имеющая ряд точек совпадения с признаниями князя Валковского во время ужина с Иваном Петровичем в ресторане, образы президента фон Вальтера и семейства музыканта Миллера в «Коварстве и любви»; с этой последней драмой роман имеет и ряд сюжетных совпадений). В самом тексте «Униженных и оскорбленных» имя Шиллера как символ возвышенного, но отвлеченного, прекраснодушного отношения к жизни неоднократно всплывает в иронических репликах князя Валковского и Маслобоева, адресованных главному герою.[1] Другие литературные традиции — французской литературы XVIII в., Диккенса, Ж. Санд — подверглись в романе существенному переосмыслению. [2]

Особенно сложна была судьба тех образов европейских литератур, в соотношении с которыми создавался образ Нелли-Елены. Эта героиня Достоевского, при всем своеобразии ее психологического облика, представляет собой свободную вариацию на темы Гете—Диккенса. Нелли Трент из «Лавки древностей» Диккенса и ее предшественница Миньона из «Вильгельма Мейстера» Гете до известной степени определили общие контуры образа Нелли-Елены в «Униженных и оскорбленных». [3] С Миньоной Гете ее сближает порывистость, непосредственность реакций, пылкость чувств, сочетание наивности и недетского жизненного опыта. От Нелли Трент — ее преданность старику Смиту, ее заботы о нем, терпение, с которым она переносит его суровость. Героиня Достоевского имеет два имени, она и Нелли и Елена, ее жизнь проходит в «русской» и «западной» сферах романа, на водоразделе между ними и в соответствии с переменами ее судьбы она называет себя то своим русским, то «английским» именем.

Литература и жизнь в судьбе Ивана Петровича мешают друг другу, и не только потому, что хлопоты о счастье Наташи и судьбе Нелли отвлекают

---

[1] См. об этом: J. Meier-Graefe. Dostojewski der Dichter. Berlin, 1926, SS. 126—127; Л. М. Розенблюм. Роман Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». В кн.: Ф. М. Достоевский. Униженные и оскорбленные. Гослитиздат, М., 1955, стр. 20—21; *Фридлендер*, стр. 280—284; Н. Вильмонт. Достоевский и Шиллер. В кн.: Н. Вильмонт. Великие спутники. Изд. «Советский писатель», М., 1966, стр. 50—56.

[2] О психологическом сродстве образа Ивана Петровича с образами преданных, самоотверженных мужчин, готовых уступить любимую женщину менее достойному сопернику, в романах Ж. Санд см.: Б. Г. Реизов. О западном влиянии в творчестве Достоевского. Изв. Северо-Кавказского унив., 1927, т. I (XII), стр. 95—104; ср.: *РЛ*, 1972, № 2, стр. 68—72. Об отзвуках поэтики романов Э. Сю в изображении петербургского «дна» в «Униженных и оскорбленных» см.: В. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 274—278, 308—310. О соотношении образов князя Валковского и его любовницы-графини с образами развращенных аристократов в романах Луве де Кувре, Шодерло де Лакло, маркиза де Сада см.: Р. Г. Назиров. Трагедийное начало в романе Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». «Филологические науки», 1965, № 4, стр. 35—36.

[3] См.: Т. И. Сильман. Диккенс. Изд. «Художественная литература», М., 1970, стр. 142—145; История русского романа, т. 2. Изд. «Наука», М. — Л., 1964, стр. 198—199; И. М. Катарский. Диккенс в России. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 389—400.

Ивана Петровича от работы над «большим романом», которым он надеется восстановить свою литературную репутацию, не дают ему сосредоточиться над этой работой, заставляют заниматься «компиляцией» ради заработка. Столкновение с живыми характерами разрушает литературные схемы, под которые Иван Петрович склонен подводить новые жизненные впечатления. Так, увидев впервые старика Смита, Иван Петрович думает, «что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданью» (стр. 171). Дальнейший ход событий романа противоречит этим первым впечатлениям. Иеремия Смит ничем не похож на героев Гофмана, его характер и его судьба если и напоминают, то очень отдаленно и полемически некоторые персонажи Диккенса, а главное, трагедия Смита — вся по сю сторону, в сфере действительных материальных отношений и корыстных расчетов современного общества.

Основная этико-социальная проблема, над решением которой бьется Иван Петрович, — это проблема эгоизма. Проблема эта получила принципиально новую разработку для прогрессивной общественной и философской мысли на Западе в 1840-е годы в этическом учении Фейербаха, а в русской литературе и публицистике у Герцена и Белинского в 1840-е, у Чернышевского и Добролюбова во второй половине 1850-х годов. В этике разумного эгоизма Фейербаха с наибольшей полнотой и отчетливостью выразились революционно-демократические устремления буржуазной демократии в ее борьбе с абсолютистскими дворянскими монархиями (в Германии) и крепостнической монархией в России. Глубокий демократизм и революционная устремленность этики разумного эгоизма, разработанной как учение о воспитании борцов, участников ожидавшегося в России демократического переворота, обусловили ее историческое значение как наиболее последовательного домарксистского материалистического учения. В русской жизни в период общественного подъема конца 1850-х годов учение о разумном эгоизме как органическом слиянии «пользы» и «добра» объективно выполняло демократическую, революционно-воспитательную роль.

Достоевского проблема эгоизма занимала еще в конце 1840-х годов. Этой теме было посвящено еще одно из его выступлений у Петрашевского, произнесенное, вероятно, в связи с критикой анархо-индивидуалистической теории М. Штирнера.[1] В «Униженных и оскорбленных» Достоевский возвращается к теме критики индивидуалистического оправдания личности и ее своекорыстных притязаний, вкладывая в уста князя Валковского целую циническую философию жизни, близкую ко взглядам Штирнера.

Штирнерианство князя Валковского для Достоевского — крайнее выражение эгоизма. Ему в романе противостоит дух любви и братства «униженных и оскорбленных», ненавидящих своих оскорбителей, но в то же время полных любви сострадательной и прощающей по отношению к таким же, как они, униженным и оскорбленным.[2]

Эгоизм непосредственный, нерассуждающий представлен в романе Алешей; столь же органический эгоизм, но с элементами рационализма, изображенного иронически, присущ Кате. Столкновение эгоистических страстей, собственные рационалистические схемы, мешающие ему увидеть подлинную жизнь, — таковы препятствия, которые не может преодолеть Иван Петрович в стремлении помочь Ихменевым, Наташе, Нелли добиться мира и согласия между собой.

Характерной особенностью романа является обилие в нем конкретных, неповторимых примет Петербурга середины XIX в. Каждое из его поворотных событий приурочено к одному из реальных районов города, описанных с почти «физиологической» точностью. Перед нами угрюмый Вознесенский

---

[1] См.: *Бельчиков*, стр. 167; Н. Отверженный (Н. Г. Булычев). Штирнер и Достоевский. М., 1925.

[2] О философии Валковского как о своеобразной квинтэссенции буржуазной этики в понимании автора см. в статье Л. М. Розенблюм к отдельному изданию романа: Гослитиздат, М., 1955, стр. 15—16.

проспект, Шестилавочная улица (где жил еще герой «Двойника»), Литейный, Фонтанка, Шестая линия Васильевского острова с ее небольшими грязными деревянными домиками и т. д. Вся атмосфера романа напоена «петербургским» воздухом. Эта особенность стиля «Униженных и оскорбленных» получила дальнейшее развитие в «Преступлении и наказании», где также «фантастические» события и страсти рождаются среди грубой, «прозаической» обыденщины столичной жизни.

В лице князя Валковского Достоевский создал первый в своем творчестве — еще во многом несовершенный — образ героя-«идеолога», развивающего на страницах романа свою — внешне стройную и законченную — «философию жизни». Этим образ Валковского подготовил психологически более сложные и совершенные образы Человека из подполья, Раскольникова, Свидригайлова и других героев-«идеологов» Достоевского 1860—1870-х годов. Существенную роль для становления психологического метода романиста сыграла и работа над образами Нелли, Алеши, старика Ихменева, в психологии которых сложно совмещаются противоположные черты, обнажена внутренняя диалектика последних. Так, Нелли одновременно добра и зла, жаждет человеческого участия и ожесточена против людей, Алеша — наивный, простодушный ребенок и бесхарактерный эгоист, Ихменев обожает свою жену и дочь и в то же время безжалостен к ним.

Роман обозначил собой новую фазу в развитии Достоевского как художника, внимание которого привлекали по преимуществу объективно неразрешимые, трагические противоречия и коллизии тогдашней общественной жизни. Несмотря на бескорыстную самоотверженность и доброту Ивана Петровича, несмотря на стремление Ихменева противопоставить гуманизм и стойкость в страдании, объединяющие «униженных и оскорбленных», эгоизму и равнодушию аристократии и богачей, разъединяющим людей и отчуждающим их друг от друга, роман заканчивается крушением надежды на возможность личного счастья для главных героев, смертью Нелли и Ивана Петровича. Силы общественного зла и разобщения оказываются сильнее «униженных и оскорбленных», которые хотя и могут нравственно восторжествовать над ними, но не способны поколебать их власть в реальной, практической жизни.

Еще во время печатания романа в журнале о нем появились краткие, но положительные отзывы. Чернышевский, приветствовавший в статье «Новые периодические издания» (*С*, 1861, № 1, стр. 89—90) появление журнала братьев Достоевских, одобрительно отозвался о первых главах романа и особенно выделил из персонажей романа Наташу: «... это соединение гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, достаточно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительной ненавистью, — это странное соединение в действительности встречается у женщин часто» (*Чернышевский*, т. VII, стр. 951). Критик «Современника» сочувственно отметил психологическую глубину романа, художественную новизну в разработке нравственных проблем. С полярно противоположных позиций, но тоже положительно оценил эволюцию Достоевского, отразившуюся в его новом романе, Аполлон Григорьев. Отрицательно характеризовавший «сентиментальный натурализм» 1840-х годов, Григорьев нашел, что в «Униженных и оскорбленных» Достоевский сделал решительный шаг к преодолению традиций натуральной школы и гоголевского влияния: «При его жизни (Гоголя, — *ред.*) еще это слово раздалось скорбным и притом, в Достоевском, могущественным стоном сентиментального натурализма, стоном болезненным и напряженным, который, может быть, только теперь, в последнем произведении высокодаровитого автора „Двойника“, в „Униженных и оскорбленных“, переходит в раздумное и глубоко симпатическое слово» (А. Григорьев. Реализм и идеализм в нашей литературе (по поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева). «Светоч», 1861, № 4, отд. III, стр. 11). Об интересе читателей и критики к новому роману Достоевского, кроме частых упоминаний о нем в журналах разных направлений (см.: *СО*, 1861, № 18, стр. 519 и № 25, стр. 730, *РР*, 5 ноября, № 89, стр. 573—576), свидетельствуют слова

Добролюбова: «... едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою» (*Добролюбов*, т. VII, стр. 228).

К оценке романа в целом критика смогла приступить, когда публикация его в журнале была окончена. К этому времени журнал Достоевских включился в общественно-политические и литературные споры 1861 г., заявил о себе как орган «почвенничества» (*Фридлендер*, стр. 30—33; В. Я. К и р п о т и н. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 73—132), и это закономерно повлияло на оценку романа, который стал рассматриваться как одно из выражений общих идейных позиций журнала «Время».

Для журналов 1860-х годов, сочувственно относившихся к общей позиции почвеннического органа, было характерно утверждение художественных достоинств нового романа Достоевского, безусловного его превосходства над всем ранее им написанным. Так, критик «Сына отечества» полностью принимал то, что считал «главной идеей» романа, — пафос смирения, любви и всепрощения: «... по этой живости идеи, по тому благотворному влиянию, какое она может иметь на общество, мы и ставим высоко новое произведение г. Достоевского, мы ставим его ⟨...⟩ выше всех других его произведений. Там не так ясна была эта идея, не так понятна, здесь она прямей и откровенней ⟨...⟩ В „Бедных людях" только лишь затрогивались те вопросы, которые здесь раскрылись вполне» (А. Х и т р о в. «Униженные и оскорбленные». Роман в 4-х частях Ф. М. Достоевского. *СО*, 1861, № 37, стр. 1091). Столь же высоко названный критик оценил разработанную в романе новую манеру повествования: «Рассказ ведется так, что вы не можете заподозрить автора в какой-нибудь выдумке или сказать, что этого быть не может; напротив, вы видите как будто перед вашими глазами совершающееся, в котором как будто и сами принимаете участие ⟨...⟩ и судьба действующих лиц вас заинтересовывает до того, что вам непременно хочется проследить все дело до конца ⟨...⟩. В этом отношении „Униженные и оскорбленные" также далеко оставляют за собой все предыдущие произведения того же автора» (там же). В доказательство высокого совершенства нового романа Достоевского А. Хитров в том же номере «Сына отечества» привел рассказ Нелли целиком (*СО*, 1861, № 37, стр. 1089—1092).

В отличие от рецензента «Сына отечества» ряд критиков либерального и демократического лагеря упрекали автора в искусственности построения и «неестественности» развития действия романа. Тем не менее Г. А. Кушелев-Безбородко (*РСл*, 1861, № 9, стр. 35—49), не найдя в романе «развития важной социальной идеи», которую обещало «само название», писал: «...несмотря на все ⟨...⟩ неестественные положения, несмотря на то что тотчас же читатель видит ясно, как всё это натянуто, придумано, продолжает читать этот роман и читает, может быть, с увлечением: причина тому единственная — самый способ рассказа» (там же, стр. 45). И далее критик проницательно указал на отличие художественной манеры Достоевского от большинства его современников: «Ф. Достоевский еще раз нам в этом романе доказал свое несомненное и, можно сказать, неподражаемое искусство рассказывать; у него свой оригинальный рассказ, свой оборот фраз, совершенно своеобразный и полный художественности. Фразы его не так отделаны, не так копотно и тщательно выглажены, как у Гончарова; описания его не так поэтичны, не так полны художественных мелочей, подробностей, которые воскрешают целый мир, целый образ картины, как у Тургенева; обрисовка лиц его не так резко и рельефно очерчена, как у Писемского; но своеобразный слог Ф. Достоевского никак не уступит этим трем писателям. Его рассказ — не описание, а именно рассказ, заманчивый донельзя» (там же).

Об увлекательности «Униженных и оскорбленных», несмотря на «недостатки» построения романа, писала и Евгения Тур: «... „Униженные и оскорбленные" не выдерживают ни малейшей художественной критики; это произведение преисполнено недостатков, несообразностей, запутанности в содержании и завязке и, несмотря на то, читается с большим удовольствием. Многие страницы написаны с изумительным знанием человеческого сердца, другие с неподдельным чувством, вызывающим еще более сильное чувство из души читателя. Внешний интерес не падает до самой последней строки ⟨...⟩

заманчивой, волшебной сказки г-на Достоевского» (*РР*, 1861, 5 ноября, № 89, стр. 576). Единственное удачное исключение среди прочих персонажей романа, «недовольно ярко» обрисованных, это, по мнению Е. Тур, князь Валковский — «самый выпуклый, самый цельный, самый верный жизни и действительности характер» (там же, стр. 574).

Наиболее принципиальную и глубокую оценку в критике 1860-х годов роман Достоевского получил в статье Добролюбова «Забитые люди» (*С*, 1861, № 9, отд. II, стр. 99—149). Добролюбов поставил перед собой цель подытожить все сделанное Достоевским к этому времени, проследить его творческий путь и определить, в какой мере сбылось предсказание Белинского, сделанное в 1846 г., о том, что Достоевский достигнет «апогея своей славы» тогда, когда забудутся многие таланты, «которых будут противопоставлять ему».

Статья Добролюбова была первым в русской критике глубоким и обстоятельным обзором идейно-художественного развития Достоевского и свидетельствовала о том, что «Современник», несмотря на намечающиеся уже серьезные разногласия с журналом «Время», считает Достоевского одним из замечательнейших деятелей нашей литературы.

Добролюбов вслед за Белинским отводит самое почетное место Достоевскому в «гуманическом» направлении литературы 1840-х годов, имея в виду социалистические идеи, разделявшиеся молодым Достоевским: «В забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушимые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души запрятанный протест личности против внешнего, насильственного давления и представляет его на наш суд и сочувствие» (*Добролюбов*, т. VII, стр. 248). Добролюбов положительно оценил и разработку характеров некоторых персонажей: «В романе очень много живых, хорошо отделанных частностей, герой романа хотя и метит в мелодраму, но по местам выходит недурен, характер маленькой Нелли обрисован положительно хорошо, очень живо и натурально очеркнут также и характер старика Ихменева» (там же, стр. 230). Образ Ивана Петровича критик считает художественной неудачей: «Перед нами просто автор, неловко взявший известную форму рассказа, не подумав о том, какие она на него налагает обязанности. Оттого тон рассказа решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который, по сущности дела, должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то вроде наперсника старинных трагедий» (там же, стр. 232). Добролюбову представляется неправдоподобной и психологически не мотивированной любовь Наташи к Алеше; осуждает критик и то, что «во всем романе действующие лица говорят, как автор; они употребляют его любимые слова, его обороты; у них такой же склад фразы» (там же, стр. 236). То, что Добролюбов считал «невыдержанностью» характеров в «Униженных и оскорбленных», имело принципиальный характер: вместо привычного уже для реализма Гоголя и писателей натуральной школы 1840—1850-х годов по преимуществу социального обоснования характеров Достоевский применил в «Униженных и оскорбленных» новую для себя и для литературы своего времени идеологическую мотивировку психологии героев, поведения персонажей. Именно поэтому образ князя Валковского, в основе которого лежит идея эгоизма, Добролюбов осудил, так как не находил в романе необходимого, с его точки зрения, художественного объяснения: «Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему, наконец, верит? А если ничему не верит, если у него душа совсем вынута, то каким образом и при каких посредствах произошел этот любопытный процесс?.. Мы знаем, например, как Чичиков и Плюшкин дошли до своего настоящего характера, даже знаем отчасти, как обленился Илья Ильич Обломов» (там же, стр. 235—236). Новая система мотивировок, примененная Достоевским в «Униженных и оскорбленных», еще не была разработана писателем с достаточной убедительностью. Поэтому критикам «Униженных и оскорбленных» художественное открытие Достоевского могло показаться лишь неоправданным отступлением от его прежней художественной манеры, отходом от принципов «гуманического направления»,

В фельетонности и книжности упрекали «Униженных и оскорбленных» и самые близкие Достоевскому критики — сотрудники «Времени». В письме к Н. Н. Страхову от 12 августа 1861 г., которое несомненно было обращено ко всей редакции журнала, Аполлон Григорьев писал: «Что за смесь удивительной силы чувства и *детских* нелепостей роман Достоевского? Что за безобразие и фальшь — беседа с князем в ресторане (князь — это просто книжка!). Что за детство, т. е. детское сочинение, княжна Катя и Алеша! Сколько резонерства в Наташе и какая глубина создания Нелли! Вообще, что за мощь всего мечтательного и исключительного и что за незнание жизни!» (А. А. Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. В. Княжнина. Пгр., 1917, стр. 274). В этой оценке Григорьева, первоначально приветствовавшего идеологический пафос «Униженных и оскорбленных», как бы сконцентрировались все те упреки, с которыми обращались к романисту критики самых разных направлений.

Появление в журнале «Эпоха» в тексте «Воспоминаний об Аполлоне Александровиче Григорьеве» Н. Н. Страхова выдержки из письма Григорьева Страхову, где говорилось, что редакции «Времени» следовало «не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности» (1864, № 9, стр. 9), дало повод писателю через три года после выхода романа высказать свое мнение об «Униженных и оскорбленных». В специальном примечании к этому месту статьи Н. Н. Страхова Достоевский солидаризовался с оценкой «Униженных и оскорбленных» как романа-фельетона: «В этом письме Григорьева, очевидно, говорится о романе моем „Униженные и оскорбленные“ 〈...〉 Если я написал фельетонный роман (в чем сознаюсь совершенно), то виноват в этом я, и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так написал всё, что издано мною, кроме повести „Бедные люди“ и некоторых глав из „Мертвого дома“〈...〉 Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и *выноска* идей в уме и в душе). В то время, как я писал, я, разумеется, в жару работы этого не сознавал, а только разве предчувствовал 〈...〉 Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь. Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики» (см. наст. изд., т. XIX).

Из приведенных слов Достоевского видно, что он не отвергал указания на сходство построения и повествовательной манеры «Униженных и оскорбленных» с построением «фельетонного романа», т. е. с техникой, композицией и сюжетосложением романа-фельетона, печатавшегося на газетных столбцах и разрабатывавшегося во французской литературе 1840-х годов по преимуществу писателями, разделявшими критические и филантропические идеи утопического социализма. Но в отличие от своих критиков, подходивших к оценке «фельетонного романа» с позиций традиционной романтической эстетики и упрекавших его за обращение к этому «низкому», с их точки зрения, виду романа, Достоевский признавал жанр романа-фельетона закономерным явлением современной реалистической литературы и стремился насытить его глубоким психологическим, нравственным и социальным содержанием (см.: *Фридлендер*, стр. 126—132).

Статья Добролюбова вызвала ответное полемическое выступление во враждебной «Современнику» «Библиотеке для чтения» (1862, №№ 1 и 2. Статья «Небывалые люди» за подписью З-н (Е. Ф. Зарин)). В статье Зарина, написанной после смерти Добролюбова и проникнутой стремлением всячески приуменьшить общественное значение деятельности критика, роману Достоевского уделено меньше половины ее общего объема. Зарин считает, что Достоевский написал свой роман, соблазнившись успехом повести Авдеева «Подводный камень» (1860), и что весь смысл романа сводится к женскому вопросу: «В намерении нашего романиста было — сделаться адвокатом самостоятельности (émancipation) женщин, хотя в действительности он исполнил роль совершенно противоположную» (*БдЧт*, 1862, № 1, стр. 48).

Самую проблему эмансипации женщины Зарин считает злонамеренной выдумкой и находит, что основная линия романа — история любви Наташи

Ихменевой к Алеше Валковскому — невозможна в действительности, неестественна по своему литературному выполнению.

Характерно, что Зарин, при всей своей откровенной ненависти к Добролюбову, повторяет некоторые его суждения о романе. В статье Добролюбова содержалось так много верных и обоснованных оценок «Униженных и оскорбленных», что вся позднейшая русская критика, когда высказывалась о романе Достоевского, неизбежно вспоминала статью Добролюбова, а самое название ее «Забитые люди» стало нарицательным обозначением для персонажей Достоевского вообще.

О. Ф. Миллер, историк литературы и критик, близкий по своим взглядам к почвенничеству и лично общавшийся с Достоевским, присоединяется к Добролюбову в оценке «Униженных и оскорбленных»: «Недостатки этого романа, которых действительно много, — неестественность постоянной любви Наташи к этому отвратительному барчонку-вертопраху — плаксе Алеше, неестественность потакательства им обоим Ивана Петровича, отсутствие разнообразия в языке действующих лиц, оказывающемся как бы сплошь языком самого автора, — всё это указано Добролюбовым» (О. Миллер. Русская литература после Гоголя (за исключением драматической). Публичные лекции. СПб., 1874, стр. 45). Все эти недостатки романа, по его мнению, искупаются образом «маленькой Нелли», в котором он видит не «забитость», а способность к сопротивлению, столь редкую у персонажей ранних произведений Достоевского (там же, стр. 45—47).

Через двадцать лет после появления статьи Добролюбова критик журнала «Дело» озаглавил свою статью о «Братьях Карамазовых» как напоминание о ней: «Новые типы „Забитых людей"». В этой статье содержится указание на большой читательский успех «Униженных и оскорбленных»: «Ими буквально зачитывались, заурядная публика приветствовала автора восторженными рукоплесканиями; критика в лице своего гениальнейшего и авторитетнейшего представителя, в лице Добролюбова (посвятившего одну из самых лучших и блестящих своих статей, «Забитые люди», роману «Униженные и оскорбленные»), отнеслась к нему (Достоевскому, — *ред.*) в высшей степени сочувственно и еще более упрочила за ним лестную репутацию, которую создал ему Белинский» («Дело», 1881, № 2, отд. II, стр. 8—9).

В статье «Забитые люди» Добролюбов указал на два, по его мнению, самых существенных недостатка стиля «Униженных и оскорбленных»: пространность и риторичность монологов персонажей и назойливое повторение уменьшительного обращения «голубчик». При подготовке первого отдельного издания романа Достоевский существенно сократил монологи Валковского, а одну из речей Наташи, приведенную в статье Добролюбова как образец немыслимого в устах молодой девушки ораторского пафоса, выбросил целиком, равно как и обращение «голубчик», замененное в 20 случаях другими словами или выражениями (см. раздел «Варианты»). Достоевский постарался также (о чем отчасти уже говорилось выше) освободить текст романа от эмоциональных преувеличений при изображении жестов и поступков: исключены обмороки у героинь и слезы у персонажей мужского пола, выброшены производившие на часть читателей комическое впечатление реплики Кати и Алеши о жизни «втроем», о «благородных ощущениях» в сердце и т. д.

Из позднейших отзывов современников о романе наиболее важен отзыв Л. Н. Толстого в письме к Н. Н. Страхову от 5—10 (?) февраля 1881 г.: «На днях, до его (Достоевского, — *ред.*) смерти, я прочел „Униженные и оскорбленные" и умилялся» (*Толстой*, т. 63, стр. 43).

Существует несколько переделок «Униженных и оскорбленных» для сцены (П. А. Черкасова, Л. А. Желябужского и других — список этих инсценировок см.: «Достоевский». Однодневная газета Русского библиологического общества, 1921, 30 октября (12 ноября), стр. 29).

Прижизненных переводов «Униженных и оскорбленных» на иностранные языки не было. В год смерти писателя вышел шведский перевод (Kränkning och Förödmjukeise. Helsingfors, 1881). Тогда же в петербургской газете был напечатан первый французский перевод («Journal de St.- Petersbourg», 1881, août—décembre). Во Франции же, раньше, чем в других странах, вышло пер-

вое отдельное издание романа (Humiliés et Offensés, par Th. Dostoievsky. Traduit de russe par Ed. Humbert. Paris, 1884). Первый немецкий перевод вышел в 1885 г., английский, голландский и датский — в 1886 г., болгарский — в 1888, венгерский — в 1889 г.

Стр. 169. *Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат...* — Закатный солнечный луч — образ, повторяющийся во многих произведениях Достоевского (см.: С. Н. Дурылин. Об одном символе у Достоевского. В сб.: Достоевский. ГАХН, М., 1928, стр. 170—173).

Стр. 171. *...Мефистофель в собачьем виде...* — У Гете в «Фаусте» Мефистофель впервые является герою в виде черного пуделя (см.: «Фауст», 1-я часть, сцены «У ворот» и «Рабочая комната Фауста»).

Стр. 171. *...как-нибудь выкарабкались ∾ иллюстрированного Гаварни.* — Гаварни, Поль (Gavarni, 1804—1866) — популярный в 1830—1850-х годах французский художник-рисовальщик и литограф. Известность получил, в частности, как иллюстратор писателей-романтиков. С его рисунками «Фантастические повести Гофмана» вышли во французском переводе в Париже в 1846 г.

Стр. 172. *...трещал августин...* — имеется в виду распространенная немецкая песня «Мой милый Августин» («Ach, du lieber Augustin») на мотив вальса, воспринимавшаяся Достоевским как типичное выражение духа немецкого мещанства с его пошлой сентиментальностью (ср. стр. 436). В романе «Бесы» победа «Августина» над «Марсельезой» использована в пародийной музыкальной интерпретации франко-прусской войны (см.: *Гозенпуд*, стр. 112—123).

Стр. 172. *Я взял франкфуртскую газету...* — По-видимому, имеется в виду «Франкфуртер гешефтсберихт» — немецкая ежедневная газета, выходившая во Франкфурте-на-Майне; основана в 1856 г.

Стр. 172 *...еще какой-нибудь виц ∾ немецкого остроумца Сафира...* — Виц (нем. Witz) — шутка; шарфзин (нем. Sharfsinn) — острота. Сафир, Мориц Готлиб (Saphir, 1795—1858) — немецкий писатель-юморист. Достоевский почти дословно воспроизвел название русского издания его сочинений: «Остроты и анекдоты знаменитого юмориста М. Г. Сафира» (СПб., 1845).

Стр. 173. «*Dorfbarbier*» — «Деревенский брадобрей» — немецкий юмористический журнал, издававшийся в Лейпциге с 1844 г. Фердинандом Штолле; с 1852 г. издавался под названием «Der illustrierte Dorfbarbier» («Иллюстрированный деревенский брадобрей»).

Стр. 175 *Швернот! вас-фюр- эйне-гешихте!* (нем. Schwernot! Was für eine Geschichte!). — Вот беда! что за история!

Стр. 178. «*Детское чтение*» — «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789) — первый русский журнал для детей и юношества; издатель — Н. И. Новиков. Значительная часть напечатанных в нем повестей переведена Н. М. Карамзиным. Эпизод совместного чтения Ваней и Наташей новиковского журнала восходит, по-видимому, к воспоминаниям о детских годах писателя (ср.: *Достоевский, А. М.*, стр. 68—69).

Стр. 178. *...читать «Альфонса и Далинду»...* — «Альфонс и Далинда, или Волшебство искусства и натуры» — сентиментально-нравоучительная повесть, напечатанная в «Детском чтении» (1787, чч. 11 и 12, в переводе Н. М. Карамзина). Достоевский цитирует ее первые строки («Детское чтение», 1787, ч. 11, стр. 49).

Стр. 181. *...«голяк — потомок отрасли старинной».* — Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Княгиня», впервые напечатанного в «Современнике» (1856, № 4).

Стр. 186. *... я кончил мой первый роман ∾ моя литературная карьера...* — Достоевский закончил роман «Бедные люди» в мае 1845 г.

Стр. 186. *...все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей...* — См. комментарий к «Бедным людям» в наст. изд. (т. I, стр. 465—466).

Стр. 186. *Б.* — В. Г. Белинский.

Стр. 186. *Если я был счастлив ∾ над незатейливым героем моим.* — Подробнее об этом Достоевский написал позднее, в «Дневнике писателя» (1877, январь, глава II: «Старые воспоминания»).

Стр. 187. *...я ободрял его ∾ про Пушкина, про Гоголя.* — А. П. Сумароков имел чин действительного статского советника, что соответствовало первому генеральскому званию военной службы. Г. Р. Державин получил от Екатерины II в награду за оду «Фелица» золотую с бриллиантами табакерку и пятьсот червонцев. Екатерина II посетила лабораторию Ломоносова в его доме 7 июня 1764 г.

Стр. 188. *...коллежский советник из правоведов...* — Коллежский советник — чин шестого класса по табели о рангах; правовед — выпускник училища правоведения, созданного в 1835 г. для подготовки юристов только из числа потомственных дворян.

Стр. 188. *...вроде Рославлева или Юрия Милославского...* — Имеются в виду герои исторических романов М. Н. Загоскина (1789—1852) «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) и «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), которые входили в круг домашнего чтения в доме родителей Достоевского (см.: *Достоевский, А. М.*, стр. 69).

Стр. 188. *...выставлен какой-то маленький ∾ пуговицы на вицмундире обсыпались...* — Имеется в виду Макар Девушкин, главный герой первого романа Достоевского «Бедные люди» (см. выше, стр. 523).

Стр. 189. *...самый забитый, последний ∾ называется брат мой!* — Ихменев повторяет слова Белинского о Достоевском — авторе «Бедных людей» из статьи о «Петербургском сборнике» (*Белинский*, т. IX, стр. 554).

Стр. 189. *«Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»* — Слова городничего из комедии Гоголя «Ревизор» (д. I, явл. 1).

Стр. 189. *«Освобождение Москвы».* — См. примеч. к стр. 12.

Стр. 189. *А что, брат, ведь и второе издание, чай, будет?* — Второе (после журнального), отдельное издание «Бедных людей» вышло в 1847 г.

Стр. 189. *...Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан.* — Н. В. Гоголь, живший в Италии, получал с 1845 г. от Николая I по ходатайству А. О. Смирновой и В. А. Жуковского денежное пособие в 3000 рублей, по тысяче в год (*Гоголь*, т. XII, стр. 675).

Стр. 190. *Камергер* — придворное звание.

Стр. 190. *За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья...* — См. примеч. к стр. 189.

Стр. 190. *...в Альнаскары записался...* — Альнаскаров — отставной мичман, персонаж комедии Н. И. Хмельницкого (1789—1845) «Воздушные замки» (1818); имя его стало нарицательным для обозначения легковерного мечтателя.

Стр. 190. *Эдак, знаешь, бледные они ∾ я это в «Аббаддонне» читал...* — «Аббаддонна» (1834) — роман Н. А. Полевого; герой его Вильгельм Рейхенбах наделен внешностью, соответствующей шаблонному представлению романтиков о непризнанном толпой поэте-мечтателе.

Стр. 191. *«Северный трутень»* — «Северная пчела» — газета, издававшаяся в Петербурге Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным; в 1830—1840-е годы — орган общественной и литературной реакции, систематически травила В. Г. Белинского и натуральную школу 1840-х годов.

Стр. 191. *Ты, положим, талант ∾ а так, просто талант...* — Близкое воспроизведение слов Белинского из статьи «Современные заметки» (*С*, 1846, № 2): «Никто из людей с умом и со вкусом не станет отрицать в Достоевском таланта, даже замечательного, стало быть, весь вопрос только в степени и объеме таланта» (*Белинский*, т. X, стр. 180).

Стр. 191. *...читал на тебя эту критику в «Трутне»...* — По-видимому, имеется в виду статья Я. Я. Я. (Л. В. Бранта) в «Северной пчеле» (1846, 30 января, № 25). См. об этом наст. изд., т. I, стр. 471.

Стр. 201. *Вот он!* — Реплика Ивана Петровича и вся сцена свидания повторяет сходную ситуацию в повести Достоевского «Белые ночи» — Ночь четвертая (наст. изд., т. II, стр. 139).

С т р. 203. *...наши лицейские...* — Александровский (Царскосельский) лицей (основан в 1811 г.) — закрытое высшее учебное заведение, с 1848 г. готовил «благородное юношество для гражданской службы».

С т р. 204. *Сюжет я взял из одной комедии Скриба...* — Скриб, Огюстен-Эжен (1791—1861), французский драматург, плодовитый и популярный автор водевилей и комедий, мастер сценической интриги; Достоевский отрицательно охарактеризовал его театр как выражение идеалов и вкусов французской буржуазной публики в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863).

С т р. 212. *Да ведь он уже умер, в чахотке.* — Белинский умер от туберкулеза 28 мая 1848 г. Достоевский в тот же день пришел к С. Д. Яновскому и сообщил ему: «Батенька, великое горе свершилось, — Белинский умер» (*Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 52).

С т р. 212. *...оставил что-нибудь жене и детям?* — Белинский оставил свою семью совершенно без всяких средств к существованию. А. В. Орлова писала в своих воспоминаниях: «Весной, перед смертью Белинского, денег в доме совсем не было. За квартиру и прислуге за несколько месяцев не заплачено; пришлось еще при жизни его продать рубашки, что он привез из-за границы» (В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. Гослитиздат, М., 1962, стр. 594).

С т р. 212. *Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке вставал памятник...* — Памятник Николаю I (работы П. К. Клодта), поставленный на Исаакиевской площади в Петербурге в 1859 г.

С т р. 218. *...еще при Иване Васильевиче Грозном ∾ и в истории Карамзина упомянуто.* — Сведения о происхождении Ихменевых и Шумиловых вымышлены, упоминаний о них в «Истории государства Российского» Карамзина и других названных источниках не обнаружено.

С т р. 218. *В иезуиты ∾ записался?* — Иезуиты — реакционный воинствующий монашеский орден, основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой и действовавший «во славу» католической церкви при помощи тайных интриг и искусной пропаганды. В России с 1820 г. деятельность иезуитов была запрещена. Переход в католичество под влиянием иезуитских проповедников был довольно частым явлением среди русской аристократии в 1830—1840-х годах, ближайшим образом Достоевский мог иметь в виду судьбу князя И. С. Гагарина (1814—1882), в 1843 г. перешедшего в католичество и вступившего в орден иезуитов. Позднее эта тема перехода в католицизм родовитого русского барина возникает у Достоевского в «Идиоте».

С т р. 227. *Улеглася метелица; путь озарен...* — Из стихотворения Я. П. Полонского «Колокольчик», впервые напечатанного в «Современнике» (1854, № 7). Текст приведен по изданию: Стихотворения Я. П. Полонского. СПб., 1855, стр. 68.

С т р. 231. *Сплеча-то и можно бы ∾ без мрачного направления...* — Подобные мысли часто встречаются в письмах Достоевского 1850-х годов из Семипалатинска.

С т р. 233. *...ты ведь ходишь иногда на вечера к князю Р***...* — После успеха «Бедных людей» Достоевского усиленно приглашали в светские салоны Петербурга. В частности, он стал бывать у князя В. Ф. Одоевского и графа М. Ю. Виельгорского.

С т р. 235. *...как гоголевскому мичману* — Жевакин в «Женитьбе» Гоголя рассказывает о смешливом мичмане Петухове (д. II, явл. VIII).

С т р. 236. *...скорее Лиссабон провалится...* — Имеется в виду лиссабонское землетрясение 1755 г., уничтожившее две трети города; за пять минут погибло 60 000 человек. Вольтер воспользовался темой лиссабонского землетрясения в «Поэме на разрушение Лиссабона» (1756) и в повести «Кандид» (1759) для выражения философской идеи сомнения в благости «творца»; поэтому тема эта горячо интересовала Достоевского; о лиссабонском землетрясении Достоевский писал в статье «Г.—бов и вопрос об искусстве» (*Вр*, 1861, № 2, стр. 171—173).

С т р. 237. *...tiers état c'est l'essentiel...* — Перефразированные знаменитые слова аббата Сийэса из его брошюры «Что такое третье сословие?»,

вышедшей в 1789 г., накануне французской революции, и предвещавшей приход буржуазии к власти (слова эти Достоевский вспоминает также в «Зимних заметках о летних впечатлениях»).

Стр. 238. *Ротшильд.* — Имеется в виду банкирский дом Ротшильдов, в середине XIX в. бывший кредитором ряда европейских государств. В романах Достоевского 1860—1870-х годов («Идиот», «Подросток») имя Ротшильда получило символическое значение как выражение идеи могущества богатства и денег.

Стр. 240. *...что-то вроде «обмокни», как у Гоголя...* — В драматическом отрывке Н. В. Гоголя «Тяжба» больная помещица в завещании вместо «Евдокия» подписалась «Обмокни» (сц. III).

Стр. 240. *Куртизанить* (от франц. courtiser) — ухаживать, угодничать.

Стр. 256. *...первого попавшегося ваньку на скверной гитаре...* — Ванька— извозчик; гитара — здесь: экипаж.

Стр. 258. *...одетая как мещанка, в головке и в зеленой шали...* — Головка — здесь: женская головная повязка.

Стр. 259. *Не делай своего хорошего, а делай мое дурное...* — См. запись в «Сибирской тетради» под № 283 (наст. изд., т. IV).

Стр. 260. *Частный пристав* — начальник полицейской части.

Стр. 263. *Дюссо* — содержатель французского ресторана в Петербурге.

Стр. 264. *...по откупам...* — Откупа — система продажи спиртных напитков, когда подрядчики берут у государства эту продажу на откуп, т. е. за определенную плату, которая вносится вперед.

Стр. 264. *Он в поддевке, правда в бархатной, и похож на славянофила...* — В середине 1840-х годов К. С. Аксаков, один из теоретиков славянофильства, стал носить русский костюм и бороду.

Стр. 264. *Английский клуб* — название дворянских клубов в Петербурге (основан в 1770 г.) и в Москве (с 1802 г.), с ограниченным количеством членов и трудными условиями приема.

Стр. 265. *...зубрили Корнелия Непота!* — Корнелий Непот (ок. 99— после 32 г. до н. э.) — римский историк; его сочинения входили в гимназический курс латинского языка.

Стр. 265. *Я хоть и в саже, да никого не гаже.* — См. запись в «Сибирской тетради», под № 452 (наст. изд., т. IV).

Стр. 265. *...про твоего первенца говорю.* — Имеются в виду «Бедные люди».

Стр. 265. *Крючок* — здесь: продажный делец.

Стр. 266. *Фридрих Барбаруса* — Фридрих I Барбаросса, германский император (1152—1190), образ которого идеализирован средневековыми преданиями.

Стр. 266. *Антрепренер* — здесь: издатель.

Стр. 266. *Je prends mon bien, où je le trouve* ∞ *похож на Мольера.* — Традиция приписывает Мольеру эту крылатую фразу (см.: Grimarest. Vie de Molière. Paris, 1724, p. 14). О происхождении ее ср.: O. Guerlac. Les citations françaises. Paris, 1961, p. 67.

Стр. 267. *...частными комиссиями занимаюсь...* — Комиссия — здесь: поручение.

Стр. 274. *...машерочек нет ли?* — От франц. ma chère — моя дорогая.

Стр. 275. *...из политики дело-с.* — Политика — здесь: тонкое, вежливое обхождение.

Стр. 275. *...а с киксом...* — Кикс (от англ. kick — удар) — здесь: совершенство.

Стр. 277. *...огромный Станислав, качавшийся у него на шее.* — Орден Станислава II степени носили на шее.

Стр. 290. *... к барьеру...* — Команда, вызывающая участников дуэли на позицию для выстрела.

Стр. 291. *...неужели она перешагнет через наш барьер, а может быть, через мой труп и пойдет с сыном моего убийцы к венцу, как дочь того царя (помнишь, у нас была книжка, по которой ты учился читать), которая переехала через труп своего отца в колеснице?* — В I книге «Истории от осно-

вания Рима» римского историка Тита Ливия (99 г. до н. э. — 17 г. н. э.) рассказывается об убийстве римского царя Сервия Туллия. После того, как он был свергнут Тарквинием и убит по его повелению, а труп свергнутого царя брошен на улице, его дочь Туллия, возвращавшаяся с форума домой после провозглашения своего мужа Тарквиния царем, проехала на своей колеснице по трупу отца так, что кровавые следы остались на всем ее пути (Histoire romaine de Tite Live, t. I. Paris, 1830, p. 153—157; Тит Ливий. История от основания Рима. В кн.: Историки Рима, изд. «Художественная литература», М., 1970, стр. 184—186).

Стр. 300. *Мрачная это была история* ∾ *бессмысленной и ненормальной жизни...* — Достоевский воспроизвел слова Э. И. Губера из его статьи «Русская литература в 1846 году» (см. наст. изд., т. I, стр. 476).

Стр. 308 ... *Левенька и Боренька...* — См. выше, стр. 523—524.

Стр. 309—310. *Не далее как вчера* ∾ *есть уже не дурак!* — Эта фраза Безмыгина пародирует, возможно, стиль некоторых выражений Добролюбова (ср., например: «Только принятие пищи может утолить голод» — *Добролюбов*, т. VI, стр. 308).

Стр. 324. *Зачем, зачем он умер?* — Имеется в виду смерть сына чиновника Покровского в «Бедных людях» (см. наст. изд., т. I, стр. 44).

Стр. 324. *...и они-то...девушка и старичок* ∾ *И не будут бедные?* — Нелли спрашивает о судьбе Вареньки Доброселовой и Макара Девушкина («Бедные люди»).

Стр. 329. *Это, кажется, где-то у Толстого* ∾ *в которых местоимения.* — Имеется в виду эпизод из «Детства» Л. Н. Толстого (глава XXIII, «После мазурки»). В 1856 г. «Детство» и «Отрочество» были изданы в составе одной книги.

Стр. 330. *...томпаковый самовар...* — Томпак — сплав меди с цинком.

Стр. 330. *Лафит* — красное французское вино, производится вблизи г. Бордо; *сотерн* — белое французское сухое вино, производится там же.

Стр. 335. *...бог знает какие парижские тайны...* — См. выше, стр. 525—526.

Стр. 336. *Санта-фе-де-Богота* — столица Колумбии, ныне — Богота.

Стр. 336. *...фюрстентум Нассау...* — Герцогство Нассау, небольшое самостоятельное германское государство. С 1866 г. вошло в состав Пруссии.

Стр. 337. *Шлык* — шапка, колпак.

Стр. 345. *...о начинающихся реформах...* — Речь идет о подготовке отмены крепостного права, введении гласного судопроизводства, новом цензурном уставе и других вопросах, широко обсуждавшихся в русской печати 1858—1860 гг.

Стр. 354. *В Большую Морскую, к Б.*—Б.— ресторан Бореля в Петербурге.

Стр. 355. *У вас там теперь всё* ∾ *и раскольничий быт...* — Потерянные шинели — «Шинель» (1842) Гоголя; ревизоры, задорные офицеры, раскольничий быт — персонажи и темы «Губернских очерков» (1857) Щедрина; «Старые годы» — Повесть П. И. Мельникова-Печерского (1857).

Стр. 358. *...что за охота вам* ∾ *в жизни ролью второго лица...* — В романе И. С. Тургенева «Накануне» (гл. I) Берсенев говорит: «А мне кажется, поставить себя номером вторым — всё назначение нашей жизни» (*Тургенев, Сочинения*, т. VIII, стр. 14).

Стр. 358. *Он производил на меня* ∾ *какого-то огромного паука...* — Подобное сравнение жестокого и развратного человека с пауком есть у Достоевского в «Записках из Мертвого дома» (ч. I, глава III. Первые впечатления. — Наст. изд., т. IV) и в статье «Ответ „Русскому вестнику"» (1861; наст. изд., т. XVIII). Паук стал в творчестве Достоевского символом, обозначающим жестокое сладострастие. См. о смысле и функциях этого символа в статье: R. Matlaw. Recurrent Imagery in Dostoevskij. Harvard Slavic Studies, Cambridge Mass., 1957, vol. 3, p. 201—225.

Стр. 359. *Тон полишинеля* — шутовской тон. Полишинель (от итал. Pulcinella — цыпленочек) — персонаж кукольного народного театра, остряк и весельчак.

Стр. 364. *Абесса* — настоятельница женского монастыря.

С т р. 364. *Маркиз де Сад* — литературное имя графа Донасьена де Сада (1740—1814), французского писателя, автора эротических романов, где изображен разврат, соединенный с жестокостью. Достоевский упоминает о де Саде также в «Бесах».

С т р. 367. *...терпеть не могу пасторалей...* — Пастораль — здесь: идиллия, сентиментальная чувствительность.

С т р. 372. *Ирритация* (франц. irritation) — раздражение.

С т р. 394. *Забежная ступенька* — первая ступенька каждого марша лестницы.

С т р. 423. *Повесть моя совершенно* ∾ *у себя в руках таких денег.* — Имеются в виду отношения Достоевского с А. А. Краевским.

С т р. 423—424. *Смотрю: это статья «переписчика»* ∾ *что становится приторно.* — См. примеч. к стр. 70, а также: наст. изд., т. II, стр. 500.

С т р. 426. *Вон С***, тот в два года* ∾ *только один роман написал.* — Вероятно, имеются в виду Л. Н. Толстой, печатавший в 1850-х годах с интервалом в два года части своей автобиографической трилогии, и Гончаров, писавший «Обломова» десять лет, с 1849 по 1859 г. Жалобы на необходимость торопиться и делать срочную литературную работу часто встречаются в письмах Достоевского. Так, он писал С. А. Ивановой в 1870 г.: «Верите ли, я знаю наверно, что, будь у меня обеспечено два-три года для этого романа, как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой сто лет спустя говорили бы!»

С т р. 436. *...о мейн либер Августине.* — См. примеч. к стр. 172.

С т р. 436. *...о Виланде...* — Виланд, Кристоф-Мартин (1733—1813) — немецкий писатель-классик, автор сказочной рыцарско-романтической поэмы «Оберон» (1780).

С т р. 440. *Морген-фри* — см. примеч. к стр. 27.

НОВЫЕ ИДЕИ РОМАНОВ, ДРАМ, ПОВЕСТЕЙ

(Стр. 443)

Печатается по черновому автографу: *ГБЛ*, ф. 93, I, 3, 1, лл. 1—2. Впервые опубликовано Н. Л. Бродским в газете «Московский понедельник», 1922, 28 августа, № 11, за исключением записи «N3. Сцена капитальная ∾ убедительных слов и она...»

В собрание сочинений включается впервые.

1

Наброски планов повести, на второй странице получившей название «Весенняя любовь», записаны в разное время. Переделка первоначальной даты «23 июня» на «23 ноября» вызвана была, по-видимому, тем, что основная часть записей была сделана 23 ноября и 7 января (другими чернилами), а 23 июня был зафиксирован только самый первоначальный проект плана.

Хотя в рукописи год не указан, определяется он точно. Характеристика героини будущей повести «без *своих слов*» восходит непосредственно к роману Тургенева «Дворянское гнездо», где в XXVI главе Лиза Калитина говорит: «А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, *своих* слов нету», а в главе XXXV эта характеристика и с тем же выделением, что и у Достоевского в плане, применена прямо, от автора, к Лизе Калитиной: «...у ней не было „своих слов", но были свои мысли, и шла она своей дорогой» (*Тургенев, Сочинения*, т. VII, стр. 211, 243).

Таким образом, самая ранняя запись не могла быть сделана до того, как Достоевский прочел «Дворянское гнездо». 9 мая 1859 г. он писал М. М. Достоевскому из Семипалатинска о романе Тургенева: «Я наконец прочел. Чрезвычайно хорошо». В этом же письме, говоря о «Селе Степанчикове», Достоевский указывает на серьезный, по его мнению, недостаток только что законченного романа: «В романе мало сердечного (т. е. страстного элемента, как

например в «Дворянском гнезде»)». Роман Тургенева, так понравившийся Достоевскому и неизменно его восхищавший, стал для него в какой-то мере эталоном романа о любви, но продолжать разработку плана повести с героиней «без своих слов», по-видимому, Достоевскому помешала подготовка к отъезду из Семипалатинска, занявшая у него май—июнь 1859 г.

Только в ноябре 1859 г. Достоевский снова вернулся к разработке планов «Весенней любви»; вместе с другими его беллетристическими и публицистическими замыслами, предназначенными для журнала, повесть эта перечислена в записи, публикуемой под № 3. Часть заметок, сделанных в основном на полях, относится к 7 января 1860 г. и касается отдельных сцен будущей повести.

Положенная в основу повести психологическая коллизия — сложные отношения дружбы и соперничества между «князем» и «литератором» — восходит, возможно, к отношениям между Достоевским и его молодым семипалатинским другом, бароном А. Е. Врангелем (см. выше, стр. 494). Однако более точных данных об отражении в этих набросках повести каких-либо реальных событий или наблюдений писателя у нас нет.

Реальнобиографический материал послужил Достоевскому для создания исходной ситуации. Дальнейшее ее осмысление, поиски новых вариантов развития сюжета о любовном соперничестве (отношения между князем, литератором и героиней «без своих слов») являются самостоятельной разработкой психологической проблематики, в это время привлекшей внимание писателя.

Замысел «Весенней любви», как можно судить по ее планам, возник у Достоевского в результате размышлений над проблемой эмансипации женщины, возможностью уравнения ее в правах с мужчиной, — проблемой, усиленно обсуждавшейся в русской публицистике конца 1850-х годов.

В планах «Весенней любви» отразились не только впечатления Достоевского от «Дворянского гнезда», но и от многочисленной критической литературы, появившейся вслед за публикацией романа (см. комментарий Т. П. Головановой: *Тургенев*, *Сочинения*, т. VII, стр. 488—495).

К самому значительному выступлению русской критики 1859 г. о романе Тургенева, к статье П. В. Анненкова «Наше общество в „Дворянском гнезде" Тургенева» (*РВ*, 1859, № 8, стр. 508—538; перепечатано: П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки. Собрание статей и заметок. 1849—1869 гг. Отдел второй. СПб., 1879, стр. 194—221), восходит название будущей повести — «Весенняя любовь» — и отчасти проблематика ее. Характеризуя внутренний трагизм Лизы Калитиной, Анненков писал: «Не для жизни даны ей были молодость, красота, высокие предчувствия истины и блага; всё погибло в цвете, застигнутое неожиданным морозом среди весны, и притом той чудной весны, какая восстает всегда под пером г. Тургенева» (*РВ*, стр. 513).

Статья Анненкова могла подсказать Достоевскому и одну из нравственных коллизий «Весенней любви» — столкновение чистой душою и сердцем девушки с низкими побуждениями и фальшивыми речами «князя» и «литератора». Анненков говорит, что «высоконравственные характеры» «могут явиться (и часто являются) в годины полной духовной тьмы 〈...〉 при совершенном отсутствии моральных убеждений, еще не добытых или уже потерянных окружающим их миром» (*РВ*, стр. 515). И далее Анненков высказывает мысль, которая очень сходна по смыслу с основной коллизией планов «Весенней любви»: «Даже глубоко нравственные характеры 〈...〉 учатся правде в виду господствующего произвола, сознанию обязанностей своих — на духовном и телесном растлении близких людей, порядку, справедливости и снисхождению — на общей распущенности и на диких порывах животного существования» (там же, стр. 516).

Замысел «Весенней любви» не был осуществлен из-за того, что Достоевский с середины 1860 г. обратился к работе над большим социальным романом («Униженные и оскорбленные»), куда из планов повести перешли и любовная тема, и коллизия «князя» и «литератора», но в совершенно ином виде и с другим социально-психологическим наполнением.

С т р. 443. *Знатный М. Г.* ... — буквенное обозначение «М. Г.» может быть истолковано двояко — как указание на определенный (неустановленный) прототип князя или как сокращение традиционной формулы: м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩.

С т р. 444. *Ведь женился же прошлого года граф К. на бог знает ком.* — Имеется в виду известный богач и меценат, издатель журнала «Русское слово» граф Г. А. Кушелев-Безбородко (1832—1870), женившийся в 1857 г. на красавице-авантюристке Л. И. Кроль (см.: Р. Г. Н а з и р о в. Герои романа «Идиот» и их прототипы. *РЛ*, 1970, № 2, стр. 115—119).

С т р. 446. *Сцена капитальная: где он предлагает ей руку ∾ я не достойна».* — В какой-то мере эта запись предвосхищает эпизод отказа Настасьи Филипповны князю Мышкину в романе «Идиот» (ч. I, гл. XV, XVI). О связи неосуществленного замысла Достоевского с романом «Идиот» см. также наст. изд., т. IX.

2

План трагедии «Фатум»

План комедии

(Стр. 447)

Печатается по черновому автографу: *ГБЛ*, ф. 93, I, 3, 1, л. 1 об.

Запись двух замыслов — трагедии и комедии — сделана на том же листе, что и наброски повести «Весенняя любовь», и датируется, как и основная часть этих набросков, 23 ноября 1859 г. (обоснование датировки к «Новым идеям романов, драм, повестей» см.: наст. том, стр. 538—539).

В собрание сочинений включается впервые.

3

В 1860-й год

(Стр. 447)

Печатается по черновому автографу: *ГБЛ*, ф. 93, I, 1, 1, л. 4 об. Впервые опубликовано: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 97.

В собрание сочинений включается впервые.

Из произведений Достоевского, внесенных в этот список, неизвестны «Миньона» и «Апатия и впечатления». По-видимому, «Миньона» — это первоначальное название того произведения (романа или повести), в котором должна была действовать Нелли из «Униженных и оскорбленных». В разработке этого характера Достоевский в определенной степени отталкивался от образа героини романа Гете (см. выше, стр. 526).

«Апатия и впечатления» — по-видимому, один из публицистических замыслов Достоевского.

С т р. 447. *Двойник (переделанный).* — О планах незавершенной переработки «Двойника» см. наст. изд., т. I, стр. 484.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ[1]

Места хранения рукописей

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

Печатные источники

Альтман — М. С. Альтман. Гоголевские традиции в творчестве Достоевского. — «Slavia», 1961, т. XXX, вып. 3, стр. 443—461.
Бахтин — М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 2, перераб. и доп. Изд. «Советский писатель», М., 1963.
БдЧт — «Библиотека для чтения» (журнал).
Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I — XIII. Изд. АН СССР, М., 1953—1959.
Бельчиков — Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. Изд. «Наука», М.—Л., 1971.
Вр — «Время» (журнал).
Врангель — А. Е. Врангель. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—1856 гг. СПб., 1912.
Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений, тт. I—XXX. Изд. АН СССР, М., 1954—1964.
Гоголь — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М., 1938—1952.
Гозенпуд — А. Гозенпуд. Достоевский и музыка. Изд. «Музыка», Л., 1971.
Гроссман, Жизнь и труды — Л. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Изд. «Academia», М.—Л., 1935.
Гроссман, Семинарий — Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. ГИЗ, М.—Пгр., 1922.
Даль — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, тт. I—IV. Гос. изд. иностр. и нац. словарей. М., 1955.
Д, Материалы и исследования — Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Изд. АН СССР, Л., 1935.
Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений, тт. I—IX. Изд. «Художественная литература», М.—Л., 1961—1964.
Достоевская, А. Г. Воспоминания — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Изд. «Художественная литература», М., 1971.
Достоевский, А. М. — А. М. Достоевский. Воспоминания. Ред. и вступ. статья А. А. Достоевского. «Изд. писателей в Ленинграде», 1930.
Достоевский и его время — Достоевский и его время. Изд. «Наука», Л., 1971 (Институт русской литературы АН СССР).

[1] В список не включены сокращения, совпадающие с сиглами, указанными в источниках текста к каждому произведению.

Д, Письма — Ф. М. Достоевский. Письма, тт. I—IV. Под ред. А. С. Долинина. ГИЗ — «Academia»—Гослитиздат, Л.—М., 1928—1959.

Кирпотин — В. Я. Кирпотин. Ф. М. Достоевский. Творческий путь. (1821—1859). Гослитиздат, М., 1960.

ЛН — «Литературное наследство», тт. 1—83. Изд. АН СССР—«Наука», М., 1931—1971. Издание продолжается.

Михайловский — Н. К. Михайловский. Литературно-критические статьи, Гослитиздат, М., 1957

ОЗ — «Отечественные записки» (журнал).

Описание — Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1947. (Библиотека СССР им. В. И. Ленина—Центральный государственный архив литературы и искусства СССР—Институт русской литературы).

Панаев — И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Ред. текста, вступ. статья и прим. И. Ямпольского. Гослитиздат, М., 1950.

Пушкин — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1937—1959.

РВ — «Русский вестник» (журнал).

РЛ — «Русская литература» (журнал).

РР — «Русская речь» (газета).

РСл — «Русское слово» (журнал).

С — «Современник» (журнал).

Сб. Достоевский, I — Достоевский. Статьи и материалы. Сборник первый. Под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль», Пб., 1922.

Сб. Достоевский, II — Достоевский. Статьи и материалы. Сборник второй, Под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль», Л., 1924.

СО — «Сын отечества» (журнал).

СП — «Северная пчела» (газета).

Творчество Достоевского, 1921 — Творчество Достоевского. 1821—1881—1921. Сборник статей и материалов. Под ред. Л. П. Гроссмана. Всеукргиз, Одесса, 1921.

Творчество Достоевского — Творчество Ф. М. Достоевского. Изд. АН СССР, М., 1959 (АН СССР, Институт мировой литературы).

Толстой — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, тт. 1—90. Гослитиздат. М., 1928—1958.

Тургенев, Сочинения — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Сочинения, тт. I—XV. Изд. АН СССР — «Наука», М.—Л., 1960—1968.

Тынянов — Ю. Н. Тынянов. Архаисты и новаторы. Изд. «Прибой», Л., 1929.

Фридлендер — Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Гослитиздат, М., 1939—1953.

Шкловский — В. Шкловский. За и против. Изд. «Советский писатель», М., 1957.

1860 — Ф. М. Достоевский. Сочинения, тт. I—II. Изд. Н. А. Основского, М., 1860.

1865 — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, тт. I—IV. Вновь просмотренное и дополненное самим автором издание. Изд. Ф. Стелловского, СПб., 1865—1870.

1866 — То же, т. III, СПб., 1866.

1956 — Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в десяти томах, Гослитиздат, М., 1956—1958,

СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Академии наук СССР

*

Текст подготовили и примечания составили
А. В. АРХИПОВА, И. З. СЕРМАН,
Н. Н. СОЛОМИНА, И. М. ЮДИНА

Редактор III тома Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

*

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том III

Редактор издательства *К. Н. Феноменов*

Оформление художников *С. Н. Тарасова* и *Л. А. Яценко*

Технический редактор *Н. А. Кругликова*

Корректоры *Р. Г. Гершинская, А. И. Кац* и *Э. В. Коваленко*

Сдано в набор 24/XII 1971 г. Подписано к печати 21/VII 1972 г. Формат бумаги 60×90¹/₁₆. Бумага № 1. Печ. л. 34+1 вкл. (¹/₈ печ. л.)=34.12 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 38.44. Изд. № 4058. Тип. зак. № 128. Тираж 200 000. *Цена 2 р. 30 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, Менделеевская линия, д. 1

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26